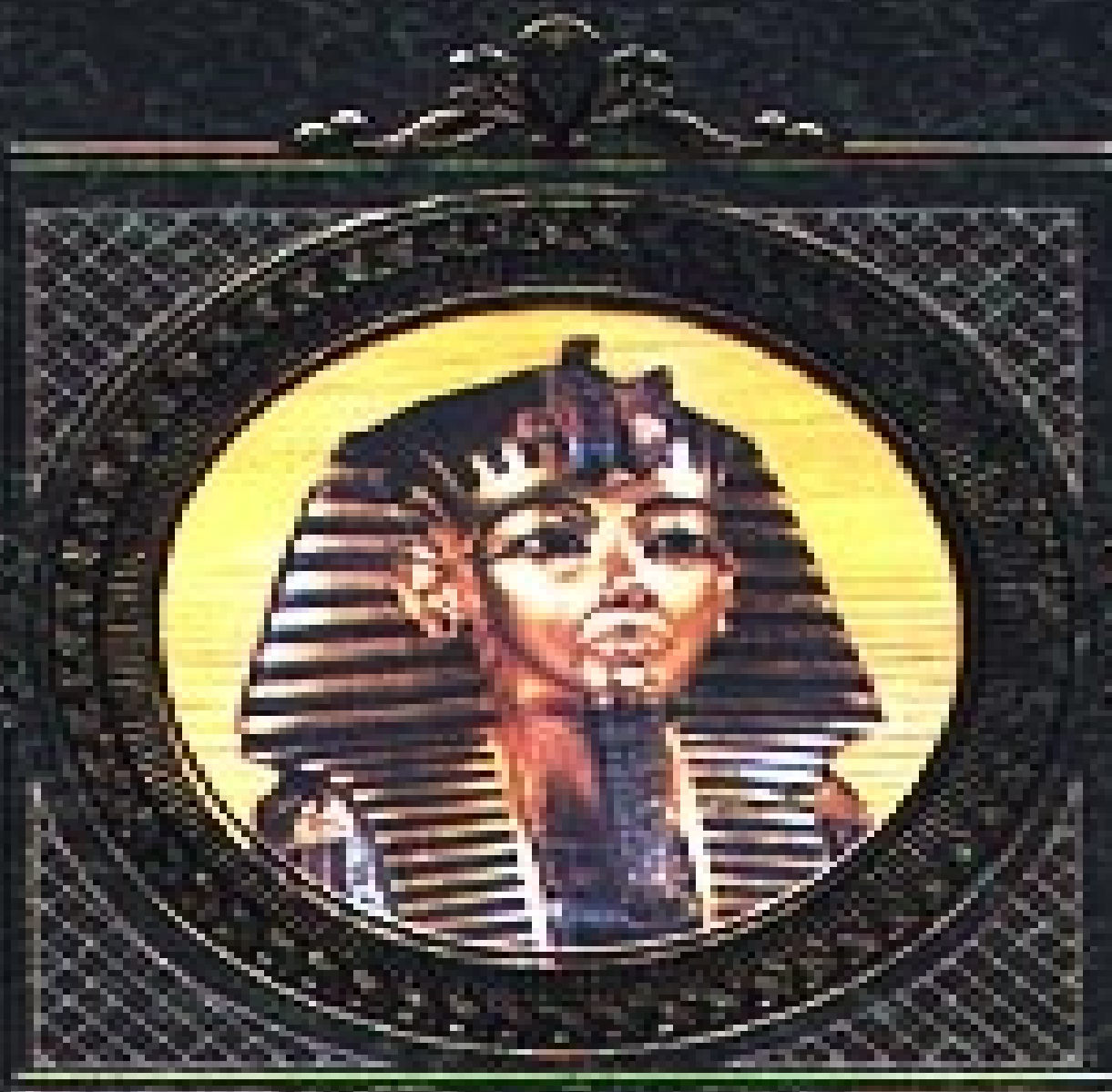


ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Extrakt

ПРЕС

Салон



Annotation

«Фараон» — исторический роман известного польского писателя Болеслава Пруса (1847—1912) из жизни Древнего Египта, в котором затрагиваются многие важные проблемы: тяжелое положение народа, роль народа в жизни государства. Сюжет романа составляет история борьбы вымышленного исторического деятеля — молодого фараона Рамсеса XII с могущественной кастой жрецов. Содержащаяся в этом произведении критика религии и духовенства была актуальна для католической церкви.

- [Болеслав Прус](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [Вступление](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)

- [КНИГА ВТОРАЯ](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)

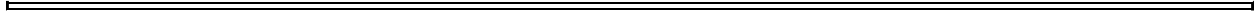
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)

- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)

- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)

- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)

- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)



Болеслав Прус

ФАРАОН

*Жене моей, Октавии Гловацкой, урожденной
Трембинской, в знак глубокого уважения и
привязанности посвящаю этот труд.*

Автор

КНИГА ПЕРВАЯ

Вступление

В северо-восточном углу Африки лежит Египет — родина древнейшей в мире цивилизации. За три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с высокоразвитым общественным устройством, страной, где процветали сельское хозяйство, ремесла и литература. Но больше всего Египет прославился грандиозными инженерными работами и колоссальными сооружениями, развалины которых вызывают удивление даже у современных техников.

Египет — плодородная долина между двумя пустынями: Ливийской и Аравийской^[1]. Глубина ее — несколько сот метров, длина — сто тридцать миль, ширина едва достигает одной мили. Пологие склоны голых ливийских холмов — по западную сторону этой долины и скалистые, изрытые трещинами отроги Аравийской возвышенности — по восточному образуют как бы коридор, на дне которого течет река Нил.

По мере удаления к северу стены коридора постепенно снижаются, а в двадцати пяти милях от Средиземного моря внезапно раздвигаются, и Нил, разбившись на несколько рукавов, выходит на широкую равнину, имеющую форму треугольника. Основанием этого треугольника, носящего название дельты Нила, служит берег Средиземного моря, а вершиной — место выхода Нила из ущелья у города Каира и развалин древней столицы, Мемфиса.

Если бы кому-нибудь удалось подняться на двадцать миль в воздух, он увидел бы всю страну в ее своеобразных очертаниях и чудесной смене красок.

С этой высоты на фоне белых и оранжевых песков Египет казался бы змеей, которая энергичными зигзагообразными движениями пробирается сквозь пустыни к Средиземному морю и уже погрузила в него свою треугольную голову с двумя сверкающими глазами: левым — Александрией и правым — Дамьеттой^[2].

В октябре, когда воды Нила заливают весь Египет, эта длинная змея принимает голубую окраску воды, а в феврале, когда пойма реки покрывается весенней растительностью, она бывает зеленой с голубой полосой вдоль спины и множеством голубых жилок на голове, — это пересекающие Дельту каналы. В марте голубая полоса суживается, и кожа

змеи сверкает на солнце золотом зреющих нив. В начале июня, в засуху и пыль, Нил кажется уже чуть заметно голубой чертой на теле змеи, покрытом, словно траурным крепом, серым налетом пыли.

Главная особенность Египта — жаркий климат. В январе здесь бывает десять градусов тепла, в августе — двадцать семь. Иногда жара доходит до сорока градусов, что соответствует температуре римской бани. Вблизи Средиземного моря, над Дельтой, дождь выпадает не больше десяти раз в год, а в Верхнем Египте — один раз в десять лет.

При таких условиях Египет был бы не колыбелью цивилизации, а одним из тех пустынных ущелий, какими так богата пустыня Сахара, если бы воды священного Нила ежегодно не воскрешали страну. С конца июня до конца сентября Нил непрерывно прибывает и заливаает почти весь Египет. С конца октября до мая следующего года весенние воды постепенно спадают, обнажая даже самые низкие места. Речная вода так насыщена здесь минеральными и органическими веществами, что принимает бурю окраску, и, по мере спада, на заливных землях осаждается плодородный ил, заменяющий самые полезные удобрения. Этот ил и жаркий климат дают возможность окруженному пустынями египтянину собирать три урожая в год, причем каждое зерно посева дает до трехсот зерен урожая.

Поверхность Египта не всюду равнинная, местами она холмистая. Поэтому некоторых земель Египта разлив не достигает, и они пьют благословенную воду раз в два-три месяца, а отдельные земли не видят ее целый год. Кроме того, случаются годы, когда вода в реке почти не прибывает, и тогда страна не получает плодородного ила. Наконец, в знойное время, когда земля быстро сохнет, приходится поливать ее, как в вазонах.

Все это привело к тому, что народ, населявший долину Нила, должен был либо погибнуть — если он был слаб, либо научиться регулировать воду — если он был гениальным. Древние египтяне, будучи народом гениальным, создали цивилизацию.

Еще за шесть тысяч лет до нашей эры египтяне заметили, что уровень воды в Ниле подымается, когда солнце восходит под звездой Сириус, и начинает понижаться, когда оно приближается к созвездию Весов. Это наблюдение побудило египтян заняться астрономией и ввести календарь. Чтобы сохранять воду круглый год, египтяне создали целую сеть каналов длиною в несколько тысяч миль, а чтобы предотвратить наводнения, воздвигали мощные плотины и строили водохранилища. Одно из них — искусственное Меридово озеро^[3] — занимало площадь в триста

квадратных километров при глубине в двенадцать ярусов. Кроме того, вдоль Нила и каналов сооружались простые, но очень выгодные гидравлические приспособления, с помощью которых можно было черпать плодородную воду и выливать ее на поля, лежащие на один-два яруса выше. Вдобавок ко всему приходилось ежегодно очищать заплывшие илом каналы, чинить плотины и прокладывать высоко расположенные дороги для войск, совершавших походы в любое время года.

Такие грандиозные работы требовали наряду со знанием основ астрономии, межевания и строительства превосходной организации. Все они, будь то укрепление плотины или очищение канала, производились одновременно на огромном пространстве и должны были быть выполнены к определенному сроку. Отсюда явилась необходимость создания рабочей армии, насчитывающей десятки тысяч человек, которая действовала бы согласно определенному плану и под единым руководством, — армии, которая должна была иметь множество маленьких и больших начальников, множество отрядов, выполняющих различные работы, направленные к одной цели, — армии, которая требовала, естественно, огромных запасов продовольствия, а также вспомогательных сил и средств.

Египет сумел организовать такую армию рабочих, и ей обязан он своими бессмертными делами.

Создали ее, по-видимому, жрецы — египетские мудрецы, и они же намечали планы ее работ, которые затем выполнялись по указам царей-фараонов. Благодаря этому египетский народ во времена своего величия представлял как бы единый организм, в котором жрецы были мыслью, фараон — волей, народ — телом, а повиновение — цементом.

Таким образом, сама природа Египта, требовавшая большого, непрерывного и упорного труда, определила основу общественной организации этой страны: народ работал, фараон управлял, жрецы составляли планы. И пока эти три действующие силы единодушно стремились к целям, которые указывала им сама природа, до тех пор народ процветал и творил свои бессмертные дела.

Добродушный, веселый и отнюдь не воинственный египетский народ делился на два класса: земледельцев и ремесленников. Часть земледельцев, должно быть, владела мелкими участками земли, большинство же арендовало земли фараона, жрецов и знати. Ремесленники, изготавливавшие одежду, мебель, утварь, посуду, работали независимо друг от друга. Те же, кто трудился на больших стройках, составляли как бы армию.

Каждая отрасль, и прежде всего строительство, нуждалась в тягловой силе и орудиях: кто-то должен был целый день черпать воду из каналов или

доставлять камень из каменоломен на место строительства. Эти самые тяжелые механические работы, и прежде всего в каменоломнях, выполняли преступники, осужденные на каторгу, или пленники.

Коренные египтяне гордились медным цветом своей кожи и с пренебрежением относились к черным эфиопам, желтым семитам и белым европейцам. Цвет кожи, помогая отличать соотечественника от чужеземца, способствовал сохранению народного единства сильнее, нежели религия, которую можно принять, или язык, которому можно научиться.

Однако с течением времени, когда государственное здание начало давать трещины, в страну все больше стали проникать чужеземцы. Они ослабляли спаянность народа, вносили раскол в общество и в конце концов, наводнив страну, растворили в себе ее коренное население.

Фараон правил государством с помощью постоянной армии и милиции, или полиции, а также множества чиновников, из которых постепенно создавалась родовая аристократия.

Он именовался законодателем, верховным главнокомандующим, самым богатым землевладельцем, верховным судьей и жрецом и даже сыном богов и богом. Фараон не только принимал божеские почести от народа и чиновников, но иногда сам воздвигал себе алтари и воскурял благовония перед собственными изображениями.

Рядом с фараонами, а нередко и над ними, стояли жрецы — сословие мудрецов, вершивших судьбами страны. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно — советниками взрослых людей, и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов, и главное — как люди, знающие свою страну и ее соседей.

В истории Египта первостепенное значение имеют отношения существовавшие между жреческим сословием и фараонами. Чаще всего фараон подчинялся воле жрецов, приносил богатые жертвы богам и строил храмы. Тогда он жил долго; имя его и изображение, увековеченные на памятниках, передавались из поколения в поколение, овеянные славой. Многие же фараоны царствовали недолго, а некоторые не оставили в памяти народа не только своих дел, но даже имен. Случалось также несколько раз, что династия фараонов прекращала свое существование и клафф^[4] — шапка фараона, украшенная змеей, — доставалась жрецу.

Египет процветал, пока монолитный народ, энергичные цари и мудрые жрецы трудились вместе на общее благо. Но настало время, когда население Египта в результате войн значительно уменьшилось, непомерные труды, тяжелый гнет и лихоимство чиновников надломили его силы, а наплыв чужеземцев разрушил расовое единство. А когда к тому же проникшая в страну азиатская роскошь поглотила энергию фараонов и мудрость жрецов и эти две силы начали между собою борьбу за монопольное ограбление народа, Египет подпал под власть чужеземцев, и тысячелетиями сиявший над Нилом свет цивилизации.

Нижеследующая повесть относится к XI веку до рождества Христова, когда пала XX династия и после сына солнца, вечно живущего Рамсеса XIII, насильственно завладел престолом и украсил чело свое уреем^[5], вечно живущий сын солнца Сен-Амон-Херихор^[6] — жрец храма Амона.

На 33-м году благополучного царствования Рамсеса XII^[7] Египет праздновал два торжественных события, преисполнивших сердца его верноподданных гордостью и отрадой.

В месяце мехир, декабре, вернулся в Фивы осыпанный драгоценными дарами бог Хонсу^[8]; он странствовал три года и девять месяцев по земле Бехтен^[9], где исцелил царскую дочь Бентреш и изгнал злого духа не только из семьи царя, но даже из крепости Бехтен.

В месяце же фармути, феврале, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, властелин Финикии и девяти народов, Мери-Амон-Рамсес XII, посоветовавшись с богами, коим он был равен, назначил эрпатром^[10], или наследником престола, своего двадцатидвухлетнего сына — Хем-Семмерер-Амон-Рамсеса^[11].

Выбор этот весьма обрадовал благочестивых жрецов, знатных номархов^[12], доблестную армию, верный народ и все живое в стране египетской. Ибо старшие сыновья фараона, от хеттской^[13] царевны, находясь под действием неведомых чар, были одержимы злым духом. У одного из них, которому было двадцать семь лет, по достижении зрелости отнялись ноги, другой вскрыл себе вены и умер, а третий, пристрастившись к отравленному вину, лишился рассудка, вообразил себя обезьяной и целые дни проводил на деревьях.

Лишь четвертый сын царя, Рамсес, рожденный царицей Никотрисой, дочь верховного жреца Аменхотепа, был силен, как бык Апис^[14], бесстрашен, как лев, и мудр, как жрецы. С детства он окружал себя военными и, еще будучи простым царевичем, говорил:

— Если бы боги сделали меня не младшим сыном царя, а фараоном, я покорил бы, подобно Рамсесу Великому^[15], девять народов, еще неведомых Египту, построил храм, превосходящий величиной целые Фивы, а для себя воздвиг бы пирамиду, по сравнению с которой гробница Хеопса^[16] была бы как куст розы рядом с высокой пальмой.

Получив столь желанный титул наследника, молодой царевич просил отца всемилостивейше назначить его предводителем корпуса Менфи^[17], на что его святейшество Рамсес XII, посоветовавшись с богами, коим он был равен, ответил, что он согласен, если наследник престола докажет свою способность предводительствовать большими силами в военной

обстановке.

По этому случаю был созван совет под председательством военного министра Сен-Амон-Херихора — верховного жреца величайшего храма Амона в Фивах.

Совет решил:

Наследник престола в половине месяца месоре (начало июля) соберет десять полков, размещенных на линии, соединяющей город Мемфис с городом Буто, расположенным у Себеннитского залива^[18]. С этим десяти тысячным корпусом, приведенным в боевую готовность, снабженным метательными машинами и обозом, наследник отправится на восток к большому караванному тракту, который тянется от Мемфиса до Хетема вдоль границы земли Гошен^[19] и египетской пустыни.

Одновременно генерал Нитагор, главнокомандующий армией, охраняющей Египет от вторжения азиатских народов, выступит со стороны Горьких озер^[20] навстречу наследнику престола. Обе армии, азиатская и западная, встретятся в окрестностях города Пи-Баилоса^[21] — в пустыне: чтобы не мешать полевым работам трудолюбивых хлебопашцев земли Гошен.

Наследник престола будет признан победителем, если не даст Нитагору застать себя врасплох, то есть успеет стянуть все полки и встретит противника в полной боевой готовности.

В лагере царевича Рамсеса будет находиться сам военный министр, досточтимый Херихор, который и сделает фараону доклад о ходе маневров.

Граница, отделявшая пустыню от земли Гошен, шла вдоль двух коммуникационных линий — судоходного канала от Мемфиса до озера Тимса^[22] и большого караванного тракта. Канал проходил еще по земле Гошен, а караванный тракт — уже по пустыне, и оба пути огибали ее дугой. С тракта почти на всем его протяжении виден был канал.

Этими искусственными границами разделялись две совершенно различные области. Земля Гошен, несмотря на слегка волнистую поверхность, производила впечатление равнины, пустыня же состояла из известковых возвышенностей и песчаных долин. Земля Гошен была похожа на огромную шахматную доску, зеленые и желтые квадраты которой различались по цвету злаков и отделялись росшими на межах пальмами. А на рыжевато-песчаных пустынях и ее белых нагорьях зеленая поросль или купа деревьев и кустарников казались заблудившимися путниками.

На плодородной земле Гошен с каждого холма сбегали вниз темные рощи акаций, сикомор и тамариндов, издали напоминавших наши липы; в

их гуще прятались небольшие дворцы с приземистыми колоннами или желтые хижины крестьян. Кое-где рядом с рощицей белели плоские крыши небольшого городка или, словно утесы-близнецы, грузно возвышались над деревьями пирамидальные пилоны ^[23] храмов, испещренные причудливыми письменами.

В пустыне из-за первой гряды поросших зеленью холмов выглядывали голые скалы, усеянные горами камней.

Казалось, пресыщенная избытком жизни западная часть страны с царственной щедростью выплескивает на другой берег канала зелень и цветы, но вечно голодная пустыня поглощает их и к следующему году превращает в прах.

Жалкая растительность, вытесненная на скалы и пески, задерживалась в низинах, куда при помощи канав, прорытых в насыпи тракта, можно было подводить воду из канала. Кое-где между лысыми взгорьями, неподалеку от тракта, пили небесную росу укромные оазисы, где росли ячмень и пшеница, виноград, пальмы и тамаринды. В таких местах и люди жили обособленными семьями. Встретившись на базаре в Пи-Баилосе, они могли даже не знать, что живут рядом в пустыне.

Шестнадцатого месоре сосредоточение войск было почти закончено. Десять полков наследника престола, которые должны были встретить азиатские полки Нитагора, уже собрались на тракте выше города Пи-Баилоса с обозом и частью метательных машин.

Движением их руководил сам наследник. Он организовал две линии разъездов, из которых задняя должна была отслеживать противника, а передняя — охранять свои войска от внезапного нападения, вполне возможного в холмистой и пересеченной оврагами местности. Он, Рамсес, в течение недели сам объехал и осмотрел продвигающиеся по дорогам полки, чтобы удостовериться, в порядке ли у солдат оружие, есть ли теплые плащи на ночь, достаточен ли запас сухарей, мяса, сушеной рыбы. Кроме того, он приказал, чтобы жены, дети и рабы военных, отправляемых на восточную границу, были перевезены по каналу на судах, что значительно сокращало обозы и облегчало передвижение самой армии.

Старые полководцы дивились знаниям, энергии и предусмотрительности наследника, а еще больше его трудоспособности и неприхотливости в походной жизни. Свою многочисленную свиту, княжеский шатер, колесницы и носилки он оставил в Мемфисе, сам же в одежде простого офицера разъезжал от полка к полку верхом, на манер ассирийцев, в сопровождении двух адъютантов.

Благодаря этому сосредоточение корпуса закончилось очень быстро, и

полки в назначенное время расположились под Пи-Баилосом.

Иначе обстояло дело со штабом наследника, сопровождавшим его греческим полком и несколькими метательными машинами.

Штабу, собранному в Мемфисе, предстоял наиболее короткий переход; поэтому он выступил позже всех, таща за собой огромный обоз. Почти каждый офицер — а все это были молодые люди знатного рода — имел носилки, которые несли четыре негра, военную двуколку, богатый шатер, множество сундуков с одеждой и довольствием и кувшины с вином и пивом. Кроме того, за офицерами потянулась многочисленная труппа певиц и танцовщиц с музыкантами, причем каждая из них, как важная дама, хотела иметь колесницу, запряженную одной или двумя парами быков, и носилки.

Когда все это скопище людей хлынуло из Мемфиса, оно заняло на тракте больше места, чем армия наследника. Передвигалось же оно так медленно, что метательные машины, замыкающие колонну, двинулись в поход с опозданием на целые сутки. Вдобавок ко всему певицы и танцовщицы, увидав пустыню, совсем еще не страшную в этом месте, испугались и начали плакать. Для успокоения их пришлось сделать раньше времени привал на ночь, разбить шатры и устроить представление, а затем пиршество.

Ночное празднество в прохладе, под звездным небом на фоне дикой природы, очень понравилось танцовщицам и певицам, и они заявили, что впредь будут выступать только в пустыне.

Между тем наследник, узнав в пути о том, что творится в его штабе, прислал приказ немедленно вернуть женщин в город и ускорить продвижение задержавшихся частей.

При штабе находился военный министр достопочтенный Херихор, но только в качестве наблюдателя. Он не вез с собой певиц, но и воздерживался от всяких замечаний штабным офицерам. Он приказал вынести свои носилки в самое начало колонны и, в зависимости от того, как она подвигалась, то уходил вперед, то отдыхал под сенью огромного опахала, которое держал над ним адъютант.

Досточтимый Херихор был человек сорока с лишним лет, мощного сложения; замкнутый в себе, он говорил редко и так же редко смотрел на людей из-под полуопущенных век.

Как все египтяне, он ходил с обнаженными руками и ногами, с открытой грудью, в сандалиях, короткой юбочке вокруг бедер и переднике в белую и синюю полосу.

Как жрец он брил лицо и голову и носил шкуру пантеры, перекинутую

через левое плечо.

Как военный он покрывал голову небольшим шлемом, из-под которого на шею и плечи ниспадал легкий назатыльный плат, тоже в белую и синюю полосу. На шее у него была тройная золотая цепь, а с левой стороны висел короткий меч в богато украшенных ножнах.

Носилки Херихора, которые несли шесть черных рабов, всегда сопровождало трое приближенных: один держал опахало, другой — секиру министра, а третий — шкатулку с папирусами. Этим третьим был писец министра жрец Пентуэр, худой аскет, даже в самый сильный зной не покрывавший бритой головы. Он происходил из народа, но благодаря своим исключительным способностям занимал важный государственный пост.

Хотя министр со своими приближенными находился впереди штабной колонны и не вмешивался в ход маневров, нельзя, однако, сказать, чтобы он не знал, что делается за его спиной. Каждый час, а иногда и каждые полчаса к носилкам вельможи подходил то низший жрец, простой «слуга божий», то отставший солдат, то торговец или раб и, как будто невзначай обгоняя молчаливую свиту министра, бросал на ходу два-три слова, которые Пентуэр иногда записывал, но чаще просто запоминал, так как память у него была необыкновенная.

В шумной толпе штабных никто не обращал внимания на эти мелочи. Офицеры, знатные молодые люди, в суете, за громкими разговорами или песнями не замечали, кто подходит к министру, тем более что по тракту все время сновало взад и вперед множество пешеходов.

Пятнадцатого месоре штаб наследника вместе с военным министром провел ночь под открытым небом на расстоянии одной мили от полков, строившихся уже в боевой порядок поперек тракта за городом Пи-Баилосом.

Около часа утра, что соответствует нашим шести часам, холмы пустыни окрасились в фиолетовый цвет. Из-за них выглянуло солнце. По земле Гошен разлился розовый свет, и городки, храмы, дворцы знатных вельмож и хижины крестьян мгновенно загорелись среди зелени разноцветными огоньками. Вскоре весь западный край неба потонул в золотистом сиянии. Казалось, будто цветущая земля Гошен растворяется в золоте, а бесчисленные каналы струят вместо воды расплавленное серебро. Между тем фиолетовые холмы пустыни еще больше потемнели; длинные тени от них легли на пески, где редкая растительность выделялась черными пятнами.

Дозорные, стоявшие вдоль тракта, уже могли ясно видеть обсаженные

пальмами поля за каналом. На одних зеленели лен, пшеница, клевер, на других золотился созревающий ячмень второго посева. Из скрытых меж зелени лачуг стали выходить на работу земледельцы, они были почти голые, медно-коричневого цвета; весь наряд их состоял из узкого набедренника и чепца.

Одни направлялись к каналам — очищать их от ила или черпать и выливать на поля воду при помощи простых машин, напоминавших журавли наших колодцев. Другие, рассыпавшись между деревьями, собирали зрелые фиги и виноград. Тут же копошились голые дети и женщины в белых, желтых или красных сорочках без рукавов.

Повсюду царило оживление. В вышине хищные птицы пустыни охотились на голубей и галок земли Гошен. Вдоль канала покачивались скрипучие журавли, поднимая ведра с иистой водой, а собиравшие плоды люди то появлялись, то исчезали в зелени деревьев, словно пестрые бабочки.

Между тем в пустыне, на тракте, зашевелились полки и обозы. Проскакал отряд всадников, вооруженных копьями. За ним двинулись лучники, в чепцах и юбочках, с луками в руках, с колчанами за спиной и широкими тесаками на правом боку. За ними следовали пращники с мешками камней и короткими мечами.

На расстоянии ста шагов за ними шли два небольших отряда пехоты: один — вооруженный копьями, другой — секирами. И те и другие несли в руках прямоугольные щиты; грудь их была прикрыта, точно панцирем, нагрудниками из толстой ткани, чепцы с легкими назатыльными платами защищали их от солнца. Эти чепцы и нагрудники в синюю и белую или в желтую и черную полосу делали солдат похожими на огромных шершней.

За передним отрядом, окруженные секироносцами, двигались носилки министра, а за ними, в медных шлемах и панцирях, — греческие роты, мерная поступь которых напоминала удары тяжелых молотов. Сзади слышался скрип телег, рев скота и окрики возниц, а по обочине дороги, на носилках, подвешенных между двумя ослами, пробирался бородатый финикийский торговец. Надо всем этим клубилась туманом золотая пыль и дышал зной.

Вдруг со стороны сторожевого отряда прискакал верховой и сообщил министру, что приближается наследник. Министр сошел с носилок, и в ту же минуту на тракте показалась кучка всадников. Они спешили. Один из всадников и министр пошли навстречу друг другу, то и дело останавливаясь и кланяясь.

— Привет тебе, сын фараона, да живет он вечно! — возгласил

министр.

— Привет тебе, и да здравствуешь ты долгие лета, святой отец! — ответил наследник и прибавил: — Вы тащитесь, как калеки, а между тем не позже как через два часа нагрянет Нитагор.

— Ты совершенно прав. Твой штаб подвигается очень медленно.

— К тому же Эннана сказал мне, — Рамсес кивнул на стоявшего позади него воина, увешанного амулетами, — что вы не высылали патрулей в ущелья. А будь это настоящая война, неприятель мог бы напасть на вас с этой стороны.

— Я не командующий, а только судья, — спокойно ответил министр.

— А что делает Патрокл?

— Патрокл с греческим полком конвоирует метательные машины.

— А мой родственник и адъютант Тутмос?

— Спит еще, должно быть.

Рамсес с досадою топнул ногой, но промолчал. Это был красивый юноша с почти женственным лицом. Гнев и загар еще больше красили его. На нем был род узкого кафтана в синюю и белую полосу, плотно облегающий его фигуру, такого же цвета плат свешивался у него из-под шлема; на шее висела золотая цепь, а слева — дорогой меч.

— Я вижу, — заговорил царевич, — что только ты один, Эннана, блюдешь здесь мою честь.

Увешанный амулетами офицер поклонился до земли.

— Тутмос — лентяй! — продолжал наследник. — Возвращайся, Эннана, на свое место. Пусть, по крайней мере, у сторожевого отряда будет военачальник.

Затем, взглянув на свиту, которая сразу окружила его, точно выросши из-под земли, он прибавил:

— Пусть мне подадут носилки. Я устал, как каменотес.

— Разве боги могут уставать?.. — прошептал у него за спиной Эннана.

— Ступай на свое место! — приказал Рамсес.

— А может быть, ты, подобие месяца, велишь мне сейчас обследовать ущелье? — тихо спросил офицер. — Приказывай, ибо, где бы я ни был, сердце мое следует за тобой, чтоб угадать твою волю и исполнить ее.

— Я знаю, что ты бдителен, — ответил Рамсес. — Ступай же и смотри за всем.

— Святой отец! — обратился Эннана к министру. — Прими уверение в моей готовности служить тебе.

Не успел Эннана ускакать, как в конце марширующей колонны поднялась еще большая суeta: искали носилки наследника престола, но их

нигде не было. Вместо носилок, расталкивая греческих солдат, показался юноша странной наружности. На нем была кисейная рубашка, богато вышитый передник и золотая перевязь через плечо. Особенно же бросались в глаза его огромный парик из множества косичек и фальшивая борода, похожая на кошачий хвост.

Это был Тутмос, первый щеголь в Мемфисе, даже в походе не забывавший наряжаться и натирать себя благовониями.

— Здравствуй, Рамсес! — вскричал щеголь, энергично расталкивая офицеров. — Представь себе, твои носилки куда-то запропалились. Придется сесть в мои; они, правда, недостойны такой чести, но и не столь уж плохи.

— Я сердит на тебя, — ответил царевич. — Ты спишь, вместо того чтобы заботиться о войске.

Щеголь удивленно посмотрел на него.

— Я сплю?.. — воскликнул он. — Пусть отсохнет язык у того, кто говорит подобную ложь. Я знал, что ты прибудешь, и уже целый час одеваюсь и готовлю для тебя ванну и благовония...

— А тем временем солдаты идут одни.

— Как? Неужели я должен командовать колонной, в которой находятся военный министр и такой полководец, как Патрокл?..

Наследник престола ничего не ответил, а Тутмос, подойдя к нему, тихо заговорил:

— На кого ты похож, сын фараона?! Без парика, волосы и платье в пыли, кожа черная, вся потрескалась, как земля летом!.. Досточтимая царица-мать прогнала бы меня, если бы знала, в каком ты виде.

— Я просто устал.

— Так садись в носилки. Там тебя ждут венки из свежих роз, жаркое из дичи и кувшин кипрского вина. А кроме того, — прибавил он еще тише, — я спрятал в обозе Сенуру...

— Она здесь?..

Блестящие глаза царевича затуманились.

— Пусть войска проходят, — продолжал Тутмос, — мы тут подождем ее.

Рамсес словно очнулся.

— Отстань, искуситель!.. Ведь через два часа сражение.

— Ну, какое это сражение!

— Во всяком случае, оно решит мою дальнейшую судьбу.

— Пустяки! — улыбнулся щеголь. — Я готов поклясться, что еще вчера военный министр отправил царю рапорт с просьбой дать тебе корпус

Менфи.

— Все равно сегодня я не могу думать ни о чем другом, кроме армии.

— Ты помешан на войне! А на войне человек месяцами не моется, чтобы в один прекрасный день погибнуть. Брр!.. Ты хоть посмотрел бы на Сенуру. Только взглянул бы на нее...

— Нет! — ответил Рамсес решительно. — Вот поэтому и не хочу видеть...

В тот момент, когда из-за греческих шеренг восемь человек вынесли огромные носилки Тутмоса, приготовленные для наследника, со стороны головного отряда прискакал всадник. Он спешил и побежал с такой быстротой, что на груди у него зазвенели изображения богов и дощечки с их именами. Это был запыхавшийся Эннана.

Все повернулись к нему, что, по-видимому, доставило ему удовольствие.

— Царевич, божественные уста! — воскликнул Эннана, склоняясь перед Рамсесом. — Когда, согласно твоему высокому приказу, я ехал во главе отряда, внимательно следя за всем, мне попались на дороге два дивных скарабея^[24]. Священные жуки катили поперек дороги глиняные шарики, направляясь к пескам.

— Ну и что же? — перебил его наследник.

— Разумеется, — продолжал Эннана, глянув в сторону министра, — я и мои люди, воздав священные почести золотым подобиям солнца, остановили движение войска. Это столь важное знамение, что без особого приказа ни один из нас не осмелился бы продолжать путь.

— Я вижу, ты действительно благочестивый египтянин, хотя черты лица у тебя хеттские, — ответил досточтимый Херихор и, повернувшись к стоявшим поблизости вельможам, прибавил: — Мы не пойдем дальше по тракту, дабы не растоптать священных жуков. Пентуэр, можно ли этим ущельем, что направо, обойти тракт?

— Можно, — ответил писец министра. — Ущелье тянется на целую милю и выходит снова на тракт, почти против самого Пи-Баилоса.

— Потерять столько времени! — негодуя воскликнул наследник.

— Готов поклясться, что это не скарабеи, а духи моих финикийских ростовщиков, — заметил щеголь Тутмос. — Они отправились в загробный мир и уже не могут потребовать с меня долги, поэтому в наказание заставляют брести через пустыню!..

Свита наследника с беспокойством ожидала решения.

Рамсес обратился к Херихору:

— Что ты об этом думаешь, святой отец?

— Взгляни на офицеров, — ответил жрец, — и ты поймешь, что надо идти ущельем.

Но тут выступил вперед предводитель греков, генерал Патрокл.

— Если ты, царевич, разрешишь, — сказал он наследнику, — мой полк пойдет и дальше по тракту. Наши воины не боятся скарабеев.

— Ваши воины не боятся даже царских гробниц, — ответил министр. — Однако там, должно быть, небезопасно, ибо ни один из них оттуда не вернулся.

Грек смущенно отступил назад и затерялся в свите.

— Согласись, святой отец, — проговорил шепотом, еле сдерживая свое возмущение, наследник, — что такое препятствие не остановило бы в пути даже осла.

— Но осел никогда не будет фараоном, — спокойно ответил министр.

— В таком случае ты, министр, сам поведешь колонну через ущелье! — воскликнул Рамсес. — Я не сведущ в жреческой тактике. К тому же мне надо отдохнуть. Пойдем! — обратился он к Тутмосу и повернул к лысым холмам.

Досточтимый Херихор тотчас же поручил своему адъютанту, несшему секиру, принять командование сторожевым отрядом вместо Эннаны. Затем приказал, чтобы машины для метания больших камней свернули с тракта по направлению к ущелью и чтобы греческие солдаты помогали их передвижению в трудных местах. Колесницы же и носилки офицеров свиты должны были тронуться последними.

Пока Херихор отдавал приказы, адъютант, державший опахало, подошел к писцу Пентуэру и сказал шепотом:

— Теперь уже, видно, никогда нельзя будет ездить этим трактом!..

— Почему?.. — возразил молодой жрец. — Но сейчас, когда два священных жука пересекли нам дорогу, не следует идти по ней дальше. Может произойти несчастье.

— Оно и так уже произошло! Ты видел, что царевич Рамсес разгневался на министра? А наш господин не из тех, кто забывает...

— Не царевич рассердился на нашего господина, а наш господин на царевича и дал ему это понять, — ответил Пентуэр. — И хорошо сделал. А то молодому наследнику уже кажется, что он будет вторым Менесом^[25].

— Уж не самим ли Рамсесом Великим?.. — вставил адъютант.

— Рамсес Великий повиновался богам, и за это во всех храмах ему посвящены хвалебные надписи. Менес же, первый царь Египта, ниспроверг старые порядки, и лишь отеческой кротости жрецов обязан он тем, что его имя не предано забвению... Хотя я не дал бы и одного медного дебена^[26] за то, что мумия Менеса еще существует.

— Дорогой Пентуэр, — сказал адъютант, — ты человек умный и понимаешь, что нам все равно — десять господ у нас или одиннадцать...

— Но народу не все равно, должен ли он каждый год добывать одну гору золота — для жрецов, или две горы — для жрецов и для фараона, — возразил Пентуэр, сверкнув глазами.

— У тебя опасные мысли в голове, — проговорил шепотом адъютант.

— А сколько раз ты сам возмущался роскошью двора фараона и номархов?..

— Тише... тише!.. Мы еще поговорим об этом, только не сейчас.

Несмотря на песок, метательные машины, к которым припрягли по лишней паре быков, катились быстрее по пустынному ущелью, чем по тракту. Рядом с первой шел Эннана, озабоченный мыслью о том, почему

министр отстранил его от командования сторожевым отрядом. Уж; не ждет ли его какое-нибудь более высокое назначение?

И в радостном ожидании, а может быть, чтобы заглушить тревожившие его опасения, он взял в руки шест и, где попадался более глубокий песок, подпирал баллисту^[27] или криком подгонял греков. Те, однако, мало обращали на него внимания.

Уже добрых полчаса колонна подвигалась по извилистому ущелью с голыми отвесными стенами. Вдруг головной отряд остановился. В этом месте ущелье пересекалось другим, по дну которого проходил довольно широкий канал.

Гонец, посланный к министру с сообщением о неожиданном препятствии, вернулся с приказом немедленно засыпать канал.

Около сотни греческих воинов с кирками и лопатами принялись за работу. Одни откалывали каменные глыбы, другие сваливали их в ров и засыпали песком.

В это время из глубины ущелья вышел человек; в руках его была мотыга, похожая на шею аиста, с острием в виде клюва. Это был египетский крестьянин, старик, совершенно голый. С минуту он с величайшим недоумением смотрел на работу солдат и вдруг бросился к ним с криком:

— Что вы делаете, безбожники? Ведь это же канал!..

— А ты как смеешь оскорблять воинов его святейшества? — спросил подоспевший Эннана.

— Я вижу, ты как будто египтянин и, должно быть, из начальников, — ответил крестьянин. — Так вот что я тебе сказку: этот канал принадлежит могущественному господину. Он служит управляющим у писца при человеке, который носит опахало над достопочтенным мемфисским номархом. Смотрите, как бы вы не попали в беду.

— Делайте свое дело, — приказал Эннана греческим солдатам, не без любопытства поглядывавшим на крестьянина. Они не понимали его языка, но их удивлял его тон.

— Они продолжают засыпать!.. — воскликнул крестьянин с растущим возмущением. — Несдобровать вам, собаки! — вскричал он, бросаясь с мотыгой на одного из солдат.

Грек вырвал мотыгу и так ударил крестьянина в зубы, что у того кровь брызнула изо рта. Потом снова принялся сыпать песок.

Ошеломленный ударом, крестьянин взмолился:

— Добрый господин! Ведь этот канал я рыл десять лет, сам, своими руками, все ночи и все праздники! Наш господин обещал, что, если я

проведу воду в эту ложбину, он выделит мне участок у канала, даст пятую часть урожая и подарит свободу... Вы слышите?.. Свободу мне и троим моим детям!.. О боги!.. — Он воздел руки и снова обратился к Эннана: — Они не понимают меня, эти заморские бородачи, собачье племя, братья финикиян и евреев! Но ты, господин, выслушай меня... Десять лет, — в то время как другие отправлялись кто на ярмарку, кто на пляски, кто со священными процессиями, — я пробирался сюда, в это глухое ущелье. Я перестал ходить на могилу матери — и все рыл да рыл... забыл об умерших, только бы детям своим и себе хоть на один день перед смертью добыть свободу и землю... О боги, будьте свидетелями, сколько раз заставляла меня тут ночь! Сколько раз я слышал здесь протяжный вой гиены, видел зеленые глаза волков! Но я не бежал от них: куда мог бежать я, несчастный, когда на каждой тропинке стерегли меня всякие страхи, а свобода держала за ноги... Как-то раз из-за этой скалы вышел на меня лев, фараон всех зверей. Мотыга выпала у меня из рук. Я бросился перед ним на колени и взмолился: «Господин! Неужели ты не побрезгаешь мною? Ведь я только раб!» Хищный лев и тот сжалился надо мной. Волки обходили меня. Даже летучие мыши щадили мою бедную голову. А ты, египтянин...

Крестьянин замолчал, он увидел приближающиеся носилки Херихора и его свиту. Заметив опало и перекинутую через плечо шкуру пантеры, крестьянин понял, что это знатный человек и, по-видимому, жрец. Он подбежал, бросился на колени и припал к земле.

— Чего тебе, старик? — спросил вельможа.

— «Свет солнца, выслушай меня! — воскликнул крестьянин. — Да не будет стонов в твоих чертогах и да не постигнет тебя несчастье. Да не испытаеть ты неудачи в делах своих и не унесет тебя течение, когда ты будешь переплывать через Нил...»

— Я спрашиваю — чего ты хочешь? — повторил министр.

— «Добрый господин! — продолжал крестьянин. — Начальник, не знающий спеси, побеждающий ложь и творящий правду... Отец нищему, муж вдове, кров не имеющему матери. Дозволь мне возглашать имя твое, как возглашают закон в стране. Снизойди к словам уст моих... Выслушай и учини справедливость, благороднейший из благородных...»^[28]

— Он просит, чтобы не засыпали этот ров, — пояснил Эннана.

Министр пожал плечами и двинулся дальше по направлению к каналу, через который перебросили мостки. Тогда крестьянин в отчаянии обхватил его ноги.

— Уберите его прочь!.. — крикнул министр, отпрянув, точно от укуса змеи.

Писец Пентуэр отвернулся; его худое лицо стало серым. Эннана же набросился на крестьянина, сдавив ему сзади шею, но не мог оторвать его от ног министра и кликнул солдат. Минуту спустя Херихор переправился на другую сторону рва, а солдаты почти на руках оттащили крестьянина в самый конец колонны и дали ему десяток-другой тумаков, а всегда вооруженные прутьями низшие офицеры отсчитали ему несколько десятков ударов и бросили у входа в ущелье.

Избитый, окровавленный, а главное, перепуганный бедняк с минуту неподвижно сидел на песке, потом протер глаза и вдруг, вскочив, побежал по направлению к тракту, оглашая воздух воплями.

— Поглоти меня, земля!.. Проклят тот день, когда я увидел свет, и ночь, когда сказали: «Родился человек». В плаще справедливости нет и лоскутка для рабов. Да и боги не взглянут на такую тварь, у которой только и есть, что руки, чтобы трудиться, глаза, чтобы плакать, спина, чтобы получать удары. О смерть! Обрати мое тело в прах, дабы мне и там, на полях Осириса^[29], снова не родиться рабом...

Вне себя от негодования, царевич Рамсес взбирался на кручу, за ним шел Тутмос. У щеголя съехал набок парик, фальшивая бородка свалилась, и он нес ее в руках. Он устал и казался бы бледным, если б не слой румян на лице.

Наконец наследник остановился на вершине холма. Из ущелья доносился до них гул солдатских голосов и громахание катящихся баллист. Перед ними простиралась земля Гошен, все еще утопавшая в лучах солнца. Казалось, будто это не земля, а золотистое облако, на котором мечта выткала пейзаж, расцветив его изумрудами, серебром, рубинами, жемчугом и топазами.

Наследник престола протянул руку вперед.

— Смотри, — обратился он к Тутмосу, — там моя земля, а тут моя армия... И вот там самые высокие здания — дворцы жрецов, а здесь жрец командует моими войсками!.. Можно ли терпеть все это?

— Так всегда было, — ответил Тутмос, боязливо оглядываясь кругом.

— Ложь! Я знаю историю этой страны, скрытую от вас. Военачальниками и высшими правителями страны были всегда только фараоны, по крайней мере, наиболее энергичные из них. У этих властителей дни проходили не в жертвоприношениях и молитвах, а в управлении государством.

— Но если такова воля царя... — попробовал вставить Тутмос.

— Воля моего отца вовсе не в том, чтобы номархи правили по своей прихоти, а наместник Эфиопии считался почти равным владыке Обеих стран^[30]. И не в том, чтобы египетская армия бежала от пары золотых жуков, потому что военный министр у нас — жрец.

— Это прославленный военачальник... — прошептал вконец испуганный Тутмос.

— Какой он военачальник! Не тем ли он славен, что разбил кучку ливийских^[31] разбойников, которые удирают при одном виде египетских солдат? А посмотри, как ведут себя наши соседи: иудеи медлят с уплатой дани и платят все меньше и меньше, хитрые финикияне каждый год уводят по несколько кораблей из нашего флота. Против хеттов нам приходится держать на востоке огромную армию, а в Вавилоне и Ниневии^[32] разгорается движение, которое находит отклик во всей Месопотамии. И вот результаты жреческого управления: у моего прадеда было сто тысяч

талантов^[33] годового дохода и армия в сто шестьдесят тысяч человек, а у моего отца всего-навсего пятьдесят тысяч талантов и стодвадцатитысячная армия. И что это за армия! Если бы не греческий корпус, который сторожит ее, как овчарка овец, египетскими солдатами давно бы уже командовали жрецы, а фараон стал бы только жалким номархом.

— Откуда ты это знаешь? Откуда у тебя такие мысли? — удивился Тутмос.

— Ведь я сам из рода жрецов. И это они учили меня, когда я еще не был наследником престола. О, когда я после смерти отца — да живет он вечно! — стану фараоном, я поставлю ступню мою, обутую в бронзовую сандалию, им на шею! Но прежде всего, я завладею их сокровищницами, которые всегда были полны, а со времен Рамсеса Великого стали особенно разбухать и сейчас так богаты, что с ними не сравнится и фараонова казна.

— Горе нам! — вздохнул Тутмос. — У тебя такие замыслы, что под их тяжестью провалился бы вон тот холм, если бы он мог слышать и понимать. А где твои силы?.. Помощники?.. Солдаты?.. Против тебя встанет весь народ, предводительствуемый могущественной кастой. А кто будет на твоей стороне?

Царевич задумался. Наконец он ответил:

— Армия.

— Значительная часть ее пойдет за жрецами.

— Греческий корпус.

— Это бочка воды в Ниле.

— Чиновники.

— Половина их из жреческого сословия.

Рамсес печально тряхнул головой и замолчал.

По голому каменистому откосу они стали спускаться в ложбину. Вдруг Тутмос, забежавший несколько вперед, воскликнул:

— Неужели мне это мерещится? Посмотри, Рамсес! Между этими скалами укрылся второй Египет!

— Наверно, какая-нибудь жреческая усадьба, не платящая налогов, — с горечью ответил наследник.

У ног их в глубине лежала плодородная долина, имевшая форму вил, зубья которых терялись в скалах. Вдоль одного из них стояло несколько хижин для рабочих и красивый домик владельца или управляющего. Здесь росли пальмы, виноград, оливы, смоковницы с воздушными корнями, кипарисы, даже молодые баобабы. Посредине струился поток, а по склонам гор, на расстоянии нескольких сот шагов друг от друга, были расставлены небольшие запруды.

Спустившись к виноградникам, полным зрелых гроздей, они услышали женский голос, звавший кого-то, или, вернее, грустно напевавший:

— Где ты, моя курочка? Откликнись! Где ты, любимая? Что же ты убежала от меня? Разве не даю я тебе свежей водицы, не кормлю из своих рук отборным зерном, — даже рабы смотрят на это с завистью. Где же ты? Откликнись! Берегись — ночь тебя застигнет, и не найдешь ты дороги к дому, где все заботятся о тебе. Или прилетит из пустыни рыжий ястреб и растерзает твое сердечко. Напрасно будешь звать тогда свою хозяйку, как сейчас я тебя... Отзовись же, а то я рассержусь и уйду, и придется тебе возвращаться домой пешком.

Песня раздавалась все ближе и ближе. Певунья была уже в нескольких шагах от путников, когда Тутмос, выглянув из кустов, воскликнул:

— Посмотри, Рамсес, какая красавица!..

Царевич, вместо того чтобы посмотреть, выбежал на тропинку навстречу поющей. Это была действительно красивая девушка с правильными чертами лица и кожей цвета слоновой кости. Из-под легкого покрывала выбивались длинные черные волосы, собранные в узел. На ней был легкий, ниспадавший мягкими складками белый хитон, который она с одной стороны поддерживала рукой; под прозрачной тканью розовела девичья грудь, словно два яблока.

— Кто ты, девушка? — спросил Рамсес.

Суровые морщины исчезли с его лба, глаза загорелись.

— О Яхве! ^[34] Отец!.. — крикнула девушка, в испуге остановившись. Немного погодя она, однако, успокоилась, и ее бархатные глаза приняли выражение кроткой грусти.

— Как ты попал сюда? — спросила она Рамсеса слегка дрогнувшим голосом. — Я вижу, ты солдат, а сюда солдатам нельзя ходить.

— Почему нельзя?

— Потому что это земля великого господина Сезофриса.

— Ого-го! — рассмеялся Рамсес.

— Не смейся, а то сейчас побледнеешь. Господин Сезофрис служит писцом у господина Хайреса, который носит опахало над досточтимым номархом Мемфиса. Мой отец его видел и падал пред ним ниц.

— Ого-го! — повторял, продолжая смеяться, Рамсес.

— Слова твои дерзки! — сказала девушка, хмуря брови. — Если б не светилось твое лицо добротой, я подумала бы, что ты греческий наемник или бандит.

— Пока он еще не бандит, но когда-нибудь, пожалуй, станет

величайшим бандитом, какого когда-либо носила земля, — вмешался щеголеватый Тутмос, оправляя свой парик.

— А ты, наверно, танцовщик? — ответила, уже осмелев, девушка. — О! Я даже уверена, что видела тебя на ярмарке в Пи-Баилосе. Это не ты ли заклинал змей?..

Юноши пришли в веселое настроение.

— А ты кто такая? — спросил девушку Рамсес, пытаясь взять ее за руку. Но она отдернула ее.

— Как ты смеешь? Я — Сарра, дочь Гедеона, управляющего этой усадьбой.

— Еврейка? — спросил Рамсес, и по лицу его пробежала тень.

— Ну и что же?.. Ну и что же? — воскликнул Тутмос. — Ты думаешь, еврейки хуже египтянок? Они только скромнее и неприступнее, и это придает их любви особую прелесть.

— Так вы язычники? — проговорила Сарра с достоинством. — Можете отдохнуть, если вы устали, нарвите себе винограду и уходите. Наши работники не рады таким гостям.

Она повернулась, чтобы уйти, но Рамсес удержал ее.

— Постой. Ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты ушла от меня.

— Злой дух тебя обуял, что ли? Никто в этой долине не посмел бы так со мной говорить! — возмутилась Сарра.

— Видишь ли, — вмешался Тутмос, — этот юноша — офицер жреческого полка Птаха и служит писцом у писца того господина, который носит опахало над носящим опахало за номархом Хабу^[35].

— Я вижу, что он офицер, — ответила Сарра, задумчиво посмотрев на Рамсеса, — а может быть, даже и большой господин? — прибавила она, приложив палец к губам.

— Кто бы я ни был, твоя красота превосходит мою знатность! — воскликнул Рамсес. — Скажи, однако, правда ли, что вы... что вы едите свинину?

Сарра посмотрела на него с обидой. Тутмос же заметил:

— Видно, что ты не знаешь евреек. Еврей готов скорее умереть, чем отведать свиного мяса, которое я, впрочем, считаю вовсе не плохим.

— А кошек вы убиваете? — продолжал спрашивать Рамсес, сжимая руку Сарры и глядя ей в глаза.

— И это выдумки, гнусные выдумки! — воскликнул Тутмос. — Ты мог бы спросить об этом меня и не болтать вздор. У меня были три любовницы еврейки.

— До сих пор ты говорил правду, а сейчас лжешь, — вспылила

Сарра. — Еврейка не будет ничьей любовницей! — прибавила она с гордостью.

— Даже любовницей писца у такого господина, который носит опахало над номархом мемфисским? — спросил насмешливо Тутмос.

— Даже...

— Даже любовницей самого господина, что носит опахало?

Сарра смутилась, но все же ответила:

— Даже...

— И даже самого номарха?

У девушки опустились руки. Она растерянно переводила взгляд с одного юноши на другого. Губы у нее дрожали, глаза заволокло слезами.

— Кто вы такие? — спросила она с испугом. — Вы спустились сюда с гор, как путники, которые хотят утолить жажду и голод. А говорите со мной, как очень важные господа. Кто вы такие?.. Твой меч, — повернулась она к Рамсесу, — усыпан изумрудами, а на шее у тебя такая богатая цепь, какой нет даже в сокровищницах нашего господина, милостивейшего Сезофриса...

— Скажи мне лучше: нравлюсь ли я тебе? — настойчиво спрашивал Рамсес, сжимая ее руки и нежно заглядывая в глаза.

— Ты прекрасен, как архангел Гавриил, но я боюсь тебя, потому что не знаю, кто ты...

Вдруг из-за гор донесся звук рожка.

— Зовут тебя! — крикнул Тутмос.

— А если я такой большой господин, как ваш Сезофрис?

— Ты и в самом деле можешь им быть!.. — прошептала Сарра.

— А если я ношу опахало над мемфисским номархом?

— Ты можешь быть и столь знатным...

Где-то в горах прозвучал второй рожок.

— Идем, Рамсес, — стал настаивать встревоженный Тутмос.

— А если б я был наследником престола, ты пошла бы ко мне, девушка? — спросил царевич.

— О Яхве! — вскрикнула Сарра, падая на колени.

Теперь уже со всех сторон рожки трубили тревогу.

— Бежим! — кричал в отчаянии Тутмос. — Разве ты не слышишь, что в лагере тревога?

Наследник быстро снял свою цепь и набросил ее на шею Сарры.

— Отдай отцу, — сказал он, — я покупаю тебя. Прощай!..

Он страстно поцеловал ее в губы. Она обняла его ноги. Он вырвался, пробежал несколько шагов, снова вернулся и снова стал покрывать

поцелуями ее прелестное лицо и черные волосы, как будто не слыша нетерпеливых звуков рожка.

— Именем фараона заклинаю тебя, иди за мной! — крикнул Тутмос, схватив царевича за руку.

Они пустились бегом в ту сторону, откуда раздавались звуки рожков. Рамсес временами шатался, словно пьяный, и все оглядывался назад. Наконец они стали взбираться на противоположный склон.

«И этот человек, — думал Тутмос, — хочет бороться с жрецами!..»

Наследник и его друг бежали с четверть часа по скалистому гребню взгорья, все яснее слыша звуки рожков, которые еще неистовее трубили тревогу. Наконец они очутились в таком месте, откуда можно было охватить взором окрестности. Слева тянулся тракт, за которым отчетливо был виден город Пи-Баилос, стоявшие за ним полки наследника и огромное облако пыли, клубившееся над наступающим с востока противником.

Справа зияло глубокое ущелье, по которому греческий полк тащил метательные машины. Недалеко от тракта ущелье это сливалось с другим, более широким, выходявшим из глубины пустыни. Здесь творилось что-то странное. Греки с баллистами стояли в бездействии неподалеку от места слияния ущелий. На самом же месте слияния, между трактом и штабом наследника, выстроились, словно четыре частокола, четыре плотные шеренги каких-то других войск, оцетинившиеся сверкающими копьями.

Несмотря на крутизну дороги, наследник бегом пустился к своей колонне, туда, где стоял военный министр, окруженный офицерами.

— Что тут происходит?.. — грозно закричал он. — Зачем вы трубите тревогу, вместо того чтобы идти вперед?

— Мы отрезаны! — заявил Херихор.

— Кто?.. Кем?..

— Наша колонна — тремя полками Нитагора, вышедшими из пустыни.

— Значит, там, около дороги, стоит неприятель?

— Да, сам непобедимый Нитагор.

Можно было подумать, что наследник вдруг сошел с ума. Рот у него перекосялся, глаза выкатились из орбит. Он рванул меч из неясен и, подбежав к грекам, крикнул хриплым голосом:

— За мной, на тех, кто осмелился преградить нам путь!

— Да живешь ты вечно, наследник фараона!.. — вскричал Патрокл, тоже поднимая меч. — Вперед, потомки Ахиллеса!.. — обратился он к своим солдатам. — Покажем египетским пастухам, что никто не в силах остановить нас!

Рожки затрубили атаку. Четыре короткие, но прямые и упругие, как струна, греческие шеренги двинулись вперед; взвилось облако пыли, и раздались клики в честь Рамсеса.

Через несколько минут греки очутились лицом к лицу с египетскими

полками и в нерешительности замедлили шаг.

— За мной! — скомандовал наследник, устремляясь вперед с мечом в руке.

Греки взяли копья наперевес. В рядах противника поднялось какое-то движение, пробежал ропот, и копья их направились на атакующих.

— Кто вы такие, безумцы?.. — донесся мощный бас со стороны противника.

— Наследник престола!.. — ответил Патрокл.

На мгновение все стихло.

— Расступитесь!.. — раздался тот же громовой голос. Полки восточной армии медленно раздвинулись, словно тяжелые створы ворот, пропуская греческий отряд.

К наследнику приблизился седой военачальник в позолоченном шлеме и доспехах и, низко поклонившись, сказал:

— Победа за тобой, эрпатор! Только великий полководец выходит таким образом из трудного положения.

— Ты, Нитагор? Храбрейший из храбрых!.. — воскликнул царевич.

В это время к ним приблизился военный министр, слышавший их разговор.

— А если бы и у вас был такой же недисциплинированный военачальник, как сын царя, — спросил он язвительно, — чем кончились бы наши маневры?

— Оставь в покое молодого воина!.. — ответил Нитагор. — Разве тебе мало, что он показал львиные когти, как подобает потомку фараонов?..

Тутмос, услышав, какой оборот принимает разговор, вмешался и спросил Нитагора:

— Как ты очутился здесь, достойный военачальник, когда главные твои силы находятся впереди нашей армии?

— Я знал, что, в то время как наследник стягивает войска под Пи-Баилосом, мемфисский штаб еле-еле плетется. И вот, шутки ради, решил устроить вам, барчукам, западню... На мою беду, здесь оказался наследник и расстроил мои планы. Всегда так действуй, Рамсес, — конечно, перед настоящим врагом.

— А если он, как сегодня, наткнется на втрое превосходящие силы?.. — задал вопрос Херихор.

— Бесстрашный ум значит больше, чем сила, — ответил старый полководец. — Слон в пятьдесят раз сильнее человека, однако покоряется ему или гибнет от его руки.

Херихор ничего не ответил.

— Маневры были признаны оконченными. Наследник престола, в сопровождении министра и военачальников, направился к войскам, стоявшим у Пи-Баилоса. Здесь он приветствовал ветеранов Нитагора и простился со своими полками, приказав им идти на восток и пожелав успеха.

Окруженный многолюдной свитой, Рамсес направился обратно по тракту в Мемфис, приветствуемый толпами жителей земли Гошен, которые вышли ему навстречу, в праздничной одежде, с зелеными ветвями в руках. Вскоре тракт свернул в пустыню, и толпа заметно поредела; когда же они подошли к месту, где штаб наследника из-за скарабеев свернул в ущелье, — на тракте не осталось никого.

Рамсес кивнул Тутмосу и, указав ему на знакомый холм, шепнул:

— Пойдешь туда, к Сарре...

— Понимаю.

— Скажешь ее отцу, что я дарю ему усадьбу под Мемфисом.

— Понимаю. Послезавтра девушка будет твоей.

Обменявшись с наследников этими короткими фразами, Тутмос вернулся к маршировавшим за свитой полкам и вскоре скрылся.

По другую сторону тракта, шагах в двадцати от него, почти против ущелья, в которое утром свернули метательные машины, росло небольшое, хотя и старое тамариндовое дерево. Здесь стража, шедшая впереди свиты царевича, неожиданно остановилась.

— Опять какие-нибудь скарабеи? — шутя спросил у министра наследник.

— Посмотрим, — сухо ответил Херихор.

Но ни тот, ни другой не ожидали того, что увидели: на чахлом дереве висел голый человек.

— Что это? — спросил пораженный наследник.

Адъютанты подбежали поближе и узнали в повесившемся старика крестьянина, канал которого засыпали солдаты.

— Туда ему и дорога! — горячился в толпе офицеров Эннана. — Вы поверите, этот жалкий раб осмелился схватить за ноги министра!..

Услышав это, Рамсес сошел с коня и приблизился к дереву.

Крестьянин висел, вытянув вперед голову; рот его был широко открыт, ладони обращены к столпившимся воинам, в глазах застыл ужас. Казалось, он хотел что-то сказать, но голос не повиновался ему.

— Несчастный! — вздохнул с состраданием наследник.

Вернувшись к свите, он велел рассказать ему историю крестьянина, после чего долго ехал молча.

Перед глазами Рамсеса все время стоял образ самоубийцы, и душу терзало сознание, что с этим отверженным рабом поступили несправедливо, так несправедливо, что над этим стоило подумать даже ему, сыну и наследнику фараона.

Жара была нестерпимая, пыль забивалась в рот и жгла глаза людям и животным. Решили сделать короткий привал.

Нитагор тем временем заканчивал разговор с министром.

— Мои офицеры, — говорил старый полководец, — смотрят не под ноги, а вперед. Поэтому, может быть, неприятель еще ни разу не захватил меня врасплох.

— Хорошо, что вы упомянули об этом, достойнейший. Я чуть было не забыл, что мне надо расплатиться с долгами, — спохватился Херихор и велел созвать офицеров и солдат, какие окажутся поблизости.

— А теперь позовите-ка сюда Эннана, — распорядился министр, когда все собрались.

Увешанный амулетами воин появился так быстро, как будто только этого и ждал. Лицо его выражало радость, которую не в силах было сдержать смирение.

Увидав Эннана, Херихор обратился к собравшимся:

— Согласно воле царя, с окончанием маневров верховная военная власть опять переходит ко мне.

Присутствующие склонили головы.

— Этой властью я должен воспользоваться прежде всего, чтобы воздать каждому по заслугам...

Офицеры переглянулись.

— Эннана, — продолжал министр, — я знаю, что ты всегда был одним из наиболее исполнительных офицеров.

— Истина говорит твоими устами, — ответил Эннана. — Как пальма ждет живительной росы, так жду я приказаний моих начальников. Не получая их, я чувствую себя, как одинокий путник, заблудившийся в пустыне.

Покрытые шрамами офицеры Нитагора дивились бойкому ответу Эннана и думали про себя: «Вот кто получит высшее отличие!..»

— Эннана, — продолжал министр, — ты не только исполнитель, но и благочестив, не только благочестив, но и зорек, как ибис над водой. Боги отметили тебя драгоценнейшими качествами: змеиною осторожностью и ястребиным зрением...

— Чистейшая правда струится из твоих уст, — вставил Эннана. — Если бы не мое острое зрение, я не заметил бы двух священных

скарабеев...

— Да, — перебил министр, — и не спас бы нашу колонну от святотатства. За этот подвиг, достойный благочестивейшего египтянина, дарю тебе... — Министр снял с пальца золотой перстень. — ...дарю тебе вот этот перстень с именем богини Мут^[36], милость и покровительство которой будут сопутствовать тебе до конца земного странствования, если ты этого заслужишь.

Министр-главнокомандующий вручил Эннана перстень, а присутствующие огласили воздух громкими кликами в честь фараона и звякнули оружием.

Видя, что министр не трогается с места, Эннана тоже продолжал стоять, глядя ему в глаза, как верный пес, который, получив из хозяйской руки кусок, виляет хвостом и ждет.

— А теперь, — продолжал министр, — признайся, Эннана, почему ты не доложил мне, куда исчез наследник престола, когда войско с трудом пробиралось по ущелью?.. Ты нас подвел, ибо нам пришлось трубить тревогу поблизости от неприятеля...

— Боги свидетели, я ничего не знал о достойнейшем наследнике, — ответил, недоумевая, Эннана.

Херихор покачал головой.

— Не может быть, чтобы человек, одаренный таким зрением, что за сто шагов в песке видит священных скарабеев, не заметил столь высокой особы, как наследник престола.

— Истинно говорю — не видел!.. — уверял Эннана, бия себя в грудь. — Впрочем, никто и не отдавал мне приказания наблюдать за царевичем.

— Разве я не освободил тебя от командования сторожевым отрядом?.. Или дал тебе какое-нибудь другое поручение? — спросил министр. — Ты был совершенно свободен, как и должно человеку, которому поручено наблюдать за важнейшими событиями. А ты справился с этой задачей?.. За подобную провинность в военное время тебя предали бы смерти...

Несчастный офицер побледнел.

— Но я питаю к тебе отеческие чувства, Эннана, — продолжал Херихор, — и, памятуя великую услугу, которую ты оказал армии, заметив скарабеев, символ священного солнца, я накажу тебя не как строгий министр, а как кроткий жрец, очень милостиво: ты получишь всего лишь пятьдесят палок.

— Ваше высокопреосвященство...

— Эннана, ты умел быть счастливым, так будь теперь мужественным и

прими это маленькое предостережение, как и подобает офицеру армии его святейшества.

Не успел достойнейший Херихор окончить, как старшие офицеры уложили Эннану в удобном месте, в стороне от дороги, один уселся ему на шею, другой на ноги, а два прочих отсчитали ему по голому телу пятьдесят ударов гибкими камышовыми палками.

Бесстрашный воин не издал ни одного стога, напротив, напевал вполголоса солдатскую песню и по окончании экзекуции попытался даже сам встать. Ноги, однако, отказались ему повиноваться. Он упал лицом в песок, и его пришлось везти в Мемфис на двуколке; лежа в ней и улыбаясь солдатам, он размышлял о том, что не так быстро меняется ветер в южном Египте, как счастье в жизни бедного офицера.

Когда после короткого привала свита наследника тронулась дальше, почтенный Херихор пересел на коня и, продолжая путь рядом с генералом Нитагором, беседовал с ним вполголоса об азиатских делах, главным образом о пробуждении Ассирии.

В это время между двумя слугами министра — адъютантом, носящим опахало, и писцом Пентуэром — тоже завязался разговор.

— Что ты думаешь о случае с Эннаной? — спросил адъютант.

— А что ты думаешь о крестьянине, который повесился? — спросил писец.

— Мне кажется, что для него сегодняшний день — самый счастливый, а веревка вокруг шеи — самая мягкая из тех, какие попадались ему в жизни, — ответил адъютант. — Кроме того, я думаю, что Эннана будет теперь весьма внимательно наблюдать за наследником.

— Ошибаешься, — сказал Пентуэр, — отныне Эннана никогда больше не заметит скарабея, будь тот величиной с вола. А что касается крестьянина, то не кажется ли тебе, что ему все-таки очень и очень плохо жилось на священной египетской земле...

— Ты не знаешь крестьян, потому так говоришь...

— А кто же знает их, если не я? — хмуро ответил писец. — Я вырос среди них. Разве я не видел, как мой отец чистил каналы, сеял, жал, а главное — вечно платил подати? О, ты не знаешь, что такое крестьянская доля в Египте!..

— Зато я знаю, — ответил адъютант, — что такое доля чужеземца. Мой прадед или прапрадед был одним из знатных гиксосов^[37]. Он остался здесь только потому, что привязался к этой земле. И что же — мало того, что у него отняли его поместье, — даже мне до сих пор не прощают моего происхождения!.. Сам знаешь, что мне порою приходится терпеть от

коренных египтян, несмотря на мой высокий пост. Как же я могу жалеть египетского мужика, если он, заметив желтоватый оттенок моей кожи, бурчит себе под нос: «Язычник!», «Чужеземец!» А сам он, мужик, — не язычник и не чужеземец!..

— Он только раб, — вставил писец, — раб, которого женят, разводят, бьют, продают, иногда убивают и всегда заставляют работать, обещая вдобавок, что и на том свете он тоже будет рабом.

Адъютант пожал плечами.

— Чудак ты, хоть умница!.. — сказал он. — Разве ты не видишь: каждый из нас, какое бы положение он ни занимал — низкое или самое низкое, — должен трудиться. И разве тебя огорчает, что ты не фараон и что над твоей могилой не будет пирамиды?.. Ты об этом не думаешь, потому что понимаешь, что таков уж на свете порядок. Каждый исполняет свои обязанности: вол пашет землю, осел возит путешественников, я ношу опахало министра, ты за него помнишь, думаешь, а мужик обрабатывает поле и платит подати. Что нам до того, что какой-то бык родится Аписом и все воздают ему почести или что какой-то человек родится фараоном либо номархом?..

— У этого крестьянина украли его десятилетний труд, — прошептал Пентуэр.

— А твой труд разве не крадет министр?.. — спросил адъютант. — Кому известно, что это ты правишь государством, а не досточтимый Херихор?..

— Ошибаешься, — сказал писец, — он действительно правит. У него власть, у него воля, а у меня — только знания. Притом ни меня, ни тебя не бьют, как того крестьянина.

— А вот избили же Эннану, и с нами это может случиться. Надо иметь мужество довольствоваться положением, какое кому предназначено. Тем более что, как тебе известно, наш дух, бессмертный Ка^[38], очищаясь, поднимается каждый раз на более высокую ступень, чтобы через тысячи или миллионы лет вместе с душами фараонов и рабов и даже вместе с богами раствориться во всемогущем прародителе жизни, у которого нет имени.

— Ты говоришь как жрец, — ответил с горечью Пентуэр. — Скорее я должен был бы относиться ко всему с таким спокойствием. А у меня, напротив, болит душа, потому что я чувствую страдания миллионов.

— Кто же тебе велит?..

— Мои глаза и сердце. Они — точно долина между гор, которая не может молчать, когда слышит крик, и откликается эхом.

— А я скажу тебе, Пентуэр, что ты напрасно задумываешься над такими опасными вещами. Нельзя безнаказанно бродить по кручам восточных гор — того и гляди, сорвешься, — или блуждать по западной пустыне, где рыскают голодные львы и вздымается бешеный хамсин^[39].

Между тем доблестный Эннана, лежа в двуколке, где от тряски боль еще усиливалась, желая показать свое мужество, потребовал, чтобы ему дали поесть и напиться. Съев сухую лепешку, натертую чесноком, и выпив из высокого кувшина кисловатого пива, он попросил возницу, чтобы тот веткой отгонял мух от его израненного тела. Ледка ничком на мешках и ящиках в скрипучей двуколке, бедный Эннана заунывным голосом затянул песню про тяжкую долю низшего офицера:

«С чего это ты взял, что лучше быть офицером, чем писцом? Подойди и посмотри на рубцы и ссадины на моем теле, а я расскажу тебе про незавидную жизнь офицера.

Я был еще мальчиком, когда меня взяли в казарму. Утром вместо завтрака меня угощали тумакон в живот, так что даже в глазах темнело; в полдень вместо обеда, — кулаком в переносицу, так что даже лицо напухало. А к вечеру вся голова была в крови и чуть не раскалывалась на части.

Пойдем, я расскажу тебе, как я совершал поход в Сирию. Я шел навьюченный, как осел, — ведь еду и питье приходилось нести на себе. Шея у меня, как у осла, не сгибалась, спина ныла. Я пил протухшую воду и перед врагом был беспомощен, как птица в силках.

Я вернулся в Египет, но здесь я подобен дереву, источенному червями. За всякий пустяк меня раскладывают на земле и бьют по чему попало, так что живого места не остается. И вот я болен и должен лежать, меня приходится везти в двуколке, а пока слуга крадет мой плащ и скрывается.

Поэтому, писец, ты можешь изменить свое мнение о счастье офицера».

^[40]

Так пел доблестный Эннана. И его печальная песня пережила египетское царство.

По мере того как свита наследника престола приближалась к Мемфису, солнце склонялось к западу, и от бесчисленных каналов и далекого моря поднимался ветер, насыщенный прохладной влагой. Дорога снова шла по плодородной местности; на полях и в зарослях люди продолжали работать, хотя пустыня уже зарозовела, а макушки гор пылали огнем. Рамсес остановился и повернул лошадь. Его тотчас же окружила свита, подъехали высшие военачальники, и мало-помалу, ровным шагом, стали подходить полки.

Освещенный пурпурными лучами заходящего солнца, наследник казался статуей бога. Солдаты смотрели на него с гордостью и любовью, офицеры — с восторгом.

Рамсес поднял руку. Все смолкли. Он начал:

— Достойные военачальники, храбрые офицеры, послушные воины. Сегодня боги даровали мне счастье командовать такими, как вы, героями. Радостью полно мое царственное сердце. Но я хочу, чтобы вы, военачальники, офицеры и воины, всегда разделяли со мной мою радость, и потому отдаю приказ выдать по одной драхме^[41] каждому солдату из тех, что пошли на восток, и тех, что вернутся с нами с восточной границы. Кроме того, еще по одной драхме греческим солдатам, которые сегодня под моим командованием открыли нам выход из ущелья, и по одной драхме солдатам тех полков благородного Нитагора, которые хотели отрезать нам путь к тракту...

Точно гром прокатилось по полкам:

— Да здравствует наш царевич!.. Да здравствует наследник фараона!.. Да живет он вечно!.. — кричали воины, и громче всех греки.

Наследник продолжал:

— Для раздачи низшим офицерам моей армии и армии благородного Нитагора я жалую пять талантов, достойнейшему же министру и главным военачальникам — десять талантов...

— Я отказываюсь от своей доли в пользу солдат, — сказал Херихор.

— Да здравствует наследник!.. Да здравствует министр! — кричали офицеры и солдаты.

Багровый диск солнца уже коснулся песков западной пустыни, когда Рамсес простился с войсками и, пришпорив коня, поскакал в Мемфис, а достойный Херихор под гром восторженных кликов сел в носилки и тоже

приказал обогнать марширующие колонны.

Удалившись вперед настолько, что отдельные голоса слились в один общий гул, напоминавший шум водопада, министр, высунувшись из носилок, обратился к писцу Пентуэру:

— Все помнишь?

— Все, достойнейший.

— Твоя память — как гранит, на котором пишут историю, а твоя мудрость — как Нил, который все заливает и оплодотворяет, — сказал министр. — К тому же боги одарили тебя величайшей из всех добродетелей — разумным смирением...

Писец ничего не ответил.

— Ты правильное, чем кто-либо другой, можешь оценить ум и поступки наследника престола, да живет он вечно!

Министр помолчал с минуту. Так много говорить было не в его привычках.

— Итак, скажи мне, Пентуэр, и запиши: подобает ли, чтобы наследник престола высказывал перед армией собственную волю?.. Так может поступать только фараон, или изменник, или... легкомысленный юнец, который с одинаковой легкостью совершает славные подвиги и бросает безбожные слова.

Солнце зашло, и скоро надвинулась звездная ночь. Над бесчисленными каналами Нижнего Египта стал сгущаться серебристый туман, легкий ветер относил его к самой пустыне, охлаждая усталых солдат и насыщая растения, изнывавшие от жажды.

— А еще, Пентуэр, подумай и скажи мне, — продолжал министр, — откуда наследник возьмет двадцать талантов, чтобы выполнить обещание, так необдуманно данное сегодня армии. Впрочем, откуда бы он ни взял деньги, кажется мне, а наверное, и тебе, небезопасным, чтобы наследник делал армии подарки в такое время, когда самому фараону нечем выплатить жалованье возвращающимся с востока полкам Нитагора. Я не спрашиваю твоего мнения, оно мне известно, как и тебе хорошо известны самые сокровенные мои мысли; прошу тебя только запомнить то, что ты видел, чтобы потом рассказать в коллегии жрецов.

— А скоро она будет созвана? — спросил Пентуэр.

— Пока еще нет повода. Я сперва попытаюсь обуздать разъяренного бычка при содействии родительской руки. Жаль ведь юношу, — у него большие способности и энергия южного вихря. Но если вихрь, вместо того чтоб сметать с лица земли врагов Египта, станет прибивать его пшеницу и вырывать с корнем пальмы...

Министр замолчал. Свита его скрылась в темной зелени аллеи, ведущей к Мемфису.

В это время Рамсес подъезжал к дворцу фараона.

Дворец стоял на холме за городом, среди парка. Там росли диковинные деревья: южные — баобабы, северные — кедры, сосны и дубы. Благодаря искусству садоводов они жили десятки лет и достигали большой высоты.

Тенистая аллея вела вверх, к воротам вышиною с трехэтажное здание. С каждой стороны ворот возвышалось мощное сооружение, вроде башни из песчаника в форме усеченной пирамиды, сорок шагов шириной и высотой в пять этажей. Ночью эти причудливые башни казались огромными шатрами. На каждом этаже у них было по одному квадратному окошку. Крыши были плоские. С вершины одной такой башни дворцовая стража смотрела вниз, на землю; с другой — дежурный жрец наблюдал звезды.

Вправо и влево от этих башен, называемых пилонами, тянулась каменная ограда, вернее, ряд длинных одноэтажных строений с узкими окнами и плоской крышей, по которой ходили часовые. По обеим сторонам главных ворот возвышались две статуи, достигавшие уровня второго этажа; у подножия статуй тоже ходили часовые.

Когда наследник в сопровождении нескольких всадников подъехал к воротам, часовой, несмотря на темноту, узнал его. Тотчас же выбежал из пилона дворцовый чиновник, в белой юбке, темной накидке и в парике, похожем на колпак.

— Во дворец уже поздно? — спросил наследник.

— Да, ваше высочество, — ответил тот. — Царь обряжает богов ко сну.

— А что он будет делать потом?

— Он соизволит принять военного министра Херихора.

— Ну, а после?

— После этого он будет смотреть танцы в большом зале, а затем примет ванну и совершит вечерние молитвы.

— Меня он не ждет к себе? — спросил наследник.

— Завтра, после военного совета.

— А что делают царицы?

— Первая царица молится в комнате покойного сына, ваша же благородная матушка изволит принимать финикийского посла, который привез ей подарки от женщин Тира^[42].

— Есть и девушки?

— Есть несколько; на каждой драгоценностей, по крайней мере, на десять талантов.

— А кто там бродит с факелами? — спросил царевич, указывая рукой

на нижнюю часть парка.

— Это снимают с дерева брата вашего высочества. Он сидит там с полудня.

— И не хочет спускаться?

— Теперь спустится, — за ним пришел шут первой царицы и пообещал, что сведет его в харчевню, где пьют парасхиты^[43].

— А про сегодняшние маневры здесь уже что-нибудь слышали?

— В военной коллегии говорили, что штаб был отрезан от корпуса.

— А еще что?..

Чиновник молчал в нерешительности.

— Рассказывай, что слышал.

— Еще говорили, что за это ты приказал отсчитать одному офицеру пятьсот палок, а проводника повесить.

— Какая ложь!.. — отозвался один из адъютантов наследника.

— Солдаты тоже говорят, что все это, наверно, враки, — ответил чиновник смелее.

Наследник повернул коня и поехал в нижнюю часть парка, где находился малый дворец, в котором он жил. Это был, в сущности, одноэтажный деревянный павильон. Он имел форму шестигранника огромных размеров с двумя террасами — верхней и нижней, которые шли вокруг всего здания и держались на деревянных столбах. Внутри горели светильники, и видно было, что стены сделаны из резного дерева, ажурного, как кружево, и защищены от ветра разноцветными тканями. На плоской, обнесенной балюстрадой кровле было разбито несколько шатров.

Наследник вошел в дом, где его радостно встретили полунагие прислужники; одни освещали факелами дорогу, другие падали перед ним ниц. Здесь он снял запыленную одежду, искупался в каменной ванне и накинул на себя белую тогу, нечто вроде большой простыни, застегнув ее у шеи и перевязав у талии шнуром. На первом этаже он сел ужинать, ему подали пшеничную лепешку, горсть фиников и кружку легкого пива. Затем он поднялся на верхнюю террасу и, улегшись на ложе, покрытом львиной шкурой, велел прислуге разойтись и прислать к нему наверх Тутмоса, как только тот прибудет.

Около полуночи перед павильоном остановились носилки, из которых вышел адъютант наследника, Тутмос. Зевая от усталости, он тяжелой походкой поднялся на террасу. Наследник тотчас же вскочил с постели.

— Это ты? Ну что? — спросил он.

— Ты еще не спишь? — удивился Тутмос. — О боги, после стольких дней мучительной тряски!.. А я-то надеялся, что удастся соснуть хотя бы

до восхода солнца.

— Как там Сарра?..

— Будет здесь послезавтра или ты у нее в усадьбе, на том берегу Нила.

— Только послезавтра?!

— Только?.. Выспался бы ты лучше, Рамсес. Слишком много накопилось у тебя в сердце черной крови. И оттого тебя бросает в жар.

— А что ее отец?..

— Он — человек порядочный и неглупый. Зовут его Гедеон. Когда я сказал ему, что ты хочешь взять его дочь, он бросился на землю и стал рвать на себе волосы. Я, конечно, выждал, пока окончатся эти излияния отцовского горя, поел кое-чего, выпил вина, и мы приступили к переговорам. Гедеон, обливаясь слезами, сначала клялся, что предпочел бы видеть свою дочь в могиле, чем чьей-нибудь наложницей. Тогда я сказал ему, что он получит под Мемфисом, на берегу Нила, имение, которое приносит два таланта годового дохода и свободно от налогов. Он вознегодовал. Я пообещал ему еще один талант ежегодно золотом и серебром. Он вздохнул и заметил, что его дочь три года училась в Пи-Баилосе. Я набавил еще талант. Но Гедеон все тем же безутешным тоном стал уверять, что теряет очень хорошую должность управляющего у господина Сезофриса. Я объяснил, что ему незачем бросать эту должность, и прибавил еще десять дойных коров с твоего скотного двора. Лицо его несколько прояснилось. Он признался мне под глубочайшим секретом, что на его Сарру обратил уже внимание один очень важный господин, некто Хайрес, который носит опахало над мемфисским номархом. Я пообещал ему еще бычка, небольшую золотую цепь и ценное запястье. Таким образом, за Сарру придется отдать: усадьбу, два таланта наличными ежегодно, десять коров, бычка, цепь и золотое запястье. Это ее отцу, почтенному Гедеону. А ей самой — что ты пожелаешь.

— Ну, а как вела себя Сарра? — спросил наследник.

— Пока мы договаривались, она гуляла по саду, а когда закончили переговоры и спрыснули их хорошим еврейским вином, — знаешь, что она сказала отцу?.. Что если бы он не отдал ее тебе, она бросилась бы со скалы. А теперь ты можешь спать спокойно, — закончил Тутмос.

— Сомневаюсь, — ответил наследник. Он стоял, опершись на балюстраду, и глядел в пустынную часть парка. — Знаешь, мы по дороге натолкнулись на труп повесившегося крестьянина!..

— О! Это похуже скарабеев! — поморщился Тутмос.

— Бедняга покончил с собою с горя: солдаты засыпали канал, который он десять лет рыл в пустыне.

— Во всяком случае, он уже крепко спит... Пора, пожалуй, и нам...

— Бессовестно поступили с этим человеком, — продолжал наследник. — Надо найти его детей, выкупить их и дать им участок земли в аренду.

— Но это надо сделать под большим секретом, — заметил Тутмос. — Иначе все крестьяне начнут вешаться, и нам, их хозяевам, ни один финикийнин не поверит в долг и медного дебена.

— Брось шутки! Если б ты видел лицо этого крестьянина, ты тоже не заснул бы...

Вдруг снизу, из чащи парка, послышался голос не очень громкий, но отчетливый:

— Да благословит тебя, Рамсес, единый и всемогущий бог, которому нет имени на языке человека, ни изваяний в священных храмах!

Изумленные юноши перегнулись через перила.

— Кто ты?.. — громко спросил наследник.

— Я — угнетенный египетский народ, — медленно и спокойно произнес голос.

Потом все стихло. Ни малейшее движение, ни малейший шорох ветвей не выдали присутствия поблизости человека.

По приказу наследника выбежали прислужники с факелами, спустили собак и обыскали все кусты. Но никого не нашли.

— Кто бы это мог быть?.. — спросил Тутмоса взволнованный наследник. — Может быть, дух того крестьянина?

— Дух? — повторил адъютант. — Я никогда не слышал, чтобы духи говорили, хотя не раз стоял в карауле у храмов и гробниц. Я скорее готов предположить, что с нами говорил кто-нибудь из твоих друзей.

— Зачем же было ему скрываться?

— А не все ли тебе равно? — ответил Тутмос. — У каждого из нас десятки, если не сотни, незримых врагов. Будь же благодарен богам, что у тебя нашелся хоть один незримый друг.

— Я сегодня не засну... — прошептал взволнованный царевич.

— Брось... Вместо того чтобы бегать по террасе, послушайся меня и ложись. Знаешь, сон — божество важное, ему не подобает гоняться за теми, кто скачет, как олень. Сон любит удобства, и, когда ты ляжешь на мягком ложе, он сядет рядом с тобой и укроет тебя своим широким плащом, который заслоняет людям не только глаза, но и память...

Говоря это, Тутмос подвел Рамсеса к дивану, принес ему под голову подставку из слоновой кости в виде полумесяца и уложил его спать. Затем он спустил полотняную завесу шатра, сам расположился рядом на полу, и

через несколько минут оба заснули.

Мемфисский дворец фараона входили через ворота между двумя пятиэтажными башнями, или пилонами. Наружные стены этих строений из серого песчаника снизу до самого верху были покрыты барельефами.

Над воротами на щите был изображен герб, или символ государства: крылатый шар, из-за которого выглядывали две змеи. Ниже восседал ряд богов, которым фараоны приносили жертвенные дары. На боковых колоннах в пять ярусов были высечены фигуры богов, а под ними — иероглифические надписи.

На стенах каждого пилона главное место занимал барельеф с изображением Рамсеса Великого. В одной руке у него была секира, а другой он держал за волосы людей, связанных в пучок, словно петрушка. Над царем стояли или сидели в два яруса боги, еще выше расположен был ряд фигур с жертвенными дарами, а у самой вершины пилонов изображения крылатых змей перемежались с изображениями скарабеев.

Эти пятиэтажные пилоны со своими суживающимися кверху стенами, соединяющие их трехэтажные ворота, барельефы, в которых строгая симметрия сочеталась с мрачной фантазией, а благочестие с жестокостью, производили угнетающее впечатление. Казалось: войти во дворец трудно, выйти невозможно, а жить в нем тяжело.

Ворота, перед которыми толпились солдаты и дворцовая челядь, вели во двор, окруженный галереями на столбах. Двор представлял собой красивый садик, где выращивались в кадках карликовые алоэ и карликовые пальмы, апельсиновые деревья и кедры; все это было выстроено шпалерами и подобрано по росту. Посреди двора бил фонтан. Дорожки были усыпаны цветным песком.

Тут, под сводами галерей, сидели или медленно расхаживали высшие сановники государства, негромко переговариваясь между собой.

Со двора высокая дверь вела в зал, свод которого поддерживался двенадцатью колоннами в три этажа высотой. Зал был большой, но от массивных колонн казался тесным. Освещался он небольшими окошками в стенах и широким прямоугольным отверстием в потолке. В зале царили прохлада и полумрак, позволявший, однако, разглядеть желтые стены и колонны, покрытые многоярусной росписью: вверху — листья и цветы, ниже — боги, еще ниже — люди, несущие их изваяния или приносящие жертвенные дары, и всюду между рисунками ряды иероглифов.

Все это было раскрашено яркими и даже резкими красками: зеленой, красной и синей.

В этом зале с узорчатым мозаичным полом стояли в глубоком молчании жрецы, в белых одеждах, босые, а также высшие государственные сановники, военный министр Херихор и полководцы Нитагор и Патрокл, вызванные к фараону.

Его святейшество Рамсес XII, как обычно перед советом, совершал в своей молельне жертвоприношение богам. Это продолжалось довольно долго. Поминутно из отдаленных покоев появлялся какой-нибудь жрец или чиновник, сообщая последние сведения о ходе богослужения: «...Сломал печать на дверях молельни... Совершает омовение бога... Облачает его... Закрывл двери...»

Лица присутствующих выражали беспокойство и подавленность. Только Херихор сохранял хладнокровие, тогда как Патрокл не скрывал нетерпения, а Нитагор время от времени нарушал торжественную тишину мощными раскатами своего голоса. При каждом таком неприлично громком возгласе старого вояки придворные шарахались, словно испуганные овцы, и переглядывались между собой, как будто желая сказать: «Неотесанный мужлан, всю жизнь воюет с варварами — что с него спросишь?..»

В отдаленных покоях послышался звон колокольчика и бряцание оружия. В зал вошли двумя рядами телохранители в золотых шлемах и нагрудниках, с обнаженными мечами, затем два ряда жрецов, и, наконец, показались носилки с фараоном, который восседал на троне, окруженный облаками дыма из кадилъниц.

Властелин Египта, Рамсес XII, был человек лет шестидесяти, с увядшим лицом. На нем был белый плащ, голову его украшал красно-белый колпак с золотой змеей, в руке фараон держал длинный жезл.

При появлении процессии все пали ниц. Один только Патрокл, как истый варвар, ограничился низким поклоном, а Нитагор опустилс на одно колено, но тотчас же встал.

Носилки фараона остановились перед возвышением, на котором под балдахином стоял трон из черного дерева. Фараон медленно сошел с носилок, окинул взором присутствующих и, воссев на трон, устремил глаза на орнамент, изображавший розовый шар с голубыми крыльями и зелеными змеями.

Направо от фараона стал верховный писец, налево — судья с жезлом, оба в огромных париках.

По знаку верховного судьи все или сели на пол, или опустились на

колени. Верховный писец обратился к фараону:

— Господин наш и могучий повелитель! Твой слуга Нитагор, великий страж восточной границы, прибыл, чтобы воздать тебе почести, и привез дань от покоренных народов: малахитовую вазу, наполненную золотом, триста быков, сто коней и благовонное дерево тешен.

— Скудная это дань, господин мой, — проговорил Нитагор. — Настоящие сокровища мы нашли бы на берегах Евфрата, где гордым, но слабым царям очень не мешало бы напомнить времена Рамсеса Великого.

— Ответь моему слуге Нитагору, — обратился фараон к писцу, — что слова его будут приняты во внимание. А теперь спроси, что он думает о воинских способностях моего сына и наследника, с которым он вчера имел честь сразиться под Пи-Баилосом.

— Наш властелин, повелитель девяти народов, вопрошает тебя, Нитагор... — начал было верховный писец.

Но, к величайшему смущению придворных, старый полководец грубо перебил его:

— Я и сам слышу, что говорит господин мой... Устами же его, когда он обращается ко мне, мог бы быть лишь наследник престола, а не ты, верховный писец.

Писец с изумлением посмотрел на смельчака, но фараон ответил:

— Правду говорит верный слуга Нитагор.

Военный министр склонил голову, как бы в знак согласия.

Верховный судья возвестил жрецам, чиновникам и гвардии, что они могут пройти в сад, и сам, вместе с писцом, поклонившись трону, первый покинул зал. В зале остались только фараон, Херихор и оба полководца.

— Приклони ухо твое, повелитель, и выслушай мои жалобы, — начал Нитагор. — Сегодня утром прислуживающий жрец, пришедший по твоему повелению умастить мне волосы, сказал, чтобы я, входя к тебе, снимал сандалии. Между тем всем известно не только в Верхнем и Нижнем Египте, но и у хеттов, а также в Ливии, Финикии и в стране Пунт^[44], что двадцать лет назад ты пожаловал мне право являться пред тобой в сандалиях.

— Правда твоя, — сказал фараон. — Я вижу, что при дворе завелись непорядки...

— Прикажи только, о царь, и мои ветераны наведут порядок... — подхватил Нитагор.

По знаку военного министра явилось несколько слуг; один принес сандалии и надел их на ноги Нитагору, другие расставили против трона три драгоценных табурета для министра и полководцев.

Когда трое вельмож сели, фараон спросил:

— Скажи мне, Нитагор, думаешь ли ты, что сын мой способен быть полководцем?.. Только говори правду.

— Клянусь Амоном Фиванским и славой моих предков, в жилах которых текла царская кровь, что Рамсес, твой наследник, станет великим полководцем, если будет на то воля богов, — ответил Нитагор. — Еще юноша, почти отрок, он с большим искусством стянул свои полки, снарядил их и облегчил им поход. Но больше всего радует меня, что он не потерял голову, когда я отрезал ему путь, а повел войска в атаку. Да, он будет полководцем и победит ассирийцев, которых надо разбить сейчас, чтобы наши внуки не застали их на берегах Нила.

— А ты что скажешь, Херихор? — спросил фараон.

— Что касается ассирийцев, то, я думаю, достойнейший Нитагор преждевременно беспокоится о них. Мы еще не оправились от прошлых войн и должны укрепнуть, прежде чем начать новую войну, — ответил министр. — Что же до наследника престола, то Нитагор справедливо говорит, что у юноши есть качества полководца: он осторожен, как лиса, и бесстрашен, как лев. Но, несмотря на это, он вчера совершил много ошибок...

— Кто из нас их не делал?.. — вставил молчавший до сих пор Патрокл.

— Наследник, — продолжал министр, — умело вел главный корпус, но не позаботился о штабе, отчего мы двигались так медленно и в таком беспорядке, что Нитагор мог отрезать нам путь...

— Может быть, Рамсес рассчитывал на вас, ваше высокопреосвященство? — заметил Нитагор.

— В делах управления и на войне ни на кого не следует рассчитывать. Можно споткнуться о самый крошечный, никем не замеченный камешек, — ответил министр.

— Если бы вы, ваше высокопреосвященство, — заметил Патрокл, — не приказали колонне свернуть с тракта из-за каких-то скарабеев...

— Вы, достойнейший, — чужеземец и иноверец, — ответил Херихор, — и потому так говорите. Мы же, египтяне, понимаем, что если народ и солдаты перестанут чтить скарабеев, то сыновья их перестанут бояться урея. Из неуважения к богам родится бунт против фараона.

— А для чего тогда секиры? — перебил Нитагор. — Кто хочет сохранить голову на плечах, должен слушаться верховного вождя.

— Каково же твое окончательное мнение относительно наследника? — спросил фараон Херихора.

— Живой образ солнца, сын богов! — ответил министр. — Прикажи умастить Рамсеса, дай ему большую цепь и десять талантов, но командиром корпуса Менфи не назначай. Царевич еще слишком молод для этого звания, слишком горяч, неопытен. Можно ли его сравнивать с Патроком, который в двадцати сражениях разбил наголову эфиопов и ливийцев? Или поставить рядом с Нитагором, одно имя которого после двадцати лет постоянных побед заставляет бледнеть наших врагов на востоке и на севере?

Фараон опустил голову на руки и, подумав, сказал:

— Идите с миром и моей милостью. Я поступлю, как повелевают мудрость и справедливость.

Сановники склонились в глубоком поклоне, а Рамсес XII, не дожидаясь свиты, прошел в дальние покои.

Когда два военачальника оказались одни в дворцовых сенях, Нитагор сказал Патроку:

— Я вижу, жрецы распоряжаются здесь, точно у себя дома... Ну и голова этот Херихор! Разбил нас в пух и прах, прежде чем мы успели рот раскрыть, и... не даст он корпуса наследнику!..

— Меня он так расхвалил, что я даже не решился ответить, — оправдывался Патрокл.

— Надо сказать, он не лишен дальновидности, хотя и не все говорит. Он знает, что при наследнике в корпус пролезут всякие барчуки, из тех, что берут с собой в поход певичек, и захватят все высшие должности. Старые офицеры станут бездельничать с досады, что их обходят чинами, а молодым щеголям некогда будет заниматься делом за весельем, и корпус развалится, не успев даже встретиться с врагом. О, Херихор мудрец!

— Только бы его мудрость не обошлась нам дороже, чем неопытность молодого наследника, — шепнул ему грек.

Через анфиладу покоев со множеством колонн и стенной росписью, где у каждой двери низко склонялись перед ним жрецы и дворцовые чиновники, фараон прошел к себе в кабинет. Это был двухэтажный зал со стенами из алебаstra, на которых золотом и яркими красками были изображены наиболее знаменательные события царствования Рамсеса XII: принесение дани населением Месопотамии, прием посольства царя бухтенского, триумфальное шествие бога Хонсу по стране Бухтен.

В этом зале находилась малахитовая статуя бога Гора^[45] с птичьей головой, изукрашенная золотом и драгоценными камнями, перед ней

алтарь в виде усеченной пирамиды, царское оружие, роскошно отделанные кресла и скамьи, а также столики, уставленные безделушками.

При появлении фараона жрец воскурил благовония, один из придворных доложил о приходе наследника, который вскоре вошел и низко поклонился отцу. На выразительном лице царевича заметно было лихорадочное волнение.

— Я рад, мой сын, — заговорил фараон, — что ты вернулся здоровым из трудного похода.

— Да живешь ты вечно и да наполнит слава твоих деяний оба мира! — ответил царевич.

— Только что, — продолжал фараон, — мои военные советники рассказали мне о твоём усердии и находчивости.

Лицо наследника вздрагивало и менялось, он то бледнел, то краснел. Он не сводил своих больших глаз с отца и слушал.

— Твои подвиги не останутся без награды. Ты получишь десять талантов, большую цепь и... два греческих полка, с которыми будешь проводить ученья.

Царевич остолбенел; однако минуту спустя спросил подавленным голосом:

— А корпус Менфи?..

— Через год мы повторим маневры, и если ты не сделаешь ни одной ошибки в командовании армией, то получишь корпус.

— Я знаю, это дело рук Херихора!.. — воскликнул наследник, едва сдерживая негодование. Он оглянулся кругом и прибавил: — Никогда я не могу побыть с тобой один, отец... Всегда между нами чужие...

Фараон чуть-чуть повел бровями, и его свита исчезла, подобно теням.

— Что ты хочешь мне сказать?

— Только одно, отец. Херихор — мой враг. Он нажаловался тебе и навлек на меня такой позор!..

Несмотря на смиренную позу, царевич кусал губы и сжимал кулаки.

— Херихор — мой верный слуга и твой друг. Благодаря его заступничеству ты стал наследником престола. Это я не доверяю корпуса молодому полководцу, который позволил отрезать себя от армии.

— Я с ней соединился!.. — ответил, подавленный словами отца, наследник. — Это Херихор приказал обойти двух жуков...

— Так ты хочешь, чтобы жрец пренебрег религией?

— Отец, — шептал Рамсес дрожащим голосом, — чтобы не помешать движению жуков, уничтожен строящийся канал и убит человек.

— Этот человек сам наложил на себя руки.

— По вине Херихора!

— В полках, которые ты с таким искусством собрал под Пи-Баилосом, тридцать человек умерло, не выдержав трудностей похода, и несколько сот заболело.

Царевич опустил голову.

— Рамсес, — продолжал фараон, — твоими устами говорит не государственный муж, заботящийся о сохранении каналов и жизни работников, а разгневанный человек. А гнев не уживается со справедливостью, как ястреб с голубем.

— Отец! — вспыхнул наследник. — Если во мне говорит гнев, то это потому, что я вижу недоброжелательство ко мне Херихора и жрецов...

— Ты сам внук верховного жреца. Жрецы учили тебя... Ты познал больше их тайн, чем кто-либо другой из царевичей...

— Я познал их ненасытную гордыню и жажду власти. Они знают, что я смирю их, и потому уже сейчас стали моими врагами. Херихор не хочет дать мне даже корпуса, он предпочитает один руководить всей армией.

Произнеся эти неосторожные слова, наследник сам испугался. Но повелитель поднял на него ясный взгляд и ответил спокойно:

— Армией и государством управляю я. От меня исходят все приказы и решения. В этом мире я олицетворяю собой весы Осириса и сам взвешиваю дела моих слуг — наследника, министра или народа. Недальновиден тот, кто считает, будто мне неизвестны все гири весов.

— Однако если бы ты, отец, собственными глазами наблюдал ход маневров...

— Быть может, я увидел бы полководца, — перебил его фараон, — который в решительный момент бегал в зарослях за иудейской девушкой. Но я о таких глупостях не хочу знать...

Царевич припал к ногам отца.

— Это Тутмос рассказал тебе?..

— Тутмос такой же мальчишка, как и ты. Он уже делает долги в качестве будущего начальника штаба корпуса Менфи и думает, что фараон не узнает о его проделках в пустыне.

Несколько дней спустя царевич Рамсес был допущен к царице Никотрисе, матери своей, которая была второй женой фараона, но теперь занимала самое высокое положение среди женщин Египта.

Боги не ошиблись, призвав ее стать родительницей царя. Это была высокая женщина, довольно полная и, несмотря на свои сорок лет, еще красивая. Ее глаза, лицо, вся ее осанка были исполнены такого величия, что даже когда она шла одна без свиты, в скромной одежде жрицы, люди невольно склоняли перед ней головы.

Царица приняла сына в кабинете, выложенном изразцами. Она сидела под пальмой, в кресле, украшенном инкрустациями. У ее ног на скамеечке лежала маленькая собачка; с другой стороны стояла на коленях черная рабыня с опахалом. Супруга фараона была в накидке из прозрачной, вышитой золотом кисеи. На ее парике сияла диадема из драгоценных камней в виде лотоса.

Когда царевич низко поклонился, собачка обнюхала его и снова легла, а царица, кивнув головой, спросила:

— Зачем, Рамсес, тебе нужно было меня видеть?

— Еще два дня тому назад, матушка...

— Я знала, что ты занят. А сегодня у нас с тобой достаточно времени, и я могу тебя выслушать.

— Ты так говоришь со мной, матушка, что на меня как будто пахнуло ночным ветром пустыни, и я не решаюсь высказать тебе свою просьбу.

— Наверно, тебе нужны деньги?

Рамсес смущенно опустил голову.

— Много?

— Пятнадцать талантов...

— О боги! — воскликнула царица. — Ведь только несколько дней тому назад тебе выплатили десять талантов из казны. Пойди, девочка, погуляй в саду, ты, наверно, устала! — обратилась царица к черной рабыне и, оставшись наедине с сыном, спросила его: — Это твоя еврейка так требовательна?

Рамсес покраснел, однако поднял голову.

— Ты знаешь, матушка, что нет, — ответил он. — Но я обещал награду солдатам и офицерам и... не могу ее выплатить!

Царица укоризненно посмотрела на сына.

— Как это нехорошо, — сказала она, — когда сын принимает решения, не посоветовавшись с матерью. Как раз, помня о твоём возрасте, я хотела дать тебе финикийскую невольницу, которую прислали мне из Тира с десятью талантами приданого, но ты предпочёл еврейку.

— Она мне понравилась. Такой красавицы нет не только среди твоих прислужниц, но даже среди женщин фараона.

— Но ведь она еврейка...

— Умоляю тебя, оставь эти предубеждения, матушка!.. Это неправда, будто евреи едят свинину и убивают кошек...

Царица улыбнулась.

— Ты говоришь, как ученик низшей жреческой школы, — ответила она, пожимая плечами, — и забываешь, что сказал Рамсес Великий: «Желтолицый народ многочисленнее и богаче нас. Будем же действовать против него, но осторожно, чтобы он не стал ещё сильнее...» Поэтому я считаю, что девушка из этого племени не годится в первые любовницы наследника престола.

— Неужели слова великого Рамсеса могут относиться к дочери какого-то жалкого арендатора! — воскликнул наследник. — Да и где у нас евреи?.. Вот уже три столетия как они покинули Египет и сейчас создают какое-то смехотворное государство под управлением жрецов...

— Я вижу, — ответила царица, чуть-чуть нахмутив брови, — что твоя любовница не теряет времени. Будь осторожен, Рамсес. Помни, что вождь их, Моисей — это жрец-отступник, которого в наших храмах проклинают и поныне, что евреи унесли из Египта больше сокровищ, чем стоил весь их труд в течение нескольких поколений. Они похитили у нас не только золото, но и веру в Единого и в наши священные законы, которые сейчас объявляют своими. Кроме того, знай, — прибавила она с особенным ударением, — что дочери этого народа предпочитают смерть ложу человека чужого племени. И если отдаются иногда вражеским полководцам, то только затем, чтобы или склонить их на сторону евреев, или убить...

— Поверь мне, матушка, что все эти сплетни распространяют жрецы. Они не хотят допустить к подножию трона людей другой веры, которые могли бы помочь фараону бороться с ними.

Царица встала и, скрестив руки на груди, с изумлением смотрела на сына.

— Так это правда, что ты враг жрецов, как мне говорили? — сказала она. — Ты, их любимый ученик?!

— Ещё бы, у меня на спине до сих пор остались следы их палок... — ответил царевич.

— Но ведь и твой дед, мой отец, ныне живущий с богами Аменхотеп, был верховным жрецом и пользовался большим влиянием в стране.

— Именно потому, что я внук и сын властелинов, я не могу примириться с властью Херихора...

— Но эту власть вручил ему твоей дед, святой Аменхотеп...

— А я его свергну!

Мать пожала плечами.

— И ты, — промолвила она с грустью, — хочешь командовать корпусом? Ведь ты избалованная девчонка, а не муж; и военачальник.

— Как ты сказала?.. — перебил ее царевич, с трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить.

— Я не узнаю моего сына... Я не вижу в тебе будущего повелителя Египта!.. Династия в твоём лице будет как челн без руля... Ты удалишь от двора жрецов, а кто же у тебя останется?.. Кто будет твоим оком в Нижнем и Верхнем Египте? За рубежом?.. А ведь фараон должен видеть все, на что только падает божественный луч Осириса.

— Жрецы будут моими слугами, а не министрами...

— Они и есть самые верные слуги. Их молитвами отец твой царствует тридцать три года и избегает войн, которые могли быть пагубными.

— Для жрецов!..

— Для фараона, для государства, — перебила царица. — Ты знаешь, в каком положении наша казна, из которой ты в один день берешь десять талантов и требуешь еще пятнадцать?.. Ты знаешь, что если бы не самоотверженность жрецов, которые для казны даже у богов отнимают настоящие драгоценные камни, заменяя их поддельными, — царские владения были бы уже в руках финикийцев?..

— Одна удачная война обогатит нашу казну, как разлив Нила — наши поля.

Царица рассмеялась.

— Нет, — сказала она, — ты, Рамсес, еще такой ребенок, что нельзя даже считать грехом твои безбожные слова. Займись, пожалуйста, своими греческими полками и поскорее освобождайся от еврейской девушки. А политику предоставь... нам.

— Почему я должен освободиться от Сарры?

— Потому что, если у нее родится от тебя сын, могут возникнуть осложнения в государстве, где и без того много хлопот. А на жрецов, — прибавила она, — можешь сердиться, лишь бы ты не оскорблял их публично. Они знают, что приходится многое прощать наследнику престола, особенно когда у него такой строптивый нрав. Но время все

успокоит, во славу династии и на пользу государству.

Рамсес задумался и вдруг спросил:

— Значит, я не могу рассчитывать на деньги из казны?

— Ни в коем случае! Верховный писец уже сегодня вынужден был бы приостановить выплату денег, если бы я не дала ему сорок талантов, которые прислал мне Тир.

— Как же мне быть с армией?.. — сказал царевич, нетерпеливо потирая лоб.

— Удали от себя еврейку и попроси у жрецов... Может быть, они дадут тебе займы.

— Никогда! Лучше возьму у финикиян.

Царица покачала головой.

— Ты — наследник престола. Делай, как хочешь... Но предупреждаю, тебе придется дать большой залог, а финикиянин, став твоим заимодавцем, уже не выпустит тебя из рук. Он коварнее еврея.

— Для покрытия таких долгов хватит небольшой части моего собственного дохода.

— Посмотрим... Я искренне хотела бы тебе помочь, но у меня нет... — сказала царица, печально разводя руками. — Поступай, как знаешь, но помни, что финикияне пробираются в наши владения, как крысы в амбары: стоит одной пролезть в щелку — и за ней придут другие.

Рамсес не спешил уходить.

— Ты хочешь сказать мне еще что-нибудь? — спросила царица.

— Я хотел бы только узнать... Сердце говорит мне, что у тебя, матушка, есть какие-то планы относительно меня. Какие?

Царица погладила его по щеке.

— Не сейчас!.. Еще слишком рано!.. Ты пока свободен, как всякий знатный юноша в нашей стране. Ну и пользуйся этим. Но, Рамсес, придет время, когда тебе придется взять жену, дети которой будут детьми царской крови, а старший сын — твоим наследником. Вот об этом времени я и думаю...

— И что же?

— Пока еще ничего определенного. Во всяком случае, политическая мудрость подсказывает мне, что твоей женой должна быть дочь жреца...

— Может быть, Херихора? — рассмеялся царевич.

— А почему бы и нет? Херихор очень скоро станет верховным жрецом в Фивах, а его дочери сейчас всего четырнадцать лет.

— И она согласилась бы занять при мне место еврейки? — с иронией спросил Рамсес.

— Надо постараться, чтобы люди забыли эту твою ошибку.

— Целую твои ноги, мать, и ухожу, — сказал Рамсес, хватаясь за голову. — Я столько тут наслушался странных вещей, что начинаю опасаться, как бы Нил не поплыл вспять к порогам или пирамиды не передвинулись в восточную пустыню.

— Не кощунствуй, дитя мое, — проговорила шепотом царица, с тревогой глядя на сына, — в этой стране видали и не такие чудеса.

— Не те ли, — спросил с горькой усмешкой сын, — что стены царского дворца подслушивают своих хозяев?

— Случалось, что фараоны умирали, процарствовав всего несколько месяцев, и гибли династии, правившие девятью народами.

— Потому что эти фараоны ради кадиланицы забывали о мече, — ответил царевич.

Он поклонился и вышел.

По мере того как шаги наследника затихали в огромном коридоре, менялось выражение лица матери. Царственное спокойствие уступило место страданию и тревоге; в больших глазах засверкали слезы. Она подбежала к статуе богини, опустилась на колени и, подсыпав на уголья индийских благовоний, стала молиться:

— О Исида, Исида, Исида!^[46] Трижды повторяю твое имя. О Исида, рождающая змей, крокодилов и страусов, да будет трижды прославлено твое имя... О Исида, охраняющая хлебные зерна от губительных ветров и тела наших предков от разрушительной работы времени! О Исида, смилуйся и сохрани моего сына! Да будет трижды повторяться твое имя и здесь... и там... и повсюду... И ныне, и всегда, и во веки веков, доколе храмы наших богов будут смотреть в воды Нила.

Молясь так и рыдая, царица склонилась и коснулась лбом пола. В эту минуту над нею послышался тихий шепот:

— Голос праведного всегда будет услышан...

Царица вскочила и в глубоком изумлении огляделась вокруг. Но в чертоге никого не было, и только со стен смотрели на нее нарисованные там цветы, а с алтаря — статуя богини, преисполненная неземного спокойствия.

Наследник вернулся в свой павильон озабоченный и позвал к себе Тутмоса.

— Ты должен научить меня, как доставать деньги.

— Ага! — рассмеялся щеголь, — вот премудрость, которой не преподают в самых высших жреческих школах, а я мог бы стать там проповедником.

— Там учат не брать взаймы, — заметил царевич.

— Если б я не боялся, что уста мои богохульствуют, я сказал бы, что некоторые жрецы зря тратят время. Жалкие люди, хоть и святые!.. Не едят мяса, довольствуются одной женой или совсем избегают женщин и не знают, что значит занимать деньги... Я счастлив, Рамсес, — продолжал Тутмос, — что это искусство ты познаешь благодаря мне. Сейчас ты уже понял, какие страдания причиняет безденежье. Человек, нуждающийся в деньгах, теряет аппетит, вскакивает во сне, на женщин смотрит с удивлением, как будто спрашивая, к чему они? В прохладном храме у него пылает лицо, а в самый зной в пустыне его трясет лихорадка. Он, как безумный, смотрит в одну точку и не слышит, что ему говорят. Парик у него набекрень и не смочен благовониями... Успокоить его может только кувшин крепкого вина, да и то ненадолго, только придет бедняга в себя, как снова начинает чувствовать, будто земля разверзается у него под ногами... Я вижу, — продолжал щеголь, — по твоей торопливой походке и взволнованным жестам, что ты сейчас в отчаянии, оттого что у тебя нет денег. Но скоро ты испытаешь другое чувство — как будто с груди у тебя свалился великий сфинкс. Потом ты предашь приятному забвению свои прежние заботы и нынешних заимодавцев, а потом... Ах, счастливый Рамсес, тебя еще ждут большие сюрпризы!.. Ибо, когда придет срок и заимодавцы начнут навещать тебя якобы для того, чтоб засвидетельствовать свое почтение, ты будешь похож на оленя, преследуемого собаками, или на египетскую девушку, которая, зачерпнув воду из реки, увидела вдруг мозолистую спину крокодила...

— Все это очень забавно, — остановил его, смеясь, Рамсес, — однако не приносит ни единой драхмы...

— Можешь не кончать, — перебил его Тутмос. — Я немедленно отправляюсь за финикийским банкиром Дагоном, и нынче же вечером, если даже он еще и не даст тебе денег, ты успокоишься.

Тутмос выбежал из дворца, сел в небольшие носилки и, окруженный прислужниками и компанией таких же, как и он, ветрогонов, скрылся в аллеях парка.

Перед закатом солнца к дому наследника подъехал финикиянин Дагон, известнейший в Мемфисе банкир. Это был еще крепкий человек, желтый, сухой, но хорошо сложенный. На нем был голубой хитон и поверх него белая накидка из тонкой ткани. Рядом с париками египетских франтов и их фальшивыми бородками его длинные волосы, перехваченные золотым обручем, и пышно разросшаяся борода производили внушительное впечатление.

Покои наследника кишели аристократической молодежью. Одни купались и умащали себя благовониями, другие играли в шашки и шахматы, третьи в компании нескольких танцовщиц пили вино под сенью шатра на террасе.

Наследник не пил, не играл, не разговаривал с женщинами, а ходил вдоль террасы, с нетерпением поджидая финикиянина. Завидев в аллее его носилки, подвешенные к двум ослам, царевич сошел вниз, где была свободная комната. Через минуту в дверях появился Дагон. Он стал у порога на колени и воскликнул:

— Привет тебе, новое солнце Египта!.. Да живешь ты вечно и да достигнет слава твоя самых далеких берегов, куда только доходят финикийские суда...

По приказанию царевича он встал и заговорил, оживленно жестикулируя:

— Когда благородный Тутмос вышел из носилок перед моей хижиной (мой дом — это хижина по сравнению с твоим дворцом, наследник), лицо его так сияло, что я сразу же крикнул жене: «Фамарь, благородный Тутмос пришел не ради себя, а ради кого-то, кто выше его — настолько, насколько Ливан выше приморских песков...» Жена спросила: «Откуда ты знаешь, господин мой, что благороднейший Тутмос явился не ради себя?» — «Потому что он не мог прийти с деньгами, ибо у него их нет, и пришел не за деньгами, потому что у меня их нет...» Тут мы оба поклонились благородному Тутмосу. Когда же он сказал нам, что это ты, достойнейший господин, хочешь получить от своего раба пятнадцать талантов, я спросил жену: «Фамарь, разве плохо подсказало мне мое сердце?» А она мне в ответ: «Дагон, ты такой умный, что тебе надо быть советником наследника престола».

Рамсес негодовал, но слушал ростовщика, — он, который так часто выходил из себя даже в присутствии собственной матери и фараона!

— Когда мы, — продолжал финикийнин, — хорошенько подумали и сообразили, что это тебе, господин, нужны мои услуги, наш дом осенила такая радость, что я приказал выдать прислуге десять кувшинов пива, а моя жена Фамарь потребовала, чтоб я купил ей новые серьги. Радость моя была так велика, что по дороге сюда я не позволил погонщику бить ослов. Когда же недостойные мои стопы коснулись твоего порога, я вынул золотой перстень (большой, чем тот, которым досточтимый Херихор наградил Эннану) и подарил этот драгоценный перстень твоему рабу, подавшему мне воду, чтобы омыть руки. Разреши мне спросить тебя, откуда этот серебряный кувшин, из которого поливали мне на руки?

— Мне продал его Азария, сын Габера, за два таланта.

— Еврей? Ты, государь, водишься с евреями? А что скажут на это боги?..

— Азария такой же купец, как и ты, — заметил наследник.

Услышав это, Дагон схватился обеими руками за голову, стал плевать и причитать:

— О Баал, Таммуз!.. О Баалит!.. О Ашторет!..^[47] Азария, сын Габера, еврей — такой же купец, как я!.. О, ноги мои, зачем вы меня сюда принесли?.. О сердце, за что ты терпишь такие страдания и надругательства?.. О достойнейший господина — вопил финикийнин. — Побей меня, отрежь мне руку, если я буду подделывать золото, но не говори, что еврей может быть купцом. Скорее Тир превратится в развалины, скорее пески занесут Сидон^[48], чем еврей станет купцом. Они могут доить своих тощих коз или под кнутом египтянина месить глину с соломой, но никак не торговать. Тьфу!.. Тьфу!.. Нечистый народ рабов! Воры!.. Грабители!

Наследник готов был вспылить, но успокоился, сам удивляясь себе, так как до сих пор ни перед кем не привык сдерживаться.

— Так вот, — прервал он наконец финикийнина, — ты даешь мне взаймы, почтенный Дагон, пятнадцать талантов?

— О Ашторет! Пятнадцать талантов — это так много, что мне надо присесть, чтобы хорошенько подумать.

— Ну, так садись.

— За талант, — стал высчитывать финикийнин, усевшись в кресло, — можно получить двадцать золотых цепей или шестьдесят дойных коров, или десять рабов для черной работы, или одного раба, который умеет играть на флейте, либо рисовать, или даже лечить. Талант — это целое состояние!..

Царевич сверкнул глазами.

— Так если у тебя нет пятнадцати талантов... — перебил он ростовщика.

Финикиянин в испуге соскользнул с кресла на пол.

— Кто в этом городе, — воскликнул он, — не найдет денег, если ты прикажешь, сын солнца?.. Правда, сам я — жалкий нищий, и все золото, драгоценности и все аренды мои не стоят одного твоего взгляда, царевич. Но достаточно обойти наших купцов и сказать, кто меня послал, и завтра же мы раздобудем пятнадцать талантов хоть из-под земли. Если бы ты, сын царя, остановился перед засохшей смоковницей и сказал ей: «Дай денег!» — и та дала бы... Только не смотри на меня так, сын Гора, а то у меня замирает сердце и мутится разум, — проговорил жалобным тоном финикиянин.

— Ну, садись, садись, — сказал царевич, улыбаясь.

Дагон встал с пола и еще удобнее уселся в кресле.

— На сколько времени нужно тебе пятнадцать талантов? — спросил он.

— Я думаю, на год...

— Скажем лучше прямо: на три года. Только царь мог бы отдать в течение года пятнадцать талантов, а не молодой царевич, который должен принимать каждый день веселую знать и красивых женщин. Ах, эти женщины!.. Правда ли это, разреши спросить тебя, что ты взял к себе Сарру, дочь Гедеона?

— А сколько ты хочешь процентов? — перебил Рамсес.

— Пустяк, о котором не должны даже говорить твои священные уста. За пятнадцать талантов ты дашь мне по пять талантов в год, и в течение трех лет я получу все сам, так что ты даже и знать не будешь...

— Ты дашь мне сегодня пятнадцать талантов, а через три года получишь тридцать?

— Египетский закон позволяет, чтобы сумма процентов равнялась сумме займа, — ответил, смутившись, финикиянин.

— А не слишком ли это много?

— Слишком много?.. — вскричал Дагон. — Всякий большой господин владеет большим двором, большим состоянием и платит только большие проценты. Мне было бы стыдно взять меньше с наследника престола. Да и ты сам мог бы приказать избить меня палками и прогнать вон, если б я осмелился взять меньше...

— Когда же ты принесешь деньги?

— Принести?.. О боги! Это не под силу одному человеку. Я сделаю

лучше: я расплачусь за тебя со всеми так, чтобы тебе не пришлось засорять голову такими ничтожными делами.

— Разве ты знаешь, кому я должен платить?

— Пожалуй, знаю, — ответил небрежно финикиянин. — Ты хочешь послать шесть талантов для восточной армии, — это сделают наши банкиры в Хетеме и Мигдоле^[49]. Три таланта достойному Нитагору и три достойному Патроклу, — это можно будет устроить на месте. А Сарре и ее отцу Гедеону я могу выплатить через этого паршивого Азарию... Так даже будет лучше, а то они еще надуют тебя при расчетах.

Рамсес принялся нервно шагать по комнате.

— Значит, я должен дать тебе расписку на тридцать талантов?

— Какую расписку, зачем расписку?.. На что мне расписка?.. Сын царя сдаст мне в аренду на три года свои имения в номах: Такенс, Сет, Неха-Мент, Неха-Пеху, в Себт-Хет и Хабу^[50].

— В аренду? — переспросил царевич. — Это мне не нравится.

— А как же я получу свои деньги, свои тридцать талантов?

— Подожди. Я должен справиться у управляющего имением, сколько приносят в год эти земли.

— Зачем вашему высочеству утруждать себя!.. Что знает управляющий! Он ничего не знает, поверь честному финикиянину. Год на год не приходится, какой урожай, такой и доход. Если я потерплю убытки на этом деле, разве управляющий мне их возместит?..

— Видишь ли, Дагон, мне кажется, что эти поместья приносят гораздо больше, чем десять талантов в год...

— Сын царя не доверяет мне? Хорошо! Если угодно, я могу скинуть имение в Сете. Как? Ты все еще думаешь, что я требую с тебя лишнее?.. Ладно, уступлю и Себт-Хет. Но при чем тут управляющий? Это он будет учить тебя уму-разуму?.. О Ашторет! Я бы потерял сон и аппетит, если бы какой-то управляющий, подчиненный, раб, смел указывать что-нибудь моему всемилостивейшему государю. Тут нужен только писец, который напишет, что сын царя сдает мне в аренду на три года земли в таких-то и таких-то номах, да еще шестнадцать свидетелей того, что я удостоился такой чести со стороны вашего высочества. А зачем служащим знать, что их господин занимает у меня деньги?

Наследнику надоел этот разговор. Он махнул рукой и сказал:

— Завтра принеси деньги и приведи с собой писца и свидетелей. Я этим заниматься не стану.

— Вот это мудрые слова! — вскричал финикиянин. — Да живешь ты

вечно!

На левом берегу Нила, на окраине одного из северных предместий Мемфиса, находилась усадьба, которую наследник предоставил для жительства Сарре, дочери иудея Гедеона.

Это был участок земли приблизительно в тридцать пять моргов ^[51] почти квадратной формы; с крыши жилого дома он весь был виден как на ладони. Приусадебные уголья на склоне холма были расположены в четыре яруса. Два самых больших нижних участка, всегда заливаемых Нилом, были предназначены под поля и огороды. На третьем ярусе, который заливался не всегда, росли пальмы, смоковницы и другие плодовые деревья. Четвертый, самый верхний, был засажен оливковыми деревьями, виноградом, орешником и каштанами. Среди них и стоял жилой дом.

Дом был деревянный двухэтажный, как обычно — с террасой и полотняным шатром. Внизу жил черный невольник Рамсеса, наверху Сарра со своей родственницей и прислужницей Тафет. Дом был окружен оградой из необожженного кирпича; за оградой, в некотором отдалении, находились постройки для скота, работников и надсмотрщиков.

Комнаты Сарры были небольшие, но красиво убранные. Полы были устланы коврами, на дверях и окнах висели полосатые цветные драпировки. Здесь были резные кровати и стулья с инкрустацией, сундуки для одежды, столики на одной или на трех ножках, а на них горшки с цветами, стройные кувшины для вина, шкатулки с флаконами духов, золотые и серебряные кубки и бокалы, фаянсовые вазы и чаши, бронзовые светильники. Каждый, даже мельчайший, предмет обихода — мебель, посуда — был украшен резьбой или разноцветными рисунками, каждое платье — шитьем и бахромой.

Уже десять дней жила Сарра в этом уютном уголке, от страха и стыда избегая людей, так что даже работники не видели девушку. Она сидела в комнате с занавешенными окнами, шила, ткала полотно на небольшом станке или плела венки из живых цветов для Рамсеса. Иногда Сарра выходила на террасу и, осторожно откинув полог шатра, любовалась Нилом, усеянным лодками, в которых гребцы распевали веселые песни, или смотрела с тревогой на серые пилоны царского дворца, который возвышался на другом берегу реки, молчаливый и угрюмый, — и снова возвращалась к своим занятиям.

— Посиди здесь, тетушка, — говорила она, подзывая к себе Тафет. —

Что ты там делаешь внизу?..

— Садовник принес фрукты, а из города прислали хлеб, вино и дичь; надо было принять.

— Посиди тут и поговори со мной, а то мне страшно.

— Глупенькая ты девочка! — отвечала, смеясь, Тафет. — Я тоже в первый день боялась нос из дому высунуть. Но как только выглянула за ограду — все прошло. Кого мне здесь бояться, когда все падают передо мной на колени? А уж перед тобой, наверно, будут становиться на голову!.. Выйди в сад, там хорошо, как в раю. Загляни в поле, где убирают пшеницу... Сядь в расписную лодку — лодочники сохнут от тоски, хотят посмотреть на тебя и прокатить по Нилу.

— Я боюсь.

— Чего?

— Сама не понимаю. Пока я занята работой, мне кажется, что я дома, там, в нашей долине, и вот-вот придет отец... Но чуть только ветер распахнет занавеску и я увижу сверху эту огромную, беспредельную страну, мне чудится... знаешь что? — будто меня схватил ястреб и унес к себе в гнездо, на скалу, откуда мне уже не сойти...

— Ах, если б ты видела, какую ванну прислал царевич, — медную ванну!.. И какой треножник для костра, горшки, ухваты!.. А сегодня я посадила двух наседок, скоро у нас будут цыплятки...

После заката солнца, когда никто не мог ее видеть, Сарра бывала смелее: она выходила на террасу и смотрела на реку. Когда же вдали показывалась лодка, освещенная факелами, бросавшими на черную воду огненно-кровавые полосы, Сарра прижимала руки к груди, где бедное ее сердце трепыхалось, как пойманная птичка. Она знала, что это плывет к ней Рамсес, и сама не могла понять, что творится в ее душе: то ли это радость перед свиданием с красавцем, которого она встретила в родной долине, то ли страх, что снова увидит великого властелина и повелителя, перед которым она робела.

Однажды, в канун субботы, пришел в усадьбу отец, в первый раз с тех пор, как она поселилась в этом доме. Сарра со слезами бросилась к нему: сама омыла ему ноги и окропила голову благовониями, покрывая ее поцелуями. Гедеон был человек пожилой, с суровыми чертами лица. На нем была длинная, до щиколоток, рубаха, окаймленная внизу пестрым шитьем, а поверх нее желтый кафтан без рукавов, род накидки, ниспадающей на грудь и на спину. На голове была небольшая шапка, суживавшаяся кверху.

— Ты пришел?.. пришел!.. — восклицала Сарра, снова принимаясь

целовать его руки, лицо и волосы.

— Я и сам дивлюсь, как это я здесь! — грустно ответил Гедеон. — Я пробирался крадучись через сад, как вор; от самого Мемфиса мне казалось, что все встречные указывают на меня пальцем, а каждый проходящий еврей плюет мне вслед.

— Ведь ты же сам отдал меня наследнику, отец!.. — прошептала Сарра.

— Отдал... А что я мог сделать? Впрочем, мне только так кажется, что на меня указывают пальцами и плюют. Те из египтян, кто меня знает, кланяются мне тем ниже, чем они знатнее. За то время, что ты здесь, наш господин, Сезофрис, сказал, что надо будет расширить мой дом, господин Хайрес подарил мне бочонок великолепного вина, а достойнейший наш номарх присылал ко мне доверенного слугу справиться о твоём здоровье и спросить, не соглашусь ли я поступить к нему управляющим.

— А евреи? — спросила Сарра.

— Что евреи? Они знают, что я согласился не по доброй воле. Ну... и каждый не прочь бы, чтоб над ним учинили такое же насилие. Пусть нас рассудит господь бог. Лучше скажи, как ты поживаешь?

— И в раю ей не будет лучше, — вмешалась Тафет. — Целый день носят нам фрукты, вино, хлеб, мясо, чего только душа пожелает. А какая у нас ванна!.. Вся из меди. А какая кухонная посуда!..

— Три дня назад, — перебила ее Сарра, — был у меня финикиянин Дагон. Я не хотела его принять, но он так настаивал...

— Он подарил мне золотое колечко, — опять вмешалась Тафет.

— Он сказал мне, — продолжала Сарра, — что арендует землю у моего господина, подарил мне два ножных браслета, серьги с жемчугом и шкатулку благовоний из страны Пун.

— За что он тебе это подарил?

— Ни за что. Просил только, чтоб я хорошо к нему относилась и когда-нибудь при случае замолвила за него словечко перед моим господином, сказав, что Дагон — вернейший его слуга.

— У тебя скоро будет полный сундук браслетов и серег, — сказал, улыбаясь, Гедеон. — Эх, — прибавил он, помолчав, — собери побольше драгоценностей, и убежим в нашу землю! Здесь нам всегда будет горько. Горько, когда плохо, а еще горше — когда хорошо.

— А что скажет мой господин? — спросила Сарра печально.

Отец покачал головой.

— Не пройдет и года, как твой господин бросит тебя, и многие ему помогут в этом. Если бы ты была египтянкой, он взял бы тебя к себе в дом.

Но еврейку...

— Бросит? — повторила Сарра, вздохнув.

— Зачем горевать о том, что будет; все в руках божьих! Я пришел провести с тобой субботу...

— А у меня как раз прекрасная рыба, мясо, лепешки и кошерное вино, — поспешила вставить Тафет. — Да, кстати, я купила в Мемфисе семисвечник и восковые свечи... У нас будет ужин лучше, чем у самого господина Хайреса.

Гедеон вышел с дочерью на террасу. Когда они остались вдвоем, он сказал:

— Тафет говорила мне, что ты все сидишь дома. Почему? Надо выходить хотя бы в сад.

Сарра вздрогнула.

— Я боюсь, — прошептала она.

— Чего тебе бояться в своем саду?.. Ведь ты же здесь хозяйка, госпожа... большая госпожа...

— Я вышла как-то в сад днем, меня увидели какие-то люди и стали говорить между собой: «Смотрите, вот еврейка наследника престола, из-за которой запаздывает разлив Нила...»

— Дураки они, — сказал Гедеон, — разве в первый раз Нил запаздывает с разливом на целую неделю?.. Ну что ж, выходи пока по вечерам...

— Нет... Нет! — воскликнула Сарра, снова вздрогнув. — В другой раз я пошла вечером туда, в оливковую рощу. Вдруг на боковой дорожке показались две женщины, словно тени... Я испугалась и хотела бежать... Тогда одна из них, помоложе, невысокого роста, схватила меня за руку и говорит: «Не убегай, мы хотим на тебя посмотреть». А другая, постарше, высокая, остановилась в нескольких шагах и заглянула мне в лицо... Ах, отец, я думала, что превращусь в камень... Что это была за женщина!.. Что за взгляд!..

— Кто бы это мог быть? — спросил Гедеон.

— Та, что постарше, похожа была на жрицу.

— И они ничего не сказали тебе?

— Ничего. Только когда, уходя уже, они скрылись за деревьями, я услышала слова, вероятно, старшей: «Воистину она прекрасна...»

Гедеон задумался.

— Может быть, — сказал он, — это были какие-нибудь знатные женщины из дворца?..

Солнце заходило. На обоих берегах Нила собирались густые толпы

людей, с нетерпением ожидавших сигнала о разливе, который действительно запаздывал. Уже два дня дул ветер с моря, и река позеленела. Уже солнце миновало звезду Сотис^[53], а в жреческом колодце в Мемфисе вода не поднялась ни на одну пядь. Люди были встревожены, тем более что в Верхнем Египте, как сообщали, разлив шел нормально и даже обещал быть очень обильным.

— Что же удерживает его под Мемфисом? — спрашивали озабоченные земледельцы, с тоской ожидая сигнала.

Когда на небе показались звезды, Тафет накрыла в столовой белой скатертью стол, поставила светильник с семью зажженными свечами, придвинула три стула и возвестила, что сейчас подаст субботний ужин.

Гедеон покрыл голову, воздел над столом руки и, глядя молитвенно вверх, произнес:

— Боже Авраама, Исаака и Иакова, ты, который вывел народ наш из земли египетской, ты, давший отчизну рабам и изгнанникам, заключивший вечный союз с сынами Иуды... Бог Яхве, бог Адонаи, дозвожь нам вкусить без греха от плодов вражьей земли, исторгни нас из печали и страха, в каких мы пребываем, и верни на берега Иордана, который мы покинули во славу тебе...

Вдруг из-за ограды послышался голос:

— Достойный Тутмос, вернейший слуга царя и наследника престола...

— Да живут они вечно!.. — откликнулось несколько голосов из сада.

— Благороднейший господин, — продолжал первый голос, — шлет приветствие прекраснейшей розе Ливана.

Когда он смолк, раздались звуки арфы и флейты.

— Музыка!.. — воскликнула Тафет, хлопая в ладоши. — Мы будем встречать субботу с музыкой!..

Сарра и ее отец, сперва встревоженные, улыбнулись и сели за стол.

— Пусть играют, — сказал Гедеон, — их музыка не испортит нам аппетита.

Флейта и арфа сыграли несколько вступительных аккордов, и вслед за ними раздался тенор:

— «Ты прекрасней всех девушек, что глядятся в воды Нила. Волосы твои чернее воронова крыла, глаза нежнее глаз лани, тоскующей по своему козленку. Стан твой — словно ствол пальмы, а лотос завидует твоей прелести. Груды твои — как виноградные гроздья, соком которых упиваются цари...»

Снова раздались звуки флейты и арфы, а потом песня:

— «Выйди в сад отдохнуть... Слуги твои принесут бокалы и кувшины

с разными напитками. Выйди, отпразднуем сегодняшнюю ночь и рассвет, что придет после нее. Под сенью моей, под сенью смоковницы, родящей сладкие плоды, твой возлюбленный возляжет рядом с тобой; и ты утолишь его жажду и будешь покорна всем его желаниям...»

И снова запели флейта и арфа, а после них тенор:

— «Я молчаливого нрава, никогда не рассказываю о том, что вижу, и сладость плодов моих не отравлю пустой болтовней». [\[54\]](#)

Вдруг песня умолкла, заглушенная шумом и топотом бегущей толпы.

— Язычники!.. Враги Египта!.. — кричал кто-то. — Вы распеваете песни, когда все повергнуты в горе, и славите еврейку, которая своим колдовством остановила течение Нила...

— Горе вам! — кричал другой голос в ответ. — Вы попираете землю наследника престола!.. Смерть постигнет вас и детей ваших!..

— Мы уйдем, но пусть выйдет к нам еврейка, чтобы мы могли высказать ей свои обиды...

— Бежим!.. — закричала Тафет.

— Куда? — спросил Гедеон.

— Ни за что! — возмутилась Сарра: ее прекрасное лицо пылало от негодования. — Разве я не принадлежу наследнику, перед которым эти люди падают ниц!

И прежде чем отец и прислужница опомнились, она выбежала на террасу, вся в белом, и крикнула толпе, волновавшейся за оградой:

— Вот я!.. Чего вы хотите от меня?..

Шум на минуту утих, но вскоре послышались грозные голоса:

— Будь проклята, чужеземка, твой грех задерживает воды Нила!

В воздухе просвистело несколько камней, брошенных наугад. Один из них попал Сарре в лоб.

— Отец!.. — вскрикнула она, схватившись за голову.

Гедеон подхватил ее на руки и унес с террасы. В темноте видны были голые люди в белых чепцах и передниках, перелезавшие через ограду.

Внизу кричала не своим голосом Тафет, а невольник-негр, вооружившись топором, встал в дверях дома, грозя размозжить голову всякому, кто осмелится войти.

— Давайте сюда камни! Прикончить этого нубийского пса! — кричали в толпу люди, сидевшие на заборе.

Но толпа вдруг утихла. Из глубины сада вышел человек с бритой головой, одетый в шкуру пантеры.

— Пророк!.. Святой отец!.. — пронесся шепот.

Сидевшие на заборе стали соскакивать вниз.

— Народ египетский, — раздался спокойный голос жреца, — как дерзаешь ты поднять руку на то, что принадлежит наследнику?

— Там живет нечистая еврейка, которая задерживает разлив Нила...

Горе нам!.. Нищета и голод нависли над Нижним Египтом.

— Люди слабой веры или слабого разума! — продолжал жрец. — Слыханное ли дело, чтоб одна женщина могла остановить волю богов? Каждый год в месяце тот Нил начинает прибывать, и разлив его растет до месяца хойяк. Бывало ли когда-нибудь иначе, хотя в нашей стране всегда жило много чужеземцев и нередко в числе их пленные жрецы и князья; изнывая в неволе и тяжком труде, они могли в гневе и злобе призывать на нашу голову самые страшные проклятия, и не один из них отдал бы жизнь за то, чтобы солнце в утренний час не взошло над Египтом или Нил не разлился в начале года. Но какой был толк от их молитв? Или их не слушали в небесах, или чужие боги бессильны перед нашими. Каким же образом женщина, которой живет у нас хорошо, могла бы навлечь бедствие, какого не удалось навлечь даже могущественнейшим нашим врагам?..

— Святой отец говорит правду!.. Мудры слова пророка! — послышались голоса в толпе.

— А все-таки Моисей, еврейский вождь, наслал тьму и мор на Египет... — возразил чей-то одинокий голос.

— Кто это сказал, пусть выйдет вперед! — воскликнул жрец. — Пусть выйдет, если он не враг египетского народа.

Толпа зашумела, как ветер, несущийся издалека сквозь чащу деревьев, но никто не вышел из толпы.

— Истинно говорю вам, — продолжал жрец, — между вами бродят дурные люди, подобные гиене в овечьем стаде. Не о вашей нужде пекутся они, а хотят толкнуть вас на злое дело, чтоб вы разрушили дом наследника престола и подняли бунт против фараона. Если бы сбылось их подлое желание и грудь многих из вас обагрилась кровью, эти люди укрылись бы от копий, как сейчас от моего призыва.

— Слушайте пророка!.. Хвала тебе, человек божий!.. — кричали в толпе, склоняя головы. Наиболее благочестивые пали на землю.

— Внемли же, народ египетский... За то, что ты поверил слову жреца, за повиновение фараону и наследнику, за почет, что воздаешь слуге божьему, явлена будет тебе милость. Разойдитесь с миром по домам, и, может быть, не успеете вы спуститься с этого пригорка, как Нил начнет прибывать...

— Да исполнятся твои слова!

— Ступайте!.. Чем крепче будет ваша вера и благочестие, тем скорее узрите вы знамение благодати...

— Идем!.. Идем!.. Будь благословен, пророк, сын пророков!..

Толпа стала расходиться, многие целовали одежду жреца. Вдруг кто-то крикнул:

— Чудо!.. Чудо свершается!..

— На башне в Мемфисе зажгли огонь... Нил прибывает!.. Смотрите, все больше огней!.. Воистину с нами говорил великий святой... Да живешь ты вечно!..

Все повернулись к жрецу. Но его уже не было. Он исчез в ночной темноте.

Толпа, недавно возбужденная и за минуту до того охваченная изумлением и благодарностью, забыла о своем гневе и о жреце-чудотворце. Ею овладела безумная радость. Все бросились к берегу реки, где пылало уже множество костров и раздавалась громкая песнь собравшегося народа:

— «Привет тебе, о Нил, священная река, явившаяся с миром на землю, чтобы дать жизнь Египту. О таинственный бог, разгоняющий тьму, ороситель лугов, приносящий корм бессловесным тварям! О путь, текущий с небес и напоющий землю, о покровитель хлебов, приносящий радость в хижины! О ты, повелитель рыб!.. Когда ты нисходишь на наши поля, ни одна птица не тронет на них урожай. Ты — творец пшеницы, родитель ячменя!.. Ты даешь отдых рукам миллионов несчастных и вечную нерушимость храмам».^[55]

В это время освещенная факелами лодка наследника приплыла с того берега; ее встретили песнями и радостными кликами. Те самые люди, что полчаса назад хотели ворваться в усадьбу царевича, сейчас падали перед ним ниц или бросались в воду, чтобы поцеловать весла и края лодки, в которой прибыл сын повелителя.

При свете факелов, оживленный и веселый Рамсес в сопровождении Тутмоса вошел в дом Сарры. Завидя его, Гедеон тихо сказал Тафет:

— Я очень беспокоюсь за свою дочь, но мне не хочется встречаться с ее господином. Присмотри за ней.

Он перелез через ограду и в темноте миновал сад, потом полями направился к Мемфису.

Во дворе усадьбы уже раздавался громкий голос Тутмоса:

— Здравствуй, прекрасная Сарра!.. Я надеюсь, ты хорошо примешь нас в благодарность за музыку, которую я тебе прислал...

На пороге появилась Сарра с повязанной головой, опираясь на негра и служанку.

— Что это значит? — спросил изумленный Рамсес.

— Ужас!.. Ужас!.. — воскликнула Тафет. — Язычники напали на твой дом. Один из них попал камнем в Сарру.

— Какие язычники?..

— Да вот эти... египтяне!..

Рамсес смерил ее презрительным взглядом, но, сообразив, в чем дело, пришел в бешенство.

— Кто ударил Сарру?.. Кто бросил камень?.. — крикнул он, схватив за плечо негра.

— Те... что на берегу... — ответил невольник.

— Эй, стража! — крикнул в ярости царевич. — Вооружить всех людей в усадьбе и догнать эту шайку!..

Негр снова вытащил топор, сторожа стали вызывать работников из лачуг, а воины из свиты Рамсеса схватились за мечи.

— Ради бога, что ты хочешь делать?.. — взмолилась шепотом Сарра, бросаясь на шею царевичу.

— Я хочу отомстить за тебя! — ответил он. — Кто бросил камень в то, что принадлежит мне, бросил его в меня!

Тутмос, весь бледный, покачал головой.

— Послушай, господин, — сказал он, — как же ты ночью в толпе узнаешь тех, кто совершил преступление?

— Мне все равно!.. Чернь это сделала, и чернь за это ответит...

— Так не скажет ни один судья. А ведь тебе предстоит быть верховным судьей, — попытался урезонить царевича Тутмос.

Рамсес задумался. Друг его продолжал:

— Подумай, что завтра скажет наш повелитель, фараон?.. И какая радость воцарится среди врагов Египта на востоке и на западе, когда они услышат, что наследник престола чуть ли не у стен царского дворца нападает ночью на свой народ...

— О, если б отец дал мне хоть половину армии! Тогда умолкли бы навеки наши враги, где б они ни были!.. — пробормотал царевич, топнув ногой.

— Наконец... вспомни того крестьянина, который повесился... Ты так жалел, что погиб невинный человек, а сейчас... Неужели ты сам захочешь губить невинных?..

— Довольно! — остановил его наследник. — Гнев мой — как сосуд, наполненный водой... Горе тому, на кого она прольется... Войдем в дом...

Испуганный Тутмос отступил назад. Наследник взял Сарру за руку и поднялся с нею во второй этаж, посадил за стол, на котором стоял недоконченный ужин, и, поднеся светильник к ее голове, сорвал с девушки повязку.

— Да это даже не рана, — воскликнул он, — а только синяк!

Он долго и пристально смотрел на Сарру.

— Никогда не думал, что у тебя может быть синяк... — сказал он. — Это очень меняет лицо...

— Я тебе больше не нравлюсь?.. — тихо спросила Сарра, поднимая на него большие, полные тревоги глаза.

— Ах, нет!.. К тому же ведь это пройдет...

Он позвал Тутмоса и негра и велел рассказать, что тут произошло.

— Он нас защитил, — сказала Сарра, — встал с топором в дверях...

— Это действительно так? — спросил царевич, пристально посмотрев на невольника.

— Разве мог я допустить, чтобы в твой дом, господин, ворвались чужие люди?

Рамсес погладил его курчавую голову.

— Это поступок мужественного человека, — сказал он. — Дарю тебе свободу. Завтра получишь плату и можешь возвращаться к своим.

Негр зашатался. Он протер глаза, белки их ослепительно сверкали; негр бросился на колени и, стукнувшись лбом об пол, воскликнул:

— Не гони меня от себя, господин!

— Хорошо, — ответил наследник, — оставайся со мной, но уже как свободный воин. Вот какие люди нужны мне, — прибавил он, взглянув на Тутмоса. — Он не умеет говорить так красноречиво, как смотритель книгохранилищ, но всегда готов сражаться...

И снова стал расспрашивать о подробностях нападения. Когда же негр рассказал ему о появлении жреца и совершенном им чуде, царевич схватился за голову и воскликнул:

— Я несчастнейший в Египте человек!.. Скоро я не скроюсь от жрецов даже у себя в постели... Откуда он?.. Кто такой?

Этого негр не мог объяснить, но сказал, что жрец защищал Сарру, что нападением руководили не египтяне, а люди, которых жрец назвал врагами Египта и которых он тщетно призывал выйти вперед.

— Чудеса!.. Чудеса!.. — задумчиво повторил царевич, бросаясь на кровать. — Мой черный невольник поступает, как храбрый воин и вполне разумный человек... Жрец защищает еврейку, потому что она принадлежит мне... Что это за странный жрец? Народ египетский, преклоняющий колени перед собаками фараона, нападает на дом наследника престола под предводительством каких-то врагов Египта... Я должен сам все это расследовать...

Окончился месяц тот и начинался месяц паопи, вторая половина июля. Вода Нила из зеленоватой стала белой, потом красной и все прибывала. Царский водомер в Мемфисе заполнился на высоту чуть не в два человеческих роста, а Нил поднимался с каждым днем на две пяди. Самые низменные места были залиты, с более высоких спешно убрали лен, виноград и хлопок. Где утром было еще сухо, там к вечеру уже плескались волны.

Казалось, будто в глубине реки бушует грозный, невидимый водоворот. Вздывает, словно плугом, широкие валы, заливая пеной борозды, на мгновение разглаживает поверхность вод и тотчас же вновь свивает их в бездонные воронки. Опять вздывает валы, затем сглаживает, свивает, нагоняет новые горы воды и пены, и все вздувает и вздувает бурлящую реку, поглощая новые пространства земли. Достигнув вершины какой-нибудь преграды, река переливается через нее и устремляется в низину, образуя сверкающее озеро там, где еще только что рассыпались в прах сожженные солнцем травы.

Хотя подъем воды достиг едва лишь третьей части наибольшего своего уровня, все побережье было уже затоплено. С каждым часом все новые усадьбы на холмах превращались в острова, и если сперва их отделял от других лишь узкий проток, то понемногу он расширялся, окончательно отрезая жилье от соседей. Люди, выйдя на работу пешком, нередко возвращались домой в лодках.

Лодок и плотов появлялось все больше и больше. С одних ловили сетями рыбу, на других свозили урожай на гумна или мычащий скот в хлева, на третьих отправлялись в гости к знакомым, чтобы с веселым смехом и громкими возгласами объявить им, что Нил прибывает. Иногда лодки, сгрудившиеся в одном месте, как стая уток, разбегались во все стороны перед широким плотом, несшим из Верхнего Египта вниз огромные каменные глыбы, высеченные в прибрежных каменоломнях.

Воздух был наполнен шумом прибывающей воды, криком всполошенных птиц и веселыми песнями людей. Нил прибывает — будет вдоволь хлеба!

Весь месяц велось следствие о нападении на дом наследника. Каждое утро лодка с чиновниками и полицейскими подплывала к какой-нибудь усадьбе. Людей отрывали от работы, подвергали допросу с пристрастием,

били палками, и к вечеру в Мемфис возвращались уже две лодки: одна с чиновниками, другая с арестованными.

Таким образом, было привлечено к делу более трехсот человек, из которых половина ничего не знала, а половине грозила тюрьма или несколько лет каторжных работ в каменоломнях. Но ни о зачинщиках нападения, ни о жреце, который убеждал народ разойтись, так и не удалось узнать.

В характере царевича Рамсеса сочетались крайне противоречивые черты. Он был порывист, как лев, и упрям, как бык, но вместе с тем обладал ясным умом и глубоким чувством справедливости.

Видя, что следствие, которое вели чиновники, не дает никаких результатов, царевич сам отправился однажды на лодке в Мемфис и велел пропустить его в тюрьму.

Тюрьма, выстроенная на холме и окруженная высокой стеной, состояла из большого числа каменных, кирпичных и деревянных строений. Но это были большей частью либо ворота, либо жилища надсмотрщиков. Узники же ютились в подземельях, высеченных в известняке.

Войдя во двор тюрьмы, наследник увидел кучку женщин, обмывавших и кормивших какого-то узника. Обнаженный человек, похожий на скелет, сидел на земле; руки и ноги его были продеты в четыре отверстия квадратной доски, заменявшей кандалы.

— Давно так страдает этот несчастный? — спросил наследник.

— Два месяца, — ответил надсмотрщик.

— И долго еще ему сидеть?

— Месяц.

— В чем же он провинился?

— Оскорбил чиновника, собиравшего налоги.

Царевич отвернулся и увидел другую кучку, состоявшую из женщин и детей. Среди них был старик.

— Это тоже арестованные?

— Нет, государь. Это семья преступника, приговоренного к удушению. Они ждут, чтобы получить его тело после исполнения приговора. Вот его ведут на казнь. — И, обернувшись к кучке, надсмотрщик сказал: — Потерпите еще немного, любезные, сейчас вам выдадут тело.

— Большое тебе спасибо, дорогой господин, — ответил старик, вероятно отец преступника. — Мы вышли из дому вчера вечером, и лен остался у нас в поле, а тут река прибывает!..

Царевич побледнел и остановился.

— Тебе известно, — обратился он к надсмотрщику, — что мне

принадлежит право помилования?

— Да, эрпатор, — ответил надсмотрщик с поклоном, а потом прибавил: — Согласно закону, в память твоего пребывания в этом месте, сын солнца, осужденным за преступления против религии или государства, если они вели себя хорошо, должны смягчить наказание. Список этих людей будет повержен к твоим стопам в течение месяца.

— А тот, кого сейчас должны задушить, не имеет права воспользоваться моей милостью?

Надсмотрщик только поклонился и развел руками.

Они тронулись дальше. Прошли несколько дворов. В деревянных клетках на голой земле копошились преступники, приговоренные к тюремному заключению. В одном из зданий раздавались ужасные крики, там кого-то били, чтобы вынудить признание.

— Покажите мне людей, обвиняемых в нападении на мой дом, — приказал потрясенный этим зрелищем наследник.

— Их свыше трехсот человек.

— Отберите наиболее, по вашему мнению, виновных и допросите в моем присутствии. Но так, чтобы они меня не узнали.

Наследника престола проводили в помещение, где вел допрос следователь. Царевич велел ему занять обычное место, а сам сел за колонной.

Вскоре поодиночке стали появляться обвиняемые — исхудалые, с безумным взглядом, обросшие волосами.

— Тутмос, — обратился следователь к одному, — расскажи, как вы напали на дом достойнейшего наследника.

— Расскажу правду, как на суде Осириса. Это было вечером в тот день, когда Нил начал прибывать. Жена моя говорит мне: «Пойдем, старик, на горку, оттуда скорее увидим сигнал из Мемфиса». Пошли мы на горку, откуда легче было увидеть сигнал из Мемфиса. Тут подходит к моей жене какой-то солдат и говорит: «Пойдем со мной в этот сад, поедим там винограду или еще чего-нибудь». Ну, моя жена пошла с этим солдатом, а я страшно рассердился и следил за ними через забор. Бросали они камни в дом наследника или нет — я не могу сказать, потому что за деревьями, в темноте, ничего не видно было.

— Как же ты отпустил жену с солдатом? — спросил следователь.

— А что я мог сделать? Сами посудите, ваша милость. Ведь я только простой мужик, а он — воин, солдат его святейшества.

— А жреца ты видел, который говорил с вами?

— Это был не жрец, — убежденно ответил крестьянин. — Это,

должно быть, был сам бог Хнум^[56], потому что он вышел из ствола смоковницы и голова у него была, как у барана.

— Ты сам видел, что у него голова, как у барана?

— Прошу прощения, хорошо не помню, сам я видел или так люди рассказывали. У меня в голове мутилось, так я беспокоился за жену.

— Ты бросал камни?

— Для чего стал бы я бросать их, повелитель жизни и смерти? Если б я попал в жену, не было бы мне покоя целую неделю, а если в солдата — он так ткнул бы меня в брюхо, что у меня язык вывалился бы наружу. Ведь я только простой мужик, а он — воин бессмертного господина нашего.

Наследник сделал знак из-за колонны. Тутмоса увели, вместо него ввели Анупу. Это был крестьянин небольшого роста. На спине его видны были свежие следы палок.

— Скажи-ка, Анупу, — обратился к нему следователь, — как там было дело с нападением на сад наследника?

— Око солнца, — ответил крестьянин, — сосуд мудрости! Ты очень хорошо знаешь, что я не устраивал нападения. Подошел только ко мне сосед и говорит: «Пойдем на гору, Анупу, Нил прибывает». А я говорю: «Да прибывает ли?» А он: «Ты глупее осла, потому что осел услышал бы музыку на горе, а ты не слышишь». Тут я ему отвечаю: «Глуп я, потому что не учен грамоте; а только, прости меня, — одно дело музыка, а другое — подъем воды». А он на это: «Если б не было подъема, людям нечему было бы радоваться, играть и петь». Ну, мы и пошли на гору. А там уже музыкантов разогнали и бросают в сад камни.

— Кто бросал?

— Не заметил я. Те люди не похожи были на крестьян, скорее на нечистых парасхитов, которые бальзамируют умерших.

— А жреца видел?

— С разрешения вашей милости, это был не жрец, а скорее дух, охраняющий дом наследника, — да живет он вечно!..

— Почему дух?

— Потому что временами он становился невидимым.

— Может быть, его заслоняла толпа?

— Конечно, по временам его заслоняли люди, но и сам-то он казался то выше, то ниже...

— Может быть, он взбирался на пригорок и спускался с него?

— Пожалуй, что взбирался и спускался. А может, и сам становился длиннее и короче. Это был великий чудотворец. Только он сказал: «Сейчас Нил начнет прибывать», — и тотчас же Нил стал прибывать.

— А камни ты бросал, Анупу?

— Как же я посмел бы бросать камни в сад наследника престола?.. Ведь я простой крестьянин, и рука отсохла бы у меня по локоть за такое кощунство.

Царевич велел прекратить допрос. Когда же увели обвиняемых, он обратился к следователю:

— Так эти люди принадлежат к числу наиболее виновных?

— Воистину, государь, — ответил следователь.

— В таком случае надо сегодня же освободить всех. Нельзя держать людей в тюрьме за то, что они хотели посмотреть, прибывает ли священный Нил, или за то, что слушали музыку.

— Высшая мудрость говорит твоими устами, сын царя, — сказал следователь. — Мне велено найти наиболее виновных, и я отобрал тех, кого нашел. Но не в моих силах вернуть им свободу.

— Почему?

— Взгляни, достойнейший, на этот сундук. Он полон папирусов, на которых написаны акты этого дела. Мемфисский судья каждый день получает рапорт о его движении и доводит до сведения фараона. Во что же обратится труд стольких ученых писцов и великих мужей, если освободят обвиняемых?

— Да ведь они невинны! — воскликнул царевич.

— Но раз было нападение — значит, преступление налицо. А где есть преступление, должны быть и преступники. И кто раз очутился в руках властей и записан в актах, не может уйти без всяких последствий. В харчевне человек пьет и платит за это; на ярмарке он что-нибудь продает и покупает; в поле сеет и жнет; навещая гробницы, получает благословение предков. Как же может быть, чтобы кто-нибудь, придя в суд, вернулся ни с чем, как путник, который, остановившись на половине дороги, возвращается домой, не достигши цели?

— Ты говоришь мудро, — ответил наследник. — Скажи мне, однако: а его святейшество фараон тоже не имеет права освободить этих людей?

Следователь скрестил руки и склонил голову.

— Равный богам может сделать все, что захочет: освободить обвиняемых, даже приговоренных, уничтожить все акты по делу, но со стороны простого смертного это явилось бы святотатством.

Царевич простился со следователем и поручил надсмотрщику, чтобы за его счет всех обвиняемых лучше кормили. Затем, взволнованный, он переплыл на другой берег все прибывающей реки и отправился во дворец просить фараона прекратить это злополучное дело.

Но в этот день у царя было много религиозных церемоний и совещаний с министрами, так что наследнику не удалось с ним повидаться. Тогда царевич обратился к верховному писцу, который после военного министра имел наибольшее влияние при дворе. Этот старый чиновник, жрец одного из мемфисских храмов, принял царевича вежливо, но холодно и, выслушав его, ответил:

— Меня удивляет, что ты хочешь беспокоить подобными делами нашего господина. Это все равно, как если бы ты просил не уничтожать саранчу, севшую на поле.

— Но ведь это же невинные люди!..

— Мы, ваше высочество, не можем этого знать, ибо, виновны они или невиновны, решает закон и суд. Одно для меня безусловно ясно, что государство не может потерпеть, чтобы люди врывались в чужой сад, а тем более — чтобы поднимали руку на собственность наследника престола.

— Ты прав, конечно, но где же виновные? — спросил царевич.

— Где нет виновных — должны быть, по крайней мере, наказанные. Не преступление, а наказание, которое за ним следует, учит людей, что этого нельзя делать.

— Я вижу, — прервал его наследник, — что ты не поддержишь моей просьбы перед его святейшеством.

— Мудрость говорит твоими устами, эрпатор, — ответил вельможа. — Я никогда не позволю себе дать своему господину совет, который подрывал бы авторитет власти...

Царевич вернулся к себе измученный, в глубоком недоумении. Он сознавал, что несколько сотен людей терпят несправедливость, и видел, что не может их спасти, как не мог бы извлечь человека из-под обрушившегося обелиска или колонны храма.

«Мои руки слишком слабы, чтоб поднять эту громаду», — думал он со щемящим чувством.

Он впервые почувствовал, что есть какая-то сила, значащая бесконечно больше, чем его воля: интересы государства, которым подчиняется даже всемогущий фараон и перед которыми должен смириться и он, наследник.

Спустилась ночь. Рамсес велел слугам никого не принимать; он одиноко бродил по террасе своего павильона и думал: «Это ужасно!.. Там передо мной расступились непобедимые полки Нитагора, а тут — тюремный надсмотрщик, судебный следователь и верховный писец становятся мне поперек дороги... Кто они такие? Жалкие слуги моего отца, — да живет он вечно! — который в любую минуту может низвести их

до положения рабов и сослать в каменоломни. Но почему отец мой не может помиловать невинных?.. Так хочет государство?.. А что такое государство?.. Чем оно питается, где спит, где его руки и меч, которого все боятся?..»

Он поглядел в сад между деревьями, и взгляд его упал на два огромных пилона на вершине холма, где горели факелы стражи. Ему пришло в голову, что эта стража никогда не спит, а пилоны никогда не питаются и, однако, существуют. Древние, несокрушимые пилоны, могучие, как властелин, который их воздвиг, — Рамсес Великий! Сдвинуть с места эти твердыни и сотни им подобных? Обмануть бдительность этих стражей и тысячи других, охраняющих безопасность Египта? Нарушить законы, оставленные Рамсесом Великим и еще более могущественными владыками, которых двадцать династий освятило своим признанием?

И вот перед Рамсесом стал вырисовываться еще неясный, но гигантский образ — государство. Государство — это нечто более величественное, чем храм Амона в Фивах, более грандиозное, чем пирамида Хеопса, более древнее, чем сфинкс, более несокрушимое, чем гранит.

В этом необъятном, хотя и незримом здании люди — как муравьи в трещине скалы, а фараон — словно странствующий архитектор, который едва успевает положить в стену один камень и тут же уходит. А стены растут от поколения к поколению, и здание продолжает стоять нерушимо.

Никогда еще он, сын царя, не чувствовал себя таким ничтожным, как в эту минуту, когда взгляд его блуждал в ночной тьме над Нилом между пилонами дворца фараона и туманными, но полными величия, силуэтами мемфисских храмов.

Вдруг из-за деревьев, ветви которых достигали террасы, послышался голос:

— Я знаю твою печаль и благословляю тебя. Суд не освободит обвиняемых крестьян, но дело их будет прекращено, и они вернутся с миром в свои хижины, если управляющий твоим поместьем не станет поддерживать жалобы о нападении.

— Так это мой управляющий подал жалобу? — спросил с удивлением царевич.

— Да. Он подал ее от твоего имени, но если он не придет на суд, значит, не будет потерпевшего, а где нет потерпевшего, нет преступления.

Что-то зашуршало в кустах.

— погоди! — воскликнул Рамсес. — Кто ты такой?

Никто не ответил, но ему показалось, будто в полосе света от факела,

горевшего во втором этаже, мелькнула бритая голова и шкура пантеры.

— Жрец!.. — прошептал наследник. — Почему же он прячется?

Но тут же сообразил, что жрец может тяжело поплатиться за свой совет, мешающий делу правосудия.

Большую часть ночи Рамсес провел в лихорадочных грезах. То перед ним всплывал призрак государства в виде бесконечного лабиринта с мощными стенами, которые ничем не пробить, то появлялся призрак жреца, одно мудрое слово которого указало ему, как выбраться из лабиринта. Итак, перед ним предстали две могучие силы: интересы государства, — которые он до сих пор неясно себе представлял, хотя был наследником престола, — и жреческая каста, которую он хотел раздавить и подчинить себе.

Это была тяжелая ночь. Царевич метался на своем ложе и спрашивал себя: не был ли он до сих пор слепым и только сегодня прозрел, чтоб убедиться в своем неразумии и ничтожестве. Совершенно в ином виде представлялись ему сейчас и предостережения матери, и сдержанность отца в изъятии своей высочайшей воли, и даже суровость министра Херихора.

«Государство и жрецы!..» — повторял он сквозь сон, обливаясь холодным потом.

Только боги небесные знают, что произошло бы, если б в душе Рамсеса успели разрастись и созреть мысли, которые родились в эту ночь. Может быть, став фараоном, он был бы одним из самых счастливых и царствовал бы дольше других повелителей. Может быть, имя его, высеченное на каменных стенах подземных и надземных храмов, дошло бы до потомства, окруженное величайшей славой. Может быть, он и его династия не лишились бы трона и Египет избежал бы великого потрясения в наиболее трудное для себя время.

Но утренний свет рассеял призраки, кружившие над разгоряченной головой царевича, а последующие дни резко изменили его представление о непоколебимости государственных интересов.

Посещение Рамсесом тюрьмы не осталось без последствий для обвиняемых. Следователь доложил об этом верховному судье. Судья вторично пересмотрел дело, сам допросил часть обвиняемых, в течение нескольких дней освободил большинство и ускорил разбор дела остальных.

Когда же истец не явился на суд, несмотря на то, что его выкликали и в зале суда, и на базарной площади, — дело о нападении было прекращено, и всех обвиняемых освободили.

Правда, один из судей заметил было, что по закону следовало бы

возбудить процесс против управляющего усадьбой наследника за ложное обвинение и, если это будет доказано, подвергнуть его тому самому наказанию, какое грозило обвиняемым. Но вопрос этот замаяли.

Управляющий имением, переведенный наследником в ном Такенс, исчез из поля зрения судей, а вскоре пропал куда-то и сундук с папирусами по делу о нападении.

Узнав об этом, Рамсес отправился к верховному писцу и с улыбкой спросил:

— Что ж, достойнейший, невинных освободили, дело о них святотатственно уничтожили, и, несмотря на это, престиж власти не пострадал?

— Дорогой мой царевич, — ответил с обычным хладнокровием верховный писец, — я не предполагал, что одной рукой ты подаешь жалобу, а другой — стараешься ее изъять. Чернь нанесла оскорбление сыну фараона — нашей обязанностью было наказать виновных. Но если ты простил обиду, государство не станет против этого возражать.

— Государство!.. Государство!.. — повторил Рамсес. — Государство — это мы, — прибавил он, прищурившись.

— Да, государство — это фараон и... его вернейшие слуги, — ответил писец.

Достаточно было этого разговора с высоким сановником, чтобы рассеять начавшее было пробуждаться в сознании наследника могучее, хотя еще неясное, представление о значении «государства». Итак, государство — не вечное несокрушимое здание, к которому фараоны должны камень за камнем прибавлять свои великие дела, а скорее куча песка, которую каждый повелитель пересыпает, как ему заблагорассудится. В государстве нет тех узких дверей, именуемых законами, проходя через которые каждый, кто бы он ни был — крестьянин или наследник престола, — должен наклонять голову. В этом здании есть разные ходы и выходы: узкие — для малых и слабых, весьма широкие и удобные — для сильных.

«Если так, — решил царевич, — я установлю порядок, какой мне нравится».

И ему вспомнились два человека: освобожденный негр, который, не ожидая приказа, готов был отдать жизнь за то, что принадлежало наследнику, и незнакомый жрец.

«Будь у меня больше таких людей, воля моя почиталась бы и в Египте и за пределами его!..» — сказал он себе и решил непременно разыскать жреца.

Это был, вероятно, тот самый, который сдержал людей, напавших на

его дом. Он не только прекрасно знает законы, но и умеет управлять толпой.

— Неоценимый человек!.. Я должен его найти...

С этих пор Рамсес в небольшой лодке с одним гребцом стал объезжать крестьянские хижинки в окрестностях своей усадьбы. В хитоне и большом парике, с длинной рейкой, на которой были насечены деления, он мог сойти за инженера, следящего за подъемом воды.

Крестьяне охотно давали ему всякие объяснения, касающиеся разлива, и при случае просили, чтобы правительство придумало какой-нибудь более легкий способ черпания воды, чем журавль с ведром. Они рассказывали также о нападении на усадьбу наследника, но не знали людей, бросавших камни. Вспоминали и жреца, которому удалось успокоить толпу. Но кто он — они не знали.

— Есть, — говорил один крестьянин, — в наших местах жрец, который лечит глаза, и есть другой, что заживляет раны и вправляет переломанные руки и ноги. Есть такие, которые учат читать и писать. Один играет на двойной флейте, и даже недурно. Но того, кто явился тогда в саду наследника, среди них нет, и они сами о нем ничего не знают. Наверно, это бог Хнум или какой-нибудь дух, охраняющий наследника, — да живет он вечно и никогда не теряет аппетита!..

«А может быть, это и в самом деле дух?» — подумал Рамсес.

В Египте скорее можно было встретить злого или доброго духа, чем дожждаться, например, дождя.

Нил из красного стал коричневым, и в августе, в месяце атир, достиг половины своей высоты. В береговых плотинах открыли шлюзы, и вода стала стремительно заполнять каналы и огромное искусственное Меридово озеро в области Фаюм^[57], славящейся чудесными розами. Нижний Египет представлял собой как бы морской залив, окаймленный холмами, по склонам которых были разбросаны дома и сады. Сухопутное сообщение совершенно прекратилось, и по реке сновало множество лодок, белых, желтых, красных, темно-бурых, похожих на осенние листья. На самых высоких местах кончали сбор урожая хлопка, второй раз косили клевер и начинали собирать плоды тамариндов и олив.

Однажды, плывя мимо залитых водой усадеб, Рамсес заметил на одном из островков необычное движение. Оттуда жее из-за деревьев доносился громкий крик женщин.

«Наверно, кто-нибудь умер», — подумал наследник.

С другого островка увозили на небольших лодках мешки с зерном и скот; люди, стоявшие у служб, ругались и грозили сидевшим в лодке.

«Поспорили соседи...» — решил Рамсес.

Дальше в усадьбах было спокойно, но жители, вместо того чтобы работать или петь песни, молча сидели на земле.

«Кончили работу и отдыхают».

От одного островка отчалила лодка с плачущими детьми; какая-то женщина бросилась ей вслед и, стоя по пояс в воде, грозила кулаком.

«Везут детей в школу», — подумал Рамсес.

В конце концов его заинтересовали все эти сцены...

С одного из следующих островков опять донесся крик. Царевич приставил руку в глазам и увидел лежавшего на земле человека, которого бил палкой негр.

— Что это тут происходит? — спросил Рамсес лодочника.

— Разве вы не видите, господин? Бьют бедного мужика! — ответил лодочник, ухмыляясь. — Прощтрафился, видно, вот и трещат косточки.

— А сам ты разве не крестьянин?

— Я?.. — с гордостью спросил лодочник. — Я — свободный рыбак. Отдам его святейшеству, что полагается из улова, и могу плавать по всему Нилу, от первых порогов до самого моря. Рыбак — как рыба или как дикий гусь, а мужик — как дерево: кормит господ своими плодами и никуда не может убежать. Только кряхтит, когда надсмотрщики портят на нем кору. Ого-го!.. Посмотрите-ка вон туда, — вскричал довольный собою рыбак. — Эй, отец!.. Не выхлебай всю воду!.. А то будет неурожай!

Этот веселый возглас относился к кучке людей, занятых довольно странным делом. Несколько голых мужчин, стоя на берегу, держали за ноги какого-то человека и окунали его вниз головой в реку сначала по шею, затем по грудь и, наконец, по пояс. Рядом стоял какой-то человек с дубинкой, в грязном хитоне и в парике из бараньей шкуры. А немного поодаль кричала благим матом женщина, которую люди держали за руки.

Палочная расправа была так же распространена в счастливом государстве фараона, как еда и сон. Били детей и взрослых, крестьян, ремесленников, солдат, офицеров, чиновников. Каждый получал свою порцию палок, за исключением жрецов и высших вельмож, которых бить было уже некому. Поэтому наследник довольно равнодушно смотрел на крестьянина, избиваемого дубинкой, но его внимание привлек крестьянин, которого окунали в воду.

— Го! Го!.. — продолжал смеяться лодочник. — Здорово его накачивают!.. Разбухнет так, что придется жене распускать набедренник.

Рамсес велел подплыть к берегу. Тем временем крестьянина извлекли из воды, дали ему выкашляться и снова схватили за ноги, не обращая внимания на дикие крики женщины, которая царапала и кусала державших ее людей.

— Стой! — крикнул царевич палачам, тащившим крестьянина.

— Делайте свое дело! — заорал, для важности гнусава, человек в бараньем парике. — Экий, гляди, смельчак нашелся!..

В ту же минуту Рамсес со всего размаху ударил его по голове своей рейкой, которая, к счастью, оказалась не слишком увесистой. Владелец грязного хитона так и присел на землю и, схватившись за голову, посмотрел на нападавшего помутневшими глазами.

— Как видно, — проговорил он вполне естественным голосом, — я имею честь разговаривать со знатной особой... Да сопутствует тебе, господин мой, хорошее настроение, и пусть желчь никогда не разливается по твоему телу...

— Что вы тут делаете с этим человеком?.. — прервал его царевич.

— Ты спрашиваешь, мой господин, — ответил человек в бараньем парике, опять загнусавив, — как иностранец, который не знаком ни с местными обычаями, ни с людьми и разговаривает с ними слишком бесцеремонно. Так знай же, я — сборщик податей и служу благородному Дагону, первому банкиру в Мемфисе; и если это не заставит тебя побледнеть, так знай вдобавок, что благородный Дагон является арендатором, уполномоченным и другом наследника престола, — да живет он вечно! — и что ты совершил насилие на земле царевича Рамсеса, что могут засвидетельствовать мои люди.

— Значит, это... — хотел перебить его царевич, но вдруг остановился. — По какому же праву вы мучаете так крестьянина, принадлежащего наследнику?

— Он, негодяй, не хочет платить налогов, а казна наследника опустела.

Его помощники при виде беды, какая постигла их начальника, выпустили из рук свои жертвы и стояли, беспомощностью своей напоминая обезглавленное тело. Освобожденный крестьянин снова принялся вытряхивать из ушей и выплевывать воду, а супруга его припала к ногам избавителя.

— Кто бы ты ни был, — причитала она, молитвенно протягивая руки к царевичу, — бог или даже посланец фараона, выслушай меня. Мы — крестьяне наследника престола, — да живет он вечно! — и заплатили мы все налоги — и просом, и пшеницей, и цветами, и бычьими шкурами. А тут приходит к нам вот этот человек и велит еще дать ему семь мер пшеницы.

«По какому такому праву? — спрашивает мой муж. — Ведь все уже уплачено». А он валит его на землю, топчет ногами и кричит: «А по такому праву, что так приказал достойный Дагон». — «Откуда же мне взять, — отвечает мой муж, — когда у нас нет никакого хлеба и уже с месяц мы кормимся семенами или корешками лотоса, да и те стало трудно добывать, потому что большие господа любят забавляться его цветами».

Она зарыдала. Рамсес терпеливо ждал, пока она успокоится. Крестьянин же, которого перед тем окунали в воду, ворчал:

— Уж: эта баба своей болтовней накличет на нас беду. Говорил я тебе, что не люблю, когда бабы вмешиваются в мои дела.

Тем временем сборщик, подойдя поближе к лодочнику, спросил его потихоньку, указывая на Рамсеса:

— Кто этот молокосос?

— Чтоб у тебя язык отсох! — ответил лодочник. — Не видишь разве, что, должно быть, важный господин; хорошо платит и здорово дерется.

— Я сразу сообразил, — зашептал сборщик, — что это знатная особа. Когда я был молодым, мне не раз случалось участвовать в пирушках с важными господами.

— Ага, видно, от этих пирушек у тебя и остались жирные пятна на одежде, — буркнул в ответ лодочник.

Женщина, выплакавшись, снова заговорила:

— А сегодня пришел этот писец со своими людьми и говорит мужу: «Если нет у тебя пшеницы, отдай нам двух твоих сынишек; тогда достойный Дагон не только снимет с тебя эти недоимки, но еще будет выплачивать за каждого мальчишку ежегодно по драхме...»

— Горе мне с тобой! — прикрикнул на нее муж, которого только что окунали в воду. — Сгубишь ты нас всех своей болтовней... Не слушай ее, добрый господин, — обратился он к Рамсесу. — Корова думает, что она хвостом отпугнет мух, а бабе кажется, что языком отгонит сборщиков податей. Не знают ни та, ни другая, что они дуры.

— Сам ты дурак, — оборвала его женщина. — Пресветлый господин наш... И вид-то у тебя как у царевича...

— Будьте свидетелями, — шепнул сборщик своим людям, — эта женщина кощунствует...

— Цветок душистый! Голос твой — что звук флейты... Выслушай меня, — молила женщина Рамсеса. — Так вот, муж мой и говорит этому чиновнику: «Я бы вам скорее отдал пару быков, если б они у меня были, чем своих мальчуганов, хоть бы вы мне платили за каждого по четыре драхмы в год. Уйдет ребенок из дому служить — никто его уж больше не

увидит».

— Удавиться бы мне! Лучше бы уж рыбы клевали тело мое на дне Нила! — стонал муж. — Ты всех погубишь своими жалобами, баба...

Сборщик, видя поддержку с наиболее заинтересованной стороны, выступил вперед и опять заговорил, гнуся:

— С тех пор как солнце восходит из-за царского дворца и заходит за пирамидами, творились в этой стране разные чудеса... При фараоне Семемпсесе^[58] происходили чудесные явления у пирамид Кахуна^[59], и чума посетила Египет. При Боетосе^[60] разверзлась земля под Бубастом и поглотила множество людей... В царствование Неферхеса^[61] воды Нила в продолжение одиннадцати дней были сладки, как мед. Случались и не такие еще чудеса, о которых я знаю, ибо я преисполнен мудрости. Но никогда никто не видел, чтоб из воды вышел какой-то неизвестный человек и во владениях достойнейшего наследника стал препятствовать сбору налогов.

— Молчать! — крикнул Рамсес. — И убирайся вон отсюда. Никто не отберет у вас детей, — прибавил он, обращаясь к женщине.

— Мне нетрудно убраться, — ответил сборщик, — потому что в моем распоряжении легкая лодка и пять гребцов. Но дайте асе мне, ваша честь, какой-нибудь знак для господина моего Дагона.

— Сними парик и покажи Дагону знак на твоей башке и скажи ему, что такие же знаки я распишу по всему его телу.

— Вы слышите, какое оскорбление! — прошептал сборщик своим людям, пятясь к берегу с низкими поклонами. Он сел в лодку, и, когда его помощники отчалили и отплыли на несколько десятков шагов, он погрозил в сторону берега кулаком и крикнул:

— Чтоб вам все внутренности скрутило, бунтовщики! Святотатцы! Я отправлюсь отсюда прямо к наследнику и расскажу ему, что творится в его владениях.

Потом взял дубинку и стал тузить своих людей за то, что они не заступились за него.

— Так будет и с тобой!.. — кричал он, угрожая Рамсесу.

Царевич вскочил в свою лодку и, взбешенный, велел лодочнику плыть вдогонку за дерзким служащим ростовщика. Но человек в бараньем парике бросил дубинку и сам сел на весла, а люди его помогали ему так усердно, что погоня ни к чему не привела.

— Скорее сова догонит ласточку, чем мы их, прекрасный мой господин, — сказал, смеясь, лодочник Рамсесу. — А вы небось не инженер,

следящий за подъемом воды, а офицер, и, пожалуй, из самой гвардии фараона? Сразу — бац по голове! Мне это дело знакомо: я и сам пять лет прослужил в армии и колотил по макушке да по пузу, и неплохо жилось мне на свете. А если меня, бывало, кто сшибет, — я сразу смекаю, что это кто-нибудь из важных... У нас в Египте — да не покинут его никогда боги! — страшно тесно: город на городе, дом на доме, человек на человеке. И кто хочет как-нибудь повернуться в этой гуще, должен лупить по голове.

— Ты женат? — спросил наследник.

— Хм! Когда есть баба и место на полтора человека, тогда женат, а вообще — холостой. Я ведь служил в армии и знаю, что баба хороша один раз в день — и то не всегда. Мешает.

— А не пойдешь ли ко мне на службу? Не пожалеешь...

— Прошу прощения, но я сразу увидел, что вы могли бы полком командовать, даром что так молоды. Только на службу я ни к кому не пойду, я — вольный рыбак. Дед мой был, прошу прощения, пастухом в Нижнем Египте, а род наш от гиксосов. Правда, донимает нас глупое египетское мужичье, но меня только смех берет. Мужик и гиксос, скажу прямо, как вол и бык. Мужик может ходить и за плугом, и перед плугом, а гиксос никому не станет служить. Разве что в армии его святейшества царя — на то она и армия!

Веселый лодочник продолжал разглагольствовать, но наследник больше не слушал. В душе его все громче звучали мучительнейшие вопросы, совершенно для него новые. Так, значит, эти островки, мимо которых он плыл, принадлежат ему. Странно, что он совсем не знал, где находятся и каковы его владения. И, значит, от его имени Дагон обложил крестьян новыми поборами, а то необычайное оживление, которое он наблюдал, плывя вдоль берегов, и было сбором податей. Крестьянину, которого били на берегу, очевидно, нечем было платить. Дети, горько плакавшие в лодке, были проданы по драхме за голову на целый год. А женщина, которая, стоя по пояс в воде, проклинала увозивших, — это их мать...

«Очень беспокойный народ эти женщины, — говорил себе царевич. — Одна только Сарра кротка и молчалива, а все другие только и знают, что болтать, плакать и кричать...»

Ему вспомнился крестьянин, уговаривавший свою сердитую жену: его топили, а он не возмущался; с ней же ничего не делали, а она орала.

«Да, женщины беспокойный народ!.. — повторял он мысленно. — Даже моя почтенная матушка... Какая разница между ней и отцом! Царь не хочет и знать о том, что я забыл о походе ради девушки, а вот царице есть

дело даже до того, что я взял в дом еврейку. Сарра — самая спокойная женщина, какую я знаю. Зато Тафет тараторит, плачет, орет за четверых...»

Потом Рамсесу вспомнились слова жены крестьянина о том, что они уже месяц не едят хлеба, а только семена и корешки лотоса. Семена эти, как мак, а корни — без всякого вкуса. Он не стал бы их есть и три дня подряд. Ведь даже жрецы, занимающиеся лечением, рекомендуют менять пищу. Еще в школе его учили, что надо мясо чередовать с рыбой, пшеничный хлеб с финиками, ячменные лепешки с фигами. Но целый месяц питаться семенами лотоса!.. Да, а как же лошадь, корова?.. Лошади и коровы любят сено, а ячменные клецки приходится насильно пихать им в глотку. Возможно, и крестьяне предпочитают питаться семенами лотоса, а пшеничные и ячменные лепешки, рыбу и мясо едят без удовольствия. Впрочем, особенно благочестивые жрецы, чудотворцы, никогда не прикасаются ни к мясу, ни к рыбе. Очевидно, вельможи и сыновья фараона нуждаются в мясной пище, как львы и орлы, а крестьянам достаточно травы, как волу...

А что мужика окунали в воду за недоимки, так разве сам он, купаясь с товарищами, не толкал их в воду и сам не нырял? Сколько было при этом смеха! Нырять — это развлечение. Что же касается палки, то мало ли его били в школе?.. Это больно, но, должно быть, не всем. Собака, когда ее бьют, визжит и кусается, а вол далее не оглянется. Так и тут: человеку знатному больно, когда его бьют, а мужик кричит только для того, чтобы подрать глотку. Да и не все кричат. Солдаты или офицеры — те даже поют под палками...

Эти мудрые соображения не могли, однако, заглушить едва уловимого, но неотвязного беспокойства в душе наследника. Его арендатор Дагон требует с крестьян уплаты незаконных податей, чего они уже не в силах сделать!

Впрочем, в эту минуту наследника интересовали не столько крестьяне, сколько его мать. Ей-то, наверно, известно о хозяйничанье финикиянина. Что она скажет по этому поводу сыну, как посмотрит на него? Как лукаво улыбнется!.. Она не была бы женщиной, если б не напомнила ему при случае: «Ведь я же говорила тебе, Рамсес, что этот финикиянин разорит твои поместья!..»

«Если б эти предатели-жрецы, — продолжал размышлять царевич, — пожертвовали мне двадцать талантов, я бы завтра же прогнал Дагона, чтобы мои крестьяне не терпели побоев и не хлебали нильской воды, а мать не подсмеивалась надо мной... Десятая... сотая часть тех богатств, что лежат в храмах, радуя лишь ненасытную алчность жрецов, на целые годы

освободила бы меня от финикиян...»

И тут Рамсес пришел к неожиданному для себя заключению, что между крестьянами и жрецами существует глубокий антагонизм.

«Это из-за Херихора повесился тот крестьянин на границе пустыни. Это для того, чтобы содержать жрецов и храмы, тяжело трудятся около двух миллионов египтян... Если бы поместья жрецов принадлежали казне фараона, мне не пришлось бы занимать пятнадцать талантов и мои крестьяне не подвергались бы таким бесчеловечным притеснениям. Вот где источник бед Египта и слабости его владык!»

Царевич сознавал, что крестьяне терпят жестокую несправедливость, и, решив, что виновники зла — жрецы, обрадовался. Ему не приходило в голову, что его суждения могут быть ошибочны и несправедливы.

Впрочем, он не судил, а только возмущался. Но возмущение человека никогда не обращается против него самого, подобно тому как голодная пантера не ест самое себя, а, виляя хвостом и прижимая к голове уши, высматривает вокруг себя жертву.

Прогулки наследника престола с целью разыскать жреца, который спас Сарру, а ему дал дельный совет, привели к неожиданному результату. Жреца так и не удалось найти, зато среди египетских крестьян стали распространяться легенды о царевице. Какой-то человек разъезжал по ночам в небольшом челноке из деревни в деревню и рассказывал крестьянам, что наследник престола освободил людей, которым за нападение на его дом грозила работа в каменоломнях; кроме того, царевиц избил служащего, вымогавшего у крестьян незаконные налоги: «Царевиц Рамсес находится под особым покровительством Амона — бога Западной пустыни, — который является его отцом», — добавлял незнакомец в заключение.

Простой народ жадно слушал эти рассказы и охотно верил им, во-первых, потому, что они совпадали с фактами, во-вторых, потому, что рассказывавший сам появлялся, как дух; приплывал неизвестно откуда и исчезал.

Рамсес совсем не говорил с Дагоном о своих крестьянах и даже не вызвал его к себе; ему было неудобно ссориться с финикиянином, от которого он получил деньги и к которому, пожалуй, еще не раз вынужден будет обращаться.

Однако спустя несколько дней после столкновения Рамсеса с писцом Дагона банкир сам явился к наследнику престола с каким-то завязанным в белый платок предметом. Войдя в комнату, он опустился на колени, развязал платок и вынул из него чудесный золотой кубок, богато украшенный разноцветными камнями и резьбой. На подставке был изображен сбор винограда, а на чаше — пиршество.

— Прими этот кубок, достойный господин, от раба твоего, — сказал банкир, — и пусть он служит тебе сто... тысячу лет... до скончания веков.

Рамсес, однако, догадался, чего добивается финикиянин. Поэтому, не прикасаясь к драгоценному подарку, он сказал, строго взглянув на Дагона:

— Ты видишь, Дагон, багряный отлив внутри кубка?

— Конечно, — ответил банкир, — как же мне не заметить этого багрянца, по которому видно, что кубок из чистейшего золота.

— А я тебе скажу, что это кровь детей, отнятых от родителей! — грозно ответил наследник престола и ушел, оставив Дагона одного.

— О Ашторет! — простонал финикиянин.

Губы у него посинели и руки стали дрожать так, что он с трудом снова завернул свой кубок.

Несколько дней спустя Дагон отправился с этим кубком к Сарре. Он нарядился в дорогое платье, тканное золотом; в густой бороде у него был спрятан стеклянный шарик, из которого струились благовония, в волосы он воткнул два пера.

— Прекрасная Сарра, — начал он, — да низольет Яхве столько благословений на твою семью, сколько сейчас воды в Ниле. Ведь мы, финикияне, и вы, евреи, — соседи и братья. Я сам пылаю к тебе такой пламенной любовью, что если б ты не принадлежала достойнейшему господину нашему, я дал бы Гедеону, — да здоровствует он благополучно! — десять талантов и сделал бы тебя своей законной женой. Такая у меня страстная натура!

— Упаси меня бог, — ответила Сарра, — не нужно мне другого господина, кроме моего. Но с чего это, почтенный Дагон, пришла тебе охота навестить сегодня прислужницу царевича?

— Скажу тебе правду, как если бы ты была Фамарью, женой моей, которая, хоть она и знатная дочь Сидона и принесла мне большое приданое, стара уже и недостойна снимать сандалии с твоих ног...

— Сладкий мед, что течет из твоих уст, отдает полынью, — заметила Сарра.

— Сладость его, — продолжал Дагон, присаживаясь, — пусть будет для тебя, а горечь пусть отравляет мое сердце. У господина нашего, Рамсеса, — да живет он вечно! — львиные уста и ястребиная зоркость. Он соизволил сдать мне в аренду свои поместья, что наполнило радостью чрево мое. Но, увы, он не доверяет мне, и я ночи не сплю от огорчения, а только вздыхаю и обливаю слезами свое ложе, где лучше бы ты возлежала со мною, Сарра, вместо моей старухи, которая не в силах уже пробудить во мне страсть...

— Вы хотели говорить о чем-то другом... — перебила его Сарра, покраснев.

— Я уж и сам не знаю, о чем хотел говорить, с тех пор, как увидел тебя, и с тех пор, как наш господин, проверяя, как я хозяйничаю в его владениях, избил дубинкой моего писца, собиравшего подати с крестьян, так что тот лишился здоровья. Ведь эти подати не для меня, Сарра, а для нашего господина... Не я буду есть фиги и пшеничный хлеб из этих поместий, а ты, Сарра, и наш господин... Я дал господину деньги, а тебе драгоценности. Почему же подлое египетское мужичье должно разорять нашего господина и тебя, Сарра?.. А чтобы ты поняла, как волнуешь ты

мою кровь своей красотой, и чтобы знала, что от этих поместий я не ищу никакой прибыли, а все отдаю вам, возьми, Сарра, вот этот кубок из чистого золота, разукрашенный камнями и резьбой, которая привела бы в восторг самих богов...

С этими словами Дагон вынул из белого платка кубок, не принятый царевичем.

— Я не настаиваю, Сарра, чтоб этот золотой кубок хранился у тебя в доме и чтобы ты давала из него пить нашему господину. Отдай его твоему отцу Гедеону, которого я люблю, как брата, и скажи ему такие слова: «Дагон, твой брат-близнец, злополучный арендатор поместий наследника престола, разорен. Пей, отец мой, из этого кубка, думай о брате-близнеце Дагоне и проси Яхве, чтобы господин наш, царевич Рамсес, не избивал его писцов и не подстрекал своих крестьян, которые и без того не хотят платить подати». А ты, Сарра, знай, что если б ты допустила меня когда-нибудь к себе, я бы дал тебе два таланта, а твоему отцу талант, и еще стыдился бы, что даю так мало, ибо ты достойна, чтобы тебя ласкал сам фараон, и наследник престола, и благороднейший министр Херихор, и доблестный Нитагор, и самые богатые финикийские банкиры. Ты так прекрасна, что, когда я вижу тебя, теряю голову, а когда не вижу, закрываю глаза и облизываюсь. Ты слаще фиг, душистее роз... Я дал бы тебе пять талантов... Возьми же кубок, Сарра...

Сарра, опустив глаза, отодвинулась.

— Я не возьму кубка, — ответила она, — мой господин запретил мне принимать от кого-либо подарки.

Дагон уставился на нее удивленными глазами.

— Ты, вероятно, не представляешь себе, Сарра, как дорого стоит эта вещь?.. К тому же я дарю ее твоему отцу, моему брату...

— Я не могу принять... — тихо повторила Сарра.

— О боги!.. — вскричал Дагон. — Ну хорошо, Сарра, ты заплатишь мне как-нибудь, только не говори своему господину... Такая красавица, как ты, не может обходиться без золота и драгоценностей, без своего банкира, который доставал бы для нее деньги, когда ей захочется, а не только тогда, когда пожелает ее господин!..

— Не могу!.. — прошептала Сарра, не скрывая своего отвращения к Дагону.

Финикиянин сразу же переменил тон и продолжал, смеясь:

— Прекрасно, Сарра!.. Я хотел только убедиться, верна ли ты нашему господину. Теперь я вижу, что верна, хотя глупые люди болтают...

— Что?.. — вспыхнула девушка, бросаясь к Дагону со сжатыми

кулаками.

— Ха-ха-ха! — смеялся финикиянин. — Как жаль, что этого не слышал и не видел наш господин. Но я ему когда-нибудь расскажу, когда он будет в хорошем настроении, что ты не только верна ему, как собака, но даже отказалась взять золотой кубок, потому что он не велел тебе принимать подарки. А этот кубок, поверь мне, Сарра, соблазнил уже не одну женщину... и какие это были женщины!

Дагон посидел еще немного, расточая похвалы добродетели и покорности Сарры, и наконец любезно распрощался с нею, сел в свою лодку с шатром и отплыл в Мемфис. Но по мере того как лодка удалялась, улыбка исчезала с лица финикиянина, сменяясь выражением гнева. Когда же дом Сарры скрылся за деревьями, Дагон встал и, воздев руки, стал причитать:

— О Баал Сидон! О Ашторет! Отомстите за мою обиду проклятой дочери Иуды. Да сгинет ее коварная красота, как капля дождя в пустыне! Да источат болезни ее тело, безумство да обуяет ее душу! Да прогонит ее господин из дому, как паршивую свинью! Да придет время, что люди будут отталкивать ее иссохшую руку, когда она, истомленная жаждой, будет молить их, чтобы они дали ей глоток мутной воды!

И он долго еще плевался, продолжая что-то бурчать себе под нос, пока черная туча не закрыла на минуту солнце и не забурлила вода вокруг лодки, вздымаясь пенистыми валами.

Когда он кончил, солнце снова засияло, но река продолжала клокотать, как будто начинался новый подъем воды.

Гребцы Дагона испугались и перестали петь, но, отделенные от своего господина завесой шатра, они не видели, что он там делал.

С тех пор финикиянин не показывался больше на глаза наследнику престола. Однако, вернувшись как-то раз к себе в павильон, царевич застал в своей спальне прекрасную шестнадцатилетнюю финикийскую танцовщицу, весь наряд которой достоял из золотого обруча на голове и тонкого, как паутина, шарфа на плечах.

— Кто ты? — спросил он.

— Я — жрица и твоя прислужница. А прислал меня господин Дагон, чтобы я отвратила твой гнев от него.

— Как же ты это сделаешь?

— Вот так... Садись сюда, — сказала она, усаживая его в кресло. — Я стану на цыпочки, чтобы быть выше, чем твой гнев, и вот этим освященным шарфом буду отгонять от тебя злых духов. Кыш!.. Кыш!.. — зашептала она, кружась перед Рамсесом. — Пусть руки мои прогонят тучи

с твоего чела... Пусть мои поцелуи вернут глазам твоим ясный взор... Пусть биение моего сердца наполнит музыкой слух твой, повелитель Египта! Кыш!.. Кыш!.. Он не ваш... он мой... Любовь требует такой тишины... что даже гнев должен смолкнуть перед ней.

Танцуя, она играла волосами Рамсеса, обнимала его, целовала в глаза. Наконец, утомленная, присела у его ног и, положив голову к нему на колени, пытливо смотрела на него, полуоткрыв губы и прерывисто дыша.

— Ты не гневаешься больше на твоего слугу Дагона? — шептала она, глядя лицо царевича.

Рамсес хотел было поцеловать ее в губы, но она соскочила с его колен и убежала.

— О нет, нельзя!

— Почему?

— Я — девственница, жрица великой богини Астарты. Ты должен очень любить и чтить мою покровительницу и только тогда мог бы поцеловать меня.

— А тебе можно?..

— Мне все можно, потому что я жрица и дала обет сохранить чистоту.

— Зачем же ты сюда пришла?

— Рассеять твой гнев. Я это сделала и ухожу. Прощай и будь всегда здоров и милостив!.. — прибавила она, бросив на Рамсеса неотразимый взгляд.

— Где же ты живешь? Как тебя зовут? — спросил царевич.

— Меня зовут Ласка, а живу я... Э, да стоит ли говорить тебе? Ты еще не скоро придешь ко мне.

Она махнула рукой и исчезла, а царевич, как одурманенный, продолжал сидеть в кресле. Однако немного погодя он встал и, выглянув в окно, увидел богатые носилки, которые четыре нубийца быстро несли к берегу Нила.

Рамсес не жалел, что она ушла. Она его поразила, но не увлекла.

«Сарра спокойнее... и красивее, — подумал он. — К тому же... эта финикиянка, должно быть, холодна и ласки ее заученны».

Но с этой минуты царевич перестал сердиться на Дагона, а как-то раз, когда он был у Сарры, к нему пришли крестьяне и, поблагодарив за защиту, сообщили, что финикиянин не заставляет их больше платить новые подати.

Так было под Мемфисом. Зато в других владениях царевича арендатор старался наверстать свое.

В месяце хойяк, с половины сентября до половины октября, воды Нила достигли самого высокого уровня и начали чуть заметно убывать. В садах собирали плоды тамариндов, финики и оливки. Деревья зацвели во второй раз.

В эту пору его святейшество Рамсес XII покинул свой солнечный дворец под Мемфисом и с огромной свитой на нескольких десятках разукрашенных судов отправился в Фивы благодарить тамошних богов за обильный разлив, а заодно совершать жертвоприношения на могилах своих вечно живущих предков.

Всемогуший повелитель весьма милостиво простился со своим сыном и наследником. Однако управление государственными делами на время своего отсутствия поручил Херихору.

Царевич Рамсес так принял к сердцу это доказательство монаршего недоверия, что три дня не выходил из своего павильона, ничего не ел и только плакал. Потом он перестал бриться и перебрался к Сарре, чтобы избежать встреч с Херихором и назло матери, которую считал виновницей своих несчастий.

На следующий же день в этом уютном уголке его навестил Тутмос, притащив с собой две лодки с музыкантами и танцовщицами и третью, нагруженную всякими яствами, цветами и винами. Царевич, однако, отправил музыкантов и танцовщиц обратно и, взяв Тутмоса под руку, пошел с ним в сад.

— Наверное, тебя прислала сюда моя мать, — да живет она вечно! — чтоб отвлечь меня от еврейки? — спросил он своего адъютанта. — Так передай ей, что если бы даже Херихор стал не только наместником, но сыном фараона, — это не мешало бы мне делать то, что я хочу. Я понимаю, что это значит... Сегодня у меня захотят отнять Сарру, а завтра власть. Пускай же знают, что я не откажусь ни от того, ни от другого.

Наследник был раздражен. Тутмос пожал плечами и, помолчав, ответил:

— Как буря уносит птицу в пустыню, так гнев выбрасывает человека на скалы несправедливости. Разве можно удивляться недовольству жрецов тем, что наследник престола связывает свою жизнь с женщинами другой страны и веры? Сарра им тем более неужодна, что она у тебя одна. Если бы ты имел несколько женщин и разных, как у всех молодых людей высшего

круга, никто бы не обращал внимания на еврейку. Да, в конце концов, что они ей сделали дурного? Ничего. Напротив, какой-то жрец защитил ее от разъяренной толпы головорезов, которых ты соблаговолил потом освободить из тюрьмы.

— А моя мать? — перебил его наследник.

Тутмос рассмеялся.

— Твоя досточтимая матушка любит тебя, как свои глаза и сердце. Но, по правде говоря, ей тоже не нравится Сарра. Знаешь, что сказала мне однажды царица?.. Чтоб я отбил у тебя Сарру!.. Вот ведь какую придумала шутку!.. Я ответил ей тоже шуткой: «Рамсес подарил мне свору гончих и двух сирийских лошадей, когда они ему надоели. Пожалуй, он когда-нибудь отдаст мне и свою любовницу, которую я должен буду принять от него, да еще, возможно, с некоторым приложением».

— Напрасно ты так думаешь. Я теперь не расстанусь с Саррой — и именно потому, что из-за нее отец не назначил меня своим наместником.

Тутмос покачал головой.

— Ты сильно ошибаешься, — возразил он, — так ошибаешься, что меня это даже пугает. Неужели ты действительно не знаешь истинной причины немилости фараона, которая известна всякому здравомыслящему человеку в Египте?

— Ничего не знаю.

— Тем хуже, — проговорил в смущении Тутмос. — Разве тебе неизвестно, что со времени маневров солдаты, особенно греки, во всех кабаках пьют за твое здоровье?..

— Для того они и получили деньги.

— Да, но не для того, чтоб орать во всю глотку, что когда ты после его святейшества, — да живет он вечно! — вступишь на престол, ты начнешь большую войну, в результате которой в Египте произойдут перемены. Какие перемены?.. И кто при жизни фараона смеет говорить о планах наследника?..

Наследник нахмурился.

— Это одно, а теперь скажу тебе и другое, — продолжал Тутмос, — потому что зло, как гиена, никогда не ходит в одиночку. Ты знаешь, что крестьяне поют песни про то, как ты освободил из тюрьмы нападавших на твой дом, и, что еще хуже, говорят, что когда ты вступишь на престол, то снимешь с простого народа налоги. А ведь известно, что всякий раз, как среди крестьян начинались разговоры о притеснениях и налогах, дело кончалось мятежом. И тогда или внешний враг вторгся в ослабленное государство, или Египет распадался на столько частей, сколько в нем было

номархов... Сам посуди наконец, подобающее ли это дело, чтобы в Египте чье-нибудь имя произносилось чаще, чем имя фараона, и чтобы кто-нибудь становился между народом и нашим повелителем. А если ты мне разрешишь, я расскажу тебе, как смотрят на это жрецы.

— Разумеется, говори...

— Так вот, один премудрый жрец, наблюдающий с пилонов храма Амона движение небесных светил, рассказал такую притчу: «Фараон — это солнце, а наследник престола — луна. Когда луна следует за лучезарным богом поодаль, бывает светло днем и светло ночью. Когда же луна слишком близко подходит к солнцу, тогда она теряет свое сияние и ночи бывают темные. А если случается, так, что луна становится впереди солнца, тогда наступает затмение и во всем мире переполох».

— И вся эта болтовня, — перебил Рамсес, — доходит до ушей его святейшества? Горе мне! Лучше бы мне не родиться сыном фараона!..

— Фараон, будучи богом на земле, знает все. Однако он слишком велик, чтобы обращать внимание на пьяные выкрики солдатни или на ропот мужиков. Он знает, что каждый египтянин отдаст за него жизнь, и ты — первый.

— Верно! — ответил огорченный царевич. — Но во всем этом я вижу лишь новые козни жрецов, — прибавил он, оживляясь. — Значит, я затмеваю величие нашего владыки тем, что освобождаю невинных из тюрьмы или не позволяю своему арендатору вымогать у крестьян незаконные подати? А то, что достойнейший Херихор управляет армией, назначает военачальников и ведет переговоры с чужеземными князьями, а отца заставляет проводить дни в молитвах...

Тутмос зажал уши и затопал ногами.

— Замолчи! Замолчи!.. Каждое твое слово — кощунство. Государством управляет только фараон, и все, что творится на земле, совершается по его воле. Херихор же слуга фараона и делает то, что повелевает ему владыка. Когда-нибудь ты сам убедишься в этом (пусть никто не поймет моих слов в дурном смысле!).

Лицо царевича так омрачилось, что Тутмос поспешил проститься с другом.

Усевшись в лодку с балдахином и занавесками, он облегченно вздохнул, выпил добрый кубок вина и предался размышлениям.

«Ух!.. слава богам, что у меня не такой характер, как у Рамсеса, — думал он. — Это самый несчастный человек, несмотря на то, что так высоко вознесен судьбой... Он мог бы обладать красивейшими женщинами Мемфиса, а остается верен одной, чтобы досадить матери! Но досаждают

не царице, а всем добродетельным девам и верным женам, которые сохнут от огорчения, что наследник престола, и к тому же такой красавец, не посягает на их добродетель и не принуждает их к неверности. Он мог бы не только пить лучшие вина, но даже купаться в них, а между тем предпочитает простое солдатское пиво и сухую лепешку, натертую чесноком. Откуда у него эти мужицкие вкусы? Непонятно! Уж не загляделась ли царица Никотриса некстати на обедающего невольника?..

Он мог бы с утра до вечера ничего не делать. Всякие знатные господа, их жены и дочери готовы кормить его с ложечки, как ребенка. А он не только сам протягивает руку, чтобы взять себе поесть, но, к великому огорчению знатной молодежи, сам моется и одевается, а его парикмахер от безделья все дни напролет ловит силками птиц, зарывая в землю свой талант.

О Рамсес, Рамсес!.. — горестно вздыхал щеголь. — Ну разве при таком царевиче может развиваться мода?.. Из года в год носим мы все такие же передники, а парик удерживается только благодаря придворным вельможам, так как Рамсес совсем отказался от него, и это весьма умаляет достоинство благородной знати.

А всему виною... брр... проклятая политика... Какое счастье, что мне не надо гадать, о чем думают в Тире или Ниневии, заботиться о жалованье войскам, высчитывать, на сколько прибавилось или убавилось население в Египте и какие можно собрать с него налоги! Страшное дело говорить себе: мои крестьяне платят мне не столько, сколько мне надо или сколько я расходую, а сколько позволяет разлив Нила. Ведь кормилец наш Нил не спрашивает у моих кредиторов, сколько я им должен...»

Так размышлял утонченный Тутмос, то и дело подкрепляясь золотистым вином. И, пока лодка доплыла до Мемфиса, его сморил такой глубокий сон, что рабам пришлось нести его до носилок на руках.

После его ухода, который похож: был скорее на бегство, наследник престола глубоко задумался. Его охватило тревожное чувство. Как воспитанник жреческой школы и представитель высшей аристократии, царевич был скептиком. Он знал, что в то время как одни жрецы умерщвляют свою плоть и постятся, надеясь обрести умение вызывать духов, другие считают это пустой выдумкой и шарлатанством. Он не раз видел, как священного быка Аписа, перед которым падает ниц весь Египет, колотили палкой самые низшие жрецы, задававшие ему корм и подводившие к нему коров для случки.

Понимал он также, что отец его, Рамсес XII, который был для народа вечно живущим богом и всемогущим повелителем мира, в действительности такой же человек, как и все, — только он больше

хворают, чем другие люди его возраста, и очень связан в своих действиях жрецами.

Все это знал царевич и над многими вещами иронизировал про себя, а иногда и вслух. Но его вольнодумство склонялось перед непреложной истиной: шутить с именем фараона никому нельзя!..

Царевич знал историю своей страны и помнил, что в Египте знатным и сильным прощалось многое. Знатный господин мог засыпать канал, убить тайно человека, посмеиваться втихомолку над богами, принимать подношения от чужеземных послов... Но что не допускалось ни под каким видом, так это разоблачение жреческих тайн и измена фараону. Тот, кто совершал то или другое, исчезал бесследно, иногда и не сразу, а спустя целый год, хотя бы его и окружали многочисленные друзья и слуги. О том, куда он девался и что с ним случилось, никто не смел и спрашивать.

С некоторых пор Рамсес понял, что солдаты и крестьяне, превознося его имя и толкуя о каких-то его планах, предстоящих переменах и будущих войнах, оказывают ему дурную услугу. Ему казалось, что безыменная толпа нищих и бунтовщиков насильно поднимает его, наследника престола, на вершину высочайшего обелиска, откуда он может только упасть и разбиться насмерть. Когда-нибудь впоследствии, когда после долгой жизни отца он станет фараоном, он будет обладать и правом и средствами совершать такие дела, о которых никто в Египте не смеет даже подумать. А сейчас ему действительно следует остерегаться, как бы его не сочли бунтовщиком, посягающим на основы государства.

В Египте существует один признанный повелитель — фараон. Он управляет, он высказывает желания, он думает за всех, и горе тому, кто осмелился бы сомневаться в его всемогуществе либо говорить о своих планах и намерениях и даже о возможности каких бы то ни было перемен.

Все планы возникали лишь в одном месте — в зале, где фараон выслушивал своих ближайших советников и высказывал свое мнение. Всякие перемены исходили только оттуда. Там горел единственный зримый светоч государственной мудрости, озаряющий весь Египет. Но и об этом безопаснее было молчать.

Эти мысли с быстротой вихря проносились в голове наследника, когда он сидел в саду Сарры на каменной скамье под каштановым деревом и смотрел на окружающий ландшафт.

Воды Нила уже начинали спадать и становились прозрачными, как хрусталь. Но вся страна еще была похожа на большой залив, густо усеянный островками, где виднелись дома, окруженные садами и огородами, или купы высоких раскидистых деревьев.

Вокруг этих островков торчали журавли с ведрами, при помощи которых обнаженные меднокожие люди в грязных набедренниках и чепцах черпали воду из Нила и передавали ее все выше и выше в расположенные один над другим водоемы.

Один уголок особенно привлек внимание Рамсеса.

Это был крутой холм, на склоне которого работали три журавля, — один черпал воду из реки и переливал ее в самый нижний водоем, другой из нижнего поднимал ее на несколько локтей выше в средний, третий из среднего передавал воду в водоем, расположенный на самой вершине. А там такие же голые люди черпали воду и поливали огороды или с помощью ручных насосов опрыскивали деревья.

Движения то опускающихся, то поднимающихся вверх журавлей, мелькание ведер, струи, выбрасываемые насосами, были до того ритмичны, что управляющих ими людей можно было принять за автоматы. Никто не обмолвится словом с соседом, не переменит места и только мерно сгибается и разгибается с утра до вечера, из месяца в месяц, и так — с детства до самой смерти.

«И эти существа, — размышлял царевич, глядя на работающих земледельцев, — хотят сделать меня исполнителем своих бредней. Каких перемен могут они требовать в государстве?.. Разве чтобы тот, кто черпает воду в нижний водоем, перешел наверх и, вместо того чтобы поливать гряды из ведра, стал обрызгивать деревья из насоса?»

Его охватила ярость против этих людей: из-за их дурацкой болтовни он не был назначен наместником.

Вдруг он услышал тихий шорох деревьев, и чьи-то неясные руки легли на его плечи.

— Что ты, Сарра? — спросил царевич, не поворачивая головы.

— Ты грустишь, господин мой. Моисей не так обрадовался земле обетованной, как я, когда ты сказал, что переезжаешь сюда, чтобы жить со мной. И вот уже целые сутки мы вместе, а я еще не видела улыбки на твоём лице. Ты даже не говоришь со мной, ходишь хмурый и ночью не ласкаешь меня, а только вздыхаешь.

— Я очень огорчен...

— Поделись со мной. Печаль — как сокровище, данное нам на хранение. Пока стережешь его один, даже сон бежит от глаз, и только тогда становится легче, когда найдешь другого сторожа.

Рамсес обнял ее и посадил рядом с собой на скамейку.

— Когда крестьянин, — сказал он с улыбкой, — не успеет до разлива убрать с поля урожай, ему помогает жена. Она же доит коров, носит ему

обед из дому, обмывает его, когда он возвращается с работы. Отсюда и создалось представление, что женщина может облегчить мужчине заботы.

— А ты в это не веришь, господин?

— Заботы наследника престола, — ответил Рамсес, — не в силах облегчить женщина, даже такая умная и властная, как моя мать...

— О господи! Какие же это заботы, скажи мне, — не отставала Сарра, прижимаясь к плечу Рамсеса. — По нашим преданиям, Адам ради Евы покинул рай; а это был, пожалуй, самый великий царь самого прекрасного царства.

Царевич задумался. Потом сказал:

— И наши мудрецы учат, что не один мужчина отказывался от высоких почестей ради женщины. Но не слышно, чтобы кто-нибудь благодаря женщине возвысился. Разве какой-нибудь военачальник, которому фараон отдал дочь с богатым приданым и наградил высокой должностью. Нет, помочь мужчине стать великим или хотя бы вырваться из сетей забот женщина не в силах.

— Может быть, потому, что ни одна не любит так, как я тебя, господин мой, — прошептала Сарра.

— Я знаю, что такая любовь встречается редко... Ты никогда не требовала подарков, не покровительствовала людям, которые не стесняются искать карьеры даже в спальнях фараоновых любовниц. Ты кротка, как овечка, и тиха, как ночь над Нилом. Поцелуи твои — как благовония страны Пунт, а объятия сладки, как сон утомленного трудом человека. Я не нашел бы достойных слов, чтобы восхвалить тебя. Ты — чудо среди женщин, уста которых всегда наполняют мужчину тревогой, а любовь обходится дорого. Но, при всех своих совершенствах, чем можешь ты облегчить мои заботы? Можешь ли ты сделать так, чтобы его святейшество предпринял большой поход на Восток и назначил меня главнокомандующим, или дал мне хотя бы корпус Менфи, которого я добивался, или сделал меня правителем Нижнего Египта? И можешь ли ты внушить всем подданным царя, чтобы они думали и чувствовали, как я, самый преданный ему?

Сарра опустила руки на колени и печально прошептала:

— Правда, это я не могу... Я ничего не могу!..

— Нет, ты можешь многое!.. Можешь развеселить меня, — ответил, улыбаясь, Рамсес. — Я знаю, что ты училась танцевать и играть. Сбрось свое платье, длинное, как у жрицы, охраняющей огонь, переоденься в прозрачную кисею, как... финикийские танцовщицы. И танцуй, ласкай меня, как они...

Сарра схватила его за руку и с пылающими глазами воскликнула:

— Ты знаешься с этими распутницами? Скажи... Пусть я услышу о своем несчастье... А потом отошли меня к отцу в нашу долину среди пустыни, где я встретила тебя на своей горе.

— Ну, полно, успокойся, — сказал царевич, играя ее волосами. — Мне приходится видеть танцовщиц если не на пирушках, то на царских торжествах или во время молебствий в храмах. Но все они вместе не стоят тебя одной... Да и кто из них мог бы сравниться с тобой? Ты как статуя Исиды, изваянная из слоновой кости, а у тех у каждой какой-нибудь недостаток. Одни слишком толсты, у других слишком худые ноги или безобразные руки, а есть и такие, что носят чужие волосы. Нет ни одной, которая была бы так прекрасна, как ты!.. Будь ты египтянкой — все храмы добивались бы иметь тебя предводительницей хора. Да что я говорю, — если бы ты сейчас появилась в Мемфисе в прозрачном платье, жрецы примирились бы с тобой, только бы ты согласилась участвовать в процессиях.

— Нам, дочерям Иудеи, нельзя носить нескромные одежды.

— И ни танцевать, ни петь? Зачем же ты училась этому?

— Наши женщины и девушки танцуют только друг с другом во славу господя, а не для того, чтобы возбуждать в сердцах мужчин пламя страсти. А поем мы... Подожди, господин мой, я спою тебе...

Она встала со скамейки, ушла в дом и вскоре вернулась обратно. За ней молодая девушка с испуганными черными глазами несла арфу.

— Кто эта девушка? — спросил царевич. — погоди, где-то я видел этот взгляд... Ах да, когда я был здесь в последний раз, чьи-то испуганные глаза следили за мной из-за кустов.

— Это Эсфирь, моя родственница и прислужница. Она живет у меня уже месяц, но боится тебя, господин, и всегда убегает. Возможно, что она когда-нибудь и смотрела на тебя из-за кустов.

— Можешь идти, дитя мое, — сказал царевич остолбеневшей от робости девушке. Когда же она скрылась за деревьями, спросил: — Она тоже еврейка? А этот сторож твоей усадьбы, который смотрит на меня, как баран на крокодила?

— Это Самуил, сын Ездры, тоже мой родственник. Я взяла его вместо негра, которого ты, господин, отпустил на свободу. Ты ведь разрешил мне самой выбирать слуг?

— О да, конечно! А надсмотрщик над работниками? У него тоже желтый цвет кожи, и глядит он смиренно, как ни один египтянин. Он тоже еврей?

— Это Езекиил, сын Рувима, родственник моего отца, — ответила Сарра. — Тебе он не нравится, господин мой?.. Это все очень преданные тебе слуги.

— Нравится ли он мне? Он здесь не для того, чтобы мне нравиться, а чтоб охранять твое добро, — отвечал царевич, барабани пальцами по скамье. — Впрочем, мне нет никакого дела до этих людей... Пой, Сарра...

Сарра опустилась на траву у его ног и, взяв несколько аккордов на арфе, запела:

— «Где тот, у кого нет тревог, кто, отходя ко сну, мог бы сказать: „Вот день, который я провел без печали“? Где человек, который, сходя в могилу, сказал бы: „Жизнь моя протекла без забот и страданий, как тихий вечер над Иорданом“?

А как много таких, что каждый день поливают хлеб свой слезами и дом их полон вздыханий!

С плачем вступает в мир человек, со стоном покидает он землю. Исполненный страха входит он в жизнь, исполненный горечи нисходит в могилу, и никто не спрашивает его, где бы он хотел остаться.

Где тот, кто не изведал горечи жизни? Быть может, ребенок, которого смерть лишила матери? Или младенец, не знающий материнской груди, ибо голод иссушил ее раньше, чем он успел прильнуть к ней устами?

Где человек, уверенный в себе, который без страха ждет завтрашнего дня? Не тот ли, что работает в поле, зная, что не в его власти дождь и не он указывает дорогу саранче? Не купец ли, отдающий свои богатства на волю ветров, не зная, откуда они подуют, и жизнь доверяющий слепой пучине, которая все поглощает без возврата?

Где человек без тревоги в душе? Не охотник ли, преследующий быстроногую лань и встречающий на своем пути льва, для которого его стрела — игрушка? Или солдат, что, в трудах и лишениях шествуя к славе, встречает лес острых копий и бронзовых мечей, жаждущих крови? Или великий царь, что под порфирой носит тяжелые доспехи, недремлющим оком следит за войсками могучих соседей, а ухом ловит каждый шорох, дабы у него же в шатре не сразила его измена?

Всегда и повсюду исполнено печали сердце человека. В пустыне угрожают ему лев и скорпион, в пещерах — дракон, между цветами — ядовитая змея. При свете солнца жадный сосед замышляет, как бы отнять у него землю, ночью коварный вор нащупывает дверь в его кладовую. В детстве он беспомощен, в старости бессилен, в цвете лет окружен опасностями, как кит водною бездной.

Потому, о господь, создатель мой, к тебе обращается исстрадавшаяся

душа человека. Ты ее послал в этот мир, где столько засад и сетей. Ты вселил в нее страх смерти, ты преградил все пути к покою, кроме одного, который ведет к тебе. Как дитя, не умеющее ходить, хватается за подол матери, чтобы не упасть, так жалкий человек взывает к твоему милосердию и обретает успокоение...»

Сарра умолкла. Царевич задумался и немного погодя сказал:

— Вы, евреи, мрачный народ. Если б в Египте так верили, как учит ваша песня, на берегах Нила замер бы смех, богатые попрятались бы в подземельях храмов, а народ, вместо того чтобы работать, укрылся бы в пещерах и тщетно ждал бы там милости богов. У нас другая жизнь. Мы всего можем достичь, но каждый должен надеяться лишь на себя. Наши боги не помогают трусам. Они спускаются на землю лишь тогда, когда герой, отважившийся на сверхчеловеческий подвиг, исчерпает все свои силы. Так было с Рамсесом Великим, когда он бросился в гущу вражеских колесниц, — их было две с половиною тысячи и в каждой по три воина. Лишь тогда бессмертный отец Амон пришел ему на помощь и довершил разгром. А если б, вместо того чтобы драться, он стал ожидать помощи вашего бога, тогда на берегах Нила египтянин давно ходил бы лишь с ведром и глиной, а презренные хетты — с папирусами и дубинками! Поэтому, Сарра, твоя красота скорее, чем твоя песнь, рассеет мою тоску. Если бы я вел себя, как еврейские мудрецы, и дожидался защиты неба, вино убегало бы от уст моих и женщины забыли бы дорогу к моему дому. А главное — я не был бы наследником фараона, подобно моим сводным братьям, из которых один не может пройти через комнату, не опираясь на двух рабов, а другой прыгает по деревьям!..

На следующее утро Рамсес послал своего негра с поручениями в Мемфис, и к полудню к усадьбе Сарры причалила большая лодка с греческими солдатами в высоких шлемах и блестящих доспехах.

По команде шестнадцать человек, вооруженных щитами и короткими копьями, высадились на берег и построились в две шеренги. Они собирались уже двинуться к дому Сарры, как их остановил второй посланец царевича; он приказал солдатам остаться на берегу и вызвал к наследнику только начальника их, Патрокла.

Отряд, повинаясь команде, стоял неподвижно, словно два ряда колонн, обитых блестящей жемчужной. За посланным пошел только Патрокл, в шлеме с перьями и пурпурной тунике, в золоченых латах, украшенных на груди изображениями женской головы с клубком змей вместо волос.

Наследник принял славного военачальника в воротах сада. Он не улыбнулся, как всегда, даже не ответил на низкий поклон Патрокла, а, холодно взглянув на него, сказал:

— Передай, достойнейший, воинам моих греческих полков, что я не буду производить с ними учений, пока фараон, наш повелитель, вторично не назначит меня их начальником. Они лишились этой чести, когда спьяну вздумали кричать обо мне в кабаках то, что я считаю для себя оскорблением. Обращаю также твоё внимание на недопустимую распушенность греческих полков. Твои воины в общественных местах болтают о политике, о какой-то предполагаемой войне, что похоже на государственную измену. О таких делах могут говорить только фараон и члены государственного совета. Мы же, солдаты и слуги нашего повелителя, какое бы положение ни занимали, обязаны только молча исполнять приказы всемилостивейшего властелина. Прошу тебя, достойнейший, передать это моим полкам и желаю тебе здравствовать!

— Приказание твоё будет исполнено, — ответил грек и, повернувшись на месте, звеня оружием, направился к своей лодке.

Он знал о разговорах солдат в харчевнях и сразу понял, что случилось что-то неприятное для наследника, которого армия обожала. Поэтому, подойдя к отряду, стоявшему на берегу, он придал своему лицу грозное выражение и, неистово размахивая руками, крикнул:

— Доблестные греческие воины! Собаки паршивые, чтоб вас источила проказа!.. Если с этой минуты кто-нибудь из греков произнесет в кабаке

имя наследника престола, я разобью кувшин об его голову, а черепки всажу ему в глотку — и вон из полка! Будете свиней пасти у египетских мужиков, а в ваши шлемы станут яйца класть куры. Такая судьба ждет безмозглых солдат, не умеющих держать язык за зубами. А теперь — налево кругом и марш в лодку, чтоб вас мор истребил! Солдат его святейшества должен прежде всего пить за здоровье фараона и благороднейшего военного министра Херихора, — да живут они вечно!

— Да живут они вечно! — повторили солдаты.

Все сели в лодку хмурые. Однако, подъезжая к Мемфису, Патрокл расправил морщины на лбу и велел запеть песню, под которую особенно легко шагалось и особенно бойко ударяли о воду весла. Это была песня про дочь жреца, которая так любила военных, что клала в свою постель куклу, а сама проводила все ночи с часовыми в караульной.

Под вечер к усадьбе Сарры причалила другая лодка, из которой вышел на берег главный управляющий поместьями Рамсеса.

Царевич и этого вельможу принял в воротах сада — может быть, из строгости, а может быть, не желая, чтоб тот заходил в дом к наложнице-еврейке.

— Я хотел, — заявил наследник, — повидать тебя и сказать, что среди моих крестьян ходят какие-то нелепые рассказы о снижении податей или о чем-то в этом роде... Надо, чтобы крестьяне знали, что я их от податей не избавлю. Если же кто-нибудь, несмотря на предупреждение, не перестанет болтать об этом, — будет наказан палками.

— Может быть, лучше брать с них штраф... дебен или драхму, как прикажешь? — вставил главный управляющий.

— Может быть. Пусть платят штраф, — ответил царевич после минутного раздумья.

— А не наказать ли самых строптивых палками, чтобы лучше помнили милостивый приказ?

— Можно. Пусть строптивых накажут палками.

— Осмелюсь доложить, — проговорил шепотом, не разгибая спины, управляющий, — что одно время крестьяне, подстрекаемые каким-то неизвестным, действительно говорили о снятии налогов. Но вот уже несколько дней, как эти разговоры вдруг прекратились.

— Ну, в таком случае можно и не наказывать, — решил Рамсес.

— Разве для острастки на будущее? — предложил управляющий.

— А не жаль вам палок?

— Этого добра у нас всегда хватит.

— Во всяком случае, умеренно, — предупредил его царевич. — Я не

хочу, чтобы до фараона дошло, что я без нужды истязая крестьян. За крамольные разговоры нужно бить и брать штрафы, но если нет причин, можно показать себя великодушным.

— Понимаю, — ответил управляющий, глядя в глаза царевичу, — пусть кричат, сколько вздумается, только бы не болтали втихомолку чего не следует.

Эти разговоры с Патроклом и управляющим облетели весь Египет.

После отъезда управляющего Рамсес зевнул и окинув все кругом скучающим взглядом, мысленно сказал себе:

«Я сделал, что мог. А теперь, если только выдержу, ничего больше не буду делать...»

В этот момент со стороны служб до него донесся тихий стон и частые удары. Рамсес обернулся и увидел, что надсмотрщик Езекиил, сын Рувима, колотит дубинкой работника, приговаривая:

— Тише!.. Не кричи!.. Подлая скотина!..

Работник зажимал рукою рот, чтобы заглушить свои вопли.

Рамсес бросился было, словно пантера, к службам, но одумался.

«Что я могу с ним сделать?.. — подумал он. — Ведь это имя Сарры, а еврей — ее родственник...»

Он стиснул зубы и скрылся между деревьями, тем более что расправа была уже окончена.

«Значит, вот так хозяйничают покорные евреи? Значит, вот так? На меня смотрит, как испуганная собака, а сам бьет работников. Неужели они все такие?»

И впервые в душе Рамсеса шевельнулось подозрение, что, быть может, и Сарра только притворяется доброй.

В душевном состоянии Сарры действительно совершались некоторые перемены. В первую минуту встречи в долине Рамсес понравился ей; Но она сразу же насторожилась, узнав, к своему огорчению, что этот красивый юноша — сын фараона и наследник престола. Когда же Тутмос договорился с Гедеоном о том, что Сарра переедет в дом царевича, она долго не могла прийти в себя. Ни за какие сокровища она не отреклась бы от Рамсеса, но вряд ли можно утверждать, что она любила его и в эту пору. Любовь требует свободы и времени, чтобы взрастить лучшие свои цветы; ей же не дали ни времени, ни свободы. На следующий же день после встречи с Рамсесом, ее, почти не спросив согласия, перевезли в его усадьбу под Мемфисом. А через несколько дней она стала любовницей царевича и, изумленная, испуганная, не понимала, что с ней творится.

Не успела она освоиться с новой жизнью, как ее взволновало и

испугало недоброжелательное отношение к ней, еврейке, окрестных жителей, потом посещение каких-то незнакомых знатных женщин и, наконец, нападение на усадьбу.

То, что Рамсес заступился за нее и хотел погнаться за нападающими, привело ее в еще больший ужас. Она поняла, что находится в руках такого властного и горячего человека, который может пролить чужую кровь, убить...

Сарра пришла в отчаяние; ей казалось, что она сойдет с ума. Она слышала, как грозно царевич призывал к оружию прислугу.

Но одно незначительное словечко, мимолетно брошенное им тогда, отрезвило ее и придало новое направление ее чувствам.

Рамсес, думая, что она ранена, сорвал с ее головы повязку и, увидав синяк, воскликнул:

— Это только синяк! Но как он меняет лицо...

Сарра забыла в ту минуту и боль и страх. Ее охватило новое беспокойство. Синяк изменил ее лицо. Это удивило царевича. Только удивило!..

Синяк прошел через несколько дней, но в душе Сарры осталось и продолжало расти незнакомое дотоле чувство: она стала ревновать Рамсеса и бояться, чтобы он ее не бросил.

И еще одна забота мучила ее: она чувствовала себя перед ним служанкой, рабой. Она была и хотела быть вернейшей его служанкой, самой преданной рабыней, послушной, как тень, но в то же время мечтала, чтобы он, по крайней мере, в минуту ласк не обращался с ней как господин и владыка.

Ведь она принадлежит ему, а он ей. Почему же он не покажет, что любит ее хоть немного, а каждым словом, всем своим поведением дает понять, что их разделяет какая-то пропасть? Какая?.. Разве она не держала его в своих объятиях? Разве он не целовал ее уста и грудь?

Однажды Рамсес приехал к ней с собакой. Он пробыл всего несколько часов, но все время собака лежала у его ног на месте Сарры; а когда она хотела сесть там же, собака заворчала на нее. Царевич смеялся и так же погружал пальцы в шерсть нечистого животного, как в ее волосы, и собака так же смотрела ему в глаза, как она, только, пожалуй, смелее.

Сарра не могла успокоиться и возненавидела умное животное, которое отнимало у нее часть его ласк и так бесцеремонно обращалось с ее господином, как она сама не решилась бы никогда. Разве могла бы она так равнодушно смотреть в сторону, когда рука наследника лежала на ее голове?

Недавно он снова упомянул о танцовщицах. Сарра вспыхнула:

«Как? Он мог позволить этим голым бесстыжим женщинам ласкать себя?.. И Яхве, видя это с высокого неба, не поразил громом распутниц?..»

Правда, Рамсес сказал, что она ему дороже всех. Но слова его не успокоили Сарру. Она решила не думать больше ни о чем, кроме своей любви. Что будет завтра — неважно.

И когда она пела у ног Рамсеса песнь о страданиях и печалях, сопутствующих человеку от колыбели до могилы, она излила в ней свою душу, свою последнюю надежду — на бога.

Теперь Рамсес был с ней, и она могла быть счастлива.

Но тут-то как раз и началось для Сарры самое горькое.

Царевич жил с ней под одной кровлей, гулял с ней по саду, иногда брал с собой в лодку и катал по Нилу, однако нисколько не стал к ней ближе, чем тогда, когда жил на другом берегу, в дворцовом парке.

Он был с нею, но думал о чем-то другом, и Сарра даже не могла угадать, о чем. Он обнимал ее или играл ее волосами, но смотрел в сторону Мемфиса, не то на огромные пилоны фараонова дворца, не то куда-то вдаль...

Иногда он даже не отвечал на ее вопросы или вдруг смотрел на нее, точно проснувшись, как будто удивленный, что видит ее рядом с собой.

Таковы были, довольно редкие, впрочем, минуты особенной близости между Саррой и ее царственным возлюбленным. Отдав приказ Патроклу и управляющему поместьями, наследник проводил большую часть дня за пределами усадьбы, чаще всего в лодке. И, плавая по Нилу, либо ловил сетью рыбу, которая целыми косяками ходила в благословенной реке, либо бродил по болотам и, прячась между высокими стеблями лотоса, стрелял из лука дичь, носившуюся над его головой крикливыми стаями, густыми, словно мошара. Но и тут не покидали его честолюбивые мечты. Он устраивал себе нечто вроде гадания. Иногда, завидя на воде выводок желтых гусей, он натягивал тетиву и задумывал: «Если не промахнусь, буду вторым Рамсесом Великим...». Тихо просвистев, стрела падала, и пронзенная птица, трепыхая крыльями, издавала такой душераздирающий крик, что над всем болотом поднимался переполох. Тучи гусей, уток и аистов взлетали ввысь и, описав над умирающим товарищем большой круг, садились где-нибудь подальше. Когда все стихало, Рамсес осторожно проталкивал лодку, всматриваясь туда, где колышется камыш, и прислушиваясь к отрывистым голосам птиц. Завидев же среди зелени зеркало чистой воды и новую стаю, он снова натягивал тетиву лука и говорил:

— Если попаду, буду фараоном. Если не попаду...

Стрела на этот раз шлепалась в воду и, подскочив несколько раз на ее поверхности, исчезала среди лотоса. А Рамсес, уже войдя в азарт, выпускал все новые и новые стрелы, убивая птиц или только спугивая их.

В усадьбе узнавали, где он находится, по крику птичьих стай, которые поминутно поднимались в воздух над его лодкой.

Когда под вечер, усталый, он возвращался домой, Сарра уже ждала его на пороге с тазом воды, кувшином легкого вина и венками из роз. Царевич улыбался ей, гладил по щеке, но, заглядывая в ее кроткие глаза, думал:

«Хотелось бы мне знать, способна ли она бить египетских крестьян, как ее всегда испуганные родичи? О, моя мать права, не доверяя евреям! Но Сарра, может быть, не такая, как другие!»

Однажды, вернувшись домой раньше обыкновенного, он застал во дворе перед домом весело игравших голых ребятишек. Завидев его, все эти желтокожие существа разбежались с криком, как дикие гуси на болоте, и не успел он подняться на крыльцо, как их и след простыл.

— Что это за мелюзга, которая от меня убегает? — спросил он у Сарры.

— Это дети твоих слуг, — ответила Сарра.

— Евреев?

— Моих братьев.

— Боже! Ну и плодовит ваш народ! — засмеялся царевич. — А это кто такой? — прибавил он, указывая на человека, боязливо выглядывавшего из-за угла.

— Это Аод, сын Барака, мой родственник. Он хочет служить тебе, господин. Можно мне взять его сюда?

Рамсес пожал плечами.

— Усадьба твоя, — ответил он, — и ты можешь брать на службу всех, кого хочешь. Однако если эти люди будут так множиться, они скоро заполнят весь Мемфис.

— Ты не любишь моих братьев? — прошептала Сарра, с тревогой глядя на Рамсеса и опускаясь к его ногам.

Царевич с удивлением посмотрел на нее.

— Да я о них и не думаю, — ответил он пренебрежительно.

Эти мелкие размолвки, которые огненными каплями жгли сердце Сарры, не изменили отношения к ней Рамсеса. Он был приветлив и, как всегда, ласков с ней, хотя все чаще и чаще глаза его устремлялись на другой берег Нила, к мощным пилонам дворца.

Вскоре добровольный изгнанник заметил, что не только он тоскует. Однажды с того берега отчалила нарядная царская ладья, пересекла Нил по направлению к Мемфису и стала кружить так близко от усадьбы, что Рамсес мог разглядеть плывших в ней. Он узнал свою мать, которая восседала под пурпурным балдахином, окруженная придворными дамами; против нее на низкой скамейке сидел наместник Херихор. Правда, они не смотрели в его сторону, но Рамсес понимал, что они наблюдают за ним.

«Ага! — усмехнулся он про себя. — Моя достопочтенная матушка и господин министр хотят извлечь меня отсюда до возвращения фараона».

Настал месяц тоби, конец октября и начало ноября. Воды Нила спадали на уровень в полтора роста человека, с каждым днем открывая новые пространства черной вязкой земли. Как только вода сходила, сейчас же на это место устремлялась узкая соха, влекомая двумя волами. За сохой шел нагой пахарь, рядом с волами — погонщик с коротким кнутом, а за ним сеятель; увязая по щиколотку в иле, он нес в переднике зерна пшеницы и разбрасывал их полными горстями.

Для Египта начиналось лучшее время года — зима. Температура не

превышала пятнадцать градусов, земля быстро покрывалась изумрудной зеленью, среди которой, словно искры, вспыхивали нарциссы и фиалки; их аромат все чаще примешивался к терпкому запаху земли и воды.

Уже несколько раз лодка с царицей Никотрисой и наместником Херихором появлялась поблизости от дома Сарры. Каждый раз царевич видел, что его мать весело разговаривает с министром, и убеждался, что они нарочно не смотрят в его сторону, как будто желая выказать ему свое пренебрежение.

— Подождите! — сердито прошептал наследник. — Я вам покажу, что и я не скучаю.

И вот, когда однажды, незадолго до заката солнца, отчалила от того берега раззолоченная царская ладья со страусовыми перьями по углам разбитого над ней пурпурного шатра, Рамсес приказал приготовить лодку на двоих и сказал Сарре, что поедет с ней кататься.

— Яхве! — воскликнула Сарра, всплеснув руками. — Да ведь там твоя матушка и наместник!

— А здесь будет наследник! Возьми с собой свою арфу, Сарра.

— Как, и арфу? — спросила она, дрожа. — А если твоя досточтимая матушка захочет говорить с тобой?.. Я тогда брошусь в воду!

— Не будь ребенком, Сарра, — ответил, смеясь, наследник. — Досточтимый наместник и моя мать очень любят пение. Ты можешь даже привлечь к себе их симпатию, если споешь какую-нибудь красивую еврейскую песню, что-нибудь про любовь.

— Я не знаю таких, — ответила Сарра, в душе которой слова Рамсеса пробудили надежду. А вдруг и в самом деле ее пение понравится этим могущественным особам, и тогда...

В дворцовой лодке заметили, что наследник престола садится с Саррой в простой челнок и даже сам гребет.

— Смотрите, ваше высокопреосвященство, — шепнула царица министру, — он плывет нам навстречу со своей еврейкой.

— Наследник повел себя так разумно в отношении своих воинов и крестьян и проявил столько раскаяния, удалившись от двора, что вы, ваше величество, можете простить ему эту маленькую бестактность, — ответил министр.

— О, если бы не он сидел в этой скорлупке, я бы приказала потопить ее! — с возмущением сказала царица-мать.

— Почему? — спросил министр. — Царевич не был бы потомком верховных жрецов и фараонов, если бы не старался разорвать узду, которую, к сожалению, налагает на него закон или наши, быть может, и

несовершенные обычаи. Как бы там ни было, он показал, что в важных случаях умеет владеть собою. Он способен даже признать собственные ошибки, что является редким достоинством, неоценимым в наследнике престола. А то, что он хочет подразнить нас своей возлюбленной, доказывает, что ему причиняет боль та немилость, в которой он очутился, хотя побуждения у него были самые благородные.

— Но эта еврейка! — шептала царица, нервно теребя веер из перьев.

— Она меня больше не беспокоит, — продолжал министр. — Это красивое, но неумное создание, которое не собирается, да и не сумело бы использовать свое влияние на наследника. Она не принимает подарков и даже никого не видит, запершись в своей не слишком уж дорогой клетке. Со временем, быть может, она научилась бы пользоваться своим положением любовницы наследника престола и сумела бы урвать из его казны несколько десятков талантов. Но пока это случится, она надоест Рамсесу.

— Да гласит твоими устами Амон всеведущий!

— Я в этом не сомневаюсь. Царевич никогда не совершал ради нее безумств, как это случается с молодыми людьми нашего круга, которых одна какая-нибудь ловкая интриганка может лишить состояния, здоровья и даже довести до суда. Он забавляется ею, как зрелый мужчина невольницей. А то, что Сарра беременна...

— Вот как?.. — воскликнула царица. — Откуда ты знаешь?

— Об этом не знает ни наследник, ни даже сама Сарра, — улыбнулся Херихор. — Но мы должны все знать. Впрочем, этот секрет нетрудно было раскрыть. При Сарре находится ее родственница Тафет, женщина необычайно болтливая.

— Уже приглашали врача?

— Повторяю, Сарра ничего не знает. А почтенная Тафет из опасения, чтобы царевич не охладил к ее воспитаннице, охотно уморила бы ребенка. Но мы ей не позволим. Ведь это будет ребенок наследника.

— А если сын?.. Он может причинить нам много хлопот, — сказала царица.

— Все предусмотрено, — продолжал жрец. — Если будет дочь, мы дадим ей приданое и воспитание, какое подобает девушке высокого рода. Если же сын — он останется евреем.

— Мой внук — еврей!..

— Не отталкивай его от себя раньше времени, государыня. Наши послы сообщают, что народ израильский начинает мечтать о своем царе. Пока ребенок подрастет — мечты эти созреют. И тогда мы... мы дадим им

повелителя, и поистине хорошей крови!

— Ты, как орел, охватываешь взором восток и запад, — сказала царица, глядя на него с восхищением. — Я чувствую, что мое отвращение к этой девушке начинает ослабевать.

— Самая ничтожная капля крови фараонов должна сиять над народами, как звезда над землей, — произнес Херихор.

Теперь лодочка наследника была всего в нескольких десятках шагов от большой дворцовой ладьи, и супруга фараона, закрывшись веером, посмотрела сквозь его перья на Сарру.

— Воистину она хороша собой!.. — прошептала она.

— Ты говоришь это уже второй раз, досточтимая госпожа.

— Тебе и это известно, — улыбнулась царица.

Херихор потупил взор.

На челноке царевича зазвучала арфа, и Сарра дрожащим голосом запела:

— «Как велик твой господь! Как велик твой господь бог, Израиль!»

— Чудесный голос! — прошептала царица.

Верховный жрец внимательно слушал.

— «Дни его не имеют начала, — пела Сарра, — а дом его не имеет границ. Вечное небо меняется пред оком его, подобно одеждам, которые человек надевает на себя и снимает. Звезды загораются и гаснут, как искры от твердого дерева, земля же — словно камешек, которого путник коснулся ногой и пошел дальше.

О, как велик господь твой, Израиль! Нет никого, кто посмел бы сказать ему: «Сделай так!» Нет лона, которое бы его породило. Он сотворил безбрежные бездны и носится над ними по своей воле. Тьму он превращает в свет, из праха земного создает живых тварей и наделяет их голосом.

Страшные львы для него — что мелкая саранча; огромный слон для него ничто, а кит при нем — что младенец.

Его трехцветная радуга делит небеса на две части, упираясь в края земли. Где врата, что сравнились бы с ней величиной своею? Грохот его колесницы повергает в трепет народы, и нет ничего под солнцем, что укрылось бы от его искрометных стрел.

Его дыхание — северный ветер, оживляющий истомленные деревья; его дуновение — хамсин, сжигающий землю.

Когда он протянет руку свою над водами, — воды превращаются в камень. Он переливает моря с места на место, как женщина брагу из кадки в кадку. Он раздирает землю, как истлевший холст, и покрывает серебряным снегом нагие вершины гор.

Он скрывает в пшеничном зерне сотню новых зерен, и он же учит птицу высиживать птенцов. Он пробуждает в спящей куколке золотистую бабочку и велит человеческому телу в могиле ожидать воскресения...»

Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья медленно поплыла по течению реки. Вдруг Херихор поднялся и скомандовал:

— Правьте обратно к Мемфису!

Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сарры:

— «Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерения.

Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо. Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист.

Он — сила. Он — жизнь. Он — мудрость. Он — твой господь, твой бог, Израиль!..»

— Почему ты приказал гребцам плыть обратно? — спросила царица Никотриса Херихора.

— Ты знаешь, государыня, какая это песнь?.. — ответил Херихор на языке, понятном только жрецам. — Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву, которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов.

— Значит, это кощунство?

— К счастью, в нашей лодке находится только один жрец, — ответил министр. — Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь, однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку.

— Но откуда она знает эту страшную молитву?.. Ведь не мог же Рамсес ее научить?..

— Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно такое сокровище унесли из Египта. Потому-то мы и считаем их святотатцами.

Царица взяла верховного жреца за руку.

— Но с моим сыном, — прошептала она, заглядывая ему в глаза, — ничего плохого не случится?

— Ручаюсь тебе, государыня, что ни с кем не случится ничего дурного, раз я ничего не слышал и ничего не знаю. Но царевича надо разлучить с этой девушкой.

— Только никаких крутых мер! Не правда ли, наместник? — просительно промолвила мать.

— Как можно мягче, как можно незаметнее, но это необходимо. Мне казалось, — продолжал верховный жрец как будто про себя, — что я все предусмотрел, все — за исключением обвинения в кощунстве, которое из-за этой женщины может грозить наследнику! — Херихор задумался и прибавил: — Да, государыня! Можно пренебречь многими нашими предрассудками, но одно несомненно: сын фараона не должен связывать свою жизнь с еврейкой.

С того вечера, когда Сарра пела в лодке, дворцовая ладья не появлялась больше на Ниле, и царевич Рамсес стал скучать не на шутку. Приближался месяц мехир, декабрь. Вода убывала, освобождая все новые пространства земли, трава с каждым днем становилась все выше и гуще, и среди нее разноцветными брызгами пестрели душистые цветы. Словно островки на зеленом море, появлялись за один день цветущие лужайки — белые, голубые, желтые, розовые ковры, от которых веяло упоительным ароматом.

Несмотря на это, царевич тосковал и даже чего-то страшился. Со дня отъезда отца он не был во дворце, и никто оттуда не приходил к нему, не исключая Тутмоса, который после их последнего разговора скрылся, как змея в траве. Может быть, придворные щадили его уединение, а может быть, хотели ему досадить или просто боялись посещать опального наследника? Рамсес не знал.

«Возможно, отец и меня отстранит от престола, как старших братьев, — думал иногда Рамсес, и на лбу у него выступал пот, а ноги холодели. — Что тогда делать?»

Вдобавок ко всему Сарра была нездорова: худела, бледнела, большие глаза ее ввалились, иногда по утрам она жаловалась на тошноту.

— Уж не сглазил ли кто бедняжку! — стонала хитрая Тафет, которую Рамсес не мог выносить за ее вечную болтовню и дурные повадки. Несколько раз наследник видел, как Тафет отправляет поздним вечером в Мемфис огромные корзины с едой, бельем и даже с посудой. На следующий день она жаловалась, что в доме не хватает муки, вина или посуды. С тех пор как наследник переехал в усадьбу, уходило в десять раз больше продуктов, чем прежде.

«Я уверен, — думал Рамсес, — что эта болтливая ведьма обкрадывает меня для своих евреев, которые днем исчезают из Мемфиса, а ночью шныряют, как крысы, по грязным закоулкам».

В те дни единственным развлечением царевича было наблюдать за сбором фиников.

Голый крестьянин подходил к высокой, прямой и гладкой, как колонна, пальме, обвивал дерево и себя веревочной петлей и, упираясь пятками в ствол, а всем корпусом откинувшись назад, лез вверх. Поднявшись немного, он подвигал петлю еще на несколько дюймов вверх и, рискуя

свернуть себе шею, карабкался таким образом все выше и, достигая иногда высоты двух-трех этажей, взбирался на самую макушку, увенчанную пучком огромных листьев и гроздьями фиников.

Свидетелями этих акробатических упражнений были, кроме Рамсеса, еврейские дети. Первое время они не показывались. Потом из-за кустов, из-за ограды стали выглядывать курчавые головки и черные блестящие глаза.

Видя, что царевич не прогоняет их, дети вышли из засады и осторожно приблизились к дереву. Самая смелая девочка подняла с земли прекрасный плод и протянула его Рамсесу, а один из мальчиков, выбрав самый маленький финик, съел его. После этого дети, осмелев, стали и сами есть плоды и угощать Рамсеса. Сначала приносили ему самые лучшие, потом похуже и, наконец, совсем негодные. Будущий властелин мира задумался и сказал про себя: «Они всюду пролезут и всегда будут так меня потчевать: хорошим на приманку, а в благодарность гнилым».

Он поднялся и мрачно удалился; а детвора Израиля, как стайка птичек, накинулась на труд крестьянина, который, сидя высоко над ними, напевал песенку, не думая ни о своем хребте, ни о том, что собирает не для себя.

Непонятная болезнь Сарры, частые ее слезы, заметно исчезающая миловидность, а больше всего шумное хозяйничанье в усадьбе ее родичей, которые уже перестали стесняться, вконец отравили Рамсесу пребывание в этом красивом уголке. Он перестал кататься на лодке и охотиться, не смотрел, как собирают финики, а хмурый бродил по саду или поглядывал с террасы на дворец фараона.

Без приглашения он никогда бы туда не вернулся, но начал подумывать об отъезде в свое поместье, расположенное в Нижнем Египте, неподалеку от моря.

В таком настроении духа застал его Тутмос, который прибыл однажды в парадной дворцовой ладье и привез наследнику приглашение от фараона.

Его святейшество возвращался из Фив и выразил желание, чтобы наследник выехал встречать его.

Царевич бледнел и краснел, читая милостивое письмо царя. Он был так взволнован, что не заметил на Тутмосе ни огромного нового парика, от которого исходил запах пятнадцати различных благовоний, ни туники и плаща, более прозрачного, чем дымка тумана, ни украшенных золотом и бисером сандалий.

Наконец Рамсес пришел в себя и, не глядя на Тутмоса, спросил:

— Что ж ты так давно не был у меня? Тебя испугала немилость, в которую я попал?

— О боги! — воскликнул блестящий фронт. — Когда это ты был в

немилости и у кого? Каждый гонец царя справлялся от его имени о твоём здоровье. А досточтимая царица Никотриса и достойнейший Херихор несколько раз подплывали к твоему дому, надеясь, что ты сделаешь им навстречу хоть сто шагов, после того как они сделали несколько тысяч. Об армии я уже не говорю. Солдаты твоих полков молчат во время ученья, как пальмы, и не выходят из казарм. А доблестный Патрокл от огорчения целыми днями пьёт и ругается.

Значит, царевич не был в немилости, а если и был, то она кончилась!.. Эта мысль подействовала на Рамсеса, как кубок хорошего вина. Он быстро принял ванну и умастил своё тело, надел новое бельё и поверх него военный кафтан, взял свой шлем с перьями и направился к Сарре, которая лежала, бледная, под присмотром Тафет.

Сарра вскрикнула, увидев его в таком наряде. Она присела на кровати и, охватив руками его шею, проговорила чуть слышно:

— Ты уезжаешь, господин мой!.. И уже больше не вернешься!

— Почему ты так думаешь? — удивился наследник. — Разве я в первый раз уезжаю?

— Я помню тебя в такой же одежде там... в нашей долине, — продолжала Сарра. — О, где то время?.. Оно так быстро пролетело и, кажется, было так давно...

— Но я вернусь, Сарра! И привезу тебе искуснейшего лекаря.

— Зачем? — вмешалась Тафет. — Она здорова, моя пава... Ей нужно только отдохнуть. А египетские лекари доведут её до настоящей болезни.

Рамсес даже не взглянул на болтливую бабу.

— Это был самый лучший месяц в моей жизни, — сказала Сарра, прижимаясь к Рамсесу. — Но он не принес мне счастья.

С царской ладьи послышался звук рожка, повторяя сигнал, данный выше по реке.

Сарра вздрогнула.

— О, ты слышишь, господин, эти страшные звуки?.. Ты слышишь и улыбаешься и — горе мне! — рвешься из моих объятий. Когда зовет рожок, ничто тебя не удержит, а меньше всех твоя рабыня.

— Ты хотела бы, чтоб я вечно слушал кудахтанье усадебных кур? — перебил её царевич раздражённо. — Прощай! Будь здорова и весела и жди меня...

Сарра выпустила его из объятий и посмотрела на него так жалобно, что наследник смягчился и погладил её.

— Ну, успокойся... Тебя пугают звуки наших рожков... А разве они в тот раз были плохим предзнаменованием?..

— Господин! Я знаю, они тебя удержат там. Так окажи мне последнюю милость... Я дам тебе, — продолжала она, всхлипывая, — клетку с голубями. Они тут родились и выросли... И вот... как только ты вспомнишь о своей служанке, открой клетку и выпусти одного голубка... Он принесет мне весточку от тебя, а я поцелую его... и приласкаю... как... как... А теперь иди!

Царевич обнял ее и направился к ладье, поручив негру, чтоб тот дождался голубей от Сарры и догнал его в челноке.

При появлении наследника затрещали барабаны, завизжали пищалки, и гребцы приветствовали его громкими криками. Очутившись среди солдат, наследник вздохнул всей грудью и потянулся, точно освободившись от пут.

— Ну, — обратился он к Тутмосу, — надоели мне и бабы и евреи... О Осирис! Лучше повели изжарить меня на медленном огне, но не заставляй сидеть дома.

— Да, — поддакнул Тутмос, — любовь как мед: ее можно отведать, но невозможно в ней купаться. Брр!.. Даже мурашки пробегают по телу, как вспомню, что ты чуть не два месяца провел, питаясь поцелуями ночью, финиками по утрам и ослиным молоком в полдень.

— Сарра очень хорошая девушка, — остановил его царевич.

— Я говорю не о ней, а о ее родичах, которые облепили усадьбу, как папирус болото. Видишь, вон они смотрят тебе вслед, а может быть, даже шлют прощальные приветствия, — не унимался льстец.

Рамсес с раздражением отвернулся в сторону. Тутмос же игриво подмигнул офицерам, как бы желая дать им понять, что теперь Рамсес не скоро покинет их общество.

Чем дальше продвигались они вверх по реке, тем гуще толпился народ на берегах Нила, тем оживленнее сновали здесь лодки, тем больше плыло цветов, венков и букетов, бросаемых навстречу ладье фараона.

На целую милю за Мемфисом стояли толпы с хоругвями, с изображениями богов и музыкальными инструментами, и слышался гул, напоминающий шум бури.

— А вот и царь! — восторженно воскликнул Тутмос.

Глазам зрителя представилось единственное в своем роде зрелище. Посреди широкой излучины плыла огромная ладья фараона; нос ее был изогнут, как лебединая шея. Справа и слева, словно два огромных крыла, скользили бесчисленные лодки верноподданных, а сзади богатым веером развернулись ладьи сопровождавшей фараона свиты. Все плясали, пели, хлопали в ладоши или бросали цветы навстречу золотистому шатру, на котором развевался черно-голубой флаг — знак присутствия фараона.

Люди в лодках были точно пьяные, люди на берегу — как ошалелые. То и дело какая-нибудь лодка толкала или опрокидывала другую, кто-нибудь падал в воду, откуда, к счастью, бежали крокодилы, вспугнутые небывалым шумом. Люди на берегу толкались, никто не обращал внимания ни на соседа, ни на отца или ребенка и не сводил глаз с золоченого носа ладьи и царского шатра. Воздух оглашался криками:

— Живи вечно, властелин наш!.. Свети, солнце Египта!..

Офицеры, солдаты и гребцы в ладье царевича, сбившись в одну кучу, тоже старались перекричать друг друга. Тутмос, забыв о наследнике престола, вскарабкался на высокий нос судна и чуть было не шлепнулся в воду.

Вдруг на ладье фараона затрубили рога. Им мгновенно ответил рожок с лодки Рамсеса. Второй сигнал — и ладья наследника подплыла к огромной ладье фараона.

Придворный чиновник громко позвал Рамсеса. Между обоими суднами был переброшен кедровый мостик с резными перилами; еще мгновение — и сын предстал перед отцом.

Встреча с фараоном и буря гремящих возгласов так ошеломили царевича, что он не мог вымолвить ни слова. Он припал к ногам отца, который прижал его к своей груди.

Немного спустя полотнища шатра распахнулись, и народ на обоих берегах Нила увидел фараона на троне, а на верхней ступени — коленопреклоненного наследника, голова его лежала на груди отца.

Воцарилась такая тишина, что слышен был шелест знамен на судах. И вдруг раздался всеобщий крик, более могучий, чем раньше; это народ радовался примирению отца с сыном, поздравлял нынешнего фараона и приветствовал будущего. Если кто рассчитывал на нелады в семье фараона, то сейчас он мог убедиться, что новая ветвь царского рода крепко держится на стволе.

У царя был больной вид. Он нежно поздоровался с сыном и, посадив его рядом с троном, сказал:

— Душа моя рвалась к тебе, Рамсес, тем сильнее, чем лучше были вести о тебе. Теперь я вижу, что ты не только юноша с львиным сердцем, но и рассудительный муж, способный взвешивать свои поступки и сдерживать себя в интересах государства.

Взволнованный Рамсес молча припал к ногам отца. Царь продолжал:

— Ты правильно поступил, отказавшись от двух греческих полков, ибо тебе полагается весь корпус Менфи, и отныне я назначаю тебя командующим.

— Отец!.. — прошептал взволнованно наследник.

— Кроме того, в Нижнем Египте, с трех сторон открытом нападениям врага, мне нужен храбрый и рассудительный муж, который видел бы все, умел бы все взвесить и быстро действовать в случае необходимости. Поэтому я назначаю тебя своим наместником в той половине царства.

У Рамсеса слезы полились из глаз: он прощался с юностью и радовался власти, к которой столько лет так страстно стремилась его душа.

— Я устал и болен, — продолжал властелин, — и если бы не беспокойство о будущности государства и о том, что я оставлю тебя в таком юном возрасте, я уже сейчас просил бы своих вечно живущих предков отозвать меня в обитель своей славы. Но так как с каждым днем мне становится все труднее, ты, Рамсес, начнешь уже сейчас делить со мной бремя власти. Как насадка учит своих цыплят отыскивать зерна и защищаться от ястреба, так я научу тебя многотрудному искусству управления государством и бдительности к коварным козням врагов, чтоб ты мог со временем налетать на них, как орел на пугливых куропаток.

Царская ладья и ее нарядная свита причалили к дворцовой набережной. Утомленный повелитель сел в носилки. А в это время к наследнику подошел Херихор.

— Разреши мне, досточтимый царевич, — обратился он к наследнику, — первым выразить свою радость по поводу твоего возвышения. Желаю тебе с равным счастьем предводительствовать полками и управлять важнейшей провинцией государства во славу Египта!

Рамсес крепко пожал ему руку.

— Это ты сделал, Херихор? — спросил он.

— Ты этого заслужил, — ответил министр.

— Прими мою благодарность; ты убедишься, что она чего-нибудь да стоит.

— Твои слова уже достаточная для меня награда, — ответил Херихор.

Рамсес хотел уйти, но Херихор остановил его.

— Одно словечко, наследник, — сказал он ему. — Предостереги свою женщину, Сарру, чтоб она не пела религиозных песен.

И когда Рамсес посмотрел на него с удивлением, он добавил:

— В тот раз, во время прогулки по Нилу, эта девушка пела священнейший наш гимн; слышать его имеют право только фараоны и высшие жрецы. Бедняжка могла бы жестоко поплатиться за свое искусство и неосведомленность.

— Значит, она совершила кощунство? — спросил в смущении наследник.

— Сама того не зная, — ответил верховный жрец. — К счастью, слышал только я один, и считаю, что между этой песнью и нашим гимном сходство лишь весьма отдаленное. Во всяком случае, пусть она ее никогда больше не поет.

— Но она должна еще очиститься от греха, — заметил царевич. — Достаточно ли будет для чужеземки, если она пожертвует храму Исиды тридцать коров?..

— Это неплохо, пусть жертвует, — ответил Херихор, слегка поморщившись, — боги не брезгают дарами.

— А ты, благородный Херихор, — сказал Рамсес, — прими этот чудесный щит, который я получил от моего святого деда.

— Мне?.. Щит Аменхотепа?.. — воскликнул растроганный министр. — Достоин ли я?..

— Своей мудростью ты равен моему деду, а своим положением сравняешься с ним.

Херихор низко поклонился. Дар наследника — золотой щит, украшенный дорогими камнями, кроме большой денежной ценности, имел еще значение амулета. Это был царственный подарок.

Но еще большее значение придавал Херихор словам царевича, что он по своему положению будет равен Аменхотепу. Аменхотеп был тестем фараона. Неужели наследник престола принял решение жениться на дочери его, Херихора?..

Это была заветная мечта министра и царицы Никотрисы. Надо, однако, признать, что Рамсес, говоря о будущем положении Херихора, отнюдь не имел в виду женитьбы на его дочери, а думал о предоставлении ему новых высоких постов, которых было немало в храмах и при дворе.

С того дня, как Рамсес стал наместником Нижнего Египта, перед ним встали такие трудности, каких он даже не представлял себе, хотя родился и вырос при царском дворе.

Его буквально тиранили, и палачами были всевозможные просители, представлявшие различные общественные слои.

В первый же день при виде толпы людей, которые, толкаясь и стараясь пробиться вперед, топтали газоны в его саду, ломали деревья и разрушали ограду, наследник вызвал караул к своему дворцу. Но на третий день ему пришлось бежать из собственного дома в пределы царского дворца, куда благодаря многочисленной страже, а главное — высоким стенам, было трудно проникнуть.

За декаду, предшествовавшую отъезду Рамсеса, перед глазами его прошли представители всего Египта и чуть ли не всего тогдашнего мира.

Прежде всего к нему были допущены наиболее высокопоставленные лица. Поздравлять царевича приходили верховные жрецы храмов, министры, финикийский, греческий, иудейский, ассирийский, нубийский послы, пестрые одежды которых смешались в его памяти. Затем стали являться правители соседних номов, судьи, писцы, высшие офицеры корпуса Менфи и крупные землевладельцы. Эти люди ничего не требовали и только выражали свою радость. Однако царевич, выслушивая их с утра до полудня и с полудня до позднего вечера, чувствовал полный сумбур в голове и изнемогал от усталости.

Потом явились представители низших классов с подарками: купцы с золотом, янтарем, иноземными тканями, с благовониями и фруктами. Потом банкиры и ростовщики. Далее — архитекторы с планами новых сооружений, скульпторы с эскизами статуй и барельефов, каменщики, мастера, вырабатывающие глиняную посуду, плотники, простые столяры и искусные мебельщики, кузнецы, литейщики, кожевники, виноградари, ткачи, даже парасхиты, вскрывающие тела покойников для бальзамирования.

Еще не окончилась эта процессия поздравляющих, как потянулась целая толпа просящих: калек, вдов и сирот, хлопотавших о пенсии, аристократов, добивавшихся придворных должностей для своих сыновей. Инженеры предлагали проекты новых способов орошения, лекари — целебные средства против разнообразных болезней, астрологи приносили

гороскопы. Родственники заключенных подавали прошения о смягчении наказаний или о помиловании присужденных к смертной казни, больные молили, чтоб наследник прикоснулся к ним или дал им каплю своей слюны.

Приходили также красивые женщины и матери со своими дочерьми, одни смиренно, другие назойливо упрашивая, чтобы наместник взял их к себе в дом. Некоторые даже называли сумму ожидаемого содержания, восхваляя свою добродетель и свои таланты.

Насмотревшись за десять дней на толпы сменявшихся поминутно лиц, наслушавшись просьб, удовлетворить которые могли бы только сокровища всего мира и божественная власть, Рамсес выбился из сил. Он лишился сна и до того извелся, что его раздражало даже жужжанье мухи, и временами он не мог понять, что ему говорят. Тут снова выручил его Херихор: знатным он велел объявить, что царевич больше никого не принимает, а против простого люда, который, несмотря на многократные требования разойтись, продолжал ожидать у ворот, выслал роту нумидийских солдат с дубинками и таким образом очень быстро их успокоил. Не прошло и часу, как просители рассеялись, словно дым, и кое-кому пришлось несколько дней прикладывать к голове или к другим частям тела холодные компрессы.

После всего этого Рамсес почувствовал глубокое презрение к людям и впал в уныние.

Два дня пролежал он на диване, подложив руки под голову и бессмысленно глядя в потолок. Царевича не удивляло больше, что его благочестивый отец проводит время у алтарей богов; но он не мог понять, как Херихор справляется с бездной всяких дел, которые, подобно буре, не только превосходят силы человека, но могут даже раздавить его.

«Как тут проводить в жизнь свои планы, когда толпы просителей подавляют твою волю, пожирают мысли, высасывают всю кровь!.. Прошло всего десять дней, и я уже болен, а через год, пожалуй, совсем одурею. На таком посту немыслимы никакие проекты. Хорошо еще, если с ума не сойдешь!»

Он был так встревожен своей беспомощностью в роли правителя, что пригласил Херихора и со слезами в голосе рассказал ему о своих огорчениях.

Министр с улыбкой выслушал жалобы молодого кормчего государственного корабля.

— Тебе известно, царевич, — сказал он, — что огромный дворец, в котором мы живем, построен только одним архитектором по имени Сенеби.

Надо сказать, что он не дожил до окончания постройки. Так вот, знаешь ли ты, почему этот архитектор мог выполнить свой план, не ведая усталости и никогда не теряя бодрости духа?

— Почему же?

— Потому что он не делал всего сам: не тесал бревен и камня, не месил глины, не обжигал кирпичей, не поднимал их на место, не укладывал и не скреплял известкой. Он только начертил план. Но и для этого у него были помощники. А ты, царевич, хотел сам все сделать — сам и выслушать и удовлетворить всех. Это свыше человеческих сил.

— Как же я мог поступить иначе, когда-среди просителей были несправедливо обиженные или обойденные наградой. Ведь основой государства является справедливость, — ответил наследник.

— Сколько человек ты можешь выслушать за день, не уставая? — спросил Херихор.

— Ну... двадцать...

— О, это еще хорошо! Я выслушиваю самое большее шесть — десять человек. Но не просителей, а верховных писцов, высших управителей и министров. Каждый из них докладывает мне лишь о самом важном, что происходит в армии, во владениях фараона, в судах, в номах, а также о делах религии и о движении нильских вод. Поэтому они не сообщают мелочей, но каждый из них, прежде чем явиться ко мне, должен был выслушать десять писцов, стоящих ниже; каждый помощник верховного писца, каждый управляющий предварительно собрал сведения от десяти низших писцов и управляющих, а те, в свою очередь, выслушали доклады десятка еще более мелких чиновников. Таким образом, и я и его святейшество, разговаривая за день только с десятком людей, знаем все наиболее важное, что случилось в сотне тысяч мест страны и всего мира. Караульный со своего поста на улице Мемфиса видит всего несколько домов. Десятский знает всю улицу, сотский — целый квартал, градоначальник — весь город. Фараон же стоит над всеми, словно на высочайшем пилоне храма Птаха, откуда виден не только Мемфис, но и соседние города: Сехем, Он, Херау, Турра, Тетауи^[62], их окрестности и часть западной пустыни. С этой высоты царь, правда, не замечает обиженных или обойденных наградой, но может заметить толпы безработных. Он не увидит солдата в харчевне, но узнает, вышел ли полк на ученье. Не увидит, что готовит себе на обед какой-нибудь крестьянин или горожанин, но заметит пожар, вспыхнувший в городе. Этот государственный порядок, — продолжал, оживляясь, Херихор, — наша

гордость и наша сила. Когда Снофру^[63], один из фараонов первой династии, спросил жреца, какой ему воздвигнуть себе памятник, тот ответил: «Начерти, государь, на земле квадрат и положи на него шесть миллионов неотесанных камней — они представят собой народ. На этот слой положи шестьдесят тысяч обтесанных камней — это твои низшие служащие. Сверху положи шесть тысяч полированных камней — это высшие чиновники. На них поставь шестьдесят камней, покрытых резьбой, — это твои ближайшие советники и полководцы. А на самый верх водрузи один камень с золотым изображением солнца — это и будешь ты сам». Так и сделал фараон Снофру. Отсюда возникла древнейшая ступенчатая пирамида — верное отражение нашего государства, и от нее пошли все остальные. Это вечные сооружения, с вершины которых видны границы мира и которым будут дивиться отдаленнейшие поколения.

— В таком государственном устройстве, — продолжал министр, — заключается также наше превосходство над соседями. Эфиопы были столь же многочисленны, как и мы. Но их царь сам ходил за своим скотом, сам бил палицей подданных и, не зная, сколько их, не смог собрать, когда вступили наши войска. Не было единой Эфиопии, а было огромное скопище людей. Теперь они наши вассалы. Ливийский князь сам чинит суд, особенно между богатыми, и столько отдает этому времени, что ему некогда оглянуться кругом, а пока у него под боком собираются целые банды разбойников, которых нам приходится уничтожать. Знай еще и то, господин, что, если бы в Финикии был единый повелитель, который ведал бы, что где происходит, и повелевал во всех городах, страна эта не платила бы нам ни одного дебена дани. И счастье наше, что у царей ниневийского и вавилонского только по одному министру и они так же устают от дел, как ты сейчас! Они хотят сами все видеть, сами судить и издавать приказы и потому на сто лет запутали дела государства. Но если бы нашелся какой-нибудь ничтожный египетский писец, который отправился бы туда, объяснил царям их ошибку и ввел у них нашу чиновную иерархию, нашу пирамиду, то за десяток-другой лет ассирийцы захватили бы в свои руки Иудею и Финикию, а через несколько лет с востока и севера, с суши и с моря налетели бы на нас такие могучие армии, с которыми мы, быть может, и не совладали бы.

— Так нападем же на них сейчас, когда там беспорядки! — воскликнул царевич.

— Мы еще не оправились от наших прежних побед, — холодно ответил Херихор и стал прощаться с Рамсесом.

— Неужели победы ослабили нас? — вырвалось у наследника. — Ведь

мы навезли горы сокровищ!

— Топор и тот может затупиться от работы, — бросил Херихор и ушел.

Рамсес понял, что всесильный министр, несмотря на то, что сам стоит во главе армии, хочет мира во что бы то ни стало.

— Посмотрим! — прошептал он про себя.

За несколько дней до отъезда Рамсес был приглашен к отцу. Фараон сидел в мраморном зале, где все четыре входа охранялись часовыми-нубийцами.

Рядом с креслом фараона стоял табурет для наследника и небольшой столик, на котором лежали документы, написанные на папирусе. Стены зала были украшены цветными барельефами, которые изображали земледельческие работы, а по углам стояли безучастные, меланхолически улыбающиеся статуи Осириса.

Когда Рамсес по приглашению отца сел, фараон сказал:

— Вот, мой сын, твои грамоты командующего войсками и наместника. Ну, как? Видно, первые дни управления утомили тебя?

— Служа вашему святейшеству, я обрету силы.

— Лыстец! — улыбнулся фараон. — Помни, я не хочу, чтобы ты переутомлялся. Развлекайся. Молодость требует веселья. Это не значит, однако, что у тебя не будет важных дел.

— Я готов.

— Прежде всего... Прежде всего я открою тебе свои заботы. Казна наша в плохом состоянии; поступление налогов, особенно из Нижнего Египта, с каждым годом уменьшается, а расходы все растут. Да, эти женщины... женщины, Рамсес, поглощают огромные средства не только у простых смертных, но и у меня. В моем дворце их несколько сот, и каждая хочет иметь как можно больше прислужниц, портных, парикмахеров, рабов для носилок, рабов для внутренних покоев, конюхов, лодочников, даже своих любимцев и детей!.. А дети!.. Когда я вернулся из Фив, одна из этих дам, которую я даже не помню, выбежала мне навстречу и, показывая здорового трехлетнего мальчугана, требовала, чтобы я назначил ему содержание, так как это будто бы мой сын... У меня трехлетний сын — можешь себе представить!.. Разумеется, я не стал вступать в пререкания с женщиной, тем более по такому щекотливому вопросу. Знатному человеку легче соблюсти вежливость, чем найти деньги для удовлетворения всяких причуд. — Он покачал головой, вздохнул и продолжал: — А между тем мои доходы с начала царствования уменьшились наполовину, особенно в Нижнем Египте. Я спрашиваю, чем это объяснить?.. Мне отвечают: «Народ

обнищал, убыло много населения, море занесло песком часть земель с севера, а пустыня — с востока. Было несколько неурожайных лет». Словом, беда за бедой, а в казне дно все виднее. Так вот, прошу тебя, выясни все это. Осмотрись, познакомься со сведущими и надежными людьми и создай из них следственную комиссию. Но когда будут поступать отчеты, не полагайся слишком на папирус, а тщательно проверяй. Мне говорили, что у тебя зоркое око полководца. Если это верно, то ты с первого же взгляда определишь, насколько представленные отчеты комиссии соответствуют действительности. Не торопись, однако, с выводами, а главное... держи их про себя. Всякую сколько-нибудь важную мысль, какая придет тебе в голову сегодня, запиши, а через несколько дней обдумай еще раз и опять запиши. Это приучит тебя быть осторожным в суждениях и правильно оценивать обстоятельства.

— Все будет сделано так, как ты повелеваешь, — сказал наследник.

— Вторая задача, которую ты должен выполнить, труднее. То, что творится в Ассирии, начинает беспокоить мое правительство. По рассказам наших жрецов, за Северным морем есть пирамидальная гора, зеленая внизу и покрытая снегом на вершине. И будто эта гора обладает странным свойством: после многих лет покоя она вдруг начинает дымить, содрогаться, греметь, а потом выбрасывает из себя не меньше жидкого огня, чем воды в Ниле. Огонь этот разливается по ее склонам и на огромном пространстве разрушает труд земледельца. Так вот, дорогой мой сын, Ассирия и есть такая гора. Столетия в ней царят покой и тишина. Но вдруг внутри поднимается буря, из страны вырываются неизвестно откуда взявшиеся огромные армии и уничтожают мирных соседей. Сейчас из Ниневии и Вавилона слышен гул: гора дымится. Ты должен узнать, в какой степени это нам угрожает, и обдумай, какие принять меры.

— Справлюсь ли я?.. — тихо спросил наследник.

— Научись смотреть и видеть, — продолжал фараон. — Никогда не довольствуйся свидетельством собственных глаз, а призови на помощь и чужие. Не ограничивайся суждениями египтян, ибо у каждого народа и человека своя точка зрения и никто не угадывает всей правды. Выслушивай поэтому, что думают об ассирийцах финикияне, иудеи, хетты и египтяне, и прими во внимание то, в чем их суждения сходятся. Если все тебе скажут, что со стороны Ассирии угрожает опасность, ты будешь знать, что это действительно так. И если разные люди будут говорить разное, тоже будь настороже, так как мудрость повелевает ожидать скорее дурного, чем хорошего.

— Ты говоришь, о царь, как говорят боги, — прошептал Рамсес.

— Я — старик, а с высоты трона видишь то, о чем смертные даже не подозревают. Если бы ты спросил у солнца, что оно думает о земных делах, оно рассказало бы еще более поучительные вещи.

— В числе людей, у которых я должен спросить мнения об Ассирии, ты не упомянул, отец, греков, — заметил наследник.

Фараон благодушно улыбнулся и покачал головой.

— Греки!.. Греки!.. Вот народ, которому принадлежит великое будущее. По сравнению с нами они еще дети, но какой дух в них живет! Помнишь мое изваяние, сделанное греческим скульптором? Это живой человек, мой двойник... Месяц я держал его во дворце, но в конце концов подарил храму в Фивах. Поверишь ли, мне стало страшно, что этот мой каменный двойник встанет со своего пьедестала и потребует, чтобы я поделил с ним власть... Какое смятение поднялось бы в Египте!.. Греки... Ты видел вазы, которые они лепят, дворцы, которые они строят? Из глины и камня они создают то, что радует мою старость и заставляет забывать о недугах... А их язык?.. О боги! Ведь это музыка, и скульптура, и живопись, взятые вместе!.. Право, если бы Египту суждено было когда-нибудь умереть, как умирает человек, нашими наследниками оказались бы греки. Причем они уверили бы мир, что все это дело их рук, а нас и на свете не было. А между тем все они только ученики наших начальных школ, ибо, как тебе известно, мы не имеем права передавать чужеземцам высшую мудрость.

— Однако, несмотря на это, ты как будто не доверяешь грекам?

— Потому что это особенный народ. Ни финикиянам, ни им нельзя верить, финикиянин, если захочет, увидит и скажет подлинную правду, но ты не угадаешь, когда он захочет ее сказать. Грек же простодушен, как ребенок, и всегда готов говорить правду, но это не в его силах. Он видит мир иначе, чем мы. В его глазах всякая вещь сверкает и переливается всеми красками, как небо Египта и его воды. Так можно ли положиться на мнение греков? Во времена Фиванской династии далеко на севере был маленький городок Троя, какие у нас насчитываются тысячами. На этот курятник стал нападать всякий греческий сброд и так надоел его немногочисленным жителям, что те, после десяти лет тревог и волнений, сожгли эту крепостцу и перебрались в другое место. Словом, обыкновенная разбойническая история!.. А между тем какие песни поют греки о Троянских битвах! Мы смеемся над их чудесами и геройством, потому что обо всех этих событиях получали в свое время самые точные сведения. Мы знаем, что это явная ложь, и все же... слушаем их песни, как дитя слушает сказки своей няньки, и не можем от них оторваться!.. Вот каковы они, эти греки: прирожденные

лжецы, но приятный и мужественный народ. Каждый из них скорее расстанется с жизнью, чем скажет правду. И лгут они не ради выгоды, как финикияне, а из духовной потребности.

— А как мне относиться к финикиянам? — спросил наследник.

— Это люди умные, трудолюбивые и смелые, но торгаши: для них вся жизнь в том, чтобы множить наживу. Финикияне как вода: много приносят, много уносят и всюду просачиваются. Вот и надо давать им как можно меньше и следить, чтобы они не пролезли в Египет — сквозь щели, потихоньку. Если хорошо им заплатишь и подашь надежду нажить еще больше — они будут прекрасными агентами. То, что мы знаем сейчас о тайном движении в Ассирии, мы знаем благодаря им.

— А евреи? — прошептал царевич, опустив глаза.

— Это народ сметливый, но все они угрюмые фанатики и прирожденные враги Египта. Когда они почувствуют на своей шее тяжелую, подбитую гвоздями сандалию Ассирии, они обратятся к нам. Только не было бы слишком поздно. Пользоваться же их услугами можно. Не здесь, конечно, в Ниневии и Вавилоне.

Видно было, что владыка устал. Рамсес, прощаясь, упал перед ним ниц. Фараон отечески обнял его, после чего царевич направился к матери.

Царица, сидя в своем покое, ткала тонкое полотно для облачения богов, а придворные женщины шили, вышивали или вязали букеты. Молодой жрец курил благовония перед статуей Исиды.

— Я пришел поблагодарить тебя, матушка, и проститься.

Царица встала и, обняв сына, сказала со слезами:

— Как ты изменился!.. Ты уже совсем мужчина! Я тебя так редко вижу, что могла бы забыть твои черты, если бы твой образ не жил всегда в моем сердце. Недобрый... Я столько раз подъезжала к твоей усадьбе с наместником царя, думая, что ты когда-нибудь перестанешь сердиться, а ты вывез мне навстречу свою наложницу.

— Прости!.. Прости!.. — говорил Рамсес, целуя мать.

Царица повела его в сад, где росли редкостные цветы, и, когда они остались одни, сказала:

— Я — женщина, и меня интересует женщина и мать. Ты возьмешь с собой эту девушку, когда уедешь?.. Помни, что и шум и движение могут повредить ей и ребенку. Для беременных лучше всего тишина и покой.

— Ты говоришь про Сарру? — с удивлением спросил Рамсес. — Она беременна?.. Она ничего не говорила мне.

— Быть может, она стыдится или сама не знает... — ответила царица. — Во всяком случае, путешествие...

— Да я и не думаю брать ее с собой! — воскликнул наследник. — Но почему она скрывает от меня?.. Как будто это не мой ребенок...

— Не будь подозрителен! — пожурила его мать. — Это обычная стыдливость девушки. А может быть, она боится, что ты ее бросишь.

— Не брать же мне ее к себе во дворец! — перебил царевич с таким раздражением, что глаза царицы засветились улыбкой, но она прикрыла их ресницами.

— Не следует так грубо отталкивать женщину, которая тебя любила. Я знаю, что ты ее обеспечил. Мы ей тоже дадим что-нибудь от себя. Ребенок царской крови не должен ни в чем нуждаться.

— Разумеется, — ответил Рамсес, — мой первенец, хотя и не будет обладать правами наследника, должен быть воспитан так, чтобы мне не приходилось краснеть за него и чтобы он не мог потом меня упрекнуть.

Пробившись с матерью, Рамсес хотел поехать к Сарре, но сначала вернулся к себе.

Им владели два чувства: гнев — зачем Сарра скрывала от него причину своего недомогания, и гордость, что он скоро будет отцом.

Он — отец!.. Это придавало ему важность, укреплявшую его положение полководца и наместника. Отец — это уже не мальчик, который должен с почтительностью взирать на старших.

Царевич был восхищен и растроган. Ему хотелось увидеть Сарру, побранить ее, а затем обнять и одарить...

Однако, вернувшись к себе, он застал двух номархов из Нижнего Египта, которые явились к нему с докладом. Выслушав их, он почувствовал себя уже усталым. Кроме того, его ожидал вечерний прием, на который он не хотел опоздать. «Опять не попаду к ней, — подумал он. — Бедняжка не видела меня уже почти две декады». Он позвал негра.

— У тебя клетка, которую дала тебе Сарра, когда мы встречали царя?

— У меня, — ответил негр.

— Так возьми из нее одного голубя и выпусти.

— Голуби уже съедены.

— Кто их съел?

— Я сказал повару, что эти птицы от госпожи Сарры, и он готовил для тебя из них жаркое и паштеты.

— Чтоб вас сожрал крокодил! — вскричал огорченный царевич.

Он велел позвать Тутмоса и, рассказав историю с голубями, приказал ему немедленно ехать к Сарре.

— Свези ей изумрудные серьги, браслеты для ног и для рук и два таланта. Скажи, что я сержусь за то, что она скрывала от меня свою

беременность, но прощу ее, если ребенок будет здоровый и красивый. А если родит мальчика, я подарю ей еще одну усадьбу!.. А еще... уговори ее удалить от себя хоть часть евреев и вместо них взять египтян и египтянок. Я не хочу, чтобы мой сын явился на свет в таком окружении. Он еще, пожалуй, будет потом играть с еврейскими детьми, и они научат его угощать отца гнилыми финиками... — закончил он, смеясь.

Квартал в Мемфисе для иноземцев был расположен в северо-восточной части города, недалеко от Нила. Там насчитывалось несколько сот домов и около полутора десятка тысяч жителей: ассирийцев, евреев, греков, а больше всего финикийян. Это была зажиточная часть города. Главную артерию составляла широкая, шагов в тридцать, довольно прямая, вымощенная каменными плитами улица. По обеим сторонам ее возвышались дома из кирпича, песчаника или известняка, высотой от трех до пяти этажей. В подвалах помещались склады, в первых этажах — лавки, на втором — квартиры богатых людей, выше — мастерские ткацкие, сапожные, ювелирные, на самом верху тесные жилища ремесленников. Постройки этого квартала, как, впрочем, и во всем городе, были главным образом белые, но среди каменных зданий встречались и зеленые, как луг, желтые, как спелая нива, голубые, как небо, и красные, как кровь.

Многие фасады были украшены росписью, изображавшей занятия их жильцов. На доме ювелира длинный ряд рисунков рассказывал о том, что его владелец выделяет золотые цепи и браслеты, которые раскупаются чужеземными властителями, и те не могут на них надивиться. На стене огромного купеческого особняка были изображены эпизоды, свидетельствующие о трудностях и риске торгового дела: в море людей хватили страшные чудовища с рыбьими хвостами, в пустыне — крылатые драконы, изрыгающие огонь, а на далеких островах их настигали великаны, сандалии которых были больше финикийских кораблей.

Лекарь на стене своей больницы изобразил пациентов, которым он возвратил не только утерянную способность владеть руками и ногами, но даже зубы и утраченную молодость. На здании, где помещалось управление кварталом, нарисованы были бочки, куда люди бросали золотые перстни, пищик, которому кто-то шептал на ухо, распростертый на земле человек и двое других, избивающих его палками.

Улица была всегда полна народу. Вдоль стен стояли люди с носилками, с опахалами, рассыльные и работники, предлагавшие свои услуги. Посередине тянулись непрерывной вереницей повозки с товарами, запряженные ослиами либо волами. По тротуарам сновали крикливые продавцы свежей воды, винограда, фиников, копченой рыбы, а также лоточники, цветочницы, музыканты и разного рода фокусники.

Среди этого человеческого потока, где все двигались, толкали друг

друга, продавали и покупали, крича на разные голоса, выделялись полицейские в коричневых рубашках до колен, в полосатых передниках в красную и голубую полоску, с голыми ногами, с коротким мечом на боку и большой дубинкой в руке. Эти представители власти разгуливали по тротуару, иногда переговариваясь между собой, а большей частью стояли на каменном возвышении, чтоб лучше видеть суетившуюся у их ног толпу.

При таком надзоре уличным воришкам приходилось действовать очень ловко. Обыкновенно двое затевали между собой драку, а когда собиралась толпа и полицейские начинали лупить дубинками как дерущихся, так и зрителей, остальные компаньоны по воровскому делу обирали карманы.

Почти в самом центре главной улицы находилась гостиница финикиянина родом из Тира, по имени Асархаддон, где для облегчения надзора обязаны были проживать все приезжие чужеземцы. Это был огромный квадратный дом со множеством окон, стоявший особняком, так что можно было обходить вокруг и подсматривать со всех сторон. Над главными воротами висела модель корабля, а на фасаде были нарисованы картины, изображавшие царя Рамсеса XII, совершающего жертвоприношения богам и принимающего иноземцев, среди которых финикияне выделялись высоким ростом и ярко-красным цветом. Окна были узкие, всегда открытые, и лишь по мере надобности завешивались шторами из холста или из разноцветных палочек. Жилище хозяина и комнаты для постояльцев занимали три верхних этажа; внизу помещался винный погреб и харчевня. Матросы, носильщики, ремесленники и всякие приезжие ели и пили во дворе, где был мозаичный пол и полотняный навес, натянутый с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать за приезжими. Гости побогаче и благородного происхождения угощались на галереях, окружавших двор. Во дворе гости сидели на полу, перед каменными плитами, заменявшими столы. На галереях, где чувствовалась прохлада, были расставлены столики, скамейки, стулья и даже низенькие мягкие диваны, на которых можно было вздремнуть. Кроме того, на каждой галерее стоял большой стол, уставленный хлебом, мясными блюдами, рыбой, а также фруктами и большими кувшинами с пивом, вином и водой. Негры и негритянки разносили гостям кушанья, убирали пустые кувшины, приносили из подвала полные, а наблюдавшие за столами писцы тщательно записывали каждый кусок хлеба, каждую головку чеснока и кружку воды. Посреди двора, на возвышении, стояло два надсмотрщика с дубинками; они должны были следить за прислугой и писцами, а также при помощи дубинки улаживать ссоры между беднейшими гостями разных национальностей. Благодаря такому порядку кражи и драки случались

здесь редко, чаще — на галереях.

Сам хозяин гостиницы, известный в городе Асархаддон, седеющий человек лет пятидесяти, в длинной рубахе и кисейной накидке, расхаживал между гостями, следя за тем, чтобы каждый получал все, что ему нужно.

— Кушайте и пейте, сыны мои! — говорил он греческим матросам. — Такой свинины и пива вам не подадут нигде в мире. Я слышал, что вас потрепала буря близ Рафии^[64]. Вы должны принести богам щедрую жертву за то, что они вас спасли... В Мемфисе можно за всю жизнь не увидеть бури, а на море гром не большая редкость, чем у нас медный дебен. У меня есть и мед, и мука, и благовония для святых жертвоприношений, а вон по углам стоят боги всех народов. В моей гостинице человек может удовлетворить свой голод и свое благочестие по самой сходной цене.

Затем он поднимался на галерею к купцам.

— Кушайте и пейте, почтенные господа! — приглашал он их, низко кланяясь. — Времена нынче хорошие. Достойнейший наследник престола — да живет он вечно! — едет в Бубаст с огромной свитой, а из Верхнего царства пришли корабли с золотом. На этом не один из вас хорошо заработает. Есть куропатки, молодая гусятина, живая рыба, отличное жаркое из серны. А какое вино прислали мне с Кипра! Да превратиться мне в еврея, если кубок этого божественного напитка не стоит двух драхм! Но вы, отцы и благодетели мои, получите его сегодня по драхме. Только сегодня, для почину!..

— Полдрахмы за кубок, тогда попробуем, — отозвался один из купцов.

— Полдрахмы? — повторил хозяин. — Скорее Нил потечет вспять к Фивам, чем я отдам это вино за полдрахмы! Разве что для тебя, господин Белесис, которого все считают украшением Сидона. Эй, невольники!.. Подайте нашим благодетелям самый большой кувшин кипрского.

Когда он отошел, купец, названный Белесисом, сказал своим товарищам:

— Пусть рука у меня отсохнет, если это вино стоит полдрахмы! Ну, да все равно!.. Меньше будет хлопот с полицией.

Разговоры с гостями, среди которых были люди самых различных национальностей и различного положения, не мешали хозяину следить за писцами, записывавшими, кто что ел и пил, надсмотрщиками, наблюдавшими за прислугой и писцами, а главное — за одним из приезжих, который расположился на подушках в передней галерее, поджав под себя ноги, и дремал над горстью фиников и кружкой чистой воды. Приезжему было лет около сорока; у него были густые волосы, черная как смоль борода, задумчивые глаза и удивительно благородные черты лица,

которых, казалось, никогда не искажал гнев или страх.

«Это опасная крыса!.. — думал про себя хозяин, искоса поглядывая на гостя. — Похож на жреца, а носит темный плащ. Оставил у меня на хранение драгоценностей и золота на целый талант, а не ест мяса и не пьет вина... Должно быть, это или великий пророк, или большой мошенник».

С улицы вошли во двор два голых псилла, или укротителя змей, с мешком ядовитых гадов и начали представление. Младший заиграл на дудочке, а старший стал обвивать себя маленькими и большими змеями, из которых и одной было бы достаточно, чтобы разогнать всех постояльцев гостиницы «У корабля». Дудочка визжала, укротитель извивался, гримасничал, дергался и все время дразнил гадов, пока одна змея не ужалила его в руку, а другая в лицо. Третью, самую маленькую, он проглотил живьем. Гости и прислуга с беспокойством смотрели на эти фокусы. Все дрожали, когда укротитель дразнил змей, пугались и жмурились глаза, когда они жалили укротителя, когда же он проглотил змейку, зрители завывали от восторга.

Только приезжий на передней галерее не покинул своих подушек, даже не соблаговолив взглянуть на представление, и, когда укротитель подошел за монетой, бросил ему на пол два медных дебена и сделал знак рукой, чтобы он не подходил близко.

Зрелище продолжалось с полчаса. После того как псиллы покинули двор, к хозяину подбежал негр, обслуживающий комнаты для приезжих, и стал что-то озабоченно шептать ему, а затем неизвестно откуда появился полицейский и, отведя Асархаддона в отдаленную нишу, долго беседовал с ним, причем почтенный владелец гостиницы то и дело колотил себя в грудь, всплескивал руками и хватался за голову. Наконец, угостив негра пинком в живот, он велел подать десятскому жареного гуся и кувшин кипрского, а сам отправился на переднюю галерею к гостю, который как будто дремал, хотя глаза у него были открыты.

— Печальные у меня для тебя новости, почтенный господин, — проговорил хозяин, садясь рядом с приезжим.

— Боги посылают людям дождь и печаль, когда им заблагорассудится, — равнодушно ответил гость.

— Пока мы смотрели на псиллов, — продолжал хозяин, теребя седоватую бороду, — воры забрались во второй этаж и украли твои вещи — три мешка и ящик, наверно, большой ценности!..

— Ты должен сообщить о моей пропаже в суд.

— Зачем в суд? — шепнул хозяин. — У наших воров свой цех... Мы пошлем за старшиной, оценим вещи, заплатишь ему двадцать процентов

стоимости — и все найдется. Я могу тебе помочь.

— В моей стране, — заявил приезжий, — никто не ведет переговоров с ворами, и я тоже не стану. Я живу у тебя, я тебе доверил свое имущество, и ты за него отвечаешь.

Почтенный Асархаддон почесал спину.

— Человек из далекой страны, — заговорил он, понизив голос, — вы, хетты, и мы, финикияне, — братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

— Невинного боги проведут через стену, — ответил гость.

— Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? — прошептал хозяин. — Вон, погляди — там доедает гуся полицейский, чудесного гуся, которого я сам охотно бы съел. А ты знаешь, почему я отдал ему это лакомство? Потому что он пришел выпрашивать про тебя...

Сказав это, финикиянин искоса посмотрел на приезжего, который, однако, сидел все с тем же невозмутимым видом.

— Он спрашивает меня, — продолжал хозяин. — «Кто этот в черном, что два часа сидит над горсточкой фиников?» Я говорю: «Весьма почтенный человек, господин Пхут». — «Откуда он?» — «Из страны хеттов, из города Харрана^[65]; у него там приличный дом в три этажа и большой участок земли». — «Зачем он сюда приехал?» — «Приехал, говорю, чтобы получить с одного жреца пять талантов, которые дал займы еще его отец». Так знаешь, почтенный господин, что он мне на это ответил?.. Вот что: «Асархаддон, мне известно, что ты верный слуга фараона, что у тебя хороший стол и вино, поэтому предупреждаю тебя — будь осторожен!.. Берегись чужеземцев, которые ни с кем не знакомятся, избегают вина и всяких утех и молчат. Этот Пхут из Харрана, возможно, ассирийский шпион». Сердце у меня замерло, когда я это услышал, — продолжал хозяин. — А тебе, видно, все равно?.. — рассердился он, видя, что даже страшное подозрение в шпионстве не возмутило спокойствия хетта.

— Асархаддон, — сказал, немного помолчав, гость, — я доверил тебе себя и свое имущество, подумай же о том, чтобы вернуть мне мешки и сундук, иначе я пожалуюсь полицейскому, который съел гуся, предназначенного для тебя.

— Ну... тогда разреши мне уплатить вору хоть пятнадцать процентов стоимости твоих вещей, — сказал хозяин.

— Я запрещаю тебе платить что-либо.

— Дай им хоть тридцать драхм!
— Ни одного дебена!
— Дай беднякам хоть десять драхм.
— Ступай с миром, Асархаддон, и проси богов, чтобы они вернули тебе разум, — ответил приезжий все с тем же спокойствием.

Хозяин, задыхаясь от возмущения, вскочил с подушек.

«Экая гадина! — злился он в душе. — Он приехал не только за долгом. Он тут еще хорошее дельце обделает... Сердце мне подсказывает, что это богатый купец. А может быть, даже и трактирщик, который в компании с жрецами и судьями откроет где-нибудь у меня под боком вторую гостиницу... Да сожжет тебя огонь небесный! Да источит тебя проказа!.. Скряга, обманщик, вор, на котором честный человек ничего не заработает!»

Почтенный Асархаддон не успел прийти в себя от возмущения, как на улице раздались звуки флейты и бубна, и минуту спустя во двор вбежали четыре почти нагие танцовщицы. Носильщики и матросы встретили их радостными возгласами, и даже почтенные купцы, сидевшие на галерее, стали с любопытством поглядывать в их сторону и обмениваться замечаниями по поводу их наружности. Танцовщицы движением рук и улыбками приветствовали зрителей. Одна заиграла на двойной флейте, другая вторила ей на бубне, а две самые младшие танцевали во дворе, стараясь задеть всех гостей своими кисейными шарфами. Пьющие за столиками стали петь, кричать и приглашать к себе танцовщиц, а во дворе среди гостей началась драка, которую надсмотрщики без труда прекратили, пустив в ход свои дубинки. Какой-то ливиец при виде дубинок так возмутился, что выхватил было из-за пояса нож, но два негра бросились на него, отобрали несколько медных колец в уплату за съеденное и вышвырнули его на улицу.

Тем временем одна из танцовщиц под села к матросам, две подошли к купцам, которые стали угощать их вином и сладостями, а самая старшая начала обходить столы и собирать деньги.

— На храм божественной Исиды! — восклицала она. — Жертвуйте, благочестивые чужеземцы, на храм Исиды, которая покровительствует всему живущему... Чем больше дадите, тем больше благ и счастья ниспошлют вам боги... На храм, на храм матери Исиды!

Ей бросали в бубен клубки медной проволоки, иногда крупинки золота. Какой-то купец спросил, нельзя ли ее навестить, и жрица с улыбкой кивнула головой.

Когда она поднялась на переднюю галерею, Пхут из Харрана сунул руку в кожаный мешок, и, достав оттуда золотое кольцо, сказал:

— Иштар^[66] — великая и добрая богиня. Возьми это на ее храм.

Жрица внимательно посмотрела на него и прошептала:

— Аннаэль, Сахиэль.

— Амабиэль, Абалидот... — ответил так же тихо приезжий.

— Я вижу, что ты любишь мать Исиду, — проговорила жрица громко. — Ты, должно быть, богат и щедр. Стоит тебе погадать.

Она села рядом с ним, съела несколько фиников и, взяв его руку, заговорила:

— Ты прибыл из далекой страны Бретора и Хагита^[67]... Дорога у тебя была благополучная... Уже несколько дней следят за тобой финикияне, — прибавила она тише. — Ты приехал за деньгами, хотя и не купец... Приди ко мне сегодня после заката солнца... Твои желания, — продолжала она вслух, — должны исполниться... Я живу на улице Гробниц, в доме «Под зеленой звездой» (опять шепотом). Только остерегайся воров, зарящихся на твое богатство, — закончила она, видя, что почтенный Асархаддон подслушивает.

— В моей гостинице нет воров! — вскипел финикиянин. — Крадут, должно быть, те, что приходят с улицы.

— Не сердись, старичок, — ответила насмешливо жрица, — а то у тебя сразу выступает на шее красная полоса — знак недоброй смерти.

Услышав это, Асархаддон трижды сплюнул и шепотом произнес заклятие от дурных предсказаний. Когда он удалился, жрица принялась любезничать с харранцем. Дала ему розу из своего венка и, обняв его на прощание, направилась к другим столам.

Приезжий подозвал хозяина.

— Я хочу, — сказал он, — чтобы эта женщина побывала у меня. Вели провести ее ко мне в комнату.

Асархаддон посмотрел ему в глаза, всплеснул руками и захохотал.

— Тифон^[68] попутал тебя, харранец!.. — воскликнул он. — Если бы что-нибудь подобное случилось в моем доме с египетской жрицей, меня выгнали бы вон из города. Здесь можно принимать только чужеземных женщин.

— В таком случае я пойду к ней, — ответил Пхут. — Это мудрая и благочестивая женщина, она поможет мне во многих делах. После заката солнца дашь мне проводника, чтобы я не заблудился по дороге.

— Все злые духи вселились в твое сердце, — ответил хозяин. — Ведь это знакомство будет тебе стоить не меньше двухсот драхм, а может быть, и все триста, да еще придется дать прислужницам и храму. А почти за такую

же сумму, скажем, за пятьсот драхм, ты можешь познакомиться с молодой добродетельной девушкой, моей дочерью; ей уже четырнадцать лет, и, как умная девочка, она собирает себе приданое. Не шатайся же ночью по незнакомому городу; того и гляди, попадешь в руки полиции или воров. Пользуйся лучше тем, что боги посылают тебе дома. Согласен?

— А твоя дочь поедет со мной в Харран?

Хозяин посмотрел на него с изумлением. Вдруг он хлопнул себя по лбу, как будто разгадал тайну, и, схватив приезжего за руку, потащил его в укромный уголок у окна.

— Теперь я все знаю!.. — заговорил он взволнованным шепотом. — Ты торгуешь женщинами. Но помни, что за вывоз египтянки тебя могут лишить имущества и отправить в каменоломни. Разве что... примешь меня в компанию, ибо мне ведомы тут все пути.

— В таком случае расскажи, как пройти к этой жрице, — ответил Пхут. — И не забывай, что после заката солнца ты должен дать мне проводника, а утром — вернуть мои мешки и сундук, иначе я обращусь в суд.

Сказав это, Пхут вышел из харчевни и направился наверх в свою комнату.

Вне себя от негодования Асархаддон подошел к столику, за которым пили финикийские купцы, и отозвал в сторону одного из них. Куша.

— Хороших же постояльцев ты мне присылаешь! — закричал на него хозяин дрожащим от бешенства голосом. — Этот Пхут ничего почти не ест и заставляет меня выкупать у воров украденные у него вещи, а теперь, точно в насмешку, отправляется к египетской танцовщице, вместо того, чтобы одарить моих женщин.

— Что ж тут удивительного, — ответил, смеясь, Куш. — С финикиянками он мог познакомиться и в Сидоне, а здесь предпочитает египтянок. Дурак тот, кто на Кипре не пьет кипрского вина, довольствуясь тирским пивом.

— Я тебе говорю, — перебил его хозяин, — что это опасный человек... Притворяется простым горожанином. А вид у него жреца.

— А у тебя, Асархаддон, вид верховного жреца, хотя ты всего-навсего трактирщик! Скамья останется скамьей даже и тогда, когда покрыта львиной шкурой.

— Но зачем он ходит к жрицам? Я готов поклясться, что это хитрость и что хеттский грубиян идет не на пирушку к женщинам, а на какое-то собрание заговорщиков.

— Злоба и жадность совсем затуманили твой ум, — с упреком сказал

ему Куш. — Ты походе на человека, который на смоковнице ищет дыню и не замечает фиг. Для каждого купца ясно, что, если Пхут хочет получить свои пять талантов, он должен снискать себе благоволение у тех, кто вращается среди жрецов. А вот ты этого не понимаешь...

— Потому что сердце мне подсказывает, что это наверно ассирийский шпион, покушающийся на жизнь его святейшества.

Куш презрительно посмотрел на Асархаддона.

— Ну что ж, следи за ним! Ходи за ним по пятам. А если что заметишь, может, и тебе достанется что-нибудь из его имущества.

— Вот когда ты сказал умное слово! Пускай эта крыса идет к своим жрицам и от них куда угодно, а я пошлю за ним свои глаза, от которых ничто не скроется!

Часов в девять вечера Пхут вышел из гостиницы «У корабля» в сопровождении негра, несшего факел. За полчаса до этого Асархаддон отправил на улицу Гробниц доверенного человека, которому приказал зорко следить, не выйдет ли харранец тайком из дома «Под зеленой звездой» и куда пойдет.

Другой соглядатай хозяина шел за Пхутом на некотором расстоянии; в узких улочках он жался к стенам домов, на более широких — притворялся пьяным.

Улицы были уже пусты, носильщики и разносчики спали. Свет горел только в жилищах ремесленников, торопившихся окончить работу, да у богатых людей, которые пировали, расположившись на плоских крышах. С разных сторон доносились звуки арф и флейт, песни, смех, удары молота, визг пилы столяра. Иногда раздавался пьяный возглас или крик о помощи.

Улицы, по которым шли Пхут и негр, были большей частью узкие, кривые, в выбоинах. Но по мере того как они приближались к цели своего путешествия, дома становились все ниже, все больше попадалось садов, вернее, пальм, смоковниц и жалких акаций, которые свешивались через ограду, словно собираясь убежать.

На улице Гробниц вид сразу изменился. Вместо каменных домов появились обширные сады, а среди них — красивые особняки. У одних ворот негр остановился и потушил факел.

— Вот это «Зеленая звезда», — сказал он и, низко поклонившись Пхуту, повернул домой.

Харранец постучал в ворота. Вскоре появился привратник, внимательно осмотрел пришельца и пробормотал:

— Аннаэль, Сахиэль.

— Амабиэль, Абалидот, — ответил Пхут.

— Привет тебе, — проговорил привратник и быстро открыл калитку.

Пройдя шагов двадцать садом, Пхут очутился в сенях особняка, где его встретила знакомая жрица. В глубине стоял какой-то человек с черной бородой и волосами, до того похожий на самого харранца, что тот не мог скрыть своего удивления.

— Он заменит тебя для тех, кто следит за тобой, — проговорила, улыбаясь, жрица.

Человек, загримированный под Пхута, возложил себе на голову венок

из роз и в сопровождении жрицы поднялся на второй этаж, откуда вскоре послышались звуки флейты и звон бокалов. Самого же Пхута двое низших жрецов повели в баню, помещавшуюся в саду. Там, обмыв его и умастив ему волосы, они надели на него белые одежды.

Из бани все трое вышли снова в аллею и долго шли садами, пока не попали на пустынную площадь.

— В той стороне, — обратился к Пхуту один из жрецов, — находятся древние гробницы, с этой стороны — город, а вот здесь — храм. Иди куда хочешь. Мудрость укажет тебе путь, а святые слова охранят тебя от опасностей.

Оба жреца вернулись в сад. Пхут остался один. Безлунная ночь была не очень темна. Вдали, окутанный туманом, поблескивал Нил. В вышине искрились семь звезд Большой Медведицы. Над головой путешественника сверкал Орион, а над темными пилонами — звезда Сириус.

«У нас звезды светят ярче» — подумал Пхут. Он стал шептать молитву на незнакомом языке и направился к храму.

Не успел он пройти и несколько десятков шагов, как из-за ограды сада выглянул человек и пошел за ним следом. Но как раз в это время спустился такой густой туман, что на площади нельзя было ничего разглядеть, кроме крыши храма.

Пройдя еще немного, харранец наткнулся на высокую каменную стену и, посмотрев на небо, направился в западную сторону. Над головой его летали ночные птицы и огромные летучие мыши. Туман так сгустился, что харранцу приходилось идти вдоль стены ощупью, чтоб не потерять ее. Путешествие продолжалось довольно долго. Но вот Пхут очутился перед низкой калиткой, в которую было вбито множество бронзовых гвоздей. Он стал считать их от левого угла вниз — и одни крепко нажимал, другие поворачивал.

Когда он дотронулся до последнего гвоздя, калитка тихо открылась. Харранец сделал несколько шагов и очутился в узкой нише, где было совсем темно.

Осторожно нащупывая ногой пол, он наткнулся как бы на края колодца, из которого веяло холодом. Он спустил ноги и безбоязненно соскользнул вниз, хотя был в этом месте и вообще в этой стране впервые. Колодец оказался неглубоким. Пхут очутился в узком коридоре с наклонным полом и стал спускаться вниз с такой уверенностью, как будто давно знал дорогу.

В конце коридора была дверь. Пришедший ощупью нашел деревянную колотушку и трижды постучал. В ответ неведомо откуда послышался голос:

— Ты, в ночной час нарушающий покой святого места, имеешь ли ты право входить сюда?

— «Я не обидел ни мужа, ни жены, ни ребенка. Рук моих не запятнала кровь. Я не ел нечистой пищи. Не присвоил чужого имущества. Не лгал и не выдал великой тайны...»^[69] — спокойно ответил харранец.

— Ты тот, кого ожидают, или тот, за кого выдаешь себя? — спросил голос немного спустя.

— Я тот, кто должен был прийти от братьев с Востока. Но и второе имя — тоже мое. В северном городе у меня есть дом и земля, как я и сказал чужим, — ответил Пхут.

Дверь открылась, и харранец вошел в просторное подземелье, освещенное светильником, горевшим на столике перед пурпурной завесой. На завесе был вышит золотом крылатый шар с двумя змеями. В стороне стоял египетский жрец в белой одежде.

— Скажи, вошедший сюда, — проговорил жрец, указывая рукой на Пхута, — известно ли тебе, что означает этот символ на завесе?

— Шар, — ответил вошедший, — есть образ мира, в котором мы живем, а крылья указывают, что мир этот парит в пространстве, подобно орлу.

— А змеи?.. — спросил жрец.

— Две змеи напоминают мудрецу, что тот, кто выдаст эту великую тайну, умрет дважды: и телом и духом.

После минутного молчания жрец снова спросил:

— Если ты в самом деле Бероэс (тут жрец склонил голову), великий пророк Хали (он снова склонил голову), для которого нет тайн ни на земле, ни на небе, то соблаговоли сказать слуге твоему, какая звезда всех чудесней?

— Чудесен Хор-сет^[70], обходящий небо в течение двенадцати лет, ибо вокруг него вращаются четыре меньших звезды. Но еще чудеснее Хор-ка^[71], обходящий небо за тридцать лет, ибо у него есть не только подвластные ему звезды, но и большое кольцо, которое иногда исчезает.

Выслушав это, египетский жрец пал ниц перед халдеем^[72]. Затем он подал ему пурпурный шарф и кисейное покрывало, указал, где стоят благовония, и с низкими поклонами покинул подземелье.

Халдей остался один. Он перекинул шарф через правое плечо, закрыл лицо покрывалом и, взяв золотую ложку, насыпал в нее благовония, которые зажег у лампы перед завесой. Шепча какие-то слова, он трижды повернулся кругом, так что дым от благовоний опоясал его как бы тройным

кольцом.

Между тем пустая пещера наполнилась странным движением. Казалось, что потолок поднимается вверх и раздвигаются стены. Пурпурная завеса у алтаря заколыхалась, словно колеблемая невидимыми руками. Воздух затрепетал, как будто пролетели стаи незримых птиц.

Халдей распахнул одежду на груди и достал золотой медальон, покрытый таинственными знаками. Все подземелье дрогнуло, священная завеса порывисто дернулась, в темноте вспыхнули огоньки.

Тогда маг воздел руки и произнес:

— «Отец небесный, кроткий и милостивый, очисти душу мою...

Благослови недостойного раба твоего и прости всемогущую руку на души непокорных, дабы я мог дать свидетельство всеисия твоего...

Вот знак, к которому прикасаюсь в присутствии вашем.

Вот я — опирающийся на помощь божью, я — провидящий и неустрашимый... Я — могучий — призываю вас и заклинаю... Явитесь мне, послушные, — во имя Аие, Сарайе, Аие, Сарайе...»

В то же мгновение с разных сторон слышались голоса, мимо светильника пролетела сначала птица, потом какое-то желтое одеяние, затем человек с хвостом, наконец петух в короне, который встал на столик перед завесой.

Халдей продолжал:

— «Во имя всемогущего и вечного бога... Аморуль, Танеха, Рабур, Латистен...»

Снова слышались далекие голоса.

— «Во имя истинного и вечно живущего Элои, Арехима, Рабур, заклинаю вас и призываю... Именем звезды, которая есть солнце, вот этим знаком, славным и грозным именем бога живого...»^[73]

Вдруг все стихло. Перед алтарем показался призрак в короне, с жезлом в руке, верхом на льве.

— Бероэс!.. Бероэс!.. — произнес призрак глухим голосом. — Зачем ты меня вызываешь?

— Я хочу, чтобы братья мои в этом храме приняли меня с открытым сердцем и склонили ухо к словам, которые я приношу им от братьев из Вавилона, — ответил халдей.

— Да будет так! — проговорил призрак и исчез.

Халдей стоял без движения, как статуя, с откинутой назад головой, с вознесенными руками. Он простоял так больше получаса в позе, несвойственной обыкновенному человеку. В это время часть стены подземелья отодвинулась, и вошли три египетских жреца. Увидев халдея,

который как бы парил в воздухе, опираясь спиной на невидимую опору, жрецы с изумлением переглянулись. Старший из них произнес:

— Прежде бывали у нас такие, но сейчас никто этого не умеет.

Они обходили его со всех сторон, прикасались к оцепеневшему телу и с тревогой смотрели на лицо: желтое и бескровное, как у мертвеца.

— Он умер? — спросил младший.

При этих словах откинувшееся назад тело халдея стало возвращаться в вертикальное положение. На лице появился легкий румянец, поднятые руки опустились. Он вздохнул, провел рукой по глазам, как будто проснувшись, посмотрел на вошедших и после минутной паузы заговорил.

— Ты, — обратился он к старшему, — Мефрес^[74], верховный жрец храма Птаха в Мемфисе. Ты — Херихор, верховный жрец Амона в Фивах, самый могущественный после фараона человек в этом государстве. Ты, — указал он на младшего, — Пентуэр, второй пророк в храме Амона и советник Херихора...

— А ты, несомненно, Бероэс, великий жрец и мудрец вавилонский, приход которого был нам возведен год назад, — ответил Мефрес.

— Истину сказал ты, — подтвердил халдей.

Он обнял всех по очереди. Они же склонили перед ним головы.

— Я приношу вам великую весть из нашего общего отечества, которое есть мудрость, — продолжал Бероэс. — Выслушайте ее и поступите, как надо.

По знаку Херихора Пентуэр направился в глубь пещеры и принес три кресла из легкого дерева для старших и низкий табурет для себя. Затем сел неподалеку от светильника и вынул спрятанную на груди небольшую палочку и дощечку, покрытую воском. Когда все трое уселись в кресла, халдей начал:

— К тебе, Мефрес, обращается верховная коллегия вавилонских жрецов. Священная каста жрецов в Египте приходит в упадок. Многие копят деньги, имеют женщин и проводят жизнь в утехах. Мудрость у вас в небрежении. Вы не властны ни над миром незримым, ни даже над собственными душами. Некоторые из вас утратили высшую веру, и будущее сокрыто от ваших глаз. Но что еще хуже, многие жрецы, сознавая свою духовную немощь, вступили на путь лжи и ловкими фокусами обманывают невежд. Так говорит верховная коллегия: если вы хотите вернуться на путь истины, Бероэс останется с вами на несколько лет, дабы при помощи искры, принесенной с великого алтаря вавилонского, возжечь свет истины над Нилом.

— Все, что ты говоришь, справедливо, — ответил с прискорбием в

голосе Мефрес. — Останься же с нами на несколько лет, дабы подрастающая молодежь познала вашу мудрость.

— А теперь к тебе, Херихор, слова от верховной коллегии.

Херихор склонил голову.

— Пренебрегая великими таинствами, ваши жрецы недосмотрели, что для Египта приближаются черные годы. Вам угрожают внутренние бедствия, и предотвратить их могут лишь добродетель и мудрость. Хуже, однако, другое: если вы в ближайшие десять лет начнете войну с Ассирией, войска ее разгромят ваши войска. Они явятся на берега Нила и уничтожат все, что здесь существует испокон веков. Такое злое расположение звезд, как ныне, было над Египтом впервые в эпоху XIV династии^[75], когда вашу страну и покорили и разграбили гиксосы. В третий раз оно повторится через пятьсот или семьсот лет, когда вам будет угрожать опасность со стороны Ассирии и народа парсуа^[76], который живет на восток от Халдеи.

Жрецы внимали в ужасе. Херихор побледнел. У Пентуэра выпала из рук дощечка. Мефрес ухватился за висевший на груди амулет и запекшимися губами шептал молитву.

— Берегитесь же Ассирии, — продолжал халдей, — ибо ныне ее час. Это жестокий народ!.. Он презирает труд и живет войной. Победенных ассирийцы сажают на кол или сдирают с них кожу. Они разрушают покоренные города, а население уводят в неволю. Их отдых — охота на диких зверей, а забавляются они, стреляя в пленников из лука или выкалывая им глаза. Храмы они превращают в развалины, священными сосудами пользуются во время своих пирушек, а мудрых жрецов делают своими шутами. Они украшают стены жилищ кожей, снятой с живых людей, и ставят на пиршественные столы окровавленные головы врагов.

Когда халдей умолк, заговорил досточтимый Мефрес.

— Великий пророк! Ты заронил страх в души наши, но не указываешь спасения. Возможно — и даже наверно так, коль скоро ты это говоришь, — что судьба временно будет немилостива к нам. Но как же этого избежать? Есть на Ниле опасные места, где не уцелеть ни одной лодке, но мудрость кормчих огибает опасные водовороты. То же с несчастьем народов. Народ — ладья, а время — река, которую иногда возмущают бурные вихри. Но если утлому рыбацему челну удастся спастись от бедствия, почему же многомиллионный народ не может, попав в беду, избежать гибели?

— Слова твои мудры, — ответил Берозс, — но не на все я могу тебе ответить.

— Разве тебе не ведомо все, что будет? — спросил Херихор.

— Не спрашивай меня о том, что я знаю, но чего не могу поведать. Важнее всего для вас в ближайшие десять лет сохранить мир с Ассирией, а это в ваших силах. Ассирия пока еще боится вас; она ничего не знает о неблагоприятном для вашей страны стечении судеб и хочет начать войну с народами, живущими на берегу моря к северу и востоку. Сейчас вы могли бы заключить с ней мирный договор...

— На каких условиях? — спросил Херихор.

— На очень выгодных. Ассирия уступит вам землю израильскую вплоть до города Акко^[77] и страну Эдом до города Элат^[78]. Таким образом, без войны границы ваши продвинулись на десять дней пути к северу и на десять дней к востоку.

— А Финикия? — спросил Херихор.

— Берегитесь соблазна!.. — воскликнул Бероэс. — Если ныне фараон протянет руку за Финикией, то через месяц ассирийские армии, предназначенные для севера и востока, повернут на юг, и не пройдет и года, как кони их будут купаться в Ниле.

— Но Египет не может отказаться от влияния на Финикию! — горячо перебил его Херихор.

— Если он не откажется, то назовет на себя беду, — ответил халдей. — Вот слова верховной коллегии: «Поведай Египту, — наказывали братья из Вавилона, — чтобы он на десять лет, как куропатка, прижался к земле, ибо его подстерегает ястреб злой судьбы. Поведай, что мы, халдеи, ненавидим ассирийцев еще больше, чем египтяне, ибо несем на себе бремя их власти. Тем не менее мы советуем Египту сохранить мир с этим кровожадным народом. Десять лет — небольшой срок, после которого вы можете не только отвоевать свое прежнее положение, но и нас спасти».

— Это верно! — согласился Мефрес.

— Рассудите сами! — продолжал халдей. — Если Ассирия вступит с вами в войну, она потянет за собой Вавилон, который не любит войны, она истощит наши богатства и задержит расцвет мудрости. Даже если вы и не будете покорены, страна ваша на долгие годы подвергнется опустошению и потеряет не только много людей, но и плодородные земли, ибо без ваших усилий их за один год занесет песками.

— Это мы понимаем, — вмешался Херихор, — а потому и не думаем задевать Ассирию. Но Финикия...

— Что вам до того, — ответил Бероэс, — если ассирийский разбойник прижмет финикийского вора? От этого только выиграют наши и ваши купцы. А если вы захотите иметь в своей власти финикийян, разрешите им

селиться на ваших берегах. Я уверен, что самые богатые из них и самые ловкие убегут от ассирийцев.

— А что будет с нашим флотом, если Ассирия начнет хозяйничать в Финикии? — спросил Херихор.

— Ведь на самом деле это не ваш флот, а финикийский, — ответил халдей. — Когда в вашем распоряжении не будет тирских и сидонских судов, вы начнете строить свои и станете обучать египтян искусству мореплавания. И если вы проявите ум и деловитость, вам удастся вырвать из рук финикийян торговлю на всем западе.

Херихор махнул рукой.

— Я сказал, что было ведено, — заявил Бероэс, — а вы поступайте, как найдете нужным. Но помните, что ближайшие десять лет для вас неблагоприятны...

— Помнится, святой муж, — вмешался Пентуэр, — ты говорил о внутренних бедствиях, угрожающих Египту в будущем. В чем это выразится, — не соблаговолишь ли ответить слуге твоему.

— Об этом не спрашивайте меня. Это вы должны знать лучше, чем я, чужой человек. Ваша зоркость откроет вам болезнь, а опыт укажет средства исцеления.

— Народ живет под тяжким гнетом сильных и богатых! — прошептал Пентуэр.

— Благочестие упало! — сказал Мефрес.

— Есть много людей, мечтающих о завоевательной войне, — прибавил Херихор. — А я давно уже вижу, что мы не в силах ее вести. Разве что лет через десять.

— Так вы заключите союз с Ассирией? — спросил халдей.

— Амон, читающий в моем сердце, — ответил Херихор, — знает, как противен мне подобный союз. Еще не так давно презренные ассирийцы платили нам дань! Но если ты, святой отец, и верховная коллегия говорите, что судьба против нас, мы вынуждены заключить союз...

— Да, вынуждены... — поддакнул Мефрес.

— В таком случае о вашем решении сообщите вавилонской коллегии; они уж устроят так, что царь Ассар^[79] пришлет к вам посольство. Поверьте мне, этот договор очень выгоден для вас: вы без войны увеличиваете свои владения! И об этом подумала наша жреческая коллегия.

— Да снизойдет на вас всякая благодать: богатство, власть и высокая мудрость! — сказал Мефрес. — Ты прав, надо поднять нашу жреческую касту, и ты, святой муж Бероэс, поможешь нам.

— Необходимо облегчить тяжелое положение народа, — вставил

Пентуэр.

— Жрецы... народа!.. — сказал как бы про себя Херихор. — Прежде всего надо обуздать тех, кто жаждет войны. Правда, фараон на моей стороне, и мне кажется, что я добился некоторого влияния на наследника, — да живут они вечно! Но Нитагор, которому война нужна, как рыбе вода... И начальники наемных войск, которые только во время войны приобретают у нас значение... И наша аристократия, которая думает, что война даст им возможность покрыть долги финикийским ростовщикам и принесет богатство...

— А между тем земледельцы падают под бременем непосильного труда, а работающие на общественных работах бунтуют против жестокости управителей, — вставил Пентуэр.

— Этот — все свое! — отозвался погруженный в свои мысли Херихор. — Ты, Пентуэр, думай о крестьянах и рабочих, а ты, Мефрес, о жрецах. Не знаю, что вам удастся сделать. Но клянусь, что даже если бы мой собственный сын толкал Египет к войне, я не пощадил бы его.

— Так и поступай, — проговорил халдей. — Впрочем, те, кто хочет, пускай воюют, только не там, где они могут столкнуться с Ассирией.

На этом совещание закончилось. Халдей накинул шарф на плечо и опустил на лицо покрывало. Мефрес и Херихор стали по бокам, а Пентуэр позади, все лицом к алтарю.

В то время как Бероэс шептал что-то, скрестивши руки на груди, в подземелье снова началось движение; раздался отдаленный гул. Присутствующие с удивлением прислушивались. Тогда маг громко возгласил:

— Бараланенсис, Балдахуенсис, Паумахис, взываю к вам, дабы вы были свидетелями наших уговоров и оказывали нам покровительство.

Вдруг раздался звук труб, столь ясный, что Мефрес припал к земле, Херихор, пораженный, оглянулся, а Пентуэр бросился на колени и, весь дрожа, зажал уши.

Пурпуровая завеса на алтаре зашевелилась, и ее складки приняли такие очертания, как будто оттуда хотел выйти человек.

— Будьте свидетелями, — взывал халдей изменившимся голосом, — вы, небесные и адские силы! А кто не сдержит клятвы или выдаст тайну договора, да будет проклят...

«Проклят...» — повторил чей-то голос.

— И погибнет...

«И погибнет...»

— В этой, видимой, и в той, невидимой, жизни. Неизреченным именем

Иеговы, при звуке которого содрогается земля, море отступает от берегов, гаснет пламя и все в природе разлагается на частицы.

В подземелье, казалось, разразилась настоящая гроза. Звуки труб смешивались с раскатами далекого грома. Завеса с алтаря спала и улетела, волочась по земле, а из-за нее среди непрерывных молний появились какие-то причудливые существа, полулюди, полурастения и полужвери, все вперемешку свиваясь в клубки...

Вдруг все стихло, и Бероэс медленно поднялся в воздух над головами трех жрецов.

В восемь часов утра харранец Пхут вернулся в финикийскую гостиницу «У корабля», где его мешки и сундук оказались уже найденными. Спустя несколько минут явился и доверенный слуга Асархаддона; хозяин повел его в подвал и торопливо спросил:

— Ну как?

— Я стоял всю ночь, — ответил слуга, — на площади, где находится храм Сета. Часов около десяти вечера из сада, расположенного на расстоянии пяти владений от дома «Зеленой звезды», вышли трое жрецов. Один из них, с черными волосами и бородой, направился через площадь к храму Сета. Я побежал за ним, но спустился туман, и я потерял его из виду. Вернулся ли он в «Зеленую звезду» и когда — я не знаю.

Хозяин гостиницы, выслушав посланного, хлопнул себя по лбу и стал бормотать:

— Если мой харранец одевается, как жрец, и ходит в храм, то, должно быть, он и есть жрец; а поскольку он носит бороду и волосы, — очевидно, халдейский жрец. И то, что он тайком встречается со здешними жрецами, наводит на подозрения. Полиции я не скажу об этом, а то как бы мне же еще не попало, но сообщу кому-нибудь из влиятельных сидонцев. Из этого, пожалуй, можно извлечь выгоду если и не для себя, то для наших.

Вскоре вернулся второй посланец. Асархаддон и с ним спустился в подвал и услышал следующее:

— Я всю ночь стоял против дома «Под зеленой звездой». Харранец был там, напился и так орал, что полицейский даже сделал замечание привратнику...

— Как так?.. — спросил хозяин. — Харранец был всю ночь под «Зеленой звездой»? И ты его видел?..

— Не только я, но и полицейский...

Асархаддон вызвал первого слугу и велел каждому повторить свой

рассказ. Те повторили в точности, каждый свое. Из их рассказов следовало, что харранец Пхут всю ночь веселился под «Зеленой звездой», ни на минуту не уходя оттуда, и что в то же время он поздно ночью отправился в храм Сета, откуда не возвращался.

— Ого!.. — пробормотал про себя финикиянин. — Здесь кроется великое надувательство... Надо поскорее сообщить старейшинам финикийской общины, что этот хетт умеет бывать одновременно в двух местах. И, кстати, попрошу его убраться поскорее из моей гостиницы. Не люблю тех, у кого два лица: одно свое, другое — про запас, на всякий случай. Такой человек — или большой мошенник, или чародей, или заговорщик.

Поскольку Асархаддон боялся и того, и другого, и третьего, он поспешил сотворить молитвы перед всеми богами, украшавшими его гостиницу, и заклинания против колдовства, а потом побежал в город сообщить о происшедшем старшине финикийской общины и старшине воровского цеха. Прodelав все это и вернувшись домой, он вызвал полицейского и заявил ему, что Пхут, по всем признакам, человек опасный. От харранца же потребовал, чтобы тот покинул гостиницу: он не приносит ему никакой прибыли, а только навлекает на его заведение подозрения полиции.

Пхут охотно согласился, заявив, что сегодня же вечером отплывает в Фивы.

«Чтоб тебе оттуда не вернуться! — подумал гостеприимный хозяин. — Чтоб тебе сгнить в каменоломнях или попасть в зубы крокодилу».

Путешествие наследника престола началось в самое лучшее время года, в месяце фаменот (конец декабря, начало января).

Вода убыла до половины своего обычного уровня, обнажая все новые пространства земли. Со стороны Фив плыли к морю многочисленные плоты с пшеницей. В Нижнем Египте убирали клевер и кассию. Апельсинные и гранатовые деревья покрылись цветами. На полях сеяли люпин, лен, ячмень, бобы, фасоль, огурцы и другие овощи.

Провожаемый до мемфисской пристани жрецами, высшими государственными сановниками, гвардией его святейшества фараона и народом, часов в десять утра царевич-наместник Рамсес ступил на раззолоченную барку. Под палубой, на которой были раскинута роскошные шатры, сидело на веслах двадцать солдат. У мачты, на носу и на корме заняли места лучшие судовые техники. Одни наблюдали за парусом, другие управляли рулем, третьи командовали гребцами.

Рамсес пригласил к себе на барку верховного жреца достопочтенного Мефреса и святого отца Ментесуфиса, которые должны были сопровождать его в пути, а затем помогать в делах управления. Был приглашен также мемфисский номарх, проводивший царевича до границ своей провинции.

На некотором расстоянии впереди барки наместника плыло красивое судно благородного Отоя^[80], номарха соседней с Мемфисом области Аа^[81], а позади — бесчисленные лодки с придворными, жрецами, офицерами и чиновниками.

Суда с продовольствием и прислугой отплыли раньше.

До Мемфиса Нил течет между двумя горными грядами. Дальше горы сворачивают на восток и на запад, река же разбивается на несколько рукавов, воды которых катятся к морю по широкой равнине.

Когда судно отчалило от пристани, царевич хотел было побеседовать с верховным жрецом, но тут раздались такие громкие клики толпы, что наследнику пришлось выйти из шатра и показаться народу. Однако шум усилился, берега были сплошь усеяны толпами полуголых или одетых в праздничные одежды горожан. У многих были на голове венки и почти у всех — зеленые ветки в руках. Слышались песни, раздавались звуки бубна и флейт.

Густо расставленные вдоль берегов журавли с ведрами сегодня бездействовали. Зато по Нилу шныряли челноки, и гребцы бросали цветы

навстречу барке наследника. Некоторые сами прыгали в воду и плыли за его судном.

«Они приветствуют меня, как самого фараона», — подумал Рамсес, и сердце его преисполнилось гордости при виде стольких нарядных судов, которые он мог остановить одним мановением руки, и тысяч людей, которые бросили свою работу и рисковали пострадать и даже погибнуть в сутолоке, царившей на реке, лишь бы взглянуть на его божественный лик. Особенно опьяняли Рамсеса громкие крики толпы, которые не прекращались ни на минуту. Крики эти переполняли радостью его грудь, ударяли в голову и тешили самолюбие. Царевичу казалось, что если б он прыгнул с помоста, то не коснулся бы даже воды, ибо восторг толпы подхватил бы его и поднял над землей, как птицу.

Когда барка приблизилась к левому берегу, фигуры отдельных людей в толпе стали вырисовываться яснее, и Рамсес заметил нечто для себя неожиданное. В то время как в первых рядах люди пели и хлопали в ладоши, в дальних то и дело взлетали дубинки, опускаясь на невидимые спины. Удивленный наместник обратился к мемфисскому номарху:

— Что это, достойнейший?.. Там, кажется, работают дубинки?

Номарх поднес руку к глазам, — даже шея у него покраснела.

— Прости, высокочтимый господин, я плохо вижу...

— Там избивают народ... Ну да, конечно, избивают, — повторил Рамсес.

— Возможно... — ответил номарх, — возможно, что полиция поймала шайку воров.

Не вполне удовлетворенный ответом, наследник прошел на корму, к судовым техникам, которые вдруг повернули лодку к середине реки, и посмотрел оттуда в сторону Мемфиса.

Выше по Нилу берега были почти пусты, лодки исчезли. Журавли, черпавшие воду, работали, как будто ничего не происходило.

— Что, праздник окончился? — спросил наместник одного из техников.

— Да, люди вернулись к работе, — ответил тот.

— Так скоро!

— Им надо наверстать потерянное время, — ответил неосторожный техник.

Наследника передернуло. Он пристально посмотрел на говорившего, но быстро овладел собой и вернулся в шатер. Крики толпы уже больше не радовали его. Он нахмурился и молчал. После вспышки уязвленной гордости царевич почувствовал презрение к этой толпе, которая так быстро

переходит от восторга к своей будничной работе, к журавлям, черпающим грязную воду.

Нил начинал разбиваться на рукава. Судно номарха области Аа повернуло к западу и час спустя пристало к берегу. Здесь толпа была еще многочисленнее, чем под Мемфисом. Повсюду стояли триумфальные арки, обвитые зеленью, и столбы с флагами. Все чаще попадались чужеземные лица, одежда.

Когда Рамсес вышел на берег, к нему подошли жрецы, несшие балдахин, и достойный номарх Отой обратился к наместнику с речью:

— Привет тебе, наместник божественного фараона, на земле нома Аа. В знак своей милости, которая для нас равноценна небесной росе, соблаговоли принести жертву богу Птаху, нашему покровителю, и прими под свое покровительство и власть этот ном с его храмами, правителями, народом, скотом, хлебом и всем, что в нем есть.

Затем номарх представил ему группу молодых щеголей, раздушенных, нарумяненных, одетых в шитое золотом платье. Это была местная аристократия — в большинстве своем близкие и дальние родственники номарха.

Рамсес присматривался к ним с большим вниманием.

— Ага! — воскликнул он. — Мне все казалось, что им чего-то не хватает. Теперь я вижу: они без париков...

— Так как ты, достойнейший царевич, сам не носишь парика, то и наша молодежь отказалась носить это украшение, — ответил номарх.

После этого один из молодых людей стал за спиной наместника с опахалом, другой со щитом, третий с копьем, и шествие началось. Наследник шел под балдахином, а впереди — жрец с кадильницей, в которой курились благовония, и несколько девушек, бросавших розы на тропу, по которой должен был ступать царевич. Народ в праздничных одеждах с ветками в руках стоял вдоль пути и оглашал воздух криками и песнями или падал ниц перед наместником фараона. Рамсес заметил, однако, что, несмотря на громкие выражения радости, лица у людей пасмурные и озабоченные. Он заметил также, что толпа разделена на группы, которыми управляют какие-то люди, и снова почувствовал к ней холодное презрение, ибо она не умела даже радоваться.

Шествие медленно приблизилось к мраморной колонне, обозначающей границу между номами Аа и Мемфисом. На колонне с трех сторон были сделаны надписи с обозначением количества земельной площади, населения и числа городов провинции. С четвертой стороны стояло изваяние бога Птаха, окутанного до плеч покрывалом, с обычным чепцом

на голове и жезлом в руке.

Один из жрецов подал царевичу золотую ложку с курящимися благовониями. Наследник, шепча молитвы, высоко взмахнул кадильницей и несколько раз низко поклонился.

Крики народа и жрецов стали еще громче, на лицах же аристократической молодежи можно было увидеть насмешливую улыбку. Наследник, с момента примирения с Херихором оказывавший большие почести богам и жрецам, слегка нахмурился, и сразу же все приняли серьезный вид, а некоторые даже пали ниц перед столпом.

«В самом деле, — подумал царевич, — насколько люди благородного происхождения лучше, чем эта чернь!.. Они участвуют сердцем в том, что делают, не так, как те, что, накричавшись в мою честь, рады вернуться поскорее к своим колодцам и верстакам».

Теперь Рамсес больше, чем когда-либо, ощущал разницу между собою и простым человеком и понял, что только аристократия есть тот класс, с которым связывают его одни и те же чувства. Если бы вдруг исчезли эти стройные юноши и красивые женщины, которые горящими глазами ловят каждое его движение, чтобы мгновенно услужить ему и исполнить его приказание, — если бы они исчезли, он почувствовал бы себя среди этой несметной толпы более одиноким, нежели в пустыне.

Восемь негров принесли носилки с балдахином, украшенным страусовыми перьями, и наместник направился в столицу нома, Сехем, где и поселился в правительственном дворце.

В этой области, отстоящей от Мемфиса на несколько миль, Рамсес провел около месяца. Все это время прошло в приеме посетителей, всевозможных чествованиях и представлениях чиновников, а также и пиршествах.

Пиршества были двоякого рода: одни происходили во дворце, и в них принимала участие только аристократия, другие — во внутреннем дворе, где жарились целые быки, съедались сотни хлебов и выпивались сотни кувшинов пива. Здесь угощали служащих наместника и его низших чиновников.

Рамсес поражался щедрости номарха и преданности местной знати, которая днем и ночью окружала наместника, откликаясь на каждый его жест, готовая исполнить всякое его приказание.

Наконец, утомленный развлечениями, наследник заявил Отою, что согласно повелению его святейшества фараона хочет ближе познакомиться с хозяйством области.

Желание его было исполнено. Номарх предложил ему сесть в носилки,

которые несли только два человека, и в сопровождении большой свиты отправиться в храм богини Хатор^[82]. Там свита осталась в преддверии. Рамсеса же номарх велел поднять на вышку одного из пилонов, причем сам сопутствовал ему.

С вершины шестиэтажной башни, откуда жрецы наблюдали небо и посредством цветных флагов сносились с соседними храмами Мемфиса, Атриба^[83], Она, взор охватывал почти всю провинцию радиусом в несколько миль.

Отсюда Отой показал наместнику, где расположены поля и виноградники фараона, какой канал подвергается сейчас очистке, какая плотина чинится, где находятся печи для выплавки бронзы, где фараоновы житницы и болота, заросшие лотосом и папирусом, какие поля занесены песком, и так далее.

Рамсес был в восторге от прекрасного вида и горячо благодарил Отоя за доставленное ему удовольствие. Вернувшись, однако, во дворец и принявшись, по совету отца, записывать свои впечатления, он убедился, что его сведения о состоянии нома Аа нисколько не расширились.

Несколько дней спустя он снова потребовал от Отоя объяснений, касающихся управления области. Тогда достойный номарх велел собраться всем чиновникам и пройти перед наследником, восседавшим на возвышении у дворца.

Мимо Рамсеса проходили старшие и младшие казначеи, писцы, подсчитывающие урожай, вино, скот, ткани, старшины каменщиков, землекопов, сухопутные и водные инженеры, врачеватели всевозможных болезней, надсмотрщики рабочих полков, полицейские, писцы, судьи, смотрители тюрем, даже парасхиты и палачи. После них достойный номарх представил Рамсесу весь штат его, царевича, личной дворцовой челяди. Царевич, к немалому своему удивлению, узнал, что в номе Аа и городе Сехеме у него на службе числятся: возникий, лучник, щитоносец, копьеносец и секироносец, десятка полтора-два носильщиков, несколько поваров, виночерпиев, цирюльников и множество других слуг, преисполненных к нему любви и преданности, тогда как он не имел о них никакого понятия.

Наместник устал от этого скучного и бессмысленного смотра и пал духом. Его ужасала мысль, что он ничего не понимает и, значит, не способен управлять государством, но он даже самому себе боялся признаться в этом.

Ведь если он не в состоянии управлять Египтом и люди узнают об

этом, — что ему остается?.. Только смерть. Рамсес чувствовал, что вне трона для него не существует счастья, что, не имея власти, он не может жить.

Однако, отдохнув несколько дней, насколько можно было отдохнуть в сутолоке придворной жизни, он снова призвал к себе Отоя и сказал ему:

— Я просил тебя, достойнейший номарх, посвятить меня в то, как ты управляешь своим номом. Ты показал мне страну и чиновников, но я ничего еще не понимаю. Напротив, я чувствую себя, как человек в подземельях наших храмов, который видит вокруг столько дорог, что не знает, по какой идти, чтобы выбраться наружу.

Номарх огорчился.

— Что же мне делать? — воскликнул он. — Чего ты хочешь от меня, повелитель? Скажи только слово, и я отдам тебе свою власть, богатство, даже голову.

И, видя, что наследник милостиво выслушивает эти уверения, продолжал:

— Во время путешествия ты видел народ этого нома. Ты скажешь, что были не все. Правильно. Но я прикажу, чтобы вышло все население, а его насчитывается — мужчин, женщин, стариков и детей — около двухсот тысяч. С вершины пилона ты изволил созерцать наши земли. Но если ты желаешь, мы можем осмотреть вблизи каждое поле, каждую деревню, каждую улицу Сехема. Наконец, я показал тебе чиновников, среди которых отсутствовали, правда, самые низшие, но повели — и все предстанут завтра и падут ниц перед тобой. Что я должен еще сделать? Ответь мне, государь!

— Я верю в твою преданность, — ответил царевич. — Но объясни мне две вещи: первое — почему уменьшились доходы его святишества фараона; второе — что ты сам делаешь, управляя номом?

Отой смутился. Наместник поспешил пояснить:

— Я хочу это знать, так как я молод и только еще учусь управлять.

— Но мудрость твоя сделала бы честь столетнему старику! — пролепетал номарх.

— Вот почему, — продолжал свою мысль Рамсес, — мне необходимы советы и указания опытных людей. Будь же моим учителем.

— Я все покажу и расскажу тебе. Дай только выбраться отсюда в такое место, где нет этого шума...

Действительно, во дворце, занимаемом наместником, во внутренних и наружных дворах народ толпился, как на ярмарке. Все пили, ели, пели песни или состязались в беге, борьбе, и все — во славу наместника, которому служили.

В половине третьего пополудни номарх приказал привести из конюшни двух лошадей и вместе с Рамсесом выехал за город. Придворные остались во дворце и продолжали пировать еще веселее.

День был прекрасный, прохладный, земля покрыта зеленью и цветами. Над головами всадников раздавалось пение птиц. Воздух был полон благоуханий.

— Как тут приятно — воскликнул Рамсес. — Первый раз за весь месяц я могу собраться с мыслями. А мне уже начинало казаться, что у меня в голове остановилась на постой целая колонна военных колесниц и проводит все дни и ночи в ученьях.

— Такова участь повелителей мира, — ответил номарх.

Они остановились на холме. У ног их расстился широкий луг, перерезанный голубым потоком. На севере и на юге белели стены городков. За лугом до самого горизонта тянулись красноватые пески западной пустыни, из которой, словно из жаркой печи, доносилось по временам дыхание знойного ветра.

На лугу паслись бесчисленные стада домашних животных: рогатые и безрогие быки, овцы, козы, ослы, антилопы, даже носороги. Тут и там виднелись зеленые пятна болот, поросших водной растительностью, кишевших дикими гусями, утками, голубями, аистами, ибисами и пеликанами.

— Взгляни, государь, — сказал номарх, — вот картина нашей страны Кене^[84], Египта. Осирис возлюбил эту полоску земли среди пустыни. Он одарил ее обильной растительностью и животными, дабы от них была польза. Потом добрый бог принял на себя человеческий облик и стал первым фараоном. Когда же он почувствовал, что тело его дряхлеет, он покинул его и вселился в своего сына, а затем и в его сына. Таким образом, Осирис живет среди нас уже много столетий в образе фараона, пользуясь богатствами Египта, которые он сам создал. Бог наш и господин разросся, подобно могучему дереву. Его мощные ветви — это египетские цари, сучья — жрецы и номархи, а листья — аристократия. Бог зримый восседает на земном престоле и взимает со страны положенную ему дань. Бог незримый принимает жертвоприношения в храм и устами жрецов изъясняет свою волю.

— Это правда, — заметил царевич. — Об этом и в священных книгах написано.

— Так как Осирис-фараон, — продолжал номарх, — не может сам заниматься земным хозяйством, то он поручил наблюдать за своим достоянием нам, номархам, ведущим от него свой род.

— И это верно, — подхватил Рамсес. — Иногда лучезарный бог даже воплощается в номарха и дает начало новой династии. Так возникли Мемфисская, Элефантинская, Фиванская, Ксоисская династии.

— Все это совершенно справедливо, государь, — продолжал Отой. — А теперь я отвечу тебе на то, о чем ты меня спрашивал. Что я делаю здесь, в номе?.. Я охраняю достояние Осириса-фараона и свою долю в нем. Взгляни на эти стада — ты видишь разных животных: одни дают молоко, другие мясо, третьи шерсть и кожу. Так же и население Египта: одни доставляют хлеб, другие — вино, ткани, утварь, третьи строят дома. Мое дело заключается в том, чтобы получить с каждого что следует и повергнуть к стопам фараона. Я не мог бы сам углядеть за столь многочисленным стадом. Поэтому я подобрал себе верных собак и мудрых пастухов: одни доят животных, стригут их, снимают с них шкуры; другие сторожат, чтоб не украли их воры или не растерзали хищники. Так и с номом: я не поспевал бы собирать все налоги и оберегать людей от зла; для этого у меня есть чиновники, которые делают то, что считают правильным, а мне отдают отчет в своих действиях.

— Все это верно, — перебил Рамсес. — Я это знаю и понимаю. Однако меня удивляет, отчего уменьшились доходы его святейшества, хотя их так усердно охраняют?

— Вспомни, — ответил номарх, — что бог Сет, хотя и приходится родным братом лучезарному Осирису, ненавидит его, воюет с ним и препятствует добрым его начинаниям. Он насылает мор на людей и скот, он делает так, что разлив Нила бывает слишком мал или слишком бурен. В жаркое время года он наносит на Египет тучи песку. В хороший год Нил доходит до пустыни, в плохой — пустыня подходит к Нилу, и царские доходы поневоле уменьшаются. Взгляни, — продолжал он, указывая на луг, — как многочисленны эти стада, но в дни моей молодости они были еще больше. А кто виноват в этом? Не кто иной, как Сет, против которого не устоять человеческим силам. Этот луг, и ныне огромный, когда-то был так велик, что с нашего места не видно было пустыни, которая теперь наводит на нас ужас. Там, где борются между собой боги, человек бессилен; где Сет побеждает Осириса, что могут сделать люди?

Отой умолк. Царевич поник головой. Немало наслушался он в школе о благодати Осириса и злокозненности Сета и, еще будучи ребенком, возмущался, как это до сих пор не разделились с последним.

«Когда я вырасту, — думал он тогда, — и смогу держать в руке копье, я разыщу Сета, и мы померяемся с ним силами!»

А вот сейчас он смотрел на беспредельное пространство песков,

царство злокозненного бога, сокращавшего доходы Египта, но не думал о борьбе с ним. Как бороться с пустыней? Ее можно только обойти или погибнуть в ней.

Пребывание в номе Аа так утомило наследника, что он велел прекратить все торжества в его честь и объявить, чтобы во время его путешествия народ не выходил его приветствовать. Свита удивлялась и даже слегка роптала. Приказ, однако, был выполнен, и жизнь Рамсеса снова стала несколько спокойнее. У него оставалось время для занятий с солдатами — его любимого дела — и для того, чтобы привести в порядок свои мысли.

Уединившись в самом отдаленном углу дворца, царевич много размышлял о том, в какой мере он выполнил повеление отца. Он собственными глазами осмотрел ном Аа, его поля, города, познакомился с его населением и чиновниками. Сам проверил и убедился, что восточная часть провинции подверглась вторжению пустыни, видел, что трудовое население, тупое и ко всему безучастное, делает только то, что ему прикажут, — и то неохотно; и, наконец, пришел к выводу, что истинно и беззаветно преданных людей он может найти только среди аристократии, представители которой или состоят в родстве с фараоном, или принадлежат к военному сословию и являются внуками солдат, воевавших под знаменем Рамсеса Великого.

Во всяком случае, эти люди искренне привязаны к династии и готовы служить ей с неподдельным рвением. Не то, что простолюдины, которые, прокричав приветствия, бегут скорее к своим волам и свиньям.

Но главная задача не была разрешена. Рамсес не только не выяснил причин уменьшения царских доходов, но не был в состоянии даже как следует уяснить себе, в чем корень зла и как исправить дело. Он чувствовал только, что легендарная борьба бога Сета с богом Осирисом ничего не разъясняет и не указывает никаких средств, чтобы помочь беде.

Между тем наследник, как будущий фараон, хотел получать большие доходы, такие, какие получали прежние повелители Египта, и кипел гневом при одной мысли, что, вступив на престол, может оказаться таким же бедняком, как его отец, если не беднее. «Никогда!» — говорил он, сжимая кулаки.

Для того чтобы увеличить царские богатства, он готов был броситься с мечом на самого бога Сета и так же безжалостно изрубить его на куски, как сам Сет сделал это со своим братом Осирисом. Но вместо жестокого бога и его легионов перед ним была пустота, безмолвие и неизвестность.

Терзаемый этими мыслями, он однажды обратился к верховному жрецу Мефресу.

— Скажи мне, святой отец, преисполненный всякой премудрости, почему доходы государства уменьшаются и каким образом можно было бы их увеличить?

Верховный жрец воздел руки к небу.

— Благословен дух, — воскликнул он, — подсказавший тебе, достойный господин, такие мысли... Молю богов, чтобы ты пошел по стопам великих фараонов, воздвиг по всему Египту богатые храмы и с помощью плотин и каналов увеличил площадь плодородных земель!..

Старик был так растроган, что даже прослезился.

— Прежде всего, — перебил его царевич, — ответь мне на то, о чем я тебя спрашиваю. Разве можно думать о постройке каналов и храмов, когда казна пуста? Египет постигло величайшее бедствие: его повелителям грозит нищета. Это первое, что нужно расследовать и исправить. Остальное само собой приложится.

— Это, государь, ты узнаешь только в храмах, у подножия алтарей, — ответил верховный жрец. — Только там может быть удовлетворено твое благородное любопытство.

Рамсес сделал нетерпеливое движение.

— Забота о храмах заслоняет перед вашим преосвященством интересы всей страны, даже казну фараонов!.. — воскликнул он. — Я сам ученик жрецов, и воспитывался под сенью храмов, и видел таинственные обряды, в которых вы изображаете злокозненность Сета, смерть и возрождение Осириса, но какой мне в этом толк? Когда отец спросит меня, как наполнить государственную казну, мне нечего будет ему ответить. Разве просить его, чтоб он еще больше и чаще молился, чем делал это до сих пор.

— Ты богохульствуешь, царевич, ибо не знаешь высоких таинств религии. Зная их, ты сам ответил бы на многие вопросы, которые тебя мучат. А если бы ты видел то, что я видел, то поверил бы, что для Египта самое важное — это возвышение храмов и их служителей.

«Старики всегда впадают в детство», — подумал Рамсес и прервал беседу. Верховный жрец Мефрес всегда был очень набожным, но в последнее время стал проявлять в этом отношении даже странности.

«Хорош бы я был, — размышлял про себя Рамсес, — если б отдал себя в руки жрецов, чтобы участвовать в их ребяческих обрядах. Пожалуй, Мефрес заставил бы и меня по целым часам простаивать перед алтарем с воздетыми к небу руками, как делает он сам, очевидно, в ожидании чуда».

В месяце фармути (конец января — начало февраля) царевич

простился с Отоем, собираясь, переехать в ном Хак. Он поблагодарил номарха и знатных сановников за великолепный прием, но в душе уносил печальное сознание, что не справился с отцовским поручением.

В сопровождении родственников и приближенных Отоя наместник переправился на другой берег Нила, где его встретил достойный номарх Ранусер с вельможами и жрецами. Как только он вступил на землю Хак, жрецы подняли ввысь статую бога Атума, покровителя области, чиновники пали ниц, а сам номарх преподнес ему золотой серп, прося, чтоб он, как наместник фараона, начал жатву. Начиналась уборка ячменя.

Рамсес взял серп, срезал несколько пучков колосьев и сжег их вместе с благовониями перед статуей бога, охраняющего межи. После него то же самое сделали номарх и знатные вельможи. И, наконец, начали жатву крестьяне. Они собирали только колосья, бросая их в мешки. Солома же оставалась в поле.

После выполнения этих обрядов, которые показались ему очень томительными, наместник взошел на колесницу; впереди выступал небольшой отряд солдат, за ним жрецы; двое знатных вельмож вели под уздцы лошадей наместника. Вслед за наместником, на другой колеснице, ехал номарх Ранусер, а за ним многочисленная свита вельмож и придворных. Народ, по приказанию Рамсеса, не выходил навстречу, но работавшие в поле крестьяне при виде их падали ниц.

Проехав таким образом несколько понтонных мостов, переброшенных через рукава Нила и каналы, они к вечеру прибыли в город Он — столицу области.

Несколько дней продолжались приветственные пиршества, оказание почестей наместнику, представление ему чиновников. Наконец Рамсес потребовал прекращения торжеств и попросил номарха познакомить его с богатствами нома.

Осмотр начался на следующий день и продолжался несколько недель. Каждый день на площади перед дворцом, где жил наместник, собирались различные цехи ремесленников под предводительством цеховых старшин, чтобы показать ему свои изделия.

Приходили по очереди оружейники с мечами, копьями и секирами, мастера музыкальных инструментов с дудками, рожками, бубнами и арфами. За ними следовал многочисленный цех столяров; они тащили кресла, столы, диваны, носилки и колесницы, украшенные богатыми рисунками, отделанные разноцветным деревом, перламутром и слоновой костью. Потом несли металлическую кухонную посуду и утварь: кочерги, ухваты, двуухие горшки, плоские жаровни с крышками. Ювелиры хвалились

золотыми перстнями необычайной красоты, ручными и ножными браслетами из электрона, то есть сплава золота с серебром, цепями; все это было покрыто искусной художественной резьбой, усеяно драгоценными камнями или расцвечено эмалью.

Замыкали шествие гончары, несшие больше ста сортов глиняной посуды. Там были вазы, горшки, чаши, кувшины и кружки самой разнообразной величины и формы, покрытые разноцветными рисунками, украшенные головами животных и птиц.

Каждый цех преподносил наследнику в подарок свои лучшие изделия. Они заполнили большой зал, хотя между ними не нашлось бы и двух одинаковых вещей. По окончании интересной, но утомительной церемонии номарх спросил Рамсеса, доволен ли он. Тот ответил не сразу.

— Более красивые вещи я видел лишь в храмах или во дворцах моего отца. Но так как их могут покупать только богатые люди, то я не знаю, получает ли государство от них достаточный доход.

Номарха удивило это равнодушие молодого повелителя к произведениям искусства и встревожила такая забота о государственных доходах. Желая, однако, угодить Рамсесу, он стал водить его с тех пор по царским фабрикам и мастерским.

Они посетили мельницы, где рабы с помощью нескольких сотен жерновов и ступ превращали зерно в муку; побывали в пекарнях, где пекли хлеб и сухари для армии, и на фабриках, где заготавливали впрок рыбу и мясо; осматривали крупные кожевенные заводы и мастерские, где делали сандалии; плавильни, где выплавляли бронзу для посуды и оружия; кирпичные заводы, сапожные и портняжные мастерские.

Предприятия эти помещались в восточной части города. Рамсес осматривал их сперва с любопытством, но скоро ему наскучил вид рабочих, запуганных, исхудалых, с болезненным цветом лица и рубцами от дубинок на спине.

Он старался проводить как можно меньше времени в мастерских, предпочитая осматривать окрестности города. Она. Далеко на востоке видна была пустыня, где в прошлом году происходили маневры. Как на ладони видел он тракт, по которому маршировали его полки, место, где из-за попавшихся навстречу скарабеев метательные машины вынуждены были свернуть в пустыню, видел, может быть, даже и дерево, на котором повесился крестьянин, вырывший канал. Вон с той возвышенности он вместе с Тутмосом смотрел на цветущую землю Гошен и бранил жрецов. Там между холмами он встретил Сарру, к которой вспыхнуло любовью его сердце.

Как сейчас все изменилось!.. С тех пор как Рамсес благодаря Херихору получил корпус и наместничество, он перестал ненавидеть жрецов. Сарра уже стала ему безразлична как возлюбленная, зато все больше и больше интересовал его ребенок, которому она должна была дать жизнь.

«Как она там живет? — думал царевич. — Давно уже нет от нее вестей».

Когда он смотрел так вдаль, на восточные возвышенности, вспоминая недавнее прошлое, возглавлявший его свиту номарх Ранусер решил, что наместник заметил какие-то злоупотребления и думает о том, как наказать его.

«Что он мог увидеть? — волновался достопочтенный номарх. — То ли, что половина кирпича продана финикийским купцам? Или что на складе не хватает десяти тысяч сандалий? Или, может быть, какой-нибудь негодяй шепнул ему что-нибудь о плавильнях?..»

Ранусер был страшно обеспокоен.

Вдруг царевич повернулся к свите и подозвал Тутмоса, который обязан был всегда находиться при его особе.

Он тотчас подбежал, и наследник отошел с ним в сторону.

— Послушай, — сказал он, указывая на пустыню, — видишь вон те горы?

— Мы были там в прошлом году, — со вздохом вспомнил щеголь.

— Мне вспомнилась Сарра...

— Я сейчас воскурю благовония богам! — воскликнул Тутмос. — А то мне уже начало казаться, что, став наместником, ты изволил забыть своих верных слуг!..

Рамсес посмотрел на него и пожал плечами.

— Выбери, — сказал он, — из подарков, которые мне принесли, несколько самых красивых ваз, что-либо из утвари, а главное — запястий и цепей, и отвези все Сарре...

— Живи вечно, Рамсес! — тихо проговорил щеголь. — Ты благородный господин!

— Скажи ей, — продолжал царевич, — что сердце мое всегда полно милости к ней. Скажи, что я хочу, чтобы она берегла свое здоровье и думала о ребенке. Когда же подойдет время родов и я выполню поручение отца, тогда, скажи Сарре, я возьму ее к себе, и она будет жить в моем доме. Я не могу допустить, чтоб мать моего ребенка тосковала в одиночестве... Поезжай, сделай, что я сказал, и возвращайся с хорошими вестями.

Тутмос пал ниц перед своим повелителем и тотчас же отправился в путь. Свита наместника не могла догадаться о содержании их разговора, но,

видя благоволение его к Тутмосу, завидовала молодому вельможе. Досточтимый же Ранусер продолжал предаваться еще более тревожным размышлениям.

«Не пришлось бы мне, — думал он с огорчением, — наложить на себя руки и в цвете лет осиротить свой дом. Как это я, несчастный, присваивал себе добро фараона, не подумав о часе расплаты!»

Лицо его пожелтело, ноги подкашивались. Но Рамсес, охваченный волной воспоминаний, не замечал его тревоги.

Теперь в городе Оне началась полоса пиршеств и развлечений. Номарх Ранусер достал из подвала лучшие вина, из трех соседних номов съехались самые красивые танцовщицы, знаменитейшие музыканты, искуснейшие фокусники. Весь день Рамсеса был заполнен. С утра военные учения, прием сановников, потом обед, зрелища, охота и, наконец, званый ужин. Но как раз когда номарх Хака был уверен, что наместнику надоели уже вопросы управления и хозяйства, тот пригласил его к себе и спросил:

— Твой ном один из самых богатых в Египте?

— Да... хотя нам пришлось пережить несколько трудных лет... — ответил Ранусер, и опять сердце у него замерло, а ноги задрожали.

— Вот это-то меня и удивляет, — продолжал Рамсес, — потому что из года в год доходы его святейшества уменьшаются. Не можешь ли ты объяснить мне причину?

— Государь, — сказал номарх, склоняясь перед царевичем до земли, — я вижу, что мои враги посеяли недоверие в твоей душе, и, что бы я ни сказал, мне трудно будет тебя убедить. Позволь мне поэтому не говорить больше. Пусть придут сюда лучше писцы с документами, которые ты сам можешь пощупать рукой и проверить...

Наследника несколько удивил такой неожиданный ответ, однако он принял предложение и даже обрадовался ему. Он подумал, что доклады писцов разъяснят ему тайну управления.

И вот на следующий день явился великий писец нома Хак^[85] со своими помощниками, которые принесли с собой целый ворох свитков папируса, исписанных с обеих сторон. Когда их развернули, они образовали ленту шириной в три пяди, длиной же в шестьдесят шагов. Рамсес впервые видел такой огромный документ, в котором заключались сведения относительно только одной провинции за год.

Великий писец уселся на полу, поджав под себя ноги, и начал:

— «На тридцать третьем году царствования Мери-Амон-Рамсеса Нил запоздал с разливом. Крестьяне, приписывая это несчастье колдовству чужеземцев, проживающих в провинции Хак, стали разрушать дома неверных иудеев, хеттов и финикиян, причем несколько человек было убито. По повелению достойнейшего номарха, виновных предали суду: двадцать пять крестьян, двое художников и пять ремесленников были присуждены к работе в каменоломнях, а один рыбак — удушен».

— Что это за документ? — спросил наместник.

— Это судебный отчет, составленный для того, чтоб повергнуть его к стопам его святейшества.

— Отложи его и читай о доходах казны.

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:

— «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества...»

— А те сто сорок восемь мер? — спросил наследник.

— Их съели мыши, — ответил писец и стал читать дальше: — «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку „Ястреб“ под соответствующую расписку».

Таким образом, наместник узнавал день за днем, сколько ячменя, пшеницы, фасоли и семян лотоса было свезено в житницы, сколько сдано на мельницу, сколько украдено и сколько рабочих было за это сослано в каменоломни.

Отчет был такой скучный и беспорядочный, что на половине месяца паопи наместник велел прекратить чтение.

— Скажи мне, великий писец, — спросил Рамсес, — что ты понял из всего прочитанного?..

— Все, что угодно сыну царя! — И он стал повторять все сначала, но уже наизусть: — В пятый день месяца тот было привезено в царские житницы...

— Довольно! — с раздражением крикнул Рамсес и велел писцам убраться.

Писцы пали ниц, торопливо собрали свои папирусы, снова пали ниц и поспешили скрыться за дверью. Наследник призвал к себе номарха Ранусера. Тот явился со сложенными на груди руками, однако лицо его было спокойно. Писцы успели сообщить ему, что наместник ничего не может понять из донесений и далее не выслушал их.

— Скажи мне, достойнейший номарх, тебе тоже читают эти отчеты?

— Каждый день.

— И ты понимаешь в них что-нибудь?

— Прости, государь, но без этого я не мог бы управлять номом.

Рамсес смутился. Может быть, и в самом деле он так непонятлив?.. А тогда каким же он будет правителем?

— Садись, — сказал он, немного помолчав, и указал Ранусеру на стул. — Садись и расскажи мне, как ты управляешь номом.

Вельможа побледнел и закатил глаза под лоб. Рамсес заметил это и поспешил его успокоить:

— Не думай, что я не доверяю твоей мудрости. Напротив, я не знаю человека, который управлял бы лучше тебя. Но я молод и любознателен. Мне хочется знать, в чем состоит искусство управления. И вот я прошу тебя уделить мне частицу твоего опыта. Ты управляешь номом, так объясни мне, как это делается.

Номарх вздохнул с облегчением и сказал:

— Я опишу тебе весь распорядок моего дня, чтоб ты знал, как многотрудны мои обязанности. Утром после ванны я приношу жертвы богу Атуму^[86], потом приглашаю казначея и спрашиваю его, исправно ли поступают налоги для его святишества. Если он говорит, что да, я хвалю его. Когда же он скажет, что такие-то и такие-то не заплатили, я отдаю приказ об аресте непокорных. Затем я призываю смотрителя царских житниц, чтоб знать, сколько прибыло хлеба. Если много — хвалю его. Если мало — приказываю высечь виновных. Потом приходит великий писец и докладывает мне, сколько чего нужно получить из владений царя для армии, чиновников, работников. Я приказываю выдать под расписку. Если он израсходует меньше, я хвалю его, если больше — возбуждаю следствие. После полудня приходят ко мне финикийские купцы, которым я продаю хлеб, а деньги вношу в казну фараона. Потом молюсь и утверждаю судебные приговоры. Вечером полиция сообщает мне о происшествиях. Не далее как третьего дня люди из моего нoma проникли на территорию соседней области Ка^[87] и оскорбили статую бога Собека^[88]. В душе я порадовался — он ведь не нам покровительствует. Тем не менее я присудил нескольких виновных к удушению, значительную часть — к работе в каменоломнях и всех к палочным ударам. Поэтому у меня в номе царят спокойствие и добрые нравы и налоги притекают каждый день...

— Между тем доходы фараона сократились и у вас, — заметил наследник.

— Слова твои справедливы, господин, — сказал со вздохом Ранусер. — Жрецы говорят, что боги разгневались на Египет за то, что у нас появилось много чужеземцев. Я вижу, однако, что и боги не брезгают

финикийским золотом и драгоценными камнями.

Тут в зал вошел дежурный офицер и доложил о жреце Ментесуфисе, пришедшем пригласить наместника и номарха на богослужение. И тот и другой выразили согласие, причем номарх Ранусер проявил столько благочестия, что даже удивил Рамсеса.

Когда Ранусер с поклонами удалился, наместник обратился к жрецу:

— Поскольку ты, святой пророк, состоишь при мне заместителем высокочтимейшего Херихора, объясни мне одну вещь, которая меня очень беспокоит.

— Сумею ли я? — ответил жрец.

— Сумеешь, так как ты исполнен мудрости, которой служишь. Подумай только хорошенько над тем, что я тебе скажу. Ты знаешь, зачем послал меня сюда фараон?

— Чтобы познакомиться с управлением страны и ее богатствами, — ответил Ментесуфис.

— Я это и делаю. Я расспрашиваю номархов, присматриваюсь к стране и людям, выслушиваю доклады писцов, но ничего не понимаю. Это удивляет меня и мучит. Когда я имею дело с воинами, мне все ясно: я знаю, сколько у них солдат, лошадей, колесниц, повозок, кто из офицеров пьет или относится небрежно к службе, а кто добросовестно исполняет свои обязанности. Я знаю, как надо действовать на войне. Если неприятельский корпус стоит на ровной местности, то, чтоб его победить, я должен взять два корпуса. Если неприятель стоит в оборонительной позиции, я двинусь против него, имея не меньше трех корпусов. Когда враг неопытен и сражается беспорядочной толпой, я могу против его тысячи выставить пятьсот своих солдат, и они одолеют его. Когда у него тысяча секироносцев и у меня столько же, я смогу разбить войско врага, если мне на помощь придут сто пращников. В военном деле, святой отец, — продолжал Рамсес, — у меня все как на ладони и на всякий вопрос готов ясный ответ. А что касается управления номами, я не только ничего не могу понять, но у меня такая путаница в голове, что иногда я забываю, зачем сюда приехал. Объясни же мне чистосердечно, как жрец и воин, что это значит? Обманывают ли меня номархи, или я уж: такой неспособный?

Святой пророк задумался.

— Осмелились ли они обманывать тебя, я не знаю, ибо не следил за их поведением. Но мне кажется, что они потому не могут ничего объяснить тебе, что сами ничего не понимают. Номархи и писцы, — продолжал жрец, — как десятские в армии: каждый знает свою десятку и докладывает о ней высшим офицерам. Каждый командует своим маленьким отрядом;

общего же плана, составляемого главнокомандующим армией, он не знает. Правители номов и писцы записывают все, что бы ни случилось в их провинции, и поворачивают свои донесения к стопам фараона. И лишь верховная коллегия извлекает из этих донесений мед мудрости.

— Но вот этого-то меда я и хочу! Почему же мне его не дают?..

Ментесуфис покачал головой.

— Государственная мудрость, — сказал он, — принадлежит к числу жреческих тайн. Ее может постичь только человек, посвятивший себя богам. Между тем, хоть тебя и воспитывали жрецы, ты избегаешь храмов...

— Как так? Значит, если я не стану жрецом — вы не научите меня?

— Есть вещи, которые ты можешь узнать и сейчас как наследник престола. Есть такие, которые ты узнаешь, когда станешь фараоном. Но есть и такие, о которых может знать только верховный жрец.

— Каждый фараон есть в то же время верховный жрец, — перебил его наследник.

— Нет, не каждый. Да и между верховными жрецами есть различие.

— Значит, — вскричал в негодовании наследник, — вы скрываете от меня искусство управления государством и мне не выполнить поручения моего отца!

— То, что нужно тебе, ты можешь узнать, ибо посвящен в низший жреческий сан. Но эти вещи скрыты в храмах за завесой, которую никто не решится приподнять без соблюдения должных обрядов, — спокойно ответил жрец.

— Я приподниму!

— Да хранят боги Египет от такого несчастья! — воскликнул жрец, вздев руки. — Разве ты не знаешь, что боги поразят всякого, кто без надлежащего обряда прикоснется к завесе! Вели это сделать при тебе в храме какому-нибудь рабу или присужденному к смертной казни преступнику, и ты убедишься, что он умрет на месте...

— Потому что вы его убьете!

— Каждый из нас погибнет так же, как и он, если святотатственно приблизится к алтарю. Перед богом фараон, жрец и раб равны.

— Что же мне делать? — спросил Рамсес.

— Искать ответа в храме, очистившись молитвой и постом, — ответил жрец. — С тех пор как существует Египет, ни один повелитель не овладел иным путем государственной мудростью.

— Я подумаю об этом, — сказал царевич, — хотя вижу по всему, что и досточтимейший Мефрес и ты, святой пророк, хотите заставить меня служить богам, как сделали это с моим отцом.

— Нисколько. Если ты, став фараоном, ограничишься командованием армией, тебе придется всего лишь несколько раз в год принимать участие в богослужениях, в остальных случаях тебя будут заменять верховные жрецы. Но если ты хочешь постигнуть тайны храмов, ты должен воздавать почести богам, ибо это они являются источником мудрости.

Теперь Рамсесу стало ясно: или он не выполнит поручения фараона, или будет вынужден подчиниться воле жрецов. Это вызывало в нем негодование и злобу.

Он не торопился познать тайны, скрываемые в храмах, зато усердно стал принимать участие в пиршествах, которые устраивались в его честь.

Кстати вернулся и Тутмос, большой мастер по части развлечений. Он привез царевичу хорошие вести от Сарры. Она здорова и прекрасно выглядит. Но это сейчас уже мало трогало Рамсеса. Жрецы составили будущему ребенку такой хороший гороскоп, что царевич был в восторге. Они утверждали, что у Сарры будет сын, щедро одаренный богами, и что если отец полюбит ребенка, тот достигнет в жизни высокого положения.

Наследник смеялся над второй частью этого предсказания.

— Странные люди эти мудрецы! — говорил он Тутмосу. — Они знают, что будет сын, чего не знаю я, отец, и сомневаются, буду ли я его любить, хотя нетрудно догадаться, что я буду любить ребенка, даже если это будет дочь. О его славной будущности пусть не беспокоятся. Об этом я позабочусь сам!..

В месяце пахон (январь — февраль) наследник переехал в ном Ка, где его торжественно встретил номарх Софра. От города Она до Атриба было всего семь часов пешего пути. Рамсес, однако, затратил на это путешествие три дня. При мысли о молитвах и постах, ожидавших его при посвящении в тайны храмов, он испытывал все большее влечение к развлечениям. Его свита поняла это, и пиры последовали за пирами.

Опять на дорогах, по которым проезжал наследник, появились толпы народа с радостными криками, цветами и музыкой. Когда подъезжали к Атрибу, радость населения дошла до предела. Какой-то рабочий огромного роста даже бросился под колесницу. Когда же Рамсес остановил лошадей, от толпы отделилась группа молодых женщин и обвила его колесницу цветами.

«Все же они любят меня!» — подумал Рамсес.

В области Ка он уже не расспрашивал номарха про доходы фараона, не посещал мастерские, не заставлял читать ему отчеты писцов. Он знал, что ничего не поймет, и отложил эти занятия до тех пор, пока будет посвящен в тайны жрецов.

Только однажды, увидев стоявший на возвышенности храм бога

Собека, Рамсес выразил желание подняться на его пилон, чтобы взглянуть на окрестности.

Достойный Софра немедленно исполнил желание наследника, и Рамсес провел на башне несколько отрадных часов.

Область Ка представляла собой плодородную равнину. Десятка два каналов и рукавов Нила пересекало ее во всех направлениях, словно сеть, сплетенная из серебряных и голубых нитей. Посаженные в ноябре дыни и пшеница уже поспевали. На полях копошились нагие люди, которые собирали огурцы или сеяли хлопок. Всюду были разбросаны постройки; кое-где попадались целые городки. Большинство построек, особенно расположенных в поле, представляли собой глиняные мазанки, крытые соломой и пальмовыми листьями. Зато в городах дома были каменные, с плоскими крышами, похожие издали на белые кубы, с темными отверстиями дверей и окон. Очень часто на одном таком кубе стоял другой, чуть-чуть поменьше, а на нем третий, еще меньше, и каждый был выкрашен в другой цвет. Под ярким солнцем Египта дома эти, разбросанные среди зелени полей и окруженные пальмами и акациями, казались гигантскими жемчужинами, рубинами и сапфирами.

С высоты башни Рамсесу открылось зрелище, которое привлекло его внимание. Он заметил, что дома в окрестностях храмов самые красивые и на полях вокруг них трудится больше людей.

«У жрецов самые богатые поместья!..» — мелькнуло в голове Рамсеса, и он еще раз окинул взглядом храмы и часовни, которые были видны с башни.

Но так как он помирился с Херихором и нуждался теперь в услугах жрецов, то ему не хотелось слишком долго задумываться над этим.

В последующие дни достойный Софра устроил для наследника несколько охот в восточных окрестностях города Атриба. Сначала стреляли над каналами птиц из лука и ловили их огромными силками, куда попадало сразу по несколько десятков, или спускали на них соколов. Затем наследник и его свита углубились в восточную пустыню, и началась большая охота с собаками и пантерой на зверей, которых за эти дни было убито и изловлено несколько сотен.

Когда достойный Софра заметил, что наместнику надоели развлечения под открытым небом и ночевки в шатрах, он прекратил охоту и вернулся со своими гостями в Атриб.

Они прибыли в город около четырех часов пополудни, и номарх пригласил всех к себе во дворец на парадный обед.

Софра сам проводил царевича в купальню, оставался там, пока тот

принимал ванну, и достал из собственной шкатулки благовония для умощения его. Потом присматривал за парикмахером, приводившим в порядок волосы наместника, и, наконец, на коленях умолил Рамсеса оказать ему милость и принять от него новую одежду. Она состояла из только что сотканной и вышитой рубашки, передника, обшитого жемчугом, и затканной золотом накидки из очень прочной материи, но такой тонкой и мягкой, что всю ее можно было зажать в ладонях.

Наследник милостиво согласился и заявил, что никогда еще не получал столь прекрасного подарка.

Солнце уже зашло, когда номарх ввел Рамсеса в пиршественную залу.

Это был большой двор, окруженный колоннами и выложенный мозаикой. Все стены были украшены живописью, изображавшей сцены из жизни предков Софры: войны, морские путешествия и охоту. Вместо крыши над двором парила в воздухе огромная бабочка с разноцветными крыльями, которые для освежения воздуха приводились в движение невидимыми рабами. В бронзовых светильниках, прикрепленных к колоннам, горели яркие факелы, распространяя благовонный дым.

Зал был разделен на две части: одна была пустая, другая заполнена столиками и креслами для участников трапезы. В глубине возвышался помост, на котором под роскошным шатром с откинутыми стенками были приготовлены стол и ложе для Рамсеса.

У каждого столика стояли большие вазоны или кадки с пальмами, акациями и смоковницами. Стол наследника был окружен хвойными растениями, которые струили в зал свой аромат.

Собравшиеся гости встретили царевича радостными возгласами. Когда Рамсес занял место под балдахин, откуда виден был весь зал, свита его уселась за столы. Зазвучали арфы. В зал вошли женщины в богатых прозрачных нарядах, с открытой грудью, сверкавшей драгоценными украшениями. Четыре самые красивые девушки окружили Рамсеса, другие подсади к знатным членам его свиты.

В воздухе реял аромат роз, ландышей и фиалок. Рамсес почувствовал, как в висках у него застучала кровь.

Рабы и рабыни в белых, розовых и голубых рубашках стали разносить сладости, жареную птицу, дичь, рыбу, вино и фрукты, а также венки из цветов, которые обедающие возлагали на голову. Исполинская бабочка все чаще и чаще махала крыльями. В пустой половине зала началось представление. Выступали по очереди танцовщицы, гимнасты, шуты, фокусники и фехтовальщики. Когда кто-нибудь проявлял особенную ловкость, зрители бросали ему цветы из своих венков или золотые кольца.

Обед длился несколько часов, прерываясь возгласами в честь наместника, номарха и его семьи.

Рамсесу, который полулежал на ложе, покрытом львиной шкурой с золотыми когтями, прислуживали четыре дамы. Одна обвевала его опахалом, другая меняла ему венки на голове, остальные подносили блюда. В конце обеда та, с которой он разговаривал всего охотнее, поднесла ему бокал вина. Половину его Рамсес выпил сам, остальное подал ей и, когда она выпила, поцеловал ее в губы.

Тогда невольники быстро погасили факелы, бабочка перестала шевелить крыльями, и в темном зале наступила тишина, прерываемая лишь нервическим смехом женщин.

Вдруг раздался топот торопливо приближавшихся людей и хриплый мужской голос.

— Пустите меня!.. — кричал мужчина. — Где наследник?.. Где наместник?..

В зале поднялось смятение. Женщины в испуге плакали, мужчины кричали:

— Что это?.. Покушение на наследника?! Эй, стража!

Слышен был звон разбитой посуды, треск ломаемых стульев.

— Где наследник? — кричал ворвавшийся незнакомец.

— Стража!.. Охраняйте наследника!.. — отвечали из зала.

— Зажгите свет!.. — раздался юношеский голос наследника. — Кто меня ищет? Я здесь!..

Внесли факелы. В зале валялась беспорядочной грудой опрокинутая и сломанная мебель, за которой прятались участники пиршества. На возвышении наследник рвался из рук обнимавших его с плачем женщин. Тутмос — в растрепанном парике, подняв бронзовый кувшин, готов был хватить им по голове всякого, кто приблизился бы к царевичу. В дверях показалось несколько вооруженных солдат.

— Что это?.. Кто здесь?.. — кричал в испуге номарх.

Тут только увидели виновника смятения. Какой-то голый, огромного роста человек, покрытый грязью, с кровавыми рубцами на спине, стоял на коленях у самого помоста, протягивая руки к наследнику.

— Вот разбойник! — вскричал номарх. — Возьмите его!

Тутмос поднял свой кувшин, стоявшие у дверей солдаты побежали к помосту.

Изнаненный человек, припав лицом к ступенькам, взывал:

— Смилуйся, солнце Египта!..

Солдаты собрались уже его схватить, но в это время Рамсес,

вырвавшись из рук женщин, подошел к бедняге.

— Не троньте его!.. — крикнул Рамсес солдатам. — Чего тебе нужно от меня? — обратился он к великану.

— Я хочу поведать тебе о наших обидах, государь...

Софра, подойдя к наследнику, шепнул ему:

— Это гиксос. Взгляни на его лохматую бороду и волосы. К тому же наглость, с какой он ворвался сюда, доказывает, что этот злодей не коренной египтянин.

— Кто ты такой? — спросил Рамсес.

— Я — Бакура, из отряда землекопов в Сехеме. У нас сейчас нет работы, так номарх Отой приказал нам...

— Это пьяница и сумасшедший!.. — шептал в ярости Софра на ухо наследнику. — Как он говорит с тобой, государь...

Но Рамсес так посмотрел на номарха, что вельможа с подобострастным поклоном попятился назад.

— Что приказал вам достойный Отой? — спросил Бакуру наместник.

— Он приказал нам, государь, ходить толпой по берегу Нила, бросаться в воду, останавливаться на перекрестках дорог и приветствовать тебя радостными кликами. И обещал заплатить за это, что полагается... Вот уже два месяца, государь, как мы ничего не получали! Ни ячменных лепешек, ни рыбы, ни оливкового масла для натирания тела.

— Что ты на это скажешь? — обратился наместник к номарху.

— Пьяница и разбойник... Наглый лжец!.. — ответил Софра.

— Что же вы там кричали в мою честь?

— Что было приказано! — отвечал великан. — Моя жена и дочь кричали вместе с другими: «Да живет вечно!» — а я прыгал в воду и бросал венки в твою лодку. За это мне должны были заплатить полдебена. Когда же ты изволил все милостивейше въезжать в город Атриб, я по приказу бросился под копыта лошадей и остановил колесницу...

Наместник расхохотался.

— Право, — сказал он, — я не ожидал, что наше пиршество закончится так весело!.. А сколько же тебе заплатили за то, что ты бросился под колесницу?

— Обещали три дебена, но ничего не заплатили — ни мне, ни жене, ни дочери. Да и весь отряд заставили голодать целых два месяца.

— Чем же вы живете?

— Милостыней или тем, что удастся заработать у крестьян. Из-за такой тяжелой нужды мы три раза бунтовали и хотели вернуться домой, но офицеры и писцы то обещали нам, что заплатят, то приказывали нас бить...

— В награду за эти крики в мою честь? — вставил, смеясь, наследник.

— Да, господин... Вчера у нас был самый большой бунт, за что достойнейший номарх Софра приказал избить каждого десятого. Всем досталось, а больше всего мне, потому что я самый рослый и мне приходится кормить три рта: себя, жену и дочь. Избитый, я вырвался из их рук, чтобы пасть ниц перед тобой и принести тебе наши жалобы. Бей нас, если мы виноваты, но пусть писцы выплатят нам, что следует, иначе мы помрем с голоду, мы сами, жены и дети наши...

— Это одержимый!.. — вскричал Софра. — Извольте взглянуть, ваше высочество, сколько он мне наделал убытку. Десять талантов не взял бы я за эти столы, чаши и кувшины.

В толпе гостей, пришедших понемногу в себя, поднялся ропот.

— Это какой-то разбойник!.. — шептали гости. — Смотрите, это в самом деле гиксос, в нем бурлит еще проклятая кровь его дедов, опустошивших Египет. Такая драгоценная мебель... такая дорогая посуда... разбиты вдребезги!..

— Один бунт работников, не получивших платы, причиняет больше вреда государству, чем стоят все эти богатства, — строго сказал Рамсес.

— Святые слова!.. Надо записать их на памятниках!.. — раздались голоса в толпе гостей. — Бунт отрывает людей от работы и наполняет скорбью сердце царя... Недопустимо, чтоб работники по два месяца не получали жалованья...

Наместник с нескрываемым презрением посмотрел на изменчивых, как облака, придворных и строго обратился к номарху:

— Поручаю твоему попечению этого замученного человека. Я уверен, что и волос не упадет с его головы. Я желаю завтра же увидеть весь отряд и проверить, верно ли то, что он здесь говорил.

Сказав это, Рамсес вышел, оставив номарха и гостей в полной растерянности.

На следующий день наследник, одеваясь с помощью Тутмоса, спросил его:

— Пришли работники?..

— Да, государь, они с рассвета ожидают твоих приказаний...

— А этот... Бакура — с ними?

Тутмос поморщился и ответил:

— Произошел странный случай: достойнейший Софра приказал запереть его в пустом подвале своего дворца. И вот этот негодяй, страшнейший силач, выломал дверь в другой подвал, где стояло вино, опрокинул несколько ценнейших кувшинов и напился так, что...

— Что, что?.. — спросил Рамсес.

— Что... умер...

— И ты веришь, — воскликнул он, — что он умер от вина?

— Приходится верить, у меня нет доказательств, что его убили, — ответил Тутмос.

— А я их поищу!.. — вскричал Рамсес.

Он забежал по комнате, фыркая, как рассерженный левенок. Когда он успокоился, Тутмос сказал:

— Не ищи, государь, вины там, где ее не видно; ты даже свидетелей не найдешь. Если кто-нибудь действительно удушил этого рабочего по приказу номарха, — он не признается. Сам покойник тоже ничего не скажет. Да, впрочем, какое значение могла бы иметь его жалоба на номарха!.. Тут ни один суд не согласится начать следствие.

— А если я прикажу?.. — спросил наместник.

— Тогда они проведут следствие и докажут невиновность Софры. Тебе, государь, будет неловко, а все номархи, их родня и челядь станут твоими врагами.

Царевич стоял посреди комнаты в раздумье.

— Наконец, — проговорил Тутмос, — все как будто бы говорит за то, что несчастный Бакура был пьяница или сумасшедший, а главное — чужой. Разве настоящий и здравомыслящий египтянин, — если бы ему даже год не платили жалованья и задали еще большую трепку — решился ворваться во дворец номарха и с такими воплями звать наследника?..

Рамсес поник головой, и, видя, что в соседней комнате стоят придворные, сказал, понизив голос:

— Знаешь, Тутмос, с тех пор как я отправился в это путешествие, Египет мне кажется каким-то другим. Иногда я спрашиваю себя, не в чужой ли я стране? Иногда все мое сердце охватывает тревога, как будто у меня на глазах пелена: рядом творятся подлости, а я их не вижу...

— Да ты и не старайся их видеть, а то тебе еще покажется, что всех нас следует отправить в каменоломни, — ответил, смеясь, Тутмос. — Помни: номарх и чиновники — это пастыри твоего стада. Если кто-нибудь выдоит кринку молока для себя или зарежет овцу, ты же не убьешь его и не прогонишь. Овец у тебя много, а найти пастухов — дело нелегкое.

Наместник, уже одетый, перешел в приемную, где собралась вся его свита: жрецы, офицеры и чиновники. Вместе с ними он вышел из дворца на наружный двор.

Это была широкая площадь, обсаженная акациями, под сенью которых и ожидали наместника работники. При звуке рожка они вскочили с земли и

выстроились в пять рядов.

Рамсес, окруженный блестящей свитой вельмож, вдруг остановился, желая сперва издали взглянуть на землекопов. Это были нагие люди в белых чепцах и в таких же набедренниках. Среди них нетрудно было различить коричневых египтян, черных негров, желтых азиатов и белых обитателей Ливии и островов Средиземного моря.

В первом ряду стояли землекопы с кирками, во втором — с мотыгами, в третьем — с лопатами. Четвертый ряд составляли носильщики, каждый из них держал шест и два ведра, пятый — тоже носильщики, но с большими носилками-ящиками, по два человека на каждые носилки. Они уносили вырытую землю.

Впереди, на расстоянии десяти с лишним шагов, стояли мастера; у каждого в руках была толстая жердь и большой деревянный циркуль или угольник.

Когда Рамсес подошел к ним, они прокричали хором: «Да живешь ты вечно!» — и, опустившись на колени, пали ниц. Он велел им встать, а сам продолжал внимательно их разглядывать.

Это были здоровые сильные люди; не похоже было, что они два месяца живут одной милостыней.

К наместнику подошел номарх Софра со своей свитой, но Рамсес, сделав вид, что не заметил его, обратился к одному из мастеров:

— Вы землекопы?

Тот грохнулся на землю и молчал.

Рамсес пожал плечами и крикнул рабочим:

— Вы из Сехема?

— Мы землекопы из Сехема! — ответили все хором.

— Жалованье получили?..

— Получили — мы сыты и счастливы, слуги его святейшества фараона, — ответил хор, отчеканивая каждое слово.

— Налево кругом! — скомандовал наместник.

Рабочие повернулись. Почти у каждого на спине были глубокие и частые рубцы от палок, но свежих рубцов не было.

«Обманывают меня!» — подумал наследник. Он приказал рабочим вернуться в казармы и, по-прежнему не замечая номарха, ушел к себе во дворец.

— Ты тоже скажешь мне, — обратился он по дороге к Тутмосу, — что эти люди — рабочие из Сехема?

— Они же сами тебе сказали! — ответил Тутмос.

Рамсес велел подать лошадей и поехал к своим полкам, стоявшим

лагерем за городом.

Весь день он провел, обучая солдат. Около полудня на площадке для учений в сопровождении номарха появилось несколько десятков носильщиков с шатрами, утварью, едой и вином. Но наместник отправил их обратно, в Атриб. Когда же наступило время обеда для солдат, он велел подать себе овсяные лепешки с сушеным мясом.

Это были наемные ливийские полки. Когда наследник к вечеру велел им оставить оружие и простился с ними, ему казалось, что солдаты и офицеры сошли с ума. С кликами «живи вечно!» они целовали ему руки и ноги, устроили носилки из копий и плащей и с песнями донесли до дворца, споря по дороге за честь нести его на плечах.

Номарх и провинциальные чиновники, видя восторженную любовь ливийских варваров к наследнику и его милостивое отношение к ним, встревожились.

— Вот это повелитель!.. — шепнул Софре великий писец. — Если б он захотел, эти люди перебили бы мечами нас и наших детей...

Огорченный номарх вздохнул, мысленно обращаясь к богам и поручая себя их милостивому покровительству.

Поздно ночью Рамсес вернулся в свой дворец, где прислуга сообщила, что ему отвели под спальню другую комнату.

— Это почему?

— Потому что в том покое видели ядовитую змею, которая спряталась так, что ее невозможно найти.

Новая спальня помещалась во флигеле, прилегавшем к дому номарха. Это была четырехугольная комната, окруженная колоннами. Алебастровые стены ее были покрыты цветными барельефами, изображавшими внизу растения в горшках, а выше — гирлянды из листьев оливы и лавра.

Почти посередине стояло широкое ложе, отделанное черным деревом, слоновой костью и золотом. Спальня освещалась двумя благовонными факелами. Под колоннадой стояли столики с вином, яствами и венками из роз. В потолке было большое четырехугольное отверстие, задернутое холстом.

Рамсес принял ванну и улегся на мягкой постели. Прислуга ушла в отдаленные комнаты. Факелы догорали. По спальне пронесся прохладный ветер, насыщенный ароматами цветов. Где-то сверху слышалась тихая музыка арф.

Рамсес поднял голову.

Холщовая крыша спальни раздвинулась, сквозь прорезь в потолке показалось созвездие Льва и в нем яркая звезда Регул. Музыка арф стала

громче.

«Уж: не боги ли собираются ко мне в гости?» — подумал с усмешкой Рамсес.

В отверстии потолка блеснула широкая полоса света, яркого, но не резкого. Немного спустя вверху показалась золотая ладья с беседкой из цветов; столбы ее были увиты гирляндами из роз, а кровля украшена фиалками и лотосом. На обвитых зеленью шнурах золотая ладья бесшумно спустилась на пол; из цветов вышла нагая женщина необычайной красоты. Тело ее казалось выточенным из белого мрамора, а янтарные волны волос упоительно благоухали.

Выйдя из своей воздушной ладьи, она преклонила колени.

— Ты — дочь Софры? — спросил ее наследник.

— Ты угадал, государь...

— И, несмотря на это, пришла ко мне!..

— Молить, чтобы ты простил моего отца... Он несчастен!.. С полудня он в отчаянии проливает слезы, лежа во прахе.

— А если я не прощу его, ты уйдешь?

— Нет, — тихо прошептала девушка.

Рамсес привлек ее к себе и страстно поцеловал. Глаза его горели.

— За это я прощу его, — сказал он.

— О, какой ты добрый, — воскликнула девушка, прижимаясь к царевичу. Потом прибавила, ласкаясь: — И прикажешь возместить убытки, которые причинил ему этот сумасшедший рабочий?..

— Прикажу!..

— И возьмешь меня к себе во дворец?

Рамсес посмотрел на нее.

— Возьму, ты прекрасна.

— В самом деле?.. — ответила она, обвивая руками его шею. — Посмотри на меня поближе... Среди красавиц Египта я занимаю лишь четвертое место.

— Что это значит?

— В Мемфисе или неподалеку от Мемфиса живет твоя первая. К счастью, она еврейка. В Сехеме — вторая...

— Я ничего об этом не знаю, — заметил Рамсес.

— Ах ты, голубь невинный! Наверно, не знаешь и про третью, в Оне?..

— Она разве тоже принадлежит моему дому?

— Неблагодарный! — воскликнула красавица, ударив его цветком лотоса. — Через месяц ты скажешь то же обо мне... Но я не дам себя в обиду...

— Как и твой отец...

— Ты еще не простил его? Помни, я уйду...

— Нет, останься... останься!..

На следующий день наместник присутствовал на празднике, которым почтил его Софра, похвалил перед всеми его управление провинцией и, в награду за убытки, причиненные пьяным работником, подарил половину сосудов и утвари из тех, что преподнесли ему в городе Оне.

Вторую половину этих подарков получила дочь номарха, красавица Абеб, уже как придворная дама. Кроме того, она заставила выдать себе из казны Рамсеса пять талантов на наряды, лошадей и рабынь.

Вечером наследник, зевая, сказал Тутмосу:

— Царь, отец мой, преподал мне великую истину: женщины стоят дорого!

— Хуже, когда их нет, — ответил щеголь.

— Но у меня их четыре, и я даже не знаю, как это случилось. Двух я бы мог уступить...

— И Сарру тоже?

— Ее — нет, особенно если у нее родится сын.

— Если ты назначишь этим горлицам хорошее приданое, мужья для них найдутся...

Наследник опять зевнул.

— Не люблю слушать о приданом, — сказал он. — А-а-а! Какое счастье, что я вырвусь наконец отсюда и буду жить среди жрецов...

— Ты в самом деле думаешь об этом?..

— Приходится. Может быть, я узнаю от них наконец, отчего беднеют фараоны... А-а-а!.. Ну, и отдохну...

В тот же день в Мемфисе финикиянин Дагон, достопочтенный банкир наследника престола, лежал на диване под колоннадой своего дворца. Его окружали благоухающие хвойные растения, выращенные в кадках. Два черных раба охлаждали богача опахалами, а сам он, забавляясь обезьянкой, слушал доклад писца.

Но вот раб, вооруженный мечом и копьем, в шлеме и со щитом (банкиру нравились военные доспехи), доложил о приходе почтенного Рабсуна, финикийского купца, проживающего в Мемфисе.

Гость вошел, низко кланяясь, и искоса так посмотрел на Дагона, что тот приказал писцу и рабам удалиться. Затем, как человек осторожный, осмотрел все углы и сказал, обращаясь к гостю:

— Ну, можно говорить.

Рабсун сразу же приступил к делу.

— Известно ли вашей чести, что из Тира приехал князь Хирам?

Дагон привскочил на диване.

— Да поразит проказа его и его княжество! — вскричал он.

— Он мне как раз говорил, — продолжал хладнокровно гость, — что между вами вышло недоразумение.

— Что называется недоразумением?.. — продолжал кричать Дагон. — Этот разбойник обокрал меня, ограбил, разорил... Когда я послал свои суда вслед за другими тирскими на запад за серебром, кормчие этого негодяя Хирама хотели поджечь их, посадить на мель... В результате мои корабли вернулись ни с чем, обгорелые, изломанные... Да сожжет его огонь небесный!.. — закончил в бешенстве ростовщик.

— А если у Хирама есть для вашей чести выгодное дело? — спросил хладнокровно гость.

Буря, бушевавшая в груди Дагона, сразу улеглась.

— Какое у него может быть для меня дело? — спросил он уже вполне спокойным тоном.

— Он сам расскажет это вашей чести, но ему надо сначала повидаться с вами.

— Ну, так пусть придет ко мне.

— А он думает, что это вы должны явиться к нему. Ведь он член Высшего совета Тира.

— Так он сдохнет, прежде чем я пойду к нему!..

Гость придвинул кресло к дивану, на котором возлежал Дагон, и похлопал его по ляжке.

— Дагон, — сказал он, — будь благоразумен.

— Почему это я неблагоразумен и почему ты не говоришь мне «ваша честь».

— Не будь дураком, Дагон, — ответил гость. — Если он не пойдет к тебе и ты не пойдешь к нему, как же вы договоритесь о делах?

— Это ты дурак, Рабсун! — снова рассердился банкир. — Потому что если я пойду к Хираму, то пусть у меня рука отсохнет, если я из-за этой вежливости не потеряю половины моего заработка.

Гость подумал и сказал:

— Вот это мудрые слова. Так вот что я тебе скажу. Ты приходи ко мне, и Хирам придет ко мне, и вы у меня все обсудите.

Дагон склонил голову набок и, лукаво подмигнув, спросил:

— Эй, Рабсун, скажи прямо, сколько ты за это получил?

— За что?

— За то, что я приду к тебе и сговорюсь с этим мерзавцем?

— В этом деле заинтересована вся Финикия, и я зарабатывать на нем не собираюсь, — ответил Рабсун с возмущением.

— Пусть тебе так долги платят, как это правда!

— Ну, так пусть мне их совсем не платят, если я на этом что-нибудь заработаю! Лишь бы Финикия на этом ничего не потеряла! — гневно закричал Рабсун.

И они расстались.

Под вечер Дагон сел в носилки, которые несли шесть рабов. Впереди бежали два гонца с жезлами и два с факелами; за носилками шло четверо слуг, вооруженных с ног до головы не ради безопасности, а потому что Дагон с некоторых пор любил окружать себя вооруженными людьми, словно воин.

Он вылез из носилок с важным видом и, поддерживаемый двумя рабами (третий нес над ним зонт), вошел в дом Рабсуна.

— Где же он, этот... Хирам? — высокомерно спросил он хозяина.

— Его нет.

— Как? Мне его ждать?

— Его нет в этой комнате, но он находится в третьей отсюда, у моей жены, — ответил хозяин. — Сейчас он в гостях у нее.

— Я туда не пойду!.. — заявил ростовщик, усаживаясь на диван.

— Ты пойдешь в соседнюю комнату, и он придет туда же.

После не слишком долгих пререканий Дагон уступил и немного спустя

по знаку, данному хозяином дома, прошел в соседнюю комнату. Одновременно из следующей комнаты вышел человек невысокого роста с седой бородой, облаченный в золотистое одеяние, с золотым обручем на голове.

— Вот, — заявил хозяин, стоя посредине, — его милость князь Хирам, член Высшего совета Тира. А это достопочтенный Дагон, банкир его высочества — наследника престола и наместника Нижнего Египта.

Оба знатных гостя поклонились друг другу, скрестив на груди руки, и присели за отдельные столики посреди комнаты. Хирам чуть-чуть распахнул одежду, чтобы показать огромную золотую медаль, висевшую у него не шее. В ответ на это Дагон стал играть толстой золотой цепью, полученной от царевича Рамсеса.

— Я, Хирам, — начал старик, — приветствую вас, господин Дагон, и желаю вам большого богатства и успеха в делах.

— Я, Дагон, приветствую вас, господин Хирам, и желаю вам того же, чего вы мне желаете.

— Вы что, ссориться со мной хотите? — накинудся на него Хирам.

— Где же я ссорюсь?.. Рабсун, скажи, разве я ссорюсь? — возразил Дагон.

— Лучше уж пусть ваша честь говорит о деле, — успокаивал его хозяин.

Минуту подумав, Хирам сказал:

— Ваши друзья из Тира шлют вам через меня горячий привет.

— А больше они мне ничего не шлют? — спросил насмешливо Дагон.

— А чего же вам еще от них надо? — ответил Хирам, повышая голос.

— Тише!.. Не ссорьтесь!.. — вмешался хозяин.

Хирам несколько раз глубоко вздохнул и сказал:

— Это верно, нам не надо ссориться. Тяжелые времена наступают для Финикии...

— А что? Море затопило ваш Тир или Сидон?.. — насмешливо спросил Дагон.

Хирам сплюнул и спросил:

— С чего это вы сегодня такой злой?..

— Я всегда злой, когда меня не называют «ваша честь».

— А почему вы не называете меня «ваша милость»?.. Ведь я, кажется, князь!..

— Может быть — в Финикии, — ответил Дагон. — Но уже в Ассирии у любого вельможи вы три дня ожидаете в прихожей аудиенции. А когда вас примут — лежите на животе, как всякий финикийский торговец.

— А что бы вы делали перед дикарем, который может вас посадить на кол?.. — вскричал Хирам.

— Что бы я делал, не знаю, — ответил Дагон. — Но в Египте я сижу на одном диване с наследником, который теперь вдобавок еще и наместник.

— Побольше согласия, ваша честь!.. Побольше согласия, ваша милость!.. — увещевал обоих хозяин.

— Согласия!.. Я согласен, что этот господин — простой финикийский торговец, а не хочет относиться ко мне с должным почтением... — крикнул Дагон.

— У меня сто кораблей!.. — крикнул еще громче Хирам.

— А у его святейшества фараона двадцать тысяч городов, городков и селений!

— Вы погубите все дело и всю Финикию!.. — вмешался Рабсун, повышая голос.

Хирам сжал кулаки, но промолчал.

— Вы должны, однако, признать, ваша честь, — сказал он минуту спустя, обращаясь к Дагону, — что из этих двадцати тысяч городов фараону принадлежит в действительности не так уж много.

— Вы хотите сказать, ваша милость, — ответил Дагон, — что семь тысяч городов принадлежат храмам и семь тысяч — знатым вельможам?.. Во всяком случае, царю остается еще семь тысяч целиком...

— Не совсем! Если из этого, ваша честь, вычтете около трех тысяч, находящихся в закладе у жрецов, и около двух тысяч — в аренде у наших финикиян...

— Ваша милость говорит правду, — согласился Дагон, — но все-таки у фараона остается около двух тысяч очень богатых городов...

— Тифон вас попутал!.. — рявкнул, в свою очередь, Рабсун. — Станете тут считать города фараона, чтоб его...

— Тсс!.. — прошептал Дагон, вскакивая с кресла.

— Когда над Финикией нависла беда!.. — закончил Рабсун.

— Разрешите же мне наконец узнать, какая беда, — перебил Дагон.

— Дай сказать Хираму, тогда узнаешь, — ответил хозяин.

— Пусть говорит...

— Известно ли вашей чести, что случилось в гостинице «У корабля» нашего брата Асархаддона? — спросил Хирам.

— У меня нет братьев среди трактирщиков!.. — презрительно отрезал Дагон.

— Молчи!.. — крикнул с негодованием Рабсун, хватаясь за рукоять кинжала. — Ты глуп, как пес, который лает со сна...

— Чего он сердится, этот... этот... торговец костями?.. — ответил Дагон, тоже хватаясь за нож.

— Тише!.. Не ссорьтесь!.. — успокаивал их седобородый князь, в свою очередь, протягивая руку к поясу.

С минуту у всех троих раздувались ноздри и сверкали глаза. Наконец Хирам, успокоившийся раньше других, начал как ни в чем не бывало:

— Несколько месяцев назад в гостинице Асархаддона остановился некий Пхут из города Харран...

— Он приезжал, чтоб получить пять талантов с какого-то жреца, — вставил Дагон.

— Ну и что дальше? — спросил Хирам.

— Ничего. Он заручился покровительством одной жрицы и по ее совету отправился искать своего должника в Фивы.

— Ум у тебя, как у ребенка, а язык, как у бабы... — сказал Хирам. — Этот харранец — не харранец, а халдей, и зовут его не Пхут, а Бероэс...

— Бероэс?.. Бероэс?.. — повторил, вспоминая что-то, Дагон. — Где-то я слышал это имя.

— Слышал?.. — проговорил презрительно Хирам. — Бероэс — мудрейший жрец в Вавилоне, советник ассирийских князей и самого царя.

— Пусть его будет чьим угодно советником, только бы не фараона... Какое мне до этого дело? — сказал ростовщик.

Рабсун вскочил с кресла и, грозя кулаком у самого носа Дагона, крикнул:

— Ты — боров, откормленный на помоях с фараоновой кухни. Тебе столько же дела до Финикии, сколько мне до Египта... Если б ты мог, ты бы за драхму продал родину. Пес!.. Прокаженный!..

Дагон побледнел, однако ответил спокойным тоном:

— Что говорит этот лавочник?.. В Тире у меня сыновья обучаются мореплаванию; в Сидоне живет моя дочь с мужем. Половину своего состояния я ссудил Высшему совету, хотя не получаю за это даже десяти процентов. А этот лавочник говорит, что мне нет дела до Финикии... Послушай, Рабсун, — прибавил он, — я желаю твоей жене и детям и теням твоих отцов, чтобы ты столько же заботился о них, сколько я о каждом финикийском корабле, о каждом камне Тира, сидона и даже Зарпата и Ашибу^[89].

— Дагон говорит правду, — вставил Хирам.

— Я не забочусь о Финикии? — продолжал банкир, начиная опять горячиться. — А сколько финикийян я перетянул сюда, чтоб они тут богатели, и какой мне от этого прок? Я не забочусь?.. Хирам привел в

негодность два моих корабля и лишил меня больших заработков, а ведь вот, когда дело касается Финикии, я все-таки сижу с ним в одной комнате...

— Потому что ты думал, что разговор будет у вас о том, чтобы кого-то надуть, — заметил Рабсун.

— Чтоб ты так думал о смерти, дурак!.. — ответил Дагон. — Как будто я ребенок и не понимаю, что если Хирам приезжает в Мемфис, так уж, наверно, не ради торговых дел. Эх, Рабсун! Тебе бы прослужить у меня годика два мальчишкой, подметающим конюшню...

— Довольно!.. — крикнул Хирам, ударяя кулаком по столику.

— Мы никогда не кончим с этим халдейским жрецом, — пробурчал Рабсун с таким хладнокровием, как будто не его только что обругали.

Хирам откашлялся.

— У этого человека действительно есть дом и земля в Харране, — сказал он, — и там он именуется Пхутом. Он получил письма от хеттских купцов к сидонским, и потому его прихватил с собой наш караван. Сам он хорошо говорит по-финикийски, расплачивался честно, ничего лишнего не требовал, так что наши люди очень его полюбили. Но, — продолжал Хирам, почесав бороду, — когда лев наденет на себя воловью шкуру, у него всегда будет торчать из-под нее хотя бы кончик хвоста. И так как этот Пхут большой умница и держал себя очень уверенно, то предводитель каравана взял да и просмотрел потихоньку его багаж. Ничего особенного он не нашел, кроме медали с изображением богини Ашторет. При виде этой медали у предводителя каравана сердце замерло. Откуда вдруг у хетта финикийская медаль?.. И когда приехали в Сидон, он тотчас же заявил об этом старейшинам, и с тех пор наша тайная полиция глаз с Пхута не спускала. Однако он оказался таким умницей, что за несколько дней, что он прожил в Сидоне, все его полюбили. Он молился и приносил жертвы богине Ашторет, платил золотом, не занимал и не давал займы, вел знакомство только с финикиянами. Словом, напустил такого туману, что наблюдение за ним ослабело, и он спокойно доехал до Мемфиса. Тут наши старейшины стали опять наблюдать за ним, но ничего не обнаружили, догадывались только, что это, должно быть, важная персона, а не простой харранский горожанин. Только Асархаддону удалось случайно выследить, — а вернее, лишь напасть на след, — что этот якобы Пхут провел целую ночь в старом храме Сета, который здесь пользуется большим влиянием.

— Там собираются только верховные жрецы на важные совещания, — заметил Дагон.

— И это бы еще ничего не значило, — продолжал Хирам, — но один

из наших купцов месяц тому назад вернулся из Вавилона со странными известиями. За щедрый подарок кто-то из придворных вавилонского наместника рассказал ему, что Финикии грозит беда... «Вас хотят захватить ассирийцы, — говорил этот придворный нашему купцу, — а израильтян заберут египтяне. Великий халдейский жрец Бероэс был послан к фиванским жрецам, чтобы заключить с ними договор». Вы должны знать, — продолжал Хирам, — что халдейские жрецы считают египетских своими братьями. А так как Бероэс пользуется большим влиянием при дворе царя Ассара, то слухи об этом договоре весьма правдоподобны.

— А на что ассирийцам Финикия? — спросил Дагон, грызя ногти.

— А на что вору чужой амбар? — ответил Хирам.

— Какое значение может иметь договор Бероэса с египетскими жрецами? — вставил сидевший в задумчивости Рабсун.

— Дурак ты!.. — возразил Дагон. — Ведь фараон делает только то, что решают на своих совещаниях жрецы.

— Будет и договор с фараоном, не беспокойтесь, — перебил Хирам. — В Тире известно, что в Египет едет с большой свитой и подарками ассирийский посол Саргон. Он будто бы хочет побывать в Египте и договориться с министрами о том, чтобы в египетских документах не писали, что Ассирия платит дань фараонам. В действительности же он едет для заключения договора о разделе стран, расположенных между нашим морем и рекой Евфратом.

— Провались они все! — выругался Рабсун.

— А что ты думаешь об этом, Дагон? — спросил Хирам.

— А как бы вы поступили, если бы на вас в самом деле напал Ассар?

Хирам весь затрясся от негодования.

— Что?.. Мы сели бы на корабли с семьями и со всем добром, а этим собакам оставили бы одни развалины и гниющие трупы рабов. Разве мы не знаем стран больше и красивее Финикии, где можно основать новую родину, богаче, чем эта?..

— Да хранят нас боги от такой крайности! — сказал Дагон.

— Вот в том-то и дело. Нужно спасти нынешнюю Финикию от полного уничтожения, — продолжал Хирам. — И ты, Дагон, можешь многое для этого сделать.

— Что, например?..

— Можешь узнать у жрецов, был ли у них Бероэс и заключил ли с ними такой договор.

— Это страшно трудно! — проговорил шепотом Дагон. — Но, может быть, мне удастся найти такого жреца, который все расскажет.

— А можешь ли ты, — продолжал Хирам, — через кого-нибудь из придворных помешать заключению договора с Саргоном?

— Это тоже очень трудно. Одному мне этого не добиться.

— Я буду тебе помогать. А золото доставит Финикия. Уже сейчас там устраивают сбор.

— Я сам дал два таланта, — заявил вполголоса Рабсун.

— Я дам десять, — сказал Дагон. — Но что я получу за свои труды?..

— Что?.. Ну, десять кораблей, — ответил Хирам.

— А сколько ты заработаешь? — спросил Дагон.

— Мало тебе?.. Ну, получишь пятнадцать.

— Я спрашиваю, что ты заработаешь? — настаивал Дагон.

— Дадим тебе двадцать. Довольно?

— Ну хорошо. А вы покажете мне дорогу в страну серебра?

— Покажем.

— И туда, где вы добываете олово?

— Ладно...

— И туда, где родится янтарь? — заключил Дагон.

— Чтоб тебе когда-нибудь сдохнуть! — ответил князь Хирам, милостиво протягивая ему руку. — Но ты не будешь больше злобиться на меня за те два судна?..

Дагон вздохнул.

— Я постараюсь забыть. Но... Какие были бы у меня богатства, если б вы меня тогда не прогнали!..

— Довольно!.. — вмешался Рабсун. — Говорите о Финикии.

— Через кого ты узнаешь про Берозса и про договор? — спросил Дагона Хирам.

— Не спрашивай. Об этом опасно говорить, потому что тут замешаны жрецы.

— А через кого ты можешь помешать договору?

— Я думаю... Я думаю, что, пожалуй, через наследника. У меня много его расписок.

Хирам поднял руку.

— Наследник? Очень хорошо. Он ведь будет фараоном, и, может быть, даже скоро...

— Тс... — остановил его Дагон, ударив кулаком по столу. — Чтоб у тебя язык отнялся за такие разговоры!

— Вот боров... — вскричал Рабсун, размахивая кулаком перед самым носом ростовщика.

— Вот глупый торгаш! — ответил Дагон с насмешливой улыбкой. —

Тебе бы, Рабсун, продавать сушеную рыбу и воду на улице, а не соваться в государственные дела. В бычьем копыте, выпачканном египетской грязью, больше ума, чем у тебя, пять лет прожившего в столице Египта!.. Чтоб тебя свиньи слопали!

— Тише!.. Тише!.. — вмешался Хирам. — Вы не даете мне кончить.

— Говори, ибо ты мудр и тебе внимает мое сердце, — заявил Рабсун.

— Раз ты, Дагон, имеешь влияние на наследника, то это очень хорошо, — продолжал Хирам, — так как если наследник пожелает заключить договор с Ассирией, то договор будет заключен, и напишут его нашей кровью на нашей же шкуре. Если же наследник захочет войны с Ассирией, то он добьется войны, хотя бы жрецы призвали против него всех богов.

— Ерунда! — возразил Дагон. — Стоит лишь жрецам очень захотеть — и договор будет. Но, может быть, они не захотят...

— Вот потому-то, Дагон, — продолжал Хирам, нам необходимо иметь на своей стороне всех военачальников.

— Это можно...

— И номархов...

— Можно и номархов...

— И наследника, — продолжал Хирам. — Но если ты один будешь его толкать на войну с Ассирией, то ничего из этого не выйдет. Человек — как арфа: у него много струн, и играть на них нужно десятью пальцами. А ты, Дагон, — только один палец.

— Не разорваться же мне на десять частей.

— Но ты можешь быть как рука, на которой пять пальцев. Ты должен сделать так, чтобы никто не знал, что ты хочешь войны, но чтобы каждый поваренок наследника хотел войны, каждый парикмахер хотел войны, чтобы все банщики, носильщики, писцы, офицеры, возникшие — чтобы все они хотели войны с Ассирией и чтобы наследник слышал об этом с утра до ночи, и даже когда спит.

— Так и будет.

— А ты знаешь его любовниц? — спросил Хирам.

Дагон махнул рукой.

— Глупые девчонки, — ответил он. — Только и думают, как бы принарядиться, накраситься и умастить себя благовониями. А откуда берутся эти благовония и кто их привозит в Египет — это уж не их дело.

— Надо подсунуть ему такую любовницу, которая знала бы это, — сказал Хирам.

— Откуда ее взять?.. — спросил Дагон. — Впрочем, есть!.. —

воскликнул он. — Ты знаешь Каму, жрицу Ашторет?

— Что? — перебил Рабсун. — Жрица святой богини Ашторет будет любовницей египтянина?..

— А ты бы предпочел, чтобы она была твоей, — съязвил Дагон. — Мы сделаем ее даже верховной жрицей, если понадобится приблизить ее ко двору...

— Это ты правильно говоришь, — согласился Хирам.

— Но ведь это же кощунство!.. — возмутился Рабсун.

— Ну что же, жрица, которая его совершит, может и умереть, — заметил престарелый Хирам.

— Как бы нам только не помешала эта еврейка Сарра, — сказал после минутного молчания Дагон. — Она ожидает ребенка, которого наследник уже сейчас любит. А если родится сын, все остальные отойдут на второй план.

— У нас найдутся деньги и для Сарры, — заявил Хирам.

— Она ничего не возьмет!.. — рассвирепел Дагон. — Эта негодница отвергла драгоценный золотой кубок, который я сам ей принес.

— Она думала, что ты хочешь ее надуть, — вставил Рабсун.

Хирам покачал головой.

— Не о чем беспокоиться, — проговорил он, — куда не проникнет золото, туда проникнут отец, мать, любовница... А куда не проникнет любовница — проникнет...

— Нож... — прошипел Рабсун.

— Яд... — прошептал Дагон.

— Нож — это слишком грубый способ... — заключил Хирам. Он погладил бороду, задумался, наконец встал и вынул из складок одежды пурпурную ленту, на которой были нанизаны три золотых амулета с изображением богини Ашторет, затем вытащил из-за пояса нож, разрезал ленту на три части и два куса с амулетами вручил Дагону и Рабсуну.

Потом все трое направились в угол, где стояла крылатая статуя богини, скрестили руки на груди, и Хирам вполголоса, однако вполне отчетливо произнес:

— Тебе, мать жизни, клянемся верно блюсти наш договор, не зная отдыха, до тех пор, пока священные города не будут ограждены от врагов, которых да истребит голод, мор и огонь!.. Если же кто-нибудь из нас не сдержит клятвы или выдаст тайну — да падут на него все бедствия и всякий позор... Пусть голод терзает его внутренности и сон бежит от налившихся кровью глаз. Пусть отсохнет рука у того, кто поспешит ему на помощь, сжалившись над несчастным. Пусть на столе его хлеб превратится

в гниль, а вино — в зловонную сукровицу. Пусть родные его дети перемрут, и дом его наполнится незаконнорожденными, которые оплюют его и выгонят. Пусть сам он умрет, всеми покинутый, после долгих дней страдания в одиночестве, и пусть подлое его тело не примет ни земля, ни вода, пусть не сожжет его огонь, не пожрут дикие звери... Да будет так!..

После этой страшной клятвы, половину которой произнес Хирам, а половину повторили все трое дрожащими от бешенства голосами, когда гости перевели дух, Рабсун пригласил их на трапезу, где вино, музыка и танцовщицы заставили их пока забыть о предстоящем деле.

КНИГА ВТОРАЯ

Невдалеке от города Бубаста находился большой храм богини Хатор.

В месяце паини (март — апрель), в день весеннего равноденствия, часов в десять вечера, когда звезда Сириус склонялась к закату, у ворот храма остановились два жреца, пришедшие, по-видимому, издалека. За ними следовал паломник. Он шел босиком, голова его была посыпана пеплом, лицо закрыто лоскутом грубой холстины.

Несмотря на ясную ночь, черты двух других путников также нельзя было разглядеть. Они стояли в тени двух исполинских статуй богини с коровьей головой, охранявших вход в храм и милостивым своим оком оберегавших ном Хабу от мора, засухи и южных ветров.

Отдохнув немного, паломник припал грудью к земле и долго молился. Потом встал, взял в руки медную колотушку и постучал в ворота. Мощный звон прокатился по всем дворам, отдался эхом от толстых стен храма и пронесся над пшеничными полями, над крышами крестьянских мазанок, над серебристыми водами Нила, где слабыми вскриками ответили ему разбуженные птицы.

Наконец за воротами послышался шорох и кто-то спросил:

— Кто нас будит?

— Раб божий Рамсес, — ответил паломник.

— Зачем ты пришел?

— За светом мудрости.

— Какие у тебя на это права?

— Я получил посвящение в низший сан и во время больших процессий в храме ношу факел.

Ворота широко отворились. На пороге стоял жрец в белой одежде. Протянув руку, он медленно и внятно произнес:

— Войди. И когда ты переступишь этот порог, да ниспошлют боги покой твоей душе и да исполнятся желания, которые ты возносишь к ним в смиренной молитве.

Паломник припал к его ногам, а жрец, делая какие-то таинственные знаки над его головой, прошептал:

— Во имя того, кто есть, кто был и будет... кто все сотворил... чье дыхание наполняет мир зримый и незримый и кто есть жизнь вечная...

Когда ворота закрылись, жрец взял Рамсеса за руку и в темноте повел его между огромными колоннами в предназначенное ему жилище. Это

была небольшая келья, освещенная плоской. На каменный пол была брошена охапка сена, в углу стоял кувшин с водой, а рядом лежала ячменная лепешка.

— Я вижу, что здесь я действительно отдохну от гостеприимства номархов! — весело воскликнул Рамсес.

— Думай о вечности! — произнес жрец и удалился.

На царевича неприятно подействовал этот ответ. Несмотря на голод, он не стал есть лепешку и не выпил воды. Он присел на подстилку из сухой травы и, глядя на свои израненные в пути ноги, думал: «Зачем я сюда пришел?.. Зачем добровольно отказался от своего высокого положения?..»

Голые стены кельи напоминали ему отроческие годы, проведенные в школе жрецов. Сколько побоев вынес он там!.. Сколько ночей провел в наказание на каменном полу! И сейчас он вновь почувствовал прежнюю ненависть и страх к суровым жрецам, которые на все его просьбы и вопросы отвечали неизменно: «Думай о вечности!»

После нескольких месяцев шумной жизни попасть в такую тишину, променять двор наследника на сумрак и одиночество и, отказавшись от пиршества, женщин и музыки, запереться в угрюмых каменных стенах...

— Я с ума сошел!.. Я с ума сошел!.. — повторял Рамсес.

Он готов был уже покинуть храм, но его остановила мысль, что ему могут не открыть ворота. Грязь, покрывавшая его ноги, пепел, сыпавшийся с волос, жесткое рубище паломника — все стало ему вдруг противно. О, если б при нем был меч! Но разве в этой одежде и в этом месте он посмел бы пустить его в ход?

Рамсес почувствовал непреодолимый страх, и это отрезвило его. Он вспомнил, что боги в храмах ниспосылают на людей этот трепет, который должен служить началом постижения мудрости.

«Но ведь я наместник и наследник фараона, — подумал он. — Кто здесь может мне что-либо сделать?»

Рамсес встал и вышел из своей кельи. Он очутился на большом дворе, окруженном колоннами. Ярко светили звезды, в одном конце двора видны были огромные пилоны, в другом — открытые врата храма.

Он направился туда. Здесь царил мрак, и лишь где-то вдали горело несколько светильников, как бы паривших в воздухе. Вглядевшись, он увидел между входом и огнями целый лес толстых колонн, капители которых расплывались во тьме. В глубине, в нескольких сотнях шагов от него, смутно виднелись исполинские ноги сидящей богини и ее руки, лежавшие на коленях, едва освещенных светом светил.

Вдруг он услышал шорох. Вдали из бокового придела показались

белые фигуры, выступавшие попарно. Это было ночное шествие жрецов для поклонения статуе богини. Они пели в два хора.

Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и землю и населил их живыми существами».

Хор второй. «Я тот, кто создал воду и большой разлив ее, кто дал мать быку — отцу всего сущего».

Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и тайну его высот и вложил в них души богов».

Хор второй. «Я тот, кто, открывая глаза, повсюду разливает свет, а закрывая их — все окутывает тьмой».

Хор первый. «Воды Нила текут по его повелению...»

Хор второй. «Но боги не ведают его имени».

[\[90\]](#)

Их голоса, сначала неясные, становились все громче, так что слышно было каждое слово, но, по мере того как процессия удалялась, они стали рассеиваться между колоннами, стихать, и, наконец, все смолкло.

«Однако эти люди не только едят, пьют и копят богатства, — подумал Рамсес, — они действительно служат богам даже ночью. Но для чего это статуе?»

Царевич не раз видел на границах номов статуи богов, которых жители соседнего нома забрасывали грязью, а солдаты чужеземных полков обстреливали из луков и пращей. Если боги терпеливо сносят такое поношение, то вряд ли их трогают также молитвы и процессии.

«Кто, впрочем, видел богов?» — задал он себе вопрос.

Огромные размеры храма, его бесчисленные колонны, огни, горящие перед статуей, — все это привлекало Рамсеса. Ему захотелось осмотреться в этом таинственном сумраке, и он пошел вперед.

Вдруг ему почудилось, будто к его затылку мягко прикоснулась чья-то рука... Он оглянулся... Никого не было... Он пошел дальше.

На этот раз две руки обхватили его голову, а третья, большая рука, легла на плечи...

— Кто здесь? — вскрикнул царевич и бросился к колоннам, но споткнулся и чуть не упал — кто-то схватил его за ноги.

Ему снова стало страшно еще больше, чем в келье, и он, как безумный, побежал, натываясь на колонны, которые, казалось, нарочно преграждали ему дорогу. Темнота охватывала его со всех сторон.

— О святая богиня, спаси! — прошептал он.

И тут же остановился: в нескольких шагах от него были широко открытые ворота храма, в которые глядело звездное небо. Он оглянулся:

среди леса гигантских колонн горели светильники, едва освещая бронзовые колени богини Хатор. Царевич возвратился в свою келью взволнованный и потрясенный. Сердце металось в груди, как птица, пойманная в силки. Впервые за много лет он пал ниц и стал горячо молиться о милосердии и прощении.

— Ты будешь услышан! — раздался над ним приятный голос.

Рамсес быстро поднял голову, но в келье никого не было. Тогда он стал молиться с еще большим жаром и так и заснул, распростертый крестообразно на каменном полу, припав к нему лицом.

На следующий день он проснулся другим человеком: он познал власть богов и получил надежду на прощение.

С этих пор в продолжение длинного ряда дней Рамсес с рвением и верой предавался благочестивым испытаниям. Он дал сбрить себе волосы, облачился в жреческие одежды, подолгу молился в своей келье и четыре раза в сутки пел в хоре самых младших жрецов. Его прошлая жизнь, заполненная развлечениями, казалась ему отвратительной: с ужасом думал он о том неверии, которым заразился от распущенной молодежи и чужеземцев, и если бы ему в это время предложили выбрать трон или жреческий сан, он не знал бы, что предпочесть.

Однажды верховный жрец храма призвал царевича к себе и напомнил, что он пришел сюда не только молиться, но и познать мудрость. Похвалив его благочестивый образ жизни, благодаря которому он уже очистился от мирской суеты, жрец велел ему ознакомиться с существующими при храме школами.

Скорее из послушания, чем из любопытства, Рамсес прямо от него отправился во внешний двор, где помещался класс чтения и письма.

Это был большой зал, который освещался сверху через отверстие в крыше. На циновке сидело несколько десятков совершенно обнаженных учеников с навощенными дощечками в руках. Одна стена была из гладкого алебаstra. Перед ней стоял учитель и разноцветными мелками чертил на ней знаки.

Когда царевич вошел, ученики (почти все одного с ним возраста) пали ниц, учитель же, склонившись, прервал урок, чтобы прочесть юношам наставление о великом значении науки.

— Друзья мои, — говорил он, — «человек, у которого сердце не лежит к наукам, должен заниматься физическим трудом и напрягать зрение. Но тот, кто оценил преимущества учения и отдался ему всей душой, может достичь всякой власти, всяких придворных должностей. Помните об этом! Взгляните на жалкую жизнь людей, не знающих грамоты. Кузнец черен,

вымазан сажей, руки у него в мозолях, и работает он день и ночь. Каменотес, чтобы наполнить желудок, в кровь сбивает себе пальцы. Штукатура, отделяющего капители в форме лотоса, порой сносит ветром с гребня кровли. У ткача всегда согнуты колени. Оружейный мастер вечно странствует: не успеет он вечером вернуться в свой дом, как утром уже спешит его покинуть. У маляра, расписывающего стены жилищ, пальцы всегда в краске, а время он проводит в обществе прохвостов. Скорород, прощаясь с семьей, должен писать завещание, ибо рискует встретить в пути хищных зверей или кочевников-азиатов. Я показал вам судьбу людей, занимающихся разными ремеслами, так как хочу, чтобы вы полюбили искусство письма — основу всех основ. А теперь я покажу вам его достоинства. Письмо важнее всех других занятий. Тот, кто владеет искусством письма, с детства пользуется уважением, ему поручаются великие дела. А тот, кто неграмотен, живет в нищете. Учение в школе тяжело, как восхождение на гору, но зато вам хватит его на целую вечность. Спешите же как можно скорее постичь и полюбить науку. Звание писца — высокое звание: его чернильница и книга доставляют ему радость и богатство».

[\[91\]](#)

После этого похвального слова науке, которое в течение трех тысяч лет неизменно слушали египетские ученики, учитель взял мелок и стал писать на алебастровой стене азбуку. Каждая буква изображалась несколькими иероглифическими или демотическими знаками^[92]. Глаз птицы или перо обозначали букву А, овца или цветочный горшок — букву Б, стоящий человек или челнок — букву К, змея — Р, сидящий человек или звезды — С. Обилие знаков крайне затрудняло обучение чтению и письму.

Рамсес устал все время только слушать и оживлялся, лишь когда учитель заставлял кого-нибудь из учеников начертить или назвать букву и бил его палкой за ошибки.

Распрощавшись с учителем и учениками, наследник из школы писцов прошел в школу землемеров. Там молодых людей учили снимать планы с полей, имевших чаще всего форму прямоугольника, и нивелировать почву при помощи двух вех и угольника. В этом же отделении учили писать числа — искусству не менее сложному, чем писание иероглифов или демотических знаков. Простейшие арифметические действия составляли программу высшего курса, и производились они при помощи шариков.

Рамсесу это скоро наскучило, и прошло несколько дней, прежде чем он решился посетить школу врачей.

Это была в то же время и больница, представлявшая собой большой

тенистый сад, где благоухали душистые травы. Больные проводили здесь целые дни на воздухе и солнце, лежа на койках, на которых вместо матрацев было натянуто полотно.

Рамсес вошел туда в самый разгар врачевания. Несколько пациентов купалось в проточном пруду, одного смазывали благовонными мазями, другого окуривали. Некоторых усыпляли при помощи взгляда и движения руки. Кто-то стонал в то время, как ему вправляли вывихнутую ногу.

Тяжелобольной женщине жрец подносил в кружке микстуру, приговаривая:

«Войди, лекарство, войди, изгони боль из моего сердца, из моих членов, чудотворное лекарство».

[93]

Царевич, в сопровождении великого лекаря, направился в аптеку, где один из жрецов изготовлял целебные снадобья из трав, меда, оливкового масла, из кожи змей и ящериц, из костей и жира животных.

При появлении Рамсеса жрец не оторвал глаз от своей работы. Продолжая взвешивать и растирать какие-то вещества, он бормотал молитву:

«Исцелило Исиду, исцелило Исиду, исцелило Гора... О Исида, великая волшебница, исцели меня, избавь от всех дурных, злых болезней, от лихорадки бога и лихорадки богини... О Шанагат, сын Эенагате! Эрукате! Крауарушагате! Папарука папарака папарура...»

[94]

— Что он говорит? — спросил наследник.

— Это тайна, — ответил великий лекарь, приложив палец к губам.

Когда они вышли на пустой двор, Рамсес обратился к великому лекарю:

— Скажи мне, святой отец, в чем состоит лекарское искусство и на чем основаны способы лечения? Я слышал, что болезнь — это злой дух, которого голод заставляет вселиться в человека и мучить его, пока он не получит подходящей пищи, и что один злой дух, или болезнь, питается медом, другой — оливковым маслом, а третий — выделениями животных. Поэтому врач должен прежде всего знать, какой дух вселился в больного, а затем — какую пищу нужно ему давать, чтобы он не мучил человека.

Жрец задумался, потом ответил:

— Что такое болезнь и как она нападает на человеческое тело, этого я не могу тебе сказать, Рамсес. Объясню тебе только, так как ты уже очистился, чем мы руководствуемся при назначении лекарств. Представь себе, что у человека болит печень. Так вот мы, жрецы, знаем, что печень

находится под влиянием звезды Пенетер-Дэва^[95] и что лечение должно находиться в зависимости от этой звезды. Но тут существуют две школы: одни утверждают, что человеку с больной печенью надо давать все то, над чем Пенетер-Дэва имеет власть, а именно: медь, ляпис-лазурь, отвары из цветов, главным образом из вербены и валерианы, наконец — разные части тела горлицы и козла; другие же полагают, что, когда больна печень, нужно лечить ее как раз противоположными средствами. А так как антиподом Пенетер-Дэвы является Собек^[96], то лекарствами будут ртуть, изумруд и агат, орешник и подбел, а также части тела лягушки и совы, стертые в порошок. Но это еще не все. Значение имеют также день, месяц и время дня, ибо каждый день и час находится под влиянием звезды, которая усиливает или ослабляет действия лекарства. Надо наконец помнить, какая звезда и какой знак зодиака благоприятствуют больному. Лишь когда врач примет все это во внимание, он может прописать безошибочно действующее лекарство.

— И вы исцеляете всех больных, приходящих в храм?

Жрец отрицательно покачал головой.

— Нет, — ответил он, — человеческий ум, вынужденный считаться со всем этим, легко может ошибиться. И что еще хуже: завистливые духи, гении других храмов, ревнуя к своей славе, нередко мешают лекарю и нарушают действие его лекарств. Поэтому конечный результат может быть различен: один больной полностью выздоравливает, другой слегка поправляется, а третий остается в прежнем состоянии. Бывают, впрочем, случаи, что больной заболевает еще сильнее или даже умирает... На то воля богов!..

Рамсес слушал внимательно; но в душе сознавал, что много не понимает. Вспомнив же цель своего прихода в храм, он спросил великого лекаря:

— Вы собирались, святые отцы, открыть мне тайну фараоновой казны. Имеет ли к ней отношение то, что я видел?

— Никакого, — ответил лекарь, — мы несведущи в государственных делах. Вот приедет святой Пентуэр, — это великий мудрец, он снимет пелену с твоих глаз.

Рамсес простился с лекарем, еще с большим нетерпением ожидая того, что должны были ему показать.

Храм Хатор встретил Пентуэра с великими почестями. Низшие жрецы вышли ему навстречу на расстояние в полчаса пути, чтобы приветствовать знатного гостя. Из всех чудотворных мест Нижнего Египта приехало много верховных жрецов, святых пророков, сынов божьих, чтобы услышать слова мудрости. Несколькими днями позже прибыли великий жрец Мефрес и пророк Ментесуфис.

Пентуэру воздавали почести не только потому, что он был советником военного министра и, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, членом верховной коллегии жрецов, но и потому, что он пользовался славой во всем Египте. Боги одарили его сверхчеловеческой памятью, красноречием и, главное, чудесным даром прозорливости. Во всяком деле и предмете он замечал стороны, скрытые от других людей, и умел изложить их понятным для всех образом.

Узнав, что Пентуэр будет возглавлять религиозный праздник в храме Хатор, не один номарх и не один высокий сановник фараона завидовал самому скромному жрецу, который услышит его вдохновенное слово.

Священнослужители, вышедшие на дорогу приветствовать Пентуэра, были уверены, что высокое духовное лицо прибудет в дворцовой колеснице или в носилках, несомых восьмью рабами. Каково же было их удивление, когда они увидели худого аскета с обнаженной головой, в рубище, ехавшего одиноко на ослице и встретившего их с великим смирением.

Когда его ввели в храм, он принес жертву богине и тотчас же отправился осмотреть место, где должно было состояться торжество.

После этого его больше не видели, но в самом храме и прилегающих к нему дворах началось необычное оживление. Свозили всякую драгоценную утварь, зерно, одежду, согнали несколько сот крестьян и работников. Пентуэр заперся с ними на предназначенном для торжества дворе и занялся приготовлениями. После восьмидневной работы он сообщил верховному жрецу храма Хатор, что все готово.

Все это время царевич Рамсес, уединившись в своей келье, предавался молитве и посту. Наконец однажды, в три часа пополудни, к нему явились, шествуя попарно, около десятка жрецов и пригласили его на торжество.

В преддверии храма царевича приветствовали старшие жрецы и вместе с ним воскурили благовония перед гигантским изваянием богини Хатор. Потом свернули в боковой коридор, узкий и низкий, в конце

которого горел огонь. Воздух здесь был насыщен запахом смолы, варившейся в котле.

Неподалеку от котла через отверстие в полу доносились ужасные стоны и проклятия.

— Что это значит? — спросил Рамсес у одного из сопровождавших его жрецов.

Вопрошаемый ничего не ответил, но лица всех присутствующих выражали волнение и страх.

В этот момент великий жрец Мефрес взял в руки большую ложку и, зачерпнув из котла горячую смолу, возгласил:

— Так да погибнет всякий, кто выдаст священную тайну!

Произнеся это, он вылил смолу в отверстие пола, — из подземелья послышался отчаянный вопль.

— Убейте меня, если в сердцах ваших есть хоть капля жалости! — зывал голос под полом.

— Да источат твое тело черви! — произнес Ментесуфис, также выливая расплавленную смолу в отверстие.

— Собаки! Шакалы! — донеслось из подземелья.

— Да сгорит твое сердце, и прах да будет выброшен в пустыню! — произнес следующий жрец, повторяя обряд.

— О боги! можно ли столько страдать! — зывали из подземелья.

— Пусть дух твой, заклеянный преступлением и позором, блуждает по местам, где живут счастливые люди! — произнес следующий жрец и тоже вылил ложку смолы.

— Чтоб вас пожрала земля! Пощадите! Дайте вздохнуть...

Когда очередь дошла до Рамсеса, голос в подземелье уже смолк.

— Так боги карают предателей! — сказал, обращаясь к царевичу, верховный жрец храма.

Рамсес остановился и впился в него гневным взглядом. Казалось, вот-вот он разразится словами возмущения и покинет это сборище палачей. Но он почувствовал страх перед богами и молча двинулся вслед за другими. Теперь гордый наследник престола понял, что есть власть, перед которой склоняются фараоны. Его охватило отчаяние, ему хотелось бежать отсюда, отказаться от трона... Но он молчал и продолжал шествовать, окруженный жрецами, поющими молитвы.

«Теперь я знаю, — подумал он, — куда деваются люди, неугодные слугам божьим».

Мысль эта, однако, не уменьшила его ужаса.

Выйдя из узкого, наполненного дымом коридора, процессия опять

очутилась под открытым небом, на возвышении. Внизу находился огромный двор, с трех сторон окруженный вместо стены одноэтажными строениями. От того места, где остановились жрецы, спускались в виде амфитеатров пять широких площадок, по которым можно было прохаживаться вокруг двора и спуститься вниз, во двор.

На самом дворе никого не было, но из строений выглядывали какие-то люди.

Верховный жрец Мефрес, как старший саном на этом собрании, представил наследнику Пентуэра. После ужасов, совершавшихся в коридоре, лицо аскета странно поразило наследника своею кротостью. Чтобы сказать что-нибудь, он обратился к Пентуэру:

— Мне кажется, что я уже где-то встречал тебя, благочестивый отец.

— В прошлом году на маневрах под Пи-Баилосом. Я состоял там при достойнейшем Херихоре, — ответил жрец.

Звучный, спокойный голос Пентуэра поразил Рамсеса. Ему показалось, что он уже слышал этот голос при каких-то необычайных обстоятельствах... Но где и когда?

Жрец произвел на него приятное впечатление. Только бы забыть крики человека, обливаемого кипящей смолой!

— Можно начинать, — объявил верховный жрец Мефрес.

Пентуэр вышел на площадку перед амфитеатром и хлопнул в ладоши. Из одноэтажного павильона выпорхнула группа танцовщиц и вышли жрецы, неся музыкальные инструменты и небольшую статую богини Хатор. Музыканты шли впереди, за ними — танцовщицы, исполняя священный танец, а позади несли изваяние, окруженное дымом курений. Шествие обошло вокруг всего двора, останавливаясь через каждые несколько шагов и моля божество ниспослать свое благословение, а злых духов — покинуть место, где должно состояться религиозное торжество.

Когда процессия вернулась к павильону, Пентуэр вышел вперед. Высшие жрецы окружили его. Их было человек двадцать или тридцать.

— С соизволения его святейшества фараона, — начал Пентуэр, — и с согласия высшей жреческой власти мы должны посвятить наследника престола в некоторые подробности жизни египетского государства, известные только божествам, правителям страны и храмам. Я знаю, достойные отцы, что любой из вас лучше объяснил бы молодому царевичу все это, ибо вы преисполнены мудрости, и богиня Мут говорит вашими устами, но так как обязанность эта пала на меня, жалкого ученика, то разрешите мне исполнить ее под вашим высоким руководством и наблюдением.

Шепот удовлетворения пронесся по рядам жрецов, которых он почтил этими словами. Пентуэр обратился к наследнику:

— Вот уже несколько месяцев, слуга божий Рамсес, как ты, словно заблудившийся путник, что ищет дорогу в пустыне, ищешь ответа на вопрос, почему уменьшились и продолжают уменьшаться доходы святейшего фараона. Ты расспрашивал номархов, и, хотя они все объяснили тебе, как смогли, ответы их не удовлетворили тебя, несмотря на то, что эти вельможи наделены высшей человеческой мудростью. Ты обращался к великим писцам, и они запутались в поставленных тобой вопросах, как птицы в сетях, и не могли выпутаться, ибо ум человека, даже получившего образование в школе писцов, не в силах постигнуть необъятного. Наконец, утомленный бесплодными разъяснениями, ты стал приглядываться к земле номов, их людям и произведениям их рук, но ничего не увидел, ибо есть вещи, о которых люди молчат, как камни, но о которых расскажет тебе даже камень, если на него падет свет богов. Когда, таким образом, тебя обманули все земные умы и силы, ты обратился к богам. Босой, посыпав пеплом голову, ты пришел как кающийся в сей великий храм, где с помощью молитв и лишений очистил тело свое и укрепил дух. Боги, в особенности же могущественная Хатор, услышали твои мольбы и через мои недостойные уста дадут тебе ответ, который ты должен запечатлеть глубоко в своем сердце...

«Откуда он знает, — думал, слушая Пентуэра, Рамсес, — что я расспрашивал писцов и номархов? А... ему сказали Мефрес и Ментесуфис... Впрочем, они все знают».

— Слушай, — продолжал Пентуэр. — С разрешения присутствующих здесь сановников храма, я открою тебе, чем был Египет четыреста лет назад, в царствование наиболее славной и благочестивой девятнадцатой Фиванской династии, и что он представляет собою теперь.

Когда первый фараон той династии, Ра-Мен-Пехути-Рамсес, принял власть над страной, доходы государственной казны, получаемые зерном, скотом, пивом, шкурами, драгоценными и простыми металлами и всевозможными изделиями, составляли сто тридцать тысяч талантов. Если бы существовал народ, который мог бы нам обменять все эти товары на золото, фараон получал бы ежегодно сто тридцать три тысячи мин^[97] золота. А так как один солдат может нести на плечах груз в двадцать шесть мин, то для перенесения этого золота потребовалось бы пять тысяч солдат.

Жрецы стали перешептываться между собой с нескрываемым изумлением. А Рамсес даже забыл про человека, замученного в подземелье.

— Ныне же, — продолжал Пентуэр, — ежегодный доход царя от всех

продуктов наших земель равен всего девяноста восьми тысячам талантов, и полученное за них золото перенесли бы четыре тысячи солдат.

— Что государственные доходы значительно сократились, я знаю, — перебил Рамсес, — но почему?

— Будь терпелив, слуга божий, — ответил Пентуэр. — Сократились не только доходы царя. При девятнадцатой династии в Египте количество вооруженных людей достигало ста восьмидесяти тысяч. Если бы боги сделали так, чтобы каждый тогдашний солдат превратился в камешек величиной с виноградину...

— Это невозможно, — прошептал Рамсес.

— Боги все могут, — строго промолвил верховный жрец Мефрес.

— Или лучше, если бы каждый солдат положил на землю один камешек, то было бы сто восемьдесят тысяч камешков, и взгляните, достойные отцы, — эти камешки заняли бы вот столько места... — Пентуэр указал на красноватого цвета прямоугольник, лежавший на земле. — В этой фигуре поместились бы камешки, брошенные всеми до единого солдатами времен Рамсеса Первого. В ней девять шагов в длину и около пяти в ширину. Фигура — красноватого цвета, цвета тела египтян, ибо в те времена наши полки состояли только из египтян...

Жрецы опять стали перешептываться между собой.

Наследник нахмурился: ему показалось, что это сказано в укор ему за то, что он любит чужеземных солдат.

— Нынче же, — продолжал Пентуэр, — с большим трудом набралось бы сто двадцать тысяч воинов, и если бы каждый из них бросил на землю камешек, получилась бы вот такая фигура... смотрите, достойнейшие.

Рядом с первым лежал второй прямоугольник такой же ширины, но значительно меньшей длины. Он состоял из нескольких полос разного цвета.

— В этой фигуре около пяти шагов в ширину, в длину же всего шесть шагов. Государство, таким образом, потеряло огромное количество солдат, треть того, что было у нас раньше.

— Государству нужнее мудрость таких, как ты, пророк, чем солдаты, — вставил Мефрес.

Пентуэр поклонился в сторону говорившего и продолжал:

— В этой новой фигуре, представляющей нынешнюю армию фараона, вы видите, достойнейшие, наряду с красным цветом, означающим коренных египтян, еще три другие полосы: черную, желтую и белую. Они представляют собой наемные войска: эфиопов, азиатов, ливийцев и греков. Всех их около тридцати тысяч, но они стоят Египту столько же, сколько

пятьдесят тысяч египтян.

— Надо поскорее избавиться от чужеземных полков, — заявил Мефрес, — они дороги, ни к чему не пригодны и учат наш народ безбожию и неповиновению. Уже сейчас многие египтяне не падают ниц перед жрецами... Мало того, некоторые дошли до того, что грабят храмы и гробницы... Поэтому — долой наемников! — с жаром повторил Мефрес. — Стране они причиняют только вред, а соседи подозревают нас во враждебных замыслах...

— Долой наемников! Разогнать мятежных язычников! — поддержали жрецы.

— Когда пройдут годы и ты, Рамсес, вступишь на престол, — продолжал Мефрес, — ты исполнишь этот святой долг по отношению к государству и богам.

— Выполни это!.. Освободи народ свой от неверных! — зывали жрецы.

Рамсес склонил голову и молчал. Вся кровь прихлынула у него к сердцу: ему казалось, что земля уходит из-под ног.

Разогнать лучшую часть его войска? Ему, который хотел бы удвоить армию, а храбрых наемных полков иметь вчетверо больше.

«Они безжалостны ко мне!» — подумал он.

— Говори же, посланец неба! — обратился к Пентуэру Мефрес.

— Я назову вам, святые мужи, — продолжал Пентуэр, — два бедствия, от которых страдает Египет: сократились доходы фараона и уменьшилась его армия.

— Что там армия!.. — пробурчал верховный жрец, пренебрежительно махнув рукой.

— А теперь, милостью богов и с вашего соизволения, я покажу вам, почему так случилось и почему это будет продолжаться и впредь.

Наследник поднял голову и посмотрел на говорившего. Он давно уже позабыл о человеке, которого истязали в подземелье.

Пентуэр сделал несколько шагов вдоль амфитеатра. За ним последовали и высокие духовные мужи.

— Вы видите эту длинную узкую полосу земли, заканчивающуюся широким треугольником? По обеим сторонам полосы лежат известняки, песчаники и граниты, а за ними тянутся пески. Посредине течет струя, которая в треугольнике разветвляется на несколько рукавов.

— Это Нил! Это Египет! — закричали жрецы.

— Посмотрите, — воскликнул Мефрес, — вот я обнажаю руку: вы видите эти две синие жилы, идущие от локтя к ладони? Разве это не Нил с

его каналами, который начинается против Алебастровых гор^[98] и тянется вплоть до Фаюма? Теперь посмотрите на тыльную часть моей кисти: здесь столько жил, на сколько рукавов разветвляется эта священная река за Мемфисом. А мои пальцы — не напоминают ли они число рукавов Нила, которые впадают в море?

— Великая истина! — восклицали жрецы, осматривая свои руки.

— Так вот я говорю вам, — продолжал с воодушевлением верховный жрец. — Египет — это след руки Осириса. На эту землю великий бог возложил свою руку: в Фивы упирался его божественный локоть, пальцы касались моря, а Нил — это его жилы. Нужно ли удивляться, что мы называем нашу страну благословенной.

— Несомненно, — шептали жрецы, — Египет — это явный отпечаток руки Осириса.

— А разве, — вмешался наследник, — у Осириса семь пальцев на руке? Ведь Нил впадает в море семью рукавами.

Последовало молчание. Его прервал Мефрес, обратившийся к Рамсесу с благодушной иронией.

— Неужели ты думаешь, юноша, — сказал он, — что у Осириса не могло быть семи пальцев, если б он того пожелал?

— Разумеется, — поддакнули жрецы.

— Продолжай, славный Пентуэр, — вмешался Ментесуфис.

— Вы правы, святые мужи, — продолжал Пентуэр, — эта струя со своими разветвлениями представляет собою образ Нила, узкая полоса травы, окруженная камнями и песком, — это Верхний Египет, а треугольник, пересеченный жилками воды, — подобие Нижнего Египта, обширной и самой богатой части государства. Так вот, в начале царствования девятнадцатой династии весь Египет, от Нильских порогов до моря, насчитывал пятьсот тысяч мер земли. И на каждой мере земли жило до шестнадцати человек: мужчин, женщин и детей. Но в течение четырехсот последующих лет почти с каждым поколением у Египта убывала часть плодородной земли.

Оратор подал знак. Десятка полтора молодых жрецов выбежали из строения и стали засыпать песком отдельные участки травы.

— С каждым поколением, — продолжал жрец, — убывала плодородная земля, и узкая ее полоса суживалась еще больше. Сейчас, — тут оратор повысил голос, — наша страна вместо пятисот тысяч мер пользуется только четырьмястами тысячами мер... Другими словами, за время царствования двух династий Египет лишился земли, которая прокармливала около двух миллионов человек!

Среди присутствующих снова поднялся ропот изумления и ужаса.

— А известно ли тебе, раб божий Рамсес, куда девались эти поля, на которых когда-то росла пшеница и ячмень или паслись стада? Ты знаешь, конечно, что их засыпало песком пустыни. Но говорили ли тебе, почему это случилось? Потому что не стало хватать крестьян, которые в прежние времена с помощью ведра и плуга с рассвета до ночи боролись с пустыней. А знаешь ли, почему не стало хватать этих божьих работников? Куда они девались? Что выгнало их из страны? Причиной были войны за пределами Египта, наши войска побеждали врагов, наши фараоны увековечивали свои славные имена даже на берегах Евфрата, а наши крестьяне, как вьючный скот, несли за ними довольствие, воду и другие тяжести и мерли тысячами в пути. И вот в отмщение за кости, развеянные по восточной пустыне, западные пески пожрали наши земли, и теперь потребуется невероятный труд многих поколений, чтобы снова извлечь из песчаной могилы египетский чернозем.

— Слушайте, слушайте! — восклицал Мефрес. — Некий бог говорит устами этого человека. Да, наши победоносные войны были могилой Египта.

Рамсес не мог собраться с мыслями: ему казалось, что эти горы песку обрушились на его голову.

— Я сказал, — продолжал Пентуэр, — что необходим огромный труд, чтобы откопать Египет и вернуть ему прежнее богатство, которое поглотили войны. Но в силах ли мы это выполнить?

Он сделал еще несколько шагов вдоль амфитеатра, за ним последовали взволнованные слушатели. С тех пор как существовал Египет, никто еще так ясно не изображал бедствия страны, хотя все о них знали.

— В эпоху девятнадцатой династии в Египте было восемь миллионов населения. Если бы тогда каждый человек — женщина, старик и ребенок — бросил на эту площадку по зерну фасоли, эти зерна составили бы вот такую фигуру...

Он указал рукою на то место двора, где в два ряда, друг подле друга, лежало восемь больших квадратов, выложенных из красной фасоли.

— В этой фигуре шестьдесят шагов длины и тридцать ширины, и, как видите, благочестивые отцы, она сложена из одинаковых зерен, чтобы показать, что все тогдашнее население состояло из коренных египтян. А нынче — смотрите!

Он прошел дальше и указал на другую группу квадратов разного цвета.

— А вот эта фигура имеет те же тридцать шагов в ширину, но в длину

только сорок пять? Почему же? Да потому, что в ней лишь шесть квадратов, ибо в нынешнем Египте уже не восемь, а только шесть миллионов жителей. Примите также во внимание, что, в то время как предыдущая фигура состояла исключительно из красной фасоли, в этой последней имеются части сплошь из черных, желтых и белых зерен, ибо как в нашей армии, так и в народе теперь много чужеземцев: черные эфиопы, желтые сирийцы и финикияне, белые греки и ливийцы...

Ему не дали договорить. Слушавшие его жрецы стали обнимать его, у Мефреса текли из глаз слезы.

— Не бывало еще подобного пророка! — раздавались возгласы.

— Уму непостижимо, когда он мог произвести эти вычисления! — воскликнул лучший математик храма Хатор.

— Отцы, — заявил Пентуэр, — не переоценивайте моих заслуг! В наших храмах в былые годы всегда таким образом изображали государственное хозяйство. Я только воскресил здесь то, о чем позабыли последующие поколения.

— Но подсчеты? — спросил математик.

— Подсчеты ведутся все время, во всех номах и храмах, — ответил Пентуэр, — а общие итоги хранятся в царском дворце.

— А фигуры? — не унимался математик.

— Фигуры — это те же поля, и наши землемеры чертят их еще в школе.

— Неизвестно, чему больше удивляться в этом человеке: его уму или скромности! — говорил Мефрес. — О, не забыли нас боги, если есть у нас такой...

Тут дозорный на башне храма призвал присутствующих к молитве.

— Вечером я закончу свои объяснения, — сказал Пентуэр, — а сейчас добавлю лишь несколько слов. Вы спросите, почему я воспользовался для этих изображений зернами? Как зерно, брошенное в землю, каждый год приносит урожай своему хозяину, так человек каждый год вносит налоги в казну. Если в каком-нибудь номе посеют на два миллиона меньше зерен фасоли, чем в прежние годы, то урожай ее будет значительно меньше и у хозяев будут плохие доходы. Так и в государстве: если ubyло два миллиона населения — должен уменьшиться и приток налогов.

Рамсес, слушавший с большим вниманием, молча удалился.

Когда вечером жрецы и наследник вернулись во двор храма, там горело несколько сотен факелов, и так ярко, что было светло, как днем.

По знаку, данному Мефресом, снова появилось шествие музыкантов, танцовщиц и младших жрецов со статуей богини Хатор, которая имела коровью голову. Когда прогнали злых духов, Пентуэр возобновил свою речь:

— Вы видели, святые отцы, что со времен девятнадцатой династии у нас ubyло сто тысяч мер земли и два миллиона населения. Этим объясняется, почему государственный доход уменьшился на тридцать две тысячи талантов, о чем все мы знаем. Но это только начало бедствий Египта. Казалось бы, что его свyтейшеству остается еще девyносто восемь тысяч талантов дохода. Но не думайте, что фараон столько и получает. Для примера я расскажу вам, что досточтимому Херихору удалось раскрыть в Заячьем округе^[99]. Во времена девятнадцатой династии там проживало двадцать тысяч человек, плативших налогов триста пятьдесят талантов в год. Сейчас там живет едва пятнадцать тысяч, которые платят всего двести семьдесят талантов. Между тем фараон вместо двухсот семидесяти получает только семьдесят талантов. «Почему?» — спросил досточтимый Херихор. И вот что обнаружило расследование. При девятнадцатой династии в номе было около ста чиновников, получавших по тысяче драхм жалованья в год. Сейчас на той же территории, несмотря на убыль населения, находится больше двухсот чиновников, получающих по две тысячи пятьсот драхм в год. Наместнику Херихору неизвестно, как обстоит дело в других округах, но бесспорно одно, что казна фараона вместо девyноста восьми тысяч талантов в год получает только семьдесят четыре...

— Скажи лучше — пятьдесят тысяч, святой отец, — поправил его Рамсес.

— Позже я объясню и это, — ответил жрец. — Во всяком случае, запомни, царевич, что казна фараона теперь выплачивает чиновникам двадцать четыре тысячи талантов, тогда как при девятнадцатой династии платила только десять тысяч.

Глубокое молчание царило среди жрецов: у многих из них были родственники на государственной службе, и к тому же с довольно большим вознаграждением.

Пентуэр, однако, был непреклонен.

— Теперь, — продолжал он, — обрисую тебе, наследник, жизнь чиновников и жизнь народа в былое время и ныне.

— Может быть, не стоит терять на это время?.. Ведь каждый сам может увидеть это... — зашептали жрецы.

— А я хочу узнать сейчас, — твердо сказал Рамсес.

Шепот прекратился.

Пентуэр по ступеням амфитеатра спустился во двор, за ним наследник, верховный жрец Мефрес и остальные. Все они остановились перед длинным занавесом из циновки. По знаку, данному Пентуэром, подбежало десятка два молодых жрецов с пылающими факелами. Второй знак — и часть занавеса упала.

Из уст присутствующих вырвался возглас изумления. Перед ними была ярко освещенная живая картина, в которой участвовало около ста человек.

Картина состояла из трех ярусов: в первом представлены были земледельцы, во втором — чиновники, а на самом верху, на двух львах, головы которых служили подлокотниками, укреплен был золотой трон фараона.

— Так было, — заявил Пентуэр, — при девятнадцатой династии. Посмотрите на земледельцев: плуги их запряжены быками или ослами, лопаты и мотыги у них бронзовые — и, значит, крепкие. Посмотрите, какие это рослые, красивые люди! Сейчас таких можно встретить только среди телохранителей его святейшества — могучие руки и ноги, широкая грудь, улыбающиеся лица. Они искупались и умастили свое тело. Жены их заняты приготовлением пищи и одежды или мытьем домашней посуды. Дети играют или учатся в школе. Тогдашний крестьянин, как видите, ел пшеничный-хлеб, бобы, мясо, рыбу, фрукты, пил пиво и вино. А поглядите, какие прекрасные у них кувшины и чаши! Взгляните на чепцы, передники и накидки мужчин, — все разукрашено многоцветными вышивками. Еще искуснее расшиты сорочки их женщин... И заметьте, как тщательно все они причесаны, какие у них булавки, серьги, кольца и запястья! Эти украшения делались из бронзы и цветной эмали, а иногда и из золота, хотя бы в виде тонкой проволоки. А теперь поднимите глаза выше, на чиновников. Они ходят в накидках (но и крестьянин надевал такую же по праздникам). Питаются они так же, как и крестьяне, то есть скромно, но сытно. Только утварь у них изящнее крестьянской и в ларцах чаще попадаются золотые кольца. Путешествуют они на ослах или в телегах, запряженных быками.

Пентуэр хлопнул в ладоши, и живая картина пришла в движение: крестьяне стали подавать чиновникам корзины винограда, мешки ячменя, гороха и пшеницы, кувшины вина, пива, молока и меда, большое количество дичи, целые куски белых и цветных тканей. Чиновники, получив эти продукты, часть оставляли себе, но наиболее красивые и драгоценные предметы передавали выше, к подножию трона. Площадка, на которой находился символ власти фараона, была вся загромождена продуктами, сложенными наподобие холма.

— Вы видите, достопочтенные, — сказал Пентуэр, — что в те времена, когда крестьяне жили сытно и зажиточно, казна его святейшества едва вмещала дары подданных. А посмотрите, что происходит сейчас.

Новый сигнал — упала следующая часть занавеса, и открылась вторая картина, в общих чертах повторявшая первую.

— Вот вам нынешние крестьяне, — заговорил снова Пентуэр, и в голосе его чувствовалось волнение. — Сами они — кожа да кости, и можно подумать — больные; они грязны и даже забыли о том, что значит смазывать себя оливковым маслом. Зато спины их исполосованы дубинками. Не видно здесь ни быков, ни ослов: да и к чему они, когда плуг тянут жена и дети. Мотыги и лопаты у них деревянные — они легко портятся, и пользы от них мало. Одежды на крестьянах нет никакой, и только женщины ходят в грубо тканых сорочках, но им и во сне не снятся те вышивки, какими украшали себя их деды и бабки. А посмотрите, что ест наш хлебопашец: иногда ячмень и сушеную рыбу, а обычно, семена лотоса, изредка — пшеничную лепешку, и никогда не видит он ни мяса, ни пива, ни вина. Вы спросите, куда делась его утварь, предметы обихода? Ничего у него нет, кроме кувшина с водой. Да для других вещей не нашлось бы и места в той норе, где он живет... Не посетуйте на меня, если я сейчас обращаю ваше внимание еще на кое-что. Вон там дети лежат неподвижно на земле — это мертвые. Вы не представляете себе, как часто в наше время умирают крестьянские дети от голода и непосильного труда. Но даже они, погибшие столь прискорбным образом, счастливее многих, оставшихся в живых, — тех, которые попадают под дубинку надсмотрщика или, подобно ягнятам, проданы финикиянам.

У Пентуэра от волнения сдавило горло; однако, передохнув, он продолжал, невзирая на молчаливое негодование жрецов.

— А теперь посмотрите на чиновников: какие они упитанные, румяные, как хорошо одеты! У жен их золотые запястья и серьги и такие тонкие одежды, что даже царевны могли бы им позавидовать. У крестьянина нет ни быка, ни осла, зато чиновники путешествуют на

лошадях или в носилках. Пьют они только вино, и притом — хорошее вино.

Он хлопнул в ладоши — и картина снова пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам мешки хлеба, корзины фруктов, вино, животных. Все это чиновники, как и раньше, ставили к подножию трона, но в значительно меньшем количестве. В царском ярусе уже не высились горы продуктов, зато ярус чиновников был переполнен.

— Таков нынешний Египет, — сказал Пентуэр, — нищие крестьяне, богатые писцы и казна не столь полная, как прежде. А теперь...

Он дал знак, и свершилось нечто неожиданное. Чьи-то руки стали загребать хлеб, фрукты, ткани с площадки фараона и чиновников. Когда же количество продуктов значительно уменьшилось, те же руки стали хватать и уводить крестьян, их жен и детей.

Зрители с изумлением смотрели на странные действия этих неизвестных похитителей. Вдруг кто-то крикнул:

— Это финикияне! Они обирают нас!

— Да, святые отцы, — сказал Пентуэр, — это руки пролезших к нам финикиян. Они обирают фараона и писцов, а крестьян, если с них нечего больше взять, обращают в рабство.

— Да, это шакалы, будь они прокляты!.. Вон их, негодяев! — кричали жрецы. — Это они больше всего причиняют вреда государству.

Не все, однако, кричали так.

Когда стихло, Пентуэр велел нести факелы в другую сторону двора и повел туда своих слушателей. Там было устроено нечто вроде выставки.

— Соболаговолите взглянуть, святые отцы, — сказал он. — Во времена девятнадцатой династии эти вещи ввозили к нам чужеземцы: из страны Пунт мы получали благовония, из Сирии — золото, железное оружие и военные колесницы. И это было все. В то время Египет сам многое вырабатывал. Окиньте взором эти огромные кувшины: какое разнообразие формы и окраски, или на мебель — на этот стул; выложенный тысячами кусочков золота, перламутра и деревом разного цвета. Посмотрите на одежды: какое шитье, какие ткани, сколько оттенков! А бронзовые мечи, булавки, запястья, серьги! А земледельческие орудия и инструменты! Все это вырабатывалось у нас во времена девятнадцатой династии.

Он перешел к другим предметам.

— А сейчас, смотрите: кувшины малы и почти без всяких украшений, мебель простая, ткани грубые и однообразные. Ни одно из нынешних изделий не может сравниться ни по размерам, ни по прочности или красоте с прежними. Почему?

Пентуэр сделал еще несколько шагов. Факелы ярко освещали его. Он продолжал:

— Вот многочисленные товары, которые привозят нам финикияне из разных стран света: несколько десятков сортов благовоний, разноцветное стекло, мебель, посуда, ткани, колесницы, украшения... Все это приходит к нам из Азии и нами покупается. Теперь вы понимаете, достойнейшие, каким образом финикиянам удастся вырывать хлеб, плоды и скот из рук писцов и Фараона? Вот благодаря этим самым чужеземным изделиям, сгубившим наших ремесленников, как саранча траву.

Жрец перевел дух и продолжал:

— Среди товаров, которые доставляют финикияне царю, номархам и писцам, на первом месте стоит золото. Торговля золотом дает нагляднейший пример того разорения, которое приносят Египту азиаты. Кто берет у них один золотой талант, обязан через три года вернуть два таланта. Чаще же всего финикияне, под предлогом облегчения должнику уплаты долга, за каждый талант берут у него в аренду на три года две меры земли с населением в тридцать два человека. Взгляните сюда, досточтимейшие, — продолжал он, указывая на более ярко освещенную часть двора, — этот квадрат земли в сто восемьдесят шагов длиной и столько же шириной означает две меры. А вот эта кучка мужчин, женщин и детей состоит из восьми семейств. И все это вместе — люди и земля — поступает на три года в чудовищное рабство. За это время их владелец — фараон или номарх — не извлекает из них никакой прибыли и по истечении срока получает обратно истощенную землю, а людей — в лучшем случае человек двадцать, потому что остальные умирают в тяжких страданиях!..

Среди присутствующих раздался ропот негодования.

— Я сказал, что финикиянин за один золотой талант, отданный взаймы, берет две меры земли с населением в тридцать два человека в аренду на три года. Посмотрите, какой участок земли и как много людей. А теперь взгляните сюда. Вот этот кусок золота, меньше куриного яйца, это талант. Представляете ли вы себе, святые отцы, всю подлость финикиян, ведущих подобную торговлю? Этот жалкий кусок золота не обладает никакими ценными качествами: просто желтый тяжелый металл, который не ржавеет, — вот и все. Человек не оденется в золото и не утолит им ни голода, ни жажды. Если бы у меня была глыба золота величиной с пирамиду, я все равно был бы таким же нищим, как ливиец, кочующий по западной пустыне, где нет ни фиников, ни воды. И за кусок такого бесполезного металла финикиянин берет участок земли, который может

прокормить и одеть тридцать два человека, а вдобавок берет и самих этих людей! В продолжение трех лет он пользуется трудом людей, которые умеют обрабатывать и засеивать землю, собирать зерно, изготавливать муку и пиво, ткать одежды, строить дома и выделывать мебель. В то же время фараон или номарх лишен на три года услуг этих людей. Они не платят ему податей, не носят тяжестей за армией, а работают на жадного финикиянина. Вам известно, досточтимые, что сейчас не проходит года, чтобы в том или другом номе не вспыхнул бунт крестьян, истощенных голодом, изнемогающих от работы, терпящих побои. Часть этих людей погибает, другие попадают в каменоломни, население страны все убывает, и убывает только потому, что финикиянин дал кому-то кусок золота! Можно ли представить себе большее бедствие? И в подобных условиях не будет ли Египет год за годом лишаться земли и людей? Удачные войны разорили нашу страну, и финикийская торговля золотом добывает ее.

На лицах жрецов видно было удовлетворение; им приятнее было слушать замечания насчет коварства финикиян, чем насчет роскоши, какую позволяют себе писцы.

Пентуэр сделал паузу, а потом обратился к наследнику.

— И вот уже в течение нескольких месяцев, — сказал он, — ты, слуга божий Рамсес, с тревогой спрашиваешь, почему уменьшились доходы его святейшества царя. Мудрость богов доказала тебе, что не только истощается казна, но убывает и армия; и оба эти источника могущества фараонов будут иссякать и далее. И окончится это полным разорением государства, если небеса не пошлют Египту повелителя, который остановит поток бедствий, уже несколько сот лет заливающий нашу страну. Когда у нас было много земли и населения, казна фараонов была полна. Надо, следовательно, вырвать у пустыни захваченные ею плодородные земли, а с народа снять тяготы, ослабляющие его и сокращающие количество населения.

Жрецы заволновались, опасаясь, что Пентуэр опять заговорит о писцах и чиновниках.

— Ты видел, царевич, своими собственными глазами, и все видели, что пока народ был сыт, здоров и доволен, царская казна была полна. Когда же народ стал беднее, когда женам и детям земледельца пришлось запрячься в плуг, когда пшеницу и мясо стали заменять им семена лотоса, обеднела и казна. И если ты хочешь довести государство до того могущества, каким оно обладало до войн девятнадцатой династии, если желаешь, чтобы фараон, его чиновники и армия имели всего в изобилии, обеспечить стране долговечный мир, а народу благосостояние. Пусть снова

взрослые едят мясо и одеваются в вышитые одежды, дети же играют или учатся в школе, а не стонут под бременем невзгод и не умирают от непосильной работы. Помни также, что Египет носит на груди своей ядовитую змею.

Присутствующие слушали с любопытством и страхом.

— Змея, что высасывает кровь из народа, отнимает поместья у номархов и уменьшает могущество фараона, — это финикияне.

— Вон их! — закричали присутствующие. — Не платить им долги, не пускать их купцов, не принимать кораблей!

Их успокоил великий жрец Мефрес, обратившийся к Пентуэру со слезами на глазах.

— Я не сомневаюсь, — сказал он, — что устами твоими говорит с нами богиня Хатор, и не только потому, что человек не может быть столь мудрым и всеведущим, как ты, но еще и потому, что я увидел над головой твоей сияние в виде двух рогов. Благодарю тебя за великие слова, которыми ты рассеял наше неведение. Благословляю тебя и молю богов, чтобы они сделали тебя моим преемником!

Долго не смолкавшие возгласы одобрения поддержали пожелания высшего сановника храма. Жрецы были тем более довольны, что Пентуэр не затронул вторично вопроса о писцах. Мудрец проявил сдержанность: он указал на глубокую внутреннюю язву государства, но не разбередил ее и этим снискал всеобщее одобрение.

Рамсес не благодарил Пентуэра, а лишь прижал его голову к своей груди. Никто, однако, не сомневался, что проповедь великого пророка потрясла душу наследника и заронила в нее семя, из которого, быть может, вырастут слава и счастье Египта.

На следующий день Пентуэр, ни с кем не простившись, с восходом солнца покинул храм и уехал в Мемфис. Рамсес несколько дней хранил молчание; сидя у себя в келье или гуляя по темным коридорам храма, он размышлял; в нем происходила глубокая внутренняя работа.

В сущности, Пентуэр не сказал ничего нового: все жаловались на убыль земли и населения в Египте, на нищету крестьян, на злоупотребления писцов и чиновников и на грабительство финикиян. Но проповедь пророка привела в систему отрывочные доселе представления царевича, придала им осязательные формы и лучше осветила некоторые факты.

Слова Пентуэра о финикиянах повергли его в ужас. Рамсес до сих пор не понимал, как велик вред, который наносит этот народ его стране. Ужас его был тем сильнее, что он ведь и сам отдал своих крестьян в аренду

Дагону и был очевидцем того, как ростовщик выколачивает из них подати.

Но мысль о личной его связи с финикийскими ростовщиками вызвала неожиданное следствие: Рамсесу не хотелось думать о финикийцах. Как только в душе его вспыхивало возмущение против этих людей, оно тотчас же заглушалось чувством стыда: ведь он был в некотором роде их пособником.

Зато наследник прекрасно понял, как губительно отражается на государстве убыль населения и земли, и на этом вопросе во время одиноких размышлений сосредоточились все его мысли.

«Если б у нас были, — рассуждал он про себя, — те два миллиона людей, которые потерял Египет, можно было бы с их помощью не только отвоевать у пустыни плодородные земли, но даже увеличить их площадь. А тогда, несмотря на финикийцев, наши крестьяне жили бы лучше и доходы государства возросли бы. Но откуда взять людей?»

Случай подсказал ему ответ. Однажды вечером, прогуливаясь в саду храма, Рамсес встретил группу рабов, захваченных Нитагором на восточной границе и присланных в дар богине Хатор. Они отличались прекрасным телосложением, работали больше, нежели египтяне, и, так как их хорошо кормили, были даже довольны своею участью.

При виде их, словно молния, озарила наследника новая мысль, и он чуть не обезумел от волнения. Египту нужны люди, много людей, сотни тысяч, даже миллионы, два миллиона. Так вот они — эти люди! Стоит только вторгнуться в Азию, захватывая все по пути и отправляя в Египет. И до тех пор не прекращать войны, пока у каждого египетского крестьянина не будет своего раба.

Так зародился в уме его план, простой и грандиозный, осуществление которого должно было дать государству людей, крестьянам — помощников в работе, а казне фараона — неисчерпаемый источник дохода.

Рамсес был в восторге. Однако на следующий день в душе его снова проснулось сомнение.

Пентуэр особенно энергично подчеркивал, а еще раньше говорил об этом Херихор, что источником бедствий Египта были победоносные войны. И отсюда должно было следовать, что новые войны не помогут процветанию страны.

«И Пентуэр и Херихор — великие мудрецы, — размышлял наследник. — Если они считают войну вредной и если так же думает великий жрец Мефрес и другие жрецы, то, может быть, в самом деле война — опасное предприятие. Это мнение, должно быть, верно, если его поддерживают столько мудрых и святых людей».

Наследник был глубоко огорчен. Он придумал простой способ вывести Египет из упадка, а между тем жрецы утверждают, что именно война может привести страну к окончательной гибели...

Вскоре, однако, произошел случай, несколько поколебавший веру наследника в правдивость жрецов или, вернее, пробудивший в нем прежнее к ним недоверие.

Как-то он шел с одним лекарем в библиотеку. Путь туда вел через узкий темный коридор. Наследник поморщился и не захотел переступить через порог.

— Я не пойду этой дорогой, — сказал он.

— Почему? — спросил его удивленный спутник.

— Разве ты не помнишь, святой отец, что в конце коридора есть подземелье, в котором жестоко замучили какого-то предателя.

— А! — вспомнил лекарь. — Это подземелье, куда мы перед проповедью Пентуэра лили расплавленную смолу.

— И умертвили человека!

Лекарь улыбнулся. Это был добродушный и жизнерадостный толстяк. Видя возмущение Рамсеса, он немного замялся и сказал:

— Да, конечно, нельзя выдавать священные тайны. Перед всяким большим торжеством мы напоминаем об этом будущим жрецам.

Тон его речи показался Рамсесу столь странным, что он попросил лекаря высказаться яснее.

— Я не могу выдать тайну, — ответил тот, — но, если ты, государь, пообещаешь сохранить ее, я расскажу тебе одну историю.

Рамсес согласился, и тот начал рассказывать:

— Один египетский жрец, обходя храмы языческой страны Арам^[100], встретил человека, хорошо упитанного и, по-видимому, довольного своей судьбою, который был очень бедно одет. «Объясни мне, — сказал жрец веселому бедняку, — почему, хотя ты, по-видимому, и беден, у тебя такой вид, точно ты кормишься не хуже жреца, ведающего хозяйством храма?» Человек, оглянувшись, не подслушивает ли кто, ответил: «Потому что у меня очень жалобный голос и я состою при этом храме грешником, который терпит муки. Когда народ собирается на богослужение, я залезаю в подземелье и начинаю стонать и вопить, сколько хватит сил. За это меня весь год сытно кормят, а за каждый день мученичества дают кувшин пива». Так делается в языческой стране Арам, — закончил жрец, приложив к губам палец. — Помните же, ваше высочество, что вы мне обещали, и думайте о нашей расплавленной смоле, как вам угодно.

Этот рассказ взволновал Рамсеса. Правда, он с чувством облегчения

узнал, что человек в храме не был замучен до смерти, но в нем проснулись давние подозрения.

Что жрецы обманывают простой народ, в этом Рамсес не сомневался. Еще когда он учился в жреческой школе, он видел процессии священного быка Аписа. Народ верил, что это Апис ведет жрецов, между тем каждый ученик знал, что божественное животное идет туда, куда его гонят жрецы.

Как знать, не была ли вся проповедь Пентуэра такой же «процессией Аписа», предназначенной специально для него. Ведь так легко рассыпать по земле разноцветную фасоль и не так трудно поставить живые картины. Он видел представления гораздо более грандиозные — хотя бы борьбу Сета с Осирисом, в которой участвовали несколько сот человек. А разве и это не было обманом, придуманным жрецами? Зрелище выдавалось за борьбу богов, а между тем то были переодетые люди. Осирис погибал в борьбе, хотя жрец, изображавший Осириса, был здоров, как носорог. Каких только не показывали там чудес: вода бурлила, гремел гром, сверкали молнии, земля содрогалась и извергала огонь... и все это был обман. Почему же представление Пентуэра должно быть правдой? Теперь у наследника были доказательства того, что его обманывают. Ведь оказалась же мошенничеством история с человеком, которого обливали смолой, но это не самое важное. Самым важным, и в чем Рамсес неоднократно убеждался, было то, что Херихор не хочет войны, и Мефрес тоже не хочет войны, а Пентуэр — помощник одного из них и любимец другого.

В душе наследника происходила борьба. То ему казалось, что он все понимает, то все снова окутывалось туманом. То он был полон надежд, то ни во что не верил. С часу на час, изо дня в день он то возносился, то падал духом, как поднимаются и спадают воды Нила.

Постепенно, однако, Рамсес приходил в равновесие, и к тому времени, когда надо было покинуть храм, у него уже сложилось твердое мнение.

Во-первых, ему стало ясно, что Египет нуждается в земле и людях. Во-вторых, что самый простой способ добыть людей — это война с Азией. Однако Пентуэр доказывал ему, что война может только увеличить бедствия страны. И вот возникал вопрос, говорит ли он правду или лжет.

Мысль о том, что жрец говорил правду, приводила наследника в отчаяние, так как он не находил другого способа поднять благосостояние страны. Без войны население Египта будет из года в год уменьшаться, а казна фараона увеличивать свои долги. И все это кончится какой-нибудь ужасной катастрофой, которая может оказаться роковой для будущего правителя.

А если Пентуэр лгал? Но зачем? Очевидно, ему внушали это Херихор,

Мефрес и другие жрецы. Но почему они противятся войне, какая им от этого польза? Ведь каждая война приносит жрецам и фараону огромные богатства.

Могли ли все-таки жрецы обманывать его в таком важном деле? Правда, они часто прибегают ко лжи, но не в столь серьезных случаях и не тогда, когда вопрос идет о будущем и самом существовании государства. Нельзя говорить, что они лгут всегда. Ведь они служат богам и стоят на страже великих тайн. В их храмах обитают духи, в чем Рамсес и сам убедился в первую же ночь своего пребывания здесь. Но если боги запрещают непосвященным приближаться к своим алтарям и так ревностно охраняют храмы, то почему они не охраняют Египет — эту величайшую для них святыню?

Когда несколько дней спустя Рамсес после торжественного богослужения, напутствуемый благословениями жрецов, покидал храм Хатор, его мучили два вопроса.

Может ли действительно война с Азией повредить Египту?

Могут ли жрецы в этом вопросе обманывать его, наследника престола?

Верхом, сопровождаемый несколькими офицерами, ехал наследник в Бубаст, знаменитую столицу нома Хабу.

Прошел месяц паони и начался эпифи (апрель — май). Солнце стояло высоко, предвещая тяжелую для Египта знойную пору. Несколько раз уже налетал страшный ветер пустыни. Люди и животные падали от жары, а на траву и деревья ложилась серая пыль, которая убивает растения.

Кончился сбор роз, и теперь их перерабатывали на масло, в полях убрали хлеба и клевер. Колодезные журавли непрерывно черпали илистую воду, чтобы оросить пашни и подготовить их к новому посеву. Начинался сбор фиг и винограда.

Воды Нила шли на убыль, каналы обмелели и распространяли зловоние. Над всей страной носилась тончайшая пыль, а с неба струились потоки жгучих солнечных лучей.

Несмотря на это, наследник был доволен. Ему наскучила жизнь кающегося; он тосковал по пирушкам, женщинам, шумной веселой жизни.

Местность здесь была плоская и изрезанная каналами, но довольно живописная. В номе Хабу жили не коренные египтяне, а потомки храбрых гиксосов, некогда покоривших Египет и управлявших им в течение ряда веков.

Чистокровные египтяне презирали этих потомков изгнанных победителей. Рамсес, однако, смотрел на них с удовольствием. Это были рослые, сильные люди с гордой осанкой и мужественным лицом. Они не падали ниц перед наследником и офицерами, как египтяне, и смотрели на знатных молодых людей без страха, но и без неприязни. На спине у них не видно было рубцов от палочных ударов: писцы побаивались их, зная, что гиксос отвечает ударом на удар, а иногда даже убивает своего притеснителя. Кроме того, гиксосы пользовались покровительством фараона, так как их население поставляло лучших солдат.

По мере приближения к городу, храмы и дворцы которого видны были из-за облака пыли, словно сквозь дымку, местность становилась все оживленнее. По широкому тракту и соседним каналам перевозили скот, пшеницу, плоды, вино, цветы, хлеб и множество других предметов, необходимых в быту. Поток людей и товаров, стремившийся по направлению к городу, густой и шумный, как под Мемфисом в дни больших праздников, был в этих местах обычным явлением. Вокруг

Бубаста круглый год царила базарная суeta, утихавшая только ночью.

Причина этого была простая: город славился древним храмом Ашторет, привлекавшим толпы паломников со всей западной Азии. Без преувеличения можно сказать, что под Бубастом ежедневно располагалось в палатках и под открытым небом до тридцати тысяч чужеземцев: шасу или арабов, финикиян, иудеев, филистимлян^[101], хеттов, ассирийцев и других. Египетское правительство благосклонно относилось к паломникам, приносившим ему значительный доход, жрецы терпели их, а население соседних номов вело с ними оживленную торговлю.

Еще за час пути до города стали попадаться мазанки и палатки приезжих, разбитые на голой земле. По мере приближения к Бубасту число их все возрастало и все чаще попадались на дороге их обитатели. Одни готовили пищу под открытым небом, другие толпились вокруг лавок, где продавались прибывавшие непрерывно товары, третьи целыми процессиями направлялись к храму. То там, то здесь показывали свое искусство укротители зверей, заклинатели змей, атлеты, танцовщицы и фокусники, собирая вокруг себя толпы народа. Над всей этой толпой царил зной и неумолкающий гул.

У городских ворот Рамсеса встретили его придворные, а также номарх нома Хабу с чиновниками. Однако встреча была настолько холодна, что удивленный наместник шепнул Тутмосу:

— Что это вы смотрите на меня, точно я приехал обличать и наказывать?

— Потому что у тебя, государь, — ответил его любимец, — вид человека, который пребывал все время с богами.

Он был прав. Аскетическая ли жизнь или общество ученых жрецов, а может быть, и длительные размышления изменили Рамсеса. Он похудел, кожа его потемнела, выражение лица стало серьезным, а осанка — степенной. За несколько недель он постарел на целые годы.

На одной из главных улиц города толпилось столько народу, что полицейским пришлось прокладывать дорогу наследнику и его свите. Толпа не приветствовала его и даже как будто не замечала; люди собирались вокруг небольшого дворца, кого-то ожидая.

— Что здесь происходит? — спросил Рамсес у номарха, неприятно задетый равнодушием населения.

— Здесь проживает Хирам, — ответил номарх, — тирский князь. Человек милосердный, он каждый день раздает щедрую милостыню, и потому сюда сбегаются нищие.

Наследник повернулся на лошади и, посмотрев, сказал:

— Я вижу здесь работников фараона. Они тоже приходят к финикийскому богачу за милостыней?

Номарх промолчал. К счастью, они подъезжали к дворцу, и Рамсес забыл о Хираме.

Несколько дней продолжались пиршества в честь наследника. Но на этих пиршествах не хватало веселья и не раз случались неприятные происшествия.

Как-то одна из женщин наследника, танцуя перед ним, расплакалась. Рамсес обнял ее и спросил, что с ней.

Сперва она не хотела отвечать, но, ободренная лаской господина, сказала, заливаясь слезами:

— Повелитель, я и мои подруги — мы все родом из знатных семей, мы принадлежим тебе, и нам должны оказывать уважение...

— Разумеется, — ответил царевич.

— А между тем твой казначей ограничивает наши расходы. Он хочет даже лишить нас служанок, без которых мы не можем ни умыться, ни причесаться.

Рамсес призвал казначея и строго пригрозил ему, повелев исполнять все требования высокородных девиц.

Казначей пал ниц перед наместником и обещал дать им все, что они потребуют.

Спустя несколько дней вспыхнули беспорядки среди дворцовых рабов, которые жаловались, что их лишают вина.

Наследник приказал выдать им вино. Но на следующий день во время военного парада к нему явилась делегация от полков с всепокорнейшей жалобой на то, что им уменьшили порции мяса и хлеба.

Наследник и на этот раз распорядился, чтобы были выполнены требования просителей. Однако вскоре его разбудили утром громкие крики у самых ворот дворца. Рамсес спросил, в чем дело. Воин, стоявший в карауле, объяснил, что собрались царские работники и требуют не выплаченное им жалованье.

Призвали казначея, и Рамсес гневно на него обрушился.

— Что у вас тут творится? — кричал он. — С тех пор как я приехал, нет дня, чтобы мне не жаловались на обиды. Если так будет продолжаться, я назначу следствие и положу конец вашему воровству!

Казначей, дрожа, пал ниц и простонал:

— Убей меня, господин, но что я могу сделать, когда твоя казна, твои амбары и скотные дворы пусты?

Несмотря на весь свой гнев, наместник понял, что казначей, может

быть, и не виноват. Он велел ему удалиться и призвал Тутмоса.

— Послушай, — обратился он к своему любимцу, — тут творятся дела, которых я не понимаю и к которым не привык: мои воины и царские работники не получают жалованья, моих женщин ограничивают в расходах. Когда же я спросил казначея, что это значит, он ответил, что у нас нет ничего ни в казне, ни на скотных дворах.

— Он сказал правду.

— Как так? — вспыхнул Рамсес. — На мое путешествие царь отпустил двести талантов товарами и золотом. Неужели все это растрчено?

— Да, — ответил Тутмос.

— Каким образом? На что? — возмутился наместник. — Ведь на всем пути нас принимали у себя номархи?

— Но мы им за это платили.

— Значит, это плуты и воры, если они делают вид, будто принимают нас, как гостей, а потом обирают!

— Не сердись, — сказал Тутмос, — я тебе все объясню.

— Садись.

Тутмос сел и начал:

— Ты знаешь, что я уже месяц получаю стол из твоей кухни, пью вино из твоих кувшинов и ношу твое платье?

— Ты имеешь на это право.

— Но раньше я никогда этого не делал. Я жил, одевался и развлекался на свой счет, чтобы не обременять твоей казны. Правда, ты частенько платил мои долги, но это была лишь часть моих расходов.

— Не стоит вспоминать о долгах.

— В подобном же положении, — продолжал Тутмос, — находится больше десятка знатных молодых людей твоего двора. Они живут на твой счет, потому что у них ничего нет.

— Когда-нибудь я их щедро одарю, — перебил наследник.

— Так вот, — пояснял далее Тутмос, — мы черпаем из твоей казны, потому что нас заставляет нужда, и то же самое делают номархи. Если бы они могли, то устраивали бы для тебя пиршества и приемы на свой счет. Но, когда пировать не на что, приходится от этого отказываться. Неужели же ты и сейчас назовешь их ворами?

Рамсес, задумавшись, ходил по комнате.

— Да, я слишком поспешно осудил их, — ответил он. — Гнев затуманил мне глаза. Но все-таки я не хочу, чтобы мои придворные, воины и работники были в обиде. А так как все мои запасы исчерпаны, то надо

сделать заем. Ста талантов, я думаю, хватит. Как ты полагаешь?

— Я думаю, что нам никто не даст займы ста талантов, — тихо ответил Тутмос.

Наместник надменно посмотрел на него.

— Это так отвечают сыну фараона? — спросил он.

— Можешь прогнать меня, — сказал печальным голосом Тутмос, — но я сказал правду. Сейчас нам никто не даст займы, потому что некому это сделать.

— А на что же Дагон? — удивился наследник. — Разве его нет при моем дворе? Уж не умер ли он?

— Дагон в Бубасте, но он целые дни вместе с другими финикийскими купцами проводит в храме Ашторет, в покаянии и молитвах.

— С чего это на него нашло такое благочестие? Разве оттого, что я был в храме, мой ростовщик тоже считает необходимым беседовать с богами?

Тутмос заерзал на табурете.

— Финикияне, — заявил он, — встревожены, даже удручены известиями...

— О чем?

— Кто-то распустил сплетню, будто, когда ты вступишь на престол, финикияне будут изгнаны, а имущество их конфисковано в пользу казны.

— Ну, до этого у них еще много времени, — сказал с усмешкой наследник.

У Тутмоса был такой вид, будто он что-то хочет сказать, но не решается.

— Ходят слухи, — проговорил он наконец, понизив голос, — что здоровье его святейшества, — да живет он вечно! — сильно пошатнулось...

— Это неправда! — перебил встревоженный царевич. — Я знал бы об этом.

— А между тем жрецы тайно молятся об исцелении фараона, — шептал Тутмос. — Я знаю достоверно.

Рамсес был поражен.

— Как, — воскликнул он, — мой отец тяжело болен, жрецы совершают молебствия, а я до сих пор ничего не знаю?

— Говорят, что болезнь царя может продлиться целый год.

Рамсес махнул рукой.

— Э, ты слушаешь сказки и волнуешь меня. Расскажи мне лучше про финикиян, это интереснее.

— Я слышал только то, что и все: будто ты, пребывая в храме, убедился в коварстве финикиян и дал клятву изгнать их.

— В храме? — повторил наследник. — Кто же может знать, в чем я убедился и какое решение принял в храме?

Тутмос пожал плечами и промолчал.

— Неужели и там предательство? — прошептал наследник. — Позови ко мне Дагона, — сказал он вслух, — я должен найти источник этих сплетен и положить им конец.

— И хорошо сделаешь, государь, — ответил Тутмос, — ибо весь Египет встревожен. Уже сейчас не у кого занимать деньги, а если эти слухи укрепятся, вся торговля станет. Наша аристократия обнищала, и не видно выхода из этого положения. Да и твой двор, господин, испытывает во всем недостаток. Еще месяц — и то же может случиться с царским двором...

— Молчи, — перебил его Рамсес, — и немедленно позови ко мне Дагона.

Тутмос поспешил уйти. Но ростовщик явился к наместнику лишь вечером. На нем был белый хитон с черной каймой.

— С ума вы посходили? — вскричал наследник, увидев его в таком наряде. — Я тебя сейчас развеселю! Мне нужно немедленно сто талантов. Ступай и не показывайся мне на глаза, пока не устроишь это дело!..

Но ростовщик закрыл лицо руками и зарыдал.

— Что это значит? — спросил наследник с раздражением.

— Господин, — ответил Дагон, опускаясь на колени, — возьми все мое имущество, продай меня и мою семью, все возьми, даже жизнь... Но сто талантов! Откуда мне взять сейчас такие деньги? Их нет ни в Египте, ни в Финикии...

Наследник расхохотался:

— Сет опутал тебя, Дагон! Неужели и ты мог поверить, что я хочу изгнать вас?

Ростовщик вторично припал к его ногам:

— Где же мне знать? Я простой купец и твой раб. И достаточно одного лунного месяца, чтобы все пошло прахом — и жизнь моя и богатство.

— Да объясни ты мне, что это значит? — спросил, потеряв терпение, наследник.

— Я не знаю, что сказать тебе. А если бы даже и знал, то великая печать наложена на уста мои... Сейчас я только молюсь и проливаю слезы.

«Разве финикияне тоже молятся?» — подумал Рамсес.

— Если я не в силах оказать тебе никакой услуги, — продолжал Дагон, — то дам, по крайней мере, добрый совет: здесь, в Бубасте, проживает знаменитый тирский князь Хирам, человек старый, умный и очень богатый. Призови его и попроси у него сто талантов. Может быть, он

окажет тебе услугу...

Ничего не добившись от Дагона, Рамсес отпустил его, пообещав отправить послов к Хираму.

На следующий день утром Тутмос с многолюдной свитой офицеров и придворных посетил тирского князя и пригласил его к наместнику.

В полдень Хирам явился во дворец в простых носилках, несомых восемью нищими египтянами, которые получали от него милостыню. Он был окружен знатнейшими финикийскими купцами и толпой народа, каждый день собиравшейся перед его домом.

Рамсес был несколько удивлен, увидев старца внушительной осанки, в глазах которого светился ум. Хирам был одет в белый плащ, золотой обруч украшал его голову. Он с достоинством поклонился наместнику и, простерши руку над его головой, произнес краткое благословение. Присутствующие были глубоко тронуты.

Когда наместник указал ему на кресло и велел придворным удалиться, Хирам сказал:

— Вчера, господин, твой слуга Дагон передал мне, что тебе нужно сто талантов. Я немедленно отправил своих гонцов в Сабни-Хетем, Сетроз^[102], Буто и другие города, где стоят финикийские корабли, с требованием выгрузить все товары, и думаю, что через несколько дней ты получишь эту небольшую сумму.

— Небольшую! — перебил Рамсес с усмешкой. — Ты счастлив, князь, если сто талантов можешь назвать небольшой суммой.

Хирам покачал головой.

— Твой дед, вечно живущий Рамсес-са-Птах^[103], — сказал он после минутного молчания, — удостаивал меня своей дружбы; знаю также святейшего отца твоего — да живет он вечно!.. — и даже попытаюсь лицезреть его, если буду допущен...

— А что заставляет тебя сомневаться в этом? — прервал его царевич.

— Есть люди, которые одних допускают к особе его святейшества, других не допускают, — ответил гость, — но не стоит говорить о них. Ты, царевич, в этом не виноват, а потому осмелюсь, на правах старого друга твоего отца и деда, задать тебе один вопрос.

— Я слушаю.

— Что это значит, что наследник престола, наместник фараона, вынужден занимать сто талантов, когда его государству должны больше ста тысяч талантов?

— Кто должен? — воскликнул Рамсес.

— Как кто? А дань от азиатских народов? Финикия должна вам пять тысяч, и, я ручаюсь, она их вернет, если не произойдет ничего неожиданного. Но, кроме нее, израильтяне должны три тысячи, филистимляне и моавитяне^[104] по две тысячи, хетты тридцать тысяч... Я не помню всех статей, но знаю, что в общем это составляет от ста трех до ста пяти тысяч талантов.

Рамсес кусал губы. Его подвижное лицо выражало бессильный гнев. Он опустил глаза и молчал.

— Так это правда? — вздохнул вдруг Хирам, вглядываясь в наместника. — Так это правда? Бедная Финикия! Бедный Египет!

— Что ты говоришь, достойнейший? — спросил наследник, хмуря брови. — Я не понимаю твоих причитаний.

— Видно, ты знаешь, царевич, о чем я говорю, раз не отвечаешь на мой вопрос.

Хирам встал, как будто собираясь уходить.

— Тем не менее я не возьму обратно своего обещания. Ты получишь, господин мой, сто талантов.

Он низко поклонился, но наместник заставил его сесть.

— Ты что-то скрываешь от меня, князь, — произнес он тоном, в котором чувствовалась обида. — Я хочу, чтобы ты объяснил мне, какая беда грозит Финикии или Египту.

— Неужели наследник фараона не знает этого? — спросил Хирам нерешительным тоном.

— Я ничего не знаю. Я провел больше месяца в храме.

— Как раз там и можно было все узнать.

— Ты скажешь мне! — вскричал наместник, стукнув по столу. — Я никому не позволю шутить со мной.

— Я расскажу тебе, если ты, царевич, дашь мне клятвенное обещание молчать. Хотя я не могу поверить, чтобы наследника престола не поставили в известность...

— Ты не доверяешь мне? — изумился Рамсес.

— В таком деле я потребовал бы обещания даже у фараона, — ответил Хирам решительно.

— Ладно — клянусь моим мечом и знаменами наших полков, что не расскажу никому того, что ты откроешь мне.

— Достаточно, — сказал Хирам.

— Так я слушаю.

— Известно ли тебе, царевич, что происходит сейчас в Финикии?

— Даже и этого не знаю, — перебил раздраженный наместник.

— Наши корабли, — зашептал Хирам, — плывут со всех концов света на родину, чтобы по первому сигналу перевезти все население и его имущество куда-нибудь за море, на запад...

— Почему? — удивился наместник.

— Потому что Ассирия хочет завладеть нами.

Рамсес расхохотался.

— Ты с ума сошел, почтеннейший старец! — воскликнул он. — Ассирия возьмет под свою власть Финикию! А что мы на это скажем? Мы, Египет?

— Египет уже дал согласие.

Вся кровь бросилась царевичу в голову.

— У тебя от жары мысли путаются, старик, — сказал он уже спокойно. — Ты забываешь, что такое согласие не может быть дано без ведома фараона и... моего.

— За этим дело не станет, а пока что заключили договор жрецы.

— Какие жрецы? С кем?

— С халдейским верховным жрецом Бероэсом, уполномоченным царя Ассара, — ответил Хирам. — Кто выступает от Египта — не могу сказать наверное, но кажется, что досточтимый Херихор, святой отец Мефрес и пророк Пентуэр.

Наследник побледнел.

— Имей в виду, финикиянин, — сказал он, — что ты обвиняешь высших сановников государства в измене.

— Ты ошибаешься, царевич, это вовсе не измена, старейший верховный жрец Египта и министр фараона имеют право вести переговоры с соседними державами. К тому же откуда ты знаешь, что все это делается без ведома фараона.

Рамсес вынужден был признать в душе, что такой договор был бы не изменой государству, а лишь пренебрежением к наследнику престола. Так вот как относятся жрецы к нему, который через год может стать фараоном! Так вот почему Пентуэр порицал войну, а Мефрес поддерживал его!

— Когда же был заключен договор? Где?

— По-видимому, ночью в храме Сета близ Мемфиса, — ответил Хирам. — А когда — я точно не знаю, но мне кажется, что в тот день, когда ты уезжал из Мемфиса.

«Ах, негодяи, — подумал Рамсес. — Так-то они считаются с моим положением наместника! Значит, они обманывали меня даже тогда, когда изображали мне состояние государства! Какой-то добрый бог внушал мне сомнения еще в храме Хатор!»

После минутной внутренней борьбы он сказал вслух:

— Быть не может, и я не поверю твоему рассказу, пока ты не представишь мне доказательства.

— Доказательство будет, — ответил Хирам. — Со дня на день должен приехать в Бубаст великий ассирийский владыка Саргон, друг царя Ассара. Он приезжает под предлогом паломничества в храм богини Ашторет. Саргон принесет дары вашему высочеству и его святейшеству, а затем вы заключите договор, вернее — скрепите печатью то, что порешили жрецы, на гибель финикиянам, а может быть, и на вашу собственную беду.

— Никогда! — воскликнул наследник. — А какое же вознаграждение получит за это Египет?

— Вот речь, достойная царя: чем вознаградят Египет? Для государства всякий договор хорош, если оно получает от него выгоду. И именно то меня и удивляет, — продолжал Хирам, — что Египет собирается заключить невыгодную сделку, ибо Ассирия захватит, кроме Финикии, чуть ли не всю Азию, а вам, словно из милости, оставит израильтян, филистимлян и Синайский полуостров. Само собой разумеется, что в таком случае пропадет вся дань, полагающаяся Египту, и фараон никогда не получит этих ста пяти тысяч талантов.

Наследник покачал головой.

— Ты не знаешь египетских жрецов, — ответил он. — Никто из них никогда не принял бы такого договора.

— Почему? Финикийская поговорка гласит: «Лучше ячмень в амбаре, чем золото в пустыне». Может случиться, что Египет, почувствовав себя слишком слабым, предпочтет даром получить Синай и Палестину, чем воевать с Ассирией. Но вот что меня удивляет... Ведь сейчас легче победить Ассирию, чем Египет! У нее какие-то затруднения на северо-востоке, войск мало, да и те неважные. Если бы Египет напал на Ассирию, он сокрушил бы ее, захватил бы несметные сокровища Ниневии и Вавилона и раз навсегда утвердил свою власть в Азии.

— Ну вот, видишь, значит, такого договора не может быть, — сказал Рамсес.

— Он был бы понятен для меня лишь в том случае... если бы жрецы... задумали свергнуть власть фараона в Египте. К этому, впрочем, они стремятся еще со времен твоего деда.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — перебил его наместник, однако на сердце у него стало тревожно.

— Может быть, я и ошибаюсь, — ответил Хирам, пристально глядя ему в глаза. — Но послушай...

Он придвинул свое кресло к царевичу и заговорил шепотом:

— Если бы фараон объявил войну Ассирии и выиграл ее, у него оказалась бы большая, преданная ему армия, сто тысяч недоплаченной дани, около двухсот тысяч талантов с Ниневии и Вавилона, наконец, около ста тысяч талантов ежегодно с завоеванных стран. Такое огромное богатство позволило бы ему выкупить поместья, заложенные у жрецов, и навсегда положить конец их вмешательству в дела власти.

У Рамсеса загорелись глаза. Хирам продолжал:

— А сейчас армия зависит от Херихора, то есть от жрецов, и, за исключением наемников, фараону не на кого рассчитывать. К тому же казна фараона пуста, и большая часть его поместий принадлежит храмам. Фараону, хотя бы для содержания двора, приходится каждый год делать новые долги. А так как финикиян у вас уже больше не будет, то вам придется занимать у жрецов. Таким образом, через десять лет фараон — да живет он вечно! — лишится последних своих поместий. А что потом?

На лбу у Рамсеса выступил пот.

— Так вот, видишь, достойный государь, — продолжал Хирам, — жрецы лишь в одном случае могли бы и даже вынуждены были бы принять позорный договор с Ассирией — если бы они хотели унижить и уничтожить власть фараона. Иначе остается предположить, что Египет слаб и нуждается в мире во что бы то ни стало...

Рамсес вскочил.

— Замолчи! — вскричал он. — Я предпочту измену вернейших слуг такому унижению страны! Как можно, чтобы Египет отдал Азию Ассирии. Ведь через год он сам попадет под ярмо, так как, подписывая такой договор, он признает свое бессилие.

Царевич начал взволнованно ходить взад и вперед. Хирам смотрел на него не то с состраданием, не то с сочувствием.

Вдруг Рамсес остановился и сказал:

— Все это ложь! Какой-то ловкий бездельник обманул тебя, Хирам, а ты ему поверил. Если бы существовал такой договор, он хранился бы в величайшей тайне. А ведь, по-твоему, выходит, что один из четырех жрецов, которых ты назвал, предал не только фараона, но и самих заговорщиков.

— Но ведь мог быть кто-то пятый, кто подслушал их, — заметил Хирам.

— И продал тебе секрет?

— Меня удивляет, — заметил Хирам, — что ты еще не познал могущества золота.

— Но у наших жрецов больше золота, чем у тебя, хоть ты и богач из богачей.

— Но и я не отказываюсь от лишней драхмы. Зачем же другим швыряться талантами?

— Они — слуги богов, — возражал, горячась, наследник. — Они побоялись бы божьей кары.

Финикиянин усмехнулся.

— Я видал, — ответил он, — много храмов разных народов, а в храмах множество идолов, больших и маленьких, деревянных, каменных и даже золотых. Но богов я не встречал нигде.

— Богохульник! — воскликнул Рамсес. — Я сам видел божество, чувствовал на себе его руку и слышал голос.

— Где это было?

— В храме Хатор, в преддверии храма, в моей келье.

— Днем? — спросил Хирам.

— Ночью, — ответил Рамсес и задумался.

— Ночью ты слышал голоса богов и чувствовал их руку? — повторил финикиянин, напирая на каждое слово. — Ночью многое может привидеться. Как же это происходило?

— Кто-то прикасался к моей голове, плечам, ногам, и клянусь...

— Те... — перебил Хирам с улыбкой, — не следует клясться понапрасну.

Он пристально посмотрел на Рамсеса своими пронизательными, умными глазами и, видя, что в душе юноши пробуждаются сомнения, сказал:

— Вот что я тебе скажу, государь, ты неопытен и окружен сетью интриг, а я был другом твоего деда и отца. Поэтому я окажу тебе одну услугу. Загляни когда-нибудь ночью в храм Ашторет, но... обещай мне сохранить тайну... Приходи один, и ты увидишь, какие там боги говорят с нами и прикасаются к нам.

— Приду, — ответил Рамсес, подумав.

— Предупреди меня, государь, в какой-нибудь день утром. Я тебе скажу вечерний пароль храма, и тебя пропустят. Только не выдай ни меня, ни себя, — прибавил с добродушной улыбкой финикиянин. — Боги иногда еще прощают разоблачение своих тайн, люди же — никогда.

Он поклонился и, воздев глаза и руки, стал шептать благословения.

— Лицемер! — воскликнул Рамсес. — Ты молишься богам, в которых не веришь?

Хирам окончил благословение и сказал:

— Да, я не верю в богов египетских, ассирийских, даже финикийских, но верю в единого, который не обитает в храмах и имя которого неведомо.

— Наши жрецы тоже верят в единого, — заметил Рамсес.

— И халдейские тоже, а все-таки и те и другие сговорились против нас... Нет правды на свете, дорогой царевич.

После ухода Хирама наследник заперся в самой отдаленной комнате под предлогом чтения священных папирусов.

Под влиянием только что слышанного в его пылком воображении почти мгновенно созрел новый план.

Прежде всего он понял, что между финикиянами и жрецами ведется тайная борьба не на жизнь, а на смерть. За что? Конечно, за влияние и богатство. Правду сказал Хирам, что если в Египте не станет финикийян, то все поместья фараона, номархов и всей аристократии перейдут во владение храмов.

Рамсес никогда не любил жрецов и давно уже знал и видел, что большая часть Египта принадлежит им, что их города — самые богатые, поля — лучше возделаны, народ у них живет в довольстве. Понимал он также, что половина богатств, принадлежавших храмам, освободила бы фараона от беспрестанных забот и усилила бы его власть. Царевич знал это и не раз с горечью высказывал. Но когда при содействии Херихора он стал наместником и получил командование корпусом Менфи, он примирился с жрецами и подавлял свою неприязнь к ним. Сейчас все снова поднялось в нем. Значит, жрецы не только не рассказали ему о своих переговорах с Ассирией, но даже не предупредили его о посольстве какого-то Саргона...

Возможно, впрочем, что этот вопрос представляет величайшую тайну храмов и государств. Но почему они скрывали от него сумму дани, не выплаченной разными азиатскими народами? Сто тысяч талантов! Да ведь это деньги, которые могли бы сразу поправить состояние финансов фараона! Почему они скрывают то, что знает даже тирский князь, один из членов Совета этого города?

Какой позор для него, наследника престола и наместника, что чужие люди открывают ему глаза!

Но было нечто худшее: Пентуэр и Мефрес всячески доказывали ему, что Египет должен избегать войны.

Уже в храме Хатор это показалось ему подозрительным: ведь война могла доставить государству сотни тысяч рабов и поднять общее благосостояние страны. Сейчас же она казалась ему тем более необходимой, что Египет должен был собрать невыплаченную дань и наложить новую.

Рамсес, подперев голову руками, считал:

«Нам предстоит собрать сто тысяч талантов дани... Хирам полагает, что ограбление Вавилона и Ниневии принесет около двухсот тысяч... итого триста тысяч единовременно. Такой суммой можно покрыть расходы самой длительной войны, а в виде прибыли останется несколько сот тысяч рабов и сто тысяч ежегодной дани со вновь завоеванных стран. А после этого, — заключил наследник, — мы рассчитались бы с жрецами!»

Рамсеса лихорадило. Однако у него мелькнула мысль:

«А если Египту окажется не по силам победоносная война с Ассирией?»

Но при этом сомнении вся кровь в нем вскипела.

«Как? Египет не сможет раздавить Ассирию, когда во главе армии встанет он, Рамсес, потомок Рамсеса Великого, который в одиночку бросался на хеттские военные колесницы и сокрушал их!»

Рамсес мог представить себе все, кроме того, что он может быть побежден, не в силах будет вырвать победу у великих властелинов.

Он чувствовал беспредельную отвагу и был бы удивлен, если бы враг не обратился в бегство при одном виде его скачущих коней. Ведь в военной колеснице рядом с фараоном — сами боги, чтобы заслонить его щитом, а врагов поразить небесными громами. «Но что этот Хирам говорил мне про богов? — подумал царевич. — И что он собирается показать мне в храме Ашторет? Посмотрим!»

Хирам сдержал обещание. Каждый день ко дворцу наместника в Бубасте подходили толпы невольников и длинные вереницы ослов, нагруженных пшеницей, ячменем, сушеным мясом, тканями и вином. Золото и драгоценные камни приносили финикийские купцы под наблюдением служащих Хирама.

Таким образом, наместник в течение пяти дней получил обещанные ему сто талантов. Хирам взял себе небольшие проценты — один талант с четырех в год — и не требовал залога, а ограничивался распиской наместника, засвидетельствованной в суде.

Потребности двора были щедро обеспечены: три наложницы наместника получили новые наряды, благовония и по несколько невольниц с кожей разного цвета, прислуга — обильную пищу и вино, царские работники — недоплаченное жалованье, солдаты — увеличенные порции.

Двор был в восторге, тем более что Тутмосу и другим благородным юношам, по приказу Хирама, были даны финикийцами довольно крупные суммы займы. Номарх же провинции Хабу и его высшие чиновники получили щедрые подарки.

Несмотря на все усиливавшуюся жару, пиршество сменялось пиршеством, увеселение увеселением. Наместник, видя всеобщую радость, был и сам доволен. Беспокоило его только одно: поведение Мефреса и других жрецов. Он думал, что эти высокие сановники будут укорять его за большой заем у Хирама, сделанный вопреки их наставлениям в храме Хатор. Между тем святые отцы молчали и даже не показывались при дворе.

— Что это значит, — сказал он однажды Тутмосу, — что жрецы не делают нам никаких упреков? Ведь такой роскошной жизни, как сейчас, мы еще никогда себе не позволяли. Музыка играет с утра до ночи, а мы пьем с восхода солнца и засыпаем в объятиях женщин или с кувшинами у изголовья...

— За что им упрекать нас? — ответил с негодованием Тутмос. — Ведь мы находимся в городе Ашторет, для которой самое приятное богослужение — это веселье, а самое желанное жертвоприношение — любовь! Впрочем, жрецы понимают, что после столь длительных лишений и поста ты вправе повеселиться.

— Они говорили тебе об этом? — спросил царевич с тревогой.

— Не раз. Не далее как вчера святой Мефрес сказал мне, смеясь, что

такого молодого человека, как ты, больше влечет веселье, чем богослужения или заботы по управлению государством.

Рамсес задумался. Значит, жрецы считают его легкомысленным мальчишкой, несмотря на то, что он благодаря Сарре не сегодня-завтра станет отцом? Но тем лучше! Для них будет сюрпризом, когда он заговорит с ними по-своему.

Правда, царевич и сам укорял себя в том, что, с тех пор как покинул храм Хатор, еще ни одного дня не посвятил делам нома Хабу. Жрецы могут подумать, что он и в самом деле удовлетворен объяснениями Пентуэра или что ему уже надоело заниматься государственными делами.

— Тем лучше!.. — повторял он. — Тем лучше!..

Замечая постоянные интриги среди окружавших его людей или подозревая их в таких интригах, Рамсес рано научился скрывать свои мысли. Он был уверен, что жрецы не догадываются, о чем он разговаривал с Хирамом и какие планы зародились в его голове. Ослепленные своей властью, они были довольны тем, что он забавляется, и рассчитывали, что это поможет им удержать бразды правления в своих руках.

«Боги настолько затуманили их разум, — думал Рамсес, — что им и невдомек, почему Хирам так расщедрился. Или этому хитроумному тирийцу удалось усыпить их подозрительность? Тем лучше!.. Тем лучше!..»

Рамсес испытывал странное удовольствие, думая, что жрецы обманулись, оценивая его способности. Он решил и дальше поддерживать их заблуждение и веселился напропалую.

Действительно, жрецы, и прежде всего Мефрес, ошиблись насчет Рамсеса и Хирама. Хитрый тириец делал вид, будто очень горд своими отношениями с наследником престола, а тот с не меньшим успехом разыгрывал роль веселящегося юнца.

Мефрес не сомневался, что наследник серьезно думает об изгнании финикийян из Египта и что и сам Рамсес и его придворные берут у них взаймы деньги, рассчитывая никогда их не отдавать.

Тем временем храм Ашторет, его обширные сады и дворы кишели богомольцами. Каждый день, если не каждый час, несмотря на чудовищную жару, из далекой Азии прибывали к великой богине новые толпы паломников. Странные это были богомольцы: усталые, потные, покрытые пылью, они шли с музыкой, приплясывая и горланя распутные песни. Целый день они пили вино, а ночь проходила у них в самом разнузданном разврате в честь богини Ашторет. Их можно было не только узнать, но даже почуять издали: они несли в руках огромные букеты

свежих цветов, а в узелках — издохших в течение года кошек, которых отдавали бальзамировать или набивать из них чучела парасхитам, проживающим в окрестностях Бубаста, а затем уносили домой как священную реликвию.

В начале месяца месоре (май — июнь) князь Хирам уведомил Рамсеса, что вечером он может прийти в финикийский храм Ашторет. Когда стемнело, наместник пристегнул сбоку короткий меч, накинул на себя плащ с капюшоном и, не замеченный никем из прислуги, тайком направился в дом Хирама.

Старый вельможа ожидал его.

— Ну, — спросил он с улыбкой, — ваше высочество не боится войти в финикийский храм, где на алтаре восседает жестокость, а служит ей распутство?

— Боюсь? — переспросил Рамсес, посмотрев на него чуть не с презрением. — Ашторет не Баал, а я не младенец, которого можно бросить в раскаленное чрево вашего бога.

— И ты веришь этому, государь?

Рамсес пожал плечами.

— О ваших жертвоприношениях рассказывал мне вполне надежный очевидец, — ответил он. — Однажды в бурю у вас погибло больше десяти кораблей. Тирские жрецы тотчас же устроили жертвоприношение, на которое собрались толпы народа. Перед храмом Баала на возвышении восседал исполинский бронзовый идол с головой быка. Брюхо у него было раскалено докрасна. И вот, по приказу ваших жрецов, глупые матери-финикиянки стали приносить самых красивых младенцев к подножию жестокого бога...

— Одних мальчиков, — вставил Хирам.

— Да, одних мальчиков, — повторил Рамсес. — Жрецы окропляли каждого младенца благовониями, украшали цветами, после чего идол хватал бронзовыми руками и пожирал орущего благим матом малютку. И каждый раз изо рта бога вылетало пламя...

Хирам тихонько смеялся.

— И ты веришь этому?

— Повторяю тебе, что мне это рассказывал человек, который никогда не лжет.

— Он рассказал тебе то, что действительно видел, — ответил Хирам. — Но не удивило ли его, что ни одна мать не плакала?

— Действительно, его удивило тогда равнодушие женщин, готовых проливать слезы по всякому пустяку. Но это доказывает только жестокость,

свойственную вашему народу.

Старый финикиянин покачал головой.

— Давно это было? — спросил он.

— Несколько лет назад.

— Что ж, — проговорил с расстановкой Хирам, — если ты согласишься посетить когда-нибудь Тир, я покажу тебе это торжество.

— Я не хочу смотреть на это.

— А потом мы пойдем на другой двор храма, и ты увидишь прекрасную школу, а в ней веселых и здоровых детей, тех самых, которых сожгли за несколько лет до того.

— Как? — воскликнул Рамсес. — Разве они не погибли?

— Они живут и растут, чтобы стать смелыми моряками. Когда ты, государь, наследуешь фараону, — да живет он вечно! — может быть, кто-нибудь из них поведет твои корабли.

— Значит, вы обманываете народ? — расхохотался наследник.

— Мы никого не обманываем, — ответил серьезно тириец. — Каждый сам себя обманывает, не требуя разъяснения непонятного ему обряда. У нас существует обычай, по которому бедные матери, желая обеспечить своих сыновей, приносят их в жертву государству. Эти дети действительно поглощаются статуей Баала, внутри которой находится раскаленная печь. Но обряд этот означает не то, что детей действительно сжигают, а лишь то, что они стали полной собственностью храма и погибли для своих матерей, как если бы попали в огонь. На самом деле они попадают не в печь, а к мамкам и нянькам, которые воспитывают их в течение нескольких лет. В дальнейшем их берет к себе школа жрецов Баала и обучает. Наиболее способные из воспитанников становятся жрецами или чиновниками, менее одаренные идут во флот и нередко добиваются большого богатства. Теперь, я думаю, ты не будешь удивляться, что тирские матери не оплакивают своих младенцев, и поймешь, почему в наших законах даже не предусмотрены наказания для родителей, убивающих своих детей, как это случается в Египте.

— Негодяи всюду найдутся, — заметил Рамсес.

— Но у нас нет детоубийц, ибо детей, которых не могут прокормить наши матери, берут на свое попечение государство и храмы.

Рамсес задумался. Вдруг он обнял Хирама и воскликнул с волнением:

— Вы гораздо лучше тех, кто рассказывает о вас такие страшные сказки. Я очень рад.

— И в нас есть немало дурного, — ответил Хирам, — но все мы будем верными твоими слугами, господин, когда ты нас позовешь...

— Так лир — спросил царевич, испытующе глядя ему в глаза.
Старик положил руку на сердце.

— Клянусь тебе, наследник египетского престола и будущий фараон, что, если когда-нибудь ты начнешь борьбу с нашим общим врагом, все финикияне, как один человек, поспешат к тебе на помощь. А вот это возьми себе на память о нашем сегодняшнем разговоре.

Он вынул из-под платья золотой медальон, испещренный таинственными знаками, и, шепча молитву, повесил его на шею Рамсеса.

— С этим амулетом, — сказал Хирам, — ты можешь объехать весь мир, и где только ни встретишь финикиянина, он поможет тебе советом, золотом, даже мечом. Но пора идти...

Прошло уже несколько часов после заката солнца, ночь была светлая, лунная. Нестерпимый дневной зной сменился прохладой. Воздух очистился от серой пыли, которая слепила глаза и не давала дышать. В светло-синем небе кое-где светились звезды, расплываясь в потоках лунного света.

Движение на улицах прекратилось, но кровли всех домов были усеяны веселящимися людьми. Город казался одним огромным залом, наполненным музыкой, песнями, смехом и звоном бокалов.

Царевич и финикиянин шли быстрыми шагами за город, держась менее освещенной стороны улицы. Несмотря на это, люди, пировавшие на плоских крышах, иногда замечали их, а заметив, приглашали к себе или бросали на них сверху цветы.

— Эй, вы там, ночные бродяги! — кричали они. — Если только вы не воры, которых ночь манит на промысел, идите к нам. У нас славное вино и веселые женщины!

Путники не отвечали на эти радушные приглашения, спеша своей дорогой. Наконец, они достигли той части города, где домов было меньше, но зато больше садов и где деревья благодаря влажным морским ветрам были выше и ветвистее, чем в южных провинциях Египта.

— Уже недалеко, — заметил Хирам.

Рамсес поднял глаза и увидел над густой зеленью деревьев квадратную башню бирюзового цвета и на ней другую, поменьше — белую. Это был храм Ашторет. Вскоре они вошли в глубь сада, откуда можно было охватить взглядом все здание.

Оно состояло из нескольких ярусов. Первый ярус представлял собой квадратную террасу длиной и шириной в четыреста шагов. Терраса покоилась на черном, вышиною в несколько метров, каменном основании. У восточной стороны находился выступ, куда справа и слева вели широкие

лестницы. Вдоль других сторон стояли башенки — по десяти с каждой. В простенках между ними было по пять окон.

Почти посредине первой террасы возвышалась вторая, тоже квадратная, со сторонами в двести шагов каждая. Сюда вела только одна лестница, а по углам возносились башни. Этот второй ярус был окрашен в пурпурный цвет.

На плоской крыше второго яруса была расположена еще одна квадратная терраса высотой в несколько метров золотистого цвета, а на ней, одна на другой, две башни: бирюзовая и белая.

Казалось, будто на землю поставили огромный черный куб, на него другой — пурпурный, поменьше, на этот — золотой, выше — бирюзовый, а еще выше — серебряный. К каждому из этих кубов вели лестницы, либо двойные — с боку, либо одиночные — с фасада, всегда с восточной стороны.

У лестницы и дверей стояли попеременно большие египетские сфинксы и крылатые ассирийские быки с человеческими головами.

Наместник, любуясь, смотрел на это здание; на фоне пышной растительности, ярко освещенное луной, оно казалось очень красивым. Храм был построен в халдейском стиле и резко отличался от египетских храмов системой ярусов и вертикальными стенами. У египтян стены больших зданий были обычно наклонные, как бы сходящиеся кверху.

В саду в разных местах виднелись домики и павильоны, всюду горели огни, раздавалось пение и музыка. Между деревьями мелькали иногда тени влюбленных парочек.

К прибывшим подошел старый жрец. Он обменялся несколькими словами с Хирамом и, низко поклонившись наследнику, сказал:

— Благоволи, господин, следовать за мною.

— И да хранят тебя боги, государь, — добавил Хирам, покидая их.

Рамсес пошел за жрецом. Несколько в стороне от храма, в самой гуще сада, стояла каменная скамья, а шагах в ста от нее — небольшой павильон, откуда слышалось пение.

— Там молятся? — спросил царевич.

— Нет, — ответил жрец с явной неприязнью, — это собрались поклонники Камы, нашей жрицы, хранящей огонь перед алтарем Ашторет.

— Кого же она сегодня примет?

— Никого, никогда! — ответил провожатый, видимо задетый вопросом. — Если жрица огня не сдержит обета чистоты, она должна умереть.

— Жестокий закон, — заметил наследник.

— Соболаговоли, господин, подождать на этой скамье, — холодно ответил финикийский жрец. — Когда же ты услышишь три удара в бронзовую доску, войди в храм, поднимись на террасу, а оттуда в пурпурный чертог.

— Один?

— Да.

Царевич сел на скамью под сенью оливкового дерева, прислушиваясь к женскому смеху, доносившемуся из павильона.

«Кама... красивое имя!.. Должно быть, молода и, вероятно, красива. А эти дураки-финикияне угрожают ей смертью, если... Может быть, они хотят таким образом обеспечить своей стране хотя бы десять — пятнадцать девственниц?»

Он усмехнулся про себя, но ему было грустно. Почему-то ему жаль было этой неизвестной женщины, для которой любовь была порогом могилы.

«Представляю себе Тутмоса на месте жрицы Камы: бедняга должен был бы умереть, не успев зажечь перед богиней ни одного светильника», — подумал наследник. В это мгновение у павильона послышались звуки флейты, игравшей какую-то грустную мелодию, которой вторили голоса женщин.

— А-а-а! А-а-а!.. — пели они, словно укачивая ребенка.

Отзвучала флейта, умолкли женщины, и вдруг раздался красивый мужской голос, певший по-гречески:

— «Лишь на крыльце блеснет твоя одежда, — как меркнут звезды, смолкают соловьи, и в сердце моем воцаряется тишина, как на земле, когда бледный рассвет приветствует ее перед восходом солнца...»

— А-а-а! Аа-а! Аа-а!.. — тихо пели женщины под аккомпанемент флейты.

— «Когда с молитвою идешь во храм, фиалки окружают тебя благоухающим облаком, бабочки порхают вокруг твоих уст, пальмы склоняют головы перед твоей красотой...»

— Аа-а! Аа-а! Аа-а!..

— «Когда не вижу тебя — смотрю на небо, чтобы вспомнить сладостное спокойствие твоего лица. Напрасный труд: небо не обладает твоей кротостью, а зной его — холод перед пламенем, испепелившим мое сердце...»

— Аа-а! Аа-а!..

— «Однажды я остановился среди роз, которые под взглядом твоих очей одеваются в белизну, пурпур и золото. Каждый их лепесток напомнил

мне час, каждый цветок — месяц, проведенный у твоих ног. И капли росы — это мои слезы, которые пьет жестокий ветер пустыни.

Дай знак — и я схвачу и унесу тебя на мою милую родину. Море защитит нас от преследователей, миртовые рощи скроют от взоров людских нашу любовь, и милостивые к влюбленным боги будут охранять наше счастье».

— Аа-а! Аа-а!..

Рамсес закрыл глаза и грезил. Сквозь опущенные ресницы он уже не видел сада, а только море лунного света, по которому плыли черные тени и разливалась песнь неизвестного человека, обращенная к неизвестной женщине.

Мгновеньями это пение так захватывало его, так глубоко проникало в душу, что наследник невольно задавал себе вопрос: не он ли поет, и даже не сам ли он эта песнь любви?

В эту минуту его сан, власть, важные государственные вопросы — все казалось ему ничтожным в сравнении с лунной ночью и криком влюбленного сердца.

Если бы ему пришлось выбирать между властью фараона и тем настроением, которое охватило его теперь, он предпочел бы это мечтательное забытие, которое поглотило весь мир, его самого и даже время и оставило только грусть, летящую в вечность на крыльях песни.

Вдруг он очнулся. Песня смолкла. В павильоне погасли огни, и на фоне его белых стен резко чернели пустые окна. Можно было подумать, что тут никто никогда не жил. Даже сад опустел и затих, даже легкий ветер перестал шелестеть листьями.

Раз!.. Два!.. Три!.. Из храма донеслись три мощных отзвука меди.

«Ага!.. Пора идти!» — подумал царевич, не зная хорошенько, куда надо идти и зачем.

Он направился к храму, серебристая башня которого возвышалась над деревьями, как бы призывая его к себе.

Он шел опьяненный, исполненный странных желаний. Ему было тесно среди деревьев, хотелось поскорее взобраться на вершину этой башни и, глубоко вздохнув, охватить взором беспредельный простор. Но, вспомнив, что сейчас месяц месоре и что со времени маневров в пустыне прошел уже год, он почувствовал желание вновь побывать там. С какой радостью вскочил бы он в свою легкую колесницу, запряженную парой лошадей, и умчался бы куда-то вперед, где не так душно и деревья не заслоняют горизонта...

Он очутился у подножья храма и поднялся на террасу. Было тихо и

пусто, будто все вымерло. Лишь где-то вдали журчали струи фонтана. Он сбросил на ступеньки свой бурнус и меч, еще раз посмотрел на сад, как бы прощаясь с луной, и вошел в храм. Над ним возвышались еще три яруса.

Бронзовые двери были открыты, по обеим сторонам входа стояли крылатые фигуры быков с человеческими головами, лица их выражали гордое спокойствие.

«Это ассирийские цари», — подумал Рамсес, глядя на их бороды, заплетенные в мелкие косички.

Внутренность храма была темна, как в самую темную ночь. Этот мрак подчеркивали белые полосы лунного света, падавшего сквозь узкие окна.

В глубине перед статуей богини Ашторет горели два светильника. Благодаря какому-то странному освещению сверху вся статуя была прекрасно видна. Рамсес смотрел на нее. Это была исполинских размеров женщина с крыльями страуса. С плеч ее спускалась длинная, в складках, одежда, на голове была остроконечная шапочка, в правой руке она держала пару голубей. Ее красивое лицо и опущенные глаза выражали такую нежность и невинность, что Рамсес поразился. Ведь это была покровительница мести и самого разнузданного разврата.

Финикия открыла ему еще одну из своих тайн.

«Станный народ, — подумал он, — их кровожадные боги не пожирают людей, а их разврату покровительствуют девственные жрицы и богиня с детским лицом».

Вдруг он почувствовал, как по ногам его быстро скользнуло что-то, точно змея. Рамсес отпрянул и остановился в полосе лунного света. И почти в то же мгновение услышал шепот:

— Рамсес! Рамсес!

Нельзя было различить, мужской ли это голос или женский и откуда он исходит.

— Рамсес! Рамсес! — послышался шепот как будто с полу.

Царевич ступил в неосвещенное место и, прислушиваясь, наклонился. Вдруг как будто две нежные руки легли на его голову.

Он вскочил, чтобы схватить их, но почувствовал пустоту.

— Рамсес! Рамсес! — донесся шепот сверху.

Он поднял голову и почувствовал на губах цветок лотоса, а когда протянул к нему руки, кто-то коснулся его плеча.

— Рамсес! Рамсес! — послышалось теперь со стороны алтаря.

Царевич повернулся и остолбенел: в полосе света в нескольких шагах от него, стоял прекрасный юноша, как две капли воды похожий на него. То же лицо, глаза, юношеский пушок на губе и щеках, та же осанка, движения,

одежда...

Рамсесу показалось, что он стоит перед огромным зеркалом, какого не было даже у фараона, но вскоре он убедился, что его двойник — не отражение, а живой человек. В то же мгновение он почувствовал поцелуй на шее. Он быстро повернулся, но уже никого не было, двойник исчез.

— Кто здесь? Я хочу знать! — воскликнул Рамсес в гневе.

— Это я — Кама... — ответил нежный голос.

И в полосе лунного света показалась нагая женщина с золотой повязкой вокруг бедер.

Рамсес подбежал к ней и схватил ее за руку. Она не вырывалась.

— Ты — Кама?.. Нет, ты ведь... Это тебя присылал когда-то ко мне Дагон? Только тогда ты называла себя Лаской...

— Я и есть Ласка, — ответила она наивно.

— Это ты прикасалась ко мне руками?

— Я.

— Каким образом?

— Вот так, — ответила она, закидывая ему руки на шею и целуя его.

Рамсес схватил ее в объятия, но она вырвалась с силой, какой трудно было ожидать от такой маленькой женщины.

— Так ты — жрица Кама? Так это тебя воспевал сегодня этот грек? — спросил царевич, страстно сжимая ее руки. — Кто он?

Кама презрительно пожала плечами.

— Он служит при храме, — сказала она.

У Рамсеса горели глаза, вздрагивали ноздри, в голове шумело. Несколько месяцев назад эта женщина не произвела на него никакого впечатления, а сейчас он готов был на любое безумство.

Он завидовал греку и в то же время чувствовал нестерпимую грусть при мысли, что если бы она стала его возлюбленной, то должна была бы умереть.

— Как ты прекрасна, — сказал он. — Где ты живешь?.. Ах да, знаю — в том павильоне... — Можно ли к тебе прийти?.. Если ты принимаешь у себя певцов, то должна принять и меня. Правда ли, что ты жрица, охраняющая священный огонь?

— Да.

— И ваши законы так жестоки, что не разрешают тебе любить? Это ведь только угроза... Для меня ты сделаешь исключение.

— Меня бы прокляла вся Финикия, и боги отомстили бы, — ответила она, смеясь.

Рамсес снова привлек ее к себе, но она опять вырвалась.

— Берегись, царевич, — сказала она вызывающе, — Финикия могущественна, ее боги...

— Какое мне дело до богов твоих или Финикии? Если хоть один волос упадет с твоей головы, я растопчу Финикию, как злую гадину.

— Кама! Кама! — послышался голос со стороны статуи.

Она испугалась.

— Вот видишь, меня зовут... Может быть, даже слышали твои кощунственные слова.

— Лишь бы они не услышали моего гнева!..

— Гнев богов страшнее...

Она вырвалась и скрылась во тьме храма, Рамсес бросился за ней, но вдруг отпрянул. Весь храм между ним и алтарем залило багровым пламенем, в котором метались какие-то чудовищные фигуры: огромные летучие мыши, гады с человеческими лицами, тени.

Пламя двигалось прямо на него во всю ширину здания, и Рамсес, ошеломленный невиданным зрелищем, отпрянул назад. Вдруг на него пахнуло свежим воздухом. Он оглянулся: он был уже вне храма. В тот же момент бронзовые двери с шумом захлопнулись за ним. Он протер глаза, посмотрел вокруг. Луна клонилась уже к закату. Рамсес нашел у колонны свой меч и бурнус, поднял их и спустился по лестнице, как пьяный.

Когда он поздно ночью вернулся во дворец, Тутмос, увидя его побледневшее лицо и мутный взгляд, спросил с испугом:

— Где это ты был, эрпатор? Да хранят тебя боги! Весь двор встревожен и не спит.

— Я осматривал город. Такая прекрасная ночь...

— Знаешь, Сарра родила тебе сына, — торопливо сообщил Тутмос, как будто боясь, чтобы его не опередили.

— В самом деле?.. Я хочу, чтобы никто из свиты не беспокоился обо мне, когда я ухожу из дворца.

— Один?

— Если б я не мог ходить один куда мне вздумается, я был бы самым несчастным рабом в этом государстве, — резко ответил наместник.

Он отдал меч и бурнус Тутмосу и один вошел в спальню.

Еще вчера известие о рождении сына преисполнило бы его радостью. Сейчас же он встретил его равнодушно. Он был полон воспоминаний о сегодняшнем вечере, самом странном, какой только пришлось ему испытать в жизни.

Лунный свет еще сиял перед его глазами. В ушах звучала песня грека. О, этот храм богини Ашторет!

Он не мог заснуть до утра.

На следующий день Рамсес встал поздно, сам искупался и, одевшись, велел позвать Тутмоса.

Расфранченный, умащенный благовониями, щеголь тотчас же явился. Он пристально взглянул на наследника, чтобы понять, в каком тот настроении, и сделать соответствующее лицо. Но на лице Рамсеса он прочел только усталость.

— Так ты уверен, — спросил он у Тутмоса, — что у меня родился сын?

— Я получил это известие от святого Мефреса.

— Ото! С каких это пор пророки интересуются моими семейными делами?

— С тех пор как они у тебя в милости, государь.

— Вот как? — сказал наследник и задумался.

Он вспомнил вчерашнюю сцену в храме Ашторет и мысленно сравнивал ее с подобными же в храме Хатор.

«Меня окликали, — рассуждал он про себя, — и тут и там. Но там, в храме, келья была очень тесная, стены толстые, а здесь тот, кто звал меня, мог скрываться за колоннами и говорить шепотом. Это и была Кама. Кроме того, здесь было темно, а в моей келье светло».

Вдруг он обратился к Тутмосу:

— Когда это случилось?

— Когда родился твой благородный сын? Должно быть, дней десять назад... Мать и ребенок здоровы и выглядят прекрасно. При родах присутствовал сам Менес, лекарь твоей досточтимой матери и достойного Херихора...

— Так, так... — произнес царевич, а сам продолжал думать:

«Кто-то прикасался ко мне... и тогда и в этот раз... Так есть ли разница? Кажется, есть. Хотя бы та, что там я не ожидал никаких чудес, а здесь готовился к ним... Но они показали мне моего двойника, чего там не догадались сделать... И умны же эти жрецы! Хотел бы я знать, кто так удачно подделался под меня — статуя или живой человек? Да, это умные люди! Однако не знаю, кто из них большие обманщики — наши жрецы или финикийские...»

— Слушай, Тутмос, — сказал он громко, — слушай, Тутмос... Нужно, чтобы они приехали. Я должен видеть своего сына... Наконец-то никто не

будет иметь права считать себя более достойным уважения, чем я.

— Что, сейчас приехать Сарре с сыном?

— Пусть приезжают как можно скорей, если только это позволяет состояние их здоровья. В пределах дворца есть много подходящих построек. Необходимо выбрать им для жилья тихий прохладный уголок среди зелени, так как скоро начнется жара... Пусть приезжают, я покажу всем своего сына!..

И он снова впал в задумчивость, что даже начало беспокоить Тутмоса.

«Да, они умны! Я знал, что жрецы обманывают народ самым бессовестным образом, — думал Рамсес. — Бедный святой Апис! Сколько его колотят во время процессий, пока крестьяне лежат перед ним на животе... Но что они решатся обманывать и меня, этому я бы не поверил... Голоса богов, невидимые руки, человек, которого обливали смолой, — все это были только присказки, а потом начались сказки Пентуэра про убыль земли и населения, про чиновников и финикиян. И все для того, чтобы отбить у меня охоту воевать».

— Тутмос, — сказал вдруг царевич.

— Падаю пред тобой ниц...

— Надо постепенно стянуть сюда полки из приморских городов. Я хочу произвести смотр войскам и наградить их за верность.

— А мы, знатные, разве не верны тебе? — спросил, смутившись, Тутмос.

— Знать и военные — это одно и то же.

— А номархи, чиновники?

— Знаешь, Тутмос, даже чиновники — и те верны мне, — ответил Рамсес. — Мало того, даже финикияне. Хотя у нас немало предателей.

— Ради всего святого, тише, — прошептал Тутмос и испуганно заглянул в соседнюю комнату.

— Ото! — засмеялся наследник. — Что это ты стал так осторожен? Значит, и для тебя не тайна, что у нас есть предатели?

— Я знаю, царевич, о ком ты говоришь, — ответил Тутмос, — ты всегда был предубежден против...

— Против кого?

— Против кого? Я догадывался... но мне казалось, что после примирения с Херихором и твоего пребывания в храме...

— Ну и что же, что я побывал в храме? Там, как и везде, я убедился, что лучшие земли, самые трудолюбивые крестьяне и ценнейшие сокровища принадлежат не фараону.

— Тише, тише, — прошептал Тутмос.

— Но ведь я всегда молчу, всегда приветлив, так позволь же мне хоть тебе высказать то, что у меня на душе. Впрочем, я имею право заявить даже в верховной коллегии, что в Египте, который нераздельно принадлежит моему отцу, я, его наследник и наместник, вынужден был занять сто талантов у какого-то тирского князька. Разве это не позор!

— Но почему ты именно сегодня говоришь об этом? — шепнул Тутмос, стараясь как можно скорее кончить этот опасный разговор.

— Почему? — повторил Рамсес и замолчал, опять погрузившись в раздумье.

«Пусть бы еще жрецы, — думал он, — обманывали меня: я пока всего лишь наследник фараона и не во все тайны могу быть посвящен. Но кто мне докажет, что они не поступали так же с моим досточтимым отцом? Тридцать с лишним лет он безгранично доверял им, преклонялся перед чудесами, приносил щедрые жертвы богам... для того, чтобы его богатства и власть перешли в руки честолубивых плутов! И никто не открыл ему на это глаза! Ведь фараон не может, как я, ходить ночью в финикийские храмы, и к нему самому никто не имеет доступа.

Кто может убедить меня, что жрецы не стремятся свергнуть власть фараона, как сказал Хирам... Ведь отец предупреждал меня, что финикийцы говорят правду, когда им это нужно. А они, несомненно, заинтересованы в том, чтобы не быть изгнанными из Египта и не попасть под власть ассирийцев. Ассирия — это стая бешеных львов. Где они пройдут — там остаются только развалины и трупы, как после пожара».

Вдруг Рамсес поднял голову и прислушался. Издали до него донесся звук флейт и рогов.

— Что это значит? — спросил он у Тутмоса.

— У нас большая новость, — ответил, улыбаясь, придворный. — Азиаты встречают знатного паломника из далекого Вавилона.

— Из Вавилона?.. Кто он?..

— Его зовут Саргон...

— Саргон?.. Ха-ха-ха!.. — расхохотался наследник. — Кто он такой?

Как будто важный сановник при дворе царя Ассара. Он привел с собой десять слонов, табуны прекраснейших скакунов пустыни, толпы невольников и слуг.

— А зачем он приехал сюда?

— Поклониться чудесной богине Ашторет, которую чтит вся Азия.

— Ха-ха-ха! — смеялся царевич, вспомнив, что Хирам предупреждал его о приезде ассирийского посла. — Саргон... Ха-ха-ха!.. Саргон, родственник царя Ассара, стал таким набожным, что отправляется в долгое

и утомительное путешествие, чтобы поклониться богине Ашторет в Бубасте. Да ведь в Ниневии он нашел бы более могущественных богов и более ученых жрецов! Ха-ха-ха!

Тутмос с изумлением смотрел на наследника.

— Что с тобой, Рамсес?

— Вот так чудо! — ответил наследник. — О таком не прочтешь ни в одном храме. Ты только подумай, Тутмос... в тот самый момент, когда ты думаешь, как поймать вора, который тебя все время обкрадывает, этот вор снова запускает руку в твой сундук, у тебя на глазах, при тысяче свидетелей. Ха-ха-ха! Саргон — благочестивый паломник!

— Ничего не понимаю, — растерянно бормотал Тутмос.

— Да и нечего тебе понимать, — ответил наместник. — Запомни только, что Саргон приехал сюда для совершения благочестивых обрядов в честь богини Ашторет.

— Боюсь, что все эти разговоры, — сказал еле слышно Тутмос, — небезопасны.

— А потому не рассказывай о них никому.

— Что я не расскажу, в этом можешь быть уверен, но как бы ты сам не выдал себя, царевич! Ведь ты вспыхиваешь, как молния.

Рамсес положил ему на плечо руку.

— Не беспокойся, — сказал царевич, глядя ему в глаза, — только бы вы сохранили мне верность, вы — знать и армия, и тогда вы станете свидетелями изумительных событий и... кончатся для вас трудные времена!..

— Знай, что мы все пойдем на смерть по одному твоему слову, — ответил Тутмос, прикладывая руку к груди.

Лицо его выражало необычайную серьезность, и наследник понял, не в первый, впрочем, раз, что в этом избалованном щеголе скрывается храбрый муж, на ум и меч которого можно положиться.

С тех пор наследник больше не вел с Тутмосом таких странных разговоров, но верный друг и слуга понял, что с приездом Саргона связаны какие-то важные государственные дела, самовольно разрешаемые жрецами.

Впрочем, вся египетская знать — номархи, чиновники и полководцы — с некоторых пор шептались о том, что надвигаются серьезные события. Финикияне, взяв с них клятву сохранить тайну, рассказывали им о каких-то договорах с Ассирией, в результате которых Финикия погибнет, а Египет покроет себя позором и в один прекрасный день станет данником Ассирии.

Среди аристократии поднялось страшное волнение, но никто не подавал и виду. Напротив, и при дворе наследника, и у номархов Нижнего

Египта веселье не прекращалось. Можно было подумать, что с наступлением жары всех обуяло безумие. Не проходило дня без игрищ, пиршеств и триумфальных шествий, не было ночи без иллюминаций и ликующих криков. Не только в Бубасте, но и в других городах появилась мода на уличные шествия с факелами, музыкой и с кувшинами, полными вина. Люди врывались в дома и приглашали сонных обитателей на пирушки. А так как египтяне были очень падки на развлечения, то развлекались все.

Пока Рамсес пребывал в храме Хатор, финикияне, объятые каким-то паническим страхом, проводили дни в молитве и остерегались давать кому бы то ни было взаймы. Но после разговора Хирама с наследником благочестие и осторожность покинули финикиян, и они стали щедрее, чем когда-либо.

Такого обилия золота и товаров в Нижнем Египте, а главное, таких малых процентов по ссудам не помнили даже старики. Этот разгул, царивший в высших классах египетского общества, не укрылся от внимания суровой касты жрецов. Однако они не догадывались, что за этим кроется, и святой Ментесуфис, регулярно доносивший Херихору о местных делах, продолжал сообщать ему, что наследник, которому наскучила благочестивая жизнь в храме Хатор, веселится до потери сознания, а с ним веселится и вся знать.

Достойный министр даже не отвечал на эти доклады. Это доказывало, что кутежи царевича он считает делом естественным и, пожалуй, даже полезным.

При таком отношении окружающих Рамсес пользовался большой свободой. Почти каждый вечер, когда придворные напивались, он скрывался украдкой из дворца.

Закутавшись в темный офицерский бурнус, он пробегал через пустынные улицы и попадал за город в сады храма Ашторет.

Там, дойдя до скамьи против павильона Камы и укрывшись за деревьями, Рамсес смотрел на пылающие факелы, слушал песни поклонников жрицы и мечтал о ней.

Луна была на ущербе; она всходила с каждым вечером все позже, ночи были темные, но Рамсес по-прежнему видел ясный свет той первой ночи и слышал страстное пение грека.

Иногда он вставал со скамьи, чтобы пойти к Каме, но его удерживал стыд. Он чувствовал, что наследнику престола не подобает появляться в доме жрицы, куда имеет доступ каждый паломник, сделавший более или менее щедрое пожертвование для храма, а главное, боялся, чтобы вид

Камы, окруженной пьяными поклонниками, не стер в его памяти чудесного видения той лунной ночи.

В тот раз, когда Дагон прислал Каму, чтобы отвратить гнев наместника, она показалась Рамсесу милой девушкой, из-за которой, однако, не стоит терять голову. Но когда впервые в жизни он, военачальник и наместник, сидел у дома женщины, когда ночь навевала на него истому и он слушал пылкое признание другого мужчины, в нем проснулось какое-то неведомое чувство, в котором сливались страсть, печаль и ревность.

Если бы он мог свободно обладать Камой, она очень скоро надоела бы ему, а быть может, и совсем его не привлекла. Но смерть, сторожившая ее на пороге спальни, этот влюбленный певец, наконец, его собственная унижительная для человека, занимающего столь высокое положение, роль — все это было ему ново, а потому заманчиво. И вот почти каждый вечер в течение этих десяти дней он с закрытым лицом приходил в сад храма Ашторет.

Однажды вечером, выпив во время пирушки много вина, Рамсес, по обыкновению, украдкой вышел из дворца. Он твердо решил, что сегодня войдет в дом Камы, а ее поклонники пусть распевают за окном.

Он быстро шел по городу, но, дойдя до садов, принадлежащих храму, снова почувствовал стыд и замедлил шаг.

«Слыханное ли дело, — размышлял он, — чтобы наследник фараона бегал за женщинами, как бедный писец, которому негде взять займы десять драхм. Все приходили ко мне, — должна прийти и эта».

Он хотел уже вернуться.

«Но ведь она не может сделать этого, — мелькнула у него мысль. — Ее убьют».

Он остановился в нерешительности.

«Но кто убьет ее?.. Хирам, который ни во что не верит, или Дагон, для которого нет ничего святого?.. Да, но здесь много других финикиян, сотни тысяч паломников — фанатиков и дикарей. В глазах этих глупцов Кама, посещая меня, совершила бы святотатство...»

И он снова пошел по направлению к дому жрицы, не думая даже, что ему угрожает опасность, ему, который, не извлекая меча, одним взглядом может повергнуть весь мир к своим стопам. Он, Рамсес, и опасность!..

Выйдя из-за деревьев, наследник увидел, что в доме жрицы царит оживление и освещен он ярче, чем всегда. В покоях и на террасах было много гостей, а вокруг павильона толпился народ.

«Что это за люди?» — удивился наследник.

Сборище было необычное. Неподалеку от дома стоял огромный слон с

раззолоченным паланкином на спине, завешенным пурпурными занавесками. Рядом со слоном ржало и било копытами землю больше десятка лошадей с толстыми шеями и ногами: хвосты у них были внизу перевязаны, а головы украшены какими-то металлическими шлемами.

Среди беспокойных полудиких животных суеилось несколько десятков людей, каких Рамсес еще не видывал. У них были взлохмаченные волосы, огромные бороды, остроконечные шапки с наушниками. На одних была длинная, до щиколоток, одежда из толстого сукна, на других — короткие куртки и шаровары, у некоторых — сапоги с голенищами, но все они были вооружены мечами, луками и копьями.

При виде этих чужеземцев, сильных, неуклюжих, непристойно громко хохочущих, воняющих бараньим салом, переговаривающихся между собой на незнакомом гортанном языке, Рамсес вскипел. Как лев, даже если он не голоден, завидев врага, сразу готовится к прыжку, так и наследник почувствовал к ним страшную ненависть, хотя они ничего плохого ему не сделали. Его раздражал их язык, их одежда, исходивший от них запах и даже их лошади. Кровь вскипела в нем, и он схватился за меч, чтобы броситься и изрубить этих пришельцев и их коней. Но вдруг опомнился.

«Это Сет околдовал меня», — подумал он.

Мимо прошел нагой человек в чепце и повязке вокруг бедер. Наследник почувствовал, что он ему приятен и даже дорог в эту минуту, потому что это был египтянин. Рамсес достал золотое кольцо стоимостью в несколько драхм и отдал его рабу.

— Послушай, — спросил он, — что это за люди?

— Ассирийцы, — прошептал египтянин, и ненависть сверкнула в его глазах.

— Ассирийцы? Что же они тут делают?

— Их господин, Саргон, ухаживает за святой жрицей Камой, а они его охраняют... Нет на них проказы!..

— Ну, ступай!

Нагой человек низко поклонился Рамсесу и побежал, очевидно, на кухню.

«Так это ассирийцы!.. — думал Рамсес, присматриваясь к странным фигурам и вслушиваясь в непонятный ему язык. — Они уже на берегах Нила, чтобы побрататься с нами или обмануть нас, и их вельможа, Саргон, ухаживает за Камой!»

Он повернул домой. Его мечтательное настроение исчезло под влиянием этого нового, нахлынувшего на него чувства. Он, человек благородный и мягкий, впервые столкнувшись с извечными врагами

Египта, почувствовал смертельную ненависть к ним.

Когда, покинув храм богини Хатор, наследник после разговора с Хирамом начал думать о войне с Азией, это были только размышления. Египет нуждался в людях, а фараон — в деньгах, а так как война была самым легким способом добыть их и удовлетворяла его стремление к славе, то он носился с планами войны.

Но в данный момент его не интересовали ни сокровища, ни рабы, ни слава, — в душе его заговорил всесильный голос ненависти. Фараоны так долго воевали с ассирийцами, обе стороны пролили столько крови, ненависть пустила такие глубокие корни, что при одном виде ассирийских солдат наследник хватался за меч. Казалось, дух погибших воинов, все их страдания и подвиги вселились в душу царского отпрыска и зывали о мщении.

Вернувшись во дворец, он приказал позвать Тутмоса.

Тот был пьян, а наследник полон ярости.

— Знаешь, кого я сейчас видел? — обратился Рамсес к своему любимцу.

— Может быть, кого-нибудь из жрецов... — прошептал Тутмос.

— Ассирийцев! О боги! Что я почувствовал! Какой это подлый народ! Они похожи на зверей. С ног до головы в бараньих шкурах, и от них несет прогорклым салом... А какие бороды, волосы! И какая ужасная речь!..

Рамсес взволнованно ходил по комнате.

— Я думал, что презираю жадных писцов, лицемерных номархов, что ненавижу хитрых и честолюбивых жрецов... Я питал отвращение к евреям и опасался финикиян... Но только теперь, увидя ассирийцев, я узнал, что такое ненависть. Теперь я понимаю, почему собака набрасывается на кошку, перебегающую ей дорогу.

— К евреям и финикиянам ты, государь, уже привык, а ассирийцев видишь в первый раз.

— Что финикияне! — говорил Рамсес точно сам с собою. — Финикиянин, филистимлянин, шасу^[105], ливиец, даже эфиоп — это как будто члены нашей семьи. Когда они не платят дани, мы сердимся на них, а заплатят — прощаем... Ассирийцы же совсем чужие нам, это враги. Я не успокоюсь, пока не увижу поля, усеянного их трупами, пока не доведу счет их отрубленным рукам до ста тысяч...

Тутмос никогда не видел Рамсеса в таком состоянии.

Несколько дней спустя наместник послал своего любимца к Кама с приглашением. Она явилась немедленно в плотно занавешенных носилках. Рамсес принял ее наедине.

— Я был, — сказал он, — однажды вечером у твоего дома.

— О Ашторет! — воскликнула жрица. — Чему я обязана столь высокой милостью! И отчего ты, достойный господин, не соизволил позвать свою рабыню?

— Там были какие-то скоты. Кажется, ассирийцы.

— Значит, вчера вечером ты, господин, беспокоил себя? Я никогда не смела бы подумать, что наш повелитель в нескольких шагах от меня под открытым небом.

Наместник покраснел. Как удивилась бы она, узнав, что он столько вечеров провел под ее окном!

А может быть, она и знала, если судить по ее улыбке и опущенным глазам...

— Итак, Кама, ты принимаешь у себя ассирийцев? — продолжал Рамсес.

— Это знатный вельможа, родственник царя, Саргон; он пожертвовал нашей богине пять талантов! — воскликнула Кама.

— А теперь ты готова ради него на жертвы? — спросил наследник с насмешкой. — И потому, что он так щедр, финикийские боги не покарают тебя смертью?

— Что ты говоришь, господин? — ответила она, всплескивая руками. — Разве ты не знаешь, что ни один азиат, встретив меня хотя бы в пустыне, не прикоснется ко мне, даже если бы я сама отдалась ему. Они боятся богов...

— Зачем же приходит к тебе этот вонючий... нет, этот благочестивый азиат?

— Он хочет уговорить меня, чтобы я поехала в храм вавилонской Ашторет.

— И ты поедешь?

— Поеду, если ты господин мой, повелишь... — ответила Кама, закрывая лицо прозрачным покрывалом.

Наследник молча взял ее за руку. Губы его вздрагивали.

— Не прикасайся ко мне, господин, — шептала она взволнованно. —

Ты мой повелитель, ты оплот мой и всех финикиян в этой стране. Но будь милосерд...

Наместник отпустил ее руку и стал ходить по комнате.

— Жарко сегодня, не правда ли? — сказал он. — Говорят, есть страны, где в месяце мехир падает с неба на землю холодный белый пух, который на огне превращается в воду. О Кама, попроси своих богов, чтобы они ниспослали мне немного этого пуху! Хотя — что я говорю! — если бы они покрыли им весь Египет, он не охладил бы моего сердца...

— Потому что ты — божественный Амон, солнце в образе человеческого, — ответила Кама. — Тьма рассеивается там, куда ты обращаешь свой лик, и под лучами твоих очей вырастают цветы...

Рамсес снова подошел к ней.

— Но будь милосерд! — прошептала она. — Ведь ты — добрый бог и не можешь обидеть свою жрицу.

Он опять отошел и сделал движение, как будто желая сбросить с себя какую-то тяжесть. Кама смотрела на него из-под опущенных век и едва заметно улыбалась.

Когда молчание слишком затянулось, она спросила:

— Ты велел позвать меня, повелитель. Я здесь и жду, чтобы ты объявил мне свою волю.

— Ах да, — очнулся наследник, — скажи мне, жрица, кто был тот юноша, так похожий на меня, которого я видел в вашем храме?

Кама приложила палец к губам.

— Священная тайна, — прошептала она.

— Одно — тайна, другое — запрещено. Позволь мне хотя бы узнать, кто он: человек или дух?

— Дух.

— И этот дух распевал под твоими окнами?

Кама улыбнулась.

— Я не хочу посягать на тайны вашего храма, — сказал наследник.

— Ты поклялся, господин, Хираму, — напомнила жрица.

— Хорошо! Хорошо! — перебил с раздражением наследник. — Поэтому я не буду говорить об этом чуде ни с Хирамом, ни с кем-либо другим... Кроме тебя. Так вот, Кама, скажи этому духу или человеку, который так похож на меня, чтоб он поскорее убрался из Египта и никому не показывался. Ни в каком государстве не может быть двух наследников престола.

И вдруг его поразила одна мысль.

— Интересно знать, — сказал он, пристально глядя на Каму, — для

чего твои соплеменники показали мне этого двойника? Они предупреждают меня, что у них есть для меня заместитель? В самом деле, меня удивляет их поступок.

Кама упала к его ногам.

— О господин, — прошептала она. — Ты носишь на груди наш высший талисман и не должен допускать и мысли, что финикияне способны повредить тебе. Но подумай сам: если тебе будет угрожать опасность или ты захочешь обмануть своих врагов, — разве не пригодится такой человек?

Наследник задумался и пожал плечами.

«Да, — подумал он, — если только я буду нуждаться в чьей-либо защите... Но неужели финикияне считают, что я один не справлюсь? Плохого тогда они выбрали себе покровителя!»

— Господин, — прошептала Кама, — разве тебе не известно, что у Рамсеса Великого были двойники — для врагов? И обе эти царские тени погибли, а он продолжал жить.

— Довольно, — остановил ее наследник. — А чтобы народы Азии знали, что я милостив, я жертвую, Кама, пять талантов на игрища в честь Ашторет и драгоценный кубок в ее храм. Сегодня же ты их получишь.

Он кивком головы отпустил жрицу.

Когда она ушла, новые мысли нахлынули на него.

«В самом деле, хитры эти финикияне. Если мой двойник — человек, это может оказаться очень кстати, и я буду творить со временем чудеса, о каких в Египте, пожалуй, никогда и не слыхали. Фараон живет в Мемфисе и одновременно появляется в Фивах и в Танисе^[106]... Фараон продвигается с армией к Вавилону, ассирийцы собирают там главные свои силы, а в это время фараон с другой армией захватывает Ниневию... Я думаю, ассирийцы будут немало изумлены такими чудесами...»

И в душе его снова проснулась глухая ненависть к могущественным азиатам. Он уже видел свою триумфальную колесницу, объезжающую поле недавнего сражения, усеянное трупами ассирийцев, и целые корзины отрубленных рук. Теперь война стала для его души такой же необходимостью, как хлеб, ибо она помогла бы ему не только обогатить Египет, наполнить казну и обрести неувядаемую славу, но и удовлетворила бы бессознательную дотоле, а сейчас мощно пробудившуюся жажду сокрушения Ассирии.

Пока он не видел этих воинов с всклокоченными бородами, он не думал о них. Сейчас же они мешали ему. Ему было так тесно с ними на земле, что кто-то должен был уйти: они или он.

Какую роль сыграли тут Хирам и Кама, он не отдавал себе отчета. Он чувствовал только, что должен воевать с Ассирией, как перелетная птица чувствует, что в месяце пахон должна улететь на север.

Жажда войны все больше овладевала царевичем. Он меньше разговаривал, реже улыбался, на пирах часто задумывался и все больше проводил времени с войсками и аристократией. Видя милости, которые оказывал наместник тем, кто носит оружие, знатная молодежь и даже люди постарше стали вступать в полки. Это обратило на себя внимание святого Ментесуфиса, и он отправил Херихору письмо следующего содержания:

«Со времени прибытия в Бубаст ассирийцев наследник сильно возбужден и двор его настроен весьма воинственно. Пьют и играют в кости по-прежнему, но все сбросили тонкие одежды и парики и, невзирая на страшную жару, ходят в солдатских чепцах и кафтанах.

Я опасаюсь, что это воинственное настроение может не понравится достойному Саргону».

На это Херихор ответил:

«Не беда, если наши изнеженные барчуки во время пребывания у нас ассирийцев проявят любовь к военному делу: те только будут больше уважать нас за это. Достойнейший наместник, очевидно, вразумленный богами, угадал, что полезно побряцать оружием, когда у нас гостят послы столь воинственного народа. Я уверен, что доблестный дух нашей молодежи заставит Саргона призадуматься и сделает его более податливым в переговорах».

Впервые за все существование Египта случилось, что молодой наследник обманул бдительность жрецов. Правда, большую роль сыграли в этом финикияне, открыв ему тайну договора между Ассирией и жрецами, чего жрецы не подозревали.

К тому же отличной маской, скрывавшей стремления наследника перед высшими сановниками жреческой касты, было непостоянство его характера. Все помнили, как легко в прошлом году забыл он маневры в Пи-Баилосе ради тихой усадьбы Сарры и как в последнее время бросался от пирушек к делам и от благочестивой жизни к попойкам. Поэтому, за исключением Тутмоса, никто не поверил бы, что у этого непостоянного юноши есть какой-то план, какая-то цель, к осуществлению которой он будет стремиться с непреодолимым упорством.

На этот раз даже не пришлось долго ждать нового доказательства его непостоянства.

В Бубаст, несмотря на жару, приехала Сарра со всем своим двором и с сыном. Она немного похудела, ребенок был слегка нездоров или утомлен

дорогой, но и тот и другая были очень хороши.

Наследник пришел в восторг. Он отвел Сарре павильон в самой красивой части дворцового сада и почти Целые дни проводил у колыбели сына.

Пирушки, маневры, печальные мысли — все было забыто. Молодым аристократам приходилось теперь пить и веселиться одним; они сняли мечи и снова превратились в франтов. Смена костюма была тем более необходима, что царевич водил их в павильон Сарры, чтобы показать им сына — своего сына.

— Посмотри, Тутмос, — говорил он своему любимцу, — какой чудный ребенок. Настоящий лепесток розы. И вот из этого крошки вырастет когда-нибудь настоящий человек! Этот розовый птенчик будет когда-нибудь бегать, говорить, даже учиться мудрости в жреческих школах. Ты полюбуйся, Тутмос, на его ручонки! — говорил Рамсес. — Запомни эти крохотные ручки, чтобы рассказывать о них, когда я дам ему полк и прикажу носить за мной секиру... И это мой сын, мой родной сын!

Неудивительно, что, слушая своего господина, его придворные огорчались, что не могут быть няньками и даже мамками этого ребенка, который, не имея никаких династических прав, был все же первенцем будущего фараона.

Идиллия эта, однако, очень скоро окончилась, так как не входила в интересы финикиян.

Однажды Хирам явился во дворец с целой толпой купцов, рабов и тех египтян, которые кормились его милостыней, и, представ перед наследником, сказал:

— Великодушный господин наш! В доказательство того, что сердце твое полно милости и к нам, азиатам, ты подарил нам пять талантов-на устройство игрищ в честь богини Ашторет. Воля твоя исполнена, мы подготовили игрища и теперь пришли просить тебя, чтобы ты соблаговолил почтить их своим присутствием.

Говоря это, седовласый тирский князь преклонил колена и преподнес ему на золотом подносе золотой ключ от ложи цирка.

Рамсес охотно принял приглашение, а святые жрецы Мефрес и Ментесуфис не возражали против того, чтобы наместник принял участие в торжествах в честь богини Ашторет.

— Во-первых, — говорил достойнейший Мефрес Ментесуфису, — Ашторет — это то же, что наша Исида или халдейская Иштар. Во-вторых, если мы разрешили азиатам выстроить храм на нашей земле, то приличествует хотя бы изредка оказывать внимание их богам.

— Мы даже обязаны оказать эту любезность финикиянам, после того как заключили наш договор с ассирийцами, — добавил, смеясь, достойный Ментесуфис.

Цирк, куда отправился в четыре часа пополудни наместник с номархом и знатными офицерами, был сооружен в саду храма Ашторет. Он представлял собой круглое поле, окруженное оградой в два человеческих роста. Вдоль ограды поднимались амфитеатром ложи и скамейки. Крыши не было. Зато над ложами были натянуты в виде крыльев бабочек разноцветные полотнища, которые прислужники sprыскивали благовонной водой и ритмически раскачивали для охлаждения воздуха.

Когда наместник появился в своей ложе, собравшиеся в цирке азиаты и египтяне огласили воздух громкими кликами. Зрелище началось шествием музыкантов, певцов и танцовщиц.

Рамсес огляделся. По правую руку от него была ложа Хирама и знатнейших финикийн. По левую — ложа финикийских жрецов и жриц, среди которых Кама, занимая одно из первых мест, обращала на себя внимание богатым нарядом и красотой. На ней был прозрачный хитон, украшенный разноцветной вышивкой, золотые запястья на руках и ногах, а на голове повязка с цветком лотоса, искусно сделанным из драгоценных камней.

Кама вместе со своими спутниками низко поклонилась царевичу и, повернувшись к соседней ложе, стала оживленно разговаривать с каким-то чужеземцем величественной осанки, борода и волосы которого были заплетены во множество мелких косичек.

Рамсес, явившийся в цирк прямо от колыбели своего сына, был весел. Увидав, однако, что Кама разговаривает с чужим человеком, он нахмурился.

— Ты не знаешь, — спросил он Тутмоса, — с кем это там любезничает жрица?

— Это и есть знаменитый вавилонский паломник, достойнейший Саргон.

— Да ведь он же старик, — заметил царевич.

— Он, конечно, старше нас двоих, вместе взятых, но красивый мужчина.

— Разве такой варвар может быть красивым? — возмутился наместник. — Я уверен, что от него пахнет бараньим жиром.

Они замолчали: наследник — негодуя, Тутмос — испугавшись, что осмелился похвалить человека, который не нравится его господину.

Между тем на арене одно зрелище сменялось другим: выступали гимнасты, укротители змей, танцовщицы, фокусники и шуты, вызывая

шумное одобрение зрителей.

Наместник хмурился. В душе его ожили на время уснувшие страсти: ненависть к ассирийцам и ревность к Каме.

«Как может, — размышлял он, глядя на Каму, — эта женщина кокетничать со стариком, у которого к тому же лицо цвета дубленой кожи, черные бегающие глазки и борода, как у козла?»

Только один раз наследник внимательно посмотрел на сцену.

Вышло несколько нагих халдеев. Старший из них воткнул в землю три дротика, остриями кверху, и движением рук усыпил младшего, остальные взяли усыпленного на руки и положили на острые концы дротиков так, что один поддерживал его голову, другой спину, а третий ноги.

Усыпленный был неподвижен. Старик сделал над ним еще несколько движений руками и выдернул из земли дротик, поддерживавший ноги. Немного спустя он вытащил дротик из-под спины и, наконец, отбросил и тот, на котором покоилась голова.

И вот средь бела дня на глазах у тысяч зрителей усыпленный халдеей повис горизонтально в воздухе без всякой опоры на высоте нескольких локтей от земли.

Наконец, старик толчком заставил его опуститься на землю и разбудил.

Зрители были в изумлении; никто не смел ни вскрикнуть, ни хлопнуть в ладоши, только из некоторых лож полетели на сцену цветы.

Рамсес был тоже удивлен. Он наклонился к ложе Хирама и сказал на ухо старому князю:

— А такое чудо вы могли бы показать в храме Ашторет?

— Я не знаю всех тайн наших жрецов, — ответил Хирам, смутившись, — но знаю, что халдеи очень ловкий народ...

— Однако мы все видели, что этот юноша висел в воздухе.

— Если на нас не навели чары, — недовольно ответил Хирам и нахмурился.

После непродолжительного перерыва, во время которого по ложам вельмож разносили свежие цветы, холодное вино и сладости, началась наиболее интересная часть зрелища — бой быков.

Под звуки труб, барабанов и флейт на арену вывели громадного быка; голова и глаза его были закрыты куском холста. За ним вбежало несколько голых людей, вооруженных копьями, и один с коротким кинжалом.

По знаку, данному наследником, слуги разбежались, а один из копьеносцев сорвал с головы быка холстину. Животное несколько мгновений стояло ошеломленное и вдруг погналось за людьми, дразнившими его уколами копий.

Борьба продолжалась несколько минут. Люди мучили быка, а тот с пеной у рта, обливаясь кровью, поднимался на дыбы и преследовал своих врагов, но не в силах был их догнать.

Наконец он упал под хохот зрителей.

Наследник томился и смотрел не на арену, а на ложу финикийских жрецов. Он видел, что Кама пересела поближе к Саргону и вела с ним оживленный разговор. Ассириец пожирал ее глазами, а она со стыдливой улыбкой то шептала ему что-то, наклоняясь так близко, что ее волосы смешивались с курчавой гривой варвара, то отворачивалась с деланным гневом.

Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце. Впервые женщина при нем оказывала предпочтение другому мужчине. К тому же человеку пожилому, ассирийцу!..

В публике раздался глухой шум. На арене человек, вооруженный кинжалом, велел привязать себе левую руку к груди, другие осмотрели свои копья, и слуги ввели второго быка.

Один из копьеносцев сорвал с его глаз холстину. Бык повернулся и повел вокруг глазами, как бы считая противников. Когда те начали его колоть, он попятился к самой ограде, обеспечивая себе тыл. Потом наклонил голову и только исподлобья следил за движениями нападавших.

Сначала, чтобы уколоть его, копьеносцы осторожно подкрадывались сбоку. Видя, однако, что животное стоит неподвижно, они осмелели и стали пробегать перед ним все ближе и ближе.

Бык еще ниже наклонил голову и продолжал стоять как вкопанный. Среди публики раздался смех. Но вдруг веселье ее сменилось криком ужаса. Бык улучил минуту, грузно метнулся вперед и, подхватив на рога зазевавшегося человека, вскинул его вверх.

Тот грохнулся наземь с перебитыми костями, а бык помчался во весь опор на другой конец арены и там стал ждать нападения.

Копьеносцы опять окружили его и начали дразнить. Тем временем на арену выбежали цирковые прислужники, чтобы унести стонавшего раненого. Несмотря на участвовавшие уколы копий, бык стоял, не двигаясь, но как только трое слуг подняли на руки обессиленного бойца, он с быстротою вихря бросился на них, опрокинул и стал безжалостно топтать ногами.

В публике поднялось смятение: женщины плакали, мужчины бранились и бросали в быка все, что было под рукой.

На арену полетели палки, ножи, даже доски от скамеек.

К расвирепевшему животному подбежал человек с мечом, но

остальные растерялись и не успели ему на помощь, бык опрокинул его и погнался за остальными.

Произошло нечто до сего небывалое в цирке: на арене пять человек лежало, остальные, неловко защищаясь, спасались от разъяренного животного бегством, а публика выла от возмущения и страха.

Вдруг все стихло. Зрители вскочили с мест и наклонились вперед, а Хирам побледнел и раскинул руки. На арену из лож; высшей знати выскочило двое: царевич Рамсес с выхваченным из ножен мечом и Саргон с коротким топориком.

Бык, нагнув голову к самой земле и задрав кверху хвост, мчался вокруг арены, вздымая облака пыли. Он несся прямо на царевича, но, словно отпрянув перед величием царственного отпрыска, миновал Рамсеса и бросился на Саргона, но... пал на месте. Ловкий, атлетически сложенный ассириец повалил его одним ударом топорика между глаз.

Зрители взвыли от восторга, и на Саргона и его жертву посыпались цветы. Между тем Рамсес стоял с обнаженным мечом, недоумевающий и возмущенный, и смотрел, как жрица Кама вырывает цветы у своих соседей и бросает их ассирийцу.

Саргон равнодушно принимал проявления восторга зрителей. Он небрежно тронул быка ногой, чтобы убедиться, что он мертв, потом сделал несколько шагов навстречу наследнику и, произнеся что-то на своем языке, поклонился с достоинством знатного вельможи.

Кровавый туман поплыл перед глазами Рамсеса. Всего охотнее он вонзил бы меч в грудь этому победителю. Однако он овладел собой, с минуту подумал и, сняв с шеи золотую цепь, подал ее Саргону.

Ассириец еще раз поклонился, поцеловал цепь и надел ее на себя. Рамсес же с багровыми пятнами на щеках направился к выходу и, провожаемый несмолкающими возгласами публики, с чувством глубокого унижения покинул цирк.

Был уже месяц тот (конец июня — начало июля). Наплыв приезжих в Бубаст и его окрестности стал из-за жары уменьшаться. Но при дворе Рамсеса все еще продолжали веселиться. Много говорили о случае в цирке.

Придворные восхваляли смелость наместника, недогадливые восторгались силой Саргона, жрецы с серьезным видом шептались между собой, что наследник престола все же не должен был вмешиваться в бой быков, на что есть люди, получающие за это деньги и отнюдь не пользующиеся общественным уважением.

Рамсес либо не слышал этих разговоров, либо не обращал на них внимания.

В его памяти запечатлелось лишь то, что ассириец отнял у него победу над быком, ухаживал за Камой и Кама весьма благосклонно принимала эти ухаживания.

Так как ему не подобало вызывать к себе финикийскую жрицу, то он однажды отправил ей письмо, в котором сообщал, что хочет ее видеть, и спрашивал, когда она его примет. Кама ответила, что будет ожидать его в тот же вечер.

Не успели загореться на небе звезды, как Рамсес тайком (так ему, по крайней мере, казалось) вышел из дворца и отправился к храму Ашторет.

Сад храма был почти пуст, особенно вокруг павильона жрицы. В павильоне было тихо и светилось всего несколько огоньков.

Он робко постучал. Жрица открыла ему сама. В темных сенях она стала целовать его руки, шепча, что умерла бы, если б тогда в цирке разъяренное животное причинило ему какой-нибудь вред.

— Но теперь ты вполне спокойна, раз твой любовник спас меня, — ответил он с раздражением.

Когда они вошли в освещенную комнату, на глазах Камы видны были слезы.

— Что с тобой? — спросил царевич.

— Сердце господина моего отвернулось от меня, — сказала она. — И, может быть, недаром.

Рамсес язвительно засмеялся.

— А что? Ты уже его любовница? Или только собираешься стать ею, святая дева?

— Любовницей? Никогда! Но я могу стать женой этого ужасного

человека.

Рамсес вскочил с места.

— Что это — сон? — вскричал Рамсес. — Или Сет послал проклятие на мою голову? Ты, жрица, которая охраняет огонь перед алтарем богини Ашторет и должна, под угрозой смерти, оставаться девственницей, ты выходишь замуж? Воистину, лицемерие финикийн превосходит все, что о нем рассказывают!..

— Послушай меня, господин мой, — сказала, утирая слезы, Кама, — и осуди, если я того заслужила. Саргон хочет сделать меня своей женой, своей первой женой. По нашим законам жрица в особо исключительных случаях может выйти замуж, но только за человека царской крови. А Саргон — родственник царя Ассара.

— И ты выйдешь за него замуж?

— Если Высший совет жрецов Тира прикажет мне, я не посмею ослушаться, — ответила она, снова заливаясь слезами.

— А почему его занимает Саргон? — спросил наследник.

— Его занимает и многое другое, — ответила она, вздыхая, — говорят, что ассирийцы собираются захватить Финикию, и Саргон будет ее наместником.

— Ты с ума сошла! — вскричал Рамсес.

— Я говорю то, что мне известно. В нашем храме уже второй раз начинаются молебствия об отвращении беды от Финикии. В первый раз мы совершали их еще до твоего прибытия к нам, господин мой.

— А сейчас почему?

— Потому что на этих днях прибыл в Египет халдейский жрец Издубар с письмами, в которых царь Ассар назначает Саргона своим послом и уполномочивает его заключить с вами договор о захвате Финикии.

— Но ведь я... — перебил ее наместник.

Он хотел сказать: «ничего не знаю», но запнулся и ответил, смеясь:

— Кама, клянусь тебе честью моего отца, что, пока я жив, Ассирия не захватит Финикии. Довольно с тебя?

— О господин мой! Господин! — воскликнула она, падая к его ногам.

— И теперь ты не выйдешь замуж: за этого дикаря?

— О! — вздрогнула она. — И ты еще спрашиваешь?

— И будешь моей? — прошептал Рамсес.

— Значит, ты желаешь моей смерти? — воскликнула Кама с ужасом. — Что ж... если ты этого хочешь, я готова.

— Я хочу, чтобы ты жила, — продолжал он страстно, — чтобы ты

жила и принадлежала мне...

— Это невозможно...

— А Высший совет жрецов Тира?

— Он может только выдать меня замуж.

— Но ведь ты войдешь в мой дом...

— Если я войду туда, не будучи твоей женой, то умру. Но я готова... даже к тому, чтобы не увидеть завтрашнего солнца.

— Успокойся, — ответил наследник серьезным тоном, — кто обрел мою милость, тому никто не может повредить.

Кама снова опустилась перед ним на колени.

— Как же это может быть? — спросила она, складывая ладони.

Рамсес был так возбужден, настолько забыл о своем положении и обязанностях, что готов был пообещать жрице жениться на ней. Удержал его от этого шага не рассудок, а какой-то слепой инстинкт.

— Как это может быть? Как это может быть? — шептала Кама, пожирая его глазами и целуя его ноги.

Он поднял Каму, посадил поодаль от себя и сказал, улыбаясь:

— Ты спрашиваешь, как это может быть?.. Сейчас я тебе объясню. Последним моим учителем был один старый жрец, знавший наизусть множество старинных историй из жизни богов, царей, жрецов, даже низших чиновников и крестьян. Старик этот, славившийся своим благочестием и чудесами, не знаю почему, не любил женщин и даже боялся их. Он вечно твердил об их коварстве и однажды, чтобы доказать всю силу женской власти над мужской половиной человеческого рода, рассказал мне такую историю:

«Молодой писец, бедняк, у которого не было в мешке ни одного медного дебена, а только ячменная лепешка, в поисках заработка отправился из Фив в Нижний Египет. Ему говорили, что в этой части государства живут самые богатые купцы и господа и, если только ему повезет, он может получить должность, которая обогатит его.

Вот идет он по берегу Нила (заплатить за место на судне ему было нечем) и думает: «Как легкомысленны люди, которые, получив в наследство от родителей один золотой талант, или два, или даже десять, вместо того чтобы приумножить богатство торговлей или отдавая деньги в рост, растрачивают его неизвестно на что. Если бы у меня была драхма... Нет, драхмы мало. Если бы у меня был талант или, еще лучше, несколько полосок земли, я из года в год копил бы деньги и под конец жизни стал бы богат, как самый богатый номарх.

Но что поделаешь, — думал он, вздыхая, — боги, очевидно,

покровительствуют только дуракам. А я преисполнен мудрости от парика до босых пят. Если же меня можно обвинить в глупости, то разве только в том отношении, что я не сумел бы растратить свое состояние и даже не знал бы, как приступить к совершению такого безбожного поступка».

Рассуждая так, бедный писец проходил мимо мазанки, перед которой сидел какой-то человек. Был он не молодой и не старый, но взгляд его проникал в самую глубь сердца. Писец, мудрый, как аист, сразу сообразил, что это, наверное, какой-нибудь бог, и, поклонившись, сказал:

— Привет тебе, почтенный владелец этого прекрасного дома. Как жаль, что у меня нет ни вина, ни мяса, чтобы поделиться с тобой в знак моего уважения к тебе и в доказательство того, что все мое имущество принадлежит тебе.

Амону — а это был он в образе человека — понравились приветливые слова молодого писца. Он посмотрел на него и спросил:

— О чем ты думал, когда шел сюда? Я вижу мудрость на твоём челе, а я принадлежу к числу тех, кто, как куропатка зерна пшеницы, собирает слова мудрости.

Писец вздохнул.

— Я думал, — сказал он, — о моей нужде и о тех легкомысленных богачах, которые неизвестно на что и как проматывают свое состояние.

— А ты бы не промотал? — спросил бог, все еще сохранявший образ человека.

— Посмотри на меня, господин, — сказал писец, — на мне рваная дерюга, а сандалии я потерял по дороге. Но папирус и чернильницу я всегда ношу при себе, как собственное сердце. Ибо, вставая и ложась спать, я повторяю: «Лучше нищая мудрость, чем глупое богатство». А раз уж я таков, раз я умею выразить свои мысли письменно и сделать самый сложный расчет, а кроме того, знаю все растения и всех животных, какие только существуют под небом, мог ли бы я промотать свое состояние?

Бог задумался и сказал:

— Речь твоя струится плавно, как Нил под Мемфисом. Но если ты в самом деле так мудр, то напиши мне слово «Амон» двумя способами.

Писец вынул чернильницу, кисточку и, не заставив долго ждать, написал на двери мазанки слово «Амон» двумя способами, и так четко, что даже бессловесные твари останавливались, чтобы почтить бога.

Бог остался доволен и сказал:

— Если ты так же бойко считаешь, как пишешь, то подведи-ка расчет вот такой торговой сделке. Если за одну куропатку дают четыре куриных яйца, то сколько куриных яиц должны мне дать за семь куропаток?

Писец набрал камешков, разложил их в несколько рядов, и не успело еще закатиться солнце, как он ответил, что за семь куропаток полагается двадцать восемь куриных яиц.

Всемогущий Амон так и расцвел в улыбке, видя перед собой столь выдающегося мудреца, и сказал:

— Я вижу, что ты говорил правду про свою мудрость. Если же ты окажешься столь же стойким в добродетели, то я сделаю так, что ты будешь счастлив до конца жизни, а после смерти сыновья твои поместят твою тень в прекрасную гробницу. А теперь скажи мне, желаешь ли ты, чтобы твое богатство просто сохранилось, или хочешь, чтобы оно приумножалось?

Писец пал к ногам милосердного бога и ответил:

— Будь у меня хотя бы эта лачуга и четыре меры земли, я считал бы себя богатым.

— Хорошо, — сказал бог, — но подумай хорошенько, хватит ли тебе этого?

Он повел его в хижину и показал:

— Вот тут четыре чепца и четыре передника, два покрывала на случай ненастья и две пары сандалий. Тут очаг, тут лавка, на которой можно спать, ступа, чтобы толочь пшеницу, и квашня для теста.

— А это что? — спросил писец, указывая на какую-то статую, покрытую холстом.

— Это единственная вещь, — ответил бог, — до которой ты не должен дотрагиваться, иначе потеряешь все имущество.

— О! — воскликнул писец, — пускай она стоит тут хоть тысячу лет, я и не подумаю прикоснуться к ней! А позвольте спросить вашу милость — что это за усадьба видна там вдали?

И он высунулся в окошко мазанки.

— Ты угадал, — молвил Амон, — там действительно видна усадьба. В ней большой дом, пятьдесят мер земли, десять голов скота и столько же рабов. Если бы ты захотел получить эту усадьбу...

Писец пал к ногам бога.

— Разве есть, — воскликнул он, — такой человек под солнцем, который, имея ячменную лепешку, не предпочел бы пшеничный хлебец?

Услыхав это, Амон произнес заклинание, и в одно мгновение оба они очутились в большом доме.

— Вот тут у тебя, — сказал Амон, — резная кровать, пять столиков и десять стульев. Вот тут вышитые одежды, кувшин и кубки для вина, вот светильник с оливковым маслом и носилки...

— А это что? — спросил писец, указывая на стоявшую в углу статую,

покрытую легкой кисеей.

— Этого, — ответил бог, — не трогай, иначе потеряешь все имущество.

— Если бы я прожил на свете десять тысяч лет, то и тогда бы не дотронулся до этой вещи, так как считаю, что после мудрости лучше всего богатство. А что это виднеется вон там вдали? — спросил он немного погодя, указывая на величественный дворец, окруженный садом.

— Это княжеское поместье, — ответил бог. — Там дворец, пятьсот мер земли, сто рабов и несколько сот голов скота. Поместье огромное, но если ты думаешь, что твоя мудрость справится с ним...

Писец снова припал к ногам Амона, обливаясь слезами радости.

— О господин! — воскликнул он. — Где ты видел такого безумца, который вместо кружки пива не пожелал бы бочки вина?

— Слова твои достойны мудреца, делающего самые сложные вычисления, — сказал Амон.

Он произнес несколько слов заклинания, и они перенеслись во дворец.

— Вот здесь у тебя, — молвил добрый бог, — пиршественная зала, а в ней раззолоченные диваны, кресла и столики, выложенные разноцветным деревом. Внизу кухня и кладовая, где ты найдешь мясо, рыбу и печенья. Наконец, подвал, наполненный прекрасными винами. Вот тут спальня с подвижной кровлей, чтобы твои рабы навевали тебе прохладу во время сна. Полюбуйся на ложе из кедрового дерева, покоящееся на четырех львиных лапах, искусно отлитых из бронзы. Вот шкаф, полный одежд, а в сундуках ты найдешь кольца, цепи и запястья.

— А это что? — спросил писец, указывая на статую, покрытую затканым золотыми и пурпурными нитями покрывалом.

— Это как раз то, чего ты должен особенно остерегаться, — ответил бог. — Стоит тебе прикоснуться — и пропало все твое богатство. А таких поместий в Египте не много. Кроме того, тут в шкатулке лежит десять талантов в золоте и драгоценных камнях.

— Владыка! — вскричал писец. — Позволь мне поставить на самом видном месте в этом дворце твое святое изваяние, дабы я мог трижды в день воскурять перед ним благовония.

— Но ту избегай! — сказал еще раз Амон, указывая на статую, покрытую прозрачной тканью.

— Разве что я лишусь разума и стану хуже дикой свиньи, которая не отличает вина от помоев, — ответил писец. — Пусть эта фигура под покрывалом стоит здесь и кается сто тысяч лет, я не прикоснусь к ней, раз такова твоя воля...

— Помни же, а то все потеряешь! — промолвил бог и скрылся.

Счастливый писец стал расхаживать по своему дворцу и выглядывать в окна. Он осмотрел сокровищницу, взвесил в руках золото — тяжело. Посмотрел поближе на драгоценные камни — настоящие. Велел подать себе поесть, тотчас же вбежали рабы, омыли его, побрили, нарядили в тонкие одежды.

Он наелся и напился, как никогда, затем возжег благовония перед статуей Амона и, убрав ее живыми цветами, сел у окна и стал смотреть во двор.

Там ржали лошади, запряженные в резную колесницу. Кучка людей с дротиками и сетями сдерживала своры непослушных собак, рвавшихся на охоту. У амбара писец принимал зерно от крестьян, другой выслушивал отчет надсмотрщика. Вдали виднелись оливковая роща, высокий холм с виноградником, поля пшеницы, среди полей — густо посаженные финиковые пальмы.

«Воистину, — молвил он про себя, — сейчас я богат, как того и заслуживаю. Одно только удивляет меня, как это я мог столько лет прожить в нищете и унижении. Должен сознаться, — продолжал он мысленно, — что я сам не знаю, стоит ли приумножать такое огромное богатство, ибо мне больше и не нужно, и у меня не хватит времени гоняться за наживой».

Однако ему стало скучно в хоромах. Он вышел осмотреть сад, объехал поля, побеседовал со слугами, которые падали перед ним ниц, хотя были разодеты так, что еще вчера он считал бы для себя за честь поцеловать им руку. Скоро ему стало еще тоскливее. Он вернулся во дворец и начал осматривать содержимое амбара и погреба, а также мебель в покоях.

«Все это красиво, — думал он, — но еще красивее была бы мебель из чистого золота и кувшины из драгоценного камня».

Взгляд его невольно упал в тот угол, где стояла статуя, скрытая под богато вышитым покрывалом.

Он заметил, что фигура вздыхает.

«Вздыхай себе, вздыхай», — подумал он, беря в руки кадила, чтобы возжечь благовония перед статуей Амона.

«Благой это бог, — продолжал он размышлять. — Он ценит достоинства мудрецов, даже босых, и воздает им по заслугам. Какое чудное поместье подарил он мне. Правда, я тоже почтил его, написав его имя на двери той мазанки. И как хорошо я ему подсчитал, сколько он может получить куриных яиц за семь куропаток. Правы были мои наставники, когда твердили, что мудрость отверзает даже уста богов».

Он опять посмотрел в угол. Покрытая вуалью фигура снова вздохнула.

«Хотел бы я знать, — подумал писец, — почему это мой друг Амон запретил мне прикасаться к этой статуе. Конечно, за такое поместье он имел право поставить мне свои условия, хотя я с ним так не поступил бы. Если весь дворец принадлежит мне, если я могу пользоваться всем, что здесь есть, то почему мне нельзя к этому даже прикоснуться?.. Амон сказал: нельзя прикасаться, но ведь взглянуть-то можно?»

Он подошел к статуе, осторожно снял покрывало, посмотрел... Что-то очень красивое! Как будто юноша, однако не юноша... Волосы длинные, до колен, черты лица мелкие, и взор, полный очарования.

— Что ты такое? — спросил он.

— Я женщина, — ответила ему она голосом столь нежным, что он проник в его сердце, словно финикийский кинжал.

«Женщина? — подумал писец. — Этому меня не учили в жреческой школе... Женщина!..» — повторил он.

— А что это у тебя здесь?

— Глаза.

— Глаза? Что же ты видишь этими глазами, которые могут растаять от первого луча?

— А у меня глаза не для того, чтобы я ими смотрела, а чтобы ты в них смотрел, — ответила женщина.

«Странные глаза», — сказал про себя писец, пройдясь по комнате.

Он опять остановился перед ней и спросил:

— А это что у тебя?

— Это мой рот.

— О боги! Да ведь ты же умрешь с голоду! Разве таким крошечным ртом можно наесться досыта!

— Мой рот не для того, чтобы есть, — ответила женщина, — а для того, чтобы ты целовал мои губы.

— Целовал? — повторил писец. — Этому меня тоже в жреческой школе не учили. А это что у тебя?

— Это мои ручки.

— Ручки! Хорошо, что ты не сказала «руки». Такими руками ты ничего не сделаешь, даже овцу не подоишь.

— Мои ручки не для работы...

— Как и твои, Кама, — прибавил наследник, играя тонкой рукой жрицы.

— А для чего же они, такие руки? — с удивлением спросил писец, перебирая ее пальцы.

— Чтобы обнимать тебя за шею, — сказала женщина.

— Ты хочешь сказать: «хватать за шею»! — закричал испуганный писец, которого жрецы всегда хватали за шею, когда хотели высечь.

— Нет, не хватать, — сказала женщина, — а так...»

— И обвила руками, — продолжал Рамсес, — его шею, вот так... (И он обвил руками жрицы свою шею.) А потом прижала его к своей груди, вот так... (И прижался к Кама.)

— Что ты делаешь, господин, — прошептала Кама, — ведь это для меня смерть!

— Не пугайся, — ответил он, — я показываю тебе только, что делала та статуя с писцом.

«Вдруг задрожала земля, дворец исчез, исчезли собаки, лошади и рабы, холм, покрытый виноградником, превратился в голую скалу, оливковые деревья — в тернии, а пшеница — в песок...

Писец, очнувшись в объятиях возлюбленной, понял, что он такой же нищий, каким был вчера, когда шел по дороге. Но он не пожалел о своем богатстве. У него была женщина, которая любила его и ласкала...»

— Значит, все исчезло, а она осталась? — наивно воскликнула Кама.

— Милосердный Амон оставил ее ему в утешение, — ответил Рамсес.

— О, Амон милостив только к писцам! Но каков же смысл этого рассказа?

— Угадай. Ты ведь слышала, от чего отказался бедный писец за поцелуй женщины.

— Но от трона он бы не отказался!

— Кто знает! Если бы его очень просили об этом... — страстно прошептал Рамсес.

— О нет! — воскликнула Кама, вырываясь из его объятий. — От трона пусть он не отказывается, иначе что останется от его обещаний Финикии?

Они долго-долго глядели друг другу в глаза. И вдруг Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце и растаяла в нем какая-то частица любви к Кама: не страсть — страсть осталась, — а уважение, доверие.

«Удивительные эти финикиянки, — подумал наследник, — их можно любить, но верить им нельзя».

Усталость овладела им, и он простился с Камой. Он поглядел вокруг, словно ему трудно было расстаться с этой комнатой, и, уходя, подумал:

«А все-таки ты будешь моей, и финикийские боги не убьют тебя, если им дороги их храмы и жрецы».

Не успел Рамсес покинуть дом Камы, как к ней вбежал молодой грек, поразительно на него похожий. Лицо его было искажено яростью.

— Ликон?.. — в испуге вскрикнула Кама. — Зачем ты здесь?

— Подлая гадина! — закричал грек. — Не прошло и месяца, как ты клялась, что любишь меня и убежишь со мною в Грецию, и уже бросаешься на шею другому любовнику. Уж; не повержены ли боги или нас оставила их справедливость?..

— Сумасшедший ревнивец! Ты еще убьешь меня...

— Конечно, убью тебя, а не твою каменную богиню. Задушу вот этими руками, если станешь любовницей.

— Чьей?

— Как будто я знаю. Наверное, обоих: того старика, ассирийца, и царевича; я разобью его каменный лоб, если он будет здесь шататься. Царевич! Все египетские девушки к его услугам, а ему понадобилась жрица. Жрица для жрецов, а не для чужих...

Но Кама уже пришла в себя.

— А разве ты не чужой? — спросила она надменно.

— Змея! — снова вспыхнул грек. — Я не чужой, потому что служу вашим богам. И сколько раз мое сходство с египетским наследником помогало вам обманывать азиатов и уверять их, что он исповедует вашу веру!

— Тише, тише! — шептала жрица, рукой зажимая ему рот.

Очевидно, это прикосновение было очень приятным, так как грек успокоился.

— Слушай, Кама, на днях в Себеннитскую бухту войдет греческий корабль под управлением моего брата. Постарайся, чтобы верховный жрец отправил тебя в Бутто. Оттуда мы убежим на север, в Грецию, в пустынное место, где еще не ступала нога финикиянина.

— Они доберутся и до него, если я скроюсь туда, — сказала Кама.

— Пусть хоть один волос упадет с твоей головы, — прошипел в бешенстве грек, — и я клянусь, что Дагон... что все здешние финикияне отдадут за него свои головы или издохнут в каменоломнях! Тогда узнают, на что способен грек!

— А я говорю тебе, — ответила жрица, — что пока я не накоплю двадцати талантов, я не двинусь отсюда. А у меня всего восемь.

— Где же ты возьмешь остальные?

— Мне дадут Саргон и наместник.

— Если Саргон, — согласен, но от наследника я не желаю!

— Какой ты глупый. Разве ты не понимаешь, почему этот молокосос мне немного нравится? Он напоминает тебя...

Это замечание совсем успокоило грека.

— Ну, ну, — ворчал он, — я понимаю, что когда перед женщиной выбор: наследник престола или такой певец, как я, то мне нечего бояться. Но я ревнив и горяч и потому прошу тебя держать своего царевича подальше.

И поцеловав Каму, юноша выбежал из павильона и скрылся в темном саду.

— Жалкий шут, — прошептала жрица, погрозив ему вслед, — ты можешь быть только рабом, услаждающим мой слух песнями.

Когда на следующее утро Рамсес пришел навестить сына, он застал Сарру в слезах. На вопрос о причине ее горя она сначала ответила, что ничего не случилось, что ей только грустно, но потом с плачем упала к ногам Рамсеса.

— Господин, господин мой! — сказала она. — Я знаю, что ты меня больше не любишь, но береги, по крайней мере, себя.

— Кто сказал, что я разлюбил тебя? — удивился Рамсес.

— Ты взял в дом трех новых девушек знатного рода...

— А-а... вот в чем дело!..

— А теперь подвергаешь себя опасности ради четвертой... коварной финикиянки.

Рамсес смутился. Откуда Сарра могла узнать о Каме и о том, что она коварна?..

— Как пыль проникает в сундуки, так злая молва врывается в самый мирный дом, — сказал Рамсес. — Кто же сказал тебе про финикиянку?

— Разве я знаю? Ворожея и мое сердце.

— Значит, тут замешана и гадалка?

— Да, мне было страшное предсказание. Одна старая жрица видела, — должно быть, в хрустальном шаре, — что все мы погибнем из-за финикиянки — по крайней мере, я... и мой сын, — рыдая, призналась Сарра.

— Ты веришь в единого Яхве и вдруг испугалась сказок какой-то старухи, быть может, интриганки? Где же твой великий бог?

— Этот бог — только для меня, а те, другие — твои, — и я тоже должна почитать их.

— Значит, старуха говорила тебе о финикиянах? — спросил Рамсес.

— Она ворожила мне давно, еще в Мемфисе. И вот теперь все говорят про какую-то финикийскую жрицу. Я не знаю, может, мне с горя все это чудится. Будто, если бы не ее чары, ты не бросился бы тогда на арену. Ведь бык мог убить тебя! Как подумаю, и сейчас сердце холодеет...

— Все это глупости, Сарра! — весело перебил ее Рамсес. — Кого я приблизил к себе, тот стоит так высоко, что ему ничто не страшно. А тем более какие-то бабьи сказки.

— А несчастье? Нет такой высокой горы, где бы не настигли нас его стрелы!

— Материнские заботы утомили тебя, — сказал царевич, — и жару ты плохо переносишь, оттого и печалишься беспричинно. Успокойся и береги моего сына. Человек, кто бы он ни был — финикиянин или грек, может вредить только себе подобным, а не нам, богам этого мира, — сказал он задумчиво.

— Что ты сказал про грека?.. Какой грек?.. — спросила с беспокойством Сарра.

— Я сказал «грек»? Не помню... Ты ослышалась.

Рамсес поцеловал Сарру и ребенка и простился с ними, но тревога не покидала его.

«Надо раз навсегда запомнить, — думал он, — что в Египте не укроется ни одна тайна: за мной следят жрецы и мои придворные, — эти даже когда они пьяны или притворяются пьяными, а с Камы не сводят своих змеиных глаз финикияне, и если они до сих пор не спрятали ее от меня, то только потому, что их мало беспокоит ее целомудрие. Сами же они посвятили меня в обманы, которыми занимаются в их храмах. Кама будет моей. Они слишком заинтересованы во мне и не посмеют навлечь на себя мой гнев».

Несколько дней спустя к царевичу явился жрец Ментесуфис, помощник почтенного Херихора по военной коллегии. Глядя на его бледное лицо и опущенные веки, Рамсес понял, что тот знает уже про финикиянку и, может быть, в качестве жреца собирается даже читать ему наставления. Но Ментесуфис не коснулся сердечных дел наследника. Поздоровавшись официальным тоном, он сел на указанное место и заявил:

— Из мемфисского дворца владыки вечности мне сообщили, что на днях прибыл в Бубаст великий халдейский жрец Издубар, придворный астролог и советник его милости царя Ассара.

Рамсес чуть было не сказал Ментесуфису, что ему известна цель прибытия Издубара, но вовремя сдержался.

— Знаменитый жрец Издубар, — продолжал Ментесуфис, — привез с собой грамоту о том, что достойный Саргон, родственник и наместник его милости царя Ассара, назначен к нам полномочным послом этого могущественного властителя.

Рамсес чуть не рассмеялся. Важный вид, с каким Ментесуфис приоткрыл секрет, давно ему известный, привел наместника в веселое настроение. Он подумал с глубоким презрением:

«Этому фокуснику даже в голову не приходит, что я знаю все их проделки».

— Достойный Саргон и почтенный Издубар, — продолжал

Ментесуфис, — отправятся в Мемфис облобызать стопы фараона. Но раньше ты, государь, как наместник, соблаговоли милостиво принять обоих вельмож и их свиту.

— С большим удовольствием, — ответил наместник, — и при случае спрошу у них, когда Ассирия уплатит нам просроченную дань.

— Ты серьезно намерен это сделать? — спросил жрец, пристально глядя в глаза царевичу.

— Непременно. Наша казна нуждается в золоте.

Ментесуфис вдруг встал и негромко, но торжественно произнес:

— Наместник нашего повелителя и подателя жизни! От имени фараона запрещаю тебе говорить с кем бы то ни было об ассирийской дани, в особенности же с Саргоном, Издубаром или с кем-либо из их свиты.

Наместник побледнел.

— Жрец, — сказал он, тоже вставая, — по какому праву ты мне приказываешь?

Ментесуфис слегка распахнул свое одеяние и снял с шеи цепочку, на которой висел перстень фараона.

Наместник посмотрел на перстень, с благоговением поцеловал его и, вернув жрецу, ответил:

— Исполню повеление царя, моего господина и отца.

Оба снова сели. Царевич спросил:

— Но объясни мне, почему Ассирия не должна платить нам дани, которая сразу вывела бы нашу государственную казну из затруднения?

— Потому что мы недостаточно сильны, чтобы заставить Ассирию платить нам дань, — холодно ответил Ментесуфис. — У нас сто двадцать тысяч солдат, а у Ассирии их около трехсот тысяч. Я говорю с тобой вполне доверительно, как с высшим сановником государства, и пусть это останется в строгой тайне.

— Понимаю. Но почему военное министерство, в котором ты служишь, сократило нашу доблестную армию на шестьдесят тысяч человек?

— Чтобы увеличить доходы царского двора на двенадцать тысяч талантов, — ответил жрец.

— Вот как? — продолжал наместник. — А с какой целью Саргон едет лобызать стопы фараона?

— Не знаю.

— Не знаешь? Но почему этого не должен знать я, наследник престола?

— Потому что есть государственные тайны, которые открыты лишь

немногим высшим сановникам государства.

— И которых может не знать даже мой высокочтимый отец?

— Несомненно, — ответил Ментесуфис, — есть вещи, которые мог бы не знать даже царь, если бы не был посвящен в высший жреческий сан.

— Странное дело, — сказал наследник, подумав. — Египет принадлежит фараону, и тем не менее в государстве могут твориться дела, которые ему неизвестны... Как это понять?

— Египет прежде всего, и притом исключительно и безраздельно, принадлежит Амону, — ответил жрец. — Поэтому необходимо, чтобы высшие тайны были известны только тем, кому Амон открывает свою волю и намерения.

Каждое слово жреца жгло царевича, как огнем.

Ментесуфис хотел было встать, но наместник удержал его.

— Еще одно слово, — сказал он мягко. — Если Египет так слаб, что нельзя даже упоминать об ассирийской дани, если...

Рамсес тяжело перевел дыхание.

— ...Если он так жалок и ничтожен, то где же уверенность, что ассирийцы не нападут на нас?

— От этого можно обезопасить себя договором, — ответил жрец.

Наследник махнул рукой.

— Слабым не помогут договоры, — сказал он. — Никакие серебряные доски, исписанные соглашениями, не защитят границ, которые никем не охраняются.

— А кто же сказал вашему высочеству, что они не охраняются?

— Ты сказал. Сто двадцать тысяч солдат не могут устоять перед тремястами. Если ассирийцы вторгнутся к нам, Египет превратится в пустыню.

Глаза Ментесуфиса загорелись.

— Если они вторгнутся к нам, мы вооружим всю знать, крестьян, даже преступников из каменоломен... — сказал он. — Мы извлечем сокровища из всех храмов... И против Ассирии выступят пятьсот тысяч египетских воинов...

Восхищенный этой вспышкой патриотизма, Рамсес схватил жреца за руку и сказал:

— Так если мы можем создать такую армию, почему нам самим не напасть на Вавилон? Разве великий военачальник Нитагор не молит нас об этом вот уже столько лет? Разве фараона не тревожат настроения ассирийцев? Если мы позволим им собраться с силами, борьба будет труднее. Если же мы начнем первые...

— Ты знаешь, царевич, — перебил его жрец, — что такое война, да еще такая война, которая требует перехода через пустыню? Кто поручится, что, прежде чем мы дойдем до Евфрата, половина нашей армии и носильщиков не погибнет от трудностей пути?

— Одна битва, и мы будем вознаграждены! — воскликнул Рамсес.

— Одна битва? — повторил жрец. — А ты знаешь, царевич, что такое битва?

— Полагаю, что да, — ответил с гордостью наследник, ударив рукой по мечу.

Ментесуфис пожал плечами.

— А я тебе говорю, государь, что ты не знаешь. Ты судишь по маневрам, на которых всегда оказываешься победителем, хотя нередко должен был быть побежденным.

Рамсес нахмурился. Жрец сунул руку за полу одежды и спросил:

— Угадай, что это?

— Что? — спросил с удивлением наследник.

— Скажи быстро и без ошибки, — торопил жрец. — Если ошибешься, погибнут два твоих полка.

— Перстень, — ответил, смеясь, наследник.

Ментесуфис раскрыл ладонь, — в ней был кусок папируса.

— А теперь что у меня в руке? — спросил опять жрец.

— Перстень.

— Нет, не перстень, а амулет богини Хатор, — сказал жрец. — Видишь, государь, — продолжал он, — так и в сражении. Во время сражения судьба каждую минуту загадывает нам загадки. Иногда мы ошибаемся, иногда угадываем. И горе тому, кто чаще ошибается, недоели угадывает! Но стократ горше тому, от кого счастье отвернулось и он только ошибается.

— И все-таки я верю, я чувствую сердцем, — вскричал наследник, бия себя в грудь, — что Ассирия должна быть раздавлена!

— Сам бог Амон да говорит твоими устами! — сказал жрец. — И так и будет, — добавил он, — Ассирия будет уничтожена, возможно, даже твоими стараниями, государь, но не сейчас... не сейчас...

Ментесуфис ушел. Рамсес остался один. Голова его пылала, как в огне.

«А ведь Хирам был прав, когда говорил, что жрецы нас обманывают, — думал Рамсес. — Теперь уж и я убежден, что они заключили с халдейскими жрецами какой-то договор, который мой святейший отец должен будет утвердить. Его заставят!.. Чудовищно!.. Он, повелитель живых и мертвых, должен подписать договор, измышленный

интриганами!»

Рамсес задыхался.

«С другой стороны, Ментесуфис выдал себя. Значит, Египет в самом деле может в случае нужды выставить полумиллионную армию! Я даже не мечтал о такой силе! А они думают запугать меня баснями о судьбе, которая будет задавать мне загадки. Если бы у меня было хоть двести тысяч солдат, вымуштрованных так, как греческие и ливийские полки, я разгадал бы все загадки земли и неба».

Достопочтенный же Ментесуфис, возвращаясь в свою келью, рассуждал:

«Горячая он голова, ветреник, волокита, но сильный характер. После такого слабовольного фараона, как нынешний, этот, пожалуй, вернет нам времена Рамсеса Великого. Лет через десять злое влияние звезд прекратится, царевич вступит в зрелый возраст и сокрушит Ассирию. От Ниневии останутся одни развалины, священный Вавилон восстановит свое могущество, единый всевышний бог, бог египетских и халдейских пророков, распространит свою власть от Ливийской пустыни до священной реки Ганг...

Лишь бы только наш молодой наследник не опозорил себя своими ночными прогулками к финикийской жрице... Если его застанут в саду Ашторет, народ подумает, что наследник престола тяготеет к финикийской вере... А Нижнему Египту уже не много надо, чтобы отречься от старых богов! Какая здесь смесь народов!..»

Несколько дней спустя достойнейший Саргон, официально поставив наместника в известность относительно своих полномочий ассирийского посла, заявил о желании приветствовать наследника престола и просил предоставить ему конвой, который сопровождал бы его с должными почестями к стопам его святейшества фараона.

Наместник два дня задерживал ответ, после чего, назначив прием, отложил его еще на два дня.

Ассириец, привыкший к восточной медлительности как в путешествиях, так и в делах, несколько этим не огорчился, но времени попусту не терял. Он с утра до вечера пил, играл в кости с Хирамом и другими азиатскими князьями, а в свободные минуты, так же как и Рамсес, тайком спешил к Капе.

Как человек пожилой и практичный, он при каждом посещении преподносил жрице богатые подарки, свои же чувства к ней выражал следующим образом:

— Что это ты, Капа, сидишь в Бубасте и худеешь? Пока ты молода,

тебе нравится служба при храме Ашторет, а постареешь — плохо тебе придется. Сорвут с тебя дорогие одежды, возьмут на твое место молодую, а тебе, чтобы заработать хотя бы на горсть сушеного ячменя, придется идти в гадалки или в повитухи. А я, — продолжал Саргон, — если б за грехи родителей сотворили меня боги женщиной, предпочел бы уж лучше быть роженицей, нежели повивальной бабкой. Поэтому я, как человек, умудренный жизнью, говорю тебе: бросай ты свой храм и иди ко мне в наложницы. Отдам я за тебя десять золотых талантов, сорок коров и сто мер пшеницы — вот и довольно. Жрецы, конечно, будут сначала кричать, что этого мало и что боги их накажут, но я не прибавлю ни одной драхмы, разве что подброшу парочку овец. А тогда они отслужат торжественное молебствие, и божественная Ашторет за хорошую золотую цепь и бокал освободит тебя от всех обетов.

Кама, слушая эти речи, кусала губы, еле удерживаясь от смеха.

— А поедешь со мной в Ниневию, — продолжал он, — станешь знатной госпожой. Я подарю тебе дворец, лошадей, носилки, служанок и невольников. За один месяц выльешь на себя благовоний больше, чем вам жертвуют за весь год на богиню. А потом, кто знает, может быть, еще царю Ассару приглянешься и он захочет взять тебя в свой гарем! Тогда и ты будешь счастлива, и я получу обратно то, что на тебя истратил.

В день, назначенный Саргону для аудиенции, у двора наследника выстроились египетские войска и собрались толпы падкого до зрелищ народа.

Ассирийцы появились около полудня, в самый жестокий зной. Впереди шли полицейские, вооруженные мечами и дубинками, за ними несколько голых скороходов и трое всадников. Это были два горниста и глашатай. На каждом углу горнисты останавливались и трубили сигнал, после чего глашатай громко возглашал:

— Вот приближается Саргон, полномочный посол и родственник могущественного царя Ассара, господин обширных владений, победитель в битвах, повелитель многих провинций. Люди, воздайте ему должные почести, как другу его святейшества, владыки Египта!..

За горнистами ехало десятка два ассирийских всадников в остроконечных шапках, коротких куртках и плотно облегающих ноги штанах. Голова и грудь мохнатых, но выносливых коней были защищены медной броней, напоминавшей рыбу чешую.

Затем шла пехота в касках и длинных до земли плащах. Один отряд

был вооружен тяжеловесными палицами, другой — луками, третий — копьями и щитами. Кроме того, у всех были мечи и латы.

За солдатами следовали лошади, колесницы, носилки Саргона и слуги в красной, белой и зеленой одежде. Потом показалось пять слонов с носилками на спине. На одном из них восседал Саргон, на другом — халдейский жрец Издубар.

Шествие замыкали пешие и конные солдаты и ассирийский оркестр из пронзительных труб, бубнов, медных тарелок и визгливых флейт.

Царевич Рамсес, окруженный жрецами, офицерами и знатью в богатых ярких одеждах, ожидал посла в большой зале для приемов, открытой со всех сторон. Царевич был хорошо настроен, зная, что ассирийцы несут с собой дары, которые египетский народ может принять за дань. Но, услышав во дворе зычный голос глашатая, восхваляющий могущество Саргона, Рамсес нахмурился. Когда же до него донеслись слова о том, что царь Ассар — друг фараона, он вознегодовал. Ноздри его раздулись, как у разъяренного быка, глаза засверкали гневом. Видя это, офицеры и знать тоже нахмурились, стали грозно сверкать глазами, сжимая эфесы мечей. Святой Ментесуфис заметил их недовольство и громко объявил:

— От имени фараона, повелеваю знати и офицерам встретить достойного Саргона с почетом, полагающимся послу великого царя.

Наместник сдвинул брови и нетерпеливо зашагал на возвышении, где стояло его наместническое кресло. Но привыкшие к дисциплине знать и офицеры притихли, зная, что с Ментесуфисом, помощником военного министра, шутки плохи.

Тем временем во дворе рослые, закутанные в тяжелые одежды ассирийские солдаты выстроились в три шеренги против полуголых проворных египетских воинов. Обе стороны смотрели друг на друга, как стая тигров на стаю носорогов. В душе у тех и у других тлела многовековая ненависть. Однако дисциплина брала верх над этим чувством.

Во двор грузно вошли слоны, рявкнули египетские и ассирийские трубы, солдаты подняли вверх оружие, народ пал ниц, ассирийские вельможи, Саргон и Издубар, спустились со своих носилок на землю.

В зале царевич Рамсес сел в стоявшее на возвышении кресло под балдахин. У входа появился глашатай.

— Достойнейший государь! — обратился он к наследнику. — Полномочный посол великого царя Ассара, светлейший Саргон, и его спутник, благочестивый пророк Издубар, желают приветствовать тебя и воздать почести тебе, наместнику и наследнику фараона — да живет он вечно!..

— Проси знатных вельмож войти и порадовать сердце мое своим прибытием, — ответил царевич.

Звения оружием и доспехами, вошел в зал Саргон в длинной зеленой одежде, густо вышитой золотом. Рядом в белоснежном одеянии шествовал благочестивый. Издубар; за ними знатные разодетые ассирийцы несли подарки наместнику.

Саргон подошел к помосту, на котором восседал наместник, и произнес на ассирийском языке речь, тотчас же повторенную переводчиком по-египетски:

— Я, Саргон, полководец, наместник и родственник могущественнейшего царя Ассара, явился, дабы приветствовать тебя, наместник могущественнейшего фараона, и в знак вечной дружбы принести тебе дары...

Наследник оперся ладонями на колени и сидел недвижимо, как статуи его царственных предков.

— Ты, наверно, плохо передал наместнику мое почтительное приветствие? — спросил Саргон у толмача.

Ментесуфис, стоявший у возвышения, наклонился к Рамсесу.

— Государь, — шепнул он, — достойный Саргон ожидает милостивого ответа...

— Так ответь ему, — сказал, весь вспыхнув, царевич, — что я не понимаю, по какому праву он говорит со мной, как равный с равным.

Ментесуфис смутился, что еще больше рассердило Рамсеса. У него дрогнули губы и засверкали глаза. Но халдей Издубар, понимавший по-египетски, поспешил шепнуть Саргону:

— Падем ниц!

— Почему это я должен падать ниц? — спросил с возмущением Саргон.

— Пади, если не хочешь лишиться милости нашего царя, а то и головы...

Сказав это, Издубар распростерся на полу во весь рост — и Саргон рядом с ним.

— Почему я должен лежать на брюхе перед этим молокососом? — ворчал он в негодовании.

— Потому что он наместник фараона, — отвечал Издубар.

— А я разве не наместник моего государя?

— Но он будет царем, а ты им не будешь.

— О чем спорят послы могущественного царя Ассара? — спросил у переводчика царевич Рамсес, удовлетворенный покорностью послов.

— Они обсуждают, должны ли показать царевичу дары, предназначенные для фараона, или только отдать присланные тебе, — ответил находчивый толмач.

— Я желаю видеть дары, предназначенные для моего божественного отца, — сказал наследник, — и разрешаю послам встать.

Саргон поднялся весь красный от злобы или натуги и присел на полу, подобрав под себя ноги.

— Я не знал, — произнес он довольно громко, — что мне, родственнику и полномочному послу великого Ассара, придется своей одеждой вытирать пыль с пола египетского наместника!

Ментесуфис, понимавший по-ассирийски, не спрашивая Рамсеса, велел немедленно принести две скамьи, покрытые коврами, и запыхавшийся Саргон и невозмутимый Издубар сели.

Отдышавшись, Саргон велел подать большой стеклянный бокал, стальной меч и подвести к крыльцу двух коней в золоченой сбруе. Когда приказание его было исполнено, он встал и с поклоном обратился к Рамсесу:

— Господин мой, царь Ассар, шлет тебе, царевич, двух добрых коней с пожеланием, чтобы они несли тебя только к победам, шлет кубок, из которого пусть в твое сердце струится лишь радость, и меч, какого не найти нигде, кроме оружейной моего могущественнейшего повелителя.

Он извлек из ножен довольно длинный меч, блестевший, словно серебро, и стал сгибать его в руках. Меч согнулся, как лук, и сразу же выпрямился.

— Поистине чудесное оружие! — воскликнул Рамсес.

— Если разрешишь, наместник, я покажу тебе еще одно его достоинство, — сказал Саргон, забыв свой гнев, так как представился случай похвастать не знающим себе равного в те времена ассирийским оружием.

По его предложению один из египетских офицеров извлек из ножен свой бронзовый меч и поднял его, как для нападения. Саргон взмахнул своим стальным мечом и быстрым ударом рассек меч противника. По залу пронесся шепот изумления. На лице Рамсеса выступил яркий румянец.

«Этот чужеземец, — подумал наследник, — опередил меня на бое быков, хочет жениться на Каме и хвастает передо мной оружием, которое рубит наши мечи, как щепки».

И он почувствовал еще большую ненависть к царю Ассару, к ассирийцам вообще и к Саргону в особенности.

Тем не менее Рамсес постарался овладеть собою и со всей

любезностью просил посла показать ему подарки, предназначенные для фараона.

Тотчас же были принесены огромные ящики из благовонного дерева, откуда высшие ассирийские сановники стали извлекать куски узорчатых тканей, кубки, кувшины, стальное оружие, луки из рогов козерога, золоченые латы и щиты, украшенные драгоценными камнями.

Но самым великолепным подарком была модель дворца царя Ассара, отлитая из серебра и золота. Дворец представлял собою здание в четыре яруса, один другого меньше; каждый ярус был обнесен колоннами и имел террасу вместо крыши. Все входы охранялись львами или крылатыми быками с человеческой головой. По обеим сторонам лестницы стояли статуи, изображавшие покоренных владык с дарами, а по обе стороны моста стояли изваяния коней в различных положениях. Саргон отодвинул одну стену модели, и взору присутствующих открылись богато убранные покои, наполненные бесценной мебелью и утварью. Особенное удивление вызвала зала для приемов с фигурками царя на высоком троне, придворных, солдат и иноземных властителей, воздающих ему почести. Модель была высотой в один, а длиной в два человеческих роста. Говорили, что один этот дар ассирийского царя стоил сто пятьдесят талантов.

Ящики унесли, и наместник пригласил обоих послов и их свиту к парадному обеду, во время которого гости получили богатые подарки. Рамсес был так гостеприимен, что, когда Саргону понравилась одна из его женщин, подарил ее послу, — конечно, испросив ее согласия и разрешения матери. Царевич был любезен и щедр, однако не переставал хмуриться. На вопрос Тутмоса, как ему понравился дворец царя Ассара, Рамсес ответил:

— Для меня он был бы еще прекраснее в развалинах, среди пожарища Ниневии.

За пиршеством ассирийцы были очень воздержанны: несмотря на обилие вина, они пили мало и еще меньше того разговаривали; Саргон ни разу громко не рассмеялся, как это было обычно, и сидел с полужакрытыми глазами, занятый своими мыслями.

Только оба жреца — халдей Издубар и египтянин Ментесуфис — были спокойны, как люди, которым дано знание будущего и власть над ним.

После приема у наместника Саргон продолжал жить в Бубасте, ожидая письма фараона из Мемфиса. Тем временем среди офицеров и знати стали снова распространяться странные слухи. Финикияне рассказывали, под большим, конечно, секретом, что жрецы, неизвестно почему, не только простили ассирийцам невыплаченную дань, не только навсегда освободили их от нее, но даже, чтобы облегчить Ассирии войну с северным соседом, заключили на долгие годы мирный договор.

— Фараон, — говорили финикияне, — совсем расхворался, узнав об уступках, которые делаются варварам, а царевич Рамсес страшно огорчен, но и тот и другой вынуждены подчиниться жрецам, так как не уверены в преданности знати и армии.

Это больше всего возмущало египетскую аристократию.

— Как, — шептались между собой увязшие в долгах знатные египтяне, — династия нам уже не доверяет? Видно, жрецы решили во что бы то ни стало довести Египет до позора и разорения. Ведь если Ассирия ведет войну где-то на далеком севере, то как раз теперь и надо на нее напасть и с помощью завоеванной добычи пополнить обнищавшую царскую казну и поднять благосостояние аристократии.

Кое-кто из молодых людей осмеливался обратиться к наследнику с вопросом, что он думает об ассирийских варварах. Наследник молчал, но огонь в его глазах и стиснутые губы достаточно выражали его чувства.

— Ясно, — продолжали шептаться знатные господа, — что династия опутана жрецами, она не доверяет знати, и Египту угрожают великие бедствия...

Это глухое возмущение вскоре вылилось в тайные совещания, чуть ли не заговоры, и хотя в них принимало участие большое количество людей, самоуверенные или ослепленные жрецы не прислушивались к мнению придворных, а Саргон, замечавший эту ненависть, не придавал ей значения.

Он понимал, что Рамсес не любит его, но приписывал это случаю в цирке и особенно ревности. Уверенный в своей неприкосновенности в качестве посла, Саргон много пил, проводил время в пирушках и почти каждый вечер уходил к финикийской жрице, которая все милостивее принимала его ухаживания и подарки.

Таково было настроение высоких кругов, когда однажды ночью во дворец Рамсеса явился Ментесуфис и сказал, что ему необходимо

немедленно видеть наследника.

Придворные ответили, что у царевича находится сейчас одна из его женщин и они не смеют его беспокоить. Но так как Ментесуфис продолжал настаивать, Рамсеса вызвали.

Наместник тотчас же вышел, даже не выказывая недовольства.

— Что случилось? — спросил он жреца. — Разве у нас война, что ты утруждаешь себя делами в столь поздний час?

Ментесуфис пристально посмотрел на Рамсеса и, вздохнув с облегчением, спросил:

— Ты никуда не уходил сегодня вечером?

— Ни на шаг.

— И я могу дать в этом слово жреца?

Наследник удивился.

— Мне думается, — ответил он гордо, — что твое слово излишне, раз я даю свое. Но в чем дело?

Они вышли в отдельный покой.

— Знаешь, государь, — сказал взволнованно жрец, — что случилось час назад? Какие-то молодые люди напали на Саргона и избили его палками.

— Кто такие? Где?

— У павильона финикийской жрицы Камы, — продолжал Ментесуфис, внимательно следя за выражением лица наследника.

— Вот смельчаки! — удивился Рамсес. — Напасть на такого силача! Он, должно быть, там не одного изувечил!

— Но покуситься на посла! На посла, охраняемого величием Ассирии и Египта! — вскричал жрец.

— Хо-хо! — рассмеялся царевич. — Так царь Ассар посылает своих послов даже к финикийским танцовщицам!..

Ментесуфис оторопел, но вдруг хлопнул себя по лбу и тоже расхохотался.

— Подумай только, царевич, как я недогадлив и до чего не искушен в политике. Ведь я и не сообразил, что Саргон, шатающийся ночью у дома подозрительной женщины, уже не посол, а частное лицо! Но как бы там ни было, — прибавил он, — вышло нехорошо. Саргон еще, пожалуй, на нас обидится.

— Жрец, жрец! — воскликнул царевич, качая головой. — Ты забываешь то, что гораздо важнее: Египту не подобает не только пугаться, но и вообще придавать какое-либо значение дружбе или неприязни Саргона и даже самого Ассара.

Ментесуфис был так смущен разумными замечаниями царственного юноши, что только кланялся и бормотал:

— Боги одарили тебя, царевич, мудростью верховных жрецов, — да будут благословенны их имена! Я уже хотел отдать приказ, чтобы этих молодчиков разыскали и судили, но лучше послушаюсь твоего совета, ибо ты мудрец из мудрецов. А теперь скажи, что делать с Саргоном и этими буянами?

— Во-первых, отложить это до утра, — ответил Рамсес. — Ты как жрец должен знать, что сон, который посылают нам боги, приносит часто добрый совет.

— А если я и до завтра ничего не придумаю? — спрашивал жрец.

— Во всяком случае, я навещу Саргона и постараюсь изгладить из его памяти это пустяковое приключение, — ответил наместник.

Жрец почтительно простился с царевичем. Возвращаясь домой, он думал:

«Ручаюсь головой, что царевич к этому не причастен. Он и сам не бил и других не подстрекал. Видно, даже не знал об этом. Кто так хладнокровно и разумно судит о преступлении, тот не может быть его соучастником. А в таком случае надо начать следствие и, если этот лохматый варвар не успокоится, отдать озорников под суд. Вот тебе и договор о дружбе: начался с того, что оскорбили посла!»

На следующий день великолепный Саргон лежал до полудня на войлочной подстилке, что, впрочем, случалось с ним довольно часто, то есть после каждой попойки. Рядом с ним на низком диване сидел благочестивый Издубар и, воздев глаза к потолку, шептал молитву.

— Издубар, — сказал со вздохом вельможа. — Ты уверен, что никто из наших придворных не знает о происшествии со мной?

— Кто может знать, когда никто этого не видел?

— А египтяне? — простонал Саргон.

— Из египтян знают только Ментесуфис и наместник да те негодяи, которые, наверно, долго будут помнить твои кулаки.

— Да, пожалуй... Но мне кажется, что среди них был царевич, и нос у него разбит, если не сломан...

— Нос у наследника цел, его там не было, могу тебя уверить.

— В таком случае, — вздохнул Саргон, — царевичу следовало бы посадить зачинщиков на кол. Ведь особа посла священна... и неприкосновенна...

— А я говорю тебе, — отозвался жрец, — изгони злобу из сердца твоего и не жалуйся, а то, когда начнут судить этих негодяев, весь мир

узнает, что посол царя Ассара водится с финикийцами и, что еще хуже, ходит к ним в гости по ночам, один. И, главное, что ты ответишь, когда твой смертельный враг канцлер Лик-Багуш спросит тебя: «Скажи-ка, Саргон, с какими это финикийцами ты встречался и о чем беседовал с ними среди ночи у их храма?..»

Саргон продолжал вздыхать, если можно назвать вздохами звуки, похожие на ворчание льва.

Вдруг в комнату вбежал ассирийский воин. Он преклонил колени, коснулся лбом пола и сказал Саргону:

— Свет очей нашего владыки! У крыльца остановилось множество сановников и вельмож, а с ними наследник фараона. Он хочет войти сюда, очевидно, чтобы оказать тебе почести.

Не успел Саргон отдать распоряжение, как в дверях показался царевич. Он оттолкнул рослого часового и быстрым шагом направился к Саргону, который так растерялся, что продолжал лежать на своей подстилке, не зная, что ему делать: бежать ли нагишом в другую комнату или залезть под войлок.

На пороге остановилось несколько ассирийцев-воинов, изумленных вторжением наследника вопреки всякому этикету. Но Издубар сделал им знак, и они исчезли.

Наследник был один. Свита осталась во дворе.

— Привет тебе, посол великого царя и гость фараона! — произнес Рамсес. — Я пришел узнать, не нуждаешься ли ты в чем-либо. Кроме того, если у тебя есть время и желание, я хочу предложить тебе проехаться по городу верхом на скакуне из конюшен моего отца — со мной, в сопровождении нашей свиты, как и подобает послу могущественного Ассара — да живет он вечно!

Саргон лежал и слушал, ни слова не понимая, но когда Издубар перевел ему речь царевича, он пришел в такой восторг, что стал биться головой об пол, повторяя: «Ассар и Рамсес! Ассар и Рамсес!» Успокоившись, он начал извиняться, что столь знатный гость застал его в таком плачевном виде.

— Не гневайся, господин мой, что я, презренный червь, лежащий у подножия твоего трона, таким странным образом выражаю радость по поводу твоего прибытия. Я рад вдвойне, ибо, во-первых, мне оказана неземная честь, а во-вторых, я в своем недостойном умишке заподозрил, что это ты, господин, был виновником моего вчерашнего заключения. Мне даже казалось, что я чувствовал на спине твою дубинку, которая работала лучше других.

Когда невозмутимый Издубар перевел это слово в слово царевичу, тот с истинно царским высокомерием ответил:

— Ты ошибся, Саргон, и если б ты сам не понял своей ошибки, я приказал бы тут же отсчитать тебе пятьдесят палок. Знай, что такие люди, как я, не нападают ночью, да еще целым скопом на одного человека.

Не успел святой Издубар перевести эти слова, как Саргон подполз к Рамсесу и, припав к его ногам, воскликнул:

— Великий господин, великий царь! Хвала Египту, что у него такой владыка!

— И еще заверяю тебя, — продолжал наследник, — что в этом нападении не участвовал никто из моих придворных. Я сужу по тому, что такой силач, как ты, должен был разбить не один череп, а они все невредимы.

— Верно сказано, — шепнул Саргон Издубару, — и умно.

— Но хотя, — продолжал наследник, — этот недостойный поступок совершен не по моей вине, все же я чувствую себя обязанным смягчить твою обиду на город, который так плохо тебя принял. Вот почему я навестил тебя в твоей опочивальне и почему дом мой будет открыт для тебя, когда только пожелаешь. А кроме того, прошу принять от меня этот маленький подарок.

С этими словами Рамсес протянул ему цепь, украшенную рубинами и сапфирами.

Страшный Саргон даже прослезился, что растрогало наследника, но не вывело из спокойствия Издубара. Жрец знал, что у Саргона, как посла мудрого царя, слезы, гнев и радость являются по первому же зову.

Наследник вскоре простился. Уходя, он подумал, что ассирийцы, хоть и варвары, все же неплохие люди, раз им понятны великодушные поступки. Саргон же был так возбужден, что велел принести вина и пил с полудня до самого вечера.

Уже после заката солнца жрец Издубар вышел из опочивальни посла и тотчас же вернулся через потайную дверь. За ним следовали два человека в темных плащах. Когда они откинули с лица капюшоны, Саргон узнал в одном верховного жреца Мефреса, в другом — пророка Ментесуфиса.

— Мы пришли к тебе, достойный посол, с доброй вестью, — сказал Мефрес.

— Рад был бы ответить вам тем же, — сказал Саргон. — Садитесь, достойные святые мужи. И, хотя глаза у меня красные, говорите со мной так, как если бы я был совсем трезвым, потому что я и пьяный не теряю разума, и даже наоборот. Правду я сказал, Издубар?

— Говорите, — поддержал его халдей.

— Сегодня, — начал Ментесуфис, — я получил письмо от досточтимого министра Херихора. Он пишет нам, что его святейшество фараон — да живет он вечно! — ожидает ваше посольство в своем великолепном дворце под Мемфисом и что его святейшество — да живет он вечно! — благорасположен заключить с вами договор.

Саргон все еще качался на своей войлочной постели, но глаза у него были почти трезвые.

— Я поеду, — сказал он, — к святейшему фараону — да живет он вечно! — и положу от имени моего владыки печать на договоре, но только пусть его напишут на камне клинописью... потому что вашего письма я не разбираю. Буду хоть целый день лежать на животе перед его святейшеством, — да живет он вечно! — а договор подпишу. Но как вы его выполните... ха-ха-ха!.. этого уж я не знаю... — заключил он с грубым смехом.

— Как смеешь ты, слуга великого Ассара, сомневаться в доброй воле и верности нашего владыки?.. — возмутился Ментесуфис.

Саргон мигом протрезвел.

— Я говорю не о святейшем фараоне, а о наследнике... — возразил он.

— Наследник — юноша, исполненный мудрости, и беспрекословно повинуетя воле отца и верховной коллегии жрецов, — сказал Мефрес.

— Ха-ха-ха!.. — снова расхохотался пьяный варвар. — Ваш царевич!.. Пусть у меня руки и ноги отсохнут, если я лгу, но я желал бы, чтобы у нас в Ассирии был такой наследник... Наш ассирийский царевич — это ученый, жрец... Он, пока соберется на войну, сначала пересчитает на небе звезды, а потом курам под хвост посмотрит... А ваш первым делом сосчитал бы, сколько у него войска, да разведаль бы, где неприятель лагерем стоит, а потом и свалился бы ему на голову, как орел на барана. Вот это полководец, вот это царь!.. Он не из тех, что слушают советы жрецов. Он будет советоваться со своим мечом, а вам придется только исполнять его приказы... А потому хоть я и подпишу с вами договор, однако скажу своему господину, что за больным царем и мудрыми жрецами стоит юный наследник престола — лев и бык в одном лице. На устах у него мед, а в сердце громы и молнии.

— И это будет ложь! — возразил Ментесуфис. — Потому что наш царевич хоть и строптив и немного гуляка, как все молодые люди, однако умеет уважать и советы мудрецов, и высокие учреждения страны.

Саргон насмешливо покачал головой.

— Эх вы, мудрецы, грамотеи, звездочеты! Я человек неученый,

простой военачальник, я без печати и имя свое не сумел бы на камне выдолбить, но, клянусь бородой моего повелителя, не поменялся бы с вами мудростью... Потому что вы живете в мире таблиц и папирусов, и для вас закрыт тот действительный мир, где все мы живем. Я невежда, но у меня собачий нюх. И как собака издали чует медведя, так я своим красным носом чую настоящего полководца. Вы собираетесь давать царевичу советы? Да он уже сейчас зачаровал вас, словно змея голубя. А меня ему не обмануть, и хотя царевич добр ко мне, как родной отец, я сквозь свою толстую шкуру чувствую, что он меня и моих ассирийцев ненавидит, как тигр слона. Ха-ха!.. Дайте только ему армию, и не пройдет и трех месяцев, как он очутится под Ниневией, лишь бы в пути солдаты у него не гибли, а рождались.

— Пусть ты даже и прав, — прервал его Ментесуфис, — пусть царевич хочет идти на Ниневию, — он не пойдет.

— А кто его удержит, когда он станет фараоном?

— Мы!

— Вы?.. вы!.. Ха-ха-ха!.. — снова расхохотался Саргон. — Так вы думаете, что этот юнец даже не догадывается о нашем договоре... А я... а я... ха-ха-ха!.. я дам с себя шкуру содрать и посадить себя на кол, что ему уже все известно. Неужели финикияне были бы так спокойны, если бы не знали, что египетский львенок защитит их от ассирийского быка?

Ментесуфис и Мефрес переглянулись украдкой. Их почти испугала пронизательность варвара, который смело высказывал то, чего они совсем не приняли в расчет. И в самом деле, что было бы, если бы наследник угадал их намерения и захотел спутать их планы?

Из минутного затруднения вывел их молчавший до сих пор Издубар.

— Саргон, — сказал он, — ты вмешиваешься не в свое дело. Ты обязан заключить с Египтом договор, согласный с волей нашего государя, а что знает или не знает и что сделает или не сделает египетский наследник — это тебя не касается. Раз вечно живущая верховная коллегия жрецов ручается в этом — договор будет выполнен. А как коллегия этого добьется — дело не наше.

Сухой тон, каким произнес это Издубар, смирил Саргона. Он покачал головой и пробормотал:

— В таком случае, жаль мальчика — он храбрый воин и великодушный государь.

После посещения Саргона святые мужи Мефрес и Ментесуфис, тщательно укрывшись бурнусами, в раздумье возвращались домой.

— Как знать, — сказал Ментесуфис, — пожалуй, этот пьяница Саргон прав, говоря так о нашем наследнике...

— Тогда Издубар еще более прав, — холодно ответил Мефрес.

— Не надо, однако, относиться к царевичу с предубеждением. Надо сперва порасспросить его, — продолжал Ментесуфис.

— Так ты и сделай это.

На следующий день оба жреца явились к наследнику и с таинственным видом предложили ему побеседовать с ними.

— А что? Опять случилось что-нибудь с почтеннейшим Саргоном? — спросил Рамсес.

— К сожалению, нас беспокоит не Саргон, — ответил верховный жрец Мефрес. — В народе ходят слухи, что ты, государь, поддерживаешь близкие отношения с неверными финикиянами.

Эти слова сразу же разъяснили царевичу цель посещения пророков, и все в нем закипело. Он понял, что это начало борьбы между ним и жреческой кастой, но, как подобает наследнику, мгновенно овладел собой и изобразил на лице наивное любопытство.

— А финикияне — опасный народ, это исконные враги нашего государства, — прибавил Мефрес.

Наследник улыбнулся.

— Если бы вы, святые отцы, — ответил он, — давали мне деньги взаймы и держали при храмах красивых девушек, я не разлучался бы с вами. А так мне волей-неволей надо дружить с финикиянами.

— Говорят, ты посещаешь по ночам эту финикийскую жрицу.

— Приходится до поры до времени, пока она не образумится и не переедет ко мне во дворец. Не беспокойтесь, однако: при мне мой меч, и если кто-нибудь станет мне поперек дороги...

— Но из-за этой финикиянки ты возненавидел ассирийского посла...

— Вовсе не из-за нее, а потому, что от посла несет бараньим жиром... Впрочем, к чему все эти разговоры? Ведь вам, святые отцы, не поручено наблюдать за моими женщинами. Думаю, что и Саргон обойдется без вас. Так что вам, собственно, нужно?

Мефрес до того смутился, что даже бритая голова его покраснела.

— Ты, конечно, прав, царевич, — ответил он, — что нам нет дела до твоих любовных похождения... Но... есть кое-что похуже: народ удивляется тому, что ты без труда получил займы от хитрого Хирама сто талантов, и даже без залога...

У царевича дрогнули губы, однако он сдержался.

— Не моя вина, — спокойно ответил он, — что Хирам больше доверяет моему слову, чем египетские богачи. Он знает, что я скорее откажусь от оружия, которое досталось мне от деда, чем не заплачу ему того, что должен... Как видно, не беспокоится он и о процентах, так как ничего не говорил мне про них. Я не хочу скрывать от вас, святые мужи, что финикияне щедрее и расторопнее египтян. Наш богач, прежде чем дать мне займы сто талантов, посмотрел бы на меня исподлобья, долго кряхтел бы, с месяц водил бы меня за нос и в конце концов взял бы огромный залог и большие проценты. А финикияне, которые лучше знают сердца наследников, дают нам деньги без судьи и свидетелей.

Мефрес был так раздражен спокойно-насмешливым тоном Рамсеса, что вдруг замолчал, поджав губы. Выручил его Ментесуфис, задав неожиданный вопрос:

— А что бы ты, царевич, сказал, если бы мы заключили с Ассирией договор, отдающий ей северную Азию вместе с Финикией?

Говоря это, он пристально смотрел в лицо наследника. Но Рамсес не растерялся:

— Я бы сказал, что только предатели могут уговаривать фараона подписать подобный договор.

Оба жреца заволновались. Мефрес поднял руку, Ментесуфис сжал кулаки.

— А если бы этого требовала безопасность государства? — не отступал Ментесуфис.

— Что вам, собственно, от меня нужно? — рассердился царевич. — Вы вмешиваетесь в мои дела, в мои отношения с женщинами, вы окружаете меня шпионами, вы осмеливаетесь читать мне наставления, а теперь еще задаете мне какие-то коварные вопросы? Так вот я вам говорю: даже если бы вы решили меня отравить — я не подписал бы такого договора! К счастью, это зависит не от меня, а от фараона, волю которого мы все должны исполнять.

— А что бы ты сделал, царевич, будучи фараоном?

— То, чего требовали бы честь и интересы государства.

— В этом я не сомневаюсь, — ответил Ментесуфис. — Но что ты считаешь интересами государства? Где нам искать на это указаний?

— А для чего существует верховная коллегия? — воскликнул наследник, теперь уже с притворным гневом. — Вы говорите, что она состоит из одних мудрецов? Так пусть они и берут на себя ответственность за договор, который я считаю позором и гибелью для Египта...

— А откуда ты знаешь, царевич, — спросил Ментесуфис, — что не так именно и поступил твой божественный родитель?

— Зачем же вы спрашиваете об этом меня? Что за допрос? Кто дал вам право заглядывать в тайники моего сердца?

Рамсес разыграл такое возмущение, что жрецы совсем успокоились.

— Ты говоришь, царевич, — ответил жрец, — как подобает настоящему египтянину. Нас тоже огорчил бы подобный договор, но ради безопасности государства приходится иногда на время покориться обстоятельствам.

— Какие же это обстоятельства? — спросил Рамсес. — Разве мы проиграли большое сражение, или у нас нет солдат?

— Гребцами корабля, на котором Египет плывет по реке вечности, являются боги, — ответил торжественным тоном верховный жрец, — а кормчим — всевышний господь всего сущего. Они нередко останавливают судно или поворачивают его в сторону, чтобы обогнуть опасные водовороты, которых мы даже не замечаем. В подобных случаях от нас требуются только терпение и покорность, за которые рано или поздно нас ждет щедрая награда, превосходящая все, что может придумать смертный.

Наконец жрецы простились с царевичем, полные надежды, что хотя он и весьма недоволен договором, однако не нарушит его и на ближайшее время обеспечит Египту необходимый ему мир.

Когда они ушли, Рамсес позвал к себе Тутмоса.

Оставшись наедине со своим любимцем, наследник дал волю долго сдерживаемому возмущению. Он бросился на диван и, извиваясь, как змея, бил себя кулаками по голове и рыдал.

Перепуганный Тутмос ждал, когда пройдет этот припадок бешенства. Затем он подал царевичу воды с вином, окурив его успокаивающими благовониями, сел рядом и спросил о причине такого отчаяния.

— Садись сюда, — сказал Рамсес, не поднимаясь с дивана. — Сегодня я окончательно убедился в том, что наши жрецы заключили с ассирийцами какой-то позорный договор, — ответил, наконец, наследник, — без войны, даже без всяких с их стороны требований. Ты представляешь себе, сколько мы теряем?

— Дагон говорил мне, что Ассирия хочет захватить Финикию. Но финикиян сейчас это уже меньше беспокоит, так как царь Ассар ведет

войну на северо-восточных границах. Там обитают многочисленные и очень воинственные народы, и неизвестно, чем кончится эта война. Во всяком случае, у финикийян будет несколько мирных лет, чтобы подготовиться к защите и найти союзников.

Царевич раздраженно махнул рукой.

— Вот видишь, — сказал он, — даже Финикия вооружается сама и, возможно, вооружит всех своих соседей. Мы же лишаемся не выплаченной нам Азией дани, которая составляет больше ста тысяч талантов. Ты слышал что-нибудь подобное?! Сто тысяч талантов! — повторил Рамсес. — О боги! Да ведь такая сумма сразу пополнила бы казну фараона. А если бы мы еще, выбрав подходящий момент, напали на Ассирию, то в одной Ниневии, в одном дворце Ассара нашли бы настоящие клады... Подумай только, сколько могли бы мы набрать пленников. Полмиллиона... Миллион... Миллион людей атлетической силы, таких диких, что рабство в Египте, самый тяжелый труд на каналах и в каменоломнях показался бы им игрушкой... Через несколько лет плодородие нашей земли повысилось бы, наш обнищавший народ и государство снова обрели бы былое могущество и богатство. А жрецы хотят лишить нас всего этого, дав взамен несколько серебряных досок и глиняных табличек, исчерченных клинообразными знаками, которых никто из нас даже не в состоянии прочесть.

Тутмос встал, внимательно осмотрел соседние комнаты, не подслушивает ли кто, потом опять подсел к Рамсесу и стал говорить шепотом:

— Не отчаивайся, государь. Насколько мне известно, вся аристократия, все номархи, все знатные воины слышали кое-что об этом договоре и возмущены. Только скажи, и мы разобьем таблицы, на которых начертан этот договор, о голову Саргона, а то и самого Ассара.

— Но ведь это бунт против его святейшества, — тоже шепотом ответил наследник.

Лицо Тутмоса омрачилось.

— Мне не хотелось бы ранить твое сердце, — сказал он, — но... твой богоравный отец тяжело болен...

— Неправда!

— Увы, это так! Только не показывай вида, что ты это знаешь. Царь устал от жизни и жаждет уйти из нее. Но жрецы удерживают его, а тебя не зовут в Мемфис, чтобы без всяких помех подписать договор с Ассирией.

— Изменники! Изменники! — шептал в бешенстве Рамсес.

— Когда ты унаследуешь власть отца, — да живет он вечно! — тебе нетрудно будет расторгнуть договор.

Царевич задумался.

— Его легче подписать, — сказал он, — чем расторгнуть.

— Нетрудно и расторгнуть, — усмехнулся Тутмос. — Мало ли в Азии непокорных племен, которые всегда готовы напасть на нас? И разве божественный Нитагор не стоит на страже, чтобы отразить их и перенести войну на их земли? Неужели ты думаешь, что Египет не найдет людей и средств для войны? Мы все пойдем. Потому что каждый может извлечь из этого выгоду и так или иначе обеспечить свое будущее. Средства же найдутся в храмах. А Лабиринт!^[107]

— Кто их оттуда добудет? — заметил с сомнением царевич.

— Каждый номарх, каждый воин, каждый человек, принадлежащий к знати, сделает это, был бы только приказ фараона, а младшие жрецы покажут нам пути к тайникам, где хранятся сокровища...

— Они не решатся. Кара богов...

Тутмос пренебрежительно махнул рукой.

— Кто мы — мужики или пастухи, чтобы бояться богов, над которыми смеются и евреи, и финикияне, и греки и которых всякий наемный солдат безнаказанно оскорбляет? Это жрецы придумали сказки про богов, в которых они сами не верят. Ты же знаешь, что в храмах признают лишь единого бога, и жрецы, показывая всякие чудеса, втихомолку над ними смеются. Только крестьянин по-прежнему падает ниц перед идолами. Но уже работники сомневаются во всемогуществе Осириса, Гора и Сета, писцы обсчитывают богов, а жрецы пользуются ими как цепью и замком, охраняющими их богатство. Прошли уже те времена, — продолжал Тутмос, — когда Египет верил всему, что исходило из храмов. А сейчас мы поносим финикийских богов, финикияне — наших, и как будто никакие громы и молнии нас не поражают!

Наместник пристально посмотрел на Тутмоса.

— Откуда у тебя такие мысли? — спросил он. — Ведь не так давно ты бледнел при одном упоминании о жрецах...

— Я был тогда один. Сейчас же, когда я узнал, что вся знать думает так же, — я стал смелее...

— А кто рассказал вам про договор с Ассирией?

— Дагон и другие финикияне, — ответил Тутмос. — Они даже предлагают, когда придет время, поднять против нас азиатские племена, чтобы наши войска имели предлог перейти границу, а когда мы ступим уже на путь к Ниневии, финикияне и их союзники присоединятся к нам. И у тебя будет армия, какой не было даже у Рамсеса Великого.

Царевичу не понравилась эта заботливость финикиян. Однако он

только спросил:

— А что будет, если жрецы узнают про ваши разговоры? Наверно, ни один из вас не избежит смерти.

— Ничего они не узнают! — ответил Тутмос беспечно. — Они слишком полагаются на свое могущество, плохо оплачивают шпионов и восстановили против себя весь Египет. Аристократия, воины, писцы, работники, даже низшие жрецы ждут только сигнала, чтобы напасть на храмы, захватить сокровища и повергнуть их к подножию трона. А без своих несметных сокровищ святые мужи утратят всякую власть. Перестанут даже творить чудеса, потому что для этого тоже нужны золотые перстни.

Царевич перевел разговор на другие темы, потом отпустил Тутмоса и задумался.

Его очень радовали бы враждебные чувства знати к жрецам и воинственное настроение высших кругов, если бы это не было внезапной вспышкой, за которой он угадывал происки финикийян. Это заставляло Рамсеса быть осторожным. Он понимал, что в египетских делах лучше полагаться на жрецов, чем на дружбу финикийян.

Ему вспомнились, однако, слова отца, что финикийяне способны на откровенность и верность, когда это им выгодно. Без сомнения, финикийяне глубоко заинтересованы в том, чтоб не подпасть под владычество Ассирии, и в случае войны можно полагаться на них как на союзников, так как поражение египтян отразится прежде всего на Финикии. С другой стороны, Рамсес не допускал и мысли, чтобы жрецы, даже заключая такой позорный договор с Ассирией, решились на измену. Нет, это не изменники, а просто обленившиеся сановники. Им удобно поддерживать мир, они в мирное время приумножают свои богатства и расширяют свою власть. Они не желают войны, так как война усилит мощь фараона, а их самих заставит нести большие расходы.

И молодой царевич, несмотря на свою неопытность, понял, что ему надо быть осмотрительнее, не торопиться, никого не осуждать, но и никому не доверять чрезмерно. Он решил непременно начать со временем войну с Ассирией, но не потому, что этого желают знать и финикийяне, а потому, что Египту нужны богатства Ассирии и ассирийские рабы.

Но, решив начать войну в будущем, он хотел действовать разумно. А для этого понемногу примирить жреческую касту с мыслью о войне и лишь в случае сопротивления раздавить ее при помощи воинов и знати.

И как раз в тот момент, когда святые Мефрес и Ментесуфис подсмеивались над предсказаниями Саргона, что наследник не подчинится

жрецам и заставит их смириться, — у Рамсеса уже был готов план подчинения жрецов, и он знал, какими располагает для этого средствами. Когда же надо начать борьбу и какими способами вести ее, должно было показать будущее.

«Время — лучший советчик», — подумал он.

Он был доволен и спокоен, как человек, после долгих колебаний понявший, что надо делать, и уверенный в своих силах. И чтобы освободиться от последних следов недавнего волнения, он отправился к Сарре.

Играя с сыном, он всегда забывал свои горести и приходил в хорошее настроение.

Войдя в павильон Сарры, Рамсес опять застал ее в слезах.

— Сарра! — воскликнул он. — Если б в груди твоей был заключен весь Нил, ты и его сумела бы выплакать.

— Больше не буду, — ответила она, но слезы еще обильнее потекли из ее глаз.

— Ну, что ты? Наверно, опять какая-нибудь колдунья напугала тебя рассказами о финикиянках?

— Я боюсь не финикиянок, а финикиян, — ответила Сарра. — О, ты не знаешь, господин, что это за подлые люди...

— Они сжигают детей? — рассмеялся наместник.

— А ты думаешь, нет? — спросила она.

— Басни! Я знаю от Хирама, что это басни.

— Хирам! — вскричала Сарра. — Хирам — злодей. Спроси моего отца, господин, он тебе расскажет, как Хирам заманивает на свои суда молодых девушек в далеких странах и, распустив паруса, увозит их для продажи. У нас была одна белокурая невольница, которую похитил Хирам. Она не находила себе места от тоски по родине и не могла даже рассказать, где находится ее страна. И умерла. Такой же негодяй и Дагон...

— Возможно, но какое нам до этого дело? — спросил царевич.

— Очень большое, — ответила Сарра. — Вот ты, господин, принимаешь сейчас советы финикиян, а между тем израильтяне узнали, что Финикия хочет вызвать войну между Египтом и Ассирией. Говорят даже, что самые богатые финикийские купцы и ростовщики дали страшную клятву, что добьются этого.

— А зачем им война? — спросил царевич с притворным равнодушием.

— Зачем? — воскликнула Сарра. — Они будут и вам и ассирийцам доставлять оружие, товары и тайные сведения и за все это заставят себе втридорога платить. Будут грабить убитых и раненых и той и другой

стороны. Будут скупать у ваших и ассирийских солдат награбленное имущество и пленников. Разве этого мало? Египет и Ассирия будут разорены, зато Финикия настроят новые кладовые и наполнит их награбленной добычей.

— От кого ты узнала такие умные вещи? — улыбнулся царевич.

— Разве я не слышу, как мой отец, наши родные и знакомые шепчутся об этом, боязливо оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал? Да, наконец, разве я не знаю финикиян? Перед тобой, господин, они лежат на животе, ты не видишь их лицемерных взглядов, а я не раз всматривалась в их глаза, зеленые от жадности или желтые от злости. О господин, берегись финикиян, как ядовитых змей!

Рамсес смотрел на Сарру и невольно сравнивал ее искреннюю любовь с расчетливостью финикиянки, ее неясные порывы с коварной холодностью Камы.

«Верно! — подумал он. — Финикияне — ядовитые гады. Но если Рамсес Великий пользовался на войне львом, то почему мне не воспользоваться против врагов Египта змеей?»

Но чем очевиднее было для него коварство Камы, тем он сильнее стремился к ней. Иногда душа героя жаждет опасности. Он простился с Саррой, и вдруг ему почему-то вспомнилось, что Саргон подозревал его в ночном нападении.

Внезапная догадка осенила царевича:

«Неужели это мой двойник устроил драку с посланцем? Кто же его на это подговорил? Финикияне, что ли? Но если они хотели впутать мое имя в столь грязное дело, то права Сарра, что это негодяи и что мне надо их остерегаться».

В нем снова вспыхнуло возмущение, он хотел решить вопрос немедленно, и так как уже спускались сумерки, то, не заходя домой, он направился к Каме.

Его мало беспокоило, что его могут узнать, а на случай опасности у него был с собой меч.

В павильоне жрицы горел свет, но в сенях никого из прислуги не было.

«До сих пор, — подумал царевич, — Кама отпускала прислугу, когда ждала меня к себе. Сегодня она или предчувствует мой приход, или, может быть, принимает возлюбленного, более счастливого, чем я».

Он поднялся во второй этаж. Остановился у входа в спальню финикиянки и быстро отдернул завесу. В комнате были Кама и Хирам; они о чем-то шептались.

— О, я пришел не вовремя! — проговорил, смеясь, наследник. — Что

же, и вы, князь, ухаживаете за женщиной, которой под страхом смерти запрещено проявлять благосклонность к мужчинам?

Хирам и жрица вскочили с места.

— Видно, — сказал финикиянин, кланяясь, — какой-то добрый дух предупредил тебя, господин, что разговор идет о тебе.

— Вы готовите мне какой-нибудь сюрприз? — спросил наследник.

— Кто знает, может, и так, — ответила Кама, вызываясь глядя на него.

Но он холодно ответил:

— Как бы, однако, те, кто готовит мне сюрпризы, сами не угодили под секиру или в петлю. Это было бы для них большей неожиданностью, чем для меня их сюрпризы.

У Камы улыбка застыла на губах. Хирам побледнел и сказал почтительно:

— Чем заслужили мы гнев нашего господина и покровителя?

— Я хочу знать правду, — сказал царевич, садясь и грозно глядя на Хирама, — я хочу знать, кто устроил нападение на ассирийского посла и впутал в это дело человека, похожего на меня, как моя правая рука похожа на левую.

— Вот видишь, Кама, — обратился к финикиянке оторопевший Хирам, — я говорил, что чрезмерная близость к тебе этого негодяя может навлечь на нас большое несчастье. Так и случилось... И ждать долго не пришлось.

Кама упала к ногам царевича.

— Я все расскажу, — воскликнула она, — только изгони из сердца своего обиду против финикиян! Меня убей, меня посади в темницу, но не гневайся на них.

— Кто напал на Саргона?

— Грек Ликон, который поет у нас в храме, — ответила, не вставая с колен, финикиянка.

— А! Тот, что пел тогда под твоим окном? Это он так похож на меня?

Хирам склонил голову и приложил руку к сердцу.

— Мы щедро оплачивали этого человека, — сказал он, — за то, что он походе на тебя, господин... Мы думали, что его жалкая личность может пригодиться тебе на случай беды...

— И пригодилась!.. — перебил наследник. — Где он? Я хочу видеть этого прекрасного певца... это живое мое изображение...

Хирам развел руками.

— Убежал, негодяй... Но мы его найдем, — разве что он обратился в

муху или земляного червя.

— А меня ты простишь, господин? — прошептала финикийка, положив руки на колени царевича.

— Женщине многое прощается, — ответил наследник.

— И вы не будете мне мстить? — боязливо спросила она Хирама.

— Финикия, — ответил старик неторопливо и внушительно, — простит самое большое преступление тому, кто обретет милость господина нашего Рамсеса — да живет он вечно! А что касается Ликона, — прибавил он, обращаясь к наследнику, — он будет в твоих руках, господин, живой или мертвый.

Сказав это, Хирам низко поклонился и вышел из комнаты, оставив жрицу с царевичем.

Кровь ударила Рамсесу в голову. Он обнял стоявшую перед ним на коленях Каму и шепнул:

— Ты слышала, что сказал достойный Хирам? Финикия простит тебе самое большое преступление! Вот человек, который действительно предан мне. А раз он так сказал, какая у тебя может быть отговорка?

Кама целовала его руки, шепча:

— Ты покорила меня... Я — твоя рабыня... Но сегодня оставь меня. Отнесись с почтением к дому, принадлежащему богине Ашторет.

— Так ты переедешь ко мне во дворец? — спросил царевич.

— О боги! Что ты сказал? С тех пор как солнце всходит и заходит, не случалось еще, чтобы жрица Ашторет... Но что делать? Финикия выказывает тебе, господин, столько преданности и любви, сколько не знал ни один из ее сынов...

— Значит... — прервал он ее, обнимая.

— Только не сегодня и не здесь... — просила она.

Узнав от Хирама, что финикияне дарят ему жрицу, наследник хотел, чтобы она поскорее поселилась в его доме. Желал он этого не потому, что не мог без нее жить, — это привлекало его своей новизной.

Но Кама медлила с переездом, умоляя Рамсеса, чтобы он подождал, пока не уменьшится наплыв паломников, а главное, пока из Бубаста не уедут самые знатные из них. Ибо это может уменьшить доходы храма, а жрице его грозит опасность.

— Наши мудрецы и сановники, — объясняла она Рамсесу, — простят мне измену, но чернь будет призывать на мою голову месть богов, а ты знаешь, господин, что у богов длинные руки.

— Как бы они их не потеряли, если попытаются залезть под мою кровлю, — ответил наследник.

Он, однако, не настаивал, так как внимание его было занято другим.

Ассирийские послы Саргон и Издубар выехали уже в Мемфис, чтобы подписать там договор. В то же время фараон предложил Рамсесу дать ему отчет о своей поездке.

Царевич приказал писцам подробно описать все происшедшее с момента, когда он покинул Мемфис, то есть осмотр мастерских и полей, беседы с работниками, номархами и чиновниками. Отвезти донесение он поручил Тутмосу.

— Пред лицом фараона, — сказал ему наследник, — ты будешь моим сердцем и устами. Когда досточтимый Херихор спросит тебя, что я думаю о причинах упадка Египта и его казны, ответь министру, чтобы он обратился к своему помощнику Пентуэру, и тот изложит ему мои взгляды таким способом, как он это сделал в храме божественной Хатор. Если же Херихор захочет знать мое мнение о договоре с Ассирией, ответь, что мой долг исполнять повеления нашего господина.

Тутмос кивал головой в знак того, что все понимает.

— Когда же, — продолжал наместник, — ты предстанешь пред лицом моего отца — да живет он вечно! — и будешь уверен, что вас никто не подслушивает, пади к ногам его и скажи: «Господин наш, так говорит сын и слуга твой, недостойный Рамсес, которому ты дал жизнь и власть. Причиной бедствий Египта является убыль плодородной земли, которую захватила пустыня, и убыль населения, которое умирает от непосильного труда и нищеты. Знай, однако, господин наш, что не меньший вред, чем

мор и пустыни, приносят казне твои жрецы. Ибо не только храмы их переполнены золотом и драгоценностями, которыми можно было бы расплатиться со всеми долгами, но святым отцам и пророкам принадлежат и все лучшие поместья, самые трудолюбивые крестьяне и работники, и земли у них гораздо больше, чем у бога-фараона. Так говорит тебе сын и слуга твой Рамсес, у которого во все время путешествия глаза были открыты, как у рыбы, и уши чутки, как у осторожного осла».

Рамсес сделал небольшую паузу. Тутмос мысленно повторял его слова.

— Когда же, — продолжал наместник, — фараон спросит мое мнение об ассирийцах, пади ниц и ответь: «Твой слуга Рамсес осмеливается думать, что ассирийцы — рослые и сильные воины и оружие у них прекрасное, но видно, что они плохо обучены. Саргона сопровождали, очевидно, лучшие ассирийские войска: лучники, секироносцы, копьеносцы, но не видно было ни одной шестерки, которая маршировала бы ровно в одной шеренге. При этом мечи у них пристегнуты плохо, копья они носят неровно, секиры держат, словно плотники или мясники свои топоры. Одежда у них тяжелая, грубые сандалии натирают ноги, а щиты, хотя и крепкие, мало принесут им пользы, потому что сами воины неповоротливы».

— Ты прав, — сказал Тутмос, — и я это подметил и то же самое слышал от наших офицеров, которые утверждают, что такая ассирийская армия, какую они тут видели, будет сопротивляться хуже, чем дикие ливийские орды.

— Скажи еще, — продолжал Рамсес, — господину нашему, который дарует нам жизнь, что вся египетская знать и все воины возмущаются при одной мысли, что ассирийцы могут захватить Финикию. Ведь Финикия — это порт Египта, а финикияне — лучшие мореходы в нашем флоте. Да, скажи еще, что я слышал от финикиян (его святейшество, должно быть, знает это лучше меня), будто Ассирия сейчас слаба, ибо ведет войну на севере и востоке, в то время как против нее вся западная Азия. И если мы сейчас нападём на нее, то можем захватить большие богатства и множество рабов, которые помогут нашим крестьянам. В заключение, однако, скажешь, что отец мой мудростью превосходит всех, а потому я буду действовать так, как он мне повелит, только пусть не отдаст Финикию в руки Ассара, иначе мы погибнем. Финикия — это бронзовая дверь к нашим сокровищницам, а где найдется человек, который отдаст вору свою дверь?

Тутмос уехал в Мемфис в месяце паопи (июль — август).

Нил стал заметно прибывать, и наплыв азиатских паломников к храму Ашторет уменьшился. Местное население высыпало на поля, чтобы

поскорее убрать виноград, лен и хлопок. В Бубасте стало тише, и сады, окружавшие храм Ашторет, почти совсем опустели.

В это время наследник, освободившись от государственных дел и развлечений, занялся судьбой Камы.

Действуя через Хирама, царевич пожертвовал храму Ашторет двенадцать золотых талантов, статуэтку богини, искусно изваянную из малахита, пятьдесят коров и сто пятьдесят мер пшеницы. Это был такой щедрый дар, что сам верховный жрец храма явился к наместнику, чтобы пасть перед ним ниц и отблагодарить за милость, которую, говорил он, веки не забудут народы, почитающие богиню Ашторет.

Рассчитавшись с храмом, наместник пригласил к себе начальника полиции Бубаста и беседовал с ним не меньше часа. И спустя несколько дней весь город был потрясен необычным событием.

Кама, жрица Ашторет, была похищена, увезена куда-то и исчезла, как песчинка в пустыне!..

Это небывалое событие произошло при следующих обстоятельствах.

Верховный жрец храма послал Каму в соседний город Сабни-Хетем, стоящий над озером Мензале, с жертвоприношениями для небольшого тамошнего храма Ашторет. Жрица отправилась туда в лодке ночью, спасаясь от летнего зноя, а также чтобы избежать любопытства местного населения и всяческих выражений почитания.

Под утро, когда четверо гребцов задремали от усталости, из прибрежных зарослей выплыло несколько челноков, в которых сидели греки и хетты; они окружили лодку Камы и похитили жрицу. Нападение было так неожиданно, что финикийские гребцы не успели оказать сопротивления. Жрице же, по-видимому, заткнули рот, так как она даже не крикнула.

Совершив это святотатство, хетты и греки скрылись в зарослях, намереваясь уйти потом в море. А чтобы обезопасить себя от погони, они опрокинули лодку, принадлежащую храму Ашторет.

В Бубасте поднялся переполох, все население только об этом и говорило. Указывали даже на виновников преступления. Одни подозревали ассирийца Саргона, обещавшего Каме взять ее в жены, если только она согласится покинуть храм и поехать с ним в Ниневию, другие — грека Ликона, служившего в храме Ашторет певцом и давно пылавшего страстью к Каме. Он был достаточно богат, чтобы нанять греческих бродяг, и только такой отъявленный безбожник не побоялся бы похитить жрицу.

Разумеется, в храме Ашторет немедленно был созван совет богатейших и благочестивейших прихожан. Совет решил прежде всего

освободить Каму от обязанностей жрицы и снять с нее проклятие, которое угрожало жрице, нарушившей обет целомудрия.

Это было благочестивое и мудрое решение: если кто-то насильно похитил жрицу, то не за что было карать ее.

Несколько дней спустя верующим в храме Ашторет было объявлено под звуки рогов, что Кама умерла, и если кто-нибудь встретит женщину, похожую на нее, то не должен мстить ей или даже упрекать ее. Ведь жрица не по своей воле покинула богиню Ашторет, ее похитили злые люди, которые и будут наказаны.

В тот же день достойный Хирам посетил Рамсеса и преподнес ему в золотой шкатулке пергамент, снабженный множеством жреческих печатей и подписями знатнейших финикийян.

Это было решение духовного суда Ашторет, освобождавшее Каму от обета и снимавшее с нее проклятие небес, если она отречется от сана жрицы.

С этим документом после заката солнца царевич направился к уединенному павильону в своем саду, открыл потайную дверь и поднялся в небольшую комнату во втором этаже.

При свете украшенного резьбой светильника, в котором горело благовонное масло, он увидел Каму.

— Наконец-то! — воскликнул он, отдавая ей золотую шкатулку. — Вот тебе все, чего ты хотела.

Финикийка была возбуждена, глаза ее горели. Она схватила шкатулку и, осмотрев ее, швырнула на пол.

— Ты думаешь, она золотая? Ручаюсь, что она не золотая, а только покрыта с обеих сторон позолотой!

— Так-то ты меня встречаешь? — сказал удивленный царевич.

— Я знаю своих соотечественников, — ответила она, — они подделывают не только золото, но и рубины, сапфиры...

— Кама! — перебил ее наследник. — Но в этой шкатулке твоя свобода.

— Очень нужна мне эта свобода! Я скучаю, и мне страшно. Сажу тут уже четыре дня, как в тюрьме...

— Тебе чего-нибудь не хватает?

— Мне не хватает света... воздуха... смеха... пения... людей... О мстительная богиня, как тяжело ты меня караешь!

Рамсес слушал, недоумевая. В этой злой, раздраженной женщине он не узнавал жрицу, которую видел в храме, девушку, овеянную страстной песней грека.

— Завтра, — сказал царевич, — ты можешь выйти в сад. А когда мы

поедем в Мемфис, в Фивы, ты будешь веселиться, как никогда. Взгляни на меня — разве я не люблю тебя и разве не великая честь для женщины принадлежать мне?

— Да, — ответила она капризно, — но у тебя ведь было до меня четыре...

— Тебя я люблю больше всех!

— Если б ты любил меня больше всех, то сделал бы меня первой, поселил бы во дворце, который занимает эта... еврейка Сарра, и дал бы почетную охрану мне, а не ей. Там, перед статуей Ашторет, я была первой... Те, кто поклонялся богине, падая перед ней на колени, смотрели на меня... А здесь что? Солдаты бьют в барабаны, играют на флейтах, чиновники складывают руки на груди и склоняют головы перед домом еврейки...

— Перед моим первенцем, — перебил ее с раздражением Рамсес. — А он не еврей!

— Еврей! — крикнула Кама.

Рамсес вскочил.

— Ты с ума сошла! — сказал он, вдруг успокоившись. — Разве ты не знаешь, что мой сын не может быть евреем?..

— А я тебе говорю, что он еврей!.. — кричала она, стуча кулаком по столу. — Еврей, как его дед и братья его матери, и зовут его Исаак...

— Что ты сказала, финикиянка?.. Хочешь, чтобы я прогнал тебя?..

— Прогони меня, если я лгу, — продолжала Кама, — но если я сказала правду, прогони ту, еврейку, вместе с ее ублюдком, а дворец отдай мне. Я хочу, я заслуживаю того, чтобы быть первой в твоём доме. Она обманывает тебя... издевается над тобой... а я ради тебя отреклась от моей богини... и она может отомстить мне!..

— Докажи, и дворец будет твоим... Нет, это ложь. Сарра не пошла бы на такое преступление... Мой первородный сын!

— Исаак... Исаак! — кричала Кама. — Пойди к ней, и ты убедишься!

Рамсес, едва сознавая, что делает, бросился к павильону, где жила Сарра.

Не помня себя от гнева, он долго не мог попасть на дорогу, хотя ночь была светлая. Холодный воздух отрезвил его, и он почти спокойно вошел в дом Сарры.

Несмотря на поздний час, там еще не спали. Сарра сама стирала сыну пеленки, между тем как ее прислуга весело проводила время за накрытым столом.

Когда Рамсес, бледный от волнения, появился у входа, Сарра

вскрикнула, но тут же опомнилась.

— Привет тебе, господин мой, — сказала она, вытирая мокрые руки и склоняясь к его ногам.

— Сарра! Как зовут твоего сына? — спросил Рамсес.

Женщина в ужасе схватилась за голову.

— Как зовут твоего сына? — повторил он.

— Ты ведь знаешь, господин, что его зовут Сети, — ответила она чуть слышно.

— Посмотри мне в глаза!

— О Яхве!

— Ага! Ты лжешь! Так я тебе скажу: моего сына, сына наследника египетского престола, зовут Исаак! И он — еврей! Подлый еврей!

— Господи! Господи! Пощади! — вскричала она, бросаясь к его ногам.

Рамсес не повышал голоса, но лицо его приняло серый оттенок.

— Говорили мне, — сказал он, — чтобы я не брал в свой дом еврейку... Меня выворачивало наизнанку, когда я видел, как всю усадьбу облепили евреи. Но я старался подавить свою неприязнь к твоим соплеменникам, потому что доверял тебе. А ты вместе со своими евреями украла у меня сына.

— Это жрецы повелели, чтобы он был евреем, — пролепетала Сарра, рыдая у ног Рамсеса.

— Жрецы? Какие?

— Досточтимые Херихор и Мефрес. Они говорили, что так нужно, потому что твой сын должен стать первым израильским царем.

— Жрецы? Мефрес? — повторил царевич. — Израильским царем? Ведь я говорил тебе, что сделаю его начальником моих стрелков или моим писцом. — Я говорил тебе это! А ты, несчастная, решила, что титул царя иудейского заманчивее этих высоких должностей. Мефрес... Херихор! Благодарение богам, что я раскрыл наконец интриги этих высоких сановников. Теперь я знаю, какую судьбу они готовят моему сыну.

С минуту он что-то обдумывал, кусая губы, и вдруг громко крикнул:

— Эй! Слуги! Солдаты!

Мгновенно комната стала заполняться людьми. Вошли, плача, прислужницы Сарры, писец и управитель ее дома, потом рабы, наконец несколько солдат и офицеров.

— Смерть! — закричала Сарра душераздирающим голосом.

Она бросилась к колыбели, схватила сына и, забившись в угол комнаты, крикнула:

— Меня убейте... но его не дам!

Рамсес усмехнулся.

— Сотник, — обратился он к офицеру, — возьми эту женщину и ребенка и отведи в помещение, где живут мои рабы. Эта еврейка не будет больше госпожой. Она будет служанкой у той, которая займет ее место. А ты, — сказал он домоправителю, — не забудь прислать ее завтра утром омыть ноги своей госпоже, которая сейчас придет сюда. Если она откажется повиноваться, накажи ее палками. Отвести эту женщину к рабам!

Офицер и домоправитель подошли к Сарре, но остановились, не решаясь прикоснуться к ней. Но в этом и не было нужды. Сарра завернула в платок плачущего ребенка и вышла из комнаты, шепча:

— Бог Авраама, Исаака, Иакова, помилуй нас...

Она низко склонилась перед царевичем, из глаз ее лились тихие слезы. И еще из сеней Рамсес слышал ее нежный голос:

— Бог Авраама, Иса...

Когда все стихло, наместник обратился к офицеру и домоправителю:

— Пойдите с факелами к дому, стоящему среди смоковниц...

— Понимаю, — ответил управитель.

— И немедленно приведите сюда женщину, которая там живет...

— Исполню.

— Эта женщина будет отныне вашей госпожой и госпожой еврейки Сарры, которая каждое утро должна омыwać ей ноги, обливать ее водой и держать перед ней зеркало. Это — моя воля и приказание.

— Будет исполнено.

— А завтра утром доложить мне, покорна ли новая служанка.

Отдав эти распоряжения, наместник вернулся к себе во дворец. Всю ночь, однако, он не спал. В душе его разгорелось пламя мести.

Рамсес чувствовал, что, даже не повысив голоса, он сокрушил Сарру, несчастную еврейку, которая осмелилась обмануть его. Он наказал ее, как царь, который одним движением бровей низвергает человека с высоты в пучину рабства. Но Сарра была лишь орудием жрецов, а наследник был чересчур справедлив, чтобы, сломав орудие, простить тех, кто им пользовался.

То, что жрецы были недостижимы, лишь увеличивало его ярость. Царевич мог прогнать Сарру с ребенком среди ночи в дом для челяди, но не мог лишить Херихора его власти, а Мефреса — сана верховного жреца. Сарра упала к его ногам, как раздавленный червь, а Херихор и Мефрес, которые отняли у него его первенца, возносились над Египтом и — о, позор! — над ним самим, будущим фараоном, подобно пирамидам. И вот

который уже раз за этот год вспомнились ему все обиды, какие претерпел он от жрецов. В школе его били палками так, что спина трещала, или морили голодом так, что, казалось, желудок прирастал к хребту. На прошлогодних маневрах Херихор нарушил весь его план, а потом, свалив вину на него же, лишил командования корпусом. Тот же Херихор навлек на него немилость фараона за то, что он взял в дом Сарру, и лишь тогда вернул ему почетное положение, когда он, смирившись, провел несколько месяцев в добровольном изгнании. Казалось бы, что, получив корпус и став наместником, Рамсес должен был избавиться от опеки жрецов. Но именно теперь они преследуют его с удвоенной энергией. Жрецы сделали его наместником — для чего? Чтобы удалить от фараона и заключить позорный договор с Ассирией. Когда он захотел получить сведения о состоянии государства, они заставили его как кающегося грешника отправиться в храм и там запугивали, морочили ложными чудесами и обманывали, давая совершенно неверные сведения. Потом стали вмешиваться в его личную жизнь, в отношения с женщинами, с финикиянами, следить за его долгами и, наконец, чтобы унижить и сделать смешным в глазах народа, отдали его первенца евреям.

Всякий египтянин, будь то крестьянин, раб или каторжник, имеет право сказать ему: «Я лучше тебя, потому что у меня нет сына еврея».

Чувствуя тяжесть оскорбления, Рамсес в то же время понимал, что не может сейчас отомстить за себя, и решил отложить это на будущее. В жреческой школе он научился владеть собой, при дворе научился сносить обиды и лицемерить, и это будет теперь его щитом и орудием в борьбе со жрецами... Пока он будет держать их в заблуждении, а когда наступит подходящий момент, так по ним ударит, что они уже не поднимутся.

На дворе стало светать. Наследник крепко заснул.

Когда он проснулся, первым человеком, попавшимся ему на глаза, был домоправитель Сарры. Рамсес спросил:

— Как ведет себя еврейка?

— Она омыла ноги своей госпоже, как ты приказал, господин наш, — ответил управитель.

— И была покорна?

— Она была исполнена смирения, но недостаточно проворно служила новой госпоже, и та ударила ее ногой в лицо.

Рамсес отшатнулся.

— А что же Сарра? — вскричал он.

— Упала наземь. Когда же новая госпожа велела ей уйти прочь, она вышла, тихонько плача.

Царевич стал шагать по комнате.

— А как она провела ночь?

— Новая госпожа?

— Нет. Я спрашиваю про Сарру.

— Как ты приказал, Сарра пошла с ребенком в дом для челяди. Там служанки из жалости уступили ей свежую циновку, но Сарра не легла спать, а просидела всю ночь с ребенком на коленях.

— А ребенок? — спросил наследник.

— Ребенок здоров. Сегодня утром, когда Сарра пошла служить новой госпоже, другие женщины выкупали его в теплой воде, а жена пастуха, у которой тоже грудной младенец, накормила его грудью.

— Нехорошо, — сказал Рамсес, — когда корова, вместо того чтобы кормить своего теленка, тащит плуг под ударами кнута. И хотя эта еврейка совершила большой проступок, я не хочу, чтобы страдало ее невинное дитя. Сарра больше не будет мыть ноги госпоже и не будет терпеть от нее побоев. Отведи ей в доме для челяди отдельную комнату, дай кое-какую утварь и прикажи кормить ее, как кормят женщину, которая недавно родила. И пусть она спокойно растит своего ребенка.

— Да живешь ты вечно, владыка наш! — ответил домоправитель и помчался выполнять приказ наместника.

Вся прислуга любила Сарру, тогда как злобную и крикливую Каму за несколько часов все успели возненавидеть.

Не много счастья принесла Рамсесу финикийская жрица. Когда он в первый раз пришел навестить ее в павильоне, где перед тем жила Сарра, он ожидал встретить благодарность, но Кама приняла его почти враждебно.

— Что же это, — воскликнула она, — не прошло и дня, как ты вернул негодной еврейке свою милость?

— Но ведь она продолжает жить в доме для челяди, — ответил царевич.

— Однако мой управитель сказал, что она не будет больше омыwać мне ноги.

Наследник поморщился.

— Ты, как вижу, все еще недовольна? — сказал он.

— Я не успокоюсь, — вспыхнула она, — пока не проучу ее, пока, служа мне и стоя на коленях у моих ног, она не забудет, что была когда-то первой твоей женщиной и хозяйкой в этом доме. Пока мои слуги не перестанут смотреть на меня со страхом и недоверием, а на нее с жалостью.

Финикиянка все меньше нравилась Рамсесу.

— Кама, — сказал он, — послушай, что я тебе скажу. Если бы мой слуга ударил ногой суку, которая кормит своего щенка, я бы его прогнал... А ты ударила ногой в лицо женщину и мать. В Египте имя матери священо, и добрый египтянин больше всего на свете почитает богов, фараона и Мать.

— О, горе мне!.. — воскликнула Кама, бросаясь на лодке. — Вот возмездие за то, что я отреклась от своей богини. Только неделю назад к ногам моим бросали цветы и воскурjali передо мной благовония, а сейчас...

Царевич молча вышел из комнаты и вернулся лишь через несколько дней. Но опять застал Каму в плохом настроении.

— Умоляю тебя, господин, — завопила она, — прояви немного больше заботы обо мне! Ведь слуги уже меня не слушаются, солдаты смотрят исподлобья, и я боюсь, чтобы на кухне кто-нибудь не подсыпал мне яду в кушанье.

— Я был занят военными учениями, — ответил царевич, — и не мог прийти к тебе.

— Неправда, — сердито ответила Кама, — вчера ты был под моим

балконом, а потом пошел в дом для челяди, где живет эта еврейка. Ты хотел, чтобы я это видела.

— Довольно! — оборвал ее наследник. — Я не был ни под твоим балконом, ни у дома для челяди. А если тебе показалось, будто ты видела меня, то это значит, что этот негодный грек, твой возлюбленный, не только не покинул Египта, но даже осмеливается слоняться по моему саду.

Финикиянка слушала в ужасе.

— О Ашторет! — вскричала она. — Спаси... О земля, сокрой меня! Если Ликон вернулся, то мне грозит большое несчастье...

Царевич рассмеялся, но ему надоело слушать ее вопли.

— Не беспокойся, — сказал он, уходя, — и не удивляйся, если на днях твоего Ликона приведут к тебе, как пойманного шакала. Мое терпение иссякло.

Вернувшись во дворец, Рамсес вызвал Хирама и начальника полиции. Он рассказал им, что грек Ликон, похожий на него лицом, бродит вокруг дворца, и приказал поймать его. Хирам поклялся, что раз финикияне будут действовать заодно с полицией, грек не уйдет от них. Начальник полиции, однако, покачал головой.

— Ты сомневаешься? — спросил его Рамсес.

— Да, господин. В Бубасте живет очень много набожных азиатов, по мнению которых жрица, покинувшая алтарь, заслуживает смерти. И если этот грек взялся убить Каму, они будут помогать ему, скроют его и облегчат ему побег.

— А ты что скажешь, князь? — обратился наследник к Хираму.

— Достойный начальник полиции дал мудрый ответ, — ответил старик.

— Но ведь вы освободили ее от обета! — воскликнул Рамсес, обращаясь к Хираму.

— За финикиян, — ответил Хирам, — я могу поручиться. Они не тронут Каму и будут преследовать грека. Но что сделать с другими поклонниками богини Ашторет?..

— Я надеюсь, — заметил начальник полиции, — что пока этой женщине ничто не угрожает. И если б у нее хватило смелости, мы могли бы с ее помощью заманить грека и поймать его здесь в каком-нибудь из дворцов.

— Пойди к ней, — сказал наследник, — и изложи придуманный тобою план. И если тыймаешь негодяя, я дам тебе в награду десять талантов.

Когда наследник простился с ними, Хирам обратился к начальнику полиции:

— Начальник, я знаю, ты изучил оба способа письма и тебе не чужда жреческая премудрость. Когда ты хочешь, ты слышишь сквозь стены и видишь в темноте. Поэтому тебе известны мысли и мужика, черпающего воду из колодца, и ремесленника, торгующего сандалиями, и важного господина, чувствующего себя в не меньшей безопасности под охраной своих слуг, чем ребенок в утробе матери.

— Ты не ошибся, — ответил чиновник, — боги действительно наградили меня даром прозорливости.

— Так вот, — продолжал Хирам, — благодаря своим сверхъестественным способностям ты, наверно, уже догадался, что за поимку этого негодяя, осмеливающегося вводить всех в заблуждение своим внешним сходством с наследником престола, нашим господином, храм Ашторет уплатит тебе двадцать талантов. Кроме того, храм добавит тебе десять талантов, если слух об этом сходстве не распространится по Египту, ибо непристойно, чтобы простой смертный напоминал своим обликом существо божественного происхождения. Пусть же то, что ты слышал о Ликоне и о всех наших розысках безбожника, останется между нами.

— Понимаю, — ответил чиновник, — и может случиться, что такой преступник умрет, прежде чем мы отдадим его под суд.

— Ты меня понял, — сказал Хирам, пожимая ему руку. — Всякое содействие, какого ты потребуешь от финикиян, будет тебе оказано.

Они расстались, как два приятеля, охотящиеся на крупного зверя и знающие, что не важно, чей дротик попадет в цель, лишь бы добыча не ушла из их рук.

Через несколько дней Рамсес опять навестил Каму и нашел ее почти в состоянии помешательства. Она пряталась в самой маленькой комнате своего дворца, голодная, непричесанная, и отдавала прислуге самые противоречивые распоряжения. То приказывала всем собраться, то гнала их прочь от себя. Ночью звала к себе караульных и тотчас же убегала от них на чердак, крича, что ее хотят извести.

Все это убило в душе Рамсеса любовь к ней — осталось только чувство тревоги. И сейчас, когда домоправитель Камы рассказал ему об этих причудах, он схватился за голову и растерянно прошептал:

— Плохо я сделал, отняв эту женщину у ее богини. Только богиня могла терпеливо сносить ее капризы.

Все же он зашел к Каме и нашел ее исхудалой, растрепанной, дрожащей.

— Горе мне! — вскричала она. — Я живу, окруженная врагами. Моя прислужница хочет отравить меня, а парикмахерша — привести на меня

порчу. Солдаты ждут только случая вонзить мне в грудь копье или меч, и я боюсь, что в кухне мне готовят колдовские снадобья. Все хотят моей смерти.

— Кама! — остановил ее царевич.

— Не называй меня так, — прошептала она с ужасом, — это принесет мне несчастье.

— Откуда у тебя такие мысли?

— Откуда? Ты думаешь, я не вижу, что днем у стен дворца бродят чужие люди и скрываются, прежде чем я успею позвать прислугу? А ночью, думаешь, я не слышу, как шепчутся за стеной?

— Тебе кажется.

— Проклятые! Проклятые! — крикнула она, заливаясь слезами. — Вы все говорите, что это мне кажется. А вот третьего дня чья-то преступная рука подбросила мне в спальню покрывало, которое я носила полдня, пока не увидала, что это не мое. У меня никогда не было такого.

— Где же это покрывало? — спросил наследник уже с тревогой.

— Я сожгла его, но сперва показала моим служанкам.

— Ну, а если это даже и не твое? С тобой ведь ничего не случилось?

— Пока ничего. Но если бы я продержала эту тряпку еще несколько дней в доме, я бы, наверно, отравилась или заразилась неизлечимой болезнью. Я знаю, на что способны азиаты.

Рамсес, утомленный и раздраженный, поспешил уйти от нее, несмотря на все ее мольбы. Когда же он спросил у прислужницы, та подтвердила, что это было чье-то чужое покрывало, неизвестно кем подброшенное.

Наследник велел удвоить караулы во дворце и вокруг дворца и, расстроенный, возвратился к себе.

«Никогда бы я не поверил, — думал он, — что одна слабая женщина может вызвать такое смятение. Четыре только что пойманные гиены причинят меньше беспокойства, чем эта финикиянка».

Дома он застал Тутмоса, только что приехавшего из Мемфиса и едва успевшего принять ванну и переодеться после путешествия.

— Ну, что ты мне скажешь? — спросил Рамсес своего любимца, заметив по его лицу, что он привез дурные вести. — Видел ли ты его святейшество?

— Я видел лучезарного бога Египта, — ответил Тутмос, скрестив руки на груди и склонив голову. — И вот что он мне сказал: «Тридцать четыре года вез я тяжелую колесницу Египта и так устал, что мне захотелось уйти к моим великим предкам, пребывающим в стране мертвых. Вскоре я покину эту землю, и тогда сын мой Рамсес воссядет на трон и будет

править государством так, как ему подскажет мудрость».

— Так сказал мой святейший отец?

— Это его слова, и я повторяю их в точности, — ответил Тутмос. — Несколько раз государь говорил мне, что не оставляет тебе никаких распоряжений на будущее, дабы ты мог управлять Египтом, как сам пожелаешь.

— О святой! Неужели его болезнь действительно так опасна? Почему он не позволяет мне вернуться к нему? — спросил царевич с огорчением.

— Ты должен быть здесь, ибо здесь ты можешь понадобиться.

— А договор с Ассирией? — спросил наследник.

— Он заключен в том смысле, что Ассирия может без помех с нашей стороны вести войну на востоке и севере. Вопрос же о Финикии останется открытым, пока ты не взойдешь на престол.

— О благословенный! О святой владыка! От какого ужасного наследия ты избавил меня!

— Так вот, вопрос о Финикии остается открытым, — продолжал Тутмос, — но вместе с тем фараон, желая доказать Ассирии, что не помешает ей воевать с северными народами, приказал сократить нашу армию на двадцать тысяч наемных солдат.

— Что ты сказал?! — воскликнул с изумлением наследник.

Тутмос огорченно покачал головой.

— К сожалению, это верно, — сказал он. — Уже успели распустить четыре ливийских полка.

— Но ведь это безумие! — закричал наследник, ломая руки. — Зачем мы так ослабляем себя? И куда денутся эти люди?

— Они ушли в Ливийскую пустыню и либо станут нападать на ливийцев, что доставит нам много хлопот, либо соединятся с ними и вместе вторгнутся в наши западные земли.

— Я ничего об этом не знал! Что они наделали! И когда? Никаких слухов до нас не доходило!

— Распущенные наемники ушли в пустыню прямо из Мемфиса, но Херихор запретил говорить об этом кому бы то ни было.

— Так Мефрес и Ментесуфис тоже не знают? — спросил наместник.

— Они знают.

— Они знают, а я ничего не знаю!

Наследник внезапно успокоился, но побледнел, и его юное лицо исказилось ненавистью. Он схватил своего наперсника за руки и, крепко сжимая их, шептал:

— Слушай! Клянусь тебе священными головами моего отца и моей

матери... Клянусь памятью Рамсеса Великого... Клянусь всеми богами, какие существуют, что, когда я начну править, жрецы или склонятся перед моей волей, или я раздавлю их!

Тутмос слушал в ужасе.

— Я — или они! — закончил царевич. — В Египте не может быть двух господ!

— И всегда был только один — фараон, — добавил наперсник царевича.

— А ты останешься мне верен?

— Я, вся знать, армия — клянусь тебе.

— Хорошо, — сказал наследник, — пусть распускают наемные полки, пусть подписывают договоры, пусть прячутся от меня, как летучие мыши, и пусть обманывают. Но настанет время... А пока, Тутмос, отдохни с дороги и приходи ко мне вечером на пир. Эти люди так опутали меня, что я могу только развлекаться. Ну что ж, будем развлекаться. Но когда-нибудь я покажу им, кто повелитель Египта: они или я!

С этого дня пиры возобновились. Наследник, словно стыдясь своих войск, не производил с ними учений. Дворец кишел знатью, офицерами, придворными фокусниками и певицами, по ночам происходили пьяные оргии, где звуки арф заглушались пьяными криками пирующих и истерическим смехом женщин.

На одну из таких пирушек Рамсес пригласил Каму, но она отказалась. Наследник обиделся. Заметив это, Тутмос спросил Рамсеса:

— Правда ли, что Сарра лишилась твоей милости?

— Не напоминай мне об этой еврейке, — ответил наследник. — Тебе известно, что она сделала с моим сыном?

— Известно, — ответил Тутмос, — только мне кажется, что она не виновата. Я слышал в Мемфисе, что твоя досточтимейшая мать, царица Никотриса, и достойнейший министр Херихор хотели сделать твоего сына царем израильским.

— Но ведь у израильтян нет царя! Есть только священники и судьи, — возразил наследник.

— У них нет, но они хотят его — им тоже надоела эта власть жрецов.

Наследник презрительно махнул рукой.

— Возничий фараона, — ответил он, — больше значит, чем любой из этих царьков, а тем более израильский, которого не существует.

— Во всяком случае, вина Сарры не так уж велика, — заметил Тутмос.

— Ну так знай же — когда-нибудь я расквитаюсь и с жрецами.

— В данном случае они тоже не очень виноваты. Досточтимый

Херихор поступил так, желая возвеличить славу и могущество твоей династии, и действовал он с ведома царицы Никотрисы.

— А Мефрес зачем вмешивается в мою жизнь? Его дело охранять святыни, а не заниматься судьбой моего потомства.

— Мефрес — старик и начинает уже впадать в детство. Весь двор фараона посмеивается сейчас над его причудами, о которых я сам, впрочем, ничего не знаю, хотя почти каждый день встречался и продолжаю встречаться с этим святым мужем.

— Это интересно. Что же он делает?

— Несколько раз в день, — ответил Тутмос, — он совершает торжественные богослужения в самой укромной части храма и велит своим жрецам наблюдать, не поднимают ли его боги на воздух во время молитвы.

Рамсес расхохотался.

— И это происходит здесь, в Бубасте, у всех на глазах, а я ничего не знаю.

— Это жреческая тайна...

— Тайна, о которой в Мемфисе все говорят! Ха-ха-ха! В цирке я видел халдейского фокусника, который поднимался на воздух.

— И я видел, — заметил Тутмос, — но то был фокус, а Мефрес действительно хочет воспарить над землей на крыльях своего благочестия.

— Неслыханное шутовство! — сказал царевич. — А что говорят по этому поводу другие жрецы?

— В наших священных папирусах есть указания, что в былые времена у нас бывали пророки, обладавшие способностью подниматься в воздух. Поэтому попытки Мефреса не удивляют жрецов. А так как в Египте, как тебе известно, подчиненные верят в то, что угодно начальству, то некоторые святые мужи утверждают, будто Мефрес действительно чуть-чуть поднимается над землею, когда молится.

— Ха-ха-ха! И этой великой тайной развлекается весь двор, а мы, как мужики или землекопы, даже не догадываемся о чудесах, которые совершаются перед нами. Как жалок удел наследника египетского престола! — смеялся Рамсес.

После вторичной просьбы Тутмоса, успокоившись, он отдал распоряжение перевести Сарру с ребенком из дома для челяди в павильон, где первые дни жила Кама.

Прислуга наследника с восторгом встретила это распоряжение своего господина; все прислужницы, рабы и даже писцы провожали Сарру до нового ее жилища с музыкой и кликами радости.

Финикиянка, услышав шум, спросила, что случилось. Когда ей

рассказали, что Сарре возвращена милость наследника и что из дома рабынь она снова переехала во дворец, жрица пришла в бешенство и велела позвать к себе Рамсеса.

Он явился.

— Так вот ты как поступаешь со мной! — воскликнула Кама, совершенно не владея собой. — Как же так! Ты обещал мне, что я буду первой женщиной в твоём дворце, но не успела луна обежать и половины неба, как ты изменил своему слову, — может быть, ты думаешь, что Ашторет мстит только жрицам и щадит сыновей фараона?

— Скажи своей Ашторет, — спокойно ответил Рамсес, — чтобы она никогда не угрожала царским сыновьям, не то она тоже попадет в дом для челяди.

— Я понимаю! — кричала Кама. — Ты отправишь меня туда, а может быть, даже в тюрьму, а сам будешь проводить ночи у своей еврейки. Вот как платишь ты мне за то, что я ради тебя отреклась от богов и несу на себе их проклятье... за то, что я не имею ни минуты покоя, что я сгубила свою молодость, жизнь и даже душу!..

Царевич признался в душе, что Кама многим пожертвовала ради него. В нём проснулось раскаяние.

— У Сарры я не был и не пойду к ней, — ответил он. — Напрасно ты возмущаешься. Несчастную женщину устроили поудобнее, чтобы она могла спокойно выкормить своего ребенка.

Финикиянка вся затряслась и подняла кверху сжатые кулаки, волосы у нее встали дыбом, а в глазах вспыхнул огонь ненависти.

— Вот как ты отвечаешь мне?.. Еврейка несчастна, потому что ты прогнал ее из дворца, а я должна быть довольна, хотя боги изгнали меня из своего святилища. А моя душа... душа жрицы, утопающей в слезах и полной страха, разве не значит для тебя больше, чем это еврейское отродье, этот ребенок! Чтоб он сгинул! Нет такой беды, которую я не призывала бы на его голову.

— Замолчи! — крикнул Рамсес, зажав ей рот.

Она отпрянула в испуге.

— И я даже не могу пожаловаться на свое горе!.. А если ты так заботаешься о своем ребенке, то зачем же ты похитил меня из храма, зачем обещал, что я буду твоей первой женщиной?.. Берегись же, — снова закричала она, — чтобы Египет, узнав о моей судьбе, не назвал тебя вероломным!

Наследник качал головой и усмехался. Наконец он сел и сказал:

— Действительно, мой учитель был прав, когда предостерегал меня от

женщин. Вы словно спелый персик перед глазами человека, у которого высох язык от жажды. Но только с виду... Ибо горе глупцу, который раскусит этот красивый плод: вместо освежающей сладости он найдет внутри гнездо ос, которые изранят ему не только рот, но и сердце.

— Еще упреки!.. Даже от этого не можешь избавить меня!.. И я пожертвовала для тебя достоинством жрицы и своим целомудрием!

Наследник продолжал насмешливо качать головой.

— Я никогда не думал, — сказал он наконец, — что оправдается сказка, которую перед сном рассказывают крестьяне. Но сейчас убеждаюсь, что в ней все правда. Послушай-ка ее, Кама, и, может быть, ты опомнишься и не захочешь окончательно потерять мое расположение.

— Стану я слушать еще какие-то сказки. Я уже одну слыхала от тебя... и вот что из этого вышло...

— Но эта, несомненно, пойдет тебе на пользу, если ты только захочешь ее понять.

— А будет в ней что-нибудь о еврейских детях?

— Там есть и о жрицах, только слушай повнимательней! «Дело было давно, здесь же, в Бубасте. Однажды некий князь Сатни увидел на площади перед храмом Птаха очень красивую женщину. Никогда еще он такой красавицы не встречал, а главное, было на ней много золота. Князю женщина эта страшно понравилась, и, когда он узнал, что она дочь верховного жреца в Бубасте, он послал ей со своим конюшим такое предложение: „Я подарю тебе десять золотых перстней, если согласишься провести со мной часочек“.

Конюший отправился к прекрасной Тбубуи^[108] и передал ей слова князя Сатни. Она выслушала его благосклонно и, как подобает хорошо воспитанной девице, ответила:

— Я — дочь верховного жреца и невинная девушка, а не какая-нибудь девка. И если князь желает со мной познакомиться, пусть приходит ко мне в дом, где все будет приготовлено и наше знакомство не даст повода к пересудам всем соседним кумушкам.

Тогда князь Сатни пошел к девице Тбубуи и поднялся к ней в верхние покои. Стены их были выложены плитками из ляпис-лазури и бледно-зеленой эмали. Там было множество диванов, покрытых дорогим полотном, и несколько круглых столиков, заставленных золотыми бокалами. Один из бокалов был наполнен вином и подан князю. Тбубуи при этом сказала:

— Выпей, прошу тебя!

— Ведь ты знаешь, что я пришел не для того, чтобы пить вино.

Однако они сели за пиршественный стол. На Тбубуи была длинная одежда из плотной ткани, застегнутая до самой шеи. И когда князь захотел ее поцеловать, она отстранила его и сказала:

— Дом этот будет твоим. Но не забывай, что я добродетельная девушка; если хочешь, чтобы я тебе покорилась, поклянись, что будешь мне верен, и завещай мне твое имущество.

— Тогда прикажи позвать сюда писца! — воскликнул князь.

И когда писец явился, Сатни велел ему составить брачное свидетельство и дарственную, по которой все его деньги, движимое имущество и земельные угодья переходили к Тбубуи.

Некоторое время спустя слуги доложили князю, что внизу ждут его дети. Тбубуи тотчас же вышла и вернулась в платье из прозрачного газа. Сатни снова хотел ее обнять, но она отстранила его и сказала:

— Дом этот будет твоим! Но так как я не какая-нибудь негодница, а добродетельная девица, то если ты хочешь, чтобы я принадлежала тебе, пусть дети твои подпишут отказ от твоего имущества, чтобы потом они не судились с моими детьми.

Сатни позвал своих детей наверх и велел им подписать акт отказа от имущества, что они и сделали. Но когда он снова хотел приблизиться к Тбубуи, она не допустила его к себе.

— Этот дом будет твоим, — сказала она. — Но я не какая-нибудь распутница, я — целомудренная девица, и если ты любишь меня, вели убить твоих детей, чтобы они потом не оттягали у моих детей твое имущество...»

— Какая длинная история! — нетерпеливо прервала его Кама.

— Сейчас кончится, — ответил наследник. — И знаешь, Кама, что ответил Сатни?

— Если ты этого требуешь, пусть свершится злодеяние.

Тбубуи не надо было два раза повторять это. Она велела зарубить детей на глазах отца и бросила их рассеченные на части тела в окно собакам и кошкам. И только тогда Сатни вошел в ее покой и возлег на ее лодке из черного дерева, украшенное слоновой костью». [\[109\]](#)

— И хорошо делала Тбубуи, что не верила обещаниям мужчин! — взволнованно воскликнула финикиянка.

— Но Сатни сделал еще лучше: он проснулся... и увидел, что это страшное преступление было сном... И ты, Кама, запомни, что вернейшее средство пробудить мужчину от любовного опьянения — это послать проклятия на голову его сына.

— Будь покоен, господин мой! Я больше никогда не сказку ни слова ни

о своих огорчениях, ни о твоём сыне, — печально ответила Кама.

— А я буду с тобой ласков, и ты будешь счастлива, — закончил Рамсес.

Грозные слухи о ливийских наемниках стали распространяться и среди населения Бубаста. Рассказывали, что распущенные жрецами солдаты, возвращаясь на родину, сперва просили милостыню, потом занялись воровством и, наконец, стали грабить и жечь египетские деревни и убивать жителей. В течение нескольких дней подверглись нападению и разрушению города Хененсу, Пи-Мат и Каза^[110], расположенные к югу от Меридова озера. Погиб и караван купцов и паломников, возвращавшихся из оазиса Уит-Мехе^[111]. Вся западная граница находилась в опасности, и даже из Тереметиса^[112] стали убегать жители, ибо и в тех местах со стороны моря появились ливийские банды, будто бы посланные грозным вождем Муссавасой, который, как говорили, собирался провозгласить по всей пустыне священную войну против Египта.

Поэтому, если иногда вечером с западной стороны неба слишком долго не сходил багрянец, на жителей Бубаста нападал страх. Горожане собирались на улицах, поднимались на плоские крыши или влезали на деревья и оттуда кричали, что вдали виден пожар, в Менуфе^[113] или в Сехеме. Находились даже такие, которые, несмотря на темноту, видели бегущих жителей или ливийские банды, длинными черными шеренгами марширующие по направлению к Бубасту.

Несмотря на тревогу среди населения, правители нома бездействовали, так как центральные власти не присылали им никаких распоряжений.

Рамсес знал о беспокойстве в городе и видел равнодушие сановников Бубаста. Не получая никаких распоряжений из Мемфиса, он приходил в ярость, но поскольку ни Мефрес, ни Ментесуфис не заговаривали с ним об этих тревожных событиях, угрожающих государству, и как будто избегали этого, сам наместник не обращался к ним и не занимался военными приготовлениями.

В конце концов он перестал посещать стоящие под Бубастом войска, а вместо этого собирал во дворце всю знатную молодежь, пировал с ней и веселился, заглушая в душе возмущение против жрецов и тревогу за судьбу государства.

— Вот увидишь, — сказал он однажды Тутмосу, — святые пророки доведут нас до того, что Муссаваса захватит Нижний Египет и нам придется бежать в Фивы, а то, пожалуй, и в Суну^[114], если нас оттуда, в

свою очередь, не погонят эфиопы.

— Это верно, — ответил Тутмос, — наши правители ведут себя как изменники.

В первый день месяца атир (август — сентябрь) во дворце наследника происходило веселое пиршество. Оно началось с двух часов пополудни, и не успело еще зайти солнце, как все уже были пьяны.

Дошло до того, что гости, мужчины и женщины, валялись на полу, залитом вином, усыпанном цветами и осколками посуды.

Рамсес был еще не так пьян, как другие. Он не лежал, а сидел в кресле и держал на коленях двух прелестных танцовщиц. Одна поила его вином, другая умащала ему голову сильно пахнущими благовониями.

В этот момент в зале появился адъютант и, перешагнув через несколько бесчувственных тел, подошел к наследнику.

— Владыка, — шепнул он, — святые Мефрес и Ментесуфис желают немедленно говорить с тобой.

Наследник оттолкнул от себя танцовщиц и, весь красный, в залитом вином платье, неуверенным шагом направился к себе наверх.

Увидя его в таком состоянии, Мефрес и Ментесуфис переглянулись.

— Что вам угодно, святые отцы? — спросил наследник, падая в кресло.

— Не знаю, будешь ли ты в состоянии выслушать нас, — ответил в смущении Ментесуфис.

— А! Вы думаете, что я пьян? — воскликнул царевич. — Не бойтесь! Сейчас весь Египет до того обезумел или поглупел, что у пьяных, пожалуй, больше рассудка, чем у трезвых.

Жрецы нахмурились. Ментесуфис все же продолжал:

— Тебе известно, что царь и верховная коллегия решили распустить двадцать тысяч наемных солдат?..

— Предположим, что неизвестно, — перебил царевич. — Вы ведь не соизволили не только спросить моего совета относительно такого мудрого указа, но даже не уведомили меня о том, что четыре полка уже разогнаны и что эти голодные люди нападают на наши города.

— Уж; не осуждаешь ли ты поведение его святейшества фараона? — спросил Ментесуфис.

— Не фараона, а тех изменников, которые, пользуясь болезненным состоянием моего отца и повелителя, хотят продать государство ассирийцам и ливийцам.

Жрецы остолбенели. Подобных слов не говорил еще жрецам ни один египтянин.

— Разреши нам, царевич, вернуться сюда через несколько часов, когда ты придешь в себя, — сказал Мефрес.

— В этом нет надобности. Я знаю, что творится на нашей западной границе. Вернее — знаю не я, а мои повара, конюхи и поломойки. Но, может быть, теперь, почтенные отцы, вы соизволите посвятить и меня в ваши планы.

— Ливийцы взбунтовались, — ответил Ментесуфис с невозмутимым видом, — и начинают собирать банды с намерением напасть на Египет.

— Понимаю.

— Согласно воле его святейшества и верховной коллегии, тебе, государь, предлагается собрать войска, стоящие в Нижнем Египте, и уничтожить бунтовщиков.

— Где приказ?

Ментесуфис достал из-за пазухи пергамент, снабженный печатями, и подал его наследнику.

— Значит, теперь я являюсь главнокомандующим и верховным властителем в этой области? — спросил наследник.

— Воистину так.

— И имею право созвать вас на военный совет?

— Разумеется, — ответил Мефрес, — хоть сейчас...

— Садитесь! — предложил царевич.

Жрецы повиновались.

— Я спрашиваю вас — это необходимо для моих планов, — почему распущены ливийские полки?

— Будут распущены еще и другие, — подхватил Ментесуфис. — Верховная коллегия хочет освободиться от двадцати тысяч наиболее дорого стоящих солдат, чтобы доставить казне фараона четыре тысячи талантов ежегодно, без которых двор может оказаться в затруднении.

— Что, однако, не грозит ничтожнейшему из египетских жрецов, — заметил наследник.

— Ты забываешь, что жреца не подобает называть ничтожным, — ответил Ментесуфис. — А то, что ни одному из них не угрожает недостаток средств, — это следствие их воздержанной жизни.

— В таком случае это, вероятно, боги выпивают вино, приносимое каждый день в храмы, и это каменные идола наряжают своих женщин в золото и драгоценности, — с насмешкой заметил царевич. — Но не буду распространяться насчет вашего воздержания. Коллегия жрецов не для того разгоняет двадцать тысяч солдат и открывает ворота Египта разбойникам, чтобы наполнить казну фараона...

— А для чего?..

— Для того, чтобы угодить царю Ассару. А так как фараон отказался отдать ассирийцам Финикию, то вы хотите ослабить государство иным способом — распустить наемных солдат и вызвать войну на нашей западной границе.

— Призываю богов в свидетели, ты поражаешь нас, царевич! — воскликнул Ментесуфис.

— Тени фараонов еще больше поразились бы, услышав, что в том самом Египте, где царская власть связана по рукам и ногам, какой-то халдейский мошенник влияет на судьбу государства.

— Я не верю своим ушам! — воскликнул Ментесуфис. — О каком халдее ты, царевич, говоришь?

Наместник рассмеялся в лицо жрецам.

— Я говорю про Берозса. Если ты, святой муж, не слыхал про него, спроси у досточтимого Мефреса. А если и он забыл, пусть справится у Херихора и Пентуэра. Вот она, великая тайна ваших храмов! Подозрительный чужеземец, который, как вор, прокрался в Египет, навязывает членам верховной коллегии позорнейший договор, договор, какой можно подписать, только проиграв ряд сражений, потеряв все полки и обе столицы. И подумать только, что это сделал один человек, вероятно, шпион Ассара! А наши мудрецы настолько доверялись ему, что, когда фараон запретил им предавать Финикию, они вознаграждают себя тем, что распускают полки и вызывают войну на западной границе. Слыханное ли дело, — продолжал, уже не владея собой, Рамсес, — что в тот самый момент, когда следовало бы увеличить армию до трехсот тысяч человек и бросить ее на Ниневию, эти благочестивые безумцы разгоняют двадцать тысяч солдат и поджигают собственный дом.

Мефрес, весь бледный, молча слушал эти насмешки.

— Я не знаю, государь, — сказал он наконец, — из какого источника ты черпаешь свои сведения. Я хотел бы, чтобы он был столь же чист, как сердца членов верховной коллегии. Предположим, однако, что ты прав и что какой-то халдейский жрец сумел склонить коллегию к подписанию тяжелого договора с Ассирией. Но, если даже и так, откуда ты знаешь, что этот жрец не был посланцем богов, которые его устами предостерегли нас о нависших над Египтом опасностях?

— С каких это пор халдеи пользуются у вас таким доверием?

— Халдейские жрецы — старшие братья египетских, — заметил Ментесуфис.

— Так, может быть, и царь ассирийский — повелитель фараона?

— Не кощунствуй, царевич, — строго остановил его Мефрес. — Ты дерзаешь касаться священнейших тайн, а за это жестоко платились даже люди, стоявшие выше тебя.

— Хорошо, я не буду касаться ваших тайн. Но откуда можно узнать, какой из халдеев — посланец богов, а какой — лазутчик царя Ассара?

— По чудесам, — ответил Мефрес. — Если бы по твоему повелению, царевич, эта комната наполнилась духами, если бы незримые силы вознесли тебя на воздух, мы бы сказали, что ты орудие бессмертных, и слушались бы твоего совета.

Рамсес пожал плечами.

— Я тоже видел духов, они действовали руками молодой девушки, и видел в цирке распростертого в воздухе фокусника.

— Ты только не заметил тонких веревок, которые держали в зубах четверо его помощников, — заметил Ментесуфис.

Царевич опять рассмеялся и, вспомнив, что ему рассказывал Тутмос о молениях Мефреса, ответил насмешливо:

— При царе Хеопсе один верховный жрец захотел во что бы то ни стало летать по воздуху. Сам он молился богам, а своим подчиненным велел смотреть, не поднимает ли его невидимая сила. И представьте, святые мужи, не было дня, чтобы эти пророки не заверяли жреца, что он поднимается на воздух, пусть и невысоко — всего на один палец от пола. Но что с вами, святой отец? — спросил царевич у Мефреса.

Действительно, выслушав историю про самого себя, жрец закачался в кресле и упал бы, если бы его не поддержал Ментесуфис.

Рамсес даже растерялся. Он подал старцу воды, натер ему уксусом лоб и виски и стал обмахивать опахалом.

Вскоре святой Мефрес пришел в себя и, встав с кресла, обратился к Ментесуфису:

— Я думаю, нам можно уйти?

— Я тоже так думаю.

— А я что должен делать? — спросил наследник, почувствовав, что произошло что-то неладное.

— Исполнять обязанности главнокомандующего, — холодно ответил Ментесуфис.

Оба жреца торжественно поклонились ему и вышли.

С наместника уже окончательно соскочил хмель, но на душе у него было тяжело. Он понял, что совершил две большие ошибки: открыл жрецам, что знает их великую тайну, и безжалостно высмеял Мефреса.

Он готов был отдать год жизни, чтобы изгладить из их памяти весь

этот пьяный разговор, но было уже поздно.

«Ничего не поделаешь, — думал наместник, — я выдал себя и приобрел смертельных врагов. Этакая досада! Борьба начинается в невыгодный для меня момент. Будем все-таки продолжать. Не один фараон боролся с жрецами и побеждал их, даже не имея сильных союзников».

Однако он настолько чувствовал опасность своего положения, что тут же поклялся священной головой отца никогда больше не пить так много.

Он велел позвать Тутмоса. Наперсник явился немедленно, вполне трезвый.

— У нас война, и я главнокомандующий, — объявил наследник.

Тутмос поклонился до земли.

— И больше никогда не буду напиваться, а знаешь почему?

— Полководец должен остерегаться вина и опьяняющих ароматов, — ответил Тутмос.

— Я забыл об этом и выболтал кое-что жрецам...

— Что? — спросил Тутмос в испуге.

— Что я их ненавижу и смеюсь над их чудесами.

— Не беда; я думаю, что они и не рассчитывают на людскую любовь.

— И что я знаю их политические тайны, — прибавил наследник.

— Вот это плохо! — воскликнул Тутмос.

— Теперь об этом уже поздно говорить, — сказал Рамсес. — Пошли немедленно скороходов, чтобы завтра с утра все военачальники съехались на совет. Прикажи зажечь сигналы тревоги, и пусть все войска Нижнего Египта с завтрашнего дня направятся к западной границе. Пойди к номарху и предложи ему заняться заготовкой продовольствия, одежды и оружия, а также уведомить об этом остальных номархов.

— У нас будут большие затруднения с Нилом, — заметил Тутмос.

— Все лодки и суда задержать в нильских рукавах для переправы войск. Надо также потребовать от номархов, чтобы они занялись подготовкой резервных полков.

Тем временем Мефрес и Ментесуфис возвращались в свои жилища при храме Птаха. Как только они остались одни, верховный жрец воздел руки и воскликнул:

— О бессмертные боги, Осирис, Исида и Гор, спасите Египет от гибели. С тех пор как стоит мир, ни один фараон не поносил так жрецов, как сегодня этот отрок! Что говорю я, фараон, ни один враг Египта, ни один хетт, финикиянин, ливиец не посмел бы так дерзко пренебречь неприкосновенностью жрецов.

— Вино делает человека прозрачным, — глубокомысленно заметил

Ментесуфис.

— Но в этом юном сердце гнездится клубок змей. Он оскорбляет жреческую касту, насмехается над чудесами, не верит в богов.

— Больше всего меня удивляет то, — задумчиво проговорил Ментесуфис, — откуда ему известно о наших переговорах с Бероэсом? А что он знает о них, я готов поклясться.

— Чудовищное предательство, — ответил Мефрес, хватаясь за голову.

— Странно... Вас было четверо...

— Вовсе не четверо. Про Бероэса знала старшая жрица Исида, два жреца, которые указали ему путь к храму Сета, и жрец, встретивший его у ворот. Постой! — спохватился Мефрес. — Этот жрец все время сидел в подземелье... А что, если он подслушивал?..

— Во всяком случае, он продал тайну не младенцу, а кому-нибудь поважнее. А это уже опасно.

В келью постучался верховный жрец храма Птаха, святой Сэм.

— Мир вам, — сказал он, входя.

— Да будет благословенно твое сердце.

— Я и пришел узнать, не случилась ли какая беда, вы так громко говорите. Уж не пугает ли вас война с презренным ливийцем? — молвил Сэм.

— Что ты думаешь о царевиче, наследнике престола? — спросил его Ментесуфис.

— Я думаю, — ответил Сэм, — что он радуется войне и очень доволен своей ролью главнокомандующего. Это прирожденный воин. Когда я смотрю на него, мне приходит на память лев Рамсеса. Этот юноша готов один броситься на ливийские орды, и, пожалуй, он их рассеет.

— Этот юноша может уничтожить все наши храмы и стереть Египет с лица земли, — ответил Мефрес.

Сэм поспешно вынул золотой амулет, который носил на груди, и прошептал.

— «Убегите, дурные слова, в пустыню. Удалитесь и не причиняйте вреда праведным!» Зачем ты это говоришь? — прибавил он громче, с укором.

— Достойнейший Мефрес сказал истину, — вмешался Ментесуфис, — у тебя разболелась бы голова и живот, если бы человеческие уста повторили все кощунства, которые мы сегодня слышали от этого юнца.

— Не шути, пророк, — возмутился верховный жрец Сэм, — я скорее поверил бы тому, что вода горит, а ветер тушит огонь, чем тому, что Рамсес позволяет себе кощунствовать.

— Он притворялся, будто говорит спяна, — заметил ехидно Мефрес.

— Пусть так. Я не отрицаю, что царевич легкомысленный юноша и гуляка, но кощунствовать?

— Так думали и мы, — заявил Ментесуфис, — и настолько были в этом уверены, что, когда он вернулся из храма Хатор, мы перестали даже наблюдать за ним.

— Тебе жаль было золота, чтобы платить за это, — заметил Мефрес. — Видишь, какие последствия влечет за собой такая небрежность.

— Но что же случилось? — спросил, теряя терпение, Сэм.

— Что тут долго говорить: царевич, наследник престола, издевается над богами.

— О!

— Осуждает распоряжение фараона...

— Быть не может!

— Членов верховной коллегии называет изменниками...

— Что ты говоришь?

— И узнал от кого-то о приезде Берозса и даже о его свидании с Мефресом, Херихором и Пентуэром в храме Сета.

Верховный жрец Сэм схватился обеими руками за голову и забегал по келье.

— Невозможно! — повторял он. — Невозможно! Кто-нибудь, вероятно, опутал чарами этого юношу. Может быть, финикийская жрица, которую он похитил из храма?

Это предположение показалось Ментесуфису таким удачным, что он взглянул на Мефреса, но тот, возмущенный, стоял на своем.

— Увидим. Прежде всего надо произвести следствие и узнать, что делал царевич день за днем по возвращении из храма Хатор, — твердил он. — Царевич пользовался слишком большой свободой, слишком много общался с неверными и с врагами Египта. И ты, достойный Сэм, поможешь нам...

Верховный жрец Сэм на следующее же утро велел созвать народ на торжественное богослужение в храме Птаха.

Жрецы расставили глашатаев на перекрестках, на площадях и даже в полях, чтобы они горнами и флейтами созывали народ. Когда собиралось достаточно слушателей, им сообщали, что в храме Птаха в течение трех дней будут происходить торжественные процессии и молебствия о даровании победы египетскому оружию, о поражении ливийцев и о ниспослании на их вождя, Муссавасу, проказы, слепоты и безумия.

Все шло так, как хотели святые отцы. С утра до поздней ночи простой

народ толпился у стен храма, аристократия и богатые горожане собирались в преддверии, а жрецы, местные и из соседних номов, совершали жертвоприношения богу Птаху и возносили молитвы в самом святилище.

Три раза в день совершались торжественные шествия, во время которых вокруг храма обносили в золотой ладье скрытую за занавесками статую божества. При этом люди падали ниц, громко сокрушаясь о своих грехах, а рассеянные в толпе пророки, задавая соответствующие вопросы, помогали им каяться. То же происходило и в преддверии храма. Но так как знатные и богатые не любили каяться во всеуслышанье, то святые пророки отводили грешников в сторону и тихонько увещевали их и давали советы.

В полдень молебствия носили особенно торжественный характер, ибо в этот час солдаты, отправлявшиеся на запад, приходили, чтобы получить благословение верховного жреца и обновить силу своих амулетов, имевших свойство ослаблять вражеские удары.

По временам в храме раздавался гром, а ночью над пилонами сверкали молнии. Это означало, что бог внял чьим-то молитвам или беседует с жрецами.

Когда после окончания торжества трое высоких жрецов, Сэм, Мефрес и Ментесуфис, сошлись для тайной беседы, положение было уже ясно.

Богослужения принесли храму около сорока талантов дохода; около шестидесяти талантов было истрачено на подарки или уплату долгов разных лиц из аристократии и высших военных сфер. Собраны же были следующие сведения:

Среди солдат ходили слухи, что как только царевич Рамсес взойдет на престол, он начнет войну с Ассирией, которая обеспечит тем, кто примет в ней участие, большие выгоды. Самый простой солдат вернется из этого похода с добычей не менее как в тысячу драхм, а может быть, и больше.

В народе шептались, что, когда фараон после победы вернется из Ниневии, он подарит каждому крестьянину раба и на определенное число лет освободит Египет от налогов.

Аристократия же предполагала, что новый фараон прежде всего отнимет у жрецов и вернет знати для покрытия долгов все поместья, перешедшие в собственность храмов. Поговаривали также, что он будет править самодержавно, без участия верховной коллегии жрецов.

Во всех слоях общества существовало убеждение, что царевич Рамсес, желая обеспечить себе помощь финикиян, обратился к покровительству богини Ашторет и ревностно поклоняется ей. Во всяком случае, было достоверно известно, что наследник, посетив однажды ночью храм богини, видел там какие-то чудеса. Наконец, среди богатых азиатов ходили слухи,

будто Рамсес преподнес храму щедрые дары, за что получил оттуда жрицу, которая должна была укрепить его в вере.

Все эти сведения собрал Сэм и его жрецы. Святые же отцы Мефрес и Ментесуфис сообщили ему другую новость, дошедшую до них из Мемфиса, о том, что халдейского жреца и ясновидца Бероэса ввел в подземелье жрец Осохор. Недавно, выдавая замуж свою дочь, он одарил ее драгоценностями и купил молодоженам большой дом. А так как у Осохора раньше не было таких больших доходов, то возникало подозрение, что этот жрец подслушал разговор Бероэса с египетскими сановниками храма и продал затем тайну договора финикиянам, получив от них большие деньги.

Выслушав все это, верховный жрец Сэм сказал:

— Если святой Бероэс в самом деле чудотворец, то сначала спросите у него, не Осохор ли и выдал тайну?

— Чудотворца Бероэса уже спрашивали, — ответил Мефрес, — но святой муж желает умолчать об этом, причем добавил, что если даже кто и подслушал их переговоры и сказал финикиянам, то ни Египет, ни Халдея от этого не пострадают, и, следовательно, когда виновник найдется, надо поступить с ним милостиво.

— Святой! Воистину святой это муж, — прошептал Сэм.

— А каково твое мнение, — обратился Мефрес к Сэму, — о царевиче-наследнике и вызванных им волнениях?

— Скажу то же, что Бероэс: наследник не причинит Египту вреда, и надо быть к нему снисходительными...

— Но ведь этот юноша насмехается над богами, не верит в чудеса, ходит в чужие храмы, бунтует народ!.. Это дело серьезное... — с горечью твердил Мефрес, который не в силах был простить Рамсесу грубую шутку по поводу его благочестивых упражнений.

Верховный жрец Сэм любил Рамсеса. Он ответил, добродушно улыбаясь:

— Какой крестьянин в Египте не хотел бы иметь раба, чтобы сменить свой тяжелый труд на приятное безделье? И есть ли на свете человек, который не мечтал бы о том, чтобы не платить налогов? Ведь на то, что он платит казне, его жена, он сам и дети могли бы закупить себе нарядов и насладиться всякими удовольствиями.

— Безделье и расточительство развращают человека, — заметил Ментесуфис.

— Какой солдат, — продолжал Сэм, — не желает войны и не мечтает о добыче в тысячу драхм, а то и больше? И еще спрошу вас, отцы, какой фараон, какой номарх, какой знатный человек охотно платит долги и не

зарится на богатства храмов?

— Греховные это помыслы, — пробормотал Мефрес.

— И, наконец, какой наследник престола не мечтает об ограничении власти жрецов? Какой фараон в начале царствования не пытался освободиться от влияния верховной коллегии?

— Слова твои исполнены мудрости, — ответил Мефрес, — но к чему они нас приведут?

— К тому, чтобы вы не вздумали обвинять наследника перед верховной коллегией, ибо нет такого суда, который поставил бы царевичу в вину то, что крестьяне рады бы не платить податей, а солдаты хотят войны. Напротив, вас еще могут упрекнуть в том, что вы не следили за царевичем изо дня в день и не удерживали его от ребяческих выходок, а сейчас возводите на него целую пирамиду обвинений, вдобавок ни на чем не основанных.

В таких случаях не то плохо, что человек склонен к греху, так как это всегда было, но то, что мы не предостерегаем его от греха. Наш святой отец Нил очень скоро занес бы все каналы илом, если бы инженеры не наблюдали за ним день и ночь.

— А что ты скажешь, достойнейший, о той хуле, которую царевич позволил себе в разговоре с нами? Неужели простишь ему мерзкие насмешки над чудесами? — спросил Мефрес. — Этот юнец грубо надругался над моим благочестием.

— Сам себя унижает тот, кто разговаривает с пьяным, — возразил Сэм. — Вы даже не имели права говорить о важных делах государства с нетрезвым человеком. Вы совершили ошибку, сообщив царевичу о назначении его командующим армией, когда он был пьян. Военачальник всегда должен быть трезв.

— Преклоняюсь перед твоей мудростью, — ответил Мефрес, — но все же высказываюсь за подачу жалобы на наследника в верховную коллегию.

— А я против жалобы, — настойчиво возразил Сэм. — Коллегии нужно сообщить о поведении наследника, но не в форме жалобы, а просто донесения.

— И я такого же мнения, — присоединился к нему Ментесуфис.

Увидев, что оба жреца против него, Мефрес отказался от своего требования. Но он не забыл нанесенного ему оскорбления и затаил в сердце злобу. Это был мудрый и набожный, но мстительный старик. Он охотно предпочел бы, чтобы ему отрубили руку, чем оскорбили его жреческий сан.

По совету астрологов главнокомандующий со штабом должен был тронуться из Бубаста в седьмой день месяца атир. В этот день («удачнейший из удачных») боги в небесах и люди на земле торжествовали победу Ра над врагами; тот, кто появлялся на свет в этот день, умирал обычно в глубокой старости, окруженный почетом. Этот день считался также благоприятным для беременных женщин и торговцев тканями и неблагоприятным для мышей и лягушек.

Став главнокомандующим, Рамсес с жаром принялся за дело. Он лично встречал каждый приходящий полк, проверял его вооружение, обмундирование и обозы. Приветствуя новобранцев, он призывал их усердно учиться военному искусству на погибель врагам и во славу фараона. Рамсес председательствовал на всех военных советах, присутствовал при допросе каждого шпиона и собственной рукой отмечал на карте передвижение египетских войск и расположение неприятеля. Главнокомандующий так быстро переезжал с места на место, что его ожидали повсюду, но он всегда налетал неожиданно, как ястреб. Утром его видели южнее Бубаста, где он проверял продовольствие; через час он уже был на северной стороне, где обнаруживал, что в таком-то полку не хватает ста пятидесяти человек, а к вечеру, догнав переднее охранение, присутствовал при переправе войск через нильский рукав и производил осмотр двухсот военных колесниц.

Святой Ментесуфис, помощник Херихора, хорошо знавший военное дело, не мог надивиться на Рамсеса.

— Вам известно, святые братья, — говорил Ментесуфис Сэму и Мефресу, — что я не люблю наследника с тех пор, как обнаружил в нем злобу и коварство, но — да будет Осирис мне свидетелем, — юноша этот — прирожденный полководец. Скажу вам нечто невероятное: мы подтянем свои силы к границе на три-четыре дня раньше, чем можно было ожидать. Ливийцы уже проиграли войну, хотя еще не слышали свиста нашей стрелы!

— Тем более опасен для нас такой фараон, — заметил Мефрес со стариковским упрямством.

К вечеру шестого дня месяца атир царевич Рамсес принял ванну и объявил штабу, что завтра за два часа до восхода солнца они выступают.

— А теперь я хочу выспаться, — закончил он.

Но сделать это было труднее, чем сказать.

По всему городу разгуливали солдаты, а рядом с дворцом стоял лагерь полка, где они ели, пили и распевали песни, ничуть не помышляя об отдыхе.

Рамсес ушел в самую отдаленную комнату, но и там его поминутно беспокоили: прибегал какой-нибудь офицер с маловажным докладом или за приказом, который мог быть дан на месте командиром полка; приводили шпионов, которые не сообщали ничего нового; являлись знатные господа с ничтожными отрядами, предлагая услуги в качестве добровольцев; приходили финикийские купцы, желавшие получить новые поставки для армии, и поставщики с жалобой на вымогательство военачальников.

Не было также недостатка в прорицателях и астрологах, которые предлагали царевичу перед битвой составить гороскоп, в магах, предлагавших надежные амулеты против стрел и снарядов. Все эти люди без доклада врываются в комнату наследника: каждый из них считал, что судьбы войны в его руках и что это дает ему право свободного доступа к главнокомандующему.

Наследник терпеливо выслушивал всех. Но когда вслед за астрологом ворвалась к нему одна из женщин с претензией, что Рамсес, очевидно, больше не любит ее, так как не пришел к ней проститься, а через четверть часа за окном раздался плач других, — он не выдержал и позвал Тутмоса.

— Посиди здесь в комнате и, если хватит охоты, утешай женщин моего дома. А я спрячусь где-нибудь в саду, иначе я не засну и буду утром похож на мокрую курицу.

— А где мне искать тебя в случае надобности?

— Нигде, — засмеялся наследник, — я сам найдусь, когда заиграют подъем.

Сказав это, царевич накинул на себя длинный плащ с капюшоном и убежал в сад.

Но и в саду бродили солдаты, повара и другая прислуга, потому что на всей дворцовой территории порядок был нарушен, как обычно бывает перед походом. Заметив это, Рамсес свернул в самую глухую часть парка, нашел там обвитую виноградом беседку и с наслаждением бросился на скамью.

— Здесь-то уж не найдут меня ни жрецы, ни бабы, — пробормотал он. И в одно мгновение заснул как убитый.

Финикиянка Кама уже несколько дней чувствовала себя нездоровой. К нервному раздражению присоединилось какое-то странное недомогание и боль в суставах. Кроме того, она чувствовала зуд в лице, особенно на лбу, над бровями.

Эти незначительные признаки заболевания до того встревожили ее, что она уже не думала о том, что ее убьют, и целыми днями сидела перед зеркалом, приказав служанкам делать, что им угодно, но только не беспокоить ее. Она не думала теперь ни о Рамсесе, ни о ненавистной Сарре, а пристально разглядывала какие-то пятна на лице, которых чужой глаз даже не заметил бы.

— Пятна... да, пятна... — шептала она про себя в испуге. — Два, три... О Ашторет! Ведь ты не захочешь так покарать свою жрицу. Лучше смерть... Впрочем, что за глупости? Когда я потру лоб пальцами, пятна становятся краснее. Должно быть, меня укусило какое-то насекомое или я умастила лицо несвежим маслом; умоюсь, и до завтра все пройдет...

Но наавтра пятна не исчезли.

Кама позвала служанку.

— Погляди на меня, — сказала она ей, пересев в более темный угол. — Посмотри... — повторила она взволнованно. — Ты видишь на моем лице какие-нибудь пятна?.. Только не подходи близко!..

— Я ничего не вижу, — отвечала невольница.

— Ни под левым глазом... ни над бровями?.. — спрашивала Кама, все больше раздражаясь.

— Собогаоволи, госпожа, повернуть свое божественное лицо к свету, — попросила служанка.

Это предложение привело Каму в бешенство.

— Вон отсюда, негодная, — крикнула она, — и не показывайся мне на глаза!

Когда служанка убежала, ее госпожа бросилась к туалету и, открыв какие-то банки, наумянила себе кисточкой лицо.

Под вечер, чувствуя боль в суставах и мучительное беспокойство, Кама велела позвать лекаря. Когда ей доложили о его приходе, она опять поглядела на себя в зеркало, в припадке безумия бросила его на пол и со слезами стала кричать, что лекарь не нужен.

Шестого атира она весь день ничего не ела и не хотела никого видеть. Когда стемнело и в комнату вошла невольница со светильником, Кама бросилась на ложе и закутала голову покрывалом. Приказав невольнице поскорее уйти, она села в кресло, подальше от светильника, и провела несколько часов в полудремотном оцепенении.

«Нет никаких пятен, — думала она, — а если и есть, то не те... Это не проказа!..»

— О боги!.. — вдруг закричала она, падая ниц. — Не может быть, чтобы я... Спасите меня!.. Я вернусь в святой храм... я искуплю свой грех

всей жизнью...

Потом снова успокоилась.

«Нет никаких пятен... Вот уже несколько дней, как я натираю себе кожу, она и покраснела... Откуда это может быть!.. Слыханное ли дело, чтобы жрица, женщина наследника престола, заболела проказой! О боги!.. Этого никогда не было, с тех пор как свет стоит!.. Она поражает только рыбаков, каторжников и нищих евреев. Ах, эта подлая еврейка! Пусть боги покарают ее этой болезнью!»

В эту минуту в окне ее комнаты, которая была на втором этаже, мелькнула чья-то тень. Потом послышался шорох, и в комнату прыгнул... царевич Рамсес...

Кама остолбенела. Но вдруг схватилась за голову, и в глазах ее отразился беспредельный ужас.

— Ликон, — пролепетала она. — Ликон, ты здесь? Ты погибнешь! Тебя ищут...

— Знаю, — ответил грек с презрительным смехом, — за мною гонятся все финикияне и вся полиция фараона. И все же я у тебя, а только что был у твоего господина.

— Ты был у наследника?

— Да, в его собственной опочивальне. И оставил бы в груди Рамсеса кинжал, если бы злые духи не унесли его куда-то... Должно быть, твой любовник пошел к другой женщине...

— Чего тебе надо здесь? Беги! — шептала Кама.

— Только с тобой! На улице ждет колесница, мы домчимся в ней до Нила, а там моя барка.

— Ты с ума сошел. Весь город и все дороги полны солдат...

— Поэтому-то мне и удалось проникнуть во дворец. И нам легко будет уйти незамеченными. Собери все драгоценности. Я сейчас вернусь за тобой...

— Куда же ты идешь?

— Поищу твоего господина, — ответил он. — Я не уйду, не оставив ему памяти по себе...

— Ты с ума сошел!

— Молчи! — воскликнул он, бледнея от ярости. — Ты еще будешь его защищать...

Финикиянка задумалась, сжав кулаки, в глазах ее сверкнул зловещий огонь.

— А если ты не найдешь его? — спросила она.

— Тогда я убью несколько спящих солдат, подожгу дворец... Да... я и

сам не знаю, что сделаю... Но память по себе я оставляю... без этого я не уйду!

В больших глазах финикийки была такая злоба, что Ликон удивился.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего. Слушай, ты никогда не был так похож на наследника, как сейчас. Самое лучшее, что ты можешь сделать...

Она нагнулась к его уху и стала шептать.

Грек слушал с изумлением.

— Женщина, — сказал он, — злейшие духи говорят твоими устами. Да, пусть на него падет подозрение.

— Это лучше, чем кинжал, — ответила она со смехом, — не правда ли?

— Мне такое никогда не пришло бы в голову! А может быть, лучше обоих?

— Нет, пусть она живет. Это будет моя месть.

— Ну и жестокая же у тебя душа! — прошептал Ликон. — Но мне это нравится. Мы расплатимся с ним по-царски.

Он бросился к окну и исчез. Кама, забыв о себе, чутко прислушивалась.

Не прошло и четверти часа после ухода Ликона, как со стороны чащи смоковниц донесся пронзительный женский крик. Он повторился несколько раз и умолк. Вместо ожидаемой радости Каму охватил ужас. Она упала на колени и безумными глазами вглядывалась в темноту сада.

Внизу слышались чьи-то бегущие шаги, и в окне опять появился Ликон в темном плаще. Он порывисто дышал, и руки у него дрожали.

— Где драгоценности? — спросил он сдавленным голосом.

— Оставь меня, — ответила она.

Грек схватил ее за горло.

— Несчастная, — прошептал он, — ты не понимаешь, что не успеет солнце взойти, как тебя посадят в темницу и через несколько дней задушат.

— Я больна...

— Где драгоценности?

— Под кроватью...

Ликон прыгнул в комнату, схватил светильник, достал из-под кровати тяжелую шкатулку, накиннул на Каму плащ и потащил ее за собой.

— Бежим! Где дверь, через которую ходит к тебе... этот... твой господин?

— Оставь меня...

— Вот как! Ты думаешь, что я тебя здесь оставляю? Сейчас ты мне

нужна так же, как собака, потерявшая чутье... но ты должна пойти со мной... Пусть твой господин узнает, что есть кто-то получше его. Он похитил у богини жрицу, а я заберу у него возлюбленную...

— Но говорю тебе, что я больна...

Грек выхватил из-за пояса кинжал и приставил ей к горлу. Она вздрогнула и прошептала:

— Иду, иду...

Через потайную дверь они выбежали из павильона. Со стороны дворца до них доносились голоса солдат, сидевших вокруг костров.

Между деревьев мелькали огни факелов, мимо то и дело пробегал кто-нибудь из челяди наследника. В воротах их задержала стража.

— Кто идет?

— Фивы, — ответил Ликон.

Они беспрепятственно вышли на улицу и скрылись в переулках квартала, где жили чужеземцы.

За два часа до рассвета в городе раздались звуки рожков и барабанов.

Тутмос еще крепко спал, когда царевич стащил с него плащ и крикнул с веселым смехом:

— Вставай, недремлющий военачальник! Полки уже тронулись!

Тутмос присел на кровати и стал протирать заспанные глаза.

— А, это ты, государь? — спросил он, зевая. — Ну как выспался?

— Как никогда, — ответил Рамсес.

— А мне бы еще поспать.

Оба приняли ванну, надели кафтаны и полупанцири и сели на коней, которые рвались из рук стремянных.

Вскоре наследник с небольшой свитой покинул город, опережая на дороге медленно шагавшие колонны. Нил сильно разлился, и царевич хотел присутствовать при переправе войск через каналы и броды.

Когда солнце взошло, последняя повозка была уже далеко за городом, и достойный номарх Бубаста заявил своим слугам:

— Теперь я лягу спать, и несдобровать тому, кто меня разбудит до ужина. Даже божественное солнце отдыхает каждый день, а я не ложился с первого атира.

Но не успел он отдать приказание, как пришел полицейский офицер и попросил принять его по особо важному делу.

— Чтоб вас всех земля поглотила! — выругался вельможа. Однако велел офицеру войти и недовольно спросил: — Неужели нельзя было подождать? Ведь Нил еще не убежал...

— Случилось большое несчастье, — сказал полицейский офицер. —

Убит сын наследника престола.

— Что? Какой? — вскричал номарх.

— Сын еврейки Сарры.

— Кто убил? Когда?

— Сегодня ночью.

— Кто же это мог сделать?

Офицер развел руками.

— Я спрашиваю, кто убил? — повторил номарх, скорее испуганный, чем возмущенный.

— Господин мой, изволь сам произвести следствие. Уста мои отказываются повторить то, что слышали уши.

Номарх пришел в ужас. Он велел привести слуг Сарры и послал за верховным жрецом Мефресом. Ментесуфис, как представитель военного министра, отправился с царевичем в поход.

Явился удивленный вызовом Мефрес. Номарх рассказал ему об убийстве ребенка и о том, что полицейский офицер не решается повторить показания свидетелей.

— А свидетели есть? — спросил верховный жрец.

— Ожидают твоего приказа, святой отец.

Ввели привратника Сарры.

— Ты знаешь, — спросил номарх, — что ребенок твоей госпожи убит?

Человек грохнулся наземь.

— Я даже видел честные останки младенца, которого ударили о стену, и удерживал нашу госпожу, когда она с криком бросилась в сад.

— Когда это случилось?

— Сегодня после полуночи. Сейчас же после прихода к нашей госпоже царевича, — ответил привратник.

— Как, значит, царевич был ночью у вашей госпожи? — спросил Мефрес. — Странно, — шепнул он номарху.

Вторым свидетелем была кухарка Сарры, третьим прислужница. Обе утверждали, что после полуночи царевич поднялся в комнату их госпожи. Он пробыл там недолго, потом выскочил в сад, а вслед за ним с ужасным криком выбежала Сарра.

— Но ведь царевич всю ночь не выходил из своей спальни во дворце! — сказал номарх.

Полицейский офицер покачал головой и заявил, что в прихожей ожидает несколько человек из дворцовой прислуги.

Их позвали. Из вопросов, заданных Мефресом, выяснилось, что наследник не спал во дворце. Он покинул свою спальню до полуночи и

ушел в сад. Вернулся он с первой побудкой.

Когда увели свидетелей и оба сановника остались одни, номарх со стоном бросился на пол и заявил Мефресу, что тяжело болен и готов скорее лишиться жизни, чем вести следствие. Верховный жрец был чрезвычайно бледен и взволнован. Он возразил, однако, что дело необходимо расследовать, и именем фараона приказал номарху отправиться вместе с ним к жилищу Сарры.

До сада наследника было недалеко, и оба сановника скоро прибыли на место преступления.

Поднявшись в комнату, они увидели Сарру, стоявшую на коленях перед колыбелью и словно кормящую ребенка грудью. На стене и на полу багровели кровавые пятна.

Номарх почувствовал такую слабость, что вынужден был присесть. Мефрес же был невозмутим. Он подошел к Сарре, дотронулся до ее плеча и произнес:

— Госпожа, мы явились сюда от имени его святейшества...

Сарра порывисто вскочила на ноги и закричала душераздирающим голосом:

— Будьте прокляты! Вам хотелось иметь израильского царя? Вот он — ваш царь! О, зачем я, несчастная, послушалась ваших предательских советов.

Она зашаталась и со стоном припала к колыбели.

— Мой сынок... мой маленький Сети... Такой был красивый, такой умненький... Уже тянулся ко мне ручонками... Яхве, — крикнула она, — верни мне его, ведь ты все можешь!.. Боги египетские, Осирис... Гор... Исида... ведь ты сама была матерью! Не может быть, чтобы в небесах никто не услышал моей мольбы... Такая крошка... Гиена и та сжалась бы над ним.

Верховный жрец помог ей подняться. Комнату заполнила полиция и прислуга.

— Сарра, — сказал верховный жрец, — от имени его святейшества фараона, владыки Египта, предлагаю тебе и повелеваю ответить, кто убил твоего сына?

Она смотрела в пространство, как безумная, водя рукою по лбу. Номарх подал ей воды с вином, а одна из женщин брызнула на нее уксусом.

— От имени его святейшества, — повторил Мефрес, — повелеваю тебе, Сарра, назвать имя убийцы.

Присутствующие попятись к двери. Номарх в страхе зажал руками уши.

— Кто убил? — проговорила Сарра сдавленным голосом, пристально глядя в лицо Мефреса, — ты спрашиваешь, кто убил? Знаю я вас, жрецы! Знаю, какая у вас совесть!

— Ну, кто же? — настаивал Мефрес.

— Я, — закричала нечеловеческим голосом Сарра. — Я убила моего ребенка потому, что вы сделали его евреем.

— Это ложь! — прошипел верховный жрец.

— Я! Я! — повторяла Сарра. — Эй, люди, кто меня видит и слышит, — обратилась она к присутствующим, — знайте, это я его убила! Я! Я! Я! — кричала она, колотя себя в грудь.

Услышав столь явное самообвинение, номарх пришел в себя и с жалостью смотрел на Сарру; женщины рыдали, привратник утирал слезы. Только святой Мефрес злобно сжимал посиневшие губы. Обратившись к полицейским, он произнес громко и отчетливо:

— Слуги царя! Возьмите эту женщину и отведите ее в здание суда.

— И сын мой пойдет со мной! — вскричала Сарра, бросаясь к колыбели.

— С тобой, с тобой, бедная женщина, — сказал номарх и закрыл руками лицо.

Оба сановника вышли из комнаты. Полицейский офицер велел принести носилки и с величайшей почтительностью повел Сарру вниз. Несчастная взяла из колыбели окровавленный сверток и без сопротивления села в носилки.

Вся прислуга последовала за нею в здание суда.

Когда Мефрес с номархом возвращались к себе садом, начальник провинции взволнованно сказал:

— Мне жаль эту женщину.

— Это будет справедливое возмездие за ее ложь, — ответил верховный жрец.

— Ты полагаешь?

— Я уверен, что боги откроют и осудят настоящего убийцу.

У садовой калитки пересек им дорогу домоправитель Камы и крикнул:

— Нет финикиянки — она исчезла этой ночью.

— Еще одно несчастье, — пролепетал номарх.

— Не беспокойтесь, — ответил Мефрес, — она поехала вслед за царевичем.

Достойный номарх понял, что Мефрес ненавидит Рамсеса, и сердце у него замерло. Ибо, если будет доказано, что Рамсес убил собственного сына, наследник никогда не взойдет на отцовский престол и жестокое ярмо

жрецов лишь крепче сдавит Египет.

Вельможа еще больше опечалился, когда ему сообщили вечером, что два лекаря из храма Хатор, осмотрев труп ребенка, высказали твердую уверенность в том, что убийство мог совершить только мужчина. «Кто-то, — говорили они, — схватил правой рукой младенца за ноги и ударил его головой о стену. Рука Сарры не могла бы обхватить обеих ножек, к тому же на них оказались следы мужских пальцев».

После этого разъяснения верховные жрецы Мефрес и Сэм отправились в темницу к Сарре, и здесь Мефрес стал заклинять ее всеми египетскими и чужеземными богами, чтобы она признала, что неповинна в смерти ребенка, и описала внешность убийцы.

— Мы поверим твоим словам, — сказал ей Мефрес, — и ты тотчас же будешь освобождена.

Но Сарра, вместо того чтобы быть тронутой этой милостью, пришла в ярость.

— Шакалы! — кричала она. — Вам мало двух жертв! Вам нужны еще новые!.. Я это сделала, несчастная, я!.. Кто другой мог быть столь подлым, чтобы убить ребенка!.. Малютку, который никому не мешал!..

— А ты знаешь, упрямая женщина, что тебе угрожает? — спросил Мефрес. — Тебя заставят три дня продержат на руках труп твоего ребенка, а потом заключат на пятнадцать лет в темницу.

— Только три дня? — спросила она. — Да я готова всю жизнь с ним не расставаться — с моим маленьким Сети — И не только в темницу, но и в могилу пойду с ним. И господин мой прикажет похоронить нас вместе...

Когда жрецы вышли на улицу, благочестивый Сэм сказал:

— Мне случалось видеть матерей-детоубийц и судить их, но подобной я не встречал.

— Потому что не она убила своего ребенка, — ответил сердито Мефрес.

— А кто же?

— Тот, кого видела прислуга, когда он вбежал в дом Сарры и мгновенно скрылся. Тот, кто, выступая в поход, взял с собой финикийскую жрицу Каму, осквернившую алтарь. Тот, наконец, — закончил с мрачной торжественностью Мефрес, — кто, узнав, что его сын еврей, прогнал Сарру из дома и сделал ее рабыней.

— То, что ты говоришь, ужасно, — в испуге прошептал Сэм.

— Преступление еще ужаснее, и, несмотря на упрямство этой глупой женщины, оно будет раскрыто.

Святой муж и не предполагал, что пророчество его исполнится так

скоро.

А случилось это таким образом.

Царевич Рамсес, выступая с армией из Бубаста, не успел еще выйти из дворца, как начальнику полиции доложили об убийстве ребенка и бегстве Камы и о том, что слуги Сарры видели царевича, входившего ночью к ней в дом. Начальник полиции был человек сообразительный. Он догадался, кто совершил преступление, и вместо того чтобы вести следствие на месте, помчался за город преследовать виновных, предупредив Хирама о том, что произошло.

И вот пока Мефрес пытался вынудить у Сарры признание, самые ловкие агенты местной полиции, а также все финикияне с Хирамом во главе пустились в погоню за греком Ликоном и жрицей Камой.

И вот на третью ночь после выступления царевича в поход начальник полиции вернулся в Бубаст, везя за собой огромную, покрытую холстом клетку, в которой, не переставая, кричала какая-то женщина.

Не ложась спать, начальник вызвал офицера, который вел следствие, и внимательно выслушал его рапорт.

На рассвете оба верховных жреца, Сэм и Мефрес, а также номарх Бубаста получили всепокорнейшее приглашение явиться к начальнику полиции. Все трое не заставили себя ждать. Начальник полиции, низко кланяясь, стал просить, чтобы они рассказали все, что им известно об убийстве.

Номарх побледнел, услышав это предложение, и ответил, что ничего не знает. Почти то же самое повторил верховный жрец Сэм, прибавив, что Сарра кажется ему невиновной. Когда же очередь дотла до святого Мефреса, тот сказал:

— Не знаю, слышал ли ты, что ночью, когда было совершено преступление, бежала одна из женщин наследника, по имени Кама?

Начальник полиции сделал вид, что очень удивлен.

— Не знаю также, сообщено ли тебе, — продолжал Мефрес, — что наследник престола не ночевал во дворце и что он заходил в дом Сарры? Привратник и две служанки узнали его, так как ночь была довольно светлая.

Изумление начальника полиции, казалось, еще более возросло.

— Очень жаль, — закончил верховный жрец, — что тебя не было несколько дней в Бубасте...

Начальник низко поклонился Мефресу и обратился к номарху.

— Не соблаговолишь ли ты, достойнейший, сообщить мне, как был одет царевич в тот вечер?

— На нем была белая рубашка и пурпурный передник, обшитый золотой бахромой, — ответил номарх. — Я это отлично помню, так как был одним из последних, кто разговаривал с ним в тот вечер.

Начальник полиции хлопнул в ладоши, и в канцелярию вошел привратник Сарры.

— Ты видел наследника, — спросил он его, — когда он заходил ночью в дом твоей госпожи?

— Я открывал калитку царевичу — да живет он вечно!

— А ты помнишь, как он был одет?

— На нем был хитон в желтую и черную полоску, такой же чепец и полосатый передник, голубой с красным, — ответил привратник.

Лица жрецов и номарха выразили изумление. Когда же ввели по очереди обеих служанок Сарры, которые в точности повторили описание одежды царевича, глаза номарха вспыхнули радостью, а святой Мефрес смутился.

— Я могу поклясться, — заметил достойный номарх, — что на царевиче была белая рубашка и пурпурный с золотом передник.

— А теперь, — предложил начальник полиции, — соблаговолите, высокочтимейшие, пройти со мной в темницу. Там мы увидим еще одного свидетеля.

Все четверо спустились вниз в просторное подземелье, где у окна стояла большая клетка, покрытая холстом. Начальник полиции откинул палкой холст, и присутствующие увидели лежавшую там в углу женщину.

— Да ведь это же госпожа Кама! — воскликнул номарх.

Это была действительно Кама, больная и сильно изменившаяся. Когда при виде знатных сановников она встала и на нее упал свет, присутствующие увидели ее лицо, покрытое медно-красными пятнами. Глаза у нее были как у безумной.

— Это не богиня! — вскричала она изменившимся голосом. — Это негодные азиаты подкинули мне зараженное покрывало. О, я, несчастная!

— Кама, — сказал начальник полиции, — над твоим горем сжалились знатнейшие наши верховные жрецы Сэм и Мефрес. Если ты расскажешь истину, они помолятся за тебя, и, может быть, всемогущий Осирис отвратит от тебя беду, пока еще не поздно. Болезнь еще только начинается, и наши боги могут тебе помочь.

Больная женщина упала на колени и, прижимаясь лицом к решетке, стала молить:

— Сжальтесь надо мной! Я отреклась от финикийских богов и до конца жизни посвящу себя великим богам Египта... Только прогоните от

меня...

— Отвечай, но говори правду, — продолжал допрашивать начальник полиции, — и тогда боги не откажут тебе в своей милости: кто убил ребенка еврейки Сарры?

— Изменник Ликон, грек... Он был певцом в нашем храме и говорил, что любит меня... А теперь он меня бросил, негодяй, захватив мои драгоценности.

— Зачем Ликон убил ребенка?..

— Он хотел убить царевича, но, не найдя его во дворце, побежал в дом Сарры и...

— Каким образом преступник попал в охраняемый дом?

— Разве ты не знаешь, господин, что Ликон — копия наследника! Они похожи, как два листа одной пальмы.

— Как был одет Ликон в ту ночь? — продолжал допрашивать начальник полиции.

— На нем был хитон в черную и желтую полоску... такой же чепец и передник красный с голубым... Перестаньте меня мучить... Верните мне здоровье... Сжальтесь... Я буду верна вашим богам... Вы уже уходите? О, безжалостные!

— Бедная женщина, — обратился к ней верховный жрец Сэм, — я пришлю тебе всесильного чудотворца, и, быть может...

— О, да благословит вас Ашторет! Нет, да благословят вас ваши всемогущие и милосердные боги! — шептала измученная финикиянка.

Сановники вышли из темницы и вернулись в канцелярию.

Номарх, видя, что верховный жрец Мефрес стоит, не поднимая глаз, спросил его:

— Тебя не радуют открытия, сделанные нашим усердным начальником полиции?

— У меня нет оснований радоваться, — резко ответил Мефрес, — дело вместо того, чтобы упроститься, запутывается. Ведь Сарра утверждает, что она убила ребенка, а финикиянка так отвечает, как будто кто-нибудь ее научил.

— Значит, ты этому, святой отец, не веришь? — вмешался начальник полиции.

— Я никогда не встречал двух человек, настолько похожих друг на друга, чтобы один мог быть принят за другого. Тем более не слыхал я, чтобы в Бубасте существовал человек, который так походил на нашего наследника престола — да живет он вечно!

— Этот человек, — заявил начальник полиции, — служил при храме

Ашторет. Его знал тирский князь Хирам и видел своими глазами наш наместник. Не так давно он отдал приказ поймать его и пообещал высокую награду.

— Ото! — воскликнул Мефрес. — Я вижу, почтеннейший начальник полиции, что ты посвящен во все высшие государственные тайны. Разреши мне, однако, не поверить в этого Ликона до тех пор, пока я сам его не увижу.

И разгневанный Мефрес покинул канцелярию, а за ним, пожимая плечами, ушел и святой Сэм.

Когда в коридоре смолкли их шаги, номарх посмотрел пристально на начальника полиции и спросил:

— Ну, что ты на это скажешь?

— Воистину, — ответил начальник, — святые пророки начинают нынче вмешиваться даже в такие дела, которые никогда раньше их не касались.

— И мы должны все это терпеть!.. — прошептал номарх.

— До поры до времени, — вздохнул начальник, — потому что, насколько я умею читать в человеческих сердцах, наши чиновники, военные и наша аристократия возмущены произволом жрецов. Все должно иметь границы.

— Мудрые слова сказал ты, — ответил номарх, пожимая ему руку. — Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что я увижу тебя высшим начальником полиции фараона.

Прошло еще несколько дней. За это время парасхиты набальзамировали тельце сына наследника, а Сарра все оставалась в тюрьме, ожидая суда, который, она была уверена, осудит ее.

Сидела в тюрьме и Кама. Ее, как зараженную проказой, держали в клетке. Правда, ее навестил чудотворец-лекарь, прочитал над ней молитву и дал ей пить всеисцеляющую воду, но, несмотря на это, финикиянку не покидала лихорадка, а медно-красные пятна над бровями и на щеках выступали все резче. Из канцелярии номарха пришло предписание увезти ее в восточную пустыню, где вдали от людей находилась колония прокаженных.

Но вот однажды вечером в храм Птаха явился начальник полиции и сказал, что хочет поговорить с верховными жрецами. С начальником были два агента и человек, с ног до головы закутанный в мешок.

Ему тотчас же ответили, что верховные жрецы ожидают его в часовне перед статуей богини.

Оставив агентов у ворот храма, начальник полиции взял человека в

мешке за плечо и, в сопровождении жреца, повел его в часовню. Он застал там Мефреса и Сэма в торжественном облачении верховных жрецов, с серебряными бляхами на груди.

Начальник пал перед ними ниц и сказал:

— Согласно вашему приказанию, я привел к вам, святые мужи, преступника Ликона. Хотите увидеть его лицо?

Когда они выразили согласие, начальник полиции встал и снял с арестованного мешок.

Оба верховных жреца вскрикнули от изумления. Грек действительно был настолько похож на наследника престола, что трудно было не поддаваться обману.

— Так это ты, Ликон, певец языческого храма Ашторет? — спросил связанного грека жрец Сэм.

Ликон презрительно усмехнулся.

— И ты убил ребенка наследника? — спросил, в свою очередь, Мефрес.

Грек посинел от злобы и дернулся, пытаясь разорвать связывающие его путы.

— Да, — вскричал он, — я убил щенка, потому что не мог найти его отца — волка... да сожжет его огонь небесный!

— Чем он провинился перед тобой, убийца? — спросил с негодованием Сэм.

— Чем провинился? Он похитил у меня Каму и ввергнул ее в болезнь, от которой нет исцеления. Я был свободен, у меня было достаточно средств, чтобы бежать, спастись, но я решил отомстить, и вот я перед вами... Его счастье, что ваши боги сильнее моей ненависти. Теперь вы можете меня убить... И чем скорее, тем лучше.

— Это страшный преступник, — сказал верховный жрец Сэм.

Мефрес молчал и вглядывался в сверкающие злобой глаза грека. Он поражен был его смелостью и, видно, о чем-то раздумывал. Вдруг он обратился к начальнику полиции.

— Вы можете уйти, почтеннейший. Этот человек принадлежит нам.

— Этот человек, — возразил возмущенный начальник, — принадлежит мне. Я поймал его и получу награду от царевича.

Мефрес встал и, вынув спрятанную золотую медаль, заявил:

— От имени верховной коллегии, членом которой я являюсь, приказываю тебе отдать нам этого человека. Помни, что его существование является высшей государственной тайной, и для тебя будет во сто крат лучше, если ты совсем забудешь, что его тут оставил.

Начальник полиции снова пал ниц и, поднявшись, удалился, еле сдерживая гнев.

«Вам оплатит за это наш господин, наследник престола, когда станет фараоном, — думал он, — а я прибавлю вам и свою долю — вот увидите!»

Стоявшие у ворот агенты спросили его, где арестованный.

— На арестованном, — ответил он, — почил рука богов.

— А наше вознаграждение? — нерешительно спросил старший агент.

— И на нашем вознаграждении тоже почил рука богов, — сказал начальник. — Убедите себя, что вам только снился этот узник, это будет для вас гораздо полезнее и безопаснее.

Агенты молча опустили головы. В душе, однако, они поклялись отомстить жрецам, лишившим их такого хорошего заработка.

После ухода начальника полиции Мефрес позвал нескольких жрецов и каждому из них шепнул что-то на ухо. Жрецы окружили грека и увели его из священной обители. Ликон не сопротивлялся.

— Я думаю, — сказал Сэм, — что этот человек, как убийца, должен быть предан суду.

— Никоим образом, — решительно ответил Мефрес. — На этом человеке тяготеет несравненно большее преступление: он похож: на наследника престола.

— И что ж вы с ним сделаете?

— Я сохраню его для верховной коллегии, — ответил Мефрес. — Там, где наследник престола посещает языческие храмы и похищает из них женщин, где стране угрожает война, а власти жрецов — бунт, там Ликон может пригодиться...

На следующий день в полдень верховный жрец Сэм, номарх и начальник полиции явились в темницу к Сарре. Несчастливая не ела уже несколько дней и была так слаба, что даже не встала со скамьи при входе стольких знатных лиц.

— Сарра, — сказал номарх, которого она знала лучше других, — мы приходим к тебе с доброй вестью.

— С доброй вестью? — проговорила она равнодушно. — Мой сын умер — вот последняя весть. Груды мои переполнены молоком, а сердце — жестокой печалью.

— Сарра, — продолжал номарх, — ты свободна. Не ты убила ребенка.

Мертвенные черты ее оживились. Она соскочила со скамьи и крикнула:

— Я убила! Я! Я одна!

— Слушай, Сарра, твоего сына убил мужчина, грек, по имени Ликон,

любовник финикиянки Камы...

— Что? Что ты говоришь? — прошептала она, хватая его за руку. — О, эта финикиянка! Я чувствовала, что она погубит нас. Но грек... Я не знаю никакого грека. Чем мог провиниться перед греком мой сын?

— Этого я не знаю, — сказал номарх. — Ликона нет больше в живых. Послушай, однако, Сарра: этот человек был так похож на царевича Рамсеса, что, когда он вошел в твою комнату, ты признала его за своего господина и предпочла обвинить самое себя, чем нашего государя.

— Так это был не Рамсес? — крикнула она, хватаясь за голову. — И я, несчастная, позволила чужому человеку взять моего сына из колыбели... Ха-ха-ха!

Она продолжала смеяться, но все тише и тише; вдруг ноги у нее подкосились; вскинув несколько раз руками, она рухнула на землю и так и умерла — смеясь.

Но на лице ее осталось выражение неизъяснимой скорби, которую не могла стереть даже смерть.

Западной границей Египта на протяжении ста с лишком миль является гряда изрезанных ущельями голых известковых возвышенностей высотой в несколько сот метров. Она тянется вдоль Нила и местами удалена от него на целый километр.

Если бы кто-либо поднялся на один из гребней и повернулся лицом к северу, его глазам представилось бы весьма своеобразное зрелище: справа уходящий вдаль узкий зеленый луг, прорезанный Нилом, а слева — бесконечная желтая равнина с вкрапленными в нее белыми или кирпично-красными пятнами.

Однообразие вида, назойливая желтизна песка, зной, а в особенности эта безбрежность пространства — вот главные черты Ливийской пустыни, которая простирается к западу от Египта.

Если, однако, присмотреться поближе, пустыня покажется не столь однообразной. Ее пески не ложатся ровно, а образуют ряд высоких валов, напоминающих вздыбленные волны застывшего в своем буйстве моря.

У кого хватило бы смелости идти по этому морю час, два, а то и целый день на запад, тот увидел бы новое зрелище: на горизонте появляются холмы, иногда скалы и кручи самой причудливой формы. Песок под ногами становится менее глубоким, и из-под него начинает выступать, словно материк из океана, известковая порода.

Это действительно целая страна среди песчаного моря. Рядом с известковыми холмами видны долины, на дне их — русла рек и ручьев. Дальше — равнина, а посреди нее озеро с извилистой линией берегов и глубоко вогнутым дном.

Но в этих долинах и на холмах нет ни былинки, в озере ни капли воды, русла рек пересохли. Это мертвый край, где не только погибла всякая растительность, но даже плодородный слой почвы истерся в пыль или впитался в твердую породу. Здесь произошла удивительнейшая вещь: природа умерла, от нее остался только скелет и прах, который разлагается вконец под воздействием зноя и переносится с места на место жарким ветром.

За этим умершим и непогребенным материком тянется опять море песку, среди которого там и сям видны остроконечные конусы, поднимающиеся иногда до высоты одноэтажного дома. Верхушка такого конуса заканчивается пучком серых, запыленных листьев, о которых трудно

сказать, что они живут; они только не могут окончательно увянуть.

Странный конус означает, что в этом месте вода еще не высохла, но скрылась от зноя под землю и кое-как поддерживает влажность почвы. Сюда упало семя тамаринда, и с большим трудом выросло растение. Но владыка пустыни — тифон — заметил его и понемногу стал засыпать песком. И чем сильнее тянется растение кверху, тем выше подымается удушающий его песчаный конус. Заблудившийся в пустыне тамаринд похож: на утопленника, тщетно простирающего руки к небу.

И снова разливается бесконечное желтое море со своими песчаными волнами и жалкими остатками растительности.

Но вот перед вами скалистая стена, и в ней расселины, словно ворота... Что это? Вы не верите собственным глазам! За одними из этих ворот открывается зеленая долина — пальмы, голубые воды озера. Видны даже пасущиеся овцы, рогатый скот и лошади, между ними суетятся люди; вдали на склонах скал лепится целый городок, а на вершинах белеют стены храмов.

Это оазис, остров среди песчаного океана.

Таких оазисов во времена фараонов было очень много, быть может, несколько десятков. Они составляли цепь пустынных островков, которая тянулась вдоль западной границы Египта. Лежали они на расстоянии десяти, пятнадцати, двадцати миль от Нила и занимали пространство в десяток или несколько десятков квадратных километров каждый.

Воспеваемые арабскими поэтами как преддверия рая, оазисы эти в действительности никогда ими не были. Их озера — это большей частью болота. Из подземных источников струится теплая, иногда зловонная и отвратительно соленая вода; их растительность не может сравниться с буйной растительностью Египта. Но все же эти уединенные места в пустыне казались чудом путникам, находившим в них немного зелени, радующей глаз, немного влаги, прохлады, фиников.

Такие островки среди песчаного моря были населены неодинаково: от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Жили здесь ливийские, египетские, эфиопские авантюристы или их потомки, ибо сюда бежали люди, которым нечего было терять: каторжники из каменоломен, преследуемые полицией преступники, крестьяне, обремененные барщиной, или работники, предпочитавшие опасность непосильной работе.

Большая часть этих беглецов погибала в пути. Некоторым после неопишуемых мучений удавалось добраться до оазиса, где они вели жалкую, но свободную жизнь, всегда готовые вторгнуться в Египет для разбоя.

Между пустыней и Средиземным морем тянулась длинная, хотя и не очень широкая полоса плодородной земли, заселенная различными племенами, которые египтяне называли ливийцами. Часть их занималась земледелием, другая — рыбной ловлей или мореплаванием. Но среди каждого из этих племен всегда выделялись шайки головорезов, предпочитавших войну и грабеж мирному труду. Это дикое разбойничье население вымирало от нищеты или погибало в военных походах, но постоянно пополнялось притоком сардинян (шардана) и сицилийцев (шекелеша), которые в то время были еще большими варварами и разбойниками, нежели коренные ливийцы.

Так как Ливия соприкасалась с западной границей Нижнего Египта, то варвары часто грабили земли фараона, неся за это суровую кару. Убедившись, однако, что война с ливийцами ни к чему не ведет, фараоны или, вернее, жрецы изменили политику. Они разрешили коренным ливийским семьям селиться на приморских болотах Нижнего Египта, а разбойников и авантюристов вербовать в армию и получали в большинстве случаев отличных солдат.

Таким образом государство обеспечило себе на западной границе мир и спокойствие. Чтобы удержать в повиновении ливийских разбойников-одинок, достаточно было полиции, полевой охраны и нескольких регулярных египетских полков, расставленных вдоль Канопского рукава Нила.

В таком положении находилась Ливия около ста восьмидесяти лет. Последнюю большую войну с ливийцами вел еще Рамсес III; он оставил на поле брани целые горы рук, отсеченных у павших врагов, и привез в Египет тринадцать тысяч невольников. С тех пор никто не боялся нападения со стороны Ливии, и лишь на склоне царствования Рамсеса XII непонятная политика жрецов вновь разожгла в тех местах огонь войны.

Вспыхнула же она по следующему поводу.

Военному министру и верховному жрецу Херихору вследствие сопротивления фараона не удалось заключить с Ассирией договора о разделе земель Азии. Помня, однако, о предостережении Берозса и желая сохранить с ассирийцами длительный мир, Херихор заверил Саргона, что Египет не будет мешать им вести войну с восточными и северными азиатскими государствами. Но так как уполномоченный посол царя Ассара, по-видимому, не доверял обещаниям и клятвам, Херихор решил дать ему наглядное доказательство миролюбия и с этой целью приказал немедленно распустить двадцать тысяч наемных солдат, преимущественно ливийцев.

Для ни в чем не повинных солдат, всегда сохранявших верность

фараону, расформирование явилось ударом, почти равносильным смертной казни. Перед Египтом открывалась опасность войны с Ливией, которая никоим образом не могла дать пристанища этой массе людей, привыкших к привольной солдатской жизни, а не к труду и нужде. Но Херихора и жрецов не смущали такие мелочи, когда дело касалось крупных государственных интересов. А роспуск ливийских наемников нес с собой действительно большие выгоды.

Во-первых, Саргон и его советники подписали и скрепили клятвой договор с Египтом на десять лет, в течение которых, по предсказаниям халдейских жрецов, над святой Египетской землей тяготел злой рок.

Во-вторых, роспуск двадцати тысяч солдат приносил казне фараона четыре тысячи талантов экономии, что тоже было очень важно.

В-третьих, война с Ливией на западной границе могла дать выход героическим порывам наследника престола и надолго отвлечь его от азиатских дел и от восточной границы. Херихор и верховная коллегия вполне основательно полагали, что пройдет несколько лет, пока ливийцы, истощив силы в партизанской войне, запросят мира.

План был хорошо задуман. Но авторы его допустили одну ошибку: они не предусмотрели, что в царевице Рамсесе живет дух гениального полководца.

Расформированные ливийские полки, грабя по дороге, очень быстро добрались до родины, тем более что Херихор не велел нигде их задерживать. Первые же из них, достигнув Ливийской земли, стали рассказывать своим землякам всякие небылицы. По их словам, которые подсказывались озлоблением и личными интересами, Египет был сейчас не менее слаб, чем девятьсот лет назад, во времена гиксосов, а казна фараона настолько пуста, что богоравному властелину волей-неволей пришлось распустить ливийцев, составлявших, как они говорили, лучшую, если не единственную годную часть его армии. Они уверяли, что египетской армии вообще не существует, если не считать горсточку ничего не стоящих солдат на восточной границе. Между его святейшеством фараоном и жрецами нелады. Зарботок работникам не выплачивается, крестьян душат поборами, а потому народ готов к восстанию, если только ему будет обещана помощь. И это еще не все: номархи, которые были когда-то независимыми правителями и время от времени вспоминают о своих былых правах, сейчас, видя слабость правительства, готовятся свергнуть и фараона и верховную коллегия жрецов!..

Вести эти, как стая птиц, облетели ливийское побережье и всюду принимались с полным доверием. Разбойники и варвары всегда были

готовы к нападению, а тем более сейчас, когда бывшие солдаты и офицеры фараона уверяли их, что ограбить Египет — ничего не стоит. Зажиточные и благоразумные ливийцы тоже поверили изгнанным легионерам, ибо для них уже давно не было тайной, что египетская знать нищает, что фараон не пользуется полнотой власти, а крестьяне и работники, толкаемые нуждой, поднимают бунты.

И вот вся Ливия заволновалась. Изгнанных солдат и офицеров встречали как глашатаев благой вести. А так как страна была нищая и не располагала запасами для гостей, то, чтобы поскорее избавиться от пришельцев, решено было тотчас же начать войну с Египтом.

Даже хитрый и умный ливийский князь Муссаваса дал себя увлечь общему течению. Но его склонили к этому не пришельцы, а какие-то почтенные и сановные люди, очевидно, агенты египетской верховной коллегии.

Эти вельможи, не то недовольные положением в Египте, не то обиженные на фараона и жрецов, прибыли в Ливию со стороны моря. Прячась от черни и избегая разговоров с изгнанными солдатами, они убеждали Муссавасу, под величайшим секретом и с доказательствами в руках, что как раз теперь время напасть на Египет.

— Ты найдешь там, — говорили они ему, — неиссякаемую сокровищницу и житницу для себя, для своих людей и для внуков их внуков.

Муссаваса, хитроумный полководец и дипломат, дал, однако, поймать себя в ловушку. Как человек энергичный, он сейчас же провозгласил священную войну против Египта и, имея под рукой тысячи храбрых воинов, бросил первый корпус на восток под начальством своего сына, двадцатилетнего Техенны.

Старый варвар знал, что такое война, и понимал, что тот, кто хочет победить, должен действовать быстро и наносить удары первым.

Подготовка длилась очень недолго. Бывшие солдаты фараона пришли, правда, без оружия, но знали свое дело, а в те времена дела с оружием обстояли несложно. Несколько ремешков или кусочков бечевки для пращи, копье или заостренный шест, топор или тяжелая палица, мешок камешков на одном боку и фиников на другом — вот и все.

Итак, Муссаваса дал своему сыну Техенне две тысячи бывших наемников фараона и около четырех тысяч ливийской голытьбы и приказал немедленно вторгнуться в Египет, награть, что удастся, и приготовить запасы для настоящей армии. Сам же, собирая более крупные силы, разослал гонцов по оазисам, призывая под свои знамена всех, кому нечего

терять.

Давно не было в пустыне такого оживления. Из каждого оазиса толпами шла такая отчаянная голытьба, что хотя на этих людях уже ничего не было, их нельзя было назвать иначе, как оборванцами.

Опираясь на доводы своих советчиков, которые месяц назад были офицерами фараона, Муссаваса вполне основательно предполагал, что его сын успеет разграбить несколько деревень и городков от Тереметиса до Сенти-Нофера^[115], прежде чем наткнется на сколько-нибудь значительные египетские силы. Кроме того, ему сообщили, что при первых же слухах о движении ливийцев не только разбежались все работники большого стекольного завода, но даже отступили войска, занимавшие крепость в Сохет-Хемау на берегу Содовых озер.

Это было для ливийцев весьма благоприятное предзнаменование, потому что стекольный завод представлял солидный источник доходов для фараоновой казны.

Но Муссаваса допустил ту же ошибку, что и верховная коллегия жрецов; он не угадал в Рамсесе гениального полководца.

И произошло то, чего никто не ожидал: не успел первый ливийский корпус добраться до окрестностей Содовых озер, как там уже оказалась вдвое большая армия наследника египетского престола.

Нельзя было даже упрекнуть ливийцев в непредусмотрительности. Техенна и его штаб создали вполне приличную разведку. Лазутчики неоднократно побывали в Мелкате, Навкратисе, Саи^[116], Менуфе и переплывали Канопский и Больбитинский рукава Нила, но нигде не встретили войск, движение которых, очевидно, задерживал разлив, — напротив, повсюду видели переполох среди оседлого населения, которое бежало из пограничных областей. Немудрено поэтому, что они приносили своему военачальнику самые утешительные вести. А тем временем армия царевича Рамсеса, несмотря на разлив, через восемь дней после мобилизации достигла границ пустыни и, снабженная водой и продовольствием, скрылась в горах у Содовых озер. Если бы Техенна мог, как орел, взлететь над становищами своего войска, он в ужасе увидел бы, что во всех ущельях этой местности скрываются египетские полки и что с минуты на минуту его корпус будет окружен.

Как только войска Нижнего Египта вышли из Бубаста, сопровождавший наследника пророк Ментесуфис стал получать и отправлять по несколько срочных сообщений ежедневно.

Он вел переписку с министром Херихором, посылая ему в Мемфис донесения о передвижении войск и о действиях наследника, о которых он отзывался с нескрываемым восторгом. Херихор же давал свои указания в том смысле, чтобы наследнику была предоставлена полная свобода, поясняя, что, если Рамсес даже проиграет первое сражение, верховная коллегия не очень этим огорчится.

«Небольшая военная неудача, — писал Херихор, — явится для царевича Рамсеса уроком осторожности и смирения, ибо он уже сейчас, еще ничего не сделав, считает себя равным самым опытным полководцам».

Когда же Ментесуфис ответил, что трудно предположить, чтобы наследник потерпел поражение, Херихор дал ему понять, что победе не следует придавать слишком большого значения.

«Государство, — писал он, — нисколько не пострадает от того, что воинственный и пылкий наследник престола будет в течение нескольких лет развлекаться войной на западной границе. Сам он приобретет опыт в военном искусстве, а обленившиеся и обнаглевшие солдаты наши найдут подходящее для себя занятие».

С другой стороны, Ментесуфис вел переписку с жрецом Мефресом, и эта переписка казалась ему более важной. Мефрес, обиженный когда-то наследником, сейчас, пользуясь тем, что убит ребенок Сарры, прямо обвинял Рамсеса в этом преступлении, которое было якобы совершено им под влиянием Камы. Когда же обнаружилась невиновность Рамсеса, жрец, еще более раздраженный этим, не переставал утверждать, что царевич, как враг отечественных богов и союзник презренных финикиян, способен на все.

Дело об убийстве ребенка Сарры вызывало первые дни столько подозрений, что даже верховная коллегия в Мемфисе запросила у Ментесуфиса его мнения. Но Ментесуфис ответил, что, все время наблюдая за царевичем, он ни на минуту не допускает, чтобы тот мог быть убийцей.

Эти письма, словно стая хищных птиц, кружили над Рамсесом, пока он рассылал разведчиков, выслеживал неприятеля, совещался с военачальниками, подбадривал солдат.

Четырнадцатого числа вся армия наследника сосредоточилась к югу от города Тереметис. К великой радости Рамсеса, сюда явился Патрокл с греческими полками, а вместе с ними жрец Пентуэр, присланный Херихором в качестве; второго наблюдателя.

Присутствие жрецов (кроме названных, были еще и другие) было не очень приятно Рамсесу, но он решил не обращать на них внимания и во время военных советов даже не спрашивал их мнения.

В конце концов отношения как-то наладились. Ментесуфис, согласно приказанию Херихора, не навязывал царевичу своей воли, Пентуэр же занялся организацией врачебной помощи раненым.

Военная игра началась.

Прежде всего Рамсес, при посредстве своих агентов, распространил по многим пограничным селениям слух, что ливийцы выступили огромными массами и будут беспощадно грабить и убивать. Перепуганное население стало уходить на восток и наткнулось на египетские полки. Тогда наследник заставил мужчин нести тяжести за армией, а женщин и детей отправил в глубь страны.

Затем главнокомандующий послал навстречу приближающимся ливийцам лазутчиков, чтобы выведать их количество и расположение. Лазутчики вскоре вернулись с точными сведениями относительно расположения, но весьма преувеличенными относительно численности неприятеля. Так же неправильно, хотя и весьма настойчиво, утверждали они, что во главе ливийских полчищ вместе со своим сыном Техенной идет сам Муссаваса.

Юный полководец даже покраснел от радости, что в первой же войне столкнется с таким опытным противником.

Преувеличивая опасность столкновения, Рамсес удваивал осторожность. Чтобы все преимущества были на стороне египтян, он прибегнул к хитрости. Он послал навстречу ливийцам доверенных людей, приказав им под видом перебежчиков проникнуть в неприятельский лагерь и отвлечь от Муссавасы его главную силу — изгнанных из Египта ливийских солдат.

— Скажите им, — заявил Рамсес своим агентам, — что у меня готовы топоры для непокорных, но что я буду снисходителен к сдающимся. Если в предстоящем сражении они бросят оружие и покинут Муссавасу, я приму их обратно в армию его святейшества и велю уплатить им жалованье сполна, как если бы они не уходили со службы.

Патрокл и другие военачальники признали эту меру весьма разумной, жрецы же молчали, а Ментесуфис отправил Херихору срочное донесение и

спустя сутки получил ответ.

Окрестности Содовых озер представляли собою долину длиной в несколько десятков километров, замкнутую двумя горными цепями, которые тянулись с юго-востока на северо-запад. Ширина этой долины нигде не превышала десяти километров, но были места и значительно более узкие, чем ущелья.

По всей долине тянулись одно за другим около десяти сильно заболоченных озер с горько-соленой водой. Там рос жалкий кустарник и постоянно засыпаемые песком травы, которые не ело ни одно животное. По обеим сторонам долины торчали зазубренные известковые скалы или тянулись беспредельные песчаные наносы, в которых можно было утонуть. Вся местность, окрашенная в желтый и белый цвета, производила впечатление гнетущей мертвенности, которую еще усиливали зной и безмолвие. Ни одна птица не оглашала здесь воздух своим пением, а если где-нибудь и раздавался шум, то разве только от скатывающегося камня.

Посреди долины возвышались две группы построек, отстоящих друг от друга на несколько километров. Это были: с востока — крепостца, а с запада — стекольный завод, куда топливо доставлялось ливийскими торговцами. Оба эти места по случаю военной тревоги были покинуты населением. Корпус Техенны должен был занять и укрепить оба эти пункта, обеспечивавшие армии Муссавасы проход к Египту.

Ливийцы медленно подвигались от города Главка^[117] и наконец вечером четырнадцатого атира очутились у долины Содовых озер, уверенные, что пройдут ее в два перехода, не встретив препятствий. В тот же день, с закатом солнца, египетская армия тронулась по направлению к пустыне и, за двадцать часов пройдя по пескам более сорока километров, на следующее утро очутилась на возвышенностях между крепостцой и стекольным заводом и укрылась в бесчисленных ущельях.

Если бы в ту ночь кто-нибудь сказал ливийцам, что в долине Содовых озер выросли пальмы и пшеница, они меньше удивились бы, чем тому, что им преградила путь египетская армия.

После непродолжительного привала, во время которого жрецам удалось открыть и вырыть несколько колодцев с довольно сносной питьевой водой, египетская армия стала занимать северное взгорье, тянувшееся вдоль долины.

План наследника был прост: он хотел отрезать ливийцев от их родины и загнать к югу в пустыню, где голод и зной уничтожат рассеянные отряды.

С этой целью он построил армию на северной стороне долины, разделив ее на три корпуса. Правым крылом, наиболее выдвинутым в

сторону Ливии, командовал Патрокл, получивший приказ отрезать нападающим пути к отступлению на Главк; левым крылом, ближайшим к Египту, — Ментесуфис, который должен был преградить ливийцам путь вперед. Командование же центральным корпусом в окрестностях стекольного завода принял на себя сам наследник, имея при себе Пентуэра.

Пятнадцатого атира, около семи часов утра, несколько десятков ливийских всадников крупной рысью проскакали через долину, немного передохнули у стекольного завода, осмотрелись кругом и, не заметив ничего подозрительного, повернули к своим.

В десять часов утра, когда стоял палящий зной и люди, казалось, исходили кровавым потом, Пентуэр сказал наследнику:

— Ливийцы уже вступили в долину и проходят мимо отряда Патрокла. Через час они будут здесь.

— Откуда ты это знаешь? — спросил с удивлением царевич.

— Жрецам все известно, — ответил с улыбкой Пентуэр.

Потом осторожно взобрался на одну из скал, вынул из мешка какой-то блестящий предмет и, повернувшись в сторону отряда святого Ментесуфиса, стал делать рукой какие-то знаки.

— И Ментесуфис уже извещен, — сказал он Рамсесу, спускаясь вниз.

Царевич не мог прийти в себя от изумления.

— У меня глаза лучше твоих и слух, я думаю, не хуже, однако я ничего не вижу и не слышу, — сказал он. — Каким же образом ты замечаешь издали врага и общаешься с Ментесуфисом?

Пентуэр предложил наследнику взглянуть на какой-то отдаленный холм, на вершине которого торчали кусты терновника. Рамсес посмотрел на эту точку и невольно заслониł глаза: в кустах что-то сверкнуло.

— Какой нестерпимый блеск! — воскликнул он. — Можно ослепнуть!

— Этот жрец, состоящий при генерале Патрокле, подает нам сигналы, — ответил Пентуэр. — Как видишь, досточтимый государь, и мы можем пригодиться на войне.

Он замолчал.

Из глубины долины до них донесся какой-то шум, сперва чуть слышный, потом все более и более явственный.

Заслышав шум, прижавшиеся к склону горы египетские солдаты стали вскакивать, осматривать оружие, перешептываться... Но короткая команда офицеров успокоила их, и снова над скалами воцарилась мертвая тишина.

Тем временем шум вдали усиливался и перешел в гул; в общем звучании множества голосов можно было различить песни, звуки флейт, скрип возов, лошадиное ржание и команду предводителей. У Рамсеса

сердце забилося сильнее. Он не мог больше сдерживать любопытства и вскарабкался на скалистый выступ, откуда видна была значительная часть долины.

Там, окруженный клубами желтоватой пыли, медленно подвигался ливийский корпус, растянувшись на несколько верст, словно змея, кожа которой испещрена красными, синими и белыми пятнами. Впереди ехало десятка полтора всадников; один из них — видный, в белой одежде — сидел на лошади, как на скамье, свесив обе ноги на левую сторону. За всадниками следовала толпа пращников в серых рубахах, потом какой-то вельможа в носилках, под огромным зонтом. Дальше шел отряд копьеносцев в синих и красных одеждах, потом огромная толпа почти голых людей, вооруженных палицами, опять пращники и копьеносцы, снова пращники, а за ними вооруженные косами и топорами люди в красном. Шли они приблизительно по четыре в ряд. Но, несмотря на окрики офицеров, порядок все время нарушался и следовавшие друг за другом четверки сбивались в кучу.

С шумом и песнями ливийская змея медленно выползла в самую широкую часть долины, напротив завода и озер. Здесь строй сбился еще больше. Шедшие впереди остановились, так как им было сказано, что в этом месте будет привал; задние же ускорили шаг, чтобы поскорее дойти до цели и отдохнуть. Некоторые выбегали из рядов и, кинув оружие на землю, бросались в озеро или зачерпывали из него рукой вонючую воду; другие, присев на песок, доставали из мешка финики или пили из глиняных фляг воду с уксусом.

Высоко над лагерем кружило несколько ястребов.

При виде этой картины Рамсеса охватила невообразимая скорбь и страх. Перед глазами замелькали черные точки, голова закружилась, — в эту минуту он готов был отказаться от трона, лишь бы очутиться в другом месте и не видеть всего, что будет. Он соскользнул вниз и безумным взглядом смотрел вперед.

В это время к нему подошел Пентуэр и сильно потрянул его за плечо.

— Очнись, государь, — сказал он. — Патрокл ожидает приказа...

— Патрокл? — повторил Рамсес и повернулся.

Перед ним стоял Пентуэр, бледный, но спокойный. Немного дальше тоже бледный Тутмос держал в дрожащей руке офицерский свисток. Из-за холма выглядывали солдаты, на лицах которых видно было глубокое волнение.

— Рамсес, — повторил Пентуэр, — войска ждут приказа...

Царевич с отчаянной решимостью посмотрел на жреца и сдавленным

голосом произнес:

— Начнем...

Пентуэр поднял кверху свой блестящий талисман и начертил им несколько знаков в воздухе. Тутмос тихо свистнул, свист этот повторился в отдаленных ущельях справа и слева, и египетские пращники стали карабкаться на холмы.

Был полдень.

Рамсес постепенно пришел в себя и внимательно осмотрелся кругом. Он видел свой штаб, отряд копьеносцев и секироносцев под командой старых офицеров и, наконец, пращников, медленно взбирающихся на скалы... Он был уверен, что никто из этих людей не хочет не только погибнуть, но даже драться и шевелиться под этим палящим зноем.

Вдруг с вершины одного из холмов раздался громоподобный голос, мощный, как львиный рык:

— Солдаты его святейшества фараона, сокрушите этих ливийских собак! С вами боги!

И в ответ тотчас же прозвучал протяжный боевой клич египетской армии и оглушительный рев ливийцев.

Наследник, которому незачем уже было скрываться, поднялся на холм, откуда хорошо была видна картина боя. Длинной цепью растянулись египетские пращники, точно выросшие из-под земли, а в нескольких сотнях шагов от них кишели, утопая в клубах пыли, ливийские орды. Послышались звуки рожков, свистки и проклятия неприятельских офицеров, призывающих к порядку. Те, что отдыхали, вскочили с места, те, что пили воду, схватив оружие, бросились к своим; среди сутолоки и криков беспорядочная толпа стала строиться в шеренги.

Тем временем египетские пращники метали по несколько камней в минуту, размеренно, спокойно, как на ученье. Начальники указывали своим отрядам группы неприятелей, и солдаты в несколько минут засыпали их градом свинцовых пуль и камней. Рамсес видел, как после каждого такого залпа группа рассеивалась, часто оставляя на месте какого-нибудь солдата.

Все же ливийцам удалось построиться в ряды и отступить за линию нападения; вперед выступили их пращники и с такой же быстротой и спокойствием стали отвечать египтянам. Время от времени в их цепи раздавался смех и крик ярости — это означало, что от их ударов падал кто-нибудь из египетских пращников.

Вскоре камни стали свистеть над головой царевича и его свиты. Ловким ударом одному из адъютантов перебило плечо, у другого сбросило шлем с головы, третий камень упал у ног наследника, разбился о скалу и

засыпал ему лицо осколками, обжигаящими, как кипятком.

Ливийцы громко хохотали, выкрикивая что-то; быть может, проклятия вражескому полководцу.

Страх, жалость и пронизывающая все его существо скорбь в одно мгновение покинули Рамсеса. Он не видел больше людей, которым угрожали муки и смерть; перед ним были дикие звери, которых надо было истребить или обезвредить. Машинально протянул он руку к мечу, чтобы повести в наступление ожидавших приказа копьеносцев, но его остановило чувство гадливости. Он не станет пятнать себя кровью этой гольтыбы!.. На что тогда солдаты?

Тем временем борьба продолжалась, и отважные ливийские пращники, с криками и даже с песнями, стали подвигаться вперед. С обеих сторон снаряды жужжали, как шмели, гудели, как рои пчел, и, встречаясь в воздухе, с треском ударялись друг о друга. Поминутно то на той, то на другой стороне кто-нибудь из воинов со стоном уходил в тыл или падал мертвым. Это не останавливало, однако, других; они дрались с яростью, переходившей в неукротимое бешенство и самозабвение.

Вдруг вдалеке на правом крыле раздались звуки рожков и многократно повторяемые крики. Это неустрашимый Патрокл, с утра успевший уже напиться, ринулся на передний отряд неприятеля.

— В атаку! — скомандовал царевич.

Приказ тотчас же был повторен: зазвучал рожок, один, другой... десятый, и мгновенно из всех ущелий стали выползать египетские сотники. Рассыпавшиеся по холмам пращники удвоили свое рвение, а тем временем в долине против ливийцев не спеша, но зато в полном порядке, выстраивались колонны египетских копьеносцев и секироносцев.

— Усилить центр! — скомандовал наследник.

Рожок повторил приказ.

За двумя колоннами первой линии встали еще две колонны.

Не успели египтяне под градом камней и стрел закончить этот маневр, как ливийцы по их примеру построились в восемь рядов против главного корпуса.

— Подтянуть резервы! — приказал наследник. — Посмотри-ка, — обратился он к одному из адъютантов, — готово ли левое крыло?

Адъютант, чтобы лучше охватить взором долину, побежал туда, где дрались пращники, и вдруг упал, но, падая, успел сделать знак рукой. Вместо него бросился вперед другой офицер и быстро вернулся с сообщением, что оба фланга корпуса, которым командовал наследник, находятся в полной готовности.

Шум со стороны отряда Патрокла усиливался, и вдруг над вершинами холмов поднялись густые клубы черного дыма. К Рамсесу подбежал офицер с донесением от Пентуэра, что греческие полки подожгли лагерь ливийцев.

— Прорвать центр! — скомандовал наследник.

Несколько рожков один за другим заиграли сигнал «в атаку». Когда они смолкли, в центральной колонне раздалась команда, ритмическая дробь барабанов и мерный топот пехоты.

— Раз... два!.. раз... два!.. раз... два!..

Команда была повторена на правом и на левом флангах. Снова затрещали барабаны, и фланговые колонны двинулись вперед: раз... два!.. раз... два!..

Ливийские пращники начали отступать, засыпая египетские войска камнями. И хотя то и дело падал какой-нибудь солдат, колонны продолжали идти мерным шагом, не нарушая строя: раз... два!.. раз... два!..

Желтые клубы пыли, отмечая движение египетских батальонов, становились все гуще и гуще. Пращники не могли уже метать камни; воцарилась сравнительная тишина, среди которой раздавались стоны и вопли раненых воинов.

— Они даже на учениях редко так маршировали, — заметил царевич, обращаясь к своему штабу.

— Сегодня они не боятся палок, — пробурчал старый офицер.

Расстояние между наступающими войсками египтян и ливийцами уменьшалось с каждой минутой, но варвары стояли недвижимо, а за их линией появилась какая-то длинная тень. Очевидно, к центру, которому грозила мощная атака, подходило подкрепление.

Наследник сбегал с холма и вскочил на лошадь. Из ущелий выступили последние египетские резервы и, построившись, ожидали приказа. За пехотой показалось несколько сот азиатских всадников на низкорослых, но выносливых лошадях. Царевич поскакал за атакующими, и шагов через сто ему попался новый холм, невысокий, но с которого можно было обозреть все поле сражения. Свита, азиатские конники, резервная колонна спешили следом.

Рамсес нетерпеливо посмотрел в сторону левого фланга, откуда должен был появиться Ментесуфис, но его не было. Ливийцы стояли, не двигаясь с места. Положение с каждой минутой становилось серьезнее.

Корпус Рамсеса был самый мощный, но против него были выставлены почти все силы ливийцев. Количественно обе стороны были равны. Наследник не сомневался в победе, но его волновала мысль, что такой

сильный противник может нанести большой урон.

Впрочем, всякое сражение имеет свои неожиданности. На те силы, что брошены в атаку, влияние полководца уже не распространяется, их у него уже нет. В распоряжении царевича оставался только резервный полк и кучка кавалерии, и если какая-нибудь из египетских колонн будет разбита или к неприятелю подоспеют новые подкрепления...

Рамсес провел рукою по лбу. В этот момент он почувствовал всю ответственность главнокомандующего. Он был похож на игрока, который, поставив все, бросил уже кости и ждет, как они лягут.

Египтяне находились в нескольких десятках шагов от ливийских колонн. Команда... рожки... Барабанная дробь участилась, и шеренги пустились бегом: раз-два-три!.. раз-два-три!.. Но и со стороны неприятеля послышался рожок, спустились наперевес два ряда копий, затрещали барабаны. Бегом... Взвились новые клубы пыли и слились в один сплошной туман. Рев человеческих голосов, треск копий, душераздирающие стоны, мгновенно тонущие в общем шуме...

По всей линии боя уже не видно было ни людей, ни оружия, и лишь желтая пыль растянулась исполинской змеей. Более густая завеса тумана означала место, где колонны сбились в схватке, более редкая — где был разрыв.

После нескольких минут адского шума наследник заметил, что облако пыли на левом фланге постепенно загибается назад.

— Усилить левый фланг! — скомандовал он.

Половина резерва помчалась в указанном направлении и скрылась в желтом облаке. Но левый фланг уже выпрямился и одновременно правый стал медленно продвигаться вперед. Центр же, имевший наибольшее значение, не двигался с места.

— Усилить центр! — скомандовал наследник.

Вторая половина резерва двинулась вперед и скрылась в клубах пыли. Крик на минуту усилился, но движения вперед не было видно.

— Здорово дерутся, негодяи! — обратился к наследнику старый офицер из свиты. — Как раз пора бы подойти Ментесуфису.

Царевич подозвал командира азиатской кавалерии.

— Посмотри-ка, туда, вправо, — сказал он, — там, должно быть, разрыв. Вклинись туда осторожно, чтобы не потоптать наших солдат, и ударь во фланг центральной колонны этих собак.

— Они, должно быть, на цепи: очень уж долго стоят на месте, — ответил со смехом азиат.

Он оставил с царевичем человек двадцать своих кавалеристов, а с

остальными поскакал рысью исполнять приказ, выкрикивая: «Да живешь ты вечно, наш вождь!»

Зной был нестерпимый. Царевич напрягал зрение и слух, стараясь проникнуть сквозь стену пыли. Ждал... и ждал... Вдруг он вскрикнул от радости: среднее облако заколебалось и продвинулось вперед... Потом опять остановилось... опять продвинулось... И стало подвигаться медленно-медленно вперед...

Стоял такой гул, что трудно было понять, что он означает: ярость, победу или поражение.

Вдруг правый фланг ливийцев стал как-то странно выгибаться и отступать. Позади него показалось новое облако пыли. В то же время прискакал верхом Пентуэр и крикнул:

— Патрокл заходит ливийцам в тыл!

Замешательство на правом фланге увеличилось и стало приближаться к центру. Было видно, что ливийцы начинают отступать и что смятение охватывает даже главную колонну.

Весь штаб главнокомандующего лихорадочно следил за перемещением желтого облака. Вскоре беспорядок захватил и левый фланг. Там среди ливийцев уже началось бегство.

— Пусть я не увижу завтра солнца, если это еще не победа! — воскликнул старый офицер.

Прискакал гонец от жрецов, следивших с самого высокого холма за ходом сражения, и сообщил, что на левом фланге видны отряды Ментесуфиса и что ливийцы окружены с трех сторон.

— Они бежали бы уже все, как испуганные лани, — говорил, едва переводя дух, гонец, — если бы им не мешали пески.

— Победа! Живи вечно, наш вождь! — вскричал Пентуэр.

Был всего третий час.

Азиатские конники крикливыми голосами распевали песни, пуская в небо стрелы в честь царевича. Штабные офицеры спешили, бросились к ногам наследника, сняли его с седла и подняли вверх, возглашая:

— Вот могучий полководец! Ты растоптал врагов Египта! Амон стоит по твою правую и левую руку, кто же может противостоять тебе?

Тем временем ливийцы, все время отступая, поднялись на южные песчаные холмы, преследуемые египтянами. Теперь уже поминутно из облака пыли выплывали всадники и мчались к Рамсесу.

— Ментесуфис зашел им в тыл! — кричал один.

— Две сотни сдались! — кричал другой.

— Патрокл зашел им в тыл!

— У ливийцев захвачено три знамени: барана, льва и ястреба!
Вокруг штаба собиралось все больше и больше гонцов. Люди были все в крови и в пыли.

— Живи вечно! Живи вечно, наш вождь!

Царевич то смеялся, то плакал от возбуждения.

— Боги смилостивились надо мной, — говорил он свите. — Я думал, что мы проиграем... Печален жребий полководца, который не извлекает меча из ножен и ничего не видит, но должен отвечать за все.

— Живи вечно, победоносный полководец! — раздавались крики.

— Хороша победа, — рассмеялся царевич. — Я не знаю даже, как это получилось...

— Выиграл битву и сам удивляется, как это получилось! — крикнул кто-то из свиты.

— Говорю вам, я так и не знаю, что такое бой.

— Успокойся, государь, ты так мудро расставил войска, — ответил Пентуэр, — что неприятель должен был пасть. А каким образом? Это уже дело полков.

— Я даже не дотронулся до меча! Не видел ни одного ливийца! — жаловался царевич.

На южных взгорьях все еще клубилось и бурлило, но в долине пыль начинала уже оседать. Тут и там, точно сквозь дымку, видны были кучки египетских солдат с поднятыми вверх копьями.

Наследник повернул лошадь в ту сторону и помчался на покинутое поле сражения, где только что происходила схватка центральных колонн. Это была широкая площадь в несколько сот шагов, вся изрытая глубокими ямами, усеянная телами раненых и убитых. С той стороны, откуда подъехал царевич, валялись длинной цепью египтяне, потом ливийцы — их было больше, — затем попеременно египтяне и ливийцы, дальше — почти одни ливийцы.

Трупы лежали рядами, а кое-где по три-четыре трупа, один на другом. На песке темнели бурые пятна крови. Раны были ужасны: у одного отрезаны обе руки, у другого рассечена пополам голова до самого туловища, у третьего вывалились внутренности... Некоторые еще бились в предсмертных судорогах и изо рта, наполненного песком, вырывались проклятия или мольба о смерти.

Наследник быстро проехал мимо, не оглядываясь, хотя некоторые раненые приветствовали его слабеющими голосами. Немного дальше он встретил первую партию пленников, которые пали перед ним ниц, моля о пощаде.

— Обещайте милость побежденным, выразившим покорность, — приказал он свите.

Несколько всадников поскакали в разных направлениях.

Вскоре послышался звук рожка и вслед за тем громкий голос:

— По приказу наследника-главнокомандующего, раненых и пленников не убивать.

В ответ на это раздались смешанные крики, должно быть, пленных.

— По приказу главнокомандующего, — звучал певучий голос в противоположной стороне, — раненых и пленных не убивать!..

Между тем на южных холмах битва прекратилась, и два наиболее крупных соединения ливийцев сложили оружие перед греческими полками.

Доблестный Патрокл из-за жары, как он сам говорил, или от горячительных напитков, как полагали другие, едва держался в седле. Он вытер слезящиеся глаза и обратился к пленным.

— Паршивые псы, — кричал он, — поднявшие грешные руки на войска фараона! (Чтобы вас сожрали черви!) Вы будете раздавлены, как вши под ногтем благочестивого египтянина, если сейчас же не скажете, куда девался ваш предводитель. Чтоб ему проказа изъела ноздри и высосала гнойные глаза!..

В этот момент подъехал наследник. Патрокл почтительно приветствовал его, не прерывая допроса:

— Велю нарезать ремней из вашей кожи и всех посажу на кол, если не узнаю сейчас же, где эта ядовитая гадина, этот помет дикой свиньи, брошенный в навоз.

— Вот где наш предводитель! — воскликнул один из ливийцев, указывая на кучку всадников, медленно уходивших в глубь пустыни.

— Это что такое? — спросил наследник.

— Презренный Муссаваса спасается бегством! — ответил Патрокл, чуть было не свалившись с лошади.

Кровь ударила Рамсесу в голову.

— Так это Муссаваса? Спасается бегством? Эй! У кого там лучшие кони — за мной!

— Ну, теперь заревет этот разбойник, этот погонщик баранов, — расхохотался Патрокл.

Пентуэр преградил царевичу дорогу.

— Вашему высочеству нельзя преследовать беглецов.

— Как? — вспылil наследник. — За все время сражения я ни разу не поднял меча, а теперь должен выпустить из рук ливийского предводителя?.. Что скажут солдаты, которых я посылал под копья и секиры?

— Армия не может оставаться без главы.

— Но здесь Патрокл, и Тутмос, и, наконец, Ментесуфис. Какой же я полководец, если мне запрещено преследовать врага! Ведь они всего в нескольких сотнях шагов и лошади у них измучены.

— Через какой-нибудь час мы будем здесь вместе с ними. Тут рукой подать, — говорили азиатские всадники.

— Патрокл! Тутмос! Оставляю на вас армию. Вы отдохните, а я сейчас же вернусь! — крикнул наследник и, пришпорив лошадь, пустился рысью, увязая в песке.

За ним последовали двадцать конников и Пентуэр.

— А ты зачем с нами, пророк? — спросил его царевич. — Ступай лучше спать. Ты оказал нам сегодня ценные услуги.

— Быть может, я еще пригожусь тебе, — ответил Пентуэр.

— Но сейчас оставайся... Я приказываю...

— Верховная коллегия поручила мне ни на шаг не отставать от тебя. Наследника передернуло.

— А если мы попадем в засаду? — спросил он.

— Что ж, я и там буду с тобой, государь, — ответил жрец.

В его тоне было столько доброжелательности, что удивленный царевич не стал с ним спорить.

Они выехали в пустыню: шагах в двухстах позади была армия, а впереди, в нескольких сотнях шагов — убегающий враг, но как ни хлестали лошадей, — и те, что убегали, и те, кто их догонял, — подвигались с большим трудом. Сверху на них лился нестерпимый солнечный зной; в рот, в нос, а главное, в глаза забивалась едкая пыль, а под ногами лошадей при каждом шаге осыпался раскаленный песок. В воздухе царила мертвенная тишина.

— Ведь все время так не будет, — сказал наследник.

— Будет еще хуже, — ответил Пентуэр. — Видишь, царевич, — указал он на бегущих, — у тех лошади увязают по колени.

Царевич рассмеялся. Как раз в это время они вступили на более твердую почву и шагов сто проехали рысью, но тотчас же дорогу преградило песчаное море, и им пришлось снова продвигаться, плетясь шаг за шагом.

Люди обливались потом, лошади стали покрываться пеной.

— Жарко! — прошептал царевич.

— Слушай, государь! — обратился к нему Пентуэр. — Неподходящий сегодня день для погони в пустыне. С самого утра священные насекомые проявляли большое беспокойство, а потом впали в оцепенение. И мой жреческий нож не входил в глиняные ножны, что означает необычайный зной. А оба эти явления — жара и оцепенение насекомых — предвещают, очевидно, ураган. Вернемся. Мы не только потеряли из глаз лагерь, но даже шум его не долетает до нас.

Рамсес посмотрел на жреца почти с презрением.

— И ты думаешь, пророк, что я, пообещав поймать Муссавасу, — сказал он, — могу вернуться ни с чем из страха перед зноем и ураганом?

Они продолжали продвигаться вперед. В одном месте почва стала опять твердой, благодаря чему они приблизились к убегающим на расстояние полета камня, пущенного из пращи.

— Эй, вы, там! — крикнул наследник, — сдавайтесь!

Ливийцы даже не оглянулись. С трудом брели они по песку. Можно было думать, что им уже не уйти. Но вскоре отряд наследника опять попал в глубокий песок, а те ускорили шаг и исчезли за буграми.

Азиаты выкрикивали проклятия. Царевич стиснул зубы.

Но вот лошади стали увязать еще глубже и останавливаться. Всадникам пришлось спешиться. Вдруг один из азиатов побагровел и упал на песок. Рамсес велел покрыть его плащом и сказал:

— Подберем на обратном пути.

С большим трудом добрались они до вершины песчаной возвышенности и увидели ливийцев; дорога и для них была очень тяжела, две лошади у них стали.

Египетский лагерь совсем скрылся из виду, и если бы Пентуэр и азиаты не умели ориентироваться по солнцу, им не удалось бы уже попасть обратно.

Из отряда наследника упал еще один конник, изрыгая кровавую пену. Оставили и его вместе с лошадью. Впереди среди песков показались скалы, и ливийцы скрылись.

— Государь, — сказал Пентуэр, — там, возможно, засада.

— Пусть ждет меня там сама смерть! — ответил наследник изменившимся голосом.

Жрец посмотрел на него с удивлением. Он не ожидал от него подобного упорства.

До скал, казалось, недалеко, но дорога была невероятно тяжела. Приходилось не только идти самим, но еще и вытаскивать из песка лошадей. Все плелись, увязая повыше щиколоток, а то и по колено.

А на небе по-прежнему пылало солнце, грозное солнце пустыни, каждый луч которого не только обжигал и слепил, но и жалил. Самые выносливые азиаты падали от усталости; у одного распухли язык и губы, у другого шумело в голове и черные пятна кружились перед глазами, третьим овладевал сон; все чувствовали ломоту в суставах и утратили ощущение зноя. И если б спросили кого-нибудь — жарко ли, он не мог бы ответить.

Почва под ногами стала опять тверже, и отряд Рамсеса добрался до скал. Царевич, более других сохранявший присутствие духа, услыша конский храп, свернул в сторону и увидал в тени, отбрасываемой скалой, кучку людей, лежавших кто где упал. Это были ливийцы.

На одном из них, юноше лет двадцати, была пурпурная вышитая рубашка, золотая цепь на шее и меч в драгоценных ножнах. Казалось, он лежал без чувств: глаза у него закатились, на губах выступила пена. Рамсес понял, что это — предводитель, подошел, сорвал цепь с его шеи и отстегнул меч.

Увидя это, какой-то старый ливиец, который, казалось, был меньше утомлен, чем остальные, сказал ему:

— Хоть ты и победитель, египтянин, все же отнесись с почтением к князьему сыну, который был нашим военачальником.

— Это сын Муссавасы? — спросил наследник.

— Да, это Техенна, сын Муссавасы, — ответил ливиец, — наш предводитель, достойный стать даже египетским князем.

— А где Муссаваса?

— Муссаваса собирает в Главке большую армию. Она отомстит за нас.

Остальные ливийцы не произнесли ни звука, даже не подняли глаз на своих победителей. По приказу царевича азиаты без труда разоружили их и сами присели в тени скалы. Теперь среди них не было ни друзей, ни врагов, а лишь бесконечно усталые люди; их подстерегала смерть, но они мечтали только о том, чтобы отдохнуть.

Пентуэр, видя, что Техенна все еще не приходит в сознание, опустился перед ним на колени и наклонился над его головой, так что никто не мог видеть, что он делает. Вскоре Техенна стал дышать, метаться и открыл глаза, потом сел, потер лоб, точно очнувшись от крепкого сна, который еще не совсем покинул его.

— Техенна, предводитель ливийцев! — обратился к нему Рамсес. — Ты и твои люди — пленники его святейшества фараона.

— Лучше убей меня на месте, — пробормотал Техенна, — чем мне лишиться свободы.

— Если твой отец Муссаваса смирится и заключит мир с Египтом, ты будешь снова свободен и счастлив.

Ливиец отвернулся и лег, равнодушный ко всему. Рамсес сел рядом и вскоре погрузился в оцепенение, а вернее всего, заснул.

Он очнулся через четверть часа, посмотрел на пустыню и вскрикнул от восторга. На горизонте была видна зелень, вода, чащи пальм, а несколько выше — селения и храмы.

Вокруг него все спали — азиаты и ливийцы. Только Пентуэр, стоя на скалистом утесе и прикрыв ладонью глаза, смотрел вдаль.

— Пентуэр! Пентуэр! — вскричал Рамсес. — Ты видишь этот оазис?

Он вскочил и подбежал к жрецу, лицо которого казалось озабоченным.

— Ты видишь оазис?

— Это не оазис, — ответил Пентуэр, — это блуждающий в пустыне дух какой-то страны, которой больше нет на свете. А вон то... там... — прибавил он, указывая рукою на юг.

— Горы? — спросил царевич.

— Всмотрись получше.

Царевич стал всматриваться и вдруг воскликнул:

— Мне кажется, что кверху поднимается какая-то темная масса. У меня, вероятно, глаза устали...

— Это тифон, — прошептал жрец. — Только боги могут спасти нас, если пожелают.

Действительно, Рамсес почувствовал на лице дуновение, которое даже среди зноя пустыни показалось ему горячим. Дуновение это, вначале очень легкое, усиливалось, становилось все жарче, и одновременно темная полоса поднималась в небе с поразительной быстротой.

— Что же нам делать? — спросил царевич.

— Эти скалы, — ответил жрец, — защитят нас от песков, но не отгонят ни пыли, ни зноя, который все время усиливается. А через день или два...

— Так долго дует тифон?

— Иногда три-четыре дня. Лишь изредка он подымается на несколько часов и быстро падает, как ястреб, пронзенный стрелой. Но это бывает очень редко.

Рамсес приуныл, однако не испугался. А жрец, вынув из-под одежды небольшой флакон из зеленого стекла, продолжал:

— Вот тут эликсир... Его должно хватить тебе на несколько дней. Как только почувствуешь сонливость или страх, выпей несколько капель. Этим ты подкрепишь себя и выдержишься.

— А ты? А остальные?

— Моя судьба в руках Единого. А остальные? Они не наследники престола...

— Я не хочу этого питья, — ответил Рамсес, отталкивая флакон.

— Ты должен его взять! — настаивал Пентуэр. — Помни, на тебя возложил египетский народ свои надежды... Помни, над тобой витает его благословение.

Черная туча поднялась уже до половины неба, и знойный вихрь дул с такой силой, что Рамсесу и жрецу пришлось опуститься к подножию скалы.

«Египетский народ?.. благословение?..» — повторил про себя царевич. И вдруг спросил:

— Это ты год назад говорил со мной ночью в саду? Вскоре после маневров?

— Да, в тот день, когда ты пожалел крестьянина, повесившегося с горя, что засыпали вырытый им канал, — ответил жрец.

— И это ты спас мой дом и еврейку Сарру от толпы, которая хотела забросать ее камнями?

— Я, — ответил Пентуэр, — а ты вскоре освободил из тюрьмы неповинных крестьян и не позволил Дагону притеснять твой народ новыми поборами. За этот народ, — продолжал жрец, — за сострадание, которое ты всегда проявлял к нему, я и сейчас благословляю тебя... Может быть, ты один только уцелеешь, так помни же, что тебя охраняет угнетенный египетский народ, ожидающий от тебя спасения.

Внезапно стемнело, сверху дождем посыпался раскаленный песок, и поднялся такой вихрь, что опрокинуло лошадь, стоявшую в незащищенном месте. Азиаты и ливийские пленники проснулись, но все, прильнув к подножию скалы, молчали, охваченные страхом.

Природа разбушевалась. На землю спустилась тьма, по небу с бешеной быстротой неслись рыжие и черные облака песку. Казалось, будто песок всей пустыни ожил, рванулся кверху и летит куда-то с быстротой камня, пущенного из пращи.

Было жарко, как в парильне... на руках и на лице трескалась кожа, язык пересыхал, при каждом вздохе кололо в груди. Мельчайшие песчинки обжигали, как искры.

Пентуэр насильно поднес флакон ко рту наследника. Рамсес проглотил несколько капель и почувствовал необыкновенное облегчение: боль и жара перестали мучить его, мысль снова обрела свободу.

— Так это может продолжаться несколько дней?

— Четыре, — ответил жрец.

— И вы, мудрецы, наперсники богов, не знаете, как спасти людей от такого ветра?

Пентуэр задумался.

— Есть на свете только один мудрец, — ответил он, — который мог бы бороться со злыми духами. Но его здесь нет...

Тифон дул с неимоверной силой уже почти полчаса. Стало темно, как ночью. Когда же ветер ослабевал и черные клубы песку раздвигались, на небе появлялось кроваво-красное солнце, бросающее на землю зловещий ржавый свет. Но вскоре с новой силой поднимался знойный, удушливый вихрь; клубы пыли становились гуще, мертвенный свет угасал, а в воздухе раздавались беспокойные шелест и шумы, непривычные для человеческого слуха. До захода солнца было уже недалеко, а порывы ветра и зной все усиливались. Время от времени на горизонте появлялось гигантское кровавое пятно, словно вся земля была охвачена пожаром.

Вдруг Рамсес заметил, что Пентуэра нет подле него. Он напряг слух и услышал голос, восклицавший:

— Бероэс! Бероэс! Если не ты, то кто нам поможет? Бероэс... во имя

Единобо, всемогущего, которому нет начала и конца, — взываю к тебе!

В северной части пустыни раздался гром. Царевич вздрогнул. Для египтянина гром был таким же редким явлением, как комета.

— Бероэс! Бероэс! — громко продолжал зывать Пентуэр.

Наследник всмотрелся в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел темную человеческую фигуру с поднятыми руками. От головы, от пальцев, даже от одежды этой фигуры поминутно отделялись ярко-голубые искры...

— Бероэс! Бероэс!..

Продолжительный раскат грома послышался ближе, из-за туч песка сверкнула молния, озаряя пустыню багровым светом.

Снова раскат грома, и снова молния.

Рамсес почувствовал, что сила вихря ослабевает и зной уменьшается. Клубящийся в вышине песок стал оседать, небо сделалось пепельным, потом ржаво-коричневым, потом молочно-белым. Затем все стихло, а через минуту снова грянул гром и подул холодный, северный ветер.

Истомленные зноем азиаты и ливийцы очнулись.

— Воины фараона, — позвал вдруг старый ливиец, — вы слышите этот шум в пустыне?

— Опять ветер?

— Нет, это дождь.

Действительно, с неба упало несколько холодных капель, потом дождь усилился, и наконец полил ливень, сопровождаемый громом и молнией.

Солдат Рамсеса и их пленников охватила бурная радость. Не обращая внимания на молнии и гром, люди, которых за минуту перед тем сжигали зной и жажда, бегали, как дети, под струями дождя. В темноте мылись сами и мыли лошадей, подставляли под дождь шапки и кожаные мешки и все пили, пили...

— Не чудо ли это? — воскликнул Рамсес. — Если бы не благодатный дождь, мы погибли бы в пустыне в жарких объятиях тифона.

— Случается, — ответил старый ливиец, — что южный ветер дразнит ветры, гуляющие над морем и приносящие ливень.

Рамсеса неприятно задела эти слова: он приписывал ливень молитвам Пентуэра. Повернувшись к ливийцу, он спросил:

— А случается ли так, чтобы от человеческого тела исходили искры?

— Так всегда бывает, когда дует ветер пустыни, — отвечал ливиец, — вот и на этот раз искры исходили не только от людей, но даже от лошадей.

Голос его звучал так уверенно, что царевич, подойдя к офицеру своей конницы, шепнул ему:

— Посматривайте за ливийцами...

Не успел он это сказать, как что-то зашевелилось в темноте, и минуту спустя послышался топот. Когда асе молния озарила пустыню, египтяне увидели человека, удиравшего верхом на коне.

— Связать этих негодяев, — крикнул Рамсес, — и убить, если кто-нибудь из них будет сопротивляться! Горе тебе, Техенна, если этот негодяй приведет против нас твоих братьев. Ты погибнешь в тяжких мучениях! Ты и твои...

Несмотря на дождь, гром и темноту, воины Рамсеса быстро связали ливийцев, не оказывавших, впрочем, никакого сопротивления. Может быть, они ожидали приказа Техенны, но тот был так удручен, что не думал о бегстве.

Мало-помалу буря стала утихать, и дневной зной сменился пронизывающим холодом. Люди и лошади напились досыта, солдаты наполнили водой мехи. Фиников и сухарей было достаточно. Все успокоились. Раскаты грома умолкли. Тут и там показались звезды.

Пентуэр подошел к Рамсесу.

— Вернемся в лагерь, — сказал он, — мы сумеем дойти до него прежде, чем бежавший ливиец приведет сюда неприятеля.

— Как же мы найдем дорогу в такой темноте? — спросил царевич.

— Есть у вас факелы? — спросил жрец у азиатов.

Факелы — длинные жгуты из пакли, пропитанные горючими веществами, — нашлись у всех солдат, но не было огня.

— Придется подождать до утра, — проговорил раздраженно наследник.

Пентуэр не ответил. Он достал из своего мешка небольшой сосуд, взял у солдата факел и отошел в сторону. Минуту спустя послышалось тихое шипение, и факел... зажегся.

— Этот жрец — великий чернокнижник, — пробормотал старый ливиец.

— Ты совершил на моих глазах уже второе чудо, — сказал царевич Пентуэру. — Можешь мне объяснить, как это делается?

Жрец отрицательно покачал головой.

— Обо всем спрашивай меня, господин, — ответил он, — и я отвечу, насколько хватит моей мудрости, но никогда не требуй, чтобы я открывал тебе тайны наших храмов.

— Даже если я назначу тебя своим советником?

— Даже и тогда. Я никогда не буду предателем. А если б я и решил стать им, меня устрасит кара.

— Кара? — повторил наследник. — Ах да! Я помню человека в

подземелье храма Хатор, на которого жрецы выливали расплавленную смолу. Неужели они делали это на самом деле? И этот человек действительно умер в мучениях?

Пентуэр молчал, как будто не расслышав вопроса, и не спеша вынул из своего чудесного мешка небольшую статуэтку бога с простертыми в стороны руками. Она висела на бечевке. Жрец опустил ее и, шепча молитвы, стал наблюдать. Фигурка, несколько раз качнувшись в воздухе и покружившись на бечевке, повисла наконец спокойно.

Рамсес при свете факелов с удивлением смотрел на эти таинственные действия жреца.

— Что это ты делаешь? — спросил он его.

— Могу сказать только то, — ответил Пентуэр, — что этот бог показывает одной рукой на звезду Эсхмун^[118], по которой в ночное время находят путь финикийские корабли.

— Значит, у финикиян есть этот бог?

— Нет, они даже не знают о нем. Бог, показывающий одной рукой на звезду Эсхмун, известен только нам и жрецам Халдеи. С помощью этого божества каждый пророк днем и ночью, в погоду и непогоду может найти свой путь в море или в пустыне.

По приказу царевича, шедшего с зажженным факелом рядом с Пентуэром, конвой и пленники двинулись за жрецом на северо-восток. Висевший на бечевке божок раскачивался, но все же указывал протянутой рукой, где находится священная звезда, покровительница сбившихся с пути путешественников.

Шли пешком, быстрым шагом, ведя за собой лошадей. Был такой пронизывающий холод, что даже азиаты дышали на руки, а ливийцы дрожали.

Вдруг что-то стало хрустеть и трещать под ногами. Пентуэр остановился и нагнулся.

— В этом месте, — сказал он, — дождь образовал в твердой почве неглубокую лужу, и посмотри, что сделалось с водой.

С этими словами он поднял и показал царевичу что-то вроде стеклянной пластинки, которая таяла у него в руках.

— Когда очень холодно, — пояснил он, — вода превращается в прозрачный камень.

Азиаты подтвердили слова жреца, прибавив, что далеко на севере вода очень часто превращается в камень, а пар в белую соль, впрочем, безвкусную, которая только щиплет пальцы и вызывает боль в зубах.

Рамсес все больше изумлялся мудрости Пентуэра.

Тем временем с северной стороны небо прояснилось, открыв созвездие Медведицы и в нем звезду Эсхмун. Жрец опять прочитал молитву, спрятал в мешок путеводного божка и велел потушить факелы, оставив для сохранения огня тлеющую бечевку, которая, постепенно сгорая, отмечала время.

Царевич приказал своему отряду соблюдать осторожность и отошел с Пентуэром на несколько шагов вперед.

— Пентуэр, — сказал он ему, — я назначаю тебя своим советником, и на ближайшее время и на то, когда богам угодно будет отдать мне корону Верхнего и Нижнего Египта.

— Чем заслужил я эту милость?

— То, что ты совершил на моих глазах, свидетельствует о твоей великой мудрости и власти над духами. Кроме того, ты готов был спасти мою жизнь. Поэтому, хотя ты и решил скрывать от меня многое...

— Прости, государь, — перебил его Пентуэр, — предателей, когда они тебе будут нужны, ты найдешь за золото и драгоценности даже среди жрецов, но я не хочу принадлежать к их числу. Подумай только, изменяя богам, разве я не внушил бы тебе сомнений, что не поступлю так же и с тобой?

Рамсес задумался.

— Мудрые это слова, — ответил он, — но мне странно, почему ты, жрец, так расположен ко мне? Год назад ты благословил меня, а сегодня не позволил одному отправиться в пустыню и оказываешь мне большие услуги.

— Боги открыли мне, что ты, государь, можешь спасти несчастный египетский народ от нужды и унижения.

— А какое тебе дело до народа?

— Я сам из него вышел... Мой отец и братья целые дни черпали воду из Нила и терпели побои.

— Чем же я могу помочь народу?

Пентуэр оживился.

— Твой народ, — заговорил он с волнением, — слишком много работает, платит слишком большие налоги, живет в ну деде и притеснении... Тяжела крестьянская доля!..

«Червь пожрал одну половину его урожая, носорог — другую; в полях полно мышей, налетела саранча, скот потравил, воробьи выклевали, а что осталось еще на гумне, расхватили воры. О, жалкая доля земледельца! А тут еще причаливает к берегу писец и требует зерна, помощники его принесли с собой дубинки, а негры — пальмовые розги. Говорят: „Отдавай

хлеб!“ — „Нет хлеба!“ Тогда его бьют, разложив на земле, а потом вяжут и бросают вниз головой в канал, где он тонет. Жену его связывают у него на глазах и детей тоже. Соседи же разбегаются, спасая свой хлеб».

[\[119\]](#)

— Я сам это видел, — ответил задумчиво царевич, — и даже прогнал одного такого писца. Но разве я могу быть везде, чтобы предупредить несправедливость?

— Ты можешь, государь, приказать, чтобы не мучили людей без нужды. Ты можешь снизить налоги, предоставить крестьянам дни отдыха. Можешь наконец подарить каждой крестьянской семье хотя бы одну полоску земли, чтобы урожай с нее принадлежал только ей. Иначе и дальше люди буду питаться лотосом, папирусом и тухлой рыбой и в конце концов захиреют. Но если ты окажешь народу свою милость, он воспрянет.

— Я так и сделаю! — воскликнул царевич. — Хороший хозяин не допустит, чтобы его скотина умирала с голоду, работала через силу или получала незаслуженные побои. Это надо изменить.

Пентуэр остановился.

— Ты обещаешь мне, великий государь?

— Клянусь! — ответил Рамсес.

— Тогда и я клянусь тебе, что слава твоя будет громче славы Рамсеса Великого! — воскликнул жрец, уже не владея собой.

Рамсес задумался.

— Что можем мы сделать с тобой вдвоем против жрецов, которые меня ненавидят?..

— Они боятся тебя, господин, — ответил Пентуэр, — боятся, чтобы ты не начал прежде времени войну с Ассирией.

— А чем помешает им война, если она будет победоносна?

Жрец склонил голову и молчал.

— Так я тебе скажу! — вскричал в возбуждении царевич. — Они не хотят войны потому, что боятся, как бы я не вернулся победителем, с грузом сокровищ, гоня перед собой невольников. Они боятся этого, они хотят, чтобы фараон был беспомощным орудием в их руках, бесполезной вещью, которую можно отбросить, когда им вздумается. Но со мной им это не удастся. Я или сделаю то, что хочу, на что имею право, как сын и наследник богов, или погибну.

Пентуэр попятился и прошептал заклинание.

— Не говори так, государь, — сказал он смущенно, — дабы злые духи, кружащие над пустыней, не подхватили твоих слов... Слово — запомни, повелитель, — как камень, пущенный из пращи. Если попадет в стену, он

может отскочить и попасть в тебя самого...

Рамсес пренебрежительно махнул рукой.

— Все равно, — ответил он, — что стоит такая жизнь, когда каждый стесняет твою волю: если не боги, то ветры пустыни, если не злые духи, то жрецы... Такова ли должна быть власть фараонов?.. Нет, я буду делать то, что хочу, и отвечать только перед вечно живущими предками, а не перед этими бритыми лбами, которые будто бы знают волю богов, а на деле присваивают себе власть и наполняют свои сокровищницы моим добром.

Вдруг в нескольких десятках шагов от них послышался странный крик, напоминавший не то ржание, не то блеяние, и пробежала огромная тень. Она неслась как стрела, но можно было разглядеть длинную шею и туловище с горбом.

Среди конвоя наследника послышался ропот ужаса.

— Это гриф! Я ясно видел крылья, — сказал один из солдат.

— Пустыня кишит чудищами! — прибавил старый ливиец.

Рамсес растерялся; ему тоже показалось, что у пробежавшей тени была голова змеи и что-то вроде коротких крыльев.

— В самом деле, в пустыне появляются чудовища? — спросил он жреца.

— Несомненно, — ответил Пентуэр, — в таком безлюдном месте бродят недобрые духи, приняв вид самых необычайных тварей. Мне кажется, однако, что то, что пробежало мимо нас, скорее зверь. Он похож на оседланного коня, только крупнее и быстрее бежит. Жители оазисов говорят, что это животное может совсем обходиться без воды, или, во всяком случае, пить очень редко. Если это так, то будущие поколения воспользуются этим существом, сейчас возбуждающим только страх, для перехода через пустыни.

— Я бы не решился сесть на спину такого уroda, — ответил Рамсес, тряхнув головой.

— То же самое говорили наши предки о лошади, которая помогла гиксосам покорить Египет, а сейчас стала необходимой для нашей армии. Время сильно меняет суждения человека, — сказал Пентуэр.

На небе рассеялись последние тучи, и ночь прояснилась. Несмотря на отсутствие луны, было так светло, что на фоне белого песка можно было различить очертания предметов далее мелких или весьма отдаленных. Холод стал не таким пронизывающим. Некоторое время конвой шел молча, утопая по щиколотку в песках. Вдруг среди азиатов опять поднялось смятение и послышались возгласы:

— Сфинкс! Смотрите, сфинкс! Мы не выйдем живыми из пустыни,

когда все время перед нами являются призраки.

Действительно, на белом известковом холме очень ясно вырисовывался силуэт сфинкса. Длинное тело, огромная голова в египетском чепце и как будто человеческий профиль.

— Успокойтесь, варвары, — сказал старый ливиец, — это не сфинкс, а лев. Он ничего вам не сделает, потому что занят своей добычей.

— В самом деле, это лев, — сказал царевич, останавливаясь, — но до чего походе на сфинкса!

— Его черты напоминают человеческое лицо, а грива — парик, — заметил вполголоса жрец. — Это и есть отец наших сфинксов.

— И нашего великого сфинкса, того что у пирамид?

— За много веков до Менеса, — сказал Пентуэр, — когда еще не было пирамид, на этом месте стояла скала, смутно напоминавшая лежащего льва, как будто боги, хотели отметить таким образом, где начинается пустыня. Тогдашние святые жрецы велели ваятелям получше отделать скалу, а чего не хватало, дополнить искусственной кладкой. Ваятели же, чаще встречавшие людей, чем львов, высекли на камне человеческое лицо, и так родился первый сфинкс...

— Которому мы воздаем божеские почести, — усмехнулся царевич.

— И правильно, — ответил жрец, — ибо первоначальные очертания этому творению искусства дали боги, и они же вдохновили людей на завершение его. Наш сфинкс своим величием и таинственностью напоминает пустыню; он похож на духов, блуждающих там, и так же наводит страх на людей, как они. Поистине это — сын богов и отец страха...

— И в то же время все имеет земное начало, — сказал царевич. — Нил течет не с неба, а с каких-то гор, лежащих за Эфиопией. Пирамиды, про которые Херихор говорил мне, что это прообразы нашего государства, сложены наподобие горных вершин, да и наши храмы с их пилонами и обелисками, с их полумраком и прохладой разве не напоминают пещеры и скалы, которые тянутся вдоль Нила? Сколько раз, когда мне случалось во время охоты заблудиться среди восточных гор, мне попадались причудливые нагромождения скал, напоминавшие храмы. Нередко на их шершавых стенах я видел иероглифы, высеченные ветром и дождем.

— Это доказывает, ваше высочество, что наши храмы воздвигались согласно плану, начертанному самими богами, — заметил жрец. — И как из маленькой косточки, брошенной в землю, вырастает высокая пальма, так образ скалы, пещеры, льва, даже лотоса, запав в душу благочестивого фараона, находит затем свое воплощение в аллее сфинксов, сумрачных

храмах и их мощных колоннах. Это — творения богов, а не человека, и счастлив повелитель, который, озираясь вокруг, способен в земных предметах открыть мысль богов и наглядно представить ее грядущим поколениям.

— Но такой повелитель должен обладать властью и большими богатствами, — печально произнес Рамсес, — а не зависеть от того, что привидится жрецам.

Перед ними тянулась песчаная возвышенность, на которой в этот самый момент показалось несколько всадников.

— Наши или ливийцы? — спросил наследник.

С возвышенности послышался звук рожка, на который ответили спутники Рамсеса. Всадники быстро, насколько позволял глубокий песок, спустились вниз. Подъехав ближе, один из них крикнул:

— Наследник престола с вами?

— Здесь, здоров и невредим! — ответил Рамсес.

Всадники соскочили с коней и пали ниц.

— О, эрпатор, — сказал начальник отряда, — твои солдаты рвут на себе одежды и посыпают пеплом головы, думая, что ты погиб. Вся конница рассеялась по пустыне, чтобы разыскать твои следы, и только нас боги удостоили первыми приветствовать тебя.

Рамсес назначил начальника сотником и отдал приказ на следующий же день представить к награде его подчиненных.

Полчаса спустя показались огни лагеря, и вскоре отряд царевича прибыл туда. Со всех сторон рога затрубили тревогу, солдаты схватились за оружие и с громкими кликами стали строиться в шеренги. Офицеры припадали к ногам наследника и, как накануне после победы, подняв его на руках, стали обходить с ним полки. Стены ущелья дрожали от возгласов: «Живи вечно, победитель! Боги хранят тебя!»

Окруженный факелами, подошел жрец Ментесуфис. Наследник, увидев его, вырвался из рук офицеров и побежал навстречу жрецу.

— Знаешь, святой отец, мы поймали ливийского предводителя Техенну!

— Жалкая добыча, — сурово ответил жрец, — ради которой главнокомандующий не должен был покидать армию... особенно тогда, когда каждую минуту мог подойти новый враг...

Рамсес почувствовал всю справедливость упрека, но именно потому в душе его вспыхнуло негодование.

Он сжал кулаки, глаза его заблестели.

— Именем твоей матери заклинаю тебя, государь, молчи, — прошептал стоявший за ним Пентуэр.

Наследника так удивили неожиданные слова его советника, что он мгновенно остыл и, придя в себя, понял, что благоразумнее всего признать свою ошибку.

— Правда твоя, святой отец. Армия вождя, а вождь армию, никогда не должны покидать друг друга. Но я полагал, что ты заменишь меня, святой муж, как представитель военной коллегии.

Спокойный ответ смягчил Ментесуфиса, и жрец на этот раз не стал напоминать царевичу прошлогодних маневров, когда он таким же образом покинул войско, чем навлек на себя немилость фараона.

Вдруг с громким криком подошел к ним Патрокл. Греческий полководец опять был пьян и уже издали зывал к царевичу:

— Смотри, наследник, что сделал святой Ментесуфис! Ты объявил пощаду всем ливийским солдатам, которые уйдут от врага и вернутся в армию его святейшества. Многие перебежали ко мне, и благодаря им я разбил левый фланг неприятеля... А достойнейший Ментесуфис приказал всех перебить... Погибло около тысячи пленников, все наши бывшие солдаты, которые должны были быть помилованы.

Царевич вспыхнул, но Пентуэр опять прошептал:

— Молчи! Молю тебя, молчи!

Но у Патрокла не было советника, и он продолжал кричать:

— Теперь мы навсегда потеряли доверие не только чужих, но, пожалуй, и своих. Как бы наша армия не разбежалась, узнав, что ею командуют предатели!

— Презренный наемник! — ответил ледяным тоном Ментесуфис. — Как ты смеешь говорить так об армии и доверенных его святейшества? С тех пор как стоит мир, никто не слышал такого кощунства! Смотри, как бы боги не отомстили тебе за оскорбление.

Патрокл грубо захохотал.

— Пока я сплю среди греков, мне не страшны боги тьмы, а когда бодрствую, то сумею защититься и от дневных богов.

— Ступай проспись! Ступай к своим грекам, пьяница, — крикнул Ментесуфис, — чтобы из-за тебя не обрушился гром на наши головы!

— На твой, скряга, бритый лоб не упадет — подумает, что это нечто другое, — ответил пьяный грек, но, видя, что наследник не оказывает ему поддержки, вернулся к себе в лагерь.

— Верно ли, — спросил Рамсес жреца, — что ты приказал, святой муж, перебить пленников, тогда как я обещал помиловать их?

— Тебя не было в лагере, — ответил Ментесуфис, — и ответственность за это не падет на тебя. Я же соблюдаю наши военные законы, которые повелевают истреблять солдат-предателей. Солдаты, служившие царю и перешедшие на сторону врага, должны быть немедленно уничтожены. Таков закон.

— А если б я был здесь, на месте?

— Как главнокомандующий и сын фараона, ты можешь приостановить действие некоторых законов, которым я должен повиноваться, — ответил Ментесуфис.

— И ты не мог подождать моего возвращения?

— Закон повелевает убивать немедленно. Я исполнил его требование.

Царевич был до того ошеломлен, что прервал дальнейший разговор и направился к своему шатру.

Здесь, упав в кресло, он сказал Тутмосу:

— Итак, я уже сейчас раб жрецов. Они убивают пленных, грозят моим офицерам, они даже не уважают моих обязательств... Как вы позволили Ментесуфису казнить этих несчастных?

— Он ссылался на законы военного времени и на новые приказы Херихора.

— Но ведь я здесь главнокомандующий, хотя и отлучился на полдня.

— Однако ты заявил, что передаешь командование мне и Патроклу, — возразил Тутмос. — А когда подъехал святой Ментесуфис, мы должны были уступить ему свои права, как старшему...

Наследник подумал, что поимка Техенны досталась ему дорогой ценой, и в то же время со всей силой почувствовал значение закона, запрещающего полководцу покидать свою армию. Он должен был признаться самому себе, что не прав, что еще больше уязвляло его самолюбие и вызывало ненависть к жрецам.

— Итак, я попал в плен, прежде чем стал фараоном — да живет вечно мой святейший отец! Значит, надо уже сейчас начинать выпутываться из этого положения, а главное, молчать... Пентуэр прав: молчать, всегда молчать, и, как драгоценное сокровище, скрывать в душе свой гнев... А когда он накопится... О пророки, когда-нибудь вы мне заплатите!..

— Что же ты, государь, не спрашиваешь про итоги сражения? — обратился Тутмос к Рамсесу.

— Да, да, я слушаю.

— Больше двух тысяч пленников, больше трех тысяч убитых, а бежало всего несколько сотен.

— А как велика была ливийская армия? — спросил с удивлением царевич.

— Шесть-семь тысяч.

— Быть не может! Неужели в такой стычке погибла вся армия?

— Невероятно, и все же это так. Это была страшная битва, — ответил Тутмос, — ты их окружил со всех сторон. Остальное сделали солдаты, ну... и Ментесуфис. О таком поражении врагов Египта нет сведений ни на одном из памятников самых знаменитых фараонов.

— Ну, ложись спать, Тутмос. Я устал, — перебил царевич, чувствуя, что у него от гордости начинает кружиться голова.

Он бросился на шкуры, но, несмотря на смертельную усталость, долго не мог заснуть.

«Так это я одержал такую победу!.. Не может быть!..» — думал он.

С момента, когда он дал знак к началу боя, прошло всего четырнадцать часов!.. Только четырнадцать часов!.. Не может быть!..

И он выиграл такое сражение! Но ему даже не пришлось видеть самого боя. Он помнит только густой желтый туман, откуда захлестывали его вопли нечеловеческих криков. Он и сейчас видит эту непроницаемую тьму, слышит неистовый гул, чувствует палящий зной... хотя битва уже окончена...

Потом ему снова представилась пустыня, по которой он с таким трудом передвигался, утопая в песке... У него и конвоя были лошади, лучшие в армии, но и они брели черепашью шагом. А жара! Неужели человек может вынести такое пекло...

И вот налетел тифон!.. Он заслонил солнце, жжет, жалит, душит... От Пентуэра летят бледные искры!.. Над их головами грохочут раскаты грома — он слышит их первый раз в жизни. А потом безмолвная ночь в пустыне... Бегущий гриф... на меловом пригорке темный силуэт сфинкса...

«Столько видеть, столько пережить, — думал Рамсес. — Я даже был при постройке наших храмов и рождении сфинкса, вечного сфинкса. И все это за каких-нибудь четырнадцать часов!»

В голове его пронеслась еще одна — последняя — мысль: «Человек, так много переживший, не может долго жить!» Холодная дрожь пробежала по его телу — и он уснул.

На следующий день Рамсес проснулся поздно. У него болели глаза, ломило все кости, мучил кашель, но мысль его была ясна и сердце полно отваги.

У входа в шатер стоял Тутмос.

— Ну, что? — спросил Рамсес.

— Лазутчики с ливийской границы сообщают странные вещи, — ответил Тутмос. — К нашему ущелью приближается огромная толпа, но это не армия, а безоружные женщины и дети, и во главе их Муссаваса и знатнейшие ливийцы.

— Что бы это могло значить.

— Очевидно, хотят просить мира.

— После первой же битвы? — удивился царевич.

— Но какой! К тому же страх умножил в их глазах нашу армию. Они чувствуют себя слабыми и боятся нашего нападения.

— Посмотрим, не военная ли это хитрость, — ответил Рамсес, подумав. — Ну, а как наши?

— Здоровы, сыты и веселы... Только...

— Только — что?

— Ночью скончался Патрокл, — прошептал Тутмос.

— Умер? От чего? — вскрикнул царевич, вскакивая с ложа.

— Одни говорят, что слишком много выпил, другие — что это кара богов. Лицо у него синее, на губах пена...

— Как у невольника в Атрибе, помнишь? Его звали Бакура. Он вбежал в зал с жалобой на номарха. И, разумеется, умер в ту же ночь, потому что

выпил лишнее. Не так ли?

Тутмос кивнул.

— Нам надо быть очень осторожными, господин мой, — сказал он шепотом.

— Постараемся, — ответил наследник спокойно. — Я не стану и удивляться смерти Патрокла: что в этом особенного? Умер какой-то пьяница, оскорблявший богов и... даже жрецов...

Тутмос почувствовал в этих насмешливых словах угрозу. Царевич очень любил верного, как пес, Патрокла. Он мог забыть многие обиды, но смерти своего военачальника простить не мог.

Незадолго до полудня в лагерь царевича прибыл из Египта новый полк — фиванский, и, кроме того, несколько тысяч человек и несколько сотен ослов доставили большие запасы продовольствия и палатки. Одновременно со стороны Ливии прибежали лазутчики с донесениями, что толпа безоружных людей, направляющихся к ущелью, все возрастает.

По приказу наследника многочисленные конные разъезды во всех направлениях обследовали окрестности, чтобы узнать, не прячется ли где-нибудь неприятельская армия. Даже жрецы, захватив с собой небольшую переносную часовенку Амона, поднялись на вершину самого высокого холма и, дабы бог открыл их взорам окрестности, совершили там богослужение.

Вернувшись в лагерь, они доложили наследнику, что приближается многочисленная толпа безоружных ливийцев, но армии нигде не видно, по крайней мере на расстоянии трех миль вокруг.

Царевич рассмеялся над этим докладом.

— У меня хорошее зрение, — сказал он, — но на таком расстоянии и я не увидел бы солдат.

Жрецы, посоветовавшись между собой, заявили царевичу, что если он даст обещание не разглашать тайны среди непосвященных, то увидит так же далеко.

Рамсес поклялся. Тогда жрецы водрузили на одном из холмов алтарь Амона и начали свои моления. Когда же царевич, омывшись и сняв сандалии, принес в жертву богу золотую цепь и кадила, они впустили его в тесный, совершенно темный ящик и велели смотреть на стену. Вслед за тем раздалось молитвенное пение, и на внутренней стене ящика появился светлый кружок. Вскоре светлый фон помутнел, и Рамсес увидел песчаную равнину, скалы и среди них — сторожевые посты азиатов.

Жрецы стали петь еще вдохновеннее, и картина изменилась. Появилась другая часть пустыни, а на ней маленькие, как муравьи, люди.

Несмотря на крошечные размеры, движения, одежда, даже лица были видны так ясно, что Рамсес мог бы их описать.

Изумлению наследника не было границ. Он протирает глаза, прикасается к движущемуся изображению... Наконец он отвернулся, картина исчезла, и стало темно.

Когда он вышел из часовни, старший жрец спросил его:

— Ну как, царевич, теперь ты веришь в могущество египетских богов?

— Действительно, вы такие великие мудрецы, что весь мир должен воздавать вам почести и приносить жертвы. Если вам так же открыто будущее, то ничто не устоит перед вами.

В ответ на это один из жрецов вошел в часовню, стал молиться, и вскоре оттуда донесся голос, возвещавший:

— Рамсес, судьбы государства взвешены, и прежде чем наступит новое полнолуние, ты станешь владыкой Египта.

— О боги! — воскликнул в ужасе царевич. — Неужели отец мой так болен?

Он упал лицом в песок. Один из совершавших службу жрецов спросил его, не хочет ли он узнать еще что-нибудь.

— Поведай, отец Амон, исполнятся ли мои намерения?

Через минуту голос из часовни ответил:

— Если ты не начнешь войны с Востоком, будешь приносить жертвы богам и чтить его слуг, тебя ожидает долголетняя жизнь и царствование, исполненное славы.

После этих чудес, происшедших среди бела дня в открытом поле, царевич, взволнованный, вернулся к себе в шатер.

«Ничто не в силах противостоять жрецам», — думал он со страхом.

В шатре он застал Пентуэра.

— Скажи мне, мой советник, — обратился он к нему, — умеете ли вы, жрецы, читать в человеческих сердцах и угадывать их тайные намерения?

Пентуэр отрицательно покачал головой.

— Скорее, — ответил он, — человек увидит, что скрыто внутри скалы, чем узнает чужое сердце. В него не проникнуть даже богам. И только смерть открывает мысли человека.

Рамсес вздохнул с облегчением, но не мог совсем освободиться от тревоги. Когда к вечеру надо было созвать военный совет, он пригласил на него Ментесуфиса и Пентуэра.

Никто не упоминал о скоростижной смерти Патрокла, — может быть, потому, что были дела поважнее. Прибыли ливийские послы и молили от имени Муссавасы пощадить его сына Техенну, предлагая

подчиниться Египту и обеспечить вечный мир.

— Дурные люди, — заявлял один из послов, — обманули наш народ, уверяя, что Египет слаб, а его фараон — лишь тень повелителя. Но вчера мы убедились, как сильна ваша рука, и считаем более благоразумным подчиниться вам и платить дань, чем обрекать наших людей на верную смерть, а имущество на уничтожение.

Когда военный совет выслушал эту речь, ливийцам велели выйти из шатра, и царевич Рамсес прямо спросил мнение святого Ментесуфиса, что даже удивило военачальников.

— Еще вчера, — заявил достойный пророк, — я советовал бы отвергнуть просьбу Муссавасы, перенести войну в Ливию и уничтожить гнездо разбойников. Но сегодня я получил столь важное известие из Мемфиса, что подам свой голос за милость побежденным.

— Мой святейший отец болен? — спросил с волнением Рамсес.

— Да, но пока мы не покончим с ливийцами, ты, государь, не должен об этом думать.

Когда же наследник печально опустил голову, Ментесуфис прибавил:

— Я должен выполнить еще один долг... Вчера, досточтимый царевич, я осмелился сделать тебе замечание, что ради такой ничтожной добычи, как Техенна, главнокомандующий не имел права покидать армию. Сегодня я вижу, что ошибался. Если бы ты, государь, не захватил Техенну, мы не добились бы так быстро мира с Муссавасой... Твоя мудрость, главнокомандующий, оказалась выше законов войны.

Рамсеса удивило раскаяние Ментесуфиса.

«Что это он так заговорил? — подумал царевич. — По-видимому, не только Амон знает, что мой святейший отец болен».

И в душе наследника снова проснулись старые чувства: презрение к жрецам и недоверие к чудесам, которые они совершают.

«Значит, не боги предсказали мне, что я скоро стану фараоном, а пришло известие из Мемфиса, и жрецы обманули меня в часовне. А если они солгали в одном, то кто поручится, что и эти картины в пустыне, которые они показывали на стене, не были тоже обманом?»

Так как наследник все время молчал, что приписывали его скорби по поводу болезни фараона, а военачальники после слов Ментесуфиса тоже не решались говорить, то военный совет закончился. Было принято единодушное решение получить с ливийцев возможно большую дань, послать к ним египетский гарнизон и прекратить войну.

Теперь уже всем было ясно, что фараон умирает. Египет же для того, чтобы устроить своему повелителю достойные похороны, нуждался в

полном мире и спокойствии.

Выйдя из шатра, где происходил военный совет, Рамсес спросил Ментесуфиса:

— Этой ночью угас храбрый Патрокл. Предполагаете ли вы, святые мужи, почтить его тело?

— Это был варвар и великий грешник, — ответил жрец, — но он оказал столь большие услуги Египту, что надо позаботиться о его загробной жизни. С твоего разрешения мы сегодня же отправим тело этого мужа в Мемфис, чтобы сделать из него мумию и отвезти в Фивы на вечное пребывание среди царских гробниц.

Рамсес охотно согласился, но подозрения его усилились.

«Вчера, — подумал он, — Ментесуфис бранил меня, как ленивого ученика, и слава богам, что еще не избил палкой. А сегодня говорит со мной, как послушный сын с отцом, и чуть не падает ниц. Не значит ли это, что к шатру моему приближается власть и час отмщения?»

Рассуждая таким образом, царевич преисполнялся гордости, и в сердце его нарастала ярость против жрецов. Ярость тем более страшная, что она была неслышна, как скорпион, который, скрывшись в песке, ранит ядовитым жалом неосторожную ногу.

Ночью караулы сообщили, что толпа молящих о милости ливийцев уже вступила в ущелье.

Действительно, над пустыней видно было зарево их костров. С восходом солнца зазвучали трубы, и вся египетская армия в полном вооружении расположилась в самом широком месте долины. Согласно приказу наследника, который хотел еще больше запугать ливийцев, между шеренгами солдат были расставлены носильщики, а среди конницы разместили погонщиков верхом на ослах. Таким образом, казалось, что египтян было подобно песку в пустыне, и ливийцы трепетали, как голуби, над которыми кружит ястреб.

В девять часов утра к шатру царевича подъехала его золоченая боевая колесница. Лошади, украшенные страусовыми перьями, рвались вперед так, что каждую приходилось держать двум конюхам.

Рамсес вышел из шатра, сел в колесницу и сам взял в руки поводья, место же возницы занял рядом с ним жрец-советник Пентуэр. Один из приближенных раскрыл над Рамсесом огромный зеленый зонт, сзади же и по обеим сторонам колесницы шли греческие офицеры в позолоченных доспехах. За свитой наследника в некотором отдалении шествовал небольшой отряд гвардии, окружавший Техенну, сына ливийского вождя Муссавасы.

Неподалеку от египтян, у выхода из главкского ущелья, стояла печальная толпа ливийцев, моливших победителей о пощаде.

Когда Рамсес выехал со своей свитой на возвышенность, где должен был принять вражеское посольство, армия приветствовала его такими громкими кликами, что хитрый Муссаваса еще больше огорчился и шепнул ливийским старейшинам:

— Говорю вам, так кричат только солдаты, которые боготворят своего вождя.

Один из наиболее беспокойных ливийских князей, прославившийся своими разбоями, ответил, обращаясь к Муссавасе:

— А не думаешь ли ты, что мы поступим благоразумнее, доверившись быстроте наших коней, чем милости фараонова сына? Это, по-видимому, свирепый лев, который, даже глядя лапой, сдирает когтями шкуру, а мы словно ягнята, оторванные от сосцов матери.

— Поступай, как хочешь, — ответил Муссаваса, — вся пустыня перед

тобою. Меня же народ послал искупить наши грехи, а главное — у них мой сын Техенна, на котором наследник фараона выместит свой гнев, если я не вымолю у него прощения.

К толпе ливийцев прискакали галопом два азиатских конника и сообщили, что повелитель ждет от них выражения покорности.

Муссаваса горько вздохнул и направился к холму, на котором стоял повелитель. Никогда еще не совершал он столь тяжкого путешествия! Грубый холст покаянного рубища плохо защищал его спину, голову, посыпанную пеплом, томил солнечный зной, щебень колол босые ноги, а на сердце лежал гнет скорби — своей и побежденного народа. Он прошел всего несколько сот шагов, но то и дело останавливался, чтобы передохнуть, и оглядывался назад, не крадут ли нагие невольники, несущие подарки для царевича, золотых перстней или драгоценных камней.

Муссаваса, как человек, умудренный жизненным опытом, знал, что люди охотно пользуются чужой бедой.

«Благодарение богам, — утешал себя в своем несчастье хитрый варвар, — что мне выпал жребий смириться перед царевичем, который со дня на день должен возложить на себя корону фараонов. Владыки Египта великодушны, особенно в час победы. И если мне удастся тронуть сердце властелина, он укрепит мою власть в Ливии и даст мне возможность собирать большие подати. Какое счастье, что сам наследник престола захватил Техенну; он не только не причинит ему зла, но еще осыплет почестями».

Так размышлял он, не переставая озиаться назад: невольник, хотя и голый, может спрятать украденный камень во рту, а то и проглотить.

В тридцати шагах от колесницы наследника Муссаваса и сопровождавшие его знатные ливийцы пали на живот и лежали на песке, пока адъютант царевича не велел им встать. Пройдя еще несколько шагов, они снова пали и делали так трижды. И каждый раз Рамсесу приходилось приказывать им, чтобы они встали.

Тем временем Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, шептал своему господину:

— Пусть на лице твоём не прочтут они ни жестокости, ни радости. Лучше будь спокоен, как бог Амон, который презирает своих врагов и не тешится легкими победами.

Наконец кающиеся ливийцы предстали перед наследником, смотревшим на них с золоченой колесницы, как гиппопотам на утят, которые не знают, куда спрятаться от его страшной силы.

— Это ты, — произнес Рамсес, — это ты, Муссаваса, мудрый вождь

ливийцев?

— Это я — твой слуга, — ответил тот и снова пал на землю.

Когда ему было велено встать, царевич продолжал:

— Как мог ты решиться на столь тяжкий грех — поднять руку на землю богов? Неужели тебя покинуло прежнее благоразумие?

— Государь, — ответил лукавый ливиец, — обида помутила разум изгнанных солдат фараона, и они устремились навстречу своей гибели, увлекая за собой меня и моих соплеменников. И ведают боги, сколь долго тянулась бы эта война, если бы во главе армии вечно живущего фараона не стал бы ты сам Амон в твоём образе. Как ветер пустыни, налетел ты, когда тебя не ждали, туда, где тебя не ждали, и как бык ломает тростник, так ты сокрушил ослепленного врага. После этого все наши племена поняли, что даже страшные ливийские полки лишь тогда чего-нибудь стоят, когда ими управляет твоя рука.

— Умно говоришь ты, Муссаваса, — сказал наследник, — а еще лучше поступил ты, выйдя навстречу армии божественного фараона, не ожидая, пока она придет к вам. Мне хотелось бы, однако, узнать, насколько искренна ваша покорность.

— «Проясни лик свой, великий повелитель Египта, — ответил на это Муссаваса. — Мы явились к тебе как данники, дабы имя твое стало великим в Ливии и дабы ты был и нашим солнцем, как стал им для девяти народов. Прикажи лишь твоим подданным, чтобы они были справедливы к покоренному и присоединенному к твоей державе народу. Пусть твои начальники правят нами честно и справедливо, а не по злой своей воле, сообщая тебе ложные сведения, вызывающие немилость против нас и детей наших. Прикажи им, наместник благостного фараона, чтобы они правили нами по твоей воле, щадя свободу, имущество, язык и обычаи отцов и предков наших. Пусть законы твои будут равны для всех подвластных тебе народов, пусть чиновники не потворствуют одним и не будут слишком жестоки к другим. Пусть приговоры их будут для всех одинаковы. Пусть они собирают дань, предназначенную для твоих нужд и в твою пользу, и не взимают с нас другой, тайной от тебя, такой, которая не поступит в твою сокровищницу, а обогатит лишь твоих слуг и слуг твоих слуг. Прикажи править нами без ущерба для нас и для детей наших, ибо ты ведь бог наш и владыка во веки веков. Бери пример с солнца, которое для всех расточает лучи свои, дающие силу и жизнь. Мы молим тебя о твоей милости, мы — ливийские подданные, и падаем челом перед тобой, наследник великого и могущественного фараона»^[120].

Так говорил хитроумный князь ливийский Муссаваса и, окончив,

снова пал животом на землю. У наследника же престола, когда он слушал эти мудрые слова, сверкали глаза и раздувались ноздри, как у молодого жеребца, когда тот после сытной кормежки выбегает на луг, где пасутся кобылы.

— Встань, Муссаваса, — сказал царевич, — и послушай, что я тебе скажу: судьба твоя и твоих народов зависит не от меня, а от всемилостивейшего фараона, который возвышается над всеми нами, как небо над землей. Советую тебе поэтому, чтобы ты и ливийские старейшины отправились отсюда в Мемфис и там, павши ниц перед владыкой и богом этого мира, повторили смиренную речь, которую я здесь выслушал. Я не знаю, каков будет успех. Но так как боги никогда не отвращают лика своего от покаявшихся и молящих, то я полагаю, что вы будете хорошо приняты. А теперь покажите мне дары, предназначенные для его святейшества фараона, дабы я мог судить, тронут ли они сердце всемогущего владыки.

В это время Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, увидел, что Ментесуфис делает ему знаки. Когда он спустился и подошел к святому мужу, Ментесуфис сказал ему шепотом:

— Я боюсь, чтобы такая победа не вскружила голову нашему молодому господину. Не думаешь ли ты, что было бы благоразумнее прервать как-нибудь это торжество?

— Напротив, — ответил Пентуэр, — не прерывай торжества. А я ручаюсь, что лицо наследника не будет радостным.

— Ты совершишь чудо?

— Как мог бы я? Я покажу ему только, что в этом мире великой радости сопутствует великая скорбь.

— Поступай как знаешь, — ответил Ментесуфис, — боги одарили тебя мудростью, достойной члена верховной коллегии.

Раздались звуки труб и барабанов, и началось триумфальное шествие.

Впереди под охраной знатных ливийцев шли обнаженные невольники с дарами. Они несли золотые и серебряные статуи богов, шкатулки, наполненные благовониями, украшенные эмалью сосуды, ткани, утварь, наконец золотые чаши, полные рубинов, сапфиров, изумрудов. У несших дары невольников головы были обриты, а рты завязаны, чтобы кто-нибудь из них не проглотил драгоценного камня.

Рамсес, стоя на колеснице и опираясь руками на ее края, с высоты холма смотрел на ливийцев и на свою армию, как желтоголовый орел на рябых куропаток. Он был преисполнен гордости, и все чувствовали, что нет могущественнее этого победителя.

Но вдруг глаза царевича утратили свой блеск, а на лице изобразилось

неприятное изумление. Это стоявший за его спиной Пентуэр шепнул ему:

— Склони ко мне, господин, ухо твое. С тех пор как ты покинул город Бубаст, там произошли странные события: твоя женщина, финикиянка Кама, сбежала с греком Ликоном.

— С Ликоном?

— Не шевелись, государь, и не показывай тысячам твоих рабов, что ты печален в день своего торжества.

У ног царевича проходили побежденные ливийцы, несшие в корзинах плоды и хлеба и в огромных кувшинах вино и масло для солдат. При этом зрелище по рядам солдат пронесся радостный шепот, но Рамсес ничего не замечал, поглощенный рассказом Пентуэра.

— Боги, — шептал пророк, — покарали изменницу-финикиянку...

— Она поймана? — спросил Рамсес.

— Поймана, но ее пришлось отправить в восточные колонии... Ее поразила проказа...

— О боги! — прошептал Рамсес. — Не угрожает ли она и мне?

— Будь спокоен, господин, если ты заразился, она бы уже постигла тебя.

Царевич почувствовал холод во всем теле.

Как легко богам с величайших вершин столкнуть человека в бездну глубочайшего горя!

— А негодяй Ликон?

— Это великий преступник, — ответил Пентуэр, — преступник, каких немного породила земля.

— Я его знаю: он походе на меня, как мое отражение, — ответил Рамсес.

Теперь приближалась группа ливийцев, ведущих диковинных животных. Впереди шел одnogорбый верблюд, обросший белесоватой шерстью, один из первых пойманных в пустыне. За ним два носорога, табун лошадей и прирученный лев в клетке. А дальше множество клеток с разноцветными птицами, обезьянами и собачонками, предназначенными для придворных дам. В самом конце гнали большие стада быков и баранов — довольствие для солдат.

Наследник лишь мельком взглянул на этот зверинец и спросил жреца:

— А Ликон пойман?

— Теперь я скажу тебе самое худшее, несчастный государь, — шептал Пентуэр, — но помни, чтобы враги Египта не заметили на твоём лице печали...

Наследник встrepенулcя.

- Твоя вторая женщина, еврейка Сарра...
- Тоже сбежала?
- Умерла в темнице.
- О боги! Кто посмел ее бросить туда?
- Она сама обвинила себя в убийстве твоего сына...
- Что?!

Громкие возгласы раздались у ног царевича: это шли ливийские пленники, взятые во время сражения, и во главе их печальный Техенна.

Сердце Рамсеса в эту минуту было так переполнено страданием, что он позвал Техенну и сказал ему:

— Подойди к отцу твоему Муссавасе. Пусть он прикоснется к тебе и удостоверится, что ты жив.

Эти слова были встречены мощным криком восторга всех ливийцев и всех солдат египетской армии. Но царевич не слышал его.

— Мой сын умер? — спросил он жреца. — Сарра обвинила себя в детоубийстве? Неужели безумие обуяло ее душу?

— Ребенка убил негодяй Ликон...

— О боги, пошлите мне силы!.. — простонал Рамсес.

— Крепись, государь, как подобает победоносному вождю.

— Разве можно победить такую скорбь? О бессердечные боги!

— Ребенка убил Ликон. Увидев убийцу в темноте, Сарра подумала, что это ты, и, чтобы тебя спасти, взяла вину на себя...

— А я прогнал ее из моего дома! А я сделал ее прислужницей финикиянки... — шептал Рамсес.

Наконец появились египетские солдаты, неся полные корзины рук, отрезанных у павших ливийцев.

При виде их царевич закрыл лицо и горько заплакал.

Военачальники тотчас же окружили колесницу и стали утешать своего полководца, а жрец Ментесуфис предложил, чтобы с этих пор египетские воины никогда не отрезали рук у павших на поле брани врагов.

Таким неожиданным образом закончилась первая победа наследника египетского престола, но слезы, пролитые им, сильнее, чем победоносная битва, покорили ливийцев. И никто не удивился, когда, мирно усевшись вокруг костров, ливийские и египетские солдаты стали делить между собою хлеб и пить из одной чаши. Вражда и ненависть, которые могли длиться целые годы, уступили место глубокому чувству мира и взаимного доверия.

Рамсес распорядился, чтобы Муссаваса, Техенна и знатные ливийцы немедленно отправились с дарами в Мемфис, и дал им конвой не столько

для надзора за ними, сколько для охраны их самих и принесенных ими подарков. Сам же ушел в свой шатер и не показывался несколько часов. Он не принял даже Тутмоса, как человек, которому скорбь заменила самого близкого друга.

Под вечер к нему явилась депутация греческих офицеров во главе с Калиппом. Когда наследник спросил, чего они хотят, Калипп ответил:

— Мы явились молить тебя, господин, чтобы тело нашего вождя и твоего слуги Патрокла не было отдано египетским жрецам, а сожжено по греческому обычаю.

Царевич удивился:

— Вам, вероятно, известно, что из трупа Патрокла жрецы хотят сделать священную мумию и поместить ее среди гробниц фараонов. Разве может человек заслужить большую честь в этом мире?

Греки молчали в нерешительности. Наконец Калипп, собравшись с духом, ответил:

— Господин наш, дозвожь открыть перед тобой сердце. Мы хорошо знаем, что превращение в мумию для человека лучше, чем сожжение, ибо, в то время как душа сожженного тотчас же переносится в страну вечности, душа забальзамированного может тысячу лет жить в этом мире и наслаждаться его красотами. Но египетские жрецы, о вождь, — да не оскорбит это ушей твоих! — ненавидели Патрокла. Кто же может поручиться нам, что жрецы, сохраняя мумию, не для того задерживают его душу на земле, чтобы подвергнуть ее терзаниям? И чего бы стоили мы, если бы, подозревая месть, не сберегли от нее душу нашего соотечественника и предводителя?

Удивление Рамсеса возросло еще больше.

— Поступайте, — сказал он, — как считаете нужным.

— А если они не отдадут нам тела?

— Приготовьте только костер, остальное беру на себя.

Греки ушли. Рамсес послал за Ментесуфисом.

Жрец искоса посмотрел на наследника и нашел его очень осунувшимся и бледным. Глаза его глубоко ввалились и утратили свой блеск.

Услыхав, чего хотят греки, Ментесуфис сразу согласился выдать тело Патрокла.

— Греки правы, — заявил жрец. — Мы могли бы причинять страдания тени Патрокла после его смерти. Но глупо предполагать, что какой-нибудь египетский или халдейский жрец способен совершить подобное преступление. Пусть берут тело своего земляка, если думают, что под защитой их обычаев он будет счастливее после смерти.

Царевич тотчас же послал офицера с соответствующим приказом, Ментесуфиса же задержал у себя. Очевидно, он хотел ему что-то сказать, но не решался.

После длительной паузы он вдруг спросил жреца:

— Тебе, наверно, известно, святой пророк, что одна из моих женщин, Сарра, умерла, а ее сын убит?

— Это случилось, — ответил Ментесуфис, — как раз в ту ночь, когда мы покинули Бубаст.

Царевич вскочил.

— О праведный Амон! — вскричал он. — Это случилось так давно, а вы мне ничего не сказали! Даже о том, что я подозревался в убийстве своего ребенка.

— Господин, — сказал жрец, — у главнокомандующего накануне сражения нет ни отца, ни ребенка — никого: есть только его армия и неприятель. Разве могли мы в столь важную минуту беспокоить тебя подобными сообщениями?

— Это верно, — ответил Рамсес, подумав. — Если б сейчас нас захватили врасплох, я не знаю, смог ли бы я правильно вести защиту. И вообще не знаю, смогу ли когда-либо снова обрести покой... Такая крошка, такое красивое дитя!.. И эта женщина, которая пожертвовала собой ради меня, хотя я так жестоко обидел ее!.. Никогда я не думал, что бывают такие несчастья и что человеческое сердце может перенести их.

— Время все исцеляет... Время и молитвы, — прошептал жрец.

Царевич покачал головой, и снова в шатре воцарилась такая тишина, что слышно было, как песок пересыпается в песочных часах.

— Скажи мне, святой отец, — сказал наконец наследник, — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Я хотя и слышал кое-что об этом в школе, но не разбираюсь в этом вопросе, которому греки придают такое большое значение.

— Мы придаем ему еще большее, величайшее значение... — ответил жрец. — Об этом свидетельствуют наши города мертвых, занимающие целый край западной пустыни, свидетельствуют пирамиды — гробницы фараонов Древнего царства, и гигантские усыпальницы, высеченные в скалах для царей нашей эпохи. Погребение мертвых и устройство их загробных жилищ — это величайшее дело для людей. Ибо, в то время как в телесной оболочке мы живем пятьдесят, сто лет, наши тени продолжают жить десятки тысяч лет, до полного очищения. Ассирийские варвары смеются над тем, что мы больше внимания уделяем мертвым, чем живым. Но они пожалели бы о своем невнимании к умершим, если б им была, как нам, известна тайна смерти и могилы.

Рамсес вздрогнул.

— Ты пугаешь меня, — сказал он. — Разве ты забыл, что среди умерших у меня есть два дорогих существа, не похороненных согласно египетскому ритуалу?

— Ты ошибаешься. Как раз сейчас делают их мумии. И Сарра, и твой сын получают все, что может пригодиться им в долгом странствовании...

— В самом деле? — Лицо Рамсеса просветлело.

— Ручаюсь тебе, что это так, — ответил жрец, — и что будет сделано все, что нужно, чтобы ты, господин, нашел их счастливыми, когда и тебя станет тяготить земное бытие.

Наследник был очень растроган словами жреца.

— Значит, ты думаешь, святой отец, что когда-нибудь я снова увижу своего сына и смогу сказать этой женщине: «Сарра, я знаю, что поступил с тобою слишком сурово!..»

— Я так же уверен в этом, как в том, что сейчас вижу тебя...

— Так говори... рассказывай! — воскликнул царевич. — Человек до тех пор не думает о могиле, пока не опустит в нее часть самого себя. Меня же постигло это несчастье, и как раз в ту минуту, когда я думал, что, кроме фараона, нет никого могущественнее меня.

— Ты спрашивал, господин, — начал Ментесуфис, — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Такая же, как между уничтожением одежды и хранением ее в кладовой. Когда одежда в сохранности, она может не раз пригодиться, и тем более, если она у тебя одна, было бы безумием сжигать ее.

— Этого я не понимаю, — заметил Рамсес, — этому вы не учите даже в высшей школе.

— Но мы можем сказать наследнику фараона. Тебе известно, — продолжал жрец, — что человеческое существо состоит из тела, искры божией и тени, или Ка, которая соединяет тело с искрой божией. Когда человек умирает, его тень и искра отделяются от тела. Если бы человек жил безгрешно, его искра божия вместе с тенью тотчас ушла бы к богам для вечной жизни. Но каждый человек грешит, загрязняет себя в этом мире, и потому его тень — Ка — должна очищаться, иногда в продолжение многих тысяч лет. Очищается же она тем, что, незримая, блуждает по нашей земле среди людей, совершая добрые поступки. Впрочем, тени преступников даже в загробной жизни совершают преступления и окончательно губят и себя, и заключенную в них искру божью. Надо помнить — и для тебя это, наверно, не тайна, — что тень, Ка, в точности похожа на человека, но только как будто соткана из очень тонкого тумана. У тени есть голова, руки и туловище, она может ходить, говорить, бросать или поднимать предметы, одеваться, как человек, и даже, особенно первые несколько сот лет после смерти, должна время от времени чем-нибудь подкрепляться. Впоследствии для нее достаточно изображения яств. Но главную свою силу тень черпает из тела, остающегося после нее на земле. Если мы бросаем тело в могилу, оно быстро портится, и тень вынуждена питаться прахом и гнилью. Если мы сжигаем тело, у тени остается для питания только пепел. Если же мы сделаем из тела мумию, то есть если забальзамируем тело на тысячу лет, тень, Ка, всегда здорова, сильна и проводит время своего очищения спокойно и даже приятно...

— Удивительно, — прошептал наследник.

— Благодаря своим тысячелетним исследованиям жрецы узнали много важных подробностей о загробной жизни. Стало известно, что, когда в теле умершего остаются внутренности, его тень, Ка, требует столько же пищи, сколько и человек; когда же пищи не хватает, тень бросается на живых и высасывает из них кровь. Если же из трупа вынуть внутренности, как мы это делаем, то тень обходится почти без пищи: ее собственного тела, набальзамированного и наполненного сильно пахнущими травами, хватает ей на миллионы лет. Точно так же установлено, что если могила умершего оставлена в небрежении, то тень тоскует и без нужды бродит по земле. Если же в посмертное жилище положена одежда, утварь, оружие и инструменты, которые любил умерший, если стены покрыты картинами, изображающими пиршества, охоту, богослужения, войны и вообще события, в которых покойный принимал участие, если туда помещены

также изваяния его близких, прислуги, лошадей, собак, скота, тогда тень не выходит без нужды в мир, ибо находит его в своем доме мертвых. Кроме того, установлено, что многие тени, даже пройдя путь покаяния, не могут войти в страну вечного счастья, ибо не знают соответствующих молитв, заклинаний и как вести беседу с богами. Мы предупреждаем это, заворачивая мумии в папирусы, на которых написаны соответствующие изречения, и кладем в гроб «Книгу мертвых»^[121]. Словом, наш похоронный обряд дает тени силу, охраняет ее от неудобств и тоски по земле, помогает ей войти в общение с богами и спасает живущих от вреда, какой могли бы причинить им тени. Именно это имеем мы в виду, так заботясь о мертвых, и поэтому мы воздвигаем им дворцы и в них — уютнейшие жилища.

Царевич задумался о чем-то. Наконец сказал:

— Я понимаю, что вы оказываете большую услугу бессильным и беззащитным теням, снабжая их таким образом всем необходимым. Но... кто убедит меня, что тени действительно существуют? О том, что существует безводная пустыня, — продолжал царевич, — я знаю, потому что вижу ее, потому что утопал в ее песках и испытал ее зной. О том, что существуют страны, в которых вода затвердевает, как камень, а пар превращается в белый пух, я тоже знаю, мне говорили об этом заслуживающие доверия очевидцы... Но откуда вы знаете про тени, которых никто не видел, и про их посмертную жизнь, когда ни один человек не вернулся из царства мертвых?

— Ты ошибаешься, царевич, — ответил жрец. — Тени являются иногда людям, и даже случалось, что они открывали им свои тайны. Можно прожить в Фивах десять лет и не видеть дождя; можно прожить сто лет и не встретить тени. Но тот, кто прожил бы сотни лет в Фивах или тысячи лет на земле, увидел бы не один дождь и не одну тень.

— Но кто это жил тысячу лет? — спросил царевич.

— Жила, живет и будет жить святая каста жрецов, — ответил Ментесуфис. — Это она тридцать тысяч лет тому назад поселилась на берегах Нила, она все это время исследовала небо и землю, она создала мудрость и начертала планы всех полей, плотин, каналов, пирамид и храмов...

— Это верно, — перебил Рамсес, — каста жрецов мудра и могущественна. Но где же тени? Кто их видел? Кто разговаривал с ними?

— Знай, господин, — продолжал Ментесуфис, — тень есть в каждом живом человеке. И подобно тому, как есть люди, отличающиеся огромной силой и проницательным взглядом, так есть и такие, которые обладают необычайным даром — еще при жизни выделять свою тень. Наши

священные книги полны достовернейших рассказов об этом. Не один пророк умел погружаться в сон, похожий на смерть. Тогда его тень, отделившись от тела, мгновенно переносилась в Тир, Ниневию, Вавилон, видела, что было необходимо, незримо присутствовала при совещаниях, интересующих нас, и, когда пророк просыпался, все ему рассказывала. Не один злой кудесник, засыпая, посылал в дом ненавистного человека свою тень, пугая всю семью. Случалось, что человек, преследуемый тенью кудесника, пронзал ее копьем или мечом. Тогда в доме преследуемого появлялись кровавые следы, а у кудесника оказывалась на теле точь-в-точь такая рана, какая была нанесена тени. Не раз также тень живого человека появлялась вместе с ним, в нескольких шагах от него...

— Знаю я, какие это тени, — пробормотал с насмешкой царевич.

— Я должен добавить, — продолжал Ментесуфис, — что не только люди, но и животные, растения, камни, здания, утварь также имеют свои тени. Только — странное дело! — тень неживого предмета не мертва, а обладает жизнью: двигается, переходит с места на место, даже думает и высказывает свои мысли при помощи различных знаков, большей частью стука. Когда человек умирает, тень его продолжает жить и иногда является людям. В наших книгах записаны тысячи подобных случаев. Одни тени требовали пищи, другие ходили по дому, работали в саду или охотились в горах с тенями своих собак и кошек. Некоторые тени пугали людей, уничтожали их имущество, пили их кровь, даже соблазняли живых на разврат... Но бывали и добрые тени: матери, заботившиеся о детях, павшие воины, предупреждавшие о неприятельской засаде, жрецы, открывавшие нам важнейшие тайны... Еще при восемнадцатой династии тень фараона Хеопса (который отбывает покаяние за то, что угнетал народ, воздвигавший ему пирамиду) появилась на нубийских золотых приисках и, сжалившись над страданиями работавших там узников, указала им новый источник воды.

— Ты рассказываешь интересные вещи, святой муж, — сказал царевич. — Разрешите же и мне рассказать тебе кое-что. Однажды ночью в Бубасте мне показали мою тень. Она была в точности похожа на меня и даже одета так же. Но вскоре я узнал, что это вовсе не тень, а живой человек, некто Ликон, впоследствии убивший моего сына... Свои преступления он начал с того, что преследовал финикийку Каму. Я назначил награду за его поимку... Но наша полиция не только не поймала его, но даже позволила ему похитить эту самую Каму и убить невинного ребенка... Сейчас я узнал, что Каму нашли, а об этом негодяе ничего не известно. Наверно, он здоров, весел и живет на свободе, пользуясь

награбленными драгоценностями. Может быть, даже готовится к новым преступлениям.

— Столько людей преследуют этого убийцу, что когда-нибудь он должен быть пойман, — ответил Ментесуфис. — Когда же, рано или поздно, он попадет в наши руки, Египет заплатит ему за огорчения, которые он причинил наследнику престола. Верь мне, господин, ты можешь заранее простить ему все преступления, ибо наказание будет соответствовать злу.

— Я предпочел бы, чтобы он был в моих руках, — ответил царевич. — Иметь такую «тень» при жизни — опасная вещь. [\[122\]](#)

Не очень довольный этим заключением беседы, святой Ментесуфис простился с царевичем. После него вошел Тутмос, сообщивший, что греки сооружают костер для своего военачальника и что несколько ливийских женщин согласились плакать во время похоронного обряда.

— Мы будем присутствовать на нем, — сказал Рамсес. — Ты знаешь, что мой сын убит? Такое крохотное дитя! Когда я брал его на руки, он смеялся и тянулся ко мне ручонками. Удивительно, сколько подлости может вместить людское сердце. Если бы этот негодяй Ликон покусился на мою жизнь, я бы его понял и даже простил... Но — убить ребенка...

— А о самопожертвовании Сарры говорили тебе? — спросил Тутмос.

— Да. Мне кажется, что это была самая верная из моих женщин, а я так бессовестно поступил с ней... Но как это может быть, — воскликнул царевич, ударяя кулаком по столу, — чтобы до сих пор не был пойман негодяй Ликон?! Мне поклялись финикияне... Я обещал награду начальнику полиции... Здесь, несомненно, что-то кроется...

Тутмос подошел к Рамсесу и стал шептать ему на ухо:

— У меня был посланец от Хирама, который, опасаясь преследований жрецов, скрывается, собираясь покинуть Египет... Хирам будто бы узнал от начальника полиции Бубаста, что... Ликон пойман... но это тайна.

Тутмос глядел на царевича с испугом.

Рамсес пришел было в ярость, но тотчас же овладел собой.

— Пойман? — повторил он. — К чему же эта таинственность?

— Начальник полиции, по приказу верховной коллегии, вынужден был передать его святому Мефресу.

— Так! Так! — повторил несколько раз Рамсес. — Значит, досточтимейшему Мефресу и верховной коллегии нужен человек, похожий на меня! Моему ребенку и Сарре хотят устроить торжественные похороны. Бальзамируют их трупы, а убийцу скрывают в безопасном месте! Так! Святой Ментесуфис — великий мудрец. Он рассказал мне сегодня все

тайны загробной жизни, растолковал мне похоронный ритуал, как если б я сам был жрецом, по крайней мере третьей степени. А про поимку Ликона и про то, что убийцу припрятал Мефрес, даже не заикнулся! По-видимому, святые отцы больше дорожат мелкими секретами наследника престола, чем великими тайнами загробной жизни. Так!

— Мне кажется, государь, это не должно тебя удивлять, — заметил Тутмос. — Ты знаешь, что жрецы догадываются о твоём нерасположении к ним и принимают меры предосторожности, тем более...

— Что — тем более?

— Что его святейшество очень болен... очень...

— Вот как? У меня болен отец, а я в это время должен во главе армии стеречь пески пустыни! Хорошо, что ты мне сказал об этом! Да, фараон, должно быть, опасно болен, если жрецы так внимательны ко мне... Все показывают мне, рассказывают обо всем, кроме того, что Мефрес припрятал Ликона. Тутмос, — обратился царевич к своему другу, — ты и сейчас уверен в том, что я могу рассчитывать на армию?

— Пойдем на смерть — только прикажи!

— И за знать тоже ручаешься?

— Как за армию.

— Хорошо, — ответил наследник, — теперь мы можем отдать последний долг Патроклу.

Пока царевич Рамсес в течение нескольких месяцев исполнял обязанности наместника Нижнего Египта, здоровье его святейшего отца все ухудшалось. Приближалась минута, когда владыка вечности, пробуждающий радость в сердцах, повелитель Египта и всех стран, озаряемых солнцем, должен был занять место рядом с досточтимыми своими предшественниками в катакомбах, расположенных на левом берегу Нила, против города Фив.

Богоравный властелин, дающий жизнь своим подданным и имеющий право, согласно желанию своего сердца, отнимать у мужей их жен, был еще не стар, но тридцать с лишним лет царствования так утомили его, что он сам хотел отдохнуть и вернуть себе молодость и красоту в стране заката, где каждый фараон вовеки царствует в радости над народами, столь счастливыми, что никто и никогда не пожелал оттуда вернуться.

Еще полгода назад благочестивый фараон выполнял все обязанности повелителя страны, обеспечивая этим безопасность и благополучие всего зримого мира.

Рано утром с первыми петухами жрецы будили повелителя гимном в честь восходящего солнца. Фараон поднимался с лодка и совершал в золоченой ванне омовение розовой водой. Затем его божественное тело натиралось ароматными маслами под шепот молитв, имевших свойство отгонять злых духов.

Очищенный и окуренный благовониями, фараон шел к часовне, срывал с ее дверей глиняную печать и один входил в святилище, где на ложе из слоновой кости возлежало чудесное изваяние бога Осириса. Эта статуя обладала необыкновенным даром: каждую ночь у нее отваливались руки, ноги и голова, отрубленные некогда злобным богом Сетом, а наутро, после молитвы фараона, вновь прирастали сами собой. Когда святейший владыка убеждался, что Осирис снова цел, он снимал его с ложа, купал, одевал в драгоценные одежды и, усадив на малахитовый трон, воскурял перед ним благовония. Обряд этот имел чрезвычайно важное значение, так как если бы божественное тело Осириса в какое-либо утро не срослось, это явилось бы предвестием великих бедствий не только для Египта, но и для всего мира.

После воскрешения и облачения бога Осириса фараон оставлял дверь часовни открытой, чтобы исходившая из нее благодать изливалась на всю

страну. Он сам назначал жрецов, которые должны были охранять святилище, не столько от злой воли людей, сколько от их легкомыслия, так как не раз случалось, что кто-нибудь, неосторожно подойдя слишком близко к святому месту, получал невидимый удар, который лишал его сознания, а иногда и жизни.

Закончив обряд богослужения, фараон в сопровождении жрецов, поющих молитвы, шел в большую трапезную залу. Там стояли столик и кресло для него и девятнадцать других столиков перед девятнадцатью статуями, изображающими девятнадцать предшествующих династий. Когда фараон садился за стол, в залу вбегали молодые девушки и юноши, держа в руках серебряные тарелки с мясом и сладостями и кувшины с вином. Жрец, наблюдавший за царской кухней, отведывал кушанье из первой тарелки и вино из первого кувшина, которые затем прислужники, стоя на коленях, подавали фараону, а другие тарелки и кувшины ставились перед статуями предков. После того как фараон, утолив голод, покидал залу, блюда, предназначенные для предков, передавались царским детям и жрецам.

Из трапезной фараон направлялся в столь асе большую залу для приемов. Тут приветствовали его, падая ниц, самые важные государственные сановники и ближайшие члены семьи, после чего военный министр Херихор, верховный казначей, верховный судья и верховный начальник полиции докладывали ему о делах государства. Доклады прерывались религиозной музыкой и плясками, во время которых танцовщицы засыпали трон венками и букетами.

После этого фараон шел в расположенный рядом кабинет и отдыхал несколько минут, лежа на диване. Затем совершал перед богами возлияния вином, воскурял благовония и рассказывал жрецам свои сны. Толкуя их, мудрецы составляли высочайшие указы по делам, ожидавшим решения фараона.

Но иногда, когда снов не было или когда толкование их казалось повелителю неправильным, он благодушно улыбался и приказывал поступить так-то и так-то. Приказание это являлось законом, которого никто не смел изменить, разве что в деталях.

В послеполуденные часы его святейшество, несомый в носилках, появлялся во дворе перед своей верной гвардией, после чего поднимался на террасу и, обращаясь к четырем сторонам света, посылал им свое благословение. В это время на пилонах взвивались флаги и раздавались мощные звуки труб. Всякий, кто их слышал в городе или в поле, будь то египтянин или варвар, падал ниц, дабы и на него снизошла частица всевышней благодати.

В такую минуту нельзя было ударить ни человека, ни животное, и если преступник, осужденный на смертную казнь, мог доказать, что приговор был прочтен ему во время выхода фараона на террасу, наказание ему смягчалось. Ибо впереди повелителя земли и неба шествует могущество, а позади милосердие.

Осчастливив народ, владыка всего сущего под солнцем спускался в свои сады, в чащу пальм и сикомор и отдыхал там, принимая дань ласк от своих женщин и любясь играми детей своего дома. Если кто-нибудь из них обращал на себя внимание красотой или ловкостью, он подзывал его к себе и спрашивал:

— Кто ты, малыш?

— Я царевич Бинотрис, сын фараона, — отвечал мальчуган.

— А как зовут твою мать?

— Моя мать — госпожа Амесес, женщина фараона.

— А что ты умеешь делать?

— Я умею уже считать до десяти и писать: «Да живет вечно отец и бог наш, святейший фараон Рамсес!»

Повелитель вечности благодушно улыбался и своей неясной, почти прозрачной рукой прикоснулся к кудрявой головке бойкого мальчугана. С этого момента ребенок уже действительно считался царевичем, хотя фараон и продолжал загадочно улыбаться.

Но кого раз коснулась божественная рука, тот уже не должен был знать горя в жизни и был возвышен над остальными.

Обедать повелитель шел в другую трапезную, где делился яствами с богами всех номов Египта, изваяния которых стояли вдоль стен. Чего не съедали боги, то доставалось жрецам и высшим придворным.

К вечеру фараон принимал у себя госпожу Никотрису, мать наследника престола, смотрел религиозные пляски и разнообразные представления. Потом отправлялся снова в ванную и, очистившись, входил в часовню Осириса, чтобы раздеть и уложить чудесного бога. Совершив это, он запирали и припечатывал двери часовни и, провожаемый процессией жрецов, направлялся в свою опочивальню.

Жрецы до восхода солнца возносили в соседнем покое тихие молитвы к душе фараона, которая во время сна пребывает среди богов. Они обращались к ней с просьбой разрешить текущие дела государства и хранить границы Египта и гробницы царей, дабы ни один вор не посмел проникнуть в них и нарушить вечный покой славных повелителей. Однако молитвы утомленных за день жрецов не всегда достигали цели: государственные затруднения не переставали расти, да и святые гробницы

обкрадывались, причем выносились не только драгоценности, но даже и мумии фараонов.

Это происходило оттого, что в стране было много чужеземцев и язычников, у которых народ научился относиться с пренебрежением к египетским богам и святыням.

Сон повелителя повелителей прерывали один раз, в полночь. В этот час астрологи будили фараона и сообщали ему, в какой четверти находится луна, какие планеты сияют над горизонтом, какое созвездие проходит через меридиан и вообще не наблюдается ли на небе чего-нибудь необычайного. Иногда случалось, что появлялись тучи, звезды падали чаще, нежели обычно, или над землей проносились огненные шары.

Владыка выслушивал доклады астрологов и в случае какого-либо необыкновенного явления успокаивал их, что миру не грозит никакая опасность. Все наблюдения, по приказу фараона, заносились в таблицы, которые отправлялись ежемесячно жрецам храма Сфинкса — мудрейшим людям Египта. Ученые мужи делали на основании этих записей различные выводы, но самых важных не объявляли никому, разве что своим единомышленникам — халдейским жрецам в Вавилоне.

После полуночи фараон мог уже спать до первых петухов, если считал это нужным.

Такую благочестивую и многотрудную жизнь вел еще полгода тому назад добрый бог, податель жизни, мира и здоровья, неусыпно опекая землю и небо, зримый и незримый мир.

Но вот уже полгода, как вечно живущую душу его все чаще начала тяготить земная плоть и земные дела. Бывали дни, когда он ничего не ел, и ночи, когда совсем не спал. Иногда во время приема на кротком лице фараона появлялось выражение глубокого страдания, и он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние.

Встревоженная царица Никотриса, достойнейший министр Херихор и жрецы неоднократно спрашивали повелителя, не болит ли у него что-нибудь. Но повелитель пожимал плечами и молчал, продолжая исполнять свои многотрудные обязанности.

Тогда придворные лекари стали незаметно давать ему сильные укрепляющие средства. Ему подмешивали в вино и пищу сперва пепел лошади и быка, потом льва, носорога и слона. Но могущественные целебные снадобья, казалось, не производили никакого действия; фараон так часто терял сознание, что министры перестали являться к нему с докладами.

Однажды достойнейший Херихор с царицей и жрецами пали ниц

перед повелителем и умоляли его, чтобы он разрешил обследовать свое божественное тело. Повелитель согласился. Лекари осмотрели его и выстукали, но, кроме крайнего истощения, не нашли никаких опасных признаков.

— Что ты чувствуешь? — спросил наконец мудрейший из лекарей.

Фараон улыбнулся.

— Я чувствую, — ответил он, — что пора мне вернуться к лучезарному отцу.

— Ваше святейшество не может сделать этого, не причинив величайшего вреда своим народам, — поспешил заметить Херихор.

— Я оставлю вам сына Рамсеса — это лев и орел в одном лице, — молвил повелитель. — И воистину, если вы будете его слушать, он уготовит Египту такую судьбу, о какой не слыхали от начала мира.

Святого Херихора и других жрецов обдало холодом от этого обещания. Они знали, что наследник престола лев и орел в одном лице и что они должны ему повиноваться, однако предпочитали еще долгие годы иметь вот этого великодушного повелителя, сердце которого, полное милосердия, было как северный ветер, приносящий дождь полям и прохладу людям.

Поэтому они все, как один, со стоном пали на землю и лежали на животе до тех пор, пока фараон не согласился подвергнуться лечению.

Тогда лекари вынесли его на целый день в сад под сень душистых хвойных деревьев, приказали кормить его рубленным мясом, поить крепким бульоном, молоком и старым, выдержанным вином. Эти прекрасные средства на несколько дней укрепили силы фараона. Но вскоре появился новый приступ слабости, и для борьбы с ним повелителя заставили пить свежую кровь телят, потомков священного Аписа. Однако и кровь помогла ненадолго, и пришлось обратиться за советом к верховному жрецу храма злого бога Сета.

Мрачный жрец вошел в опочивальню его святейшества, взглянул на больного и прописал страшное лекарство.

— Надо, — сказал он, — давать фараону кровь невинных детей. По кубку в день.

Жрецы и вельможи, находившиеся в опочивальне, онемели, выслушав такой совет. Потом стали перешептываться между собой, говоря, что для этой цели лучше всего подойдут крестьянские дети, ибо дети жрецов и высоких господ уже в младенчестве утрачивают невинность.

— Для меня все равно, чьи это будут дети, — ответил жестокий жрец, — лишь бы фараон пил ежедневно свежую кровь.

Повелитель, лежа в кровати с закрытыми глазами, слышал этот

жестокий совет и робкий шепот придворных. Когда-же кто-то из лекарей нерешительно спросил Херихора, надо ли начать поиски подходящих детей, фараон очнулся, пристально посмотрел на присутствующих своими умными глазами и сказал:

— Крокодил не пожирает своих младенцев, шакал и гиена отдают жизнь за своих щенят, — неужели же я стану пить кровь египетских детей — моих детей? Воистину никогда я не предполагал, что кто-нибудь посмеет прописать мне такое недостойное лекарство.

Жрец злого бога пал на землю, уверяя в свое оправдание, что крови детей никто никогда не пил в Египте, но что силы преисподней якобы таким способом возвращают больному здоровье. Этим средством пользуются в Ассирии и Финикии.

— Постыдился бы ты, — ответил фараон, — рассказывать во дворце египетских повелителей о таких мерзких вещах. Разве ты не знаешь, что финикияне и ассирийцы — темные варвары? А у нас самый невежественный земледелец не поверит, чтобы невинно пролитая кровь могла кому-нибудь принести пользу.

Так говорил равный бессмертным.

Придворные закрыли руками лица, покрывшиеся краской стыда, а верховный жрец Сета незаметно скрылся.

Тогда Херихор, чтобы спасти угасающую жизнь повелителя, прибегнул к крайнему средству и сказал фараону, что в одном из фиванских храмов тайно пребывает халдей Бероэс, мудрейший жрец Вавилона, чудотворец, не знающий себе равных.

— Для тебя, святейший государь, — сказал он, — это чужой человек, не имеющий права давать советы в столь важном деле. И все же разреши ему, о царь, взглянуть на тебя. Я уверен, что он найдет лекарство против твоей болезни и ни в коем случае не оскорбит твоей святости безбожными словами.

Фараон и на этот раз подчинился уговорам верного слуги, и через два дня Бероэс, вызванный какими-то тайными путями, прибыл в Мемфис.

Мудрый халдей, даже не осматривая подробно фараона, дал следующий совет:

— Надо найти в Египте человека, молитвы которого доходят до престола всевышнего, и, когда он искренне помолится за фараона, повелитель обретет свое здоровье и будет жить долгие годы.

Услыхав эти слова, фараон посмотрел на группу окружавших его жрецов и сказал:

— Я вижу здесь столько святых мужей, что, если кто-нибудь из них

захочет позаботиться обо мне, я буду здоров...

И чуть заметно улыбнулся.

— Все мы только люди, — заметил чудотворец Бероэс, — и души наши не всегда могут вознестись к подножию предвечного. Я дам, однако, твоему святейшеству безошибочный способ найти человека, который молится искренне и молитвы которого достигают цели.

— Так найди его, и да будет он моим другом в последний час моей жизни.

Получив согласие повелителя, халдей потребовал, чтобы ему отвели нежилую комнату с одной дверью. И в тот же день, за час до заката солнца, велел перенести туда фараона.

В назначенный час четверо высших жрецов одели фараона в новую льняную одежду, произнесли над ним чудотворную молитву, которая отгоняла злые силы, и, посадив своего господина в простые носилки из кедрового дерева, внесли его в пустую комнату, где стоял один только маленький стол. Там уже был Бероэс; обратившись лицом к востоку, он молился.

Когда жрецы вышли, халдей запер тяжелую дверь, возложил на плечи пурпурный шарф, а на столик перед фараоном поставил черный блестящий шар. В левую руку он взял острый кинжал из вавилонской стали, в правую жезл, покрытый таинственными знаками, и описал в воздухе круг этим жезлом вокруг себя и фараона. Затем, обращаясь по очереди ко всем четырем сторонам света, стал шептать:

— Аморуль, Танеха, Латистен, Рабур, Адонай... Сжался надо мной и очисти меня, отец небесный, милостивый и милосердный... Ниспошли на недостойного слугу твоего святое благословение и защити от духов, строптивых и мятежных, дабы я мог в спокойствии обдумать и взвесить твои святые дела!

Он остановился и обратился к фараону:

— Мери-Амон-Рамсес, верховный жрец Амона, видишь ли ты в этом черном шаре искру?

— Я вижу белую искорку, которая кружится, подобно пчеле над цветком.

— Мери-Амон-Рамсес, смотри на эту искру и не отрывай от нее глаз, не смотри ни направо, ни налево, что бы ни появилось по сторонам. — И снова зашептал: — Бараланенсис, Балдахиенсис, — во имя могущественных князей Гению, Лахиадаэ, правителей царства преисподней, вызываю вас, призываю данной мне верховной властью, заклинаю и повелеваю.

При этих словах фараон вздрогнул от отвращения.

— Мери-Амон-Рамсес, что ты видишь? — спросил халдей.

— Из-за шара выглядывает какая-то ужасная голова... Рыжие волосы встали дыбом... Лицо зеленоватого цвета... Зрачки глаз опущены вниз, так что видны одни белки... Рот широко открыт, как будто хочет кричать...

— Это страх, — сказал Бероэс и направил сверху на шар острие кинжала.

Вдруг фараон весь съежился.

— Довольно! — вскричал он. — Зачем ты меня мучаешь? Утомленное тело хочет отдохнуть, душа — отлететь в страну вечного света. А вы не только не даете мне умереть, а еще придумываете новые муки... О... не хочу!

— Что ты видишь?

— С потолка поминутно спускаются как будто две паучьи ноги, ужасные, толстые, как пальмы, косматые, крючковатые на концах... Чувствую, что над моей головой висит чудовищный паук и опутывает меня сетью из корабельных канатов...

Бероэс повернул кинжал кверху.

— Мери-Амон-Рамсес! — произнес он опять. — Смотри все время на искру и не оглядывайся по сторонам... Вот знак, который я поднимаю в вашем присутствии... — прошептал он. — Я, вооруженный помощью божией, неустрашимый ясновидец, вызываю вас заклинаниями... Айе, Сарайе, Айе, Сарайе, Айе, Сарайе... именем всемогущего, вечно живого бога.

На лице фараона появилась спокойная улыбка.

— Мне кажется, — промолвил он, — что я вижу Египет... Весь Египет. Да, это Нил... пустыня... Вот тут Мемфис, там Фивы...

Он и в самом деле видел Египет, весь Египет, размерами, однако, не больше аллеи, пересекавшей сад его дворца. Удивительная картина обладала, впрочем, тем свойством, что, когда фараон устремлял на какую-нибудь точку более пристальный взгляд, точка эта разрасталась в местность почти естественных размеров.

Солнце уже спускалось, заливая землю золотисто-пурпурным светом. Дневные птицы садились, чтобы заснуть, ночные просыпались в своих убежищах. В пустыне зевали гиены и шакалы, а дремлющий лев потягивался могучим телом, готовясь к погоне за добычей.

Нильский рыбак торопливо вытаскивал сети, большие торговые суда причаливали к берегам. Усталый земледелец снимал с журавля ведро, которым весь день черпал воду, другой медленно возвращался с плугом в

свою мазанку. В городах зажглись огни, в храмах жрецы собирались к вечернему богослужению. На дорогах оседала пыль и смолкали скрипучие колеса телег. С вышек пилонов послышались заунывные звуки, призывавшие народ к молитве. Немного спустя фараон с изумлением увидел как бы стаю серебристых птиц, реявших над землей. Они вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристоперой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе замертво падали на землю.

Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке вознестись к трону предвечного.

Фараон прислушался.

Вначале до него долетал лишь шелест крыльев, но вскоре он стал различать слова.

Он слышал больного, который молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше; хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирали руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном.

Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи.

Путник в пустыне падал ниц на песок, моля о северном ветре, который принес бы ему каплю воды; мореплаватель бил челом о палубу, чтобы еще неделю ветры дули с востока. Земледелец просил, чтобы скорее высохли болота; нищий рыбак — чтобы болота никогда не высыхали.

Их молитвы тоже разбивались друг о дружку и не доходили до божественных ушей Амона.

Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтоб солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды.

Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба.

На западной границе фараон увидел две армии, готовящиеся к бою. Обе лежали в песках, взывая к Амону, чтобы он уничтожил неприятеля.

Ливийцы желали позора и смерти египтянам, египтяне посылали проклятия ливийцам. Молитвы тех и других, как две стаи ястребов, столкнулись над землей и упали вниз в пустыню. Амон их даже не заметил. И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни Рамсеса XII и истреблении финикиян, мешавших им в денежных операциях; номархи призывали бога, чтобы он сохранил финикиян и благословил скорее на царство Рамсеса XIII, который умерит произвол жрецов. Голодные львы, шакалы и гиены жаждали свежей крови; олени, серны и зайцы со страхом покидали свои убежища, думая о том, как бы сохранить свою жалкую жизнь хотя бы еще на один день. Однако опыт говорил им, что и в эту ночь десяток-другой из их братии должен погибнуть, чтобы насытить хищников.

И так во всем мире царила вражда. Каждый желал того, что преисполняло страхом других. Каждый просил о благе для себя, не думая о том, что это может причинить вред ближнему.

Поэтому молитвы их, хотя и были как серебристые птицы, взвивавшиеся к небу, не достигали цели. И божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай.

И вдруг фараон услышал женский голос:

— Ступай-ка, баловник, домой, пора на молитву.

— Сейчас! Сейчас! — ответил детский голосок.

Повелитель посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел убогую мазанку писца на скотном дворе. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом, как молодой козленок, бегал и прыгал шестилетний мальчуган, смеясь неизвестно чему.

По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух.

— Сынок, а сынок! Иди же скорее, помолимся, — повторяла мать.

— Сейчас! Сейчас — отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться.

Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал.

— Не вертись, — сказала она. — Подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи и подними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!

Мальчуган знал, что ему не отвертеться от молитвы, и, чтобы поскорее вырваться опять во двор, поднял благоговейно глаза и руки к небу и тоненьким, пискливым голоском затараторил прерывающейся скороговоркой:

— Благодарю тебя, добрый бог Амон, за то, что ты сохранил сегодня отца от бед, а маме дал пшеницы на лепешки... А еще за что? За то, что создал небо и землю и ниспослал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю! И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальма приносит сладкие финики... И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мал и меня не учили мудрости. Ну, вот и все...

— Скверный ребенок! — проворчал писец, склонившись над своей записью. — Скверный ребенок! Так небрежно славить ты бога Амона!

Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. Молитва расшалившегося мальчугана жаворонком взвилась к небу и, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше, до самого престола, где предвечный Амон, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества.

Молитва вознеслась еще выше, до самых ушей бога, и продолжала петь ему тоненьким детским голоском:

«И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я...»

При этих словах углубившийся в самосозерцание бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина. Прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке за ланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба.

Больной забыл о страданиях, заблудившийся в пустыне — о голоде, узник — о цепях. Затихла буря, и остановилась волна морская, готовившаяся поглотить корабль. И на всей земле воцарился такой мир, что солнце, уже скрывшееся за горизонтом, снова подняло свой лучезарный лик.

Фараон очнулся и увидал перед собой маленький столик, на нем черный шар, а рядом халдея Берозса.

— Мери-Амон-Рамсес! — спросил жрец. — Ты нашел человека, молитва которого доходит до престола предвечного?

— Да, — ответил фараон.

— Кто же он? Князь, воин или пророк? Или, может быть, простой отшельник?

— Это маленький шестилетний мальчик, который ни о чем не просил Амона, а только за все благодарил.

— А ты знаешь, где он живет? — спросил халдей.

— Знаю. Но я не хочу пользоваться силой его молитв. Мир, Берозс, это огромный водоворот, в котором люди кружатся, как песчинки, а кружит их несчастье. Ребенок же своей молитвой дает людям то, чего я не в силах дать, — короткий миг забвения и покоя... Забвения и покоя... Понимаешь, халдей?

Берозс молчал.

С восходом солнца, в день 21 атира, в лагерь на берегу Содовых озер пришел из Мемфиса приказ, согласно которому три полка должны были отправиться в Ливию и стать гарнизонами в городах. Остальной египетской армии вместе с наследником предстояло вернуться домой. Войска ликующими кликами встретили это распоряжение. Пустыня уже начинала им надоедать. Несмотря на подвоз из Египта и из покоренной Ливии, продовольствия не хватало, вода в наскоро вырытых колодцах истощалась, солнечный зной сжигал тело, а рыжий песок поражал легкие и глаза. Солдаты стали болеть дизентерией и злокачественным воспалением век.

Рамсес отдал приказ свернуть в лагерь. Три полка коренных египтян он отправил в Ливию, дав солдатам наказ мягко обращаться с жителями и никогда не бродить в одиночку. Главную же часть армии направил в Мемфис, оставив незначительные гарнизоны в крепостце и на стекольном заводе.

В девять часов утра, несмотря на зной, обе армии были уже в пути: одна на север, другая на юг.

Тогда к наследнику подошел святой Ментесуфис и сказал:

— Было бы хорошо, если бы ты как можно скорее вернулся в Мемфис. На половине пути будут поданы свежие лошади...

— Значит, мой отец так тяжело болен? — спросил Рамсес.

Жрец склонил голову.

Царевич передал командование Ментесуфису, с просьбой ни в чем не изменять уже отданных распоряжений, не посоветовавшись с военачальниками. Сам же, взяв Пентуэра, Тутмоса и двадцать лучших азиатских конников, поскакал в Мемфис.

За пять часов они проехали половину пути, и тут, как предупреждал Ментесуфис, их ждали свежие лошади. Конвой сменился, и Рамсес со своими двумя спутниками и новым конвоем после короткого отдыха помчался дальше.

— О горе! — стонал щеголь Тутмос. — Мало того, что уже пять дней я не принимаю ванны и забыл, что такое розовое масло, — изволь-ка сделать еще два форсированных марша в один день. Я уверен, что, когда мы очутимся на месте, ни одна танцовщица не захочет на меня взглянуть.

— А чем ты лучше нас? — спросил царевич.

— Я слабее, — вздохнул Тутмос. — Ты привык к верховой езде, как

гиксос; Пентуэр — тот готов путешествовать верхом даже на раскаленном мече. А я такой неясный...

С закатом солнца путники поднялись на высокий холм, откуда открывалась величественная картина: перед ними простиралась зеленоватая долина Египта, а на фоне ее, словно ряд багровых костров, пламенели треугольники пирамид. Немного правее пирамид, тоже как будто в огне, сверкали верхушки пилонов Мемфиса, окутанного синеватой дымкой.

— Скорей! Скорей! — торопил Рамсес.

Немного спустя их опять окружила ржаво-коричневая пустыня, и опять засверкала цепь пирамид, пока все не растаяло в бледном сумраке.

Когда спустилась ночь, путники добрались до обширной страны мертвых, тянувшейся вдоль левого берега реки по холмам на протяжении нескольких десятков километров.

Там в эпоху Древнего царства хоронили на вечные времена египтян: царей — в огромных пирамидах, князей и вельмож — в гробницах, простолюдинов — в мазанках. Там покоились миллионы мумий не только людей, но и животных: собак, кошек, птиц — словом, всех тварей, которые при жизни были дороги человеку.

Во времена Рамсеса Великого кладбище царей и вельмож было перенесено в Фивы, а по соседству с пирамидами стали хоронить только крестьян и работников из ближайших окрестностей.

Среди рассеянных кругом гробниц царевич и его свита наткнулись на группу людей, скользивших, как тени.

— Кто вы такие? — спросил начальник конвоя.

— Мы — бедные слуги фараона, возвращаемся от наших умерших, мы снесли им немного роз, пива и лепешек.

— А может быть, вы заглядывали в чужие гробницы?

— О боги! — воскликнул один из них. — Разве мы способны на подобное святотатство? Это только распутные фиванцы, да отсохнут у них руки, беспокоят мертвых, чтобы пропить в кабаках их имущество.

— А что означают эти костры, там, на севере? — спросил царевич.

— Ты, должно быть, издалека едешь, господин, если тебе неизвестно, что завтра возвращается наш наследник с победоносной армией... Великий воитель! Только одно сражение — и он покориł презренных ливийцев. Это жители Мемфиса вышли торжественно встречать его... Тридцать тысяч народу... То-то будет крику.

— Понимаю, — шепнул царевич Пентуэру, — святой Ментесуфис отправил меня пораньше, чтобы лишить триумфальной встречи. Ладно!

Пусть будет так до поры до времени.

Кони устали, надо было передохнуть. Рамсес послал нескольких всадников договориться относительно лодок для переправы, а сам с остальной частью конвоя остановился под кущей пальм между группой пирамид и сфинксом.

Эта группа составляет северную окраину бесконечных кладбищ. На площади поверхностью приблизительно в квадратный километр размещено множество гробниц и небольших усыпальниц, над которыми возвышаются три величайшие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина^[123], а также сфинкс.

Эти колоссальные сооружения удалены друг от друга всего на несколько сотен шагов. Три пирамиды стоят в один ряд с северо-востока к юго-западу, а к востоку от этой линии, поближе к Нилу, лежит сфинкс, у ног которого расположен подземный храм Гора.

Пирамиды, и в особенности пирамида Хеопса, как создание человеческого труда, поражают своими размерами. Последняя представляет собой остроконечный каменный холм высотой в тридцать пять ярусов (сто тридцать семь метров), стоящий на квадратном основании, каждая сторона которого равна почти тремстам пятидесяти шагам (двести двадцать семь метров). Пирамида занимает около десяти моргов поверхности, а ее четыре треугольные грани покрыли бы поверхность в семнадцать моргов. На постройку ее пошло такое огромное количество камня, что из него можно было бы воздвигнуть стену выше человеческого роста и толщиной в полметра, а длиной в две тысячи пятьсот километров.

Когда свита наследника расположилась под чахлыми деревьями, часть солдат занялась поисками воды, остальные достали сухари. Тутмос же бросился на землю и заснул. Рамсес и Пентуэр стали ходить, беседуя друг с другом.

Ночь была довольно светлая, так что можно было видеть с одной стороны гигантские силуэты пирамид, а с другой — фигуру сфинкса, который по сравнению с ними казался маленьким.

— Я здесь уже четвертый раз, — сказал наследник, — и всегда мое сердце преисполняется изумлением и скорбью. Когда я был еще учеником высшей школы, я думал, что, вступив на престол, воздвигну нечто более величественное, чем пирамида Хеопса. А сейчас мне хочется смеяться над своей дерзостью, когда я вспоминаю, что великий фараон при постройке своей гробницы заплатил тысячу шестьсот талантов^[124] за одни овощи для рабочих. Откуда бы я взял столько денег и людей?

— Не завидуй, господин, Хеопсу! — ответил жрец. — Другие фараоны оставили по себе лучшие творения: озера, каналы, дороги, храмы и школы.

— Да разве можно это сравнить с пирамидами?

— Разумеется, нет, — горячо возразил ему жрец, — в моих глазах и в глазах всего народа каждая пирамида — великое преступление, и самое большое — пирамида Хеопса.

— Ты преувеличиваешь, — остановил его царевич.

— Нисколько! Свою гигантскую гробницу фараон строил тридцать лет, в продолжение которых сто тысяч человек работали по три месяца в году. А какая польза от всего этого труда? Кого он накормил, одел, исцелил? Напротив, каждый год на этой работе гибло от десяти до двадцати тысяч народу. Другими словами, гробница Хеопса поглотила жизнь полумиллиона людей. А сколько крови, слез, страданий — кто сочтет? Поэтому не удивляйся, господин, что египетский крестьянин с ужасом смотрит на запад, где над горизонтом багровеют или чернеют треугольные контуры пирамид. Ведь это свидетели его страданий и бессмысленного труда. И подумать только, что так будет всегда, пока не рассыплются в прах эти свидетельства человеческого тщеславия! Но когда это будет? Три тысячи лет они страшат нас своим видом, а стены их все еще гладки и на них можно еще прочесть гигантские надписи.

— В ту ночь в пустыне ты говорил другое, — заметил наследник.

— Тогда я не видел их перед собой. А когда они у меня, как сейчас, перед глазами, меня окружают рыдающие духи замученных крестьян и шепчут: «Смотри, что с нами сделали. А ведь и наши кости чувствовали боль и наши сердца жаждали отдыха».

Рамсес был неприятно задет этим порывом жреца.

— Мой святейший отец, — сказал он, немного помолчав, — иначе представил мне это. Когда мы были с ним здесь пять лет назад, божественный владыка рассказал мне следующую историю:

«Во времена фараона Тутмоса Первого^[125] приехали эфиопские послы договориться о размерах дани. Это был дерзкий народ. Они заявили, что одна проигранная война еще ничего не значит, ибо в следующий раз судьба может оказаться к ним милостивее, и несколько месяцев торговались из-за дани. Напрасно мудрый царь, желая мирно вразумить их, показывал им наши дороги и каналы. Они отвечали, что в их стране воды вдоволь и она ничего не стоит. Напрасно показывали им сокровищницы храмов, — они уверяли, что в их земле скрыто гораздо больше золота и драгоценных камней, чем во всем Египте. Напрасно царь устраивал перед ними смотры своим войскам, — они утверждали, что эфиопов несравненно больше, чем

солдат у фараона. Тогда фараон привел их сюда, где мы стоим, и показал пирамиды. Эфиопские послы обошли их кругом, прочитали надписи и на следующий день заключили договор, какого от них требовали».

— Я не понял смысла этой истории, — продолжал Рамсес. — Тогда мой святой отец растолковал мне ее.

«Сын мой, — сказал он, — эти пирамиды — вечное свидетельство необычайного могущества Египта. Если бы какой-нибудь человек захотел воздвигнуть себе пирамиду, он уложил бы небольшую кучу камней, бросил бы через несколько часов свою работу и спросил бы: „На что она мне?“ Десять, сто, тысяча человек нагромодили бы немного больше камней, ссыпали бы их в беспорядке и спустя несколько дней тоже бросили бы работу. На что она им? Но когда египетский фараон, когда египетское государство задумает собрать груды камней, — оно сгоняет сотни тысяч людей и строит десятки лет, пока работа не доведена до конца. Ибо дело не в том, нужны ли пирамиды, а в том, чтобы воля фараона, раз высказанная, была исполнена».

Да, Пентуэр, пирамида — это не могила Хеопса, а воля Хеопса. Воля, которая находит такое количество исполнителей, какого нет ни у одного царя на свете, и проводится так планомерно и настойчиво, как это может быть только у богов. Еще в школе меня учили, что человеческая воля — это великая сила, величайшая сила под солнцем. А ведь воля человека может поднять едва лишь один камень. Как же велика, значит, воля фараона, который воздвиг гору камней только потому, что ему так захотелось, что он так пожелал, хотя бы и без всякой цели.

— А ты, господин, тоже хотел бы таким образом доказать свое могущество? — спросил его вдруг Пентуэр.

— Нет! — ответил царевич решительно. — Раз проявив свою силу, фараоны могут быть уже милосердны. Разве что кто-нибудь попытался бы противиться их повелениям.

«А ведь этому юноше всего двадцать три года!» — со страхом подумал жрец.

Они повернули к реке и некоторое время шли молча.

— Ляг, господин, — сказал жрец. — Засни! Мы совершили большой переход.

— Разве я могу уснуть? — ответил наследник. — То меня окружают эти сотни крестьян, погибших, как ты говоришь, при постройке пирамид (как будто без этих пирамид они жили бы вечно!), то я думаю о моем святейшем отце, который, может быть, в эту минуту угасает... Крестьяне страдают! Крестьяне проливают свою кровь!.. Кто докажет мне, что мой

божественный отец не больше мучается на своем драгоценном ложе, чем твои крестьяне, таскающие раскаленные от зноя камни? Крестьяне! Вечно эти крестьяне! Для тебя, святой отец, только тот заслуживает сострадания, кого едят вши. Целый ряд фараонов сошел в могилу, одни умерли от тяжелых болезней, другие были убиты, но ты о них не помнишь. Ты думаешь только о крестьянах, заслуга которых в том, что они рождали других крестьян, черпали нильскую грязь или пихали в рот своим коровам ячменные катышки... А мой отец? А я? Разве у меня не убили сына и женщину моего дома? Был ли ко мне милосерд тифон в пустыне? Разве не болят мои кости от долгой езды? А камни ливийских пращников не свистели над моей головой? Или есть у меня договор с болезнями и со смертью, что они будут ко мне милостивее, чем к твоему крестьянину? Посмотри вон туда... Азиаты спят, и спокойствием дышит их грудь, а я, их повелитель, болею душою о вчерашнем и с тревогой жду завтрашнего дня. Спроси у столетнего крестьянина, испытал ли он за всю свою жизнь столько горя, сколько я в эти несколько месяцев, что был наместником и главнокомандующим?

Перед ними постепенно вырисовывалась в темноте странная тень. Это было сооружение длиной в пятьдесят шагов, высотой в три этажа, сбоку возвышалось что-то вроде пятиэтажной башни странной формы.

— Вот и сфинкс, — воскликнул взволнованный предыдущим разговором царевич, — это детище жрецов! Сколько бы раз я не видел его, днем или ночью, всегда меня мучил вопрос: что это такое и для чего? Что такое пирамиды, я понимаю. Постройкой пирамид могущественный фараон хотел показать свою силу или, что, может быть, разумнее, хотел обеспечить себе вечную жизнь в загробном мире, которую бы не потревожил ни один враг или вор. Но сфинкс? Конечно, это эмблема священной касты жрецов: большая мудрая голова и львиные когти... Омерзительный идол, исполненный двойственности и как будто гордый тем, что мы рядом с ним подобны саранче. Не человек, не животное, не камень... Что же он такое? Каково его назначение? А улыбка... Дивишься незыблемости пирамид — он улыбается, идешь побеседовать с гробами — он тоже улыбается. Зазеленеют ли поля Египта, или тифон пустит во все концы своих огненных скакунов, невольник ли ищет свободы в пустыне, или Рамсес Великий преследует побежденные народы, — у него для всех одна и та же безжизненная улыбка. Девятнадцать династий прошли перед ним, как тени, а он улыбается... и улыбался бы, если бы даже высох Нил и Египет исчез под песками. Ну разве это не чудовище, тем более ужасное, что у него кроткое человеческое лицо? Вечный, он никогда не знал жалости

к брэнному миру, исполненному горестей.

— Вспомни, государь, лики богов, — сказал Пентуэр, — или мумий. Все, кто наделен бессмертием, с таким же спокойствием взирают на то, что преходяще. Даже человек, когда сам он уже отошел в вечность.

— Боги иногда еще внемлют нашим просьбам, — сказал как бы про себя царевич, — а его ничто не трогает. Он не знает сострадания... Он над всем смеется и в каждого вселяет ужас. Если б я даже знал, что уста его скрывают предсказание моей судьбы или совет, как восстановить мощь государства, и тогда я не осмелился бы спросить его. Мне кажется, что я услышал бы нечто страшное, сказанное с неумолимым спокойствием. Вот какво это создание жрецов и их воплощение. Он страшнее человека, потому что у него львиное тело; страшнее зверя, потому что у него голова человека; страшнее скалы, потому что в нем таится непонятная жизнь.

До них донеслись глухие стонущие звуки, источника которых нельзя было угадать.

— Уж не сфинкс ли поет? — спросил царевич с удивлением.

— Это голоса из его подземного храма, — ответил жрец. — Но почему они молятся в такой час?

— Спроси лучше: зачем они вообще молятся, раз их никто не слышит.

Пентуэр направился в ту сторону, откуда доносилось пение, а царевич присел на камень, заложил руки за спину, закинул голову и стал смотреть в страшное лицо сфинкса.

Несмотря на темноту, он ясно видел загадочные черты: сумрак вливал в них душу и жизнь. Чем дольше всматривался Рамсес в это лицо, тем сильнее чувствовал, что был предубежден и что его неприязнь к сфинксу несправедлива.

В лице сфинкса не было жестокости, — оно выражало покорность судьбе, а улыбка его казалась скорее грустной, чем насмешливой. Он не издевался над убожеством и брэнностью человека, а как будто не замечал их. Его выразительные, обращенные к небу глаза смотрели за Нил, в страны, скрытые от человеческого взора. Следил ли он за тревожным ростом ассирийской монархии или за назойливой суетней финикиян, предвидел ли зарождение Греции или события, которые надвигались на берега Иордана? Кто угадает?

Одно Рамсес мог сказать с уверенностью, — что сфинкс смотрит, думает и ждет чего-то со спокойной улыбкой, достойной сверхъестественного существа. И, казалось, когда это что-то появится на горизонте, сфинкс встанет и пойдет ему навстречу.

Что это будет и когда? Тайна, разгадка которой ясно рисовалась на

лице Вечного. Однако это должно свершиться внезапно, ибо сфинкс никогда не смыкает глаз и смотрит... все смотрит...

Тем временем Пентуэр нашел окно, через которое из подземелья доносилось заунывное пение жрецов:

Хор первый. «Вставай, лучезарный, словно Исида, каким встает Сотис на небосклоне утром, в начале каждого года».

Хор второй. «Бог Амон-Ра^[126] был по правую мою руку и по левую. Он вручил мне власть над всем миром и помог покорить врагов моих».

Хор первый. «Ты был еще молод и носил заплетенную косичку^[127], но в Египте ничто не совершалось без твоего повеления, без тебя не был заложен ни один камень строящегося здания».

Хор второй. «Явился я к тебе, владыка богов, великий бог, господин солнца. Тум обещает мне, что появится солнце и что я буду похож на него, а Нил — что я получу трон Осириса и буду владеть им вовеки».

Хор первый. «Ты вернулся в мир, чтимый богами, повелитель обоих миров, Ра-Мери-Амон-Рамсес. Обещаю тебе вечное царство. Цари придут к тебе и поклонятся тебе».

Хор второй. «О ты, Осирис-Рамсес! Вечно живущий сын неба, рожденный богиней Нут. Пусть мать твоя окутает тебя тайной неба и пусть позволит, чтобы ты стал богом, о ты, ты, Осирис-Рамсес!»^[128].

«Значит, святейший владыка уже умер!» — подумал Пентуэр. Он отошел от окна и приблизился к месту, где сидел погруженный в мечты наследник. Жрец опустил перед ним на колени, пал ниц и воскликнул:

— Привет тебе, фараон, повелитель мира!

— Что ты говоришь? — воскликнул царевич, вскочив.

— Пусть бог единый и всемогущий ниспошлет тебе мудрость, а народу твоему — силы и счастье!

— Встань, Пентуэр! Так, значит... так я...

Рамсес вдруг взял жреца за плечи и повернул его к сфинксу.

— Посмотри на него, — сказал он.

Ни в лице, ни во всей фигуре колосса не произошло никакой перемены. Один фараон переступил порог вечности, другой восходил, как солнце, а каменное лицо бога или чудовища осталось таким же, как было. На губах кроткая усмешка над земною властью и славой, во взгляде ожидание чего-то, что должно прийти, но неизвестно, когда придет.

Оба посланных вернулись с переправы и сообщили, что лодки скоро будут готовы.

Пентуэр направился к пальмам и закричал:

— Вставайте! Вставайте!

Чуткие азиаты тотчас вскочили и принялись взнуздывать лошадей. Встал и Тутмос, зевая.

— Брр! — ворчал он, — так холодно. Добрая вещь — сон! Чуть-чуть вздремнул — и снова уже могу ехать хоть на край света, лишь бы не к Содовым озерам. Брр! Я забыл уже вкус вина, и мне кажется, что руки у меня обрастают шерстью, словно лапы шакала. А до дворца еще не меньше двух часов езды. Хорошо живется крестьянам: спят себе, бездельники, вовсе не беспокоясь о чистоте собственного тела, и не идут на работу до тех пор, пока жена не приготовит им ячменного отвара. А я, большой господин, должен, словно злодей, слоняться по пустыне, не имея ни глотка воды.

Лошади были готовы. Рамсес сел на своего скакуна. Тогда подошел Пентуэр, взял под уздцы коня повелителя и повел его, сам бредя пешком.

— Что это? — спросил удивленный Тутмос.

Но тотчас же сообразил, побежал и взял лошадь Рамсеса под уздцы с другой стороны. Все шли молча, пораженные поведением жреца, однако чувствуя, что произошло что-то очень важное.

Через несколько сотен шагов пустыня кончилась и перед путниками открылась дорога среди полей.

— В седла! — скомандовал Рамсес. — Надо торопиться.

— Его святейшество велел садиться на коней! — крикнул конвойным Пентуэр.

Все остолбенели. Тутмос же, положив руку на меч, воскликнул:

— Да живет вечно всемогущий и милостивый владыка наш, фараон Рамсес!

— Да живет вечно! — взвыли азиаты, потрясая оружием.

— Спасибо вам, верные мои солдаты! — ответил повелитель.

Спустя минуту всадники уже мчались вперед, к реке.

КНИГА ТРЕТЯ

Видели ли пророки, молившиеся в подземном храме сфинкса, нового повелителя Египта во время его остановки под пирамидами, дали ли они знать о нем в царский дворец и как они это сделали — неизвестно. Но когда повелитель приближался к переправе, верховный жрец Херихор приказал разбудить придворных, а когда он переплывал Нил, военачальники, сановники уже ожидали его в зале для приемов.

С восходом солнца Рамсес XIII с небольшой свитой подъехал ко дворцу. Слуги пали перед ним ниц, а гвардейцы при звуках труб и барабанов подняли вверх оружие.

Поздоровавшись с солдатами, фараон поспешил во дворец. Затем он принял ванну, насыщенную благовониями, и позволил парикмахеру заняться своими божественными волосами. На вопрос последнего, сбрить ли ему волосы и бороду, владыка ответил:

— Не надо! Я не жрец, а солдат!

Слова эти в одну минуту стали известны в зале для приемов, через час облетели дворец, к полудню разнеслись по всему Мемфису, а к вечеру их уже передавали во всех храмах государства (от Тами-ен-Гора^[129] и Сабни-Хетема на севере до Суну и Пилака^[130] — на юге).

Узнав о них, номархи, знать, армия, народ и иноземцы были вне себя от радости, святая же каста жрецов тем ревностнее соблюдала траур по умершему фараону.

Выйдя из ванны, фараон надел короткую солдатскую рубаху в черную и желтую полосу, на нее — золотой нагрудник, на ноги — подвязанные ремнем сандалии, а на голову — плоский шлем с острием. Затем он пристегнул стальной ассирийский меч, бывший при нем во время сражения у Содовых озер, и, окруженный множеством военачальников, звеня оружием и хрустя ремнями, вошел в зал.

Здесь его встретил верховный жрец Херихор, рядом с которым выступали верховные жрецы Сэм, Мефрес и другие, а позади них — верховные судьи Мемфиса и Фив, несколько номархов из ближайших номов, верховный казначей и смотрители житниц, скотных дворов, гардероба, дома рабов, хранилищ серебра и золота, а также множество других сановников.

Херихор поклонился Рамсесу и проговорил с волнением в голосе:

— Государь! Вечно живущему отцу твоему угодно было отойти к

богам, где он наслаждается вечным счастьем. На тебя легла обязанность заботиться о судьбах осиротевшего государства. Привет же тебе, господин и повелитель мира, и да живет вечно его святейшество Хемсем-Мерер-Амон-Рамсес-сес-нетер — хег-ан^[131]!

Присутствующие восторженно подхватили этот возглас. Все ожидали, что новый повелитель проявит волнение или растерянность. Но, ко всеобщему удивлению, он лишь нахмурил брови и ответил:

— Согласно воле святейшего отца и законам Египта, принимаю в свои руки власть и буду править во славу государства и на счастье народа...

Вдруг повелитель повернулся к Херихору и, пристально глядя ему в глаза, сказал:

— Я вижу на твоей митре золотую змею. Почему ты надел на себя символ царской власти?

Гробовая тишина воцарилась в зале. Ни один человек в Египте, даже самый дерзкий, не мог бы допустить, что молодой фараон начнет свое правление подобным замечанием, обращенным к самому могущественному лицу в государстве, пожалуй, более могущественному, чем покойный царь.

Но за спиной молодого повелителя стояло около двадцати полководцев, на дворе сверкали, точно отлитые из бронзы, гвардейские полки, а через Нил переправлялась уже его армия, сражавшаяся у Содовых озер, опьяненная победой, боготворящая своего вождя.

Могущественный Херихор стоял бледный как воск, не в силах произнести ни звука.

— Я спрашиваю твое высокопреосвященство, — спокойно повторил фараон, — по какому праву у тебя на митре царский урей?

— Это митра твоего деда, святого Аменхотепа, — тихо ответил Херихор. — Верховная коллегия повелела мне надевать ее в важных случаях...

— Святой дед мой, — сказал фараон, — отец царицы, как особую милость получил право украшать свою митру уреем. Но, насколько мне известно, его торжественный убор должен храниться среди реликвий храма Амона.

Херихор успел уже прийти в себя.

— Соболаговолите вспомнить, ваше святейшество, — пояснил он, — что целые сутки Египет оставался без законного повелителя. Кто-то должен был будить и укладывать ко сну бога Осириса, осенять благословением народ и воздавать почести царственным предкам. На это тяжкое время верховная коллегия повелела мне возложить на себя святую реликвию, потому что управление государством и служба богам не терпели

отлагательства. Но поскольку сейчас прибыл законный могущественный повелитель, я снимаю с себя эту чудесную реликвию.

Сказав это, Херихор снял с головы митру, украшенную уреем, и подал ее верховному жрецу Мефресу.

Грозное лицо фараона прояснилось, и владыка направился к трону.

Вдруг святой Мефрес остановил его и, склонившись до земли, сказал:

— Соблаговоли, святейший государь, выслушать всепокорнейшую просьбу. — Однако ни в голосе, ни в глазах его не было покорности, когда он, выпрямившись, продолжал: — Я хочу передать тебе слова верховной коллегии, всех верховных жрецов...

— Говори, — ответил фараон.

— Известно ли вашему святейшеству, — продолжал Мефрес, — что фараон, не посвященный в сан верховного жреца, не может совершать особо торжественных жертвоприношений, а также одевать и раздевать божественного Осириса?

— Понимаю, — перебил его Рамсес. — Я — фараон, не имеющий сана верховного жреца...

— Поэтому, — продолжал Мефрес, — верховная коллегия покорнейше просит ваше святейшество назначить кого-либо из верховных жрецов своим заместителем для исполнения религиозных церемоний.

Слушая эту твердую, властную речь, сказанную тоном, не допускающим никаких возражений, верховные жрецы и сановники почувствовали себя как на вулкане, военачальники же, как будто невзначай, стали хвататься за мечи. Святой Мефрес посмотрел на них с пренебрежением и снова уставился холодным взглядом в лицо фараона.

Повелитель мира и на этот раз не проявил смущения.

— Хорошо, — ответил он, — что ты напомнил мне об этой важной обязанности. Военные и государственные дела не позволят мне уделять время обрядам нашей святой религии, и мне следует назначить себе заместителя...

Говоря это, повелитель обвел взглядом присутствующих.

По левую руку от Херихора стоял верховный жрец Сэм. Фараон взгляделся в его кроткое, честное лицо и неожиданно спросил:

— Как твое имя, святой отец? И какие обязанности ты несешь?

— Зовут меня Сэм, а состою я верховным жрецом храма Птаха в Бубасте.

— Ты будешь моим заместителем для исполнения религиозных обрядов, — сказал фараон, указывая на него пальцем.

В толпе присутствующих пробежал шепот восторженного удивления.

Трудно было бы, даже после долгих размышлений и совещаний, выбрать более достойного жреца на столь высокий пост.

Только Херихор побледнел еще больше, а Мефрес сжал посиневшие губы и опустил глаза.

Вслед за тем новый фараон воссел на трон, резные ножки которого изображали фигуры князей и царей девяти подвластных Египту народов.

Херихор подал фараону на золотом блюде белую и красную корону^[132], обвитую золотым змеем. Повелитель молча возложил ее на голову, присутствующие пали ниц.

Это было еще не торжественное коронование, а лишь принятие власти.

Когда жрецы окурили фараона благовониями и пропели гимн Осирису, моля, чтобы он ниспослал на нового владыку всякие благословения, гражданские и военные сановники были допущены к целованию последней ступеньки трона. Потом владыка взял золотую ложку и, повторяя молитвы, произносимые вслух святым Сэмом, воскурил фимиами статуям богов, стоявшим в ряд по обе стороны его царского престола.

— Что я теперь должен сделать? — спросил повелитель.

— Показаться народу, — ответил Херихор.

Через позолоченную, широко открытую дверь, по мраморным ступеням фараон вышел на террасу и, воздев руки, обратился лицом по очереди к четырем странам света. Раздались звуки труб, и над пилонами взвились флаги. Кто находился в поле, на дворе или на улице, падал ниц; палка, занесенная над спиной животного или раба, опускалась, не причинив вреда, и все преступники в государстве, осужденные в этот день, получали помилование.

Спускаясь с террасы, повелитель спросил:

— Должен я еще что-нибудь исполнить?

— Теперь ваше святейшество ожидает трапеза, а потом государственные дела, — ответил Херихор.

— Значит, пока я могу отдохнуть, — сказал фараон. — Где находится тело моего святейшего отца?

— Оно бальзамируется... — тихо ответил Херихор.

Слезы подступили к глазам фараона, губы его дрогнули. Однако он сдержал себя и молча опустил голову. Не подобало, чтобы слуги видели волнение на лице столь могучего повелителя.

Чтобы отвлечь внимание государя, Херихор заметил:

— Не соблаговолит ли благочестивый государь принять знаки почитания от царицы-матери?

— Мне?.. Мне принять знаки почитания от моей матери?.. —

воскликнул в волнении фараон. И, чтобы заставить себя успокоиться, добавил с принужденной улыбкой: — Ты забыл, что говорит мудрец Ани^[133]?.. Может быть, святой Сэм повторит нам эти прекрасные слова о матери?

— «Помни, — начал Сэм, — что она родила тебя и вскормила...»

— Да, да! Продолжай! — горячо отозвался фараон, все еще делая усилия овладеть собой.

— «Если же ты забудешь об этом, она возденет руки свои к богу, и он услышит ее жалобу. Она долго носила тебя под сердцем, как тяжелое бремя, и родила по истечении срока. Потом носила на спине и три года кормила своей грудью. Так воспитала она тебя, не брезгая твоими нечистотами. Когда же ты пошел в школу и стал учиться письму, она каждый день приносила твоему учителю хлеб и пиво из дома своего». ^[134]

Фараон глубоко вздохнул и сказал уже спокойнее:

— Как видите, не подобает, чтобы мать выходила ко мне. Лучше я пойду к ней.

И прошел через анфиладу покоев, выложенных мрамором, алебастром и драгоценным деревом, расписанных яркими красками и позолотой, украшенных барельефами. За ним шла его огромная свита. У входа в покои царицы он сделал знак, чтобы его оставили одного.

Он прошел переднюю, с минуту постоял у порога, потом постучался и тихо вошел.

В комнате с голыми стенами, в которой вместо мебели стояли, в знак траура, только низкие нары, а рядом с ними надтреснутый кувшин с водой, сидела на камне мать фараона, царица Никотриса. Она была в рубище, босая, лоб ее был измазан нильской грязью, а сбившиеся волосы посыпаны пеплом.

Увидав Рамсеса, почтенная царица склонилась, чтобы пасть к его ногам. Но сын бережно поднял ее и сказал со слезами:

— Если ты, мать, склонишься передо мной до земли, то мне останется разве что спуститься под землю...

Царица прижала его голову к груди, отерла его слезы рукавом своего рубища и, воздев руки, зашептала:

— Пусть все боги... пусть дух отца и деда твоего даруют тебе свое покровительство и благословение... О Исида! Я никогда не скупилась на жертвы тебе, сегодня же приношу самую большую... отдаю тебе моего дорогого сына... Да станет этот царственный отпрыск безраздельно твоим сыном, и пусть его слава и могущество умножат твое божественное

достояние...

Фараон, обняв и несколько раз поцеловав царицу, усадил ее на нары, а сам сел на камень.

— Оставил ли мне отец какие-нибудь распоряжения? — спросил он.

— Он просил тебя только помнить о нем, а верховной коллегии сказал так: «Оставляю вам наследника, это лев и орел в одном лице, слушайтесь его, и он поднимет Египет до небывалого могущества...»

— Ты думаешь, жрецы будут мне послушны?

— Помни, — ответила мать, — эмблема фараона — змея, а змея — это благоразумие, которое долго молчит, но жалит всегда смертельно. Если ты возьмешь себе в союзники время, ты победишь.

— Херихор слишком дерзок! Сегодня он осмелился надеть на себя митру святого Аменхотепа. Разумеется, я приказал ему снять ее и отстраню его от управления. Его и несколько членов верховной коллегии.

Царица покачала головой:

— Ты владыка Египта, — сказала она, — и боги одарили тебя великой мудростью. Если бы не это, я бы очень опасалась ссоры с Херихором.

— Я не стану ссориться с ним... Я его прогоню...

— Ты владыка Египта, — повторила мать, — но остерегайся борьбы со жрецами. Правда, чрезмерная кротость твоего отца сделала их дерзкими. Не следует, однако, ожесточать их своей суровостью... К тому же подумай, кто тебе поможет советом?.. Они знают все, что было, есть и будет на земле и на небе; они читают сокровеннейшие мысли человека, и все сердца послушны им, как листья ветру. Без них ты не будешь знать, что творится не только в Тире и Ниневии, но даже в Мемфисе и Фивах.

— Я не отвергаю их мудрости, но требую, чтобы они служили мне, — ответил фараон. — Я знаю, что их мудрость велика, но за ними нужно следить, чтобы они не обманывали, и руководить ими, чтоб они не разрушали государства... Ты сама знаешь, матушка, что они сделали за тридцать лет с Египтом!.. Народ терпит нужду или бунтует, армия мала, казна пуста, а тем временем в нескольких месяцах пути от нас, как тесто на дрожжах, поднимается Ассирия и уже сейчас навязывает нам договоры!..

— Поступай как знаешь, но помни, что эмблема фараона — змея. А змея — это молчание и благоразумие.

— Ты права, матушка. Но, поверь мне, бывают случаи, когда необходима смелость. Теперь я уже знаю, что жрецы предполагали затянуть ливийскую войну на целые годы. Я закончил ее в три недели, и только потому, что каждый день делал какой-нибудь рискованный, но зато решительный шаг. Если бы я не бросился навстречу ливийцам в пустыне,

что было, конечно, величайшим безрассудством, ливийцы оказались бы сейчас под Мемфисом...

— Я знаю и то, что ты преследовал Техенну и вас настиг тифон, — молвила царица. — Ах, безрассудный мой сын... Ты не подумал обо мне!..

Фараон улыбнулся.

— Будь покойна, — ответил он, — когда фараон воюет, то по левую и по правую его руку становится Амон. А кто с ним сравнится?..

Он еще раз обнял царицу и ушел.

Многолюдная свита фараона все еще находилась в зале, но как будто раскололась на две части: с одной стороны Херихор, Мефрес и несколько престарелых верховных жрецов. С другой — все военачальники, вельможи и большая часть младших жрецов. Орлиный взгляд фараона сразу уловил и отметил этот раскол среди сановников, и в душе молодого повелителя вспыхнула радость и гордость.

«Итак, не извлекая меча, я уже одержал победу», — подумал он.

Между тем военачальники и высшие сановники все дальше и решительнее отодвигались от Херихора и Мефреса. Никто не сомневался, что оба верховных жреца, до сих пор наиболее влиятельных в государстве, не пользуются милостью нового фараона.

Владыка прошел в трапезную, где прежде всего его внимание привлекло число прислуживающих жрецов и подаваемых блюд.

— Неужели я должен все это съесть? — спросил он, не скрывая удивления.

Жрец, наблюдавший за кухней, объяснил, что блюда, оставшиеся от трапезы его святейшества, приносят в жертву умершим членам династии.

Говоря это, он указал на ряд изваяний, расставленных вдоль трапезной. Владыка посмотрел на эти статуи, которые, судя по виду, ничего не ели, а потом на цветущие лица жрецов, которые, очевидно, съедали все, и потребовал себе пива и солдатского хлеба с чесноком.

Старший жрец остолбенел, однако передал приказ дальше.

Младший заколебался было, но повторил поручение отрокам и отроковицам. Отроки, казалось, не поверили своим ушам, но тотчас же разбежались по всему дворцу.

Через четверть часа они вернулись с испуганными лицами, шепча жрецам, что нигде нет солдатского хлеба и чеснока.

Фараон улыбнулся и распорядился, чтобы впредь на кухне всегда были простые блюда. Потом съел голубя, кусок рыбы, пшеничную булку и запил все вином.

Мысленно он признал, что блюда приготовлены отлично, а вино — превосходно, однако подумал и о том, что придворная кухня, наверно, поглощает колоссальные суммы.

Воскурив благовония в честь предков, повелитель направился в царский кабинет, чтобы выслушать доклады.

Первым выступил Херихор. Он поклонился фараону значительно ниже, чем когда приветствовал его в первый раз, и с глубоким волнением в голосе поздравил его с победой над ливийцами.

— Ты, повелитель, бросился на ливийцев, как тифон на жалкие шатры кочевников в пустыне. Ты выиграл большое сражение с весьма незначительными потерями и одним ударом благословенного богами меча закончил войну, которой мы, простые смертные, не предвидели конца.

Фараон почувствовал, что его неприязнь к Херихору начинает ослабевать.

— Поэтому, — продолжал Херихор, — верховная коллегия всеподданнейше просит тебя, владыка, назначить доблестным полкам награду в десять талантов. Сам же ты, пресветлый государь, разреши рядом с твоим именем писать: «Победоносный».

В расчете на молодость фараона Херихор хватил через край в своей лести, и это отрезвило Рамсеса.

— А какое же прозвище вы дадите мне, когда я сокрошу ассирийскую армию и наполню храмы богатствами Ниневии и Вавилона? — спросил он.

«Он не перестает мечтать об этом!..» — подумал про себя верховный жрец.

Фараон же, как бы в подтверждение его опасений, спросил: — Какова же численность нашей армии?

— Здесь, под Мемфисом?

— Нет, во всем Египте.

— У вашего святейшества было десять полков, — ответил верховный жрец. — У достойнейшего Нитагора на восточной границе — пятнадцать. Десять полков стоит на юге, потому что Нубия начинает волноваться... А пять размещены гарнизонами по всей стране.

— Всего, значит, сорок? — подсчитал фараон. — А сколько в них будет солдат?

— Около шестидесяти тысяч.

Фараон вскочил с кресла.

— Шестидесят вместо ста двадцати! — вскричал он. — Что это значит? Что вы сделали с моей армией?

— У нас нет средств на содержание большей...

— О боги! — воскликнул фараон, хватаясь за голову. — Да ведь через какой-нибудь месяц на нас нападут ассирийцы! А мы обезоружены!

— С Ассирией у нас заключен предварительный договор, — заметил Херихор.

— Так может ответить женщина, а не военный министр. Какое

значение имеет договор, за которым не стоит армия?.. Ведь царю Ассару достаточно половины его армии, чтобы раздавить нас!

— Не изволь беспокоиться, святейший государь. При первом же известии о предательстве ассирийцев у нас будет полмиллиона воинов...

Фараон расхохотался ему в лицо.

— Что? Откуда? В своем ли ты уме? Ты роешься у себя в папирусах, а я семь лет провел в армии, почти не пропуская дня, чтобы не быть на ученье или маневрах. Каким образом за несколько месяцев вы соберете полумиллионную армию?..

— Вся знать выступит...

— Какой прок в твоей знати?.. Знать — это не солдаты. Для полумиллионной армии нужно по крайней мере сто пятьдесят полков, а у нас, как вы сами говорите, их всего сорок... Как же эти люди, которые сейчас пасут скот, пашут землю, лепят горшки или пьют и бездельничают в своих поместьях, — как же они научатся военному делу? Египтяне — плохие солдаты. Я это хорошо знаю, потому что наблюдаю их каждый день. Ливиец, грек, хетт уже ребенком стреляет из лука и пращи и отлично владеет палицей; за один год он научается прекрасно маршировать. А египтянин и после трех лет обучения марширует кое-как. Правда, с мечом и копьем он осваивается за два года, но чтобы научиться попадать в цель, ему мало и четырех. Значит, в несколько месяцев вы соберете не армию, а полумиллионную орду, которую в одно мгновение разобьет другая орда — ассирийская, потому что, хотя у ассирийцев полки неважные и плохо обучены, ассирийский солдат умеет метать камни и стрелы, рубить и колоть, а главное — бросаться в бой, как дикий зверь, что совсем несвойственно мирному египтянину. Мы побеждаем неприятеля тем, что наши дисциплинированные и хорошо обученные полки бьют, как таран. Чтобы расстроить нашу колонну, надо истребить половину ее солдат. Но если нет колонн, то нет и египетской армии.

— Истину говоришь ты, государь, — ответил Херихор взволнованному фараону. — Только богам дано такое знание дела. Я тоже вижу, что силы Египта слабы и что для укрепления их потребуется многолетняя работа. Потому-то я и хочу заключить договор с Ассирией.

— Ведь вы его уже заключили.

— Временный. Саргон, узнав о болезни царя и опасаясь твоего святейшества, отложил окончательное подписание договора до твоего восшествия на трон.

Фараон опять пришел в ярость.

— Что? — вскричал он. — Так они действительно думают захватить

Финикию? И надеются, что я подпишу позорный приговор своему царствованию? Злые духи обуяли всех вас!..

Аудиенция была окончена. Херихор на этот раз пал ниц. Возвращаясь от фараона, он рассуждал про себя:

«Фараон выслушал доклад — значит, он не отвергает моих услуг. Я сказал ему, что он должен подписать договор с Ассирией, следовательно, самое трудное дело сделано... Может быть, пока Саргон придет к нам снова... Но это лев... даже не лев... а разъяренный слон, этот юноша... А ведь его сделали фараоном только потому, что он — внук верховного жреца. Он еще не понимает, что те же руки, которые подняли его так высоко...»

В передней достойнейший Херихор остановился, о чем-то подумал и, вместо того чтоб пойти к себе, направился к царице Никотрисе.

В саду никого не было, только из рассеянных по нему павильонов доносились вопли. Это женщины умершего фараона оплакивали того, кто ушел на запад.

Скорбь их, казалось, была искренней.

После Херихора в кабинет нового повелителя вошел верховный судья.

— Что ты скажешь мне, достойнейший? — спросил Рамсес.

— Несколько дней назад близ Фив произошел необыкновенный случай, — ответил судья. — Какой-то крестьянин убил жену, троих детей и сам утопился в священном пруду.

— Сошел с ума?

— Очевидно, голод побудил его...

Фараон задумался.

— Странный случай, — сказал он. — А у меня к тебе другой вопрос. Какие преступления чаще всего наблюдаются в последнее время?

Верховный судья стоял в нерешительности.

— Говори смело, — сказал фараон, начиная терять терпение, — ничего не скрывай от меня. Я знаю, что Египет попал в трясину, и хочу его извлечь оттуда, а для этого мне нужно знать все источники зла...

— Чаще всего... наиболее обычные преступления — это бунты. Но бунтует только чернь... — поспешил прибавить судья.

— Я слушаю, — сказал фараон.

— В Косеме^[135], — продолжал судья, — взбунтовался полк каменщиков и каменотесов, которых вовремя не снабдили всем необходимым. В Сехеме крестьяне убили писца, собиравшего налоги. В Мелькатисе и Пи-Хебите^[136] опять-таки крестьяне разрушили дома

финикиян-арендаторов. У Касы они отказались чинить канал, утверждая, что за эту работу им полагается плата от казны. Наконец, в порфиновых каменоломнях каторжники избили надсмотрщиков и хотели всей толпой бежать к морю.

— Твои сообщения для меня отнюдь не новость, — ответил фараон. — Но что ты думаешь об этом?

— Прежде всего надо наказать виновных... А я думаю, что прежде всего надо дать работнику то, что ему полагается, — сказал фараон. — Голодный вол ложится на землю, голодная лошадь шатается на ходу и падает. Так разве можно требовать, чтобы голодный человек работал и не жаловался, что ему плохо?

— Значит, ваше святейшество...

— Пентуэр создаст комиссию для расследования этих дел, — перебил фараон. — А пока я не хочу, чтоб наказывали виновных.

— Но тогда вспыхнет общий бунт! — воскликнул с ужасом судья.

Фараон, подперши голову руками, молчал и о чем-то думал.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Пусть судьи делают свое дело, только... без жестокостей... А Пентуэр пусть сегодня же созывает комиссию... Право, — прибавил он немного погодя, — легче распоряжаться на поле сражения, чем в том хаосе, какой водворился в Египте...

После ухода верховного судьи Рамсес позвал Тутмоса и приказал ему приветствовать от имени фараона войска, возвращающиеся от Содовых озер, и раздать двадцать талантов офицерам и солдатам. Затем фараон велел позвать Пентуэра, а до его прихода принял главного казначея.

— Мне хотелось бы знать, — сказал фараон, — каково состояние нашей казны.

— В данный момент, — ответил сановник, — у нас имеется приблизительно на двадцать тысяч талантов ценного имущества в житницах, скотных дворах, амбарах и сундуках. Кроме того, ежедневно поступают налоги.

— Ежедневно бывают и бунты, — прибавил фараон. — А каковы наши доходы и расходы? На армию мы тратим в год двадцать тысяч талантов. На двор фараона от двух до трех тысяч талантов в месяц.

— Неужели? А общественные работы?

— В настоящее время они выполняются бесплатно, — ответил главный казначей, опустив глаза.

— А доходы?..

— Сколько мы тратим, столько и получаем... — бормотал казначей.

— Значит, мы получаем сорок — пятьдесят тысяч талантов в год, — подытожил фараон. — А где остальное?..

— В залоге у финикийян, у некоторых ростовщиков, у торговцев, наконец — у святых жрецов...

— Хорошо, — сказал фараон. — Но ведь существует неприкосновенный фонд фараонов в золоте, платине, серебре и драгоценных камнях. Сколько он составляет?..

— Он нарушен уже десять лет тому назад и израсходован...

— На что?.. Для кого?..

— На нужды двора, — ответил казначей, — на подарки номархам, храмам...

— Двор ведь получал средства из текущих налогов, разве подарки могли истощить всю сокровищницу моего отца?

— Осирис-Рамсес, отец ваш, был щедрым государем и делал крупные пожертвования...

— Ну, например, какие?.. Я хочу, наконец, узнать... — продолжал с раздражением допытываться фараон.

— Точные счета находятся в архивах. Я помню только общие цифры...

— Говори...

— Например, храмам, — сказал нерешительно казначей, — за время своего счастливого царствования Осирис-Рамсес подарил около сотни городов, до ста двадцати кораблей, два миллиона голов скота и два миллиона мешков зерна, сто двадцать тысяч лошадей, восемьдесят тысяч рабов, пива и вина около двухсот тысяч бочек, миллиона три караваев хлеба, тысяч тридцать дорогих одеяний, тысяч триста кувшинов меду, оливкового масла и благовоний. Кроме того, тысячу талантов золота, три тысячи серебра, десять тысяч листов бронзы, пятьсот тысяч талантов темной бронзы, шесть миллионов венков, тысячу двести статуй богов и около трехсот тысяч драгоценных камней^[137]. Других цифр я сейчас не помню, но все это записано...

Фараон рассмеялся, вскинув кверху руку, но вдруг вспыхнул и, ударив кулаком по столу, воскликнул:

— Это неслыханное дело, чтобы кучка жрецов употребила столько пива, меда, венков и одежд, имея собственные доходы. Огромные доходы, в несколько сот раз превышающие потребности этих святых...

— Ваше святейшество изволили забыть, что жрецы поддерживают десятки тысяч бедняков, лечат больных и содержат около двадцати полков за счет храмов.

— На что им эти полки?.. Ведь фараоны пользуются ими только во

время войны. Что касается больных, то почти каждый платит за себя или отрабатывает, что должен храму за лечение. А бедняки? Они работают на храмы — носят богам воду, принимают участие в торжественных процессиях, а главное — помогают творить чудеса. Ведь это им возвращают у врат храмов потерянный рассудок, зрение, слух, у них исцеляются руки и ноги, а народ, глядя на эти чудесные исцеления, тем усерднее молится и приносит богам тем более щедрые жертвы. Бедняки — это как бы вола и овцы храмов. Они приносят им чистую прибыль.

— Да ведь жрецы, — решился заметить казначей, — и не расходуют всех жертвоприношений, а копят их и увеличивают фонд.

— Для чего?

— На случай какой-нибудь внезапной нужды государства.

— А кто видел этот фонд?

— Я сам, — ответил сановник. — Сокровища, спрятанные в Лабиринте, не убывают, а множатся из поколения в поколение, чтобы в случае...

— Чтобы, — перебил фараон, — было что взять ассирийцам, когда они завоюют Египет, так чудно управляемый жрецами! Спасибо тебе, казначей, — прибавил он. — Я знал, что положение Египта очень скверно, но не предполагал, что государство разорено вконец. В стране бунты, армии нет, фараон в нужде... но зато сокровищница в Лабиринте обогащается из поколения в поколение!.. Если бы каждая династия, только династия, приносила храмам столько, сколько им подарил мой отец, в Лабиринте было бы уже девятнадцать тысяч талантов золота, около шестидесяти тысяч талантов серебра, а сколько зерна, скота, земли, рабов и городов, сколько одежд и драгоценных камней — этого не сосчитать самому лучшему счетоводу!..

Главный казначей ушел от повелителя удрученный. Но и фараон не был собой доволен. Подумав, он решил, что слишком откровенно разговаривал со своими сановниками.

Стража, дежурившая в приемной, доложила о приходе Пентуэра. Жрец пал ниц перед фараоном и спросил, нет ли у него каких-нибудь приказаний.

— Не приказывать я хочу, а просить тебя, — сказал фараон. — Ты знаешь, что в Египте бунты!.. Бунтуют крестьяне, рабочие и даже заключенные... Бунты от самого моря до рудников! Не хватает только, чтобы взбунтовались мои солдаты и объявили фараоном... ну, хотя бы Херихора...

— Да живешь ты вечно! — ответил жрец. — Нет в Египте человека, который бы не пожертвовал собой для тебя и не благословлял бы твоего имени.

— О, если бы знали, — проговорил с возмущением повелитель, — как нищ и бессилён фараон, каждый номарх объявил бы себя хозяином своего нома!.. Я думал, что, унаследовав двойную корону, я буду иметь кое-какое значение... Но уже в первый день убеждаюсь, что я — только тень прежних властителей Египта! Да и чем может быть фараон без денег, без армии, а главное — без верных слуг?.. Я — как статуя богов, перед которой курят фимиами и совершают жертвоприношения. Но статуи бессильны, а от жертвоприношений жиреют жрецы... Впрочем, что ж это я? Ведь ты на их стороне!..

— Мне очень больно, — ответил Пентуэр, — что ты, государь, так говоришь в первый день своего царствования. Если бы слух об этом разошелся по Египту...

— Кому же я могу сказать о том, что меня мучит? — перебил его фараон. — Ты — мой советник, ты спас мне или, во всяком случае, хотел спасти мне жизнь. И, конечно, не для того, чтоб разглашать то, что творится в сердце фараона, которое я раскрываю перед тобой. Но ты прав...

Фараон прошелся по комнате и после небольшой паузы проговорил значительно более спокойным тоном:

— Я поручил тебе учредить комиссию, которая должна расследовать причины непрекращающихся бунтов в моем государстве. Я хочу, чтобы наказывали только виновных и относились справедливо к несчастным.

— Да поддержит тебя бог своею милостью, — прошептал жрец. — Я исполню, государь, что ты велишь. Но причины бунтов известны мне и без расследования.

— Так объясни мне их!

— Я не раз говорил об этом. Трудящийся народ голоден, работает сверх сил и платит чрезмерные налоги. Кто раньше трудился с восхода солнца до заката, сейчас должен начинать работу за час до восхода и кончать на час позже заката. Не так давно простой человек мог каждые десять дней навещать могилы родителей, беседовать с их тенями и приносить им жертвенные дары, а сейчас ни у кого нет времени. Прежде крестьянин съедал по три пшеничные лепешки в день, а сейчас у него не всегда хватает на одну ячменную. Прежде работа на каналах, плотинах и дорогах засчитывалась как налог, — сейчас налоги приходится платить само собой, а общественные работы исполнять даром. Вот причины бунтов.

— Я — самый бедный представитель знати в государстве! — воскликнул фараон, хватаясь за голову. — Любой крестьянин дает своей скотине нужный ей корм и отдых, а мой скот всегда голоден и изнурен! Скажи, что же мне делать?..

— Ты приказываешь, господин, чтобы я сказал?

— Прошу... Приказываю... Как хочешь... Только говори.

— Да будет благословенно твое правление, истинный сын Осириса, — ответил жрец. — А делать следует вот что: прежде всего повели, государь, чтобы за общественные работы платили, как это было раньше.

— Разумеется...

— Затем распорядись, чтобы земледельческие работы длились только от восхода до заката солнца; чтобы народ отдыхал каждый седьмой день, — не десятый, а седьмой, как было во времена божественных династий. Потом еще прикажи, чтобы господа не имели права закладывать крестьян, а писцы бить их и мучить по своему произволу. И, наконец, дай... десятую или хотя бы двадцатую часть земли крестьянам в собственность, чтобы никто не мог отнять ее или отдать в залог. Если у крестьянской семьи будет хотя бы такой кусок земли, как пол в этой комнате, она уже не будет голодать. Дай, господин, в собственность крестьянам пустынные пески, и за несколько лет там вырастут сады...

— Ты хорошо говоришь, — заметил фараон, — но говоришь то, что подсказывает тебе сердце, а не жизнь. Человеческие помыслы, даже самые благие, не всегда совпадают с естественным ходом событий.

— Ваше святейшество, я уже наблюдал такие опыты и их результаты, — ответил Пентуэр. — При некоторых храмах проделывают всякие эксперименты: там лечат больных, обучают детей, разводят лучшие породы скота и сорта растений, наконец, исправляют людские нравы. И вот что получалось: когда ленивому, отощавшему крестьянину давали

хорошую еду и отдых каждые семь дней, человек этот становился здоровым и трудолюбивым и вспахивал больше земли, чем прежде. Наемный рабочий веселее и работает лучше, чем раб, сколько ни бей его железным прутком. У сытых рождается больше детей, чем у голодных и перегруженных работой; потомство людей свободных — здоровое и сильное, а потомство рабов — хилое, угрюмое и склонно к воровству и лжи.

Признано наконец, что земля, которую обрабатывает сам владелец, дает зерна и овощей в полтора раза больше, чем та, которую вспахивает раб. И вот еще любопытное явление: когда люди работают в поле под звуки песни и музыки, то не только они, но и скот, на котором они пашут, меньше устает! Все это подтвердилось во владениях наших храмов.

Фараон улыбнулся.

— Надо бы и мне завести музыку на своих хуторах и рудниках, — сказал он. — Но если жрецы убедились в таких чудесах, как ты мне рассказал, почему они не поступают так с крестьянами в своих поместьях?

Пентуэр опустил голову.

— Потому что, — ответил он, вздохнув, — не все жрецы мудры и не все благородны сердцем...

— Вот то-то же! — воскликнул фараон. — А теперь скажи мне ты, Пентуэр, сын крестьянина, почему, зная, что среди жрецов есть негодяи и глупцы, ты не хочешь служить мне в борьбе против них?.. Ведь ты же понимаешь, что я не улучшу жизни крестьян, если раньше не научу жрецов повиноваться моей воле?

Пентуэр стиснул руки.

— Государь, — ответил он, — грешно и опасно бороться с жрецами!.. Не один фараон начинал такую борьбу и... не мог довести ее до конца.

— Потому что их не поддерживали такие люди, как ты!.. — воскликнул фараон. — И в самом деле, я никогда не пойму, почему умные и честные жрецы терпят рядом с собой банду бездельников, какую представляет большинство этого сословия?..

Пентуэр покачал головой.

— Тридцать тысяч лет, — начал он наконец, — святая жреческая каста печется о судьбе Египта и сделала его таким, каков он ныне, — государством, которому дивится весь мир. Чем же объяснить, что, несмотря на пороки этой касты, ей удалось достигнуть этого?.. А тем, что жрец — это светильник, в котором горит свет мудрости. Светильник может быть грязным и даже зловонным, но он хранит в себе божественный огонь, без которого среди людей царили бы мрак и невежество.

Ты говоришь, государь, о борьбе с жречеством, — продолжал Пентуэр. — Чем может она кончиться для меня?.. Если ты проиграешь — я буду несчастен, потому что ты не улучшишь жизни крестьян. А если ты выиграешь? О, я не хотел бы дожить до этого!.. Ибо, если ты разобьешь светильник, кто знает, не погасишь ли ты и тот свет мудрости, который тысячи лет горит над Египтом и над всем миром. Вот, господин мой, почему я не хочу вмешиваться в твою борьбу со святой жреческой кастой. Я чувствую, что эта борьба приближается и страдаю от того, что — ничтожный червь — не могу ее предупредить. Но вмешиваться в нее я не стану, потому что мне пришлось бы изменить или тебе, или богу — творцу мудрости...

Фараон, слушая Пентуэра, задумчиво шагал по комнате.

— Гм! — произнес он без гнева. — Поступай как хочешь. Ты не солдат, и я не могу упрекать тебя в недостатке смелости... Ты не можешь быть мне советником... Прошу тебя все же заняться исследованием крестьянских бунтов, и, когда я призову тебя, ты скажешь мне, что повелит тебе мудрость.

Прощаясь с фараоном, Пентуэр преклонил колени.

— Во всяком случае, — прибавил фараон, — знай, что я не хочу гасить божественный свет. Пусть жрецы лелеют мудрость в своих храмах, но пусть они не разваливают мне армию, не заключают позорных договоров и... — продолжал он уже с жаром, — пусть не обкрадывают царских сокровищниц. Уж не думают ли они, что я буду стоять как нищий, у их ворот, чтобы они дали мне средства на поддержание государства, разоренного их нелепым и негодным правлением?.. Ха-ха!.. Пентуэр, я и богов не стану просить о том, что является моим правом и моей силой... Можешь идти...

Жрец вышел, пятясь назад и отвешивая поклоны, а в дверях припал лицом к земле.

Фараон остался один.

«Люди, — размышлял он, — что дети. Ведь Херихор умен. Он знает, что Египту на случай войны потребуется полмиллиона солдат, знает, что этих солдат нужно обучить, и тем не менее сократил число и состав полков. Главный казначей тоже не глуп, но ему кажется вполне естественным, что все сокровища фараонов перекочевали в Лабиринт! Наконец, Пентуэр. Вот странный человек!.. Он хочет, чтобы крестьяне хорошо питались, владели землей и достаточно отдыхали... Хорошо... но ведь это только уменьшит мои доходы, которые и так уже слишком ничтожны. А если я ему скажу: „Помоги мне отнять у жрецов царские сокровища...“ — он назовет меня

безбожником, гасителем света в Египте!.. Чудак!.. Готов всю страну перевернуть, когда речь идет о благе крестьян, но ни за что не решится взять за шиворот верховного жреца и бросить в тюрьму. Он совершенно спокойно требует, чтобы я отказался от доброй половины моих доходов, но, я уверен, не посмеет вынести медного дебена из Лабиринта».

Рамсес улыбался, продолжая рассуждать:

«Все хотят быть счастливыми. Но только попытаешься сделать что-либо для общего счастья, как тебя хватают за руку, словно человек, которому рвут больной зуб... Поэтому повелитель должен быть решительным. И мой божественный отец был неправ, оставляя в пренебрежении крестьян и безгранично доверяя жрецам... Он оставил мне тяжелое наследие... Но я все-таки справлюсь. У Содовых озер было тоже нелегко... Труднее, чем здесь. Тут все только болтуны и трусы, а там были люди с оружием в руках, готовые идти на смерть. Одна битва открывает нам то, чего мы не узнаем за десять лет спокойного правления... Тот, кто скажет себе: „Преодолею препятствие!..“ — преодолеет его. Но кто остановится в нерешительности, тому придется отступить».

Смеркалось. Во дворце сменился караул, в отдаленных залах зажгли факелы.

Только в покои властителя никто не смел войти без зова.

Фараон, утомленный бессонной ночью, путешествием и делами, опустил в кресло. Ему казалось, что он царствует уже сотни лет, и трудно было поверить, что нет еще и суток с тех пор, как он был под пирамидами.

«Сутки!.. Не может быть!..»

Потом ему пришло в голову, что в груди наследника престола обитают души прежних фараонов. Наверно, так, иначе откуда в нем это чувство чего-то знакомого, что уже было когда-то. И почему сегодня управление государством кажется ему таким простым, тогда как еще месяца два назад он боялся, что не справится.

«Прошел только один день! А мне кажется, что я здесь уже тысячи лет!»

Вдруг он услышал глухой голос:

— Сын мой!.. Сын мой!..

Фараон вскочил с кресла.

— Кто здесь? — воскликнул он.

— Это я!.. Неужели ты забыл меня?..

Фараон не мог понять, откуда доносится голос — сверху, снизу, или, может быть, от большой статуи Осириса, стоящей в углу.

— Сын мой! — снова раздался голос. — Чти волю богов, если хочешь

получить их благословение... О, чти богов, ибо без их помощи высшее могущество на земле — прах и тень... О, чти богов, если хочешь, чтобы горечь твоих ошибок не отравила моего пребывания в блаженной стране Заката!..

Голос смолк. Фараон приказал принести свет. Одна дверь комнаты была заперта, у другой стоял караул. Никто посторонний не мог сюда войти.

Гнев и тревога терзали сердце фараона. Что же это было? Неужели в самом деле с ним говорила тень его отца? Или этот голос — новый обман жрецов? Но если жрецы могут говорить с ним на расстоянии, несмотря на толстые стены, то, следовательно, они могут и подслушивать, а тогда, значит, повелитель мира — дикий зверь, попавший в облаву.

Правда, в царском дворце подслушивание было обычным делом. Но фараон надеялся, что по крайней мере в своем кабинете он может не бояться этого и что дерзость жрецов не переступит его порога.

А что, если это дух?

Фараон не стал ужинать и лег спать. Он думал, что не заснет, но усталость взяла верх над возбуждением.

Через несколько часов его разбудил звон колокольчиков и свет. Была полночь, и жрец-астролог пришел с докладом о расположении небесных светил. Фараон выслушал доклад.

— Не можешь ли ты, почтенный пророк, с завтрашнего дня делать свои донесения достойному Сэму? Он — мой заместитель в делах, касающихся религии...

Жрец-астролог очень удивился равнодушию фараона к делам небесным.

— Ваше святейшество пренебрегает указаниями, которые дают повелителям звезды?..

— Дают? — повторил фараон. — Что же сулят мне звезды?

Астролог, по-видимому, только и ждал этого вопроса, ибо ответил, не задумываясь:

— Горизонт временно затемнен. Повелитель мира не ступил еще на путь истины, ведущей к познанию воли богов. Но рано или поздно он найдет его, а вместе с ним долгую счастливую жизнь и царствование, исполненное славы...

— Вот как!.. Спасибо тебе, святой муж. Теперь я уже знаю, к чему я должен стремиться, и постараюсь следовать указаниям. А тебя еще раз прошу отныне обращаться к достойнейшему Сэму. Он — мой заместитель, и, если когда-нибудь ты прочтешь на звездном небе что-либо поучительное,

он мне расскажет об этом утром.

Жрец покинул опочивальню фараона, качая головой.

— Перебили мне сон, — с досадой сказал Рамсес.

— Высокочтимейшая царица Никотриса, — доложил неожиданно адъютант, — час назад приказала мне просить у тебя свидания.

— Сейчас? В полночь? — удивился фараон.

— Она сказала, что как раз в полночь ты проснешься.

Фараон подумал и ответил адъютанту, что будет ожидать царицу в золотом зале. Он полагал, что там никто не подслушает их разговора.

Он накинул на себя плащ, надел, не завязав, сандалии и велел ярко осветить зал. Потом вышел, приказав слугам не провожать его.

Мать он застал уже в зале в траурной одежде из грубого холста. Увидав фараона, царица хотела пасть на колени, но сын поднял ее и обнял.

— Разве случилось что-нибудь очень важное, матушка, что ты утруждаешь себя в такой час? — спросил он.

— Я не спала... молилась, — ответила она. — О, сын мой! Твоя мудрость подсказала тебе, что дело важное. Я слышала божественный голос твоего отца...

— В самом деле?... — проговорил фараон, чувствуя, что в нем закипает ярость.

— Вечно живущий отец твой говорил мне с глубокой скорбью, что ты вступил на неверный путь. Ты отказываешься от посвящения в верховные жрецы и оскорбляешь слуг божьих... «Кто же останется с Рамсесом, — говорил твой божественный родитель, — если он вооружит против себя богов и если жрецы его покинут? Скажи... скажи ему, что он погубит Египет, себя и династию».

— Ото! Так вот чем они мне угрожают! — воскликнул фараон. — В первый же день царствования!.. Собака громче всего лает, когда сама боится. Матушка! Эти угрозы — плохое предзнаменование, но не для меня, а для жрецов!..

— Но ведь это говорил твой отец, — повторила с сокрушением мать.

— Вечно живущий мой отец, — ответил фараон, — и святой дед Аменхотеп, как чистые духи, знают мое сердце и видят плачевное состояние Египта. А так как я стремлюсь укрепить благосостояние страны, прекратив злоупотребления, то они не захотят помешать мне.

— Так ты не веришь, что дух отца дает тебе советы? — спросила мать, с ужасом взирая на сына.

— Не знаю, но у меня есть основания предполагать, что голоса духов, раздающиеся в разных углах нашего дворца — какой-то фокус жрецов.

Только жрецы могут бояться меня, но никак не боги и духи... Это не духи пугают нас, матушка.

Царица задумалась, слова сына явно произвели на нее впечатление. Она видела немало чудес в своей жизни, и некоторые ей самой казались подозрительными.

— В таком случае, мой сын, — сказала она, — ты неосторожен. Сегодня после полудня у меня был Херихор. Он очень недоволен свиданием с тобой. Он говорил, что ты хочешь отстранить жрецов от двора.

— А на что они мне? Разве для того, чтобы увеличивать расходы на мою кухню и погреб... Или для того, чтобы они подслушивали, что я говорю, и подсматривали, что я делаю?

— Вся страна возмутится, если жрецы объявят, что ты безбожник, — настаивала царица-мать.

— Страна уже волнуется... Но по вине жрецов, — ответил фараон. — Да и о благочестии египетского народа я начинаю составлять себе другое мнение. Если бы ты знала, матушка, сколько в Нижнем Египте ведется дел об оскорблении богов, а в Верхнем об ограблении умерших, ты бы убедилась, что для нашего народа дело жрецов уже перестало быть святым.

— Это влияние иноземцев, заполонивших Египет! — воскликнула царица. — Особенно финикиян...

— Не все ли равно, чье это влияние. Достаточно, что Египет уже не считает ни статуи, ни жрецов существами сверхъестественными... А если бы ты, матушка, послушала, что говорит знать, офицеры, солдаты, ты бы поняла, что пришло время поставить власть фараона над властью жрецов, чтобы не рушился всякий порядок в этой стране.

— Ты владыка Египта, — вздохнула царица, — и мудрость твоя велика. Поступай же как знаешь... Но действуй осторожно... О, осторожно!.. Скорпион, даже раздавленный, может ужалить опрометчивого победителя.

Мать и сын обнялись, и фараон вернулся в свою опочивальню. Но теперь он уже не мог заснуть. Он ясно видел, что между ним и жрецами началась борьба или, вернее, нечто отвратительное, что не заслуживает даже названия борьбы и с чем, он, полководец, не знал еще, как справиться.

Где тут враг? Против кого должна выступать его верная армия? Против жрецов, которые падают перед ним ниц? Или против звезд, которые говорят, что фараон еще не вступил на путь истины. С кем и с чем тут бороться?

Может быть, с этими голосами духов, раздающимися в сумерки? Или с родной матерью, которая в ужасе молит его, чтобы он не прогонял

жрецов...

Фараон метался на своем ложе, чувствуя полную беспомощность. Но вдруг у него мелькнула мысль:

«Какое мне дело до врага, который подобен грязи, что расползается между пальцами?.. Пусть грозят мне в пустых залах, пусть сердятся на мое неверие... Я буду повелевать, и кто посмеет не исполнять моих повелений, тот мой враг и против того я обращу полицию, суд и армию».

Итак, фараон Мери-Амон-Рамсес XII, повелитель обоих миров, владыка вечности, дарующий жизнь и всяческую радость, скончался в месяце атир после тридцати четырех лет благополучного царствования.

Он умер, ибо почувствовал, что тело его становится слабым и нежизнеспособным. Умер, ибо затосковал по вечной родине и пожелал передать земную власть в более молодые руки. Наконец, потому, что он так хотел, такова была его воля. Божественный дух его отлетел, как ястреб, который, покружив над землей, исчезает в лазурном просторе.

Как жизнь его была лишь временным пребыванием бессмертного существа в этом брэнном мире, так его смерть явилась лишь одним из моментов его божественного бытия.

В последний день своей земной жизни фараон проснулся с восходом солнца и, поддерживаемый двумя пророками, окруженный хором жрецов, направился к часовне Осириса. Там, как всегда, воскресил божество, омыл его и одел, совершил жертвоприношение и воздел руки для молитвы.

В это время жрецы пели.

Хор первый. «Хвала тебе, возносящийся над горизонтом и оббегающий небо...»

Хор второй. «Чудесный путь твой — залог благополучия тех, на чей лик падут твои лучи...»

Хор первый. «Мог ли бы я, о солнце, шествовать, как ты, не останавливаясь!...»

Хор второй. «Великий путник бесконечного пространства, над которым нет господина и для которого сотни миллионов лет — одно мгновение...»

Хор первый. «Ты заходишь, но продолжаешь существовать. Ты множишь часы, дни и ночи, сам же ты вечен и творишь для себя законы...»

Хор второй. «Ты озаряешь землю своими руками, отдавая в жертву самого себя, когда в облике Ра восходишь на горизонте...»

Хор первый. «О светоч, восходящий на горизонте, великий своей лучезарностью, — ты сам творишь свои формы...»

Хор второй. «И, никем не рожденный, сам рождаешь себя на горизонте...»

После этого раздался голос фараона:

— «О лучезарный на небе! Дозволь мне войти в вечность, соединиться

с великими и совершенными тенями высшего мира и вместе с ними созерцать твой свет утром и вечером, когда ты соединишься со своей матерью Нут^[138]. И когда-ты обратишь свой лик на запад, пусть мои руки вознесутся для молитвы во славу засыпающей за горами жизни...»^[139]

Так, воздев к небу руки, говорил фараон, окруженный облаком фимиама. И вдруг умолк и откинулся назад, стоявшие за ним жрецы подхватили его.

Он был уже мертв.

Весть о смерти фараона молнией облетела дворец. Слуги бросили свою работу, надсмотрщики перестали наблюдать за рабами. Вызвали гвардию, поставили караулы у всех входов. На главном дворе стала собираться толпа поваров, кладовщиков, конюхов, женщин фараона и детей. Одни спрашивали: правда ли это? Другие удивлялись, что солнце светит на небе. И все громко зывали:

— «О господин!.. О наш отец!.. О любимый!.. Может ли быть, что ты уже уходишь от нас!.. О да, он идет в Абидос^[140]... На Запад!.. На Запад! В землю правочерных. Место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе!..».^[141]

Ужасные вопли раздавались по всем дворам, по всему парку. Они докатились до восточных гор, на крыльях ветра перелетели через Нил и посеяли тревогу в Мемфисе.

Между тем жрецы с молитвами усадили тело умершего в богатые крытые носилки. Восемь человек взялись за шесты, четверо держали опахала из страусовых перьев, у остальных были в руках кадильницы.

Тогда прибежала царица Никотриса и, увидев тело уже на носилках, бросилась к ногам умершего.

— «О муж мой!.. О брат мой!.. О возлюбленный мой!.. — кричала она, заливаясь слезами. — О возлюбленный, останься с нами, останься в своем доме! Не покидай того места на земле, где ты пребываешь!..»

— «С миром, с миром, на Запад!.. — пели жрецы. — О великий владыка! Иди с миром на Запад!..»

— «Увы! — продолжала рыдать царица. — Ты спешишь к переправе, чтобы переплыть на другой берег! О жрецы, о пророки, не спешите, оставьте его!.. Ведь вы вернетесь домой, а он уйдет в страну вечности».

— «С миром, с миром, на Запад! — пел хор жрецов. — Если будет угодно богу, мы снова увидим тебя, повелитель, когда наступит день вечности! Ибо идешь ты в страну, объединяющую всех людей...»^[142]

По знаку, данному достойным Херихором, прислужницы оторвали

госпожу от ног фараона и насильно увели в ее покои.

Носилки, несомые жрецами, тронулись, и в них повелитель, одетый, как при жизни. Справа и слева, перед ним и за ним шли военачальники, казначеи, судьи и верховные писцы, оруженосец с секирой и луком и, наконец, жрецы всех ступеней.

Во дворе прислуга, вопя и рыдая, пала ниц, а солдаты взяли на караул; зазвучали трубы, словно приветствуя живого царя.

И действительно, царь, как живой, сидел в носилках, несомых к переправе. Когда же достигли берега Нила, жрецы поставили носилки на золоченую барку под пурпурным балдахин, как и при жизни фараона.

Здесь носилки засыпали цветами. Против них поставили статую Анубиса^[143], и царское судно направилось к противоположному берегу Нила, провожаемое плачем прислуги и придворных женщин.

В двух часах пути от дворца, за Нилом, за каналом, за плодородными полями и рощами пальм, между Мемфисом и «плоскогорьем мумий», расположился своеобразный город. Все его строения были посвящены мертвым и заселены лишь колхитами^[144] и парасхитами, бальзамировавшими трупы.

Город этот был как бы преддверием настоящего кладбища, мостом, соединявшим мир живых с местом вечного покоя. Сюда доставляли покойников и делали из них мумии. Здесь готовили священные свитки и опояски, гробы, утварь, сосуды и статуи для умерших.

Отдаленный от Мемфиса на значительное расстояние, город был окружен длинной стеной с несколькими воротами. Процессия, сопровождавшая тело фараона, остановилась перед воротами, которые поражали своим величием. Один из жрецов постучался.

— Кто там? — спросили изнутри.

— Осирис-Мери-Амон-Рамсес, повелитель обоих миров, прибыл к вам и требует, чтобы вы приготовили его к вечному странствию, — ответил жрец.

— Может ли быть, чтобы погасло солнце Египта?..

— Такова была его воля, — отвечал жрец. — Примите же повелителя с должными почестями, окажите ему все услуги, как подобает, чтобы не постигла вас кара в земной и грядущей жизни.

— Все сделаем по вашему слову, — произнес голос изнутри.

Тогда жрецы оставили носилки у ворот и поспешно удалились, чтобы не повеяло на них нечистым дыханием скопившихся в этом месте трупов. Остались только сановники с верховным судьей и казначеем во главе.

После долгого ожидания ворота открылись, и из них вышло десятка полтора людей в жреческих одеяниях и закрытых капюшонах.

При виде их судья сказал:

— Отдаем вам тело господина нашего и вашего. Сделайте с ним все, что повелевает религия, не забудьте ничего, чтобы великий покойник по вашей вине не испытывал неудобств на том свете.

Казначей же прибавил:

— Не жалейте золота, серебра, малахита, яшмы, изумрудов, бирюзы и редчайших благовоний для нашего владыки, чтобы у него ни в чем не было недостатка и все было самого лучшего качества. Это говорю вам я, казначей. Если же найдется негодяй, который захотел бы подменить благородные металлы жалкими подделками, а драгоценные камни — финикийским стеклом, пусть помнит, что у него будут отсечены руки и выколоты глаза.

— Будет так, как вы требуете, — ответил один из жрецов с закрытым лицом.

Остальные подняли носилки и вошли с ними внутрь «города мертвых». Они пели:

— «Ты идешь с миром в Абидос. Да достигнешь ты с миром фиванского Запада... На Запад! На Запад!.. В страну праведных!..»

Ворота закрылись. Верховный судья, казначей и сопровождавшие их сановники повернули назад к переправе, чтобы возвратиться во дворец.

Жрецы в капюшонах отнесли носилки в огромное здание, в котором бальзамировались только тела царей и высших сановников, пользовавшихся исключительной милостью фараона. Они остановились при входе, где стояла золотая ладья на колесах, и стали снимать покойника с носилок.

— Поглядите-ка!.. — воскликнул один из тех, что были в капюшонах. — Ну, не разбойники ли это?.. Фараон умер в часовне Осириса и, значит, должен был быть в парадном наряде, а тут — нате-ка! Вместо золотых запястий — медные, цепь — тоже медная, а в перстнях — поддельные камни...

— Верно, — подтвердил второй. — Любопытно, кто это его так обрядил: жрецы или чиновники?

— Наверняка жрецы... Чтоб у вас руки отсохли, негодяи! Вор на воре, а еще смеют нас учить, чтоб мы давали покойнику все лучшего качества.

— Это не они требовали, а казначей.

— Все они хороши...

Так, обмениваясь замечаниями, бальзамировщики сняли с покойника

царские одежды, надели на него тканый золотом халат и перенесли тело в ладью.

— Теперь, благодарение богам, у нас новый фараон, — сказал один из тех, что были в капюшонах. — Этот наведет порядки среди жрецов. Они за все заплатят сторицей.

— Ого!.. Говорят, это будет строгий владыка! — добавил другой. — Дружит с финикийцами, с Пентуэром, хотя тот не родовитый жрец, а из таких же бедняков, как мы с вами... А солдаты, как слышно, готовы за него в огонь и в воду...

— И только на днях наголову разбил ливийцев.

— А где он сейчас, этот новый фараон? — спросил кто-то. — В пустыне? Как бы с ним не случилось несчастья, прежде чем он вернется в Мемфис.

— Кто ему что сделает, когда войско за него! Не дожидаться мне честных похорон, если молодой наш государь не вытопчет жрецов, как буйвол пшеницу!

— Ну и дурак же ты! — выругался молчавший до сих пор парасхит. — Разве фараону осилить жрецов!

— А почему бы и нет?

— А ты слыхал когда-нибудь, чтобы лев разодрал пирамиду?

— Тоже сказал!

— Или буйвол поднял ее на рога?

— Разумеется, нет!

— Может, вихрь ее развеет?

— Да что ты пристал со своими вопросами!

— Вот я тебе и говорю, что скорее лев, буйвол или вихрь свалят пирамиду, нежели фараон одолеет жрецов... будь он лев, буйвол и вихрь в одном лице!..

Тут сверху кто-то позвал:

— Эй вы там, готов покойник?

— Готов, готов, только у него челюсть отвалилась, — ответили из сеней.

— Неважно! Давайте его сюда! Исиде некогда, ей через час в город идти.

Золотая ладья с покойником была немедленно поднята на канате вверх, на внутреннюю галерею.

Из первой комнаты вход вел в большой зал со стенами, выкрашенными в голубой цвет и усеянными желтыми звездами. Во всю длину зала, вдоль одной из стен тянулась галерея, изогнутая в виде дуги; концы ее

находились на уровне первого этажа, а середина была на пол-этажа выше. Зал должен был изображать собой небесный свод, галерея — путь солнца на небе, умерший же фараон представлял Осириса, или солнце, движущееся с востока на запад. Внизу стояла кучка жрецов и жриц, которые в ожидании торжества разговаривали о своих делах.

— Готово!.. — крикнули с галереи.

Разговоры прекратились.

Наверху раздался троекратный звон бронзовой доски, и на галерее показалась золоченая ладья солнца, в которой плыл покойник.

Внизу зазвучал гимн в честь солнца:

— «Вот он является в облаке, чтобы отделить небо от земли, а затем соединить их... Постоянно находясь в каждой вещи, он — единственный из живущих, в котором нашли бессмертное воплощение различные предметы».

Ладья медленно подвигалась к середине дуги и, наконец, остановилась на самом верху.

В это время на нижнем конце дуги появилась жрица, одетая богиней Исидой, с сыном Гором, и так же медленно стала подниматься вверх. Это был образ луны, движущейся за солнцем. Ладья Осириса-фараона с вершины дуги стала спускаться к западу.

Внизу опять послышался хор:

— «Бог, воплощенный во всех предметах, дух Шу^[145], живущий во всех богах. Он есть плоть живого человека, творец дерева, несущего плоды, он — виновник оплодотворяющих землю разливов, без него ничто не живет на земле».^[146]

Ладья опустилась на западном конце галереи. Исида с Гором остановилась на вершине дуги. К ладье подбежала группа жрецов, и тело фараона извлекли и положили на мраморный стол, словно Осириса для отдыха после дневных трудов.

К покойнику подошел парасхит, одетый богом Тифоном. На голове у него были чудовищная маска и рыжий косматый парик, на спине кабанья шкура, а в руке — каменный эфиопский нож.

Этим ножом он стал быстро срезать у покойника подошвы.

— Что делаешь ты со спящим, брат Тифон? — спросила его с галереи Исида.

— Очищаю ноги брата моего Осириса, чтобы он не грязнил неба земным прахом, — ответил парасхит, одетый Тифоном.

Отрезав подошвы, парасхит взял в руки изогнутую проволоку,

погрузил ее в нос покойника и стал извлекать мозг. Затем вспорол ему живот и через отверстие быстро вынул внутренности, сердце и легкие.

Тем временем помощники Тифона принесли четыре большие урны, украшенные головами богов Хапе, Эмсета, Дуамутфа, Кебхеснеуфа^[147], и в каждую из этих урн положили какой-нибудь из внутренних органов умершего.

— А теперь что ты там делаешь, брат Тифон? — спросила во второй раз Исида.

— Очищаю брата моего Осириса от всего земного, чтобы придать ему высшую красоту, — ответил парасхит.

Рядом с мраморным столом находился бассейн с водой, насыщенной содой. Парасхиты, очистив труп, опустили его в бассейн, в котором он должен был мокнуть семьдесят дней. Между тем Исида, пройдя всю галерею, спустилась в зал, где парасхит только что вскрыл и очистил тело фараона. Она взглянула на мраморный стол и, видя, что он пуст, спросила в испуге:

— Где мой брат? Где мой божественный супруг?..

В этот момент грянул гром, зазвучали трубы и бронзовые доски. Парасхит, одетый Тифоном, захохотав, воскликнул:

— Прекрасная Исида, ты, которая вместе со звездами делаешь ночи радостными! Нет больше твоего супруга! Никогда больше лучезарный Осирис не воссядет на золоченую ладью, никогда больше солнце не покажется на небосводе. Я это сделал, — я, Сет, я спрятал его так глубоко, что не найдет его ни один из богов, ни даже все вместе!..

При этих словах богиня, разорвав одежды, стала рыдать и рвать на себе волосы. Снова загрели трубы, громы и бронзовые доски, среди жрецов и жриц поднялся ропот, и вдруг все набросились на Тифона с криком:

— Проклятый дух тьмы, вздымающий вихри пустыни, волнующий море, затмевающий свет дневной!.. О, провались в бездну, из которой сам отец богов не сможет тебя извлечь! Проклятый! Проклятый Сет!.. Пусть имя твое будет ненавистно людям!

Все стали колотить Тифона кулаками и дубинками, а рыжеволосый бог бросился удирать и наконец выбежал из зала.

Три новых удара по бронзовой доске, и церемония окончилась.

— Ну, довольно! — крикнул старший жрец на парасхитов, которые стали драться уже не на шутку. Ты, Исида, можешь отправляться в город, а остальные беритесь за других покойников; они уже давно ждут вас... Вы напрасно пренебрегаете простыми смертными, потому что еще неизвестно,

как нам за этого заплатят...

— Разумеется, не много! — откликнулся бальзамировщик. — Говорят, казна пуста, а финикияне грозят прекратить займы, если им не дадут новых привилегий.

— Нет на них погибели, на ваших финикиян! Они нас заграбастали в свои руки, того и гляди, придется просить у них на ячменную лепешку.

— Однако если они не дадут на погребение фараона, мы тоже ничего не получим.

Постепенно разговоры утихли, и все покинули голубой зал. Только у бассейна, где мокли останки фараона, стояла стража.

На фоне этого торжества, воссоздающего легенду об убиении Осириса (солнца) Тифоном (богом ночи и преступлений), происходил ритуал вскрытия и очистки тела фараона и подготовка его к бальзамированию.

Семьдесят дней лежал покойник в насыщенной содой воде, очевидно в память того, что злой Тифон утопил брата в Содовых озерах. И все эти дни, утром и вечером, жрица, переодетая Исидой, приходила в голубой зал, рыдала и рвала на себе волосы, спрашивая присутствующих, не видал ли кто ее божественного супруга и брата.

По истечении этого срока траура в зале появился Гор, сын и наследник Осириса, со своей свитой.

— Не поискать ли здесь труп моего отца и брата? — спросил Гор.

При громких и радостных возгласах жрецов, под звуки музыки тело фараона извлекли из укрепляющей ванны.

Затем тело было вложено в каменную трубу, сквозь которую в течение нескольких дней пропускался горячий воздух, и после сушки было отдано бальзамировщикам.

Теперь начались наиболее важные церемонии, которые совершали над покойником высшие жрецы «города мертвых».

Тело фараона, обращенное головой к югу, обмывали снаружи освященной водой, а внутри — пальмовым вином. На полу, посыпанном пеплом, сидели плакальщики, рвали на себе волосы и, раздирая лица, причитали над умершим. Вокруг смертного одра собрались жрецы, переодетые богами: обнаженная Исида в короне фараонов, юноша Гор, Анубис с головой шакала, бог Тот^[148] с птичьей головой, держащий в руках таблички, и много других.

Под наблюдением этого высокого собрания бальзамировщики стали наполнять внутренние полости тела сильно пахнущими травами, опилками, а также вливать туда благовонные смолы, сопровождая эти действия молитвами. Вместо его собственных умершему вставили стеклянные глаза

в бронзовой оправе. Затем тело посыпали содовым порошком.

Тогда приблизился новый жрец и объявил присутствующим, что тело усопшего есть тело Осириса и все его особенности суть особенности Осириса.

— «Чудодейственная сила его левой височной кости — это сила височной кости бога Тума^[149], а его правый глаз — глаз Тума, своими лучами пронизывающий тьму. Его левый глаз — глаз Гора, приводящий в оцепенение все живое; его верхняя губа — Исида, и нижняя — Нефтис^[150]. Шея покойника — богиня, руки — души богов, пальцы — небесные змеи — сыновья богини Селькит^[151]. Его бедра — два пера Амона, хребет — позвоночный столб Сибу^[152], живот — богиня Нуэ».

Другой жрец провозгласил:

— «Даны мне уста, чтобы говорить, ноги — чтобы ходить, руки — чтобы повергать в прах моих врагов. Воскресаю, существую, отверзаю небо, делаю то, что повелели мне в Мемфисе».

В это время на шею мумии надевали изображение жука скарабея, сделанное из драгоценного камня, со следующей надписью:

«О мое сердце, сердце, которое я получил от матери, которое было у меня, когда я пребывал на земле, — о сердце, не восстань против меня и не дай злого свидетельства обо мне в день суда»^[153].

Затем жрецы обвивали каждую руку и ногу, каждый палец мумии лентами, на которых были написаны молитвы и заклинания. Ленты эти склеивали обычно смолами и бальзамами. На грудь и шею мумии положили полный манускрипт «Книги мертвых», причем жрецы произносили при этом вслух следующие слова:

— «Я — тот, которому ни один бог не ставит препятствий.

Кто это?

Это Тум на своем щите, это Ра на своем щите, что появляется на восточной стороне неба.

— Я — Вчера, и мне известно Завтра.

Кто это?

Вчера — это Осирис, Завтра — это Ра, в день, когда он истребит врагов повелителя вселенной и когда принесет в жертву своего сына Гора. Другими словами: в день, когда гроб Осириса встретит на своем пути его отец Ра. Он победит богов по велению Осириса, господина горы Аменти^[154].

Что это?

Аменти — это тот, кого сотворили души богов, согласно велению

Осириса, господина горы Аменти.

Другими словами: Аменти — это гнев, рожденный Осирисом; каждый бог, пребывающий там, вступает с ним в единоборство. Знаю великого бога, что пребывает там.

Я явился сюда из своей страны, пришел из своего города, истребляю злое, отвращаю недоброе, очищаюсь от грязного. Направляюсь в страну обитателей неба, вступаю через великие ворота.

О мои спутники, дайте мне руку, ибо я буду одним из вас»^[155].

Когда каждая часть тела умершего была обернута молитвенными лентами и снабжена амулетами, когда у него уже был достаточный запас наставлений, которые должны были помочь ему ориентироваться в стране богов, пора было подумать о документе, который открыл бы ему врата в эту страну. Ибо между могилой и небом умершего ожидают сорок два страшных судьи, которые под председательством Осириса рассматривают его земную жизнь. Лишь когда сердце покойного, взвешенное на весах правосудия, окажется равным богине истины и когда бог Тот, записывающий на табличках дела умершего, признает их добрыми, лишь тогда Гор возьмет тень за руку и поведет ее к трону Осириса.

И вот для того, чтобы умерший мог оправдаться перед судом, необходимо обернуть его мумию в папирус, на котором написана полная его исповедь. Пока мумию заворачивают в этот документ, жрецы четко и внушительно, чтобы усопший ничего не забыл, читают:

— «Владыки истины, приношу вам самое истину: ни одному человеку не сотворил я зла, нарушив клятву. — Не сделал несчастным никого из моих ближних. — Не позволял себе сквернословия и лжи в доме истины. — Не дружил со злом. — Не причинял сам зла. — Повелитель страны, я не принуждал подвластных мне людей работать сверх сил. — Никто по моей вине не стал боязливым, калекой, больным или несчастным. — Я не делал ничего, что отвратило бы от меня богов. — Я не истязал раба. — Не морил его голодом. — Не доводил до слез. — Не убивал. — Не принуждал другого к вероломному убийству. — Не лгал. — Не расхищал имущества храмов. — Не уменьшал доходов, жертвуемых богам. — Не крал хлеба и опоясок у мумий. — Не содеял греха со жрецом моего округа. — Не отнимал и не урезывал его имения. — Не употреблял фальшивых весов. — Не отнимал младенца от груди его кормилицы. — Не совершал зверских поступков. — Не ловил сетями жертвенных птиц. — Не вредил разливу рек. — Не отводил течения каналов. — Не гасил огня в неположенное время. — Не похищал у богов жертвенных даров, которые

они выбрали для себя. — Я чист... Я чист... Я чист...»^[156]

Когда покойник благодаря «Книге мертвых» уже знал, как вести себя в стране бессмертия и прежде всего как оправдаться перед судом сорока двух богов, жрецы излагали ему предисловие к этой книге, объясняя всю важность ее. Поэтому бальзамировщики, окружавшие только что приготовленную мумию фараона, удалялись, а приходил верховный жрец «города мертвых» и шептал покойнику на ухо:

— «Знай, что, овладев этой книгой, ты будешь принадлежать к живущим и пользоваться среди богов особым влиянием.

Знай, что благодаря ей никто не осмелится противоречить и препятствовать тебе. Боги сами подойдут, чтобы обнять тебя, ибо причислят к своему сонму.

Знай, что эта книга расскажет тебе, что было вначале.

Ни один человек не читал ее вслух, ни один глаз не видел, и ни одно ухо не слышало ее. Эта книга — сама истина, но никто никогда ее не знал. Да будет она зрима лишь через тебя и того, кто дал тебе ее в назидание. Не прибегай для ее толкования к тому, что может подсказать твоя память или воображение. Пишется она только в зале, где бальзамируют умерших. Это великая тайна, которая неизвестна ни одному простому смертному на свете.

Книга эта будет твоей пищей в низшей стране духов, она доставит твоей душе возможность пребывания на земле, даст ей вечную жизнь и сделает так, что никто не будет иметь власти над тобою»^[157].

Тело фараона облачили в драгоценные одежды, на лицо надели золотую маску, на скрещенные руки — перстни и запястья. Под голову ему подставили подпорку из слоновой кости, на какой спали обычно египтяне. Наконец уложили тело в три гроба: из папируса, покрытого надписями, в золоченый из кедрового дерева и в мраморный. Форма двух первых точно соответствовала форме тела умершего. Даже вырезанное в дереве лицо было похоже, только улыбалось.

Пробыв три месяца в «городе мертвых», мумия фараона была готова для торжественного погребения. Тогда ее отнесли обратно в царский дворец.

Все эти семьдесят дней, пока священное тело мокло в насыщенной содой воде, Египет был погружен в траур.

Храмы были закрыты; прекратились процессии, всякая музыка смолкла. Кончились всякие пиршества. Танцовщицы преобразились в плакальщиц и, вместо того чтобы танцевать, рвали не себе волосы, что тоже приносило им доход. Люди не пили вина, не ели мяса. Высшие сановники ходили в рубище, босиком. Никто не брился, кроме жрецов, наиболее же ревностные даже не умывались, а мазали лицо грязью и волосы посыпали пеплом.

Повсюду, от Средиземного моря до первого Нильского водопада, от Ливийской пустыни до Синайского полуострова, царили тишина и печаль. Погасло солнце Египта, ушел на Запад и покинул слуг своих господин, дававший им радость и жизнь.

В высшем обществе самым модным был разговор о всеобщей скорби, которую разделяла далее природа.

— Ты заметил, — говорил один сановник другому, — что дни стали короче и темнее?

— Да. Мне не хотелось признаваться тебе в этом, но это факт. Я даже обратил внимание, что ночью на небе меньше звезд и что полнолуние было коротким, а молодой месяц светил дольше, чем обычно.

— Пастухи говорят, что на пастбище скот не ест, а только ревет.

— А я слышал от охотников, что львы, горько оплакивая владыку, отказались от мяса и уже не бросаются на ланей.

— Ужасное время! Зайди ко мне сегодня вечером, выпьем вместе по стаканчику поминальной влаги... выдумка моего пивовара.

— Знаю... должно быть, черное сидонское пиво?..

— Да хранят нас боги!.. В такое время и вдруг веселящие напитки! То, что изобрел мой пивовар, вовсе не пиво... Я сравнил бы его скорее с настойкой на мускусе и благовонных травах.

— Вполне подходящее вино для такого времени, когда наш повелитель пребывает в «городе мертвых», где воздух пропитан ароматом мускуса и бальзамических зелий.

Так скорбели вельможи все семьдесят дней.

Первый трепет радости пробежал по Египту, когда из «города мертвых» дали знать, что тело повелителя вынуто из раствора и что

бальзамировщики и жрецы уже совершают над ним обряды.

В этот день люди впервые остригли волосы и смыли грязь с лица, а кто хотел — вымылся. И действительно, не было оснований больше скорбеть: Гор нашел тело Осириса, повелитель Египта благодаря искусству бальзамировщиков, молитвам жрецов и «Книге мертвых» обретал снова жизнь и становился равным богам.

С этого момента покойный фараон Мери-Амон-Рамсес уже официально назывался Осирисом; неофициально его называли так сразу же после смерти.

Прирожденная жизнерадостность египетского народа стала брать верх над скорбью, особенно в армии, среди ремесленников и крестьян. Неизвестно откуда начали распространяться слухи, что новый фараон, которого весь народ уже заранее полюбил, хочет облегчить жизнь крестьян, работников и даже рабов.

Вот почему все чаще и чаще случалось нечто доселе неслыханное: каменщики, плотники и гончары, сидя в харчевне, вместо того чтобы спокойно пить и толковать о своем ремесле или о семейных делах, осмеливались не только жаловаться на тяжесть налогов, но даже роптать на власть жрецов. Крестьяне же в свободное от работы время не молились и не поминали предков, а собирались и говорили о том, как хорошо было бы, если б каждый имел несколько полосок своей собственной земли и мог отдыхать каждый седьмой день!..

Про солдат, особенно иноземных полков, нечего и говорить. Эти люди вообразили, что они избранная каста или скоро станут ею после некоей удачной войны, которая вот-вот разразится.

Зато номархи и знать, проживавшая в загородных поместьях, а особенно верховные жрецы различных храмов, тем торжественнее справляли траур по умершему владыке, несмотря на то, что можно уже было радоваться, так как фараон стал Осирисом.

В сущности, новый повелитель до сих пор никому не сделал никакого зла. И причиной печали знатных вельмож; были лишь слухи, которые так радовали простой народ. Номархи и знать горевали при одной мысли, что их крестьяне будут бездельничать пятьдесят дней в году и, что еще хуже, получают в собственность участок земли — пусть и такой, на котором человека можно только похоронить. Жрецы, глядя на хозяйничанье Рамсеса XIII, бледнели, стискивали зубы и возмущались тем, как он обращался с ними.

Действительно, в царском дворце произошли большие перемены.

Фараон поселился в одном из дворцовых флигелей, в котором почти

все помещения заняли военачальники. В подвальном этаже он разместил греческих солдат, в первом — гвардию, а в помещении, тянувшемся вдоль ограды, — эфиопов. Караулы вокруг флигеля несли азиаты, а у самых покоев Рамсеса XIII был расквартирован эскадрон, солдаты которого участвовали вместе с ним в погоне за Техенной через пустыню.

Больше того, его святейшество, невзирая на столь недавнее восстание ливийцев, вернул им свою милость и никого не велел наказывать.

Правда, жрецы, проживавшие в большом дворце, были в нем оставлены и совершали религиозные обряды под главенством достойнейшего Сэма. Но так как они не участвовали больше в завтраках, обедах и ужинах фараона, то питание их заметно ухудшилось.

Тщетно святые мужи напоминали, что им необходимо кормить представителей девятнадцати династий и множество богов. Казначей, угадавший желание фараона, отвечал жрецам, что для богов и предков достаточно цветов и благовоний, сами же пророки, как повелевает высокая добродетель, должны питаться ячменными лепешками и запивать их водой или пивом. Для подкрепления своих грубых рассуждений казначей ссылался на пример верховного жреца Сэма, который вел жизнь кающегося, и более того — на пример фараона, который, как и его военачальники, ел из солдатского котла.

Ввиду всего этого придворные жрецы стали подумывать, не лучше ли покинуть негостеприимный дворец и перебраться в собственные уютные убежища в окрестностях храмов, где и обязанности у них будут полегче, и не придется голодать. И, пожалуй, они так и поступили бы, если бы достойнейшие Херихор и Мефрес не приказали им оставаться на своих постах.

Однако и положение Херихора при новом повелителе нельзя было назвать завидным. Еще недавно всемогущий министр, никогда почти не покидавший царских покоев, сидел одиноко в своем загородном доме и, случалось, не видел нового фараона в течение многих декад. Он по-прежнему оставался военным министром, но уже почти не издавал приказов, ибо все военные дела фараон решал сам. Сам читал донесения военачальников, сам разрешал сомнительные вопросы, для чего его адъютанты брали из военной коллегии необходимые материалы. Достойный же Херихор если и приглашался повелителем, то разве затем, чтобы выслушать выговор.

Все сановники, должны были признать, что новый фараон много работает.

Рамсес XIII вставал до восхода солнца, шел купаться или принимал

ванну и возжигал благовония перед статуей Осириса. Затем он выслушивал доклады верховного судьи, главного писца житниц и скотных дворов всего Египта, старшего казначея и, наконец, министра двора. Последний страдал больше всех, так как не было дня, чтоб господин не говорил ему, что содержание двора обходится слишком дорого и что при дворе слишком много людей.

Действительно, в царском дворце проживало несколько сот женщин покойного фараона с соответствующим количеством детей и прислуги. Ввиду постоянных напоминаний министр двора каждый день выселял по десятку, по два обитателей, остальным ограничивал расходы. В результате по прошествии месяца все придворные дамы с воплями и слезами побежали к царице Никотрисе, умоляя ее о заступничестве.

Досточтимейшая царица-мать тотчас же отправилась к повелителю и, пав перед ним ниц, просила его сжалиться над женщинами своего отца и не допустить, чтобы они умерли от нужды.

Фараон выслушал ее, нахмутив лоб, и отдал приказ министру двора приостановить дальнейшую экономию, но одновременно заявил царице-матери, что после похорон отца женщины будут выселены из дворцовых покоев и размещены по усадьбам.

— Содержание нашего двора, — объяснил он ей, — обходится больше чем в тридцать тысяч талантов в год, то есть дороже, чем содержание всей армии. Я не могу тратить такую сумму, не разоряя себя и государства.

— Поступай как знаешь, — ответила царица. — Египет — твой. Но я боюсь, что изгнанные придворные станут твоими врагами.

В ответ на это фараон молча взял мать за руку, подвел ее к окну и указал на лес копий. Это обучалась во дворе его пехота.

Этот жест фараона возымел неожиданное действие. В глазах царицы, за минуту перед тем полных слез, блеснула гордость, она нагнулась, поцеловала руку сына и сказала взволнованно:

— Воистину ты сын Исиды и Осириса! И я хорошо поступила, вручив тебя богине. Наконец-то у Египта настоящий повелитель!..

С тех пор досточтимая госпожа никогда не обращалась к сыну с просьбой заступиться за кого-либо. А когда ее просили оказать покровительство, отвечала:

— Я слуга его святейшества и советую и вам исполнять его повеления беспрекословно, потому что все его действия вдохновлены богами. А кто станет противиться богам!

После завтрака фараон занимался делами военной коллегии и казначейства, а часа в три пополудни, окруженный многолюдной свитой,

выезжал к полкам, стоявшим в окрестностях Мемфиса, и наблюдал, как проходят учения.

Самые большие перемены произошли в военных делах государства.

Меньше чем за два месяца фараон сформировал пять новых полков, вернее — восстановил те, что были уничтожены в предшествовавшее царствование. Офицеры, которые пьянствовали и играли в кости или плохо обращались с солдатами, были уволены.

В канцелярию военной коллегии, где работали одни жрецы, фараон посадил своих наиболее способных адъютантов, и те очень быстро научились разбираться в документах, касавшихся армии. Он велел составить списки всех мужчин, принадлежащих к военному сословию, но уже давно не исполнявших никаких воинских обязанностей и занимавшихся хозяйством. Открыл две новые офицерские школы для мальчиков от двенадцати лет и восстановил старый обычай, чтобы военная молодежь получала завтрак лишь после трехчасовой маршировки в шеренгах и колоннах.

Наконец, ни одной воинской части не разрешалось больше стоять в деревне, а только в казарме или в лагере. Для каждого полка был отведен учебный плац, где по целым дням солдаты или метали камни, или стреляли из лука по мишеням, находящимся на расстоянии в сто — двести шагов.

Было издано также распоряжение, обращенное к семьям военных, чтобы все мужчины упражнялись в метании снарядов под руководством офицеров и сотников регулярной армии. Спустя два месяца после смерти Рамсеса XII весь Египет стал похож на военный лагерь. Даже деревенские и городские дети, игравшие до сих пор в чиновников и жрецов, теперь, подражая старшим, стали играть в солдат. На всех площадях и во всех садах с утра до вечера свистели камни и стрелы, и суды были завалены жалобами на телесные увечья.

Египет стал неузнаваем. Несмотря на траур, в нем благодаря новому повелителю царило большое оживление.

Фараон же возгордился тем, что все государство выполняет его царскую волю.

Однако вскоре наступило отрезвление.

В тот самый день, когда бальзамировщики извлекли тело Рамсеса XII из содового раствора, главный казначей, делая свой обычный доклад, заявил фараону:

— Не знаю, как быть... У нас в казне всего две тысячи талантов, а на похороны покойного владыки требуется не меньше тысячи...

— Как это две тысячи?.. — удивился фараон. — Когда я принимал

управление, ты говорил, что у нас двадцать тысяч.

— Восемнадцать мы истратили.

— За два месяца?

— У нас были огромные расходы.

— Верно, — ответил фараон, — но ведь каждый день поступают новые налоги.

— Налоги, — продолжал казначей, — не знаю почему, поступают не в таком размере, как я рассчитывал. Но и этих денег уже нет... Осмелюсь напомнить вашему святейшеству, что у нас пять новых полков. Значит, около восьми тысяч человек оставили свои постоянные занятия и живут за счет государства.

Фараон задумался.

— Надо, — сказал он, — получить новый заем. Переговори с Херихором и Мефресом, чтобы храмы дали нам денег взаймы.

— Я уже говорил об этом... Храмы ничего не дадут нам...

— Пророки обиделись!.. — усмехнулся фараон. — В таком случае нам придется обратиться к язычникам. Пришли ко мне Дагона.

Вечером явился финикийский ростовщик, пал на колени перед фараоном и преподнес ему в дар золотой кубок, усыпанный драгоценными камнями.

— Теперь я могу умереть спокойно, — воскликнул Дагон. — Мой всемилостивейший повелитель воссел на трон!..

— Но прежде чем умирать, — заявил фараон, — раздобудь мне несколько тысяч талантов.

Финикиянин оторопел или, быть может, только притворился испуганным.

— Лучше прикажите мне, ваше святейшество, поискать жемчуг в Ниле, — ответил он, — тогда я погибну сразу, и господин мой не заподозрит меня в нежелании что-нибудь сделать. Но добыть такую сумму... в теперешнее время!..

— Как же это? — удивился Рамсес XIII. — У финикийян, значит, нет для меня денег?..

— Кровь и жизнь нашу, детей наших отдадим вашему святейшеству, — сказал Дагон. — Но деньги... Откуда нам взять денег?.. Прежде храмы давали нам взаймы из пятнадцати или двадцати процентов годовых, но с тех пор как ваше святейшество, еще будучи наследником, побывали в храме Хатор под Бубастом, жрецы совсем отказали нам в кредите. Если б они могли, они сегодня же выгнали бы нас из Египта, а еще охотнее перебили бы. Ох, чего только мы не терпим из-за них! Крестьяне

работают, как и когда им хочется... налоги платят, чем заблагорассудится... Ударишь кого-нибудь — поднимают бунт, а если несчастный финикиянин обратится за помощью в суд, то он или проиграет дело, или должен платить огромные деньги... Видно, придется нам скоро убираться отсюда!.. — плакался Дагон.

Фараон нахмурился.

— Я займусь этими делами, — ответил он. — Суды будут относиться к вам справедливо. А пока что мне нужно около пяти тысяч талантов.

— Где мы возьмем, государь? — стонал Дагон. — Укажите нам, ваше святейшество, покупателей, мы им продадим всю нашу движимость и недвижимость, лишь бы выполнить этот приказ... Но где же эти покупатели? Разве что жрецы, которые возьмут наше имущество за бесценок и вдобавок не заплатят наличными.

— Пошлите в Тир, Сидон. Ведь каждый из этих городов мог бы дать займы не пять, а сто тысяч талантов.

— Тир, Сидон... Сейчас вся Финикия копит золото и драгоценности, чтоб расплатиться с ассирийцами. По нашей стране уже шныряют посланцы царя Ассара и говорят, что если только мы будем вносить ежегодно щедрый выкуп, цари и чиновники не только не будут нас притеснять, но и обеспечат нам большие доходы, больше тех, что мы получаем сейчас по милости вашего святейшества и Египта...

Фараон побледнел и стиснул зубы.

Финикиянин спохватился и поспешил добавить:

— Впрочем, зачем я отнимаю у вашего святейшества время своими глупыми разговорами? Здесь, в Мемфисе, находится сейчас князь Хирам... Он, может быть, лучше все объяснит, ибо он мудрец и член Высшего совета наших городов.

Рамсес оживился.

— А!.. Давай, давай мне сюда Хирама, — ответил он. — А то ты разговариваешь со мной не как банкир, а как плакальщица на похоронах.

Финикиянин еще раз ударил челом и спросил:

— Нельзя ли достойнейшему Хираму прийти сюда сейчас? Правда, уже поздно, но он так боится жрецов, что предпочел бы выразить тебе свое глубокое почтение ночью.

Фараон закусил губу, но согласился. Он даже послал с Дагоном Тутмоса, чтобы тот привел Хирама во дворец потайным ходом.

Часов около десяти вечера к фараону явился Хирам, одетый в темное платье, какое носят мемфисские торговцы.

— Что это ты так прячешься? — спросил неприятно задетый фараон. — Разве мой дворец — тюрьма или дом прокаженных?

— О владыка!.. — вздохнул старый финикийнин. — С тех пор как ты стал повелителем Египта, те, кто осмеливается говорить с тобой, не отдавая кому следует отчета, считаются преступниками...

— А кому это вы должны передавать мои слова?.. — спросил фараон.

Хирам поднял к небу глаза и руки.

— Тебе, государь, известны твои враги!.. — ответил он.

— Не стоит поминать о них, — сказал фараон. — Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? Я хочу получить займы несколько тысяч талантов.

Хирам застонал и еле удержался на ногах. Фараон разрешил ему сесть в своем присутствии, что являлось высочайшей честью.

Усевшись поудобнее и передохнув, Хирам сказал:

— Зачем брать займы, когда можно иначе получить огромные богатства?

— Когда я завоюю Ниневию? — перебил фараон. — Но это еще не скоро, а деньги нужны мне сейчас.

— Я не говорю о войне, — ответил Хирам, — я говорю о таком деле, которое немедленно принесет казне большие суммы и постоянный годовой доход.

— Каким образом?

— Разрешите нам и посодействуйте прорыть канал, который соединил бы Средиземное море с Красным.

Фараон вскочил с кресла.

— Ты шутишь, старик! — вскричал он. — Кто может взяться за такое дело и кто захочет подвергать Египет опасности? Ведь море зальет нас...

— Какое море?.. Во всяком случае, не Красное и не Средиземное, — спокойно ответил Хирам. — Я знаю, что египетские жрецы, инженеры занимались этим вопросом и подсчитали, что это очень выгодное предприятие. Выгоднее трудно придумать... Но... они хотят все сделать сами, вернее — не хотят, чтобы за это взялся фараон.

— Где у тебя доказательства? — спросил Рамсес.

— У меня нет доказательств, но я пришлю жреца, который пояснит

тебе все чертежами и расчетами.

— Кто этот жрец?

Хирам замялся и, помолчав сказал:

— Могу ли я рассчитывать, что это останется между нами? Он тебе, государь, окажет большие услуги, чем я сам. Ему известно много тайн и много... подлостей жрецов...

— Обещаю, — ответил фараон.

— Этот жрец — Самонту. Он служит в храме Сета под Мемфисом. Это великий мудрец, но ему нужны деньги, и он очень честолюбив... А так как жрецы не дают ему возвыситься, то он сказал мне, что если ваше святейшество пожелает, он... свергнет жреческую касту. Он знает много их секретов... О, много!..

Рамсес глубоко задумался. Он понял, что этот жрец — величайший изменник. Но в то же время он знал, какие ценные услуги Самонту может ему оказать.

— Хорошо, — сказал фараон, — я подумаю об этом Самонту. А теперь предположим на минуту, что можно построить такой канал. Какая же мне будет от этого польза?

Хирам стал отсчитывать на пальцах левой руки.

— Во-первых, — сказал он, — Финикия отдаст Египту пять тысяч талантов невыплаченной дани. Во-вторых, Финикия заплатит пять тысяч талантов за право производства работ. В-третьих, когда начнутся работы, мы будем платить Египту тысячу талантов в год налога и, кроме того, столько талантов, сколько десятков рабочих он нам предоставит. В-четвертых, за каждого египетского инженера мы дадим вашему святейшеству по таланту в год. В-пятых, когда работы будут закончены, ваше святейшество сдадите нам канал в аренду на сто лет, и мы будем платить за это по тысяче талантов в год. Разве это малая прибыль? — спросил Хирам.

— А сейчас... сегодня, — сказал фараон, — вы мне дадите эти пять тысяч дани?..

— Как только будет заключен договор, мы дадим десять тысяч и еще добавим тысячи три в счет налога за три года вперед.

Рамсес XIII задумался. Уже не первый раз финикияне предлагали египетским фараонам провести этот канал, но всегда наталкивались на упорное сопротивление жрецов. Египетские жрецы говорили фараону, что Египет может быть затоплен и Красным морем и Средиземным. Но вот Хирам утверждает, что ничего подобного не случится и что жрецы это знают.

— Вы обещаете, — сказал фараон после долгого раздумья, — платить по тысяче талантов в год в продолжение ста лет. Вы говорите, что этот канал, прорытый в песках, — дело, выгоднее которого трудно придумать... Мне это непонятно, и, признаюсь, Хирам, я подозреваю...

У финикиянина заблестели глаза.

— Государь, — сказал он, — я скажу тебе все. Но заклинаю тебя твоей короной, тенью твоего отца никому не открывать этой тайны. Это величайшая тайна халдейских и египетских жрецов и даже всей Финикии. От нее зависит будущее мира!

— Ну, ну, Хирам!.. — улыбнулся фараон.

— Тебе, государь, — продолжал финикиянин, — боги даровали мудрость, энергию и благородство, поэтому ты — наш. Ты — единственный из земных повелителей, которого можно посвятить в это, потому что только ты способен совершить великие дела. И ты достигнешь такого могущества, какого не достигал еще ни один человек...

Фараон почувствовал в душе приятную гордость, но не показал и виду.

— Ты меня не хвали, — остановил он Хирама, — за то, чего я еще не совершал, а скажи лучше, какие выгоды от этого канала получают Финикия и мое государство?

Хирам уселся в кресле поудобнее и стал говорить шепотом:

— Знай, повелитель, что на восток, на юг и на север от Ассирии и Вавилона нет ни пустыни, ни болот, населенных чудовищами, а лежат обширные страны и государства. Страны эти настолько велики, что пехоте вашего святейшества, славящейся своими переходами, пришлось бы два года идти по направлению к востоку, пока она достигла бы их границ.

Рамсес иронически поднял брови, как человек, позволяющий другому лгать, хоть и понимает, что это ложь.

Хирам слегка пожал плечами и продолжал:

— На восток и на юг от Вавилона, у великого моря, проживает до ста миллионов человек; у них могущественные цари, у них жрецы мудрее, чем египетские, у них есть древние книги, опытные мастера... Эти народы умеют выделять не только ткани, мебель и посуду так же искусно, как египтяне, но с незапамятных времен строят на земле и под землей храмы, более величественные и богатые, чем в Египте...

— Продолжай!.. Продолжай!.. — подбадривал его фараон. Но по лицу его было трудно понять, заинтересован ли он рассказом финикиянина или возмущен его враньем.

— В этих странах есть жемчуг, драгоценные камни, золото, медь... Там произрастают удивительнейшие сорта хлебов, цветы и плоды... Там,

наконец, есть леса, по которым можно в течение месяцев блуждать среди деревьев, более толстых, чем колонны ваших храмов, и более высоких, чем пальмы... Население же этих стран простодушно и кротко... и если б ты послал туда на кораблях два своих полка, ты мог бы завоевать земли обширнее, чем весь Египет, богаче, чем сокровищницы Лабиринта... Завтра, если разрешишь, я пришлю тебе образцы тамошних тканей, дерева и бронзовых изделий. Кроме того, пришлю две крупинки чудесных бальзамов, обладающих таким свойством, что, как только человек проглотит их, перед ним открываются врата вечности и он испытывает счастье, доступное лишь богам...

— Пришли мне образцы тканей и изделий, — заметил фараон, — а что касается бальзамов... пожалуй, не стоит!.. Успеем натешиться вечностью и богами после смерти...

— А дальше на восток от Ассирии, — продолжал Хирам, — лежат еще более обширные страны; там миллионов двести населения.

— Легко же ты обращаешься с миллионами! — улыбнулся фараон.

Хирам приложил руку к сердцу.

— Клянусь, — сказал он, — духами моих предков и своей честью, что говорю правду!

Фараон сделал движение, его поразила такая торжественная клятва.

— Продолжай!.. Продолжай!.. — сказал он.

— Страны эти, — начал снова финикийнин, — весьма удивительны. Их населяют народы с косыми глазами и желтым цветом кожи. У них есть царь, который называется сыном неба и управляет ими с помощью мудрецов, но это не жрецы, и они не пользуются такой властью, как в Египте. Обычаи этих народов схожи с египетскими. У них почитают умерших предков и проявляют заботу об их телах. Они пользуются письменами, напоминающими письма ваших жрецов, но ходят в длинных одеждах из тканей, совсем у нас неизвестных, носят сандалии в виде скамеечек, а головы покрывают остроконечными коробками... Крыши их домов тоже остроконечны и по краям загнуты кверху. Эти необыкновенные народы выращивают злак, более плодоносный, чем египетская пшеница, и готовят из него напиток крепче вина. Есть у них также растение, листья которого придают человеку силу, жизнерадостность и даже помогают бороться со сном. Они умеют делать бумагу и раскрашивают ее разноцветными картинами, у них есть глина, которая после обжига просвечивает, как стекло, и звенит, как металл... Завтра, если ваше святейшество разрешит, я пришлю вам образцы изделий этого народа.

— Чудеса ты рассказываешь, Хирам!.. — отозвался фараон. — Но я не вижу связи между этими диковинами и каналом, который вы хотите прорыть...

— Я сейчас вкратце объясню. Когда будет канал, весь финикийский и египетский флот выйдет в Красное море, а из него дальше и через несколько месяцев доплывет до этих богатых стран, куда по суше почти невозможно добраться. А разве вы, ваше святейшество, — продолжал Хирам, у которого разгорелись глаза, — не видите перед собою всех сокровищ, которые можно добыть там: золота, драгоценных камней, злаков, дерева? Клянусь, государь, — продолжал он с воодушевлением, — что у тебя тогда будет больше золота, чем сейчас меди, дерево будет не дороже соломы, а невольник — дешевле коровы... Разрешите только, государь, прорыть канал и предоставьте нам за плату тысяч пятьдесят ваших солдат.

Рамсес тоже загорелся.

— Пятьдесят тысяч солдат, — повторил он. — А сколько вы мне дадите за это?..

— Я сказал уже: тысячу талантов в год за право производства работ и пять тысяч за рабочих, которых мы сами будем кормить и оплачивать.

— И замучаете их работой?..

— Да хранят нас боги! — воскликнул Хирам. — Что проку, когда рабочие гибнут? Солдаты вашего святейшества не будут работать на канале больше, чем сейчас на укреплениях или дорогах. А какая слава для тебя, государь! Какие доходы казне!.. Какая польза Египту!.. У самого бедного крестьянина будет деревянный дом, несколько голов скота и, пожалуй, даже раб... Ни один фараон не поднял государства до такой высоты и не свершил столь великого дела!.. Что такое мертвые и бесполезные пирамиды по сравнению с каналом, который облегчит перевоз товаров всего мира?

— А главное, — прибавил от себя фараон, — у меня будет пятьдесят тысяч солдат на восточной границе?..

— Разумеется!.. — воскликнул Хирам. — При наличии этой силы, содержание которой ничего не будет стоить вашему святейшеству, Ассирия не посмеет протянуть руку к Финикии.

План был настолько блестящим и обещал такие выгоды, что Рамсес XIII был опьянен. Но он и виду не подал.

— Хирам, — сказал он, — ты рисуешь заманчивые перспективы... Насколько заманчивые, что я побаиваюсь, не скрываются ли за ними какие-нибудь менее приятные последствия. Поэтому я должен и сам хорошо подумать, и посоветоваться с жрецами...

— Они никогда не согласятся подобру! — воскликнул финикиянин. — Хотя — пусть боги простят мне кощунство! — я уверен, что если б сейчас верховная власть в государстве перешла в руки жрецов, то через два-три месяца они предложили бы нам приступить к этому сооружению...

Рамсес посмотрел на него с холодным презрением.

— Предоставь заботу о жрецах мне, — сказал он, — и лучше докажи, что все, что ты говорил, — правда. Я был бы очень плохим царем, если бы не сумел устранить препятствий, стоящих между моей волей и интересами государства.

— Воистину ты великий властелин, государь, — прошептал Хирам, склоняясь до земли.

Была уже поздняя ночь. Финикиянин простился с фараоном и вместе с Тутмосом покинул дворец. А на следующий день прислал через Дагона ларец с образцами сокровищ из неведомых стран. Фараон нашел в нем статуэтки богов, индийские ткани и перстни, крупинки опиума, а во втором отделении горсточку риса, листочки чая, несколько фарфоровых чашечек, украшенных живописью, и несколько рисунков, исполненных красками и тушью на бумаге.

Фараон осмотрел все это с величайшим вниманием и должен был признать, что никогда не видал ничего подобного: ни риса, ни бумаги, ни изображений людей в остроконечных шляпах, с раскосыми глазами.

Он не сомневался больше в существовании какой-то новой страны, где все было иное, чем в Египте: горы, деревья, дома, мосты, корабли...

«И эта страна существует, должно быть, уже много веков, — думал он. — Наши жрецы знают про нее, знают про ее богатства, но молчат... Коварные предатели!.. Они желают ограничить власть фараонов, сделать их нищими, чтобы затем свергнуть с престола. О мои предки и наследники! — восклицал он мысленно. — Вас призываю в свидетели, что я этому положу конец. Я возвышу мудрость; но уничтожу лицемерие и дам Египту долгие годы спокойствия».

Так размышляя, фараон поднял глаза и увидал Дагона, ожидавшего распоряжений.

— Твой ларец очень любопытен, — обратился он к ростовщику. — Но... не этого я хотел от вас...

Финикиянин подошел на цыпочках и, опустившись на колени перед фараоном, прошептал:

— Когда ты согласишься подписать договор с достойным Хирамом, Тир и Сидон повергнут к твоим стопам все свои богатства.

Рамсес сдвинул брови. Его возмутила наглость финикиянина,

осмелившихся ставить ему условия. Он ответил холодно:

— Я еще подумаю и тогда дам Хираму ответ. Можешь идти, Дагон.

После ухода финикиянина Рамсес снова задумался. В душе его росло недовольство.

«Эти торгоши, — размышлял он, — считают меня своим. Хм!.. Они пытаются прельстить меня мешком золота, чтобы заставить подписать договор!.. Такой наглости не допустил бы ни один фараон. Довольно! Люди, падающие ниц перед посланцами Ассара, не могут говорить мне: „Подпиши, тогда получишь...“ Глупые финикийские крысы, которые, прокравшись в царский дворец, считают его своей норой!..»

Чем дольше размышлял он, чем подробнее вспоминал поведение Хирама и Дагона, тем сильнее становилось его возмущение.

«Как они смеют!.. Как они смеют ставить мне условия!»

— Эй... Тутмос!.. — позвал он.

Фаворит тотчас же явился.

— Что прикажешь, государь?

— Пошли кого-нибудь из низших офицеров к Дагону сообщить, что он больше не будет моим банкиром. Он слишком глуп, чтобы занимать такое высокое положение!

— А кому же ты предоставишь эту честь?

— Пока не знаю. Надо будет найти кого-нибудь из числа египетских или греческих купцов... В крайнем случае — обратимся к жрецам.

Весть об этом облетела все царские дворцы, и не прошло и часа, как докатилась до Мемфиса. По всему городу говорили о том, что финикияне уже в немилости у фараона, а к вечеру чернь начала громить лавки ненавистных чужеземцев. Жрецы облегченно вздохнули. Херихор явился даже к святому Мефресу и сказал ему:

— Сердце мое предчувствовало, что господин наш отвернется от этих язычников, сосущих кровь из народа. Я думаю, что надо выразить ему в какой-нибудь форме нашу благодарность.

— И, может быть, распахнуть перед ним двери наших сокровищниц? — язвительно спросил святой Мефрес. — Не торопитесь, достойнейший... Я раскусил уже этого юнца, и горе нам, если мы хоть раз позволим ему одержать над нами верх.

— А если он порвет с финикиянами?

— Он на этом только выиграет, потому что не заплатит им долга, — ответил Мефрес.

— По-моему, — начал после некоторого раздумья Херихор, — сейчас наступил момент, когда мы можем вернуть себе милость молодого фараона.

Вспыльчивый в гневе, он умеет, однако, быть благодарным. Я это испытал на себе.

— Что ни слово, то заблуждение! — перебил его упрямый Мефрес. — Во-первых, этот царевич еще не фараон, так как не короновался в храме. Во-вторых, он никогда не будет настоящим фараоном, ибо относится с презрением к посвящению в сан верховного жреца. И, наконец, не нам нужна его милость, а ему милость богов, которых он оскорбляет на каждом шагу!..

Мефрес задышался от гнева, но, переведя дух, продолжал:

— Он пробыл месяц в храме Хатор, где изучал высшую мудрость, и вдруг сразу же после этого стал якшаться с финикиянами. Мало того, он посещал храм Ашторет и взял оттуда жрицу, что противоречит законам всех религий... Потом во всеуслышание насмеялся над моим благочестием... Он связался с такими же, как сам, смутьянами и с помощью финикиян выводил государственные тайны... А едва сел на трон... вернее, на первую ступеньку трона, уже бесчестит жрецов, мутит крестьян и солдат и возобновляет тесную связь со своими друзьями-финикиянами... Ты забыл обо всем этом, достойнейший Херихор?.. А если помнишь, то разве не понимаешь, какую опасность представляет для нас этот молокосос?.. Ведь он стоит у кормила государственного корабля, плывущего среди водоворотов. Кто поручится, что безумец, который вчера позвал к себе финикиян, а сегодня поссорился с ними, не сделает завтра чего-нибудь такого, что будет грозить государству гибелью.

— Ну, что из этого следует? — спросил Херихор, пристально смотря в глаза верховному жрецу.

— А то, что у нас нет оснований выражать ему благодарность, так как это означало бы нашу слабость. Ему хочется во что бы то ни стало получить деньги, а мы не дадим!

— А... а дальше что?.. — снова спросил Херихор.

— А дальше пусть правит государством и увеличивает армию без денег, — ответил раздраженно Мефрес.

— А... если его голодная армия станет грабить храмы? — продолжал спрашивать Херихор.

— Ха-ха-ха!.. — расхохотался Мефрес.

Вдруг он принял серьезный вид и, отвесив низкий поклон, сказал насмешливым тоном:

— Это уж: твое дело, достойнейший. Человек, столько лет управлявший государством, должен был подготовиться к подобной опасности.

— Предположим, — осторожно начал Херихор, — предположим, что я нашел бы средство против опасности, угрожающей государству. Но ты сам, святейший отец, будешь ли ты как старейший верховный жрец готов дать отпор тому, кто оскорбляет жреческую касту и святыни?

Мгновение они смотрели друг другу в глаза.

— Ты спрашиваешь меня, готов ли я? — повторил Мефрес. — Готов ли?.. Мне не надо готовиться к этому. Боги дали мне в руки небесный огонь, который уничтожит всякого святотатца.

— Тс-с... — прошептал Херихор. — Да будет так.

— С согласия или без согласия верховной коллегии жрецов, — добавил Мефрес. — Когда судно идет ко дну, не время объясняться с гребцами.

Оба расстались в мрачном настроении.

В тот же вечер фараон призвал их к себе.

Они явились в назначенный час порознь, низко поклонились фараону и стали по углам, не глядя друг на друга.

«Неужели поссорились? — подумал про себя Рамсес. — Ну что ж, это неплохо».

Немного спустя вошли святой Сэм и пророк Пентуэр.

Рамсес сел на возвышении и, указав четверем жрецам на низкие табуреты против себя, обратился к ним:

— Святые отцы!.. Я не приглашал вас до сих пор на совет, потому что все мои распоряжения касались исключительно военных вопросов.

— Это твое право, государь, — прервал его Херихор.

— Я сделал что мог за такое короткое время, чтобы укрепить государство. Я открыл две новые школы для офицеров и восстановил пять полков.

— Это твое право, государь, — проговорил Мефрес.

— Об остальных военных реформах я не говорю, ибо вас, святые отцы, эти дела не могут интересовать...

— Ты прав, государь, — подтвердили в один голос Мефрес и Херихор.

— Но на очереди другое дело, — заявил фараон, довольный сговорчивостью сановников, со стороны которых он ожидал возражений. — Приближается день похорон божественного моего отца, а у казны нет достаточных средств...

Мефрес встал с табурета.

— Осирис-Мери-Амон-Рамсес, — сказал он, — был справедливым царем. Он обеспечил своему народу долголетний мир и умножил славу богов. Разрешите, ваше святейшество, чтобы похороны этого

благочестивого фараона были совершены за счет храмов.

Рамсес XIII был удивлен и тронут честью, оказанной его отцу. С минуту он помолчал, как бы не находя ответа, и наконец сказал:

— Я очень благодарен, достойнейшие отцы, за честь, оказываемую богоравному отцу моему. Даю вам свое согласие и еще раз благодарю...

Он остановился, склонил голову на руки и сидел так с минуту, как бы борясь в душе с самим собою. Вдруг он поднял голову, лицо его оживилось, глаза заблестели.

— Я тронут, — сказал он, — доказательством вашего расположения ко мне, святые отцы. Если вам так дорога память моего отца, то, я думаю, вы и мне не пожелаете зла...

— Неужели ты сомневаешься в этом? — спросил верховный жрец Сэм.

— Ты прав, — продолжал фараон, — я несправедливо подозревал вас в предубеждении против меня. Но я хочу исправить это и буду с вами откровенен.

— Да благословят тебя боги, государь, — сказал Херихор.

— Скажу прямо. Божественный отец мой ввиду преклонного возраста и болезни не мог посвящать столько сил и времени делам государства, сколько могу я. Я молод, здоров, свободен и потому хочу и буду править сам. Как полководец должен командовать армией по собственному разумению и руководясь своим планом, так и я буду управлять государством. Такова моя непреложная воля, и от этого я не отступлю. Но я понимаю, что, даже если б я обладал глубоким опытом, мне не обойтись без верных слуг и мудрых советников. Поэтому я буду иногда спрашивать вашего мнения по различным вопросам...

— Для того мы и существуем как верховная коллегия при особе государя, — заявил Херихор.

— Хорошо, — продолжал с прежним оживлением фараон, — я буду прибегать к вашим услугам, и даже не откладывая, сейчас, с настоящего момента...

— Приказывай, государь... — сказал Херихор.

— Я хочу улучшить жизнь египетского народа. Но так как в подобных делах слишком поспешные действия могут принести лишь вред, то для начала я предоставляю ему не много: после шести дней труда — седьмой день отдыха...

— Так было при восемнадцати династиях. Это закон столь же древний, как сам Египет, — заметил Пентуэр.

— Отдых в каждый седьмой день даст пятьдесят дней в год на каждого

работника, то есть лишит его господина пятидесяти драхм. А на миллионе рабочих государство потеряет около десяти тысяч талантов в год, — сказал Мефрес. — Мы это уже подсчитывали в храмах, — прибавил он.

— Да, — подтвердил Пентуэр, — убытки будут, но только первый год, ибо, когда народ укрепит свои силы отдыхом, он в последующие годы отработает все с лихвой.

— Это ты верно говоришь, — ответил Мефрес, — но, во всяком случае, необходимо иметь эти десять тысяч талантов на первый год. А я думаю, что не хватит и двадцати тысяч...

— Ты прав, достойный Мефрес, — вмешался фараон, — при тех реформах, какие я хочу провести в своем государстве, двадцать и даже тридцать тысяч талантов будут не слишком большой суммой... А потому, — прибавил он тут же, — мне нужна будет ваша помощь, святые мужи...

— Мы готовы всякое твое желание поддержать молитвами и процессиями, — заявил Мефрес.

— Пожалуйста! Молитесь и поощряйте молиться народ. Но, кроме того, дайте государству тридцать тысяч талантов, — ответил фараон.

Верховные жрецы молчали.

Фараон подождал, а затем обратился к Херихору:

— Ты молчишь?..

— Ты сам сказал, повелитель, что у казны нет средств даже на похороны Осириса-Мери-Амон-Рамсеса. Откуда же взять тридцать тысяч талантов?..

— А сокровища Лабиринта?..

— Это достояние богов, которое можно тронуть лишь в минуту величайшей нужды государства, — ответил Мефрес.

Рамсес XIII вскипел.

— Если не крестьянам, — вскричал он, ударив рукой по поручню трона, — то мне нужна эта сумма!..

— Ты можешь, — ответил Мефрес, — за год получить больше чем тридцать тысяч талантов, а Египет — вдвое.

— Каким образом?

— Весьма простым. Прикажи, повелитель, изгнать из государства финикийян, — сказал Мефрес.

Казалось, что фараон вот-вот бросится на дерзкого жреца. Он побледнел, губы у него дрожали, глаза выкатились из орбит. Но он сдержал себя и произнес удивительно спокойным тоном:

— Ну, довольно. Если вы мне не можете дать лучших советов, то я

обойдусь без них... Ведь мы дали финикиянам обязательство выплатить им полученные займы деньги!.. Об этом ты не подумал, Мефрес?

— Прости, государь, в ту минуту я думал о другом. Твои предки не на папирусах, а на бронзе и камнях запечатлели, что дары, принесенные ими богам и храму, принадлежат и будут вечно принадлежать богам и храму.

— И вам... — заметил насмешливо фараон.

— В такой же мере, как государство принадлежит тебе, повелитель, — дерзко ответил верховный жрец. — Мы охраняем эти сокровища и приумножаем, и расточать не имеем права...

Задыхаясь от гнева, фараон покинул собрание и ушел к себе в кабинет. Его положение представилось ему с беспощадной ясностью.

Он больше не сомневался в ненависти к нему жрецов. Это были все те же самые ослепленные гордыней сановники, которые в прошлом году не дали ему корпуса Менфи и сделали его наместником только потому, что приняли его уход из дворца за акт покорности, те же, что следили за каждым его движением, писали на него доносы и ему, наследнику престола, не сказали ни слова о договоре с Ассирией, те же, что обманывали его в храме Хатор, а у Содовых озер перебили пленников, которым он обещал помилование.

Фараон припомнил поклоны Херихора, взгляды Мефреса и тон того и другого. За внешней почтительностью поминутно проглядывало высокомерие и пренебрежение к нему. Ему нужны деньги, а они обещают ему молитвы. Мало того, они осмеливаются намекать ему, что он не единый повелитель Египта...

Молодой фараон невольно улыбнулся; он представил себе наемных пастухов, говорящих хозяину, что он не волен распоряжаться своим стадом. Но в действительности ему было не до смеха. В казне оставалась какая-нибудь тысяча талантов, которой могло хватить на семь, самое большее на десять дней. А что потом?.. Что скажут чиновники, прислуга, а главное — солдаты, которые не только не получают жалованья, но попросту будут голодать?..

Верховным жрецам, конечно, известно это положение дел и, если они не спешат помочь ему, — значит, хотят его погубить... и погубить в ближайшие дни, еще до похорон отца...

Рамсесу вспомнился случай из его детства.

Он был еще в жреческой школе, когда на празднике в честь богини Мут в числе выступавших был знаменитый во всем Египте комедиант. Он изображал неудачливого героя. Герой приказывал — его не слушались. На его гнев отвечали смехом. Когда же для того, чтоб наказать насмешников,

он схватил топор, топорище сломалось у него в руке. Наконец на него выпустили льва. Беззащитный герой стал удирать, но оказалось, что за ним гонится не лев, а свинья в львиной шкуре. Ученики и учителя хохотали до слез над этими злоключениями, а маленький царевич сидел угрюмый; ему жаль было человека, который рвется к великим делам и гибнет, осыпаясь насмешками.

Эта сцена и чувства, которые он испытал тогда, ожили сейчас в его памяти.

«Таким же они хотят сделать меня», — говорил он себе.

Его охватило отчаяние. Он понял, что как только будет истрачен последний талант, придет к концу его власть, а с нею и жизнь.

Но тут его мысли приняли другое направление. Фараон остановился посреди комнаты.

«Что может меня ожидать?.. Только смерть... Я отправлюсь к моим славным предкам, к Рамсесу Великому... Но я им не могу сказать, что погиб не защищаясь... Иначе после бедствий земной жизни меня постигнет вечный позор...»

Как? Он, победитель ливийцев, будет вынужден отступить перед кучкой лицемеров, с которыми нечего было бы делать одному азиатскому полку?.. Значит, потому, что Мефрес и Херихор хотят повелевать Египтом и фараоном, его войска должны голодать, а миллион крестьян не получают благодатного отдыха?.. Разве не его предки построили эти храмы?.. Разве не они наполнили их военной добычей? Кто выигрывал сражения — жрецы или солдаты? Так кто же имеет право на сокровища? Жрецы или фараон и его армия.

Молодой фараон пожал плечами и велел позвать Тутмоса.

Несмотря на ночное время, царский любимец явился немедленно.

— Знаешь, — сказал фараон, — жрецы отказали мне в займе, а между тем казна пуста...

Тутмос выпрямился.

— Прикажешь отвести их в тюрьму?.. — спросил он.

— А ты бы решился это сделать?

— Нет в Египте офицера, который не исполнил бы приказа нашего повелителя и вождя.

— В таком случае, — медленно произнес фараон, — в таком случае... не надо никого отводить в тюрьму... У меня достаточно веры в себя и презрения к ним. Падаль, которую человек увидит на дороге, он не станет прятать в кованый сундук, а просто обойдет ее.

— Но гиену сажают в клетку, — возразил Тутмос.

— Пока еще рано, — ответил Рамсес. — Я вынужден быть снисходительным к этим людям, по крайней мере, до похорон моего отца, иначе они способны оскорбить его священную мумию и нарушить покой его души... А теперь вот что: ступай завтра к Хираму и скажи ему, чтобы он прислал мне того жреца, о котором мы с ним говорили.

— Будет исполнено. Но я должен довести до твоего, государь, сведения, что сегодня народ громил дома мемфисских финикиян.

— Вот как? Ну, это уж напрасно!

— И еще мне кажется, — продолжал Тутмос, — что с тех пор, как ты приказал Пентуэру изучить положение крестьян и рабочих, жрецы подстрекают номархов и знать... Они внушают им, государь, что ты хочешь разорить знать в пользу крестьян.

— И знать верит этому?

— Находятся и такие, что верят, но другие говорят прямо, что это интриги жрецов против тебя.

— А если бы я и в самом деле задумал улучшить жизнь крестьян?.. — спросил фараон.

— Ты сделаешь, государь, все, что найдешь нужным, — ответил Тутмос.

— Вот такой ответ я понимаю!.. — радостно воскликнул Рамсес XIII. — Будь спокоен и скажи знати, что она не только ничего не потеряет, исполняя мои распоряжения, а напротив, положение ее улучшится и значение возрастет. Богатства Египта должны быть наконец вырваны из рук недостойных и отданы верным слугам.

Фараон простился со своим любимцем и, довольный, ушел отдыхать. Его минутное отчаяние казалось ему сейчас смешным.

На следующий день около полудня его святишеству доложили, что явилась депутация финикийских купцов.

— Они собираются, вероятно, жаловаться на разгром их домов? — спросил фараон.

— Нет, — ответил адъютант, — они хотят преподнести тебе дары.

Действительно, человек двенадцать финикиян, во главе с Рабсуном, явились с подарками. Когда фараон вышел к ним, они пали ниц, после чего Рабсун заявил, что, по старинному обычаю, они осмеливаются повергнуть свои скромные дары к стопам повелителя, дарующего им жизнь, а их имуществу безопасность.

И стали выкладывать на столы золотые чаши, цепи и кубки, наполненные драгоценными камнями. Рабсун же положил на ступени трона поднос с папирусом, в котором финикияне письменно обязывались

дать для армии всякого снаряжения на две тысячи талантов.

Это был крупный подарок, в общей сложности составлявший около трех тысяч талантов.

Фараон милостиво поблагодарил преданных купцов и пообещал им свое покровительство. Они ушли от него осчастливленные.

Рамсес XIII облегченно вздохнул. Банкротство казны, а с ним и необходимость прибегнуть к насильственным средствам против жрецов отодвинулись на десять дней. Вечером опять под охраной Тутмоса в кабинет его святейшества явился Хирам. На этот раз он не жаловался на усталость, а пал ниц и начал плаксивым голосом проклинать дурака Дагона.

— Я узнал, что этот паршивец, — начал он, — осмелился напомнить вашему святейшеству о нашем договоре относительно канала до Красного моря... Чтоб он пропал... чтоб его изъела проказа... Пусть его дети пасут свиней, а внуки родятся евреями. Изволь только, повелитель, приказать, и, сколько ни есть богатств в Финикии, она все повергнет к твоим стопам, не требуя никаких договоров и расписок. Разве мы ассирийцы или... жрецы, — добавил он шепотом, — и нам недостаточно одного слова столь могущественного владыки?

— А если бы я, Хирам, действительно потребовал большой суммы? — спросил фараон.

— Какой?

— Например, тридцать тысяч талантов?

— Сейчас? Сразу?

— Нет — в продолжение года.

— Ты получишь ее, — ответил Хирам, не задумываясь.

Фараон был поражен его щедростью.

— Но я должен вам дать что-нибудь в залог...

— Только для формы, — ответил финикиянин. — Ваше святейшество даст нам в залог рудники, чтобы не вызвать подозрений у жрецов. Если б не это, Финикия предалась бы вам вся без залогов и расписок.

— А канал?.. Я должен сейчас же подписать договор? — спросил фараон.

— Вовсе нет. Ты заключишь с нами договор, когда пожелаешь.

Рамсес был вне себя от радости. Только теперь он ощутил прелесть царской власти — и то благодаря финикиянам.

— Хирам, — сказал он, уже не владея собой от волнения, — сегодня же я даю вам, финикиянам, разрешение строить канал, который соединит Средиземное море с Красным...

Старик припал к ногам фараона.

— Ты — величайший царь, какого когда-либо знал мир! — воскликнул он.

— Пока ты не должен говорить об этом никому, ибо враги моей славы не дремлют. А чтобы подтвердить это, я даю тебе вот этот мой царский перстень... — Он снял с пальца перстень, украшенный магическим камнем, на котором было выгравировано имя Гора, и надел его на палец финикиянина.

— Богатство всей Финикии к твоим услугам! — повторил глубоко взволнованный Хирам. — Ты совершишь подвиг, который будет славить имя твое, доколе не погаснет солнце.

Фараон обнял его седую голову и велел ему сесть.

— Итак, значит, мы — союзники, — проговорил после минутного молчания фараон, — и я надеюсь, что этот союз принесет благоденствие Египту и Финикии...

— Всему миру! — воскликнул Хирам.

— Скажи мне, однако, князь, откуда у тебя столько веры в меня?

— Я знаю твой благородный характер... Если бы ты, повелитель, не был фараоном, ты через несколько лет стал бы богатейшим финикийским купцом и главой нашего Совета...

— Допустим, — ответил Рамсес, — но ведь для того, чтобы сдержать данное вам обещание, я должен сперва раздавить жрецов. Это — борьба, а исход борьбы неизвестен.

Хирам улыбнулся.

— Государь, — сказал он, — если мы будем так низки, что покинем тебя, когда казна пуста, а враг поднял голову, ты проиграешь борьбу! Человек без средств легко теряет мужество, а от нищего царя отворачивается и его армия, и подданные, и вельможи... Поскольку же у тебя, государь, есть наше золото и наши агенты, да твоя армия с военачальниками, то со жрецами будет у тебя так же мало хлопот, как у слона со скорпионом. Ты ступишь на них ногой, и они будут раздавлены... Впрочем, это не мое дело. В саду ожидает верховный жрец Самонту, которому вы, ваше святейшество, велели прийти. Я удаляюсь. Теперь его час... Но достать тридцать тысяч талантов я постараюсь, пусть только ваше святейшество прикажет...

Хирам снова пал ниц и ушел, обещая прислать Самонту.

Вскоре верховный жрец явился. Как полагалось служителю Сета, он не брил бороды и густых всклокоченных волос. Лицо у него было строгое, а в глазах светился глубокий ум. Он поклонился без излишнего смирения и

спокойно выдержал пронизывающий взгляд фараона.

— Садись, — сказал владыка.

Жрец сел на пол.

— Ты мне нравишься, — сказал Рамсес. — У тебя осанка и лицо гиксоса, а они — самые храбрые солдаты в моей армии.

И вдруг спросил:

— Это ты рассказал Хираму о договоре наших жрецов с ассирийцами?..

— Я, — ответил Самонту, не опуская глаз.

— Ты тоже участвовал в этой подлости?

— Нет, я подслушал этот договор... В храмах, как и во дворцах вашего святишества, стены пронизаны каналами, через которые даже с вершин пилонов можно слышать, что говорится в подземельях.

— А из подземелий можно говорить с людьми, живущими в верхних покоях... — заметил фараон.

— Выдавая это за голос богов, — прибавил с серьезным видом жрец.

Фараон улыбнулся. Значит, предположение, что это не дух отца говорил с ним и с матерью, было правильно.

— Почему ты доверил финикиянам столь важную государственную тайну? — спросил Рамсес.

— Потому что я хотел предотвратить позорный договор, который повредит и нам, и финикиянам.

— Ты мог предупредить кого-нибудь из знатных египтян.

— Кого? — спросил жрец. — Тех, кто бессилен против Херихора, или тех, кто донес бы ему на меня, обрекая на мученическую смерть? Я сказал Хираму, потому что он знается с нашими вельможами, с которыми я никогда не встречаюсь.

— А почему Херихор и Мефрес заключили подобный договор? — допытывался фараон.

— Это, по моему мнению, люди недалекие. Их напугал Бероэс, великий халдейский жрец. Он сказал им, что над Египтом десять лет будет тяготеть злой рок и что если мы в течение этого времени начнем войну с Ассирией, то будем разбиты...

— И они поверили этому?

— Очевидно, Бероэс показывал им чудеса. Даже поднимался в воздух... Это, конечно, дело удивительное, но я никак не пойму, отчего мы должны терять Финикию, если Бероэс умеет подниматься над землей.

— Значит, и ты не веришь в чудеса?..

— Кое-чему верю, — ответил Самонту. — Бероэс, кажется,

действительно совершает необыкновенные вещи. А наши жрецы только обманывают и народ и повелителя.

— Ты ненавидишь жреческую касту?

Самонту развел руками.

— Они меня тоже не терпят и, что еще хуже, глумятся надо мной будто бы потому, что я служу Сету. А между тем, что это за боги, которым приходится поворачивать голову и руки при помощи веревочек. Или что это за жрецы, которые, притворяясь благочестивыми и воздержанными, имеют по десять женщин, тратят десять, а то и двадцать талантов в год, крадут жертвоприношения, возлагаемые на алтари, и ненамного умнее учеников высшей школы?

— Но вот ты же получаешь приношения от финикиян?

— А от кого мне получать?.. Одни только финикияне по-настоящему чтят Сета, боясь, чтобы он не потопил их кораблей. А у нас его чтят только бедняки, и если бы я довольствовался их жертвоприношениями, то умер бы с голоду вместе с моими детьми.

Фараон подумал, что этот жрец все же неплохой человек, хотя и выдает тайны храмов. К тому же он, по-видимому, умен и говорит то, что есть.

— Ты слыхал что-нибудь, — спросил опять государь, — про канал, который должен соединить Средиземное море с Красным?

— Это дело мне известно. Еще несколько сот лет тому назад наши инженеры разработали этот проект.

— А почему его до сих пор не выполнили?

— Жрецы боятся, чтобы в Египет не нахлынули иноземцы, которые могут подорвать нашу веру, а вместе с нею и их доходы.

— А правда то, что говорил Хирам про племена, живущие на далеком востоке?

— Все это совершенно верно. Мы знаем о них давно, и не проходит десятка лет, чтобы мы не получали из тех стран какого-нибудь драгоценного камня, рисунка или искусного изделия.

Фараон опять задумался и вдруг спросил:

— Ты будешь верно служить мне, если я сделаю тебя моим советником?

— Я буду служить тебе не на жизнь, а на смерть... Но... если я стану советником фараона, возмутятся жрецы, которые меня ненавидят.

— А не думаешь ли ты, что их можно сломить?

— И даже очень легко! — ответил Самонту.

— Какой же у тебя план на случай, если б я решил от них избавиться?

— Надо было бы завладеть сокровищницей Лабиринта, — объявил жрец.

— А мог бы ты добраться до нее?

— У меня есть уже кое-какие указания. Остальное я найду, потому что знаю, где искать.

— Ну, а потом что? — спросил фараон.

— Надо возбудить дело против Херихора и Мефреса по обвинению в государственной измене, в тайных сношениях с Ассирией...

— А где доказательства?..

— Мы их найдем при помощи финикиян, — ответил жрец.

— А не грозит ли это какой-нибудь опасностью для Египта?

— Никакой. Четыреста лет назад фараон Аменхотеп Четвертый свергнул власть жрецов, установив веру в единого бога Ра-Гормахиса^[158]. При этом, разумеется, он захватил сокровища у храмов других богов. И вот уже тогда ни народ, ни армия, ни знать не заступились за жрецов... Что же говорить о нашем времени, когда бывшая вера давно пала!

— А кто же помогал Аменхотепу?

— Простой жрец Эйе.

— Тот самый, который после смерти Аменхотепа занял его трон, — сказал Рамсес, пристально глядя в глаза жрецу.

Но Самонту ответил спокойно:

— Этот случай доказывает, что Аменхотеп был никуда не годным правителем, который больше заботился о славе Ра, чем о государстве.

— Ты, право, настоящий мудрец! — вскричал Рамсес.

— Рад служить тебе, государь!

— Я назначаю тебя своим советником, — сказал фараон, — но ты не должен посещать меня тайком, а поселишься у меня во дворце.

— Прости, государь, но пока члены верховной коллегии не сядут в тюрьму за переговоры с врагами государства, мое присутствие во дворце принесет больше вреда, чем пользы. Я буду служить и давать советы вашему святейшеству, но тайно.

— И найдешь дорогу к сокровищнице Лабиринта?

— Я надеюсь, что, пока ты вернешься, государь, из Фив, мне удастся это сделать. Когда же мы перенесем сокровища во дворец и когда суд осудит Херихора и Мефреса, которых ваше святейшество может затем помиловать, тогда я, с разрешения фараона, выступлю явно и не буду больше служить Сету, что только отпугивает от меня людей.

— И ты думаешь, что все обойдется благополучно?

— Ручаюсь жизнью, — ответил жрец. — Народ любит тебя, и его

нетрудно поднять против сановных предателей... Солдаты послушны тебе, как ни одному из фараонов со времен Рамсеса Великого... Кто же может устоять против этих сил?.. А ко всему этому к услугам твоим будут финикияне и деньги — величайшая сила в мире.

Когда Самонту собрался уходить, фараон разрешил ему припасть к своим ногам и подарил тяжелую золотую цепь и запястье, украшенное сапфирами.

Не всякий вельможа удостаивался подобной милости за долгие годы службы.

Посещение Самонту и его обещания преисполнили сердце фараона новыми надеждами.

«Если бы только удалось добыть сокровища Лабиринта!..»

Ничтожной части их хватило бы на то, чтобы освободить знать от долгов финикиянам, улучшить жизнь крестьян и выкупить заложенные поместья фараона.

А какими сооружениями обогатилось бы государство!.. Да, богатства Лабиринта могли бы устранить все заботы. Ибо какой прок от того, что финикияне собирались предоставить Рамсесу большой заем? Заем надо будет когда-нибудь погасить с процентами или рано или поздно отдать в залог остальные царские поместья. Это могло только отсрочить разорение, но не предупредить его.

В половине месяца фаменот (январь) началась весна. Весь Египет зеленел всходами пшеницы, а на свежевспаханной земле сновали крестьяне, сеявшие люпин, бобы, фасоль и ячмень. В воздухе веяло ароматом померанцевых цветов. Вода почти совсем спала, и с каждым днем обнажались все новые и новые участки земли.

Приготовления к похоронам Осириса-Мери-Амон-Рамсеса были закончены. Освященная мумия фараона была уже заключена в белый футляр, верхняя часть которого точно воспроизводила черты покойного. Фараон, казалось, глядел своими эмалевыми глазами, и божественное лицо его выражало кроткую скорбь не о покинутом мире, а о людях, которым предстояло еще пережить страдания земной жизни. На голове у него был египетский чепец в белую и синюю полосу, на шее — нитки драгоценных камней; на груди — изображение человека, стоящего на коленях с распростертыми руками; на ногах — изображения богов, священных птиц и глаз, не принадлежащих никакому существу, а как будто смотрящих из пространства.

В таком виде останки царя покоились на драгоценном ложе в небольшом ящике из кедрового дерева, стенки которого были испещрены надписями, восхваляющими жизнь и подвиги покойного. Над телом парил чудесный ястреб с человеческой головой, а у ложа дежурил днем и ночью жрец, переодетый Анубисом, богом погребения, с головой шакала.

Кроме того, был приготовлен еще тяжелый базальтовый саркофаг, представляющий собою наружный гроб мумии. Этот саркофаг тоже имел формы и черты покойного фараона и был покрыт надписями и изображениями молящихся людей, священных птиц и скарабеев.

Семнадцатого фаменота мумию вместе с ящиком и саркофагом перенесли из «города мертвых» в царский дворец и установили в самом большом зале. Зал этот немедленно заполнили жрецы, поющие траурные гимны, представители знати и слуги покойного царя, особенно много было женщин умершего фараона, которые причитали так громко, что их вопли слышны были на другом берегу Нила.

— О господин!.. О господин наш!.. — взывали они. — Зачем ты покидаешь нас? Ты — такой прекрасный, такой добрый, так радушно беседовавший с нами... Почему ты теперь молчишь?.. Ведь ты нас любил, а теперь так далек от нас!

В это же время жрецы пели.

Хор первый. «Я — Тум, который один...»

Хор второй. «Я — Ра, первый в его лучах...»

Хор первый. «Я — бог, что сам себя создает...»

Хор второй. «И сам дает себе имя, и никто не удержит его среди богов...»

Хор первый. «Я знаю имя великого бога, который там...»

Хор второй. «Ибо я — великая птица Бенну^[159], и я вижу все, что есть»^[160].

После двух дней причитаний и молебствий к дворцу подъехала огромная колесница в виде ладьи. Ее края украшали бараньи головы и опахала из страусовых перьев, а над дорогим балдахином парил орел и блестела золотом змея — урей, символ власти фараона.

На эту колесницу возложили священную мумию, невзирая на упорное сопротивление придворных женщин. Одни из них хватались за гроб, другие заклинали жрецов, чтобы те не отнимали у них дорогого господина, третьи царапали лица и рвали на себе волосы, даже били людей, несших саркофаг. Крик стоял ужасный.

Наконец, колесница, приняв божественные останки, тронулась, окруженная толпами народа, растянувшимися на огромное расстояние от дворца до Нила. И здесь были люди, измазанные грязью, исцарапанные, в траурных повязках, вопившие нечеловеческими голосами. Согласно траурному ритуалу по всему пути были расставлены хоры.

Хор первый. «На Запад, в обитель Осириса, на Запад идешь ты — первый среди людей, ненавидевший ложь».

Хор второй. «На Запад! Не оживет уже человек, который так любил правду и ненавидел ложь».

Хор возничих. «На Запад, быки, везущие траурную колесницу, на Запад!.. Ваш господин следует за вами».

Хор третий. «На Запад, на Запад, в страну справедливых. Место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе».

Толпа народа. «С миром иди в Абидос!.. С миром иди в Абидос!.. Да дойдешь ты с миром до Запада!»

Хор плакальщиц. «О господин наш... о господин наш, когда ты отходишь на Запад, сами боги рыдают!..»

Хор жрецов. «Он счастлив, наиболее чтимый среди людей! Его судьба позволяет ему отдохнуть в гробу, уготованном им самим».

Хор возничих. «На Запад, быки, везущие траурную колесницу!.. На

Запад!.. Ваш господин следует за вами...»

Толпа народа. «С миром иди в Абидос!.. С миром иди в Абидос!.. К западному морю!..»^[161]

Через каждые две-три сотни шагов стояли отряды солдат, приветствовавшие повелителя глухим барабанным боем и провожавшие его пронзительным воем труб. Это были не похороны, а триумфальное шествие в страну богов.

На некотором расстоянии за колесницей шел Рамсес XIII, окруженный многолюдной свитой военачальников, а за ним царица Никотриса, поддерживаемая двумя придворными дамами. Ни сын, ни мать не плакали, ибо им было известно (чего не знал простой народ), что покойный царь уже находится вместе с Осирисом и так доволен пребыванием на родине блаженства, что не хотел бы вернуться на землю.

После шествия, длившегося несколько часов и сопровождаемого несмолкающими криками, колесница с телом остановилась на берегу Нила.

Тут тело сняли с колесницы, имевшей форму ладьи, и перенесли на настоящую, раззолоченную, украшенную резьбой и живописью барку с белыми и пурпурными парусами.

Придворные женщины еще раз пытались отнять мумию у жрецов, еще раз запели хоры, заиграли военные оркестры. Затем на барку, увозящую царскую мумию, взойшла царица Никотриса и несколько жрецов, народ стал бросать венки и букеты. Плеснули по воде весла...

Рамсес XII в последний раз покинул свой дворец, направляясь по Нилу к своей гробнице в Фивах. По дороге, как заботливый повелитель, он должен был заезжать во все знаменитые места, чтобы проститься с ними.

Путешествие тянулось очень долго. До Фив было около ста миль, плыть приходилось вверх по реке, и мумия должна была посетить больше десятка храмов и принять участие в торжественных службах.

Спустя несколько дней после отбытия Рамсеса XII на вечный покой по пути следования его тела выехал Рамсес XIII, чтобы видом своим утешить омертвелые от скорби сердца подданных, принять от них почести и совершить жертвоприношения богам. За покойным царем следовали, каждый на собственном судне, все верховные жрецы, множество старших жрецов, наиболее богатые владельцы поместий и большая часть номархов.

Новый фараон с горечью думал, что его свита будет немногочисленна. Но оказалось иначе. Вокруг Рамсеса XIII группировались все полководцы, очень много чиновников, множество представителей знати и все низшие жрецы, что скорее удивило, чем обрадовало его. Но это было только начало. Ибо, когда судно молодого фараона двинулось по Нилу, навстречу ему

выплыло такое множество больших и малых, бедных и богатых лодок, что почти вся река была покрыта ими. В них сидели нагие крестьяне и работники со своими семьями, нарядные купцы, финикияне в ярких одеждах, проворные греческие матросы и даже ассирийцы и хетты.

Эта толпа уже не кричала, а выла, не радовалась, а безумствовала. Поминутно на царское судно взбиралась какая-нибудь депутация, чтобы облобызать палубу, которой касались ноги повелителя, и поднести дары: горсточку зерна, лоскут ткани, простой глиняный кувшин, несколько птичек, а большей частью просто букет цветов. И еще прежде чем фараон отъехал от Мемфиса, барку, куда складывали приношения, пришлось несколько раз разгружать, чтобы она не утонула. Младшие жрецы переговаривались между собой о том, что, кроме Рамсеса Великого, ни одного фараона не приветствовали с таким восторгом.

Так прошло все путешествие от Мемфиса до Фив, причем неистовство народа не ослабевало, а, напротив, усиливалось. Крестьяне покидали свои поля, ремесленники — свои мастерские, чтобы порадоваться созерцанием нового повелителя, о планах которого уже создались легенды. Ожидали огромных перемен, хотя никто не знал — каких. Одно только было известно, что строгость чиновников смягчилась, что финикияне с меньшей жестокостью собирают подати и что всегда покорный египетский народ уже не склоняет так низко голову перед жрецами.

— Пусть только разрешит фараон, — говорили в харчевнях, на полях и на рынках, — мы сразу наведем порядок и расправимся со святыми мужами. Это они виноваты, что мы платим большие налоги и что раны на наших спинах никогда не заживают.

В семи милях к югу от Мемфиса, между отрогами Ливийских гор, лежала страна Пиом, или Фаюм, замечательная тем, что она была создана человеческими руками.

Когда-то в этом месте была пустынная котловина, окруженная амфитеатром голых гор. Фараон Аменемхет^[162] за 3500 лет до рождения Христа возымел дерзкое намерение превратить ее в цветущий край.

С этой целью он отделил восточную часть котловины и окружил этот участок мощной плотиной. Она была высотой с двухэтажный дом, толщиной у основания около ста шагов и больше сорока километров длиной.

Таким образом, было создано водохранилище вместимостью до тех миллиардов кубических метров (три кубических километра) воды, поверхность которой занимала около трехсот квадратных километров. Водохранилище это служило для орошения четырехсот тысяч моргов

почвы, а, кроме того, в период разлива принимало в себя избыток воды и предохраняло значительную часть Египта от внезапного наводнения.

Этот огромный водоем назывался Меридовым озером и считался одним из чудес мира. Благодаря ему пустынная местность превратилась в плодородную страну Пиом, где проживало и благоденствовало около двухсот тысяч жителей. В провинции этой, наряду с пальмами и пшеницей, выращивались прекрасные розы. Из них вырабатывали розовое масло, которое славилось не только в Египте, но и за его пределами.

Существование Меридова озера было связано с другим чудом искусства египетских инженеров — каналом Иосифа^[163]. Канал этот, шириной в двести шагов, тянулся на несколько десятков миль в длину по западную сторону Нила. Расположенный в двух милях от реки, он служил для орошения земель, граничащих с Ливийскими горами, и отводил воду в Меридово озеро.

Вокруг страны Фаюм возвышалось несколько древних пирамид и множество более мелких гробниц. А на восточной ее границе, неподалеку от Нила, стоял знаменитый Лабиринт. Он был тоже построен Аменемхетом и имел форму исполинской подковы, занимавшей участок земли в тысячу шагов длиной и шестьсот шириной. Здание это было величайшей сокровищницей Египта. В нем покоились мумии многих прославленных фараонов, знаменитых жрецов, полководцев, строителей, а также чучела священных животных, особенно крокодилов. Тут хранились накопленные в продолжение веков богатства египетского царства, о которых в настоящее время трудно даже составить себе представление.

Лабиринт не был недоступен снаружи и не очень бдительно охранялся: охрану его составлял лишь небольшой караул солдат жреческой армии и несколько жрецов испытанной честности. Безопасность сокровищницы зиждилась, собственно, на том, что, за исключением нескольких лиц, никто не знал, где искать ее среди Лабиринта, состоявшего из двух ярусов — надземного и подземного, в которых насчитывалось по тысяче пятисот комнат.

Каждый фараон, каждый верховный жрец, наконец, каждый главный казначей и верховный судья был обязан немедленно по вступлении в должность собственными глазами осмотреть государственное достояние. Однако никто из вельмож не только не нашел бы туда пути, но не мог бы даже представить себе, где находится сокровищница: в главном ли корпусе или в одном из флигелей, над землей или под землей.

Некоторым казалось, что сокровищница находится действительно под землей, далеко за пределами самого Лабиринта; другие полагали, что она

лежит под дном озера, чтобы в случае нужды ее можно было затопить. Вообще же никто из вельмож не вникал в этот вопрос, зная, что покушение на достояние богов влечет за собой гибель святотатца.

Возможно, впрочем, что кому-нибудь из непосвященных и удалось бы найти туда дорогу, если бы всякую такую попытку не парализовал страх. Тому, кто осмелился бы безбожным разумом посягнуть на открытие этих тайников, и всем его близким угрожала земная и вечная смерть.

Прибыв в эти места, Рамсес XIII посетил прежде всего провинцию Фаюм. Она была похожа на внутренность глубокой чаши, дном которой было озеро, а краями — холмы. Повсюду взор его встречал сочную зелень трав, пестреющих цветами, верхушки пальм, рощи смоковниц и тамариндов, в которых с восхода до заката солнца раздавалось пение птиц и веселые голоса людей. Это был, пожалуй, самый счастливый уголок Египта.

Народ встретил фараона восторженно. Его и свиту засыпали цветами, ему преподнесли несколько кувшинчиков драгоценнейших духов и больше десяти талантов золота и драгоценных камней.

Два дня провел фараон в роскошной местности, где радость, казалось, расцветала на деревьях, кружилась в воздухе, отражалась в водах озера. Но ему напомнили, что он должен посетить Лабиринт. С грустью покинул он Фаюм и, уезжая, все время оглядывался назад. Вскоре, однако, его внимание поглотило величественное здание серого цвета, возвышавшееся на холме.

У ворот пережившего века Лабиринта встретила фараона небольшая группа жрецов аскетического вида и отряд солдат с бритыми головами и лицами.

— Эти солдаты скорее похожи на жрецов! — воскликнул Рамсес.

— Потому что все они получили посвящение в низший сан, а их сотники — в высший, — ответил верховный жрец храма.

Всмотревшись поближе в лица странных воинов, которые не ели мяса и жили в безбрачии, фараон уловил в них пронизательный ум и спокойную энергию. Убедился он также, что его священная персона не производит в этом месте никакого впечатления.

«Интересно, как думает попасть сюда Самонту?» — мелькнуло в голове у фараона.

Он понял, что этих людей нельзя ни запугать, ни подкупить. От них веяло такой уверенностью, точно у каждого были в распоряжении непобедимые полчища духов.

«Посмотрим, — подумал Рамсес, — испугаются ли этих

богобоязненных мужей мои греки и азиаты? К счастью, они такие дикари, что даже не заметят особой торжественности этих физиономий...»

По просьбе жрецов свита Рамсеса XIII осталась у ворот как бы под наблюдением солдат с бритыми головами.

— И меч надо оставить? — спросил фараон.

— Он нам не помешает, — ответил старший смотритель.

За такой ответ молодой фараон готов был огреть этим мечом благочестивого мужа, однако сдержался.

Пройдя огромный двор между двумя рядами сфинксов, фараон и жрецы попали в главный корпус. Тут в просторных, но несколько затененных сенях было восемь дверей. Смотритель спросил:

— Через какую дверь, ваше святейшество, хотите пройти к сокровищнице?

— Через ту, которая нас скорее приведет.

Каждый из пяти жрецов взял по два пучка факелов, но только один из них зажег свет. Рядом с ним шел старший смотритель, держа в руке длинную нитку четок, на которых были какие-то знаки. За ними следовал Рамсес с тремя остальными жрецами.

Старший жрец с четками повернул вправо; они вошли в большой зал, стены и колонны которого были испещрены надписями и рисунками. Оттуда прошли через узкий коридор вверх и очутились в другом зале с большим количеством дверей. Тут перед ними сдвинулась в сторону одна из плит пола, открыв отверстие, через которое они спустились вниз и опять по узкому коридору направились в комнату, где совсем не было дверей. Но проводник дотронулся до одного из иероглифов, и стена раздвинулась перед ними.

Рамсес хотел определить направление, в каком они идут, но сразу же сбился. Он видел только, что они быстро проходят через большие залы, маленькие комнаты, узкие коридоры и то карабкаются вверх, то спускаются вниз и что в некоторых залах много дверей, а в других их совсем нет. Одновременно он заметил, что перед тем, как войти, проводник передвигает одно зерно своих четок, а иногда при свете факела сравнивает знаки на четках со знаками на стенах.

— Где мы сейчас, — спросил вдруг фараон, — в подземном ярусе или наверху?..

— Во власти богов, — ответил один из его спутников.

После нескольких поворотов и переходов фараон опять нарушил молчание.

— Да ведь мы уже были здесь чуть не два раза, — сказал он.

Жрецы не ответили, только несший факел осветил по очереди стены, и Рамсес, всмотревшись, должен был согласиться в душе, что они здесь, кажется, еще не были.

В небольшой комнате без дверей жрец, несший факел, опустил его, и фараон увидал на полу черный высохший труп, укутанный полуистлевшей одеждой.

— Это, — сказал смотритель здания, — труп одного финикиянина, который при шестнадцатой династии пытался пробраться в Лабиринт и дошел до этого места.

— Его убили? — спросил фараон.

— Он умер с голоду.

Они шли уже с полчаса, как вдруг державший факел осветил в коридоре нишу, где тоже лежал высохший труп.

— Это, — заявил смотритель, — труп нубийского жреца, который в царствование деда вашего святишества пытался сюда проникнуть.

Фараон не спрашивал, что с ним случилось. Ему казалось, что он находится где-то глубоко внизу и что здание давит его своей тяжестью. О том, чтобы как-нибудь ориентироваться в сотнях коридоров, зал, комнат, он больше не думал. И даже не пытался уяснить себе, каким чудом расступаются перед ними каменные стены или проваливаются полы.

«Самонту ничего не сделает, — думал он, — или погибнет, как эти двое, про которых я должен буду ему рассказать».

Такого удрученного состояния, такого сознания своего ничтожества и бессилия он никогда еще не испытывал. Иногда ему казалось, что жрецы покинут его вдруг в одной из этих узких комнат без дверей. Его охватывало отчаяние, и он протягивал руку к мечу, готовый изрубить их. Но тут же спохватывался, что без их помощи ему не выйти отсюда, и поникал головой.

«О, если б хоть на минуту увидеть дневной свет!.. Как страшна должна быть смерть в этих трех тысячах комнат, наполненных мраком!»

Души героев испытывают иногда минуты такого уныния, каких обыкновенный человек даже не может себе представить.

Шествие длилось уже около часа, когда они наконец дошли до длинного зала с двумя рядами восьмиугольных колонн. Трое жрецов, окружавших фараона, разошлись по сторонам, причем Рамсес заметил, что один из них прислонился к колонне и как будто вошел в нее. Минуту спустя в одной из стен открылся узкий проход, жрецы вернулись на свои места, а их проводник велел зажечь четыре факела. Все направились к этому проходу и осторожно протиснулись в него.

— Вот кладовые... — сказал смотритель здания.

Жрецы быстро зажгли факелы, укрепленные у колонн и стен, и Рамсес увидел ряд длинных комнат, заполненных всевозможными изделиями, которым цены не было. В эту коллекцию каждая династия, если не каждый фараон, вкладывали все, что было у них наиболее красивого и ценного.

Здесь были колесницы, ладьи, кровати, столы, ларцы и троны, золотые или обитые листовым золотом и инкрустированные слоновой костью, перламутром, разноцветным деревом — с таким необычайным искусством и так богато, что на каждую из этих вещей были потрачены ремесленниками-художниками десятки лет; были доспехи, шлемы, щиты и колчаны, сверкавшие драгоценными камнями, были кувшины, чаши и ложки из чистого золота, драгоценные одежды и балдахины.

Все это благодаря сухости и чистоте воздуха в продолжение столетий сохранялось без изменения и порчи. Среди особых достопримечательностей фараон заметил серебряную модель ассирийского дворца, подаренную Рамсесу XII Саргоном. Верховный жрец, объясняя фараону, какой подарок кем преподнесен, внимательно всматривался в его лицо, но вместо восторга улавливал одно лишь недовольство.

— Скажите мне, — спросил вдруг фараон, — какая польза от этих сокровищ, запертых в темном подземелье?

— В них заключается огромная сила на случай, если бы Египет оказался в опасности. За несколько этих шлемов, колесниц, мечей мы можем купить себе расположение всех ассирийских наместников. А может быть, не устоял бы и царь Ассар, если бы мы преподнесли ему утварь для тронного зала или оружейной.

— Я думаю, что они предпочтут все отнять мечом, чем получить только кое-что за свое расположение к нам, — заметил фараон.

— Пусть попробуют, — ответил жрец.

— Понимаю. У вас, по-видимому, имеется способ уничтожить сокровища. Но в таком случае уже никто ими не воспользуется.

— Это не моего ума дело. Мы стережем то, что нам поручено, и поступаем, как нам приказано.

— А разве не лучше было бы использовать часть этих сокровищ для подкрепления государственной казны, чтобы вывести Египет из плачевного положения, в каком он сейчас находится? — спросил фараон.

— Это уже зависит не от нас.

Рамсес нахмурил брови. Некоторое время он рассматривал предметы — без особого, впрочем, восхищения — и снова спросил:

— Хорошо. Эти искусные изделия могут пригодиться, чтоб

приобрести расположение ассирийских вельмож. Но если вспыхнет война с Ассирией, на какие средства мы добудем хлеб, людей и оружие у народов, которые не очень разбираются в художественных диковинах?

— Откройте сокровищницу!.. — распорядился верховный жрец.

Жрецы немедленно повиновались. Двое скрылись, как будто вошли внутрь колонны, а один по лесенке взобрался на стену и стал вертеть что-то около резного украшения.

Опять раздвинулась потайная дверь, и Рамсес вошел в настоящее хранилище.

Это была просторная комната, заполненная бесценными сокровищами. Там стояли глиняные бочки, наполненные золотым песком, золотые слитки, сложенные как кирпичи, и связанные пучками золотые стержни. Серебряные слитки составляли как бы стену шириной в несколько локтей, высотой до потолка. В нишах и на каменных столах лежали драгоценные камни всех цветов радуги: рубины, топазы, изумруды, сапфиры, алмазы, наконец, жемчужины величиной с орех и даже с птичье яйцо. Были среди них такие драгоценности, что за одну можно было бы купить целый город.

— Вот наше богатство на случай бедствия, — сказал жрец-смотритель.

— Какого же еще бедствия вы ждете? — спросил фараон. — Народ нищ, знать и двор в долгах, армия сокращена наполовину, у фараона нет денег — разве был когда-нибудь Египет в худшем положении?

— Он был в худшем, когда его покорили гиксосы.

— Еще через десяток-другой лет, — ответил Рамсес, — нас покорят даже израильтяне, если их не опередят ливийцы и эфиопы. А тогда эти чудесные камни, разбитые на мелкие осколки, пойдут на украшение еврейских и негритянских сандалий...

— Будьте спокойны, ваше святейшество, — в случае нужды не только сокровищница, но и весь Лабиринт исчезнет бесследно вместе со своими хранителями.

Рамсес окончательно понял, что перед ним фанатики, которые думают только об одном — чтобы никого не допустить к овладению этим богатством.

Фараон присел на груды золотых слитков и сказал:

— Так вы храните эти драгоценности на случай народных бедствий?

— Да, святейший государь.

— Хорошо. Но кто же вас, хранителей, известит, что именно такое бедствие наступило, если оно наступит?

— Для этого должно быть созвано чрезвычайное собрание, в котором примут участие фараон, тринадцать высших жрецов, тринадцать номархов,

тринадцать представителей знати, тринадцать офицеров и по тринадцати человек из купцов, ремесленников и крестьян, обязательно коренных египтян.

— Значит, такому собранию вы отдадите сокровища? — спросил фараон.

— Дадим необходимую сумму, если все собрание единодушно решит, что Египет находится в опасности, и...

— И что?..

— И если статуя Амона в Фивах подтвердит это решение.

Рамсес наклонил голову, чтобы скрыть свою радость. У него уже был готов план.

«Я созову такое собрание и склоню его к единодушию, — подумал он про себя. — Думаю, что и божественная статуя Амона подтвердит его решение, если я окружу жрецов моими азиатами».

— Спасибо вам, благочестивые мужи, — сказал он громко, — за то, что вы показали мне драгоценности, колоссальная стоимость которых не мешает мне быть самым нищим из всех царей на свете. А теперь я попрошу вас вывести меня самой короткой и удобной дорогой.

— Желаем вашему святейшеству, — ответил смотритель, — прибавить в Лабиринт еще столько же богатств, сколько вы сейчас видели. А что касается выхода отсюда, то есть только один путь, и по нему нам придется возвращаться.

Один из жрецов подал Рамсесу несколько фиников, другой флягу с вином, приправленным укрепляющими веществами. К фараону вернулись силы, и он пошел бодрее.

— Много бы дал я, — сказал он, смеясь, — чтобы понять все извилины этой причудливой дороги.

Жрец-проводник остановился.

— Уверяю вас, ваше святейшество, мы и сами не знаем и не помним дороги, хотя каждый из нас ходил по ней больше десятка раз.

— Каким же образом вы сюда попадаете?

— Мы пользуемся некоторыми указаниями, но если бы у нас, хотя бы, например, сейчас, какое-нибудь из них исчезло, мы погибли бы здесь от голода.

Наконец они вышли в наружные комнаты, а из них во двор.

Фараон огляделся вокруг и несколько раз глубоко вздохнул.

— За все сокровища Лабиринта я не хотел бы их сторожить!.. Грудь сжимается от страха, когда подумаешь, что можно умереть в этой каменной темнице.

— Но можно и привязаться к ней, — ответил с улыбкой старший жрец. Фараон поблагодарил каждого из своих провожатых и в заключение сказал:

— Я бы хотел оказать вам какую-нибудь милость. Требуйте...

Но жрецы равнодушно молчали, а начальник их сказал:

— Прости мне, государь, дерзость, но чего мы могли бы пожелать? Наши фиги и финики так же сладки, как плоды и ягоды твоего сада, вода так же хороша, как вода в твоём колодце, а если б нас привлекали богатства, разве у нас их не больше, чем у всех царей?

«Этих я ничем не склоню на свою сторону, — подумал фараон. — Но... я дам им решение чрезвычайного собрания, подтвержденное Амоном».

Покинув Фаюм, фараон и его свита недели две плыли на юг, вверх по Нилу: их окружали тучи лодок, их приветствовали радостными криками, засыпали цветами.

По обоим берегам реки, на фоне зеленых полей, тянулись ряды крестьянских хижин, рощи смоковниц и пальм. То и дело среди зелени мелькали белые домики какого-нибудь городка или показывался большой город с разноцветными зданиями, с величественными пилонами храмов.

На западе смутно виднелась гряда Ливийских гор, а на востоке — Аравийская горная цепь, которая подступала все ближе к реке. Можно было разглядеть ее изрытые желтые, розовые или почти черные скалы, напоминавшие своим видом развалины сооруженных исполинами крепостей или храмов.

Посреди Нила попадались островки, которые как будто только вчера всплыли на поверхность, а сегодня стояли уже покрытые пышной растительностью, населенные бесчисленными стаями птиц. Когда появлялся шумный кортеж фараона, птицы в испуге взлетали и, кружа над судами, присоединяли свой крик к мощным возгласам народа. Над всем этим высилось безоблачное небо и солнце струило свой живительный свет, в потоках которого даже черная земля приобретала какой-то блеск, а камни окрашивались всеми цветами радуги.

Время проходило быстро и приятно. Сперва фараона немного раздражали эти непрекращающиеся крики, но потом он так привык к ним, что уже не обращал на них внимания и мог изучать документы, совещаться и даже спать.

В тридцати — сорока милях от Фаюма на левом берегу Нила находился большой город Сиут^[164], в котором Рамсес отдохнул несколько дней. Остановиться было необходимо, потому что мумия покойного царя находилась еще в Абидосе, где у гробницы Осириса совершались торжественные моления.

Сиут был одним из наиболее богатых городов Верхнего Египта. Здесь выделялась знаменитая посуда из белой и черной глины и ткались полотна; здесь был главный рынок, куда привозили товары из разбросанных в пустыне оазисов. Тут, наконец, находился знаменитый храм Анубиса, бога с головой шакала.

На второй день пребывания фараона в этом городе к нему явился жрец

Пентуэр, председатель комиссии, обследовавшей положение народа.

— У тебя есть какие-нибудь новости? — спросил фараон.

— Есть. Весь Египет благословляет тебя, государь. С кем мне ни приходилось говорить, все полны надежд и думают, что твое царствование возродит государство.

— Я хочу, — ответил фараон, — чтобы мои подданные были счастливы и народ вздохнул свободнее. Хочу, чтобы Египет имел, как когда-то, восемь миллионов населения и отвоевал землю, захваченную у него пустыней. Хочу, чтоб трудящийся человек отдыхал каждый седьмой день и чтобы у каждого земледельца был собственный кусок земли.

Пентуэр пал ниц перед милостивым фараоном.

— Встань, — сказал Рамсес. — Надо, однако, признаться, у меня были часы тяжелой скорби. Я вижу бедственное положение моего народа, я хочу помочь ему, а мне сообщают, что казна пуста. Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что без нескольких десятков тысяч талантов наличными деньгами я не могу решиться на какие бы то ни было реформы. Но сегодня я спокоен: я нашел способ добыть необходимые средства из Лабиринта.

Пентуэр с удивлением посмотрел на повелителя.

— Хранитель сокровищ разъяснил мне, что я должен сделать. Надо созвать общее собрание всех сословий по тринадцати представителей от каждого, и, если они заявят, что Египет находится в нужде. Лабиринт выдаст им ценности... О боги! — прибавил он. — За несколько... за одно их тех сокровищ, что там лежат, можно дать народу пятьдесят дней отдыха в году!.. Трудно придумать, как можно было бы употребить их с большей пользой.

Пентуэр покачал головой.

— Повелитель, — сказал он, — шесть миллионов египтян, со мной и моими друзьями в числе первых, согласятся, чтобы ты почерпнул из этой сокровищницы. Но... не обманывай себя, сто высших сановников государства воспротивятся этому, и ты ничего не получишь.

— Уж не хотят ли они заставить меня просить милостыню на паперти какого-нибудь храма?.. — вырвалось у фараона.

— Нет, — ответил жрец, — они будут бояться, чтобы раз тронутая сокровищница не опустела. Они будут подозревать вернейших твоих слуг в желании сделать сокровищницу Лабиринта источником наживы. И тогда зависть станет нашептывать им: «А почему бы и нам не воспользоваться?..» Не ненависть к тебе, а именно это взаимное недоверие и жадность вызовут их сопротивление.

Фараон, выслушав его, успокоился и даже улыбнулся.

— Если это так, как ты говоришь, дорогой Пентуэр, то не сомневайся, — сказал он. — Сейчас я понял, для чего Амон установил власть фараона и наделил его сверхчеловеческим могуществом. Для того, видишь ли, чтобы сто, хотя бы и самых знатных, негодяев не могли погубить государство. — Рамсес встал с кресла и прибавил: — Скажи моему народу, пусть терпеливо работает... Скажи верным мне жрецам, чтобы они служили богам и изучали пути, ведущие к мудрости, этому солнцу вселенной. А строптивых и подозрительных вельмож предоставь мне. Горе им, если они разгневают меня!

— Повелитель! — промолвил жрец. — Я всегда буду служить тебе верой и правдой.

Но когда, простившись, Пентуэр уходил, лицо его выдавало озабоченность.

В пятнадцати милях от Сиута, вверх по реке, дикие аравийские скалы подступают почти к самому Нилу, а Ливийские горы отодвигаются от него так далеко, что простирающаяся там долина, пожалуй, самая широкая в Египте. В этом месте стояли рядом два высокочтимых города: Тин и Абидос^[165]. Там родился Менес, первый фараон Египта; там сто тысяч лет назад было опущено в могилу святое тело бога Осириса, предательски убитого своим братом Тифоном. Там, наконец, в память этих великих событий незабываемый вовеки фараон Сети^[166] воздвиг храм, к которому стекались паломники со всего Египта. Каждый правоверный должен был хоть раз в жизни коснуться челом этой благословенной земли. Воистину же счастливым был тот, чья мумия могла совершить путешествие в Абидос и остановиться хотя бы вдалеке от стен храма.

Мумия Рамсеса XII пробыла там несколько дней, ибо это был царь, отличавшийся большим благочестием. Неудивительно поэтому, что и Рамсес XIII начал свое правление возданием почестей гробнице Осириса.

Храм Сети не принадлежал ни к числу самых древних, ни наиболее величественных в Египте. Но он отличался чистотой египетского стиля. Его святейшество Рамсес XIII посетил его и вместе с верховным жрецом Сэмом совершил в нем жертвоприношение.

Земли, принадлежавшие храму, занимали пространство в сто пятьдесят моргов; здесь были пруды, изобиловавшие рыбой, цветники, плодовые сады, огороды и, наконец, дома, вернее, дворцы жрецов. Повсюду росли пальмы, смоковницы, апельсины, тополя, акации, образуя либо аллеи, проложенные в направлении четырех стран света, либо молодые рощи, где деревья были правильно посажены и почти одинаковой высоты.

Под бдительным оком жрецов даже растения здесь не развивались естественно, а, получая искусственные формы геометрических фигур, образовывали неправильные, но живописные группы.

Пальмы, тамаринды, кипарисы и мирты, подобно солдатам, выстраивались шпалерами или колоннадами. Трава представляла собой ковер, разукрашенный цветами так, чтобы простой народ видел на этих газонах изображения богов или священных животных, а мудрец находил изречения, написанные иероглифами.

Центральную часть садов занимал прямоугольник длиной в девятьсот метров и шириной в триста. В окружавшей его не очень высокой стене были одни видимые для всех ворота и больше десятка потайных калиток. Через ворота богомольцы входили в выложенный камнем двор. Самый храм стоял посреди двора; это было прямоугольное здание в четыреста пятьдесят шагов длиной и сто пятьдесят шириной.

От ворот к храму вела аллея сфинксов с львиными телами и человеческими головами. Они стояли в два ряда, по десяти в каждом, и смотрели друг другу в глаза. Между ними могли проходить лишь высшие сановники.

В конце аллеи сфинксов, против ворот, возвышались два обелиска — две тонкие и высокие четырехугольные колонны из гранита, — на которых была начертана вся история фараона Сети.

И лишь за обелисками виднелись тяжелые ворота храма, по обеим сторонам которых высились два мощных сооружения в виде усеченных пирамид, называемые пилонами. Это были как бы две широкие башни, стены которых были испещрены рисунками, изображавшими победы Сети или его жертвоприношения богам. В эти ворота уже не могли пройти крестьяне, а только богатые горожане и лица привилегированных сословий. Ворота вели в перистиль, то есть двор, окруженный галереей, поддерживаемой множеством колонн. Перистиль мог вместить до десяти тысяч молящихся.

Со двора знатные люди имели еще право входить в первый зал, гипостиль, потолок которого поддерживался двумя рядами высоких колонн. Гипостиль вмещал около двух тысяч верующих. Этот зал был последним пределом для мирян. Даже самые высшие сановники, не получившие жреческого посвящения, имели право молиться только здесь и с этого места смотреть на занавешенную статую бога, возвышавшуюся в зале «божественного откровения».

За залом «откровения» находился зал «жертвенных столов», куда жрецы складывали дары, приносимые богам верующими. Далее находился

«зал отдохновения», где бог отдыхал перед торжественным шествием и после возвращения; последней была часовня, или святилище, где бог пребывал постоянно.

В часовне, выдолбленной в каменной глыбе, было обычно тесно и темно. Со всех сторон к ней примыкали такие же небольшие приделы, где хранились одежда и утварь, сосуды и драгоценности бога, который в своем неприступном убежище спал, умывался, натирался благовониями, ел и пил и, возможно даже, принимал молодых и красивых женщин.

В святилище входил только верховный жрец и царствующий фараон, если он получил посвящение. Простой смертный, попав туда, мог лишиться жизни.

Стены и колонны каждого зала были покрыты надписями и поясняющей живописью. В галерее, окружавшей двор (перистиль), были запечатлены имена и портреты всех фараонов, от Менеса, первого повелителя Египта, до Рамсеса XII. В гипостиле, куда доступ имела только знать, была представлена наглядным способом география и статистика Египта и покоренных народов; в «зале откровения» — календарь и астрономические карты; в залах «жертвенных столов» и «отдохновения» — картины религиозно-обрядового содержания, а в святилище — наставления, как вызывать загробные тени и управлять силами природы.

Эти познания, недоступные простым смертным, были заключены в выражения столь сложные, что даже жрецы эпохи Рамсеса XII уже не понимали их. Лишь халдею Бероэсу дано было воскресить умирающую премудрость.

Отдохнув два дня в абидосском дворце, Рамсес XIII отправился в храм. На фараоне была белая рубашка, золотой панцирь, передник в оранжевую и синюю полосу, стальной меч и золотой шлем. Он сел в колесницу, запряженную лошадьми, в страусовых перьях, которых вели под уздцы номархи, и, окруженный свитой, медленно двинулся к дому Осириса.

Куда бы он ни глянул — на поля, на реку, на крыши домов, даже на ветви смоковниц, — всюду теснился народ и раздавались несмолкаемые крики, напоминавшие рев бури.

Доехав до храма, фараон остановил колесницу и сошел у наружных ворот, предназначенных для народа, что очень понравилось толпе и порадовало жрецов. Он пешком прошел аллею сфинксов и, приняв приветствия святых мужей, возжег курения перед статуями Сети по обе стороны широких ворот, изображавшими бога в сидячем положении.

В перистиле верховный жрец обратил его внимание на мастерски

исполненные портреты фараонов и показал место, предназначенное для его изображения; в гипостиле он объяснил ему значение географических карт и статистических таблиц. В зале «божественного откровения» Рамсес воскурил благовония перед огромной статуей Осириса; там же верховный жрец показал ему колонны, посвященные отдельным планетам: Меркурию, Венере, Луне, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Эти семь колонн стояли вокруг статуи лучезарного божества.

— Ты говоришь, — спросил Рамсес, — что есть шесть планет, а я вижу тут семь колонн...

— Эта седьмая представляет землю, которая тоже является планетой, — тихо ответил верховный жрец.

Удивленный фараон потребовал разъяснений, но мудрец молчал и только жестами дал понять, что для дальнейших откровений уста его запечатаны.

В зале «жертвенных столов» послышалась тихая, приятная музыка, под звуки которой хор жрецов и жриц исполнил торжественный танец. Фараон снял свой золотой шлем и драгоценный панцирь и пожертвовал и то и другое Осирису, пожелав, чтобы эти дары остались в сокровищнице бога, а не были сданы в Лабиринт.

За эту щедрость верховный жрец подарил повелителю самую красивую во всем хоре пятнадцатилетнюю танцовщицу, которая, казалось, была очень довольна своей судьбой.

Когда Рамсес очутился в «зале отдохновения», он воссел на трон, а его заместитель в делах религии верховный жрец Сэм, при звуках музыки, окруженный дымом благовонных курений, вошел в святилище, чтобы вынести оттуда статую бога.

Вскоре раздался оглушительный звон колокольчиков, и в полумраке зала появилась золотая ладья; она была закрыта завесами, которые шевелились, как будто там сидело живое существо.

Жрецы пали ниц, Рамсес же стал пристально вглядываться в прозрачные завесы. Одна из них приоткрылась, и фараон увидел ребенка необычайной красоты, посмотревшего на него такими умными глазами, что повелителю Египта стало даже страшно.

— Вот он, Гор, — шептали жрецы, — Гор — восходящее солнце, он сын и отец Осириса и муж своей матери, она же — его сестра.

Началась процессия, но лишь по внутренней части храма. Впереди шли арфисты и танцовщицы, потом белый бык с золотым щитом между рогами, за ними два хора жрецов, затем верховные жрецы, несшие бога, потом опять хоры и, наконец, фараон в носилках, несомых восьмью

жрецами.

Когда процессия обошла все залы и галереи храма, бог и Рамсес вернулись в «зал отдохновения». Завесы, скрывавшие святую ладью, приоткрылись во второй раз, и прекрасный ребенок улыбнулся фараону. Потом Сэм отнес ладью и бога в святилище.

«Не стать ли мне верховным жрецом?» — подумал фараон, которому ребенок так понравился, что ему хотелось бы видеть его почаще.

Но когда он вышел из храма и увидел солнце и бесчисленную толпу ликующего народа, он признался себе, что ничего не понимает. Откуда взялся этот ребенок, не похожий на египетских детей, откуда этот сверхчеловеческий ум в его глазах и что все это означает?

Вдруг ему вспомнился его убитый сын, который мог быть таким же красивым, и на глазах у ста тысяч подданных повелитель Египта заплакал.

— Уверовал!.. Фараон уверовал!.. — стали перешептываться жрецы... — Только вошел в обитель Осириса, как смягчилось его сердце!..

В тот же день исцелились слепой и два паралитика, молившиеся за стеною храма. Коллегия жрецов решила занести этот день в число чудотворных и на наружной стене храма нарисовать картину, изображающую прослезившегося фараона и исцеленных калек.

Поздно, после полудня, Рамсес вернулся к себе во дворец, где выслушал доклады. Когда же все вельможи покинули фараона, явился Тутмос и сказал:

— Жрец Самонту хочет тебе выразить свои верноподданнические чувства.

— Хорошо, приведи его.

— Он покорнейше просит тебя, государь, чтобы ты принял его в шатре в военном лагере, уверяя, что у дворцовых стен есть уши...

— Хотел бы я знать, что ему нужно?.. — сказал фараон и сообщил придворным, что ночь проведет в лагере.

Перед закатом солнца фараон уехал с Тутмосом к своим верным полкам и нашел там в лагере царский шатер, у которого, по приказу Тутмоса, несли караул азиаты.

Вечером явился Самонту в плаще паломника и, почтительно приветствовав его святейшество, прошептал:

— Мне кажется, что всю дорогу за мной шел какой-то человек, который остановился неподалеку от твоего божественного шатра. Может быть, он подослан жрецами?

По приказу фараона Тутмос выбежал и действительно нашел постороннего офицера.

— Кто ты такой? — спросил он.

— Я — Эннана, сотник полка Исиды... несчастный Эннана. Ты не помнишь меня? Больше года назад на маневрах в Пи-Баилосе я заметил священных скарабеев...

— Ах, это ты!.. — удивился Тутмос. — Но ведь твой полк стоит не в Абидосе?

— Уста твои — источник истины. Мы стоим в жалком захолустье под Меной, где жрецы заставили нас чинить канал, словно каких-нибудь крестьян или евреев.

— Как же ты попал сюда?

— Я выпросил отпуск на несколько дней, — ответил Эннана, — и, как олень, мучимый жаждой, прибежал к источнику.

— Что тебе нужно?

— Я хочу просить у государя защиты против бритоголовых; они не дают мне повышения за то, что я сочувствую страданиям солдат.

Озабоченный Тутмос вернулся в шатер и повторил фараону свой разговор с Эннаной.

— Эннана?.. — повторил фараон. — Да, да, помню... Он наделал нам хлопот своими скарабеями, хотя, правда, и получил по милости Херихора пятьдесят палок. Так ты говоришь, он жалуется на жрецов? Давай-ка его сюда.

Фараон велел Самонту удалиться в соседнее отделение шатра, а любимца своего послал за Эннаной.

Неудачливый офицер тут же явился, пал ниц, а потом, стоя на коленях и все время вздыхая, сказал:

— «Я ежедневно молюсь Ра-Гормахису при его восхождении и закате, и Амону, и Ра, и Птаху, и другим богам и богиням, чтобы ты здравствовал, владыка Египта! Чтобы ты жил! Чтобы ты преуспевал, а я чтобы мог видеть хотя бы следы твоих ступней».^[167]

— Что ему нужно? — спросил фараон Тутмоса, впервые придерживаясь этикета.

— Его святейшество спрашивает, что тебе нужно? — сказал Тутмос.

Лицемерный Эннана, не вставая с колен, повернулся к любимцу фараона:

— Ты — ухо и око повелителя, — начал он, — который дарует нам радость и жизнь, и я отвечу тебе, как на суде Осириса. Я служу в жреческом полку божественной Исиды десять лет. Шесть лет я воевал на восточных границах. Мои ровесники достигли высоких чинов, а я все еще только сотник, и все время меня бьют по приказу богобоязненных жрецов. А за

что меня так обижают? «Днем только и думаю о книгах, а по ночам читаю, — ибо глупец, оставляющий книги с такой быстротой, с какой убегает газель, подобен ослу, получающему побои, подобен глухому, который не слышит и с которым приходится говорить жестами. Несмотря на эту любовь к знаниям, я не хваюсь своей ученостью, а спрашиваю у всех совета, ибо у каждого можно чему-нибудь научиться, досточтимым же мудрецам оказываю почтение!»

Фараон сделал нетерпеливое движение, но продолжал слушать, зная, что египтянин считает многословие своим долгом и высшим выражением почтительности к начальству.

— Вот я какой, — продолжал Эннана. — «В чужом доме я не заглядываюсь на женщин; челяди даю есть что полагается и сам не спорю при дележе. Лицо у меня всегда довольное, с начальниками я почтителен, не сяду, если старший стоит. Я не назойлив и непрощенный не вхожу в чужой дом. Что увидит мой глаз, о том я молчу, ибо знаю, что люди глухи к тем, кто употребляет много слов. Мудрость учит, что человек похож: на кладовую, полную различных ответов. Поэтому я всегда выбираю хороший ответ и даю его, а дурной держу на замке. Чужой клеветы не повторяю, а уж что касается поручений, то всегда исполняю их как можно лучше».

[168]

— И что я получаю за это?.. — закончил Эннана, повысив голос. — Голодаю, хожу в лохмотьях и не могу лежать на спине, до того она избита. В книгах я читаю, что жреческая каста награждает храбрость и благоразумие. Но так было, наверно, очень давно. Ибо сейчас жрецы пренебрегают благоразумием, а храбрость и силу выбивают из офицеров палкой...

— Я засну, слушая его, — сказал фараон.

— Эннана, — обратился Тутмос к просителю, — ты убедил фараона, что хорошо начитан. А теперь скажи, только покороче, что тебе нужно?

— Стрела не долетает так быстро до цели, как моя просьба долетит до божественных стоп государя, — ответил Эннана. — Так мне опостылела служба у бритоголовых, такой горечью переполнили мое сердце жрецы, что если я не перейду служить в войска фараона, то убью себя собственным мечом, который не однажды наводил трепет на врагов Египта. Я готов быть скорее десятником, рядовым воином его святейшества, чем сотником в жреческих полках. Свинья или собака может служить им, а не правоверный египтянин.

Последнюю фразу Эннана произнес с такой бешеной яростью, что фараон сказал по-гречески Тутмосу:

— Возьми его в гвардию. Офицер, который не любит жрецов, может

нам пригодиться.

— Его святейшество, повелитель обоих миров, приказал зачислить тебя в свою гвардию, — повторил Тутмос.

— Здоровье и жизнь мои принадлежат повелителю нашему Рамсесу — да живет он вечно! — воскликнул Эннана и поцеловал ковер, лежавший у ног фараона.

Пока ошарашенный Эннана пятился задом из шатра, поминутно падая ниц и благословляя повелителя, фараон сказал Тутмосу:

— У меня в горле першит от его болтовни. Надо мне непременно научить египетских солдат и офицеров выражаться кратко, а не так, как ученые писцы.

— Был бы у него один этот недостаток!.. — прошептал Тутмос, на которого Эннана произвел неприятное впечатление.

Фараон велел позвать Самонту.

— Не беспокойся, — сказал он жрецу, — офицер, который шел позади тебя, не следил за тобой. Он слишком глуп, чтоб исполнять такого рода поручения. Но рука у него тяжелая, и он может пригодиться. А теперь скажи мне, — прибавил фараон, — что заставляет тебя быть таким осторожным?

— Я уже почти знаю дорогу к сокровищнице в Лабиринте, — ответил Самонту.

Фараон покачал головой.

— Это трудное дело, — сказал он тихо. — Я час целый кружил по коридорам и залам, как мышь, за которой гонится кот. И, признаюсь тебе, не только не запомнил дороги, но даже никогда не решился бы пойти по ней один. Умереть при свете солнца, может быть, даже весело, но смерть в этих норах, где заблудился бы крот... брр...

— И тем не менее мы должны найти ее и овладеть ею, — заявил Самонту.

— А если хранители сами отдадут нам нужную часть сокровищ? — спросил фараон.

— Они не сделают этого, пока живы Херихор, Мефрес и их приспешники. Поверь мне, государь, этим вельможам хочется одного — спеленать тебя, как младенца...

Фараон побледнел от ярости.

— Как бы я не спеленал их цепями!.. Каким образом ты хочешь открыть дорогу?

— Здесь, в Абидосе, в гробнице Осириса я нашел полный план дороги в сокровищницу, — сказал жрец.

— А откуда ты узнал, что он здесь?

— Из надписей в храме Сета.

— Когда же ты нашел план?

— Когда мумия вечно живущего отца твоего находилась в храме Осириса, — ответил Самонту. — Я сопровождал царственное тело и, стоя на ночном дежурстве в «зале отдохновения», вошел в святилище.

— Тебе бы быть полководцем, а не верховным жрецом!.. — воскликнул, смеясь, Рамсес. — Так тебе уже понятна дорога в Лабиринт?

— Понятна-то она была мне давно, а вот теперь я собрал необходимые указания.

— Можешь мне объяснить?

— Охотно; при случае даже могу показать тебе план. Дорога эта, — продолжал Самонту, — четыре раза обходит зигзагом весь Лабиринт. Она начинается в самом верхнем этаже и кончается в самом низу, в подземелье, а кроме того, по пути делает множество петель. Поэтому она так длинна.

— А как ты попадешь из одного зала, где множество дверей, в другой?..

— На каждой двери, ведущей к цели, начертана частица изречения: «Горе предателю, который пытается познать величайшую государственную тайну и протянуть святотатственную руку за достоянием богов. Труп его будет — как падаль, а дух не будет знать покоя и будет скитаться по темным местам, терзаемый собственными грехами...»

— И тебя не пугает эта надпись?

— А тебя, государь, пугает вид ливийского копья? Угрозы хороши для черни, а не для меня; я сам сумел бы написать еще более грозные проклятия.

Фараон задумался.

— Ты прав, — сказал он, — копье не страшно тому, кто умеет его отразить, и ложный путь не прельстит мудреца, знающего слово истины... Ну, а как же ты заставишь расступаться перед тобой камни в стенах и колонны разверзаться, словно двери, чтобы они пропускали тебя все дальше?

Самонту пренебрежительно пожал плечами.

— В моем храме, — ответил он, — тоже много потайных входов, открывающихся еще с большим трудом, чем в Лабиринте. Кому известно тайное слово, тот всюду пройдет, — это ты правильно сказал.

Фараон, подперев голову рукой, долго о чем-то думал.

— Мне было бы жаль, — сказал он, — если бы тебя постигла беда на этом пути.

— В худшем случае я найду там смерть. Ну, а разве она не грозит даже фараонам?.. Ты ведь и сам шел смело к Содовым озерам, хотя не был уверен, что вернешься оттуда. Не думай, государь, — продолжал жрец, — что мне придется пройти весь тот путь, который проходят посетители Лабиринта. Я найду кратчайший путь, и прежде чем ты дочитаешь молитву в честь Осириса, я буду там, в то время как ты, идя туда, успел бы прочесть тридцать молитв.

— Разве там есть и другие выходы?

— Несомненно. И я должен их найти. Я ведь не пойду так, как ты, днем или через главный вход.

— А как же?

— В наружной стене много потайных входов, которые я знаю и которые мудрые хранители никогда не охраняют... Во дворе караулы ночью немногочисленны и настолько полагаются на защиту богов или страх черни, что большей частью спят... Кроме того, три раза от заката до восхода солнца жрецы уходят в храм на молитву, а солдаты совершают религиозные обряды под открытым небом. Не успеют они помолиться, как я буду уже в здании.

— А если ты заблудишься?

— У меня в руках будет план.

— А если план поддельный? — спросил фараон, не будучи в силах скрыть своей тревоги.

— А если ты не получишь сокровищ Лабиринта?.. Если финикияне, раздумав, не дадут обещанного займа?.. Если солдаты будут голодать и надежды народа будут обмануты?.. Поверь мне, государь, — продолжал жрец, — в галереях Лабиринта я буду в большей безопасности, чем ты в своем государстве.

— Но темнота... темнота!.. И стены, которых нельзя пробить! И глубина, и эти сотни путей, среди которых невозможно не заблудиться?.. Подумай, Самонту, борьба с людьми — игрушка, борьба же с тьмой и тайной — вещь страшная!

Самонту усмехнулся.

— Ты, государь, — сказал он, — не знаешь моей жизни... Когда мне было двадцать пять лет, я был жрецом Осириса...

— Ты? — спросил с удивлением Рамсес.

— Я. И сейчас я скажу тебе, почему я предпочел служение Сету. Меня отправили на Синайский полуостров, чтобы построить там небольшой храм для горнорабочих. Стройка продолжалась шесть лет. А так как у меня было много свободного времени, то я бродил по горам и заглядывал там в

пещеры. Чего я только не насмотрелся!.. Длиннейшие коридоры, которых не пройдешь и за несколько часов; узкие проходы, через которые приходится проползать на животе; пещеры, такие огромные, что в каждой из них мог бы поместиться целый храм. Я видел подземные реки и озера, хрустальные дворцы, темные, как ночь, гроты, в которых собственной руки не увидишь, или, наоборот, такие светлые, как будто в них сияет второе солнце... Сколько раз я не мог найти дороги, блуждая в бесчисленных проходах, сколько раз потухал у меня факел, сколько раз я скатывался в разверзшуюся передо мной пропасть!.. Мне случалось по нескольку дней проводить в подземелье, питаться поджаренным ячменем и утолять жажду, слизывая влагу с мокрых скал, и я часто не знал, выйду ли обратно на свет дневной. Зато я накопил опыт, зрение у меня обострилось, и я даже полюбил эти страшные ущелья. И сейчас, когда я подумаю об игрушечных тайниках Лабиринта, мне становится смешно. Здания, построенные человеком, — это кротовые норы в сравнении с гигантскими сооружениями, какие воздвигнуты безмолвными и незримыми духами земли. Один раз я увидел нечто ужасное, что заставило меня посвятить себя другому богу. К западу от Синайского рудника лежит горный узел, где в ущельях часто бывают слышны подземные громы, земля дрожит и иногда показывается пламя... Влекомый любопытством, я отправился туда с намерением пробыть подольше и в поисках дороги благодаря едва приметной расселине открыл целую сеть огромных пещер, под сводами которых могла бы поместиться величайшая пирамида. Когда я бродил там, до меня долетел резкий запах тления, такой отвратительный, что я хотел бежать. Пересилив себя, однако, я вошел в пещеру, откуда исходил этот запах, и увидел... представь себе, государь, человека, у которого ноги и руки наполовину короче, чем у нас, но страшно толсты, неуклюжи и оканчиваются когтями. Добавь широкий, сплюснутый по бокам хвост, сверху волнистый, как петушиный гребень; добавь страшно длинную шею, а на ней собачью голову. Наконец, одень это чудовище в доспехи, покрытые на спине изогнутыми шипами... Теперь вообрази себе, что эта фигура стоит на ногах, руками и грудью опершись на скалу.

— Это что-то отвратительное, — сказал фараон, — я его сразу бы убил...

— Оно не было отвратительным, и подумай, государь, существо это ростом было с обелиск.

Рамсес XIII сделал недовольный жест.

— Самонту, — сказал он, — мне кажется, что ты гулял по своим пещерам во сне...

— Клянусь тебе, государь, жизнью моих детей, что говорю правду!.. Да, если б это чудовище в оболочке гада, покрытое доспехами с шипами, лежало на земле, то вместе с хвостом оно имело бы пятьдесят шагов в длину... Несмотря на страх и отвращение, я несколько раз возвращался в пещеру и осмотрел его очень внимательно.

— Что ж, оно было живое?

— Нет, это был уже труп, труп давно умершего чудовища, но сохранившегося, как наши мумии. Его сохранила необычайная сухость воздуха, а может быть, неизвестные нам соли земли. Это было мое последнее открытие, — продолжал Самонту, — больше я не забирался в пещеру, но, думая об этом, говорил себе: Осирис создает крупные твари — львов, слонов, лошадей... А Сет порождает змея, летучую мышь, крокодила. Чудовище, которое я видел, наверное, создание Сета. А так как оно огромно и страшнее всего, что мы знаем под солнцем, значит, бог Сет сильнее, чем бог Осирис. Так я уверовал в Сета и, вернувшись в Египет, поселился в его храме. Когда же я рассказал жрецам о своем открытии, они сообщили мне, что знают еще много таких чудовищ.

Самонту перевел дух и продолжал:

— Если когда-нибудь ты, государь, пожелаешь посетить наш храм, я покажу тебе в гробницах удивительные и страшные существа: гусей с головой ящерицы и крыльями летучей мыши, ящериц, похожих на лебедей, но величиной больше страусов, крокодилов в три раза длиннее, чем те, что живут в Ниле, лягушку ростом с собаку... Это иногда мумии, иногда скелеты, найденные в пещерах и сохранившиеся в наших гробницах. Народ думает, что мы им поклоняемся, а на самом деле мы только исследуем их строение и оберегаем их от порчи.

— Я поверю тебе, когда сам увижу, — ответил фараон. — Скажи мне, однако, как могли подобные твари очутиться в пещерах?..

— Государь мой, — ответил жрец, — мир, в котором мы живем, подвержен великим изменениям. В самом Египте мы находим развалины городов и храмов, глубоко скрытые в земле. Было время, когда место Нижнего Египта занимал морской залив, а Нил струил свои воды во всю ширину нашей долины. А еще раньше здесь, на том месте, где находится наше государство, было море. Предки же наши жили в стране, ныне захваченной западной пустыней. Еще раньше, десятки тысяч лет назад, не было таких людей, как мы, а были существа, похожие на обезьян, которые умели, однако, строить шалаши, поддерживать огонь, драться дубинами и камнями. В то время не было ни лошадей, ни быков, но слоны, носороги и львы втрое или вчетверо превосходили размерами нынешних. Однако и

исполинские слоны не самые древние чудовища. Еще до них жили исполинские гады, летающие, плавающие и ползающие по суше. До гадов же на земле были только слизняки и рыбы, а до них — одни лишь растения, но такие, каких сейчас уже нет...

— А еще раньше? — спросил Рамсес.

— Еще раньше земля была пуста и безлюдна и дух божий носился над водами^[169].

— Что-то я слышал об этом, — сказал фараон. — Но не поверю, пока ты не покажешь мне мумии чудовищ, которые, как ты говоришь, находятся в вашем храме.

— Если ты разрешишь, я закончу свой рассказ, — сказал Самонту. — Так вот, когда я увидел в Синайской пещере этот труп чудовища, меня охватил страх, и я в течение нескольких лет не решался войти ни в одну пещеру. Но, с тех пор как жрецы Сета объяснили мне, откуда взялись эти странные существа, страх у меня прошел и верх взяло любопытство. И сейчас нет для меня более приятного развлечения, как бродить по подземельям, искать путей в темноте. Поэтому путешествие по Лабиринту доставит мне не больше труда, чем прогулка по царскому саду.

— Самонту, — сказал фараон, — я очень ценю твое нечеловеческое мужество и мудрость. Ты рассказал столько любопытного, что, право, мне самому захотелось проникнуть в пещеры, и когда-нибудь, возможно, я отправлюсь вместе с тобой к Синаю. Но все же я боюсь, что тебе не справиться в Лабиринте, и на всякий случай соберу совет египтян, который предоставит мне право воспользоваться его сокровищами.

— Это никогда не помешает, — ответил жрец. — Но все же мои усилия не пропадут даром, потому что Мефрес и Херихор вряд ли согласятся выдать сокровища.

— А ты уверен в успехе?.. — настойчиво допытывался фараон.

— С тех пор как существует Египет, — убеждал его Самонту, — не было человека, располагающего столькими средствами, сколькими располагаю я, для достижения победы в этой борьбе, которая представляется мне даже не борьбой, а развлечением. Одних пугает темнота, а я ее люблю и даже не теряю способности видеть в темноте; другие не умеют ориентироваться в анфиладах зал и галерей, а я это делаю с легкостью; третьи не знают секрета открывания потайных входов, а я с этим прекрасно знаком. Если бы я не обладал больше ничем, кроме того, что перечислил, то уже и тогда я за месяц, за два сумел бы найти дорогу в Лабиринт. Но у меня к тому же подробный план этих переходов, и я знаю слова, которые проведут меня из зала в зал. Что же может мне помешать?

— А все же в глубине души ты сомневаешься! Ты ведь испугался офицера, который, как тебе казалось, идет за тобой!

Жрец пожал плечами.

— Я ничего и никого не боюсь, — ответил он хладнокровно, — я только осторожен. Я предусматриваю все и подготовлен даже к тому, что меня могут поймать.

— Тебя ожидают тогда страшные пытки!.. — прошептал Рамсес.

— Этому не бывать! Прямо из подземелья Лабиринта я открою себе дверь в страну, где царит вечный свет.

— И не будешь раскаиваться в своем поступке?

— Нет. Ведь я рискую для достижения великой цели: я хочу занять в государстве место Херихора...

— Даю тебе клятву — ты его займешь.

— Если не погибну. А что на вершины гор приходится подниматься над краем пропастей, что в таком путешествии может поскользнуться нога и я могу сорваться — какое это имеет значение?.. Ты, государь, позаботишься о судьбе моих детей.

— Тогда ступай, — сказал фараон. — Ты достоин быть моим первым помощником.

Покинув Абидос, Рамсес XIII поплыл, как и прежде, вверх по реке до городов Тантарен (Дендера) и Кенне, которые лежали почти друг против друга — один на восточном, другой на западном берегу Нила. В Тантарене было две достопримечательности: пруд, где содержали священных крокодилов, и храм Хатор, при котором была высшая жреческая школа. В ней обучали медицине, песнопению, правилам богослужения и, наконец, астрономии.

Фараон побывал в обоих местах. Он возмутился, когда его заставили воскурить благовония перед священными крокодилами, которых он считал вонючими и глупыми гадами. Когда же один из них во время жертвоприношения, высунувшись из воды, схватил его зубами за одежду, Рамсес так хлопнул его по голове бронзовой кадьницей, что гад на минуту закрыл глаза и растопырил лапы, а потом попятился и полез в воду, словно поняв, что молодой владыка не потерпит бесцеремонности даже от существа божественного происхождения.

— Может быть, я совершил кощунство? — спросил фараон верховного жреца.

Святой отец посмотрел искоса, не подслушивает ли кто-нибудь, и ответил:

— Если б я знал, что ты, государь, принесешь ему такого рода жертву, я дал бы тебе дубинку, а не кадьницу. Этот крокодил — несноснейшая тварь во всем храме... Однажды он схватил ребенка...

— И сожрал?

— Родители были довольны... — ответил жрец.

— Как это вы, умные люди, — спросил его фараон, подумав, — можете поклоняться животным, которых, когда никто не видит, готовы лупить дубинкой?..

Верховный жрец, снова убедившись, что поблизости никого нет, ответил:

— Надеюсь, повелитель, ты не заподозришь людей, признающих единого бога, в том, что они верят в святость животных... То, что делается, делается для черни... Бык Апис, которого якобы чтят жрецы, самый красивый бык во всем Египте и поддерживает породу нашего скота. Ибисы и аисты очищают наши поля от падали. Кошки уничтожают мышей и таким образом сохраняют хлебные запасы, а крокодилам мы обязаны тем, что в

Ниле хорошая вода, тогда как без них мы отравлялись бы ею. Легкомысленный, темный народ не понимает пользы этих животных и истребил бы их за один год, если бы мы не охраняли их существования религиозными обрядами. Вот секрет наших храмов, посвященных животным, и нашего поклонения им. Мы курим фимиам тем, кого народ должен чтить просто потому, что они приносят ему пользу.

В храме Хатор фараон быстро обошел дворы медицинской школы и без особого восторга выслушал прорицания астрологов. Когда же верховный жрец-астроном показал ему золотую доску, на которой была выгравирована карта неба, фараон сказал:

— Часто ли сбываются предсказания, которые вы читаете по звездам?

— Иногда сбываются.

— А если бы вы предсказывали по деревьям, камням или по движению воды, они тоже сбывались бы?

Верховный жрец смутился.

— Не считай нас обманщиками. Мы предсказываем людям будущее, потому что оно их интересует, и, по правде сказать, только это и привлекает их в астрономии.

— А что вас привлекает в ней?

— Мы изучаем положение и движение звезд.

— А какая от этого польза?

— Мы оказали Египту немалые услуги. Мы указываем направление, в котором надо строить здания и рыть каналы. Без помощи нашей науки морские корабли не могли бы удаляться от берегов. Мы, наконец, составляем календарь и определяем сроки предстоящих небесных явлений. Например, в скором времени ожидается затмение...

Но Рамсес, не слушая его, повернулся и ушел.

«Как можно, — думал он, — строить храмы для такой детской забавы и еще делать какие-то чертежи на золотых досках? Святые мужи не знают, что и придумать от безделья...»

Недолго пробыв в Тантарене, фараон переправился на другую сторону Нила, в город Кенне. Там не было ни знаменитых храмов, ни окуриваемых благовониями крокодилов, ни золотых досок со звездами, зато там процветало гончарное искусство и торговля. Из Кенне шли два тракта к портам Красного моря — Косейру и Беренике^[170], и дорога к Порфириновым горам, откуда привозили статуи и огромные глыбы строительного камня.

В Кенне было очень много финикийян, которые с огромным энтузиазмом встретили фараона и преподнесли ему в дар разных драгоценностей на десять талантов. Несмотря на радушную встречу, он

провел здесь только один день: ему дали знать из Фив, что священная мумия Рамсеса XII уже находится в Луксорском^[171] дворце и ожидает погребения.

В ту эпоху Фивы были огромным городом и занимали площадь почти в двенадцать квадратных километров. Здесь находился величайший в Египте храм Амона и много общественных и частных зданий. Главные улицы, широкие и прямые, были выложены каменными плитами, вдоль берегов Нила тянулись набережные, дома имели четыре-пять этажей. Перед каждым храмом и каждым дворцом возвышались величественные ворота с пилонами, отчего Фивы получили название «стовратых». Этот город, с развитыми ремеслами и торговлей, был как бы порогом вечности, ибо на противоположном, западном берегу Нила среди ущелий находилось бесчисленное количество гробниц жрецов, знати, царей.

Своим величием Фивы были обязаны двум фараонам: Аменхотепу III, или Мемнону, который «застал город глиняным, а оставил каменным», и Рамсесу II, который достроил и расширил постройки, начатые Аменхотепом.

На восточном берегу Нила, в южной части города, находился целый квартал величественных царских дворцов и храмов, на развалинах которых сейчас стоит городок Луксор. Здесь тело фараона ожидало последних обрядов.

Когда прибыл Рамсес XIII, все Фивы вышли ему навстречу. В домах остались только старики и калеки, а в переулках — воры.

Здесь в первый раз народ выпряг лошадей из колесницы фараона и сам потащил ее. Здесь также впервые фараон услышал крики и проклятия по адресу жрецов — что его очень обрадовало, а также громкие требования, чтобы каждый седьмой день был праздником, и это заставило его задуматься. Он хотел преподнести этот подарок трудящемуся народу Египта, но не думал, что его намерения уже получили огласку и народ ожидает их немедленного исполнения.

Хотя надо было пройти всего около мили, шествие длилось несколько часов. Царская колесница очень часто останавливалась в толпе и могла двинуться дальше не ранее, чем гвардии его святейшества удавалось поднять ничком лежавших на земле людей.

Добравшись наконец до царских садов, где он занимал небольшой дворец, Рамсес был до того утомлен, что в этот день не занимался государственными делами. А на следующий день, воскурив благовония перед мумией отца, стоявшей в главном царском дворце, он сказал Херихору, что можно перевезти тело в гробницу. Это, однако, было сделано

не сразу.

Из дворца покойного перевезли в храм Рамсеса, где он отдыхал сутки. Затем траурный кортеж торжественно направился в храм Амона-Ра.

Подробности погребального обряда были те же, что и в Мемфисе, только теперь все это носило более грандиозный характер.

Царские дворцы, расположенные на правом берегу Нила, в южной части города, соединяла с храмом Амона-Ра, находившимся в северной его части, единственная в своем роде дорога. Это была широкая аллея длиной в два километра, обсаженная огромными деревьями и уставленная двумя рядами сфинксов, у которых на львиных телах были человеческие или бараньи головы. Их было несколько сот.

По обеим сторонам аллеи теснились бесчисленные толпы народа, собравшегося из Фив и окрестностей, а посредине двигалась погребальная процессия. Шли оркестры различных полков, группы плакальщиц, хоры певцов, все ремесленные и купеческие цехи, депутации от нескольких десятков номов со своими богами и знаменами, депутации больше чем от десятка народов, поддерживавших сношения с Египтом, и снова музыка, плакальщицы и жреческие хоры.

Царскую мумию опять везли в золотой ладье, однако гораздо более роскошной, чем в Мемфисе. Колесница, запряженная восемью парами белых быков, была высотой около двух этажей. Она почти утопала в венках и букетах; ее украшали страусовые перья и драгоценные ткани и обволакивали густые клубы дыма из курящихся кадильниц, что производило впечатление, будто Рамсес XII уже, подобно богу, является своему народу в облаках. С пилонов всех фиванских храмов доносилось грохотанье, напоминавшее гром, и скорбный звон мощных бронзовых досок.

Несмотря на то, что погребальное шествие двигалось по широкой пустынной аллее под наблюдением египетских военачальников, а следовательно, в величайшем порядке, — чтобы пройти эти два километра, отделяющие дворцы от храма Амона, понадобилось три часа.

Лишь когда мумию Рамсеса XII внесли в храм, из дворца в золотой колеснице, запряженной парой ретивых коней, выехал Рамсес XIII. Народ, стоявший вдоль аллеи и соблюдавший во время процессии полное спокойствие, при виде своего повелителя огласил воздух такими криками, что в них потонули громы и звон металлических досок, доносившиеся с пилонов всех храмов.

Охваченная восторгом толпа готова была выбежать на середину аллеи и окружить фараона. Но Рамсес одним мановением руки удержал людской

поток и предупредил святотатство.

Спустя четверть часа фараон остановился перед исполинскими пилонами величайшего храма в Египте.

Подобно тому как Луксор представлял собой квартал царских дворцов в южной части города, Карнак был кварталом богов в северной. Главным же центром Карнака был храм Амона-Ра.

Само это здание занимало четыре морга, окружавшие же его сады и пруды — около сорока моргов. Перед храмом стояли два пилон высотой в десять этажей. Двор, который окружала галерея, поддерживаемая колоннами, занимал около двух моргов, а колонный зал, в котором собирались привилегированные сословия, — около морга. Это было уже не отдельное здание, а целый квартал.

Зал этот, или гипостиль, имел в длину больше ста пятидесяти шагов и семьдесят пять в ширину. Потолок же его поддерживался ста тридцатью четырьмя колоннами, из них двенадцать центральных колонн имели по пятнадцати шагов в окружности и высотой равнялись шести этажам!..

Статуи, размещенные в храме рядом с пилонами и над священным прудом, были соответствующих размеров.

В колоссальных воротах ожидал фараона достойный Херихор, верховный жрец этого храма. Окруженный жрецами, Херихор встретил повелителя почти высокомерно и, воскурив перед ним благовония, даже не смотрел на него. Затем он через двор повел фараона в гипостиль и отдал приказ пропустить депутации в пределы храмовой ограды.

Посередине гипостиля стояла ладья с мумией умершего повелителя, а по обеим ее сторонам, друг против друга, два трона одинаковой высоты. На один из них воссел Рамсес XIII, окруженный военачальниками и номархами, на другой — Херихор, окруженный жрецами. Мефрес подал Херихору митру Аменхотепа, и молодой фараон во второй раз увидел на голове верховного жреца золотую змею, символ царской власти.

Рамсес побледнел от негодования и подумал: «Как бы мне не пришлось снять с тебя урей вместе с твоей головой!» Однако промолчал, зная, что в этом величайшем египетском храме Херихор является господином, равным богам, и владыкой чуть ли не высшим, чем сам фараон.

Тем временем народ заполнил двор, а за пурпурной завесой, отделявшей от смертных остальную часть храма, зазвучали арфы и слышалось тихое пение. Рамсес огляделся вокруг. Целый лес мощных колонн, сверху донизу покрытых рисунками, таинственное освещение, потолок, повисший где-то под небом, произвели на него угнетающее

впечатление.

«Что значит, — думал он, — выиграть сражение у Содовых озер? Вот построить такое здание — это подвиг!.. А ведь они его построили...»

В этот миг он почувствовал могущество жреческой касты. Разве он, его армия и даже весь народ в состоянии разрушить этот храм?.. Но если трудно справиться со зданием, то легко ли будет одолеть его строителей?..

Из неприятных размышлений его вывел голос верховного жреца Мефреса.

— Государь, — говорил старик, — и ты, достойнейший наперсник богов (тут он поклонился Херихору), вы — номархи, писцы и простой народ! Достойнейший верховный жрец этого храма, Херихор, призвал нас, чтобы мы, согласно древнему обычаю, обсудили земные дела умершего фараона и отказали бы ему или признали бы за ним право на погребение...

Гнев охватил фараона. Мало того, что к нему относятся здесь с пренебрежением, они еще смеют судить дела его отца, решать вопрос о его погребении.

Однако он успокоился. Ведь это был лишь обряд, древний, как египетские династии. Это был, собственно, не суд, а восхваление покойного.

По знаку, данному Херихором, верховные жрецы расселись на табуретах. Номархи же и военачальники, окружавшие трон Рамсеса, остались стоять — для них не оказалось места.

Фараон запомнил и это оскорбление; но он настолько уже владел собой, что нельзя было понять, заметил ли он невнимание, оказанное его приближенным.

Тем временем святой Мефрес обсуждал жизнь умершего повелителя.

— Рамсес Двенадцатый, — говорил он, — не совершил ни одного из сорока двух грехов, и потому суд богов вынесет ему милостивый приговор. А так как царская мумия благодаря особой заботливости жрецов снабжена всеми амулетами, молитвами, наставлениями и заклинаниями, то не подлежит сомнению, что умерший фараон уже находится в обители богов, рядом с Осирисом, он сам — Осирис. Божественная природа Рамсеса Двенадцатого проявилась уже в его земной жизни. Он царствовал более тридцати лет, дал народу долгий и прочный мир, выстроил или довел до конца постройку многих храмов. Кроме того, он сам был верховным жрецом и превосходил благочестивейших из них своим благочестием. В его царствование на первом месте была забота о славе богов и возвышении священной жреческой касты. За это благоволили к нему силы небесные, а один из фиванских богов, Хонсу, снизойдя к просьбе фараона, даже

посетил страну Бухтен и исцелил царскую дочь, изгнав из нее злого духа.

Мефрес передохнул и продолжал:

— Поскольку я доказал вам, достойнейшие, что Рамсес Двенадцатый был богом, вы спросите, с какой же целью это высшее существо снизошло на египетскую землю и провело на ней несколько десятков лет?

Оно сделало это, чтобы воскресить добрые нравы, поколебленные упадком веры. Ибо кто ныне думает о благочестии? Кто заботится об исполнении воли богов? На далеком севере мы видим могучий ассирийский народ, который верит только в силу меча и, вместо того чтобы посвятить себя изучению мудрости и служению богам, стремится к покорению народов. Ближе к нам живут финикияне, для которых богом является золото, а богослужение — обманом и ростовщичеством. Другие же народы — хетты на востоке, ливийцы на западе, эфиопы на юге, греки на Средиземном море — это варвары и разбойники. Вместо того чтоб работать, они занимаются грабежом, а вместо того чтоб совершенствоваться в мудрости, пьют, играют в кости или валяются на боку, как усталая скотина. В мире есть только один воистину благочестивый и мудрый народ — египетский. Но посмотрите, что делается и здесь? Вследствие наплыва безбожников-чужеземцев вера наша пришла в упадок. Знать и сановники за кубком вина подтрунивают над богами и вечной жизнью, а народ забрасывает грязью святые статуи и не совершает жертвоприношений в храмах. Место благочестия заняла роскошь, место мудрости — разврат. Каждому хочется надеть огромный парик, натереться редкостными благовониями, носить златотканые рубашки и передники, украсить себя золотыми ожерельями, запястьями, усеянными драгоценными камнями. Пшеничной лепешки ему уже недостаточно, он хочет пряников с молоком и медом. Пивом он моет ноги, а жажду утоляет заморскими винами. Из-за этого вся знать в долгах, народ изнемогает от работы и терпит побои, и то здесь, то там вспыхивают бунты. Что я говорю «то здесь, то там»?.. С некоторых пор по всему Египту народ, подстрекаемый неизвестными лицами, требует: «Дайте нам отдых каждый седьмой день! Не бейте нас без суда! Выделите нам по клочку земли в собственность!..» Это угрожает разорением всего нашего государства, и надо спасти его от этого зла. Спасение же только в религии, которая учит нас, что народ должен трудиться, святые мужи, знающие волю богов, — указывать ему путь, а фараон и его вельможи — наблюдать, чтобы работа исполнялась честно. Этому учит нас религия. В этом духе правил богоравный Осирис-Рамсес Двенадцатый. Мы же, верховные жрецы, признав его благочестие, начертаем на его могиле и в храмах следующую

надпись:

«Бык Гор, могучий Апис, соединивший короны двух царств, золотой кобчик, правящий мечом, победитель девяти народов, царь Верхнего и Нижнего Египта, повелитель двух миров, сын солнца Мери-Амон-Рамсес, возлюбленный Амоном-Ра, господин и повелитель Фиваиды, сын Амона-Ра, приемный сын Гора, рожденный Гормахисом, царь Египта, повелитель Финикии, властвующий над девятью народами»^[172].

Когда присутствующие приняли это предложение одобрительными возгласами, из-за завесы выпорхнули танцовщицы и исполнили перед саркофагом священный танец, жрецы же зажгли благовония. Затем сняли мумию с ладьи и внесли в святилище Амона, куда Рамсес XIII не имел уже права входить.

Вскоре богослужение окончилось, и присутствующие покинули храм.

Возвращаясь во дворец в Луксоре, молодой повелитель был до того погружен в думы, что почти не замечал бесчисленной толпы и не слышал ее возгласов.

«Зачем обманывать себя?... — размышлял Рамсес. — Верховные жрецы относятся ко мне с полным пренебрежением; этого не бывало до сих пор ни с одним фараоном. Они даже указывают мне, каким образом я могу вновь обрести их милость. Они хотят управлять государством, а я должен только следить, чтобы исполнялись их приказы... Так нет же, не бывать этому, я приказываю, а вы должны исполнять. И либо я погибну, либо поставлю свою царскую ногу на ваши непокорные выи».

Два дня священная мумия Рамсеса XII пребывала в храме Амона-Ра в святом месте, куда, за исключением Херихора и Мефреса, не имели права входить даже верховные жрецы. Перед покойным горел лишь один светильник, пламя которого, обновляемое чудесным способом, никогда не угасало. Над ним парил в вышине символ души — птица с человеческой головой. Трудно сказать, был ли то особый хитроумный механизм или действительно живое существо. Одно несомненно: жрецы, имевшие смелость взглянуть украдкой за завесу, видели, что существо это висит в воздухе без опоры, раскрывая рот и вращая глазами.

Затем траурная процессия снова тронулась в путь. Золотая ладья перевезла покойника на другой берег Нила. Окруженная огромной процессией жрецов, воинов, плакальщиц и поющих хоров, она двигалась по главной улице Фив. Это была, можно сказать, самая красивая улица во всем египетском царстве: широкая, ровная, обсаженная деревьями. Четырех— и даже пятиэтажные дома были сверху донизу выложены мозаикой и покрыты раскрашенными барельефами. Казалось, что на этих

зданиях развешаны огромные разноцветные ковры или картины, изображающие жизнь торговцев, ремесленников, мореплавателей, далекие страны и народы. Словом, это была не улица, а скорее бесконечная галерея картин, варварских по рисунку и необычайно богатых по краскам.

Погребальная процессия прошла около двух километров с севера на юг. Приблизительно в центре города она остановилась и затем свернула на запад, к Нилу.

В этом месте посередине реки находился большой остров, к которому вел плавучий мост. Во избежание катастрофы военачальники, возглавляющие процессию, еще раз выстроили шествие, поставив по четыре человека в ряд, и отдали приказ, чтобы все двигались очень медленно, избегая ритмической поступи. С этой целью оркестры, шедшие во главе отдельных групп, играли каждый в другом такте.

Через несколько часов процессия перешла первый мост, потом остров, потом второй мост и очутилась на левом, западном берегу Нила.

Если восточную половину Фив можно было назвать городом богов и царей, то западная являлась городом монументальных храмов и гробниц.

Шествие двигалось от Нила, по центральной дороге, к горам. К югу от этой дороги стоял храм, воздвигнутый в честь побед Рамсеса III; стены этого храма были покрыты изображениями покоренных народов: хеттов, аммореян, филистимлян, эфиопов, арабов, ливийцев. Несколько ниже возвышались две колоссальные статуи, изображавшие Аменхотепа II; высота их соответствовала пяти этажам. Одна из статуй отличалась чудесным свойством: когда на нее падали лучи восходящего солнца, статуя издавала звуки, подобные звукам арфы, у которой обрывают струны.

Еще ближе к дороге, тоже влево от нее, стоял Рамсессеум — не очень большой, но красивый храм Рамсеса II. Его преддверие охраняли статуи с эмблемами царского достоинства в руках. На дворе возвышалась статуя Рамсеса II высотой в четыре этажа.

Дорога шла постепенно в гору, и все яснее видны были крутые взгорья, испещренные отверстиями, подобно губке: это были гробницы египетской знати. Перед ними, между отвесными скалами, стоял причудливый храм царицы Хатасу^[173]. Здание имело четыреста пятьдесят шагов в длину. Со двора, обнесенного стеной, можно было войти по ступеням в окруженный колоннами внутренний двор, под которым находился подземный храм. С колонного же двора, тоже по ступеням, вел ход в храм, высеченный уже в скале; под этим храмом были тоже подземные помещения.

Таким образом, храм состоял из двух ярусов — нижнего и верхнего, из

которых каждый делился тоже на верхний и нижний. Лестницы были огромные; два ряда сфинксов заменяли перила. Вход на каждую лестницу охраняло по две статуи в сидячих позах.

У храма Хатасу начиналось мрачное ущелье, которое вело от гробниц вельмож к царским гробницам. На границе между двумя этими участками находилась высеченная в скале гробница верховного жреца Ретеменофа^[174]. Залы и коридоры ее занимали около двух моргов.

Дорога поднималась в гору по одной из стен ущелья, напоминая карниз, косо высеченный в скале, так круто, что людям приходилось помогать быкам, тянущим колесницу, и подталкивать траурную ладю. Наконец шествие остановилось на широкой площадке, возвышавшейся больше чем на десять этажей над дном ущелья. Тут был вход в подземную гробницу, которую строил для себя фараон в течение тридцати лет. Эта гробница представляла собой целый дворец, с покоем для царя, семьи и прислуги, со столовой, спальней и ванной, с часовнями, посвященными разным богам, и, наконец, с колодцем, на дне которого находилась небольшая камера, где должна была навеки почить мумия фараона.

При свете горящих факелов видны были стены покоев, испещренные молитвенными надписями и картинами, изображающими все дела и развлечения покойного: царские охоты, сооружение храмов и каналов, триумфальные шествия, торжества в честь богов, битвы с врагами, работы его подданных. Но это еще не все. Покои были уставлены не только мебелью, посудой, колесницами, цветами, полны яств, всякого печенья, мяса и вина, но в них еще находилось множество статуй. Это были многочисленные изображения Рамсеса XII, его жрецов, министров, женщин, воинов и рабов, ибо царь и на том свете не может обойтись без драгоценной утвари, изысканных яств и верных слуг.

Когда похоронное шествие остановилось у входа в гробницу, жрецы вынули царскую мумию из саркофага и поставили ее на землю, спиной к скале. Рамсес XIII воскурил перед телом отца благовония, а царица Никотриса, обняв мумию, стала причитать, рыдая:

— «Я — сестра твоя, жена твоя Никотриса. Не покидай меня, о великий! Неужели ты действительно хочешь, мой добрый отец, чтобы я удалилась? Если я уйду, ты останешься один, и будет ли кто-нибудь с тобой?..»^[175]

После этого верховный жрец Херихор возжег благовония перед мумией, а Мефрес, совершив возлияние вином, произнес:

— Твоему двойнику приносим это в жертву, Осирис-Мери-Амон-

Рамсес, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, голос которого праведен перед великим богом!..

Плакальщицы и хоры жрецов возгласили:

Хор первый. «Скорбите, скорбите, плачьте, рыдайте, без устали плачьте, так громко, как только вы в силах».

Плакальщицы. «О достойнейший путник, направляющий шаги свои в страну вечности, как быстро тебя отнимают у нас».

Хор второй. «Как прекрасно, как дивно то, что с ним происходит! Так как он возлюбил бога Хонсу из Фив, то бог разрешил ему достигнуть Запада в сопровождении слуг его».

Плакальщицы. «О ты, которого окружало столько слуг, будешь отныне в земле, обрекающей на одиночество. Ты — носивший тонкие одежды и любивший свежее белье, лежишь теперь во вчерашней одежде!..»

Хор первый. «С миром, с миром, на Запад, о господин наш! Иди с миром... Мы увидим тебя опять, когда настанет день вечности, ибо идешь ты в страну, единящую всех людей друг с другом».[\[176\]](#)

Начались последние церемонии.

Привели быка и антилопу, которых должен был убить Рамсес XIII, но убил его заместитель перед богами, верховный жрец Сэм. Низшие жрецы быстро разрезали животных, после чего Херихор и Мефрес, взяв их окорока, стали прикладывать их ко рту мумии. Но мумия не хотела есть, ибо не была еще оживлена и уста ее были сомкнуты.

Тогда Мефрес омыл ее святой водой и окурил благовониями и квасцами, произнося:

— «Вот стоит мой отец, вот стоит Осирис-Мери-Амон-Рамсес. Я — твой сын, я — Гор, прихожу к тебе, чтобы очистить тебя и вернуть тебе жизнь... Я складываю вновь твои члены, скрепляю, что было рассечено, ибо я Гор, мститель за отца моего. Ты восседаешь на троне Ра, происходящего от Нут, рождающей Ра каждое утро, рождающей Мери-Амон-Рамсеса каждый день так, как Ра».

Говоря это, верховный жрец прикоснулся амулетами к губам, к груди и к ногам мумии.

Опять запели хоры.

Хор первый. «Осирис-Мери-Амон-Рамсес будет отныне есть и пить все, что едят и пьют боги. Он теперь восседает с ними. Он здоров и силен, как они...»

Хор второй. «Все его члены полны силы; тяжело ему, когда он голоден и не может есть и когда он жаждет и не может пить...»

Хор первый. «О боги! Дайте Осирис-Мери-Амон-Рамсесу тысячу

тысяч кувшинов вина, тысячи одежд, хлеба и быков...»

Хор второй. «О вы, живущие на земле, что будете проходить здесь, если жизнь вам мила, а смерть постыла, если вы хотите, чтобы ваши высокие звания перешли к вашему потомству, читайте эту молитву по похороненному здесь усопшему».

Мефрес. «О вы, великие, вы, пророки, вы, царевицы и князья, фараон и писцы, вы, люди, те, что придете после меня через миллион лет, если кто-нибудь из вас заменит мое имя своим, то бог покарает его, сотрет его с лица земли».

После этого заклинания жрецы зажгли факелы, взяли царскую мумию и снова положили ее в футляр, а вместе с футляром в каменный саркофаг, имевший форму человеческого тела. Затем, невзирая на вопли, причитания и сопротивление плакальщиц, они отнесли эту огромную тяжесть в гробницу. Пройдя при свете факелов несколько коридоров и комнат, они остановились в одной, где находился колодец. В этот колодец жрецы опустили саркофаг и сами спустились за ним в подземелье. Там установили саркофаг в маленькой комнатке и быстро замуровали отверстие так, что самый опытный глаз не мог бы обнаружить могилу. Затем поднялись наверх и так же наглухо замуровали вход в колодец. Жрецы все это проделали одни, без свидетелей, и проделали так тщательно, что мумия Рамсеса XII по сей день почит в своей таинственной обители в такой же безопасности от воров, как и от современных исследователей. В течение двадцати девяти столетий много царских могил было разграблено, но эта осталась нетронутой.

Пока одна группа жрецов замуровывала тело благочестивого фараона, другая, осветив подземные комнаты, пригласила живых к трапезе.

Рамсес XIII, царица Никотриса, Сэм и десятка два гражданских и военных сановников вошли в трапезную. Посредине комнаты стояли столы, уставленные яствами, вином и цветами, а у стены сидело высеченное из порфира изваяние умершего повелителя. Казалось, что он смотрит на присутствующих и с меланхолической улыбкой приглашает к трапезе.

Торжество началось священной пляской, сопровождаемой пением одной из старших жриц:

— «Пользуйтесь днями счастья, ибо жизнь длится только мгновение. Пользуйтесь счастьем, ибо, сойдя в могилу, вы почите там навеки и дни ваши будут длиться бесконечно!..»

После жрицы выступил пророк и под аккомпанемент арф продекламировал нараспев:

«Жизнь — это вечное превращение и вечное обновление. Мудрый это

закон судьбы и дивное предначертание Осириса, что, по мере того как одни тела разрушаются и исчезают, на смену им приходят другие.

Фараоны, эти боги, что были до нас, покоятся в своих пирамидах; мумии и двойники их сохранились, тогда как дворцы, что они воздвигли, не стоят уже на прежних местах, как будто их не бывало...

Не предавайся же унынию, а следуй своим желаниям и радостям и не трать попусту своего сердца, пока не придет для тебя день причитаний, а Осирис, сердце которого больше не бьется, не пожелает внять жалобам и мольбам...

Скорбь всего мира не вернет счастья человеку, который лежит в могиле. Пользуйся же днями счастья и не ленись наслаждаться. Воистину нет человека, который мог бы взять с собой добро свое на тот свет, воистину нет человека, который пошел бы туда и вернулся...»^[177]

Трапеза окончилась, и достойное собрание, еще раз окутив благовониями изваяние умершего, отправилось обратно в Фивы. В часовне гробницы остались только жрецы, чтобы совершать постоянные жертвоприношения фараону, и стража для охраны гробницы от святотатственных покушений воров.

Отныне Рамсес XII остался один в своей сокровенной обители.

Через крошечное, скрытое в камне окошко проникал к нему тусклый свет. Вместо страусовых перьев шумели над бывшим владыкой крылья огромных летучих мышей. Вместо музыки раздавались ночью порой завывающие стоны гиен да время от времени могучее рычание льва, приветствовавшего из пустыни сошедшего в могилу фараона.

После похорон фараона Египет вернулся к своей обычной повседневной жизни, а Рамсес XIII — к государственным делам.

Новый повелитель в месяце эпифи (апрель — май) посетил города, расположенные за Фивами вдоль Нила. Он побывал в Сн^[178], городе с оживленной промышленностью и торговлей, где был храм бога Хнума, или «души света», посетил Эдфу^[179], где находился храм с десятиэтажными пилонами, владевший огромной библиотекой папирусов; на его стенах была вычерчена и нарисована своего рода энциклопедия современной географии, астрономии и богословия. Заглянул в каменоломни Хенну; в Нуби^[180], или Ком-Обо, совершил жертвоприношение Гору, богу света, и Собеку, владыке тьмы. Был на острове Абу^[181], зеленом, как изумруд, на фоне черных скал. Здесь созревали лучшие финики, и город назывался «столицей слонов», потому что в нем была сосредоточена торговля слоновой костью. Заехал и в город Сунну, расположенный у первых нильских порогов, а также посетил колоссальные гранитные и сиенитовые каменоломни, в которых при помощи деревянных клиньев, смачиваемых водой, откалывали от скалobeliski высотой до девяти этажей.

Где бы ни появлялся новый повелитель Египта, подданные встречали его с бурным восторгом. Даже работавшие в каменоломнях каторжники, тела которых были покрыты незаживающими ранами, даже они были ошастливлены, так как фараон приказал на три дня освободить их от работ.

Рамсес XIII мог быть доволен и горд: ни одного фараона, даже во время триумфального въезда, не встречали так, как его во время этого мирного путешествия. Номархи, писцы и жрецы, видя беспредельную любовь народа к новому фараону, склонялись перед его властью.

— Чернь — как стадо быков, — шептались они между собой, — а мы — как благоразумные, деловитые муравьи. Будем же чтить нового повелителя, чтобы наслаждаться здоровьем и сохранить наши дома целыми и невредимыми.

Итак, противодействие вельмож, еще за несколько месяцев до того очень сильное, сейчас сменилось покорностью. Вся аристократия, все жреческое сословие пали ниц перед Рамсесом XIII. Только Мефрес и Херихор оставались непреклонными.

И когда фараон вернулся из Сунну в Фивы, в первый же день главный казначей принес ему неблагоприятные вести.

— Все храмы, — заявил он, — отказали казне в кредите и покорнейше просят ваше святейшество распорядиться о выплате в течение двух лет полученных от них займы сумм...

— Понимаю, — ответил фараон. — Это происки святого Мефреса. Сколько же мы им должны?

— Около пятидесяти тысяч талантов.

— Значит, мы должны уплатить пятьдесят тысяч талантов в течение двух лет?.. Ну, а еще что?..

— Налоги поступают очень слабо, — продолжал казначей. — Вот уже три месяца, как мы получаем лишь четвертую часть того, что нам следует.

— Что же случилось?

Казначей стоял в смущении.

— Я слышал, — сказал он, — что какие-то люди внушают крестьянам, будто в твое царствование они могут не платить податей...

— Ого-го! — воскликнул со смехом Рамсес. — Эти какие-то люди, по моему, очень похожи на достойнейшего Херихора. Уж не хочет ли он уморить меня голодом? Где же вы берете деньги на текущие расходы?

— По распоряжению Хирама, финикияне дают нам займы. Мы взяли уже восемь тысяч талантов...

— А расписки даете им?

— И расписки и залоги... — вздохнул казначей. — Они говорят, что это простая формальность, но все же поселяются в твоих поместьях и отнимают у крестьян что только можно.

Опьяненный приветствиями народа и смирением вельмож, фараон далее перестал сердиться на Херихора и Мефреса. Период возмущения миновал, наступило время действовать, и Рамсес в тот же день составил план.

Наутро он призвал всех, кому больше всего доверял: верховного жреца Сэма, пророка Пентуэра, своего любимца Тутмоса и финикиянина Хирама. Когда они собрались, он заявил им:

— Вам, вероятно, известно, что храмы потребовали возврата тех денег, которые получил от них займы мой вечно живущий отец. Все долги святы, а долг богам мне хотелось бы уплатить раньше всех других... Но казна моя пуста, так как даже налоги поступают нерегулярно. Поэтому я считаю, что государство в опасности, и вынужден обратиться за средствами к сокровищам, хранящимся в Лабиринте...

Жрецы беспокойно заерзали на месте.

— Я знаю, — продолжал фараон, — что по нашим священным законам моего приказа недостаточно, чтобы открыть подвалы Лабиринта. Но

тамошние жрецы объяснили мне, что надо сделать: я должен созвать представителей всех сословий Египта по тринадцати человек от каждого сословия, для того чтобы они подтвердили мою волю... — При этих словах фараон усмехнулся и закончил: — Сегодня я пригласил вас для того, чтобы вы помогли мне созвать это собрание представителей сословий, и повелеваю вам следующее: ты, достойнейший Сэм, изберешь тринадцать жрецов и тринадцать номархов. Ты, благочестивый Пентуэр, приведешь из разных номов тринадцать земледельцев и тринадцать ремесленников. Тутмос доставит тринадцать офицеров и тринадцать знатных людей, а князь Хирам займется приглашением тринадцати купцов. Я бы хотел, чтобы это собрание состоялось как можно скорее у меня во дворце в Мемфисе и, не теряя времени на пустую болтовню, решило бы, что Лабиринт должен предоставить средства моей казне...

— Осмелюсь напомнить тебе, государь, — заметил верховный жрец Сэм, — что на этом собрании должны присутствовать достойнейший Херихор и достойнейший Мефрес и что они имеют право, и даже обязаны, возражать против изъятия сокровищ из Лабиринта.

— Отлично. Я вполне согласен с этим, — ответил с жаром фараон. — Они приведут свои доводы, я — свои. Собрание же решит, может ли государство существовать без денег и разумно ли держать без пользы сокровища в подвалах, в то время как правительству грозит нищета.

— Несколькими сапфирами из тех, что хранятся в Лабиринте, можно было бы выплатить все долги финикиянам! — заявил Хирам. — Я отправлюсь к купцам и немедленно же доставлю не тринадцать, а тринадцать тысяч таких, что будут голосовать так, как тебе угодно.

Сказав это, финикиянин пал ниц и простился с фараоном.

После ухода Хирама верховный жрец Сэм сказал:

— Не знаю, хорошо ли, что на этом совете присутствовал чужеземец.

— Он должен был присутствовать, — воскликнул фараон, — потому что он не только пользуется большим влиянием у наших купцов, но, что сейчас еще важнее, доставляет нам деньги... Я хотел показать ему, что помню и думаю о своих долгах и что у меня есть средства, чтобы покрыть их.

Последовало молчание. Воспользовавшись им, Пентуэр сказал:

— Разреши, государь, и я сейчас же поеду, чтобы набрать нужное количество земледельцев и ремесленников. Все они будут голосовать за нашего повелителя, но из огромного числа их надо выбрать самых разумных.

Он простился с фараоном и ушел.

— А ты, Тутмос? — спросил Рамсес.

— Господин мой, — ответил тот, — я настолько уверен в твоей знати и армии, что, вместо того чтобы говорить о них, я осмелюсь обратиться к тебе с личной просьбой.

— Тебе нужны деньги?

— Вовсе нет. Я хочу жениться...

— Ты? — воскликнул фараон. — Какая же это женщина заслужила у богов подобное счастье?

— Это — красавица Хеброн, дочь достойнейшего фиванского номарха Антефа, — ответил, смеясь, Тутмос. — Если ты, государь, соизволишь предложить меня этой почтенной семье... Я хочу сказать, что моя любовь к тебе возрастет, но не скажу этого, потому что это будет ложью...

Фараон похлопал его по плечу.

— Ладно... ладно... Не уверяй меня в том, в чем я и без того уверен. Завтра же я поеду к Антефу, и клянусь богами, что не пройдет и нескольких дней, как свадьба будет слажена. А теперь можешь идти к своей Хеброн.

Оставшись наедине с Сэмом, государь спросил:

— Я вижу, лицо у тебя хмуро. Ты сомневаешься, чтобы нашлось тринадцать жрецов, готовых выполнить мой приказ?..

— Я уверен, — ответил Сэм, — что почти все жрецы и номархи сделают то, что будет необходимо для счастья Египта и удовлетворения вашего святейшества... Не забудь, однако, государь, что когда речь идет о сокровищнице Лабиринта, то окончательное решение должен дать Амон...

— Статуя Амона в Фивах?..

— Да...

Фараон пренебрежительно махнул рукой.

— Амон, — сказал он, — это Херихор и Мефрес... Что они не согласятся — это я знаю. Но я не намерен из-за упрямства двух человек рисковать судьбой государства.

— Ты ошибаешься, — ответил серьезным тоном Сэм. — Правда, очень часто статуи богов делают то, чего желают их верховные жрецы. Но... Не всегда... В наших храмах, государь, происходят иногда вещи необычайные и таинственные. Статуи богов иногда делают и говорят то, что хотят сами.

— В таком случае я спокоен, — перебил его фараон. — Боги знают положение государства и читают в моем сердце... Я хочу, чтобы Египет был счастлив, а так как я добиваюсь только этого, то ни один мудрый и добрый бог не может мне помешать.

— Да сбудутся слова твои, — прошептал верховный жрец.

— Ты хочешь сказать мне еще что-то? — спросил фараон, видя, что

Сэм не спешит прощаться.

— Да, государь. На мне лежит обязанность тебе напомнить, что каждый фараон тотчас же по вступлении на престол и после похорон своего предшественника должен подумать о сооружении двух памятников: гробницы для себя и храма для богов.

— Совершенно верно! — сказал фараон. — Я не раз уже думал об этом, но, не имея денег, не тороплюсь с распоряжениями. Потому что, — прибавил он, оживляясь, — если я буду строить, то что-нибудь грандиозное, что-нибудь такое, что заставит Египет помнить обо мне.

— Ты хочешь воздвигнуть пирамиду?

— Нет, ведь мир не построит пирамиды больше Хеопсовой и храма больше, чем храм Амона в Фивах. Мое царство слишком слабо, чтобы совершать грандиозные дела... Поэтому я должен сделать что-то совсем новое, тем более что наши памятники мне уже надоели. Все похожи один на другой, как люди друг на друга, и отличаются разве только размерами, как взрослый человек от ребенка.

— Так что же?.. — спросил с удивлением жрец.

— Я говорил с греком Дионом, нашим знаменитым архитектором. Он одобрил мой план, — продолжал фараон. — Гробницу для себя я хочу построить в виде круглой башни с наружными лестницами, такую, какая была в Вавилоне... Кроме того, я воздвигну храм не в честь Осириса и Исида, а посвящу его единому богу, в которого верят все египтяне, халдеи, финикияне, евреи... И я хочу, чтоб этот храм был походе на дворец царя Ассара, модель которого Саргон привез моему отцу.

Верховный жрец покачал головой.

— Грандиознейшие планы, государь мой, — ответил он. — Но они невыполнимы. Вавилонские башни очень непрочны и легко рушатся. А наши здания должны стоять века. Храма же единому богу воздвигнуть нельзя, ибо он не нуждается ни в одежде, ни в еде, ни в питье, весь мир — его обитель. Где храм, что вместит его? Где жрец, который дерзнул бы совершать ему жертвоприношения?..

— Гм! Тогда построим храм для Амона-Ра, — предложил фараон.

— Хорошо. Только не такой, как дворец царя Ассара. Ибо это здание ассирийское, а нам, египтянам, не подобает подражать варварам...

— Не понимаю, что ты хочешь сказать... — перебил его с легким раздражением фараон.

— Выслушай меня, господин наш, — сказал Сэм. — Посмотри на улиток — у каждой из них другая раковина: у одной — свернутая спиралью, но плоская; у другой — тоже свернутая, но продолговатая; у

третьей похожа на коробочку. Таким же образом каждый народ строит свои здания согласно со своим темпераментом и характером. Египетские здания настолько же отличаются от ассирийских, насколько египтяне от ассирийцев. У нас основной формой здания является усеченная пирамида, наиболее устойчивая из всех форм, подобно тому как Египет — наиболее устойчивое из государств. У ассирийцев же основная форма — куб, который легко подвергается разрушению. Спесивый и легкомысленный ассириец ставит свои кубы один на другой и строит многоэтажные здания, под тяжестью которых оседает почва. Скромный же и благоразумный египтянин ставит свои усеченные пирамиды одну за другой. Таким образом у нас ничего не висит в воздухе, и все здание целиком покоится на земле. Отсюда проистекает, что наши здания вытянуты в длину и могут простоять века, а ассирийские вытянуты в высоту и хрупки, как их государство, которое сейчас быстро растет, а через несколько веков от него останутся одни развалины. Ассириец — крикливый хвостун, и в своих постройках он все выставляет наружу — колонны, живопись, скульптуру. Скромный же египтянин самую красивую скульптуру и колонны прячет внутрь храма, как мудрец, который скрывает высокие мысли, чувства и желания в глубине сердца, а не украшает ими свою грудь и плечи. У нас все прекрасное скрыто. У них все делается напоказ. Ассириец, если бы мог, вспорол бы свой желудок, чтобы показать миру, какие редкие яства он ест...

— Продолжай... Продолжай!.. — воскликнул Рамсес.

— Мне остается сказать немного, — продолжал Сэм. — Я хочу только обратить твое внимание, государь, на различие между нашими и ассирийскими зданиями. Когда много лет назад, будучи в Ниневии, я смотрел на дерзко возвышающиеся над землей ассирийские башни, мне казалось, что это взбесившиеся кони, которые, закусив удила, встали на дыбы, но вот-вот упадут, и хорошо, если при этом не поломают себе ноги. А попробуйте, ваше святейшество, взглянуть с какой-нибудь высокой точки на египетский храм. Что он напоминает собой? Человека, который молится, припав к земле. Два пилона — это две руки, воздетые к небу. Две стены, окружающие двор, — это плечи. Колонный, или «небесный», зал — это голова, залы «божественного откровения» и «жертвенных столов» — это грудь, а таинственная обитель бога, «святилище» — сердце благочестивого египтянина. Наш храм учит нас, какими мы должны быть. «Да будут у тебя руки мощные, как пилоны, — говорит он нам, — а плечи крепкие, как стены. Да будет у тебя ум всеобъемлющий и щедрый, как преддверие храма; душа чистая, как залы „откровения“ и „жертвоприношений“, а в сердце, египтянин, да будет у тебя бог!» Ассирийские же здания говорят

своему народу: «Старайся подняться выше всех, ассириец, держи голову выше других! Если ты и не свершишь ничего великого в жизни, то, по крайней мере, оставишь много развалин...» Неужели у тебя, государь, хватит смелости воздвигать у нас ассирийские башни, подражать народу, к которому Египет относится с презрением и брезгливостью!..

Рамсес задумался. Несмотря на рассуждения Сэма, ему и сейчас казалось, что ассирийские дворцы красивее египетских. Но он так ненавидел ассирийцев, что начал в этом сомневаться.

— В таком случае, — ответил он, — я подожду с постройкой храма и гробницы для себя. Вы же, мудрецы, желающие мне добра, обдумайте планы таких зданий, которые бы донесли мое имя до самых отдаленных поколений.

«Нечеловеческой гордыни исполнен этот юноша!» — сказал про себя верховный жрец и, опечаленный, простился с фараоном.

Тем временем Пентуэр собрался обратно в Нижний Египет, чтобы отобрать для фараона по тринадцати делегатов земледельческого и ремесленного сословия и поощрить трудящийся народ к требованию реформ, обещанных новым повелителем. По его убеждению, важнейшим делом для Египта было — устранить обиды и злоупотребления, от которых страдают трудящиеся. Но как-никак Пентуэр все же был жрецом и не только не желал падения своей касты, но даже не хотел порывать нити, связывавшие его с нею.

Поэтому, чтобы подчеркнуть свою преданность, он пошел проститься с Херихором.

Могущественный некогда вельможа принял его, улыбаясь.

— Редкий гость! Редкий гость! — воскликнул Херихор. — С тех пор как тебе удалось стать советником государя, ты и на глаза мне не показываешься... Правда, не ты один... Но что бы ни ждало нас, я не забуду твоих услуг, даже если ты станешь еще больше избегать меня.

— Я — не советник нашего господина и не избегаю вашего высокопреосвященства, по милости которого я стал тем, что я есть, — ответил Пентуэр.

— Знаю, знаю! — ответил Херихор. — Ты не принял высокого звания, чтобы не способствовать гибели храмов. Знаю... знаю... Хотя, может быть, и жаль, что ты не стал советником сорвавшегося с цепи молокососа, который якобы правит нами... Ты, наверно, не позволил бы ему окружить себя изменниками, которые его погубят.

Пентуэр, не желая продолжать разговор на эту щекотливую тему, рассказал Херихору, зачем он едет в Нижний Египет.

— Что ж, пускай Рамсес Тринадцатый созывает собрание всех сословий. Это его право. Но, — сказал Херихор, — мне жаль, что ты в это вмешиваешься. Я тебя не узнаю. Помнишь, что ты говорил во время маневров под Пи-Баилосом моему адъютанту? Я тебе напомним. Ты говорил, что надо ограничить злоупотребления и разврат фараонов. А сейчас поощряешь сумасбродные требования самого большого развратника, какого знал когда-либо Египет...

— Рамсес Тринадцатый, — возразил Пентуэр, — хочет улучшить положение народа. Я, сын крестьянина, был бы дураком и подлецом, если бы не помогал ему в этом.

— И ты не задумываешься над тем, не повредит ли это нам, жрецам?

Пентуэр удивился:

— Ведь вы же сами предоставляете льготы принадлежащим вам крестьянам! — воскликнул он. — К тому же у меня есть ваше разрешение.

— Что? Какое? — возмутился Херихор.

— Вспомни: в ту ночь, когда в храме Сета мы приветствовали святейшего Берозса, Мефрес говорил, что Египет пришел в упадок вследствие утраты жреческой кастой былого влияния, а я утверждал, что причина бедствий страны в нищете народа. На это ты, насколько я помню, ответил: «Пусть Мефрес займется улучшением положения жрецов, а Пентуэр — крестьянства. Я же буду стараться предупредить пагубную войну между Египтом и Ассирией».

— Ну, вот видишь, — подхватил Херихор, — это значит, что ты должен быть заодно с нами, а не с Рамсесом.

— А разве он желает войны с Ассирией, — возразил Пентуэр, — или мешает жрецам увеличивать свою мудрость? Он хочет дать народу седьмой день для отдыха, а впоследствии выделить каждой крестьянской семье по небольшому клочку земли. И не говори мне, что фараон желает чего-то дурного. Ведь на примере храмовых поместий мы знаем, что свободный крестьянин, имеющий свою полосу земли, работает несравненно лучше, чем раб.

— Да я ничего и не имею против льгот простому народу! — воскликнул Херихор. — Я только уверен, что Рамсес ничего не сделает для него.

— Конечно, ничего, если вы откажете ему в деньгах.

— Даже если мы дадим ему пирамиду золота и серебра и вторую — драгоценных камней, он ничего не сделает, потому что это избалованный ребенок, которого ассирийский посол Саргон называл не иначе, как хлыщом.

— У фараона большие способности...

— Но он ничего не знает... ничему не учился! — ответил Херихор. — Чуть-чуть понюхал высшей школы, откуда поспешил сбежать. Вот почему сейчас в делах правления он слеп, как ребенок, который смело переставляет шашки, не имея понятия о самой игре.

— Однако он правит...

— Ну, какое это правление, Пентуэр? — ответил с улыбкой верховный жрец. — Правда, он открыл новые военные школы, увеличил количество полков, вооружает весь народ, обещает праздники простолюдинам... Но что из этого выйдет? Ты держишься вдали от него и потому ничего не

знаешь, а я уверяю тебя, что он, отдавая приказания, совсем не задумывается: кто что сделает, есть ли на это средства, какие будут последствия... Тебе кажется, что он правит. Это я правлю. Я продолжаю править. Я, которого он прогнал от себя... Это дело моих рук, что сейчас притекает меньше налогов в казну. Но я же предупреждаю крестьянские бунты, которые давно бы уже вспыхнули. Я умею добиться того, что крестьяне не бросают работ на каналах, плотинах и дорогах. Я, наконец, уже два раза удержал Ассирию от объявления нам войны, которую этот безумец может вызвать своими распоряжениями. Рамсес правит! Он только создает беспорядок... Ты видел образец его хозяйничанья в Нижнем Египте: он пил, кутил, заводил все новых и новых девчонок и будто бы интересовался управлением номами, ровно ничего в этом не понимая. И что хуже всего — сошелся с финикиянами, с разорившейся знатью и всякого рода предателями, которые толкают его на гибель.

— А победа у Содовых озер? — вставил Пентуэр.

— Я признаю за ним энергию и знание военного дела: вот и все его достоинства. Скажи по совести: выиграл ли бы он сражение у Содовых озер, если бы не твоя помощь и помощь других жрецов? Ведь я же знаю, что вы сообщали ему о каждом движении ливийской орды... А теперь подумай, мог ли бы Рамсес, даже при вашей помощи, выиграть сражение, например, против Нитагора? Нитагор — это мастер, а Рамсес только еще подмастерье.

— Но к чему приведет твоя ненависть? — спросил Пентуэр.

— Ненависть? — повторил Херихор. — Неужели я стану ненавидеть этого хлыща, который к тому же напоминает оленя, загнанного охотниками в ущелье? Я должен, однако, признать, что его правление настолько губительно для Египта, что, если б у Рамсеса был брат или если бы Нитагор был помоложе, мы бы уже отстранили нынешнего фараона.

— И ты стал бы его преемником? — вырвалось у Пентуэра.

Херихор несколько не обиделся.

— Ты удивительно поглупел, Пентуэр, — сказал он, пожимая плечами, — с тех пор как стал заниматься политикой на свой страх и риск. Конечно, если бы Египет остался без фараона, я был бы обязан принять власть, как верховный жрец Амона Фиванского и председатель верховной коллегии жрецов. Но зачем мне это? Разве я не пользуюсь в течение десяти с лишним лет большей властью, чем фараон? Или разве сейчас я, отстраненный военный министр, не делаю в государстве того, что считаю нужным? Те самые верховные жрецы, казначеи, судьи, номархи и даже военачальники, которые избегают меня теперь, все равно должны

исполнять каждый тайный приказ верховной коллегии, скрепленный моей печатью. Найдется ли в Египте человек, который не исполнил бы такого приказа? Ты сам посмел бы противиться ему?

Пентуэр опустил голову. Если, несмотря на смерть Рамсеса XII, сохранился тайный Высший жреческий совет, то Рамсес XIII должен или подчиниться ему, или вступить с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть.

За фараона весь народ, вся армия, многие жрецы и большинство гражданских чиновников. Совет может рассчитывать всего на несколько тысяч сторонников, на свои богатства и отличную организацию. Силы совершенно неравные. Но исход борьбы все же очень сомнителен.

— Так вы решили погубить фараона? — спросил Пентуэр шепотом.

— Вовсе нет! Мы хотим только спасти государство.

— Как же должен поступить Рамсес Тринадцатый?

— Не знаю, как он поступит, — ответил Херихор. — Но я знаю, как поступил его отец. Рамсес Двенадцатый тоже начал править как невежда и самодур. Но когда у него не хватило денег и самые ревностные сторонники его стали относиться к нему с пренебрежением, он обратился к богам. Окружил себя жрецами, учился у них и даже женился на дочери верховного жреца Аменхотепа... А потом прошло десять — двенадцать лет, и он пришел к тому, что сам стал верховным жрецом, и не только благочестивым, но даже весьма ученым.

— А если фараон не послушает этого совета? — спросил Пентуэр.

— Тогда мы обойдемся без него, — ответил Херихор.

А затем добавил:

— Послушай меня, Пентуэр, — я знаю не только, что делает, но даже, что думает этот твой фараон, который, впрочем, не успел еще торжественно короноваться и в наших глазах — ничто. Я знаю, что он собирается сделать жрецов своими слугами, а себя мнит единственным повелителем Египта. Но это не безрассудство, это измена. Не фараоны — ты это хорошо знаешь — создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны определяют день и высоту подъема воды в Ниле и регулируют его разливы. Не фараоны научили народ сеять, собирать плоды, разводить скот. Не фараоны лечат болезни и наблюдают, чтобы государство не подвергалось опасности со стороны внешних врагов. Что было бы, скажи сам, если б наша каста отдала Египет на произвол фараонов? Мудрейший из них имеет за собой опыт каких-нибудь двух-трех десятков лет. А жреческая каста наблюдала и училась в продолжение десятков тысяч лет. У самого могущественного повелителя только одна пара глаз и рук. У нас же тысячи глаз и рук во всех номах и даже в других государствах... Может ли

деятельность фараона сравниться с нашей? И в случае разногласий кто должен уступать: мы или он?

— Что же мне теперь делать? — спросил Пентуэр.

— Делай, что тебе приказывает этот юнец; только не выдавай священных тайн. А остальное... предоставь времени. Я искренне желаю, чтобы юноша, именуемый Рамсесом Тринадцатым, опомнился, и думаю, что так и было бы, если б... если б он не связался с мерзкими предателями, над которыми уже нависла рука богов.

Пентуэр распрощался с верховным жрецом, полный горестных предчувствий. Он не пал, однако, духом, зная, что то, чего он добьется для народа в ближайшее время, останется, даже если жрецы возьмут верх.

«В самом худшем положении, — думал он, — надо делать все, что мы можем и что от нас требуется. Когда-нибудь все это наладится, и нынешний посев даст свой урожай».

Все же он решил не волновать народ. Напротив, готов был успокаивать нетерпеливых, чтобы не создавать фараону новых затруднений.

Несколько недель спустя Пентуэр въезжал в пределы Нижнего Египта; по дороге он приглядывался к крестьянам и ремесленникам, из числа которых можно было бы выбрать делегатов в собрание, созываемое фараоном.

Всюду видны были признаки сильнейшего возбуждения: крестьяне и работники требовали, чтобы им был дан седьмой день для отдыха и чтобы им платили за все общественные работы, как это было прежде. И только благодаря проповедям жрецов разных храмов не вспыхнул еще бунт и не прекратились работы.

Кроме того, его поразили и кое-какие новые явления, которых еще месяц назад он не замечал.

Во-первых, население разделилось на две партии. Одни были сторонниками фараона и врагами жрецов, другие восставали против финикиян. Одни доказывали, что жрецы должны выдать фараону сокровища Лабиринта, другие шептали, что фараон слишком покровительствует чужеземцам. Но особенно порастил его неизвестно кем пущенный слух, будто Рамсес XIII проявляет признаки сумасшествия, как его сводный старший брат, отстраненный от престола. Этот слух распространился среди жрецов, чиновников и даже среди крестьян.

— Кто вам рассказывает подобный вздор? — спросил Пентуэр одного знакомого инженера.

— Это не вздор, — ответил инженер, — а прискорбная истина. В фиванских дворцах видели фараона, бегущего нагим по садам, а однажды

ночью он влезал на деревья под окнами царицы Никотрисы и разговаривал с ней самой.

Пентуэр уверял инженера, что не далее как полмесяца назад видел фараона в полнейшем здоровье, но тот не поверил ему.

«Это уж происки Херихора, — подумал жрец. — Впрочем, только жрецы и могли получить такое сообщение из Фив».

На время у него остыло желание заниматься отбором делегатов. Но вскоре к нему вернулась энергия, и он по-прежнему повторял себе: то, что народ выиграет сегодня, он не потеряет завтра. Разве что произойдут какие-нибудь чрезвычайные события.

За Мемфисом к северу от пирамид и сфинкса возвышался на самой границе песков небольшой храм богини Нут. Там проживал престарелый жрец Менес, величайший в Египте астроном и одновременно ученый механик.

Когда в стране приступали к постройке большого здания или нового канала. Менес являлся на место и давал свои указания. Вообще же он вел более чем скромную, одинокую жизнь в своем храме, наблюдая по ночам звезды, а днем работая над какими-то приборами.

Пентуэр уже несколько лет не был в этих местах, и его поразила запущенность и убожество храма. Кирпичная стена обвалилась, деревья в саду засохли, по двору бродили тощая коза и несколько кур.

У ограды храма не было никого. Лишь когда Пентуэр стал громко звать, из пилона вышел старик — босой, в грязном чепце и в перекинутой через плечо облезлой шкуре пантеры. И все же осанку его отличало достоинство, а лицо светилось умом. Он пристально посмотрел на гостя и произнес:

— Кажется ли мне, или это в самом деле ты, Пентуэр?

— Да, это я, — ответил прибывший и сердечно обнял старика.

— Ого! — воскликнул Менес, а это был действительно он. — Я вижу, пребывание в царских хоромах преобразило тебя! Кожа гладкая, белые руки и золотая цепь на шее. Таких украшений долго еще придется ждать богине небесного океана, матери Нут!

Пентуэр хотел было снять цепь, но Менес остановил его, посмеиваясь.

— Не надо! — сказал он. — Если б ты знал, какие драгоценности у нас в небесах, ты не стал бы жертвовать золото... Что, пришел к нам пожить?

Пентуэр отрицательно покачал головой.

— Нет, — ответил он, — я пришел только поклониться тебе, божественный учитель.

— И опять во дворец? — смеялся старик. — Эх вы! Если бы вы знали,

что теряете, пренебрегая мудростью ради дворцов, вас бы тоска заела.

— Ты здесь один, учитель?

— Как пальма в пустыне, особенно сегодня, когда мой глухонемой слуга отправился с корзиной в Мемфис собрать что-нибудь у добрых людей для матери Ра и ее жреца.

— И не скучно тебе?

— Мне? — воскликнул Менес. — За то время, что мы с тобой не виделись, я вырвал у богов несколько тайн, которых не отдал бы за обе короны Египта.

— Это секрет? — спросил Пентуэр.

— Какой секрет! Год тому назад я закончил измерения и расчеты, касающиеся величины земли...

— Как это понимать?

Менес оглянулся и понизил голос.

— Тебе ведь известно, — заговорил он, — что земля не плоская, как стол, а представляет собой огромный шар, на поверхности которого находятся моря, храмы и города.

— Это известно, — сказал Пентуэр.

— Не всем, — ответил Менес, — и уж никому не было известно, как велик может быть этот шар.

— А ты знаешь? — спросил чуть не в испуге Пентуэр.

— Знаю. Наша пехота делает в день около тринадцати египетских миль ^[182]. Так вот, земной шар так велик, что нашим войскам, чтобы обойти его кругом, понадобилось бы целых пять лет.

— О боги! — воскликнул Пентуэр. — И тебе не страшно думать о подобных вещах?

Менес пожал плечами.

— Производить вычисления — что же в этом страшного? — ответил он. — Вычислять размеры пирамиды или земли — не все ли равно? Я делал вещи потруднее — я измерил расстояние между нашим храмом и дворцом фараона, не переправляясь за Нил.

— Поразительно! — воскликнул Пентуэр.

— Что поразительно? Вот я открыл нечто, что в самом деле всех поразит, только не говори об этом никому. В месяце паопи (июль — август) у нас будет солнечное затмение. Днем станет темно, как ночью, и пусть я умру голодной смертью, если ошибся в расчете хотя бы на одну двадцатую часа.

Пентуэр коснулся амулета, который был у него на груди, и прочитал молитву. Потом сказал:

— Я читал в священных книгах, что не один раз уже, к великому огорчению людей, днем становилось темно, как ночью. Но отчего это бывает, я не знаю.

— Ты видишь там пирамиды? — спросил его Менес, показывая в сторону пустыни.

— Вижу.

— Теперь приставь ладонь к глазам. Видишь пирамиды? Не видишь. Ну так вот, солнечное затмение — это примерно то же самое: между солнцем и нами станет луна, заслонит отца света, и наступит тьма.

— И это случится у нас? — спросил Пентуэр.

— В месяце паопи. Я писал об этом фараону, надеясь, что он преподнесет какой-нибудь подарок нашему всеми забытому храму. Но он, прочитав письмо, поднял меня на смех и велел моему посланному отнести это известие Херихору.

— А Херихор?

— Дал мне тридцать мер ячменя. Это единственный человек в Египте, который уважает мудрость. А молодой фараон легкомыслен.

— Не будь строг к нему, отец, — сказал Пентуэр, — Рамсес Тринадцатый хочет улучшить положение крестьян и работников; он даст им отдых в каждый седьмой день, запретит бить их без суда и, может быть, наделит землей.

— А я говорю тебе, что он ветрогон, — ответил с раздражением Менес. — Два месяца назад я послал ему подробную записку о том, как можно облегчить тяжелый труд крестьян, и... он тоже высмеял меня! Это спесивый невежда.

— Ты предубежден против него, отец. А вот расскажи-ка мне про свой проект. Может быть, я помогу привести его в исполнение.

— Проект? — повторил старик. — Это уже не проект, а готовая вещь.

Он встал со скамьи и вместе с Пентуэром направился к пруду, на берегу которого стоял навес, густо обвитый вьющимися растениями. Под навесом находилось большое колесо, насаженное на горизонтальную ось, со множеством ведерок во внешней окружности. Менес вошел внутрь и стал переступать ногами; колесо вертелось, и ведерки, черпая воду из пруда, выливали ее в корыто, стоявшее выше.

— Любопытное сооружение, — сказал Пентуэр.

— А ты догадываешься, что оно может сделать для египетского народа?

— Нет.

— Так вот, представь себе такое же колесо, только в пять или десять

раз больше, и что его приводит в движение не человек, а несколько пар быков.

— Более или менее представляю себе, — сказал Пентуэр, — но только не понимаю...

— Да ведь это же так просто! — ответил Менес. — При помощи этого колеса быки или лошади смогут черпать воду из Нила и переливать ее в каналы, расположенные один над другим. И тогда полмиллиона человек, стоящих сейчас у журавлей, смогут отдыхать. Теперь ты видишь, что мудрость делает для человеческого счастья больше, чем фараоны.

Пентуэр покачал головой.

— А сколько на это потребуется дерева? — спросил он. — Сколько быков, сколько пастбищ? Мне кажется, что твое колесо не заменит населению седьмой день...

— Я вижу, — ответил Менес, пожимая плечами, — что не на пользу тебе пошли чины. Но хотя ты утратил сообразительность, которая удивляла меня в тебе, я покажу тебе еще кое-что. Может быть, ты еще вернешься к мудрости и, когда я умру, захочешь работать над усовершенствованием и распространением моих изобретений.

Они вернулись к пилону. Менес подложил немного топлива под медный котелок, раздул огонь, и скоро вода закипела.

Из котелка выходила горизонтальная труба с отверстием на конце, прикрытым тяжелым камнем. Когда в котле закипело. Менес проговорил:

— Встань вон туда, в уголок, и смотри...

Он повернул рукоятку, прикрепленную к трубе, и в одно мгновение тяжелый камень взлетел в воздух, а помещение наполнилось клубами горячего пара.

— Чудо! — вскричал Пентуэр, но, тотчас же успокоившись, спросил: — Ну, а чем этот камень улучшит положение народа?

— Камень — ничем, — ответил уже с некоторым раздражением мудрец. — Но поверь мне и запомни — настанет время, когда лошадь и бык заменят человеческий труд, а кипящая вода станет работать вместо быка и лошади.

— Но крестьянам-то от этого какая будет польза? — допытывался Пентуэр.

— Ох, горе мне с тобой! — вскричал Менес, хватаясь за голову. — Не знаю, постарел ты или просто поглупел, только вижу, что крестьяне заслонили для тебя весь мир. Если бы мудрецы думали только о крестьянах, им пришлось бы забросить книги и вычисления и пойти в пастухи.

— Всякое дело должно приносить пользу, — заметил нерешительно Пентуэр.

— Вы, придворные, — сказал укоризненно Менес, — часто бываете непоследовательны: когда финикиянин приносит вам рубин или сапфир, вы не спрашиваете, какая от этого польза, а покупаете драгоценный камень и прячете его в сундук, а когда мудрец приходит к вам с изобретением, которое может изменить облик мира, вы прежде всего спрашиваете, какая от этого польза. Вы боитесь, видно, что изобретатель потребует от вас горсть ячменя за вещь, значение которой не постигает ваш ум.

— Ты сердишься, отец? Я ведь не хотел тебя огорчить.

— Я не сержусь, я скорблю. Еще двадцать лет назад было нас в этом храме пять человек. Мы работали над открытием новых тайн. Сейчас я остался один, и — о боги! — не могу никак найти не только преемника, но даже человека, который бы меня понимал.

— Я, наверно, остался бы здесь на всю жизнь, отец, чтобы узнать твои божественные замыслы, — возразил Пентуэр. — Скажи, однако, могу ли я замкнуться в храме сейчас, когда решаются судьбы государства и счастье простого народа и когда мое участие...

— Может повлиять на судьбы государства и нескольких миллионов людей... — насмешливо перебил Менес. — Эх вы, взрослые дети, украшающие себя митрами и золотыми цепями! Оттого, что вы можете зачерпнуть воды в Ниле, вам уже кажется, что вы можете остановить подъем или падение воды в реке. Право, не иначе думает овца, которая, идя за стадом, воображает, что она его погоняет.

— Но ты подумай только, учитель: у молодого фараона сердце полно благородства. Он хочет дать народу право отдыха на седьмой день, справедливый суд и даже землю.

Менес покачал головой.

— Все это, — сказал он, — не вечно. Молодые фараоны стареют, а народ... Народ имел уже не один раз седьмой день отдыха и землю, а потом... потом их терял. О, если б только это менялось! Сколько за три тысячи лет сменилось в Египте династий и жрецов, сколько городов и храмов превратилось в развалины, на которые наслоились новые пласты земли! Все изменилось, кроме того, что дважды два — четыре, что треугольник — половина прямоугольника, что луна может закрыть солнце, а кипящая вода выбрасывает камень в воздух. В преходящем мире остается неизменной только мудрость. И горе тому, кто ради вещей преходящих, как облако, покидает вечное! Если сердце никогда не будет знать покоя, а ум будет бросать из стороны в сторону, как челнок во время бури.

— Боги говорят твоими устами, учитель, — ответил, подумав, Пентуэр, — но из миллионов разве лишь один человек может стать сосудом их мудрости. И это хорошо. Ибо что было бы, если бы крестьяне по целым ночам смотрели на звезды, солдаты занимались вычислениями, а высокие сановники и фараон, вместо того чтобы управлять, метали в воздух камни при помощи кипящей воды? Не успела бы луна один раз обойти землю, как всем нам пришлось бы умереть с голоду... И никакое колесо, никакой котел не защитили бы страну от нашествия варваров, не обеспечили бы правосудия обиженным. Поэтому, — закончил Пентуэр, — хотя мудрость нужна, как солнце, как кровь и дыхание, мы не можем, однако, все быть мудрецами.

На это Менес ему ничего не ответил.

Несколько дней провел Пентуэр в храме божественной Нут, любуясь то картиной песчаного моря, то видом плодородной нильской долины. Вместе с Менесом он наблюдал звезды, рассматривал колесо для черпания воды, иногда уходил к пирамидам, изумлялся нищете и гению своего учителя, но мысленно говорил себе:

«Менес, несомненно, бог, воплощенный в человеческом существе, и потому не думает о земной жизни. Но его колесо для черпания воды не привьется в Египте, во-первых, потому, что у нас не хватает дерева, а во-вторых, чтобы приводить такие колеса в движение, нужны сотни тысяч быков. А где для них пастбища, хотя бы и в Верхнем Египте?»

Пока Пентуэр объезжал страну, отбирая делегатов, Рамсес XIII жил в Фивах и устраивал женитьбу своего любимца Тутмоса.

Прежде всего повелитель обоих миров, окруженный великолепной свитой, поехал на золоченой колеснице во дворец достойнейшего Антефа, номарха Фив. Знатный вельможа поспешил навстречу повелителю к самым воротам и, сняв дорогие сандалии, на коленях помог Рамсесу сойти.

В ответ на такое приветствие фараон подал ему руку для поцелуя и объявил, что отныне Антеф будет его другом и имеет право входить в обуви даже в тронный зал.

Когда же они очутились в огромном зале дворца Антефа, фараон в присутствии всей свиты произнес:

— Я знаю, достойный Антеф, что если твои досточтимые предки живут в красивейших гробницах, то тебе, их потомку, нет равного среди номархов Египта. Ты же, наверное, знаешь, что при моем дворе и в войске, равно как и в моем царском сердце, первое место занимает любимец мой, начальник моей гвардии, Тутмос. По мнению мудрецов, плохо поступает богач, который не вставляет самый дорогой камень в самый красивый перстень. И так как твой род, Антеф, мне дороже всех, а Тутмос всех милее, то я решил породнить вас. Это легко может состояться, если дочь твоя, прекрасная и умная Хеброн, возьмет себе в супруги Тутмоса.

На это достойный Антеф ответил:

— Ваше святейшество, повелитель мира живых и мертвых! Как весь Египет и все, что в нем принадлежит тебе, так этот дом и все его обитатели являются твоей собственностью. И если ты желаешь, чтобы моя дочь Хеброн стала женой твоего любимца Тутмоса, то да будет так...

Фараон рассказал Антефу, что Тутмос получает двадцать талантов жалованья в год, а кроме того, у него большие поместья в разных номах. Достойный же Антеф заявил, что его единственная дочь Хеброн станет получать ежегодно по пятьдесят талантов и может пользоваться поместьями отца в тех номах, где будет останавливаться двор фараона. А так как у Антефа нет сына, то все его огромное, свободное от долгов состояние перейдет когда-нибудь к Тутмосу вместе с должностью фиванского номарха, если будет на то соизволение фараона.

По окончании переговоров вошел Тутмос и поблагодарил Антефа за то, что он отдает свою дочь ему, такому бедняку, а также за то, что ее так

хорошо воспитал. Договорились, что свадебная церемония состоится через несколько дней, так как Тутмос, будучи начальником гвардии, не располагает временем и не может участвовать в слишком длительных торжествах.

— Желаю тебе счастья, сын мой, — сказал, улыбаясь, Антеф, — и большого терпения, так как любимой моей дочери Хеброн уже двадцать лет, она первая модница в Фивах и очень своенравна... Клянусь богами, моя власть над Фивами кончается у садовой калитки моей дочери, и я боюсь, что твое высокое звание произведет на нее не большее впечатление.

Благородный Антеф пригласил своих гостей на роскошный обед, во время которого появилась красавица Хеброн, окруженная своими подругами.

В трапезной зале стояло множество столиков на две и четыре персоны и один стол побольше на возвышении — для фараона. Чтобы оказать честь Антефу и своему любимцу, его святейшество подошел к Хеброн и пригласил ее к своему столу.

Девушка Хеброн была действительно хороша собой и производила впечатление девушки искушенной, что в Египте не было редкостью. Рамсес скоро заметил, что невеста совсем не обращает внимания на будущего супруга, зато бросает красноречивые взгляды в его, фараона, сторону.

Это тоже не казалось странным в Египте.

Когда гости уселись за столики, когда заиграла музыка и танцовщицы стали разносить гостям вино и цветы, Рамсес обратился к ней:

— Чем больше я смотрю на тебя, Хеброн, тем больше поражаюсь. Если бы сюда вошел кто-нибудь посторонний, он принял бы тебя за богиню или верховную жрицу, но никак не за счастливую невесту.

— Ошибаешься, государь, — ответила она, — сейчас я счастлива, но не потому, что я невеста...

— Как это так? — спросил фараон.

— Меня не манит замужество, и я предпочла бы стать верховной жрицей Исида, чем чьей-либо женой.

— Зачем же ты выходишь замуж?

— Я это делаю ради отца, который хочет непременно иметь наследника своей славы. А главным образом потому, что ты так хочешь, государь...

— Неужели тебе не нравится Тутмос?

— Я этого не говорю. Тутмос красив, он первый щеголь в Египте, хорошо поет и получает призы на игрищах, а его положение начальника гвардии вашего святейшества одно из высших в стране. И все же, если бы

не просьба отца и твое появление, государь, я не стала бы его женой... И все равно я ею не буду. Тутмос удовлетворится богатством и титулами, которые он унаследует после моего отца, а остальное найдет у танцовщиц.

— И он знает о своем несчастье?

Хеброн улыбнулась.

— Он давно знает, что если бы даже я была не дочерью Антефа, а последнего парасхита, я все равно не согласилась бы принадлежать человеку, которого не люблю. А любить я могла бы только того, кто выше меня.

— В самом деле? — удивился Рамсес.

— Мне ведь двадцать лет — значит, уже шесть лет меня окружают поклонники. Но я быстро узнала им цену... и сейчас предпочитаю беседы с учеными жрецами песням и признаниям золотой молодежи.

— В таком случае я не смею сидеть рядом с тобой, Хеброн, потому что я даже не принадлежу к золотой молодежи и уж подавно не обладаю жреческой мудростью.

— О, ты, государь, выше их, — вся вспыхнув, ответила Хеброн. — Ты вождь, одержавший победу. Ты порывист, как лев, зорек, как коршун. Перед тобой миллионы людей падают ниц, содрогаются государства... Разве мы не знаем, какой страх вызывает в Тире и Ниневии твое имя? Боги могли бы завидовать твоему могуществу...

Рамсес смутился.

— О Хеброн, Хеброн! Если б ты знала, какую тревогу будишь ты в моем сердце!

— Поэтому, — сказала она, — я и соглашаюсь на брак с Тутмосом. Я буду ближе к тебе и, хоть изредка, смогу видеть тебя, государь.

Сказав это, она встала из-за столика и ушла.

Ее поведение заметил Антеф и в испуге подошел к Рамсесу.

— О государь! — воскликнул он. — Не сказала ли моя дочь чего-нибудь неподобающего? Она ведь неукротима, как львица.

— Успокойся, — ответил фараон, — твоя дочь очень умна и серьезна. А ушла она, заметив, что вино твое, достойнейший, слишком сильно веселит гостей.

Действительно, в трапезной царил уже страшный шум и громче всего раздавался голос Тутмоса, который, забыв о своей роли помощника хозяина, веселился вовсю.

— Скажу тебе по секрету, — шепнул Антеф, — бедняге Тутмосу придется быть очень осторожным с Хеброн.

Это первое пиршество продлилось до утра. Правда, фараон сейчас же

уехал. Но другие остались — сначала в креслах, потом на полу, — пока в конце концов Антефу не пришлось развезти их, мертвецки пьяных, по домам.

Спустя несколько дней состоялось торжество бракосочетания.

Во дворец Антефа явились верховные жрецы Херихор и Мефрес, номархи соседних номов и высшие фиванские сановники. Затем приехал Тутмос, окруженный офицерами гвардии, и, наконец, его святейшество Рамсес XIII.

Его сопровождали: верховный писец, начальник лучников, начальник конницы, верховный судья, главный казначей, верховный жрец Сэм и военачальники.

Когда это великолепное общество собралось в зале предков благородного Антефа, появилась Хеброн в белом платье, окруженная подругами и прислужницами. Отец ее, возжегши благовония перед Амоном, перед статуей своего отца и сидевшим на возвышении Рамсесом XIII, заявил, что освобождает Хеброн от своей опеки и дает ей приданое. При этом он преподнес ей в золотой шкатулке соответствующий акт, написанный на папирусе и засвидетельствованный судом.

После короткой трапезы невеста села в роскошные носилки, несомые восемью чиновниками нома. Впереди шли музыканты и певцы, вокруг носилок — сановники, а за ними большая толпа народа. Вся это процессия направлялась к храму Амона по красивейшим улицам Фив, среди не менее многолюдной толпы, чем на похоронах фараона.

Подойдя к храму, толпа осталась за оградой, а молодые, фараон и вельможи вошли в колонный зал. Тут Херихор воскурил фимиам перед завешенной статуей Амона, жрицы исполнили священный танец и Тутмос прочел следующий акт, записанный на папирусе:

— «Я, Тутмос, начальник гвардии его святейшества Рамсеса Тринадцатого, беру тебя, Хеброн, дочь фиванского номарха Антефа, в жены. Даю тебе сейчас же десять талантов за то, что ты согласилась стать моей женой. На твои наряды предоставляю тебе три таланта в год, а на домашние расходы по таланту в месяц. Из детей, которые родятся у нас, старший сын будет наследником состояния, каким я владею сейчас и какое могу приобрести в будущем. Если я разведусь с тобой и возьму другую жену, я обязуюсь выплатить тебе сорок талантов, под каковую сумму залогом будет служить мое имущество. Когда сын наш войдет в права наследства, он должен выплачивать тебе пятнадцать талантов в год. Дети же, рожденные от другой жены, не вправе притязать на имущество первородного нашего сына».

[\[183\]](#)

После этого выступил верховный судья и от имени Хеброн прочитал акт, в котором молодая хозяйка обещала хорошо кормить и одевать своего супруга, заботиться о его доме, семье, прислуге, хозяйстве и рабах и поручала ему, супругу, управление имуществом, каким она владеет и должна со временем получить от отца. После прочтения актов Херихор подал Тутмосу бокал вина. Жених выпил половину, красавица Хеброн пригубила, после чего оба воскурили благовония перед пурпурной завесой.

Покинув храм Амона Фиванского, молодые и их великолепная свита отправились через аллею сфинксов во дворец фараона. Толпы людей и солдат приветствовали их, бросая под ноги цветы.

Тутмос раньше жил в покоях Рамсеса, но в день свадьбы фараон подарил ему красивый маленький дворец в глубине парка, окруженный рощей смоковниц, мирт и баобабов, где молодые супруги могли проводить счастливые дни вдали от людских глаз, как бы отрезанные от мира. В этом тихом уголке так редко показывались люди, что даже птицы не улетали от них.

Когда молодожены и гости очутились в новом жилище, был совершен последний обряд.

Тутмос взял за руку Хеброн и подвел ее к огню, горевшему перед статуей Исиды. Мефрес возлил на голову невесты ложку святой воды. Хеброн коснулась рукой огня, и Тутмос поделился с ней куском хлеба и надел ей на палец свой перстень в знак того, что с этих пор она становится хозяйкой имущества, слуг, стад и рабов своего мужа.

В продолжение всей этой церемонии жрецы с пением свадебных гимнов носили статую божественной Исиды по всему дому. Жрицы же исполняли священные танцы.

День закончился представлением и народным пиршеством, и все обратили внимание на то, что красавицу Хеброн все время сопровождал фараон, а Тутмос держался поодаль и только потчевал гостей.

Когда показались звезды, святой Херихор покинул пиршество, и вскоре после него незаметно удалилось и несколько высших сановников. Около полуночи в подземельях храма Амона собрались следующие высокопоставленные особы: верховные жрецы Херихор, Мефрес и Ментесуфис, верховный судья Фив и начальники номов Абс, Горти и Эмсух^[184].

Ментесуфис осмотрел толстые колонны, запер дверь и погасил свет; в низком зале остался только один светильник, горевший перед небольшой статуей Гора. Сановники расселись на трех каменных скамьях, и номарх Абса сказал:

— Если б от меня потребовали, чтобы я определил характер его святейшества, Рамсеса Тринадцатого, то, право, я не сумел бы этого сделать.

— Сумасшедший! — сказал, не выдержав, Мефрес.

— Не знаю, сумасшедший ли, — ответил Херихор, — но, во всяком случае, человек весьма опасный. Ассирия уже два раза напоминала нам об окончательном договоре и сейчас, как я слышал, начинает тревожиться по поводу вооружения Египта.

— Это бы еще ничего, — сказал Мефрес. — Хуже то, что этот безбожник действительно задумал коснуться сокровищ Лабиринта.

— А я бы считал, — вмешался номарх Эмсуха, — что опаснее всего обещание, данное им крестьянам. Доходы государства и наши, безусловно, уменьшатся, если простой народ начнет праздновать каждый седьмой день. А если еще фараон наделит их землей...

— Он и собирается это сделать, — подтвердил сидевший в задумчивости судья.

— Действительно собирается? — спросил номарх Горти. — Мне кажется, он только хочет получить деньги. Может быть, если ему предоставить кое-что из сокровищ Лабиринта...

— Ни в коем случае! — перебил его Херихор. — Опасность угрожает не государству, а только фараону, а это не одно и то же. Помните, что подобно тому, как плотина крепка до тех пор, пока через нее не просочится ни одна струйка воды, так Лабиринт до тех пор полон, пока мы не тронем в нем первого слитка золота. За первым слитком пойдет все остальное... К тому же, кого мы поддержим сокровищами богов и государства? Юнца, презирающего веру, унижающего жрецов и подстрекающего народ. Разве он не хуже Ассара? Тот, правда, варвар, но он не причиняет нам вреда.

— Неприлично, что фараон так открыто ухаживает за женой своего приближенного в день его свадьбы, — заметил судья.

— Хеброн сама его завлекает! — сказал номарх Горти.

— Женщина всегда завлекает мужчину, — ответил номарх Эмсуха, — но для того и дан человеку разум, чтобы он не грешил.

— Разве фараон не является мужем всех женщин в Египте? — прошептал номарх Абса. — К тому же грехи подлежат суду богов, а нас касаются лишь государственные вопросы.

— Опасный он человек! Опасный! — повторил номарх Эмсуха, тряся руками и головой. — Нет ни малейшего сомнения, что простой народ потерял всякое уважение к начальству и со дня на день поднимет бунт. А тогда ни один верховный жрец или номарх не может быть уверенным не

только в своей власти и имуществе, но даже и в жизни.

— Против бунта у меня есть средство, — заметил Мефрес.

— Какое?

— Во-первых, — заявил Мефрес, — бунт можно предупредить, внушив самым разумным из народа, что тот, кто обещает им столь большие льготы, — сумасшедший.

— Это самый здоровый человек, какой только может быть, — прошептал номарх Горти. — Надо только понять, чего он хочет...

— Он сумасшедший! Сумасшедший! — повторял Мефрес. — Его старший сводный брат уже изображает из себя обезьяну и пьянствует с парасхитами, и этот, того и жди, начнет делать то же самое...

— Скверный это и никуда не годный прием — объявить сумасшедшим человека в здравом уме, — взял слово номарх Горти. — Потому что стоит народу почуять обман, как он вовсе перестанет нам верить, а тогда не избежать бунта.

— Если я говорю, что Рамсес сумасшедший, то у меня, очевидно, есть доказательства, — заявил Мефрес. — Вот послушайте.

Вельможи зашевелились на скамьях.

— Скажите, — продолжал Мефрес, — решится ли человек в здравом уме, будучи наследником престола, вступить в борьбу с быком на глазах у нескольких тысяч азиатов? Станет ли здравомыслящий египтянин, притом царевич, шататься по ночам у финикийского храма? Бросит ли он без всякого повода, как рабыню, в людскую свою первую женщину, что явилось даже причиной смерти и ее и ребенка?

Среди присутствующих пробежал ропот ужаса.

— Все это, — продолжал верховный жрец, — мы видели в Бубасте. Кроме того, и я и Ментесуфис были свидетелями пьяных оргий, на которых наследник, уже полусумасшедший, кощунствовал и оскорблял жрецов.

— Было и так, — подтвердил Ментесуфис.

— А как вы думаете, — продолжал все более страстно Мефрес, — здравомыслящий человек, будучи главнокомандующим, покинет армию, чтобы погнаться за несколькими ливийскими бандитами? Я уже не говорю о множестве мелких фактов, вроде хотя бы проекта дать крестьянам землю и отдых каждый седьмой день. Но, спрашиваю вас, могу ли я считать человека здоровым, если он совершил столько преступлений без всякого повода, так, ни с того ни с сего?

Присутствующие молчали. Номарх Горти казался взволнованным.

— Надо все это продумать, — заметил верховный судья, — чтобы зря не обидеть человека.

Слово взял Херихор.

— Святой Мефрес оказывает Рамсесу милость, считая его сумасшедшим, ибо иначе мы должны были бы объявить его изменником.

Присутствующие снова взволнованно зашевелились.

— Да, человек, именуемый Рамсесом Тринадцатым, — изменник, потому что не только подыскивает себе шпионов и воров, чтобы они открыли ему дорогу к сокровищам Лабиринта, не только отказывается от договора с Ассирией, который необходим Египту во что бы то ни стало...

— Тяжкое обвинение, — произнес судья.

— Но еще ко всему этому — вы слышите — договаривается с подлыми финикиянами о прорытии канала между Красным и Средиземным морями. Этот канал представляет величайшую опасность для Египта, ибо страна наша может быть мгновенно затоплена водой! Здесь уже вопрос касается не сокровищ Лабиринта, а наших храмов, домов, полей, шести миллионов, правда, невежественных, но ни в чем не повинных жителей и в конце концов ставится под угрозу жизнь наша и наших детей.

— Если так... — прошептал со вздохом номарх Горти.

— Я и достойный Мефрес ручаемся, что это так и что этот человек причинит Египту такое зло, которое никогда еще не грозило ему. Поэтому мы собрали вас, достойнейшие мужи, чтобы обдумать средства спасения. Но мы должны действовать не медля, ибо проекты этого человека стремительны, как вихрь в пустыне. Как бы они не погубили нас!

На мгновение в мрачном зале воцарилась тишина.

— Что же тут обсуждать? — отозвался, наконец, номарх Эмсуха. — Мы сидим в номах далеко от двора и, естественно, не только не знали планов этого безумца, но даже не догадывались о них... Да и поверить трудно... Вот почему я думаю, что лучше всего предоставить это дело вам, святые отцы Херихор и Мефрес. Вы обнаружили болезнь, найдите же лекарство и примените его, а если вас беспокоит ответственность, то возьмите себе в помощь верховного судью...

— Да! Да! Он правильно говорит! — поддержали его взволнованные вельможи.

Ментесуфис зажег факел и положил на стол перед статуей бога папирус, на котором было написано следующее:

«Ввиду опасности, угрожающей государству, власть тайного совета переходит в руки Херихора, которому назначаются в помощь Мефрес и верховный судья».

Акт этот, скрепленный подписями присутствующих сановников, был заперт в шкатулку и спрятан в потайное место под алтарем. Кроме того,

каждый из участников клятвенно обязался исполнять все приказы Херихора и вовлечь в заговор по десяти других высоких сановников. Херихор же обещал представить им доказательства того, что Ассирия настаивает на договоре и что фараон не хочет его подписать, а вместо этого договаривается с финикиянами о постройке канала и намерен предательским образом проникнуть в Лабиринт.

— Жизнь моя и честь в ваших руках, — прибавил Херихор. — Если то, что я сказал, неверно, вы осудите меня на смерть, а тело мое предадите сожжению...

Теперь уже никто не сомневался, что верховный жрец говорит истинную правду, ибо ни один египтянин не рискнул бы обречь свое тело на сожжение, то есть погубить свою душу.

Несколько дней после свадьбы Тутмос провел с Хеброн во дворце, подаренном ему фараоном. Но каждый вечер он являлся в казармы, где весело проводил ночи в обществе офицеров и танцовщиц.

По его поведению товарищи догадались, что Тутмос женился на Хеброн только ради приданого, что, впрочем, никого не удивило.

Спустя пять дней Тутмос явился к фараону и заявил, что готов снова служить ему. Таким образом, он мог навещать свою супругу только при солнечном свете, ночью же дежурил в покоях государя.

Однажды вечером фараон сказал ему:

— В этом дворце столько углов для подглядывания и подслушивания, что за каждым моим шагом следят. Даже к моей почтенной матушке опять обращаются какие-то таинственные голоса, которые смолкли было в Мемфисе, когда я разогнал жрецов. Я не могу никого принимать у себя и должен уходить из дворца, чтобы совещаться со своими слугами в безопасном месте.

— Проводить ваше святейшество? — спросил Тутмос, видя, что фараон ищет свой плащ.

— Нет. Останься здесь и смотри, чтобы никто не входил в мой покой. Не впускай никого, хотя бы это была моя мать или даже тень вечно живущего отца моего. Скажи, что я сплю и не желаю никого видеть.

— Будет так, как ты приказал, — ответил Тутмос, помогая фараону надеть плащ с капюшоном. Потом погасил свет в спальне. Фараон вышел через боковые галереи.

Очутившись в саду, Рамсес остановился и внимательно посмотрел кругом. Затем, очевидно, сообразив, куда идти, быстро направился к

павильону, подаренному Тутмосу.

В тенистой аллее кто-то остановил его вопросом:

— Кто идет?

— Нубия, — ответил фараон.

— Ливия, — ответил, в свою очередь, вопрошавший и быстро попятился, как будто испугавшись. Это был гвардейский офицер из гвардии его святейшества фараона. Фараон всмотрелся в него и воскликнул:

— А, это ты, Эннана? Зачем ты здесь?

— Обхожу сады. Я это делаю каждую ночь по несколько раз, потому что сюда прокрадываются воры.

— Так и надо, — ответил, подумав, фараон. — Только помни, что первый долг офицера — молчать. Вора прогони, но если встретишь высокое лицо, не останавливай его. И молчи, знай молчи! Хотя бы это был сам верховный жрец Херихор...

— О государь, только не приказывай мне ночью отдавать честь Херихору или Мефресу! — воскликнул Эннана. — Я не уверен, что при виде их меч сам не вырвется у меня из ножен...

Рамсес улыбнулся.

— Твой меч — мой, — ответил он, — и может быть вынут из ножен, только когда я прикажу.

Он кивнул головой Эннана и пошел дальше.

Вскоре фараон очутился у скрытых в чаще ворот. Ему показалось, что он слышит шорох. Он быстро спросил:

— Хеброн?

Навстречу Рамсесу выбежала фигура, одетая в темный плащ, и припала к нему, шепча:

— Это ты, государь? Это ты? Как долго ждала я!

Фараон, чувствуя, что она вырывается из его объятий, взял ее на руки и отнес в беседку. По дороге с него упал плащ. Рамсес хотел было его поднять, но раздумал...

На следующий день досточтимейшая царица Никотриса призвала к себе Тутмоса. Взглянув на нее, любимец фараона испугался. Царица была ужасно бледна. Глаза у нее ввалились и блуждали, как у безумной.

— Садись, — сказала она, указывая на табурет рядом со своим креслом.

Тутмос не решался сесть.

— Садись! И... поклянись, что никому не расскажешь того, что я тебе сейчас скажу.

— Клянусь тенью моего отца! — произнес Тутмос.

— Слушай! — тихо сказала царица. — Я была для тебя почти что матерью... И, если ты выдашь тайну, — боги покарают тебя. Нет... Тогда бедствия, что нависли над моим родом, не минуют и тебя...

Тутмос слушал, недоумевая.

«Сумасшедшая!» — подумал он в испуге.

— Посмотри сюда, в окно... на это дерево... Ты знаешь, кого я видела минувшей ночью на дереве за окном?

— Наверно, это был сводный брат его святейшества?..

— Нет, это был не он, это был Рамсес... мой сын... Мой Рамсес...

— На дереве? Минувшей ночью?

— Да. Свет факела отчетливо падал на его лицо и фигуру. На нем был хитон в белую и синюю полосу. Взгляд его был безумным. Он дико смеялся, как тот несчастный, его брат, и говорил: «Смотри, мама, я уже умею летать, чего не умел ни Сети, ни Рамсес Великий, ни Хеопс! Смотри, какие у меня растут крылья!» Он протянул ко мне руку, и я, не помня себя от горя, прикоснулась к ней через окно. Тогда он спрыгнул с дерева и убежал.

Тутмос слушал в ужасе. Но вдруг он стукнул себя по голове.

— Это был не Рамсес, — ответил он решительно, — это был человек, очень похожий на него, подлый грек Ликон, который убил его сына, а сейчас находится в руках у жрецов. Это не Рамсес! Это проделка тех негодяев, Херихора и Мефреса!

На лице царицы блеснула надежда, но только на минуту.

— Неужели я не узнала бы моего сына?

— Ликон, говорят, поразительно похож на Рамсеса. Это проделка жрецов, — настаивал Тутмос. — Негодяи! Смерти мало для них!

— А фараон ночевал дома? — спросила вдруг царица.

Тутмос смутился и опустил глаза.

— Значит, не ночевал?

— Ночевал, — ответил неуверенно фаворит.

— Ты лжешь! Но скажи мне по крайней мере, был ли на нем хитон в белую и синюю полосу?

— Не помню... — прошептал Тутмос.

— Опять лжешь! А плащ — разве это не плащ моего сына? Мой невольник нашел его на этом самом дереве.

Царица встала и вынула из сундука коричневый плащ с капюшоном...

В ту же минуту Тутмос вспомнил, что фараон вернулся после полуночи без плаща и даже оправдывался перед ним, что потерял его где-то в саду. Тутмос колебался, обдумывая что-то, но потом ответил решительно:

— Нет, царица, это был не государь, а Ликон. Это преступная проделка жрецов, о которой надо немедленно сообщить его святейшеству.

— А если это Рамсес? — еще раз спросила царица, хотя в глазах ее уже светилась искра надежды.

Тутмос колебался. Его догадка относительно Ликона была разумна и могла быть правильной. Но все же кое-что наводило на подозрения, что царица видела действительно Рамсеса. Он вернулся домой после полуночи. Был одет в хитон в белую и синюю полосу, потерял плащ... Ведь и брат его был сумасшедшим... Да наконец, разве могло ошибиться сердце матери?..

В душе Тутмоса проснулись сомнения. К счастью, пока он колебался, душа царицы озарилась надеждой.

— Хорошо, что ты мне напомнил про Ликона. Из-за него Мефрес заподозрил Рамсеса в убийстве сына... А теперь он, может быть, пользуется этим негодяем, чтобы обесславить фараона. Во всяком случае, ни слова никому о том, что я доверила одному тебе. Если Рамсес... если в самом деле его постигло такое несчастье, то это, может быть, временно... Нельзя разглашать подобные слухи. Даже ему самому ничего не говори. Если же это преступная проделка жрецов, тем более надо быть осторожным, хотя... люди, прибегающие к подобным обманам, не могут быть сильны...

— Я последую за этим, — сказал Тутмос. — Но если я узнаю...

— Только не говори Рамсесу, — заклиная тебя тенями отцов, — вскричала царица, протягивая с мольбою руки. — Фараон не простит им, отдаст их под суд, а тогда не миновать беды: или будут присуждены к смерти высшие сановники государства, или суд оправдает их, и тогда... Лучше выследи Ликона и убей его без всякой жалости, как хищного зверя, как змею...

Тутмос простился с царицей, значительно успокоившейся, в то время как его собственные опасения усилились.

«Если этот подлый грек Ликон, которого жрецы держали в тюрьме, еще жив, — размышлял он, — то, вместо того чтобы лазить по деревьям и показываться царице, он бы предпочел бежать. Я сам облегчил бы ему побег и щедро наградил в придачу, если бы он мне открылся и искал у меня защиты от этих негодяев. Но хитон, плащ? Каким образом могла обмануться мать?»

С этих пор Тутмос избегал фараона и не решался смотреть ему в глаза. А так как и Рамсес избегал Тутмоса, то могло показаться, что горячая дружба их остыла.

Но однажды вечером фараон снова призвал к себе своего любимца.

— Мне надо, — сказал он, — поговорить с Хирамом о важных делах. Я ухожу. Дежурь здесь у моей спальни и, если бы кто захотел видеть меня, не допускай.

Когда Рамсес скрылся в таинственных галереях дворца, Тутмоса охватило беспокойство.

«Может быть, — подумал он, — жрецы отравили его каким-нибудь дурманом, и он, чувствуя припадок болезни, убегает из дому? Гм! Увидим!»

Фараон вернулся поздно, после полуночи. Плащ, правда, на нем был, но не свой, а солдатский.

Встревоженный Тутмос не спал до утра, ожидая, что его скоро опять позовет царица. Царица его не позвала, но во время утреннего смотра офицер Эннана попросил своего начальника на несколько слов. Когда они остались вдвоем в отдельном покое, Эннана упал к ногам Тутмоса, моля его никому не рассказывать, что сейчас услышит.

— Что случилось? — спросил Тутмос, чувствуя, как сердце его холодеет.

— Начальник, — сказал Эннана, — вчера около полуночи два моих солдата схватили в саду нагого человека, который бежал и кричал нечеловеческим голосом. Его привели ко мне и... начальник... убей меня...

Эннана опять упал к ногам Тутмоса.

— Этот голый человек... это был... я не могу сказать...

— Кто это был? — спросил в ужасе Тутмос.

— Я ничего больше не скажу, — простонал Эннана. — Я снял с себя свой плащ и покрыл им священную наготу... Я хотел отвести его во дворец, но... но государь приказал мне остаться и молчать.

— И куда он пошел?

— Не знаю. Я не смотрел и не позволил смотреть солдатам. Он скрылся где-то в чаще парка. Я под страхом смерти приказал людям забыть о происшедшем, — закончил Эннана свой рассказ.

Тутмос тем временем успел овладеть собой.

— Не знаю, — сказал он холодно, — не знаю и не понимаю ничего из того, что ты мне говорил. Только помни одно, что я сам бежал нагой, когда однажды выпил слишком много вина, и щедро наградил тех, кто меня не заметил. Крестьяне, Эннана, крестьяне и работники всегда ходят голые, великие же — только тогда, когда им понравится. И если бы мне или кому-нибудь из знатных взбрело на ум встать на голову, умный и благочестивый офицер не должен этому удивляться.

— Понимаю, — ответил Эннана, пристально глядя в глаза начальнику, — и не только повторю это моим солдатам, но даже сейчас,

сегодня же ночью, сняв платье, пойду бродить по саду, чтобы они знали, что старший имеет право делать, что ему угодно.

Несмотря, однако, на небольшое число лиц, видевших фараона или его двойника в состоянии сумасшествия, слух об этих странных прогулках распространился очень быстро. Через несколько дней все жители Фив, от парасхитов и водоносов до чиновников и купцов, шептали друг другу на ухо, что Рамсеса XIII постигло то же несчастье, из-за которого его старшие братья были отстранены от престола.

Страх и почтительность к фараону были так велики, что об этом боялись говорить вслух, особенно среди незнакомых. Однако все это знали, все, за исключением самого Рамсеса.

Тем удивительнее, что слух этот очень быстро облетел всю страну. Очевидно, он распространялся при содействии храмов, ибо только жрецы обладали секретом передачи известий в течение немногих часов из одного конца Египта в другой.

Тутмосу никто прямо не говорил об этих гнусных слухах, но начальник фараоновой гвардии на каждом шагу чувствовал их действие. По поведению людей он догадывался, что прислуга, рабы, солдаты, поставщики двора говорят о сумасшествии царя, умолкая лишь тогда, когда их мог услышать кто-нибудь из придворных.

Наконец, раздраженный и встревоженный Тутмос решил поговорить с фиванским номархом.

Явившись к нему во дворец, Тутмос застал Антефа возлежащим на диване в зале, половина которого представляла как бы цветник, заполненный редкими растениями. Посредине бил фонтан розовой воды. По углам стояли статуи богов. Стены были расписаны картинами, изображавшими деяния знатного номарха. Стоявший у изголовья черный невольник охлаждал господина опахалом из страусовых перьев. На полу сидел писец нома и делал доклад.

Лицо Тутмоса выражало такую тревогу, что номарх сейчас же отправил писца и невольника и, встав с дивана, осмотрел все углы, чтобы убедиться, что никто не подслушивает.

— Достойнейший отец госпожи Хеброн, моей досточтимой супруги, — начал Тутмос, — по твоему поведению я вижу, что ты догадываешься, о чем я хочу говорить.

— Фиванский номарх должен быть всегда предусмотрительным, — ответил Антеф. — Я предполагаю также, что начальник гвардии его святейшества не мог почтить меня визитом по пустому делу.

С минуту оба смотрели друг другу в глаза.

Наконец Тутмос сел рядом со своим тестем и прошептал:

— Ты слышал подлые слухи, которые враги государства распространяют о нашем повелителе?

— Если речь идет о моей дочери Хеброн, — поспешил ответить номарх, — то заявляю тебе, что теперь ты ее господин и не можешь иметь ко мне претензий.

Тутмос небрежно махнул рукой.

— Какие-то недостойные люди, — продолжал он, — распространяют слухи, будто фараон сошел с ума. Ты слышал это, мой отец?

Антеф покачал головой так неопределенно, что это могло означать как подтверждение, так и отрицание.

Наконец он сказал:

— Глупость человеческая необъятна, как море. Она все может вместить...

— Это не глупость, а преступные интриги жрецов. В их распоряжении есть человек, похожий на его святейшество, и они пользуются им для своих подлых махинаций.

И он рассказал номарху историю грека Ликона и о его преступлении в Бубасте.

— Об этом Ликоне, который убил ребенка наследника, я слышал, — сказал Антеф, — но где у тебя доказательства, что Мефрес арестовал Ликона в Бубасте, привез его в Фивы и выпускает в царские сады, чтобы он там разыгрывал сумасшедшего фараона?

— Вот потому-то я и спрашиваю у тебя, достойнейший, что делать? Ведь я начальник гвардии и должен охранять честь и безопасность нашего господина.

— Что делать? Что делать? — повторил Антеф. — Прежде всего стараться, чтоб эти безбожные слухи не дошли до ушей фараона...

— Почему?

— Потому что случится большое несчастье. Когда наш господин услышит, что Ликон притворяется сумасшедшим и выдает себя за него, он разгневается, страшно разгневается... И естественно, обратит свою ярость против Херихора и Мефреса... Может быть, только посердится... Может быть, заключит их в тюрьму... Может быть, даже убьет... Но что бы он ни сделал, он сделает, не имея против них достаточных улик. А что тогда? Современный Египет уже не любит приносить жертвы богам, но может заступиться за незаслуженно обиженных жрецов... А что тогда? Я думаю, — сказал Антеф, — это будет конец династии...

— Как же быть?

— Выход один! Надо найти этого Ликона, — продолжал Антеф, — и доказать, что Мефрес и Херихор прятали его и заставляли изображать сумасшедшего фараона. Это ты должен сделать, если хочешь сохранить милость господина. Улик! Как можно больше улик! У нас не Ассирия. Верховных жрецов нельзя наказывать без суда, а никакой суд не осудит их без достаточных улик. Да и откуда у тебя уверенность, что фараону не подлили какого-нибудь одурманивающего зелья? Ведь это было бы проще, чем посылать ночью человека, не знающего пароля и никогда не бывавшего во дворце и парке... Говорю тебе: про Ликона я слышал от кого-то, кажется, от Хирама. Но не понимаю, каким образом Ликон мог бы в Фивах проделывать такие чудеса.

— Кстати, — перебил его Тутмос, — где Хирам?

— Сейчас же после вашей свадьбы уехал в Мемфис и на этих днях был уже в Хитене.

Лицо Тутмоса опять приняло озабоченное выражение.

«В ту ночь, — подумал он, — когда к Эннانه привели голого человека, фараон говорил, что отправляется повидаться с Хирамом. А раз Хирама не было в Фивах — значит, его святейшество уже тогда не знал, что говорит».

Тутмос вернулся сам не свой. Он уже не только не понимал, как поступить в этом неслыханном положении, но даже не знал, что думать. Если во время разговора с царицей Никотрисой он был почти уверен, что в парке появлялся Ликон, подсланный жрецами, то сейчас его уверенность поколебалась. И если так растерян был Тутмос, который каждый день видел Рамсеса, то что должно было происходить в сердцах посторонних людей? Самые верные сторонники фараона и его планов могли поколебаться, слыша со всех сторон, что их повелитель — сумасшедший.

Это был первый дар, нанесенный Рамсесу XIII жрецами. Незначительный сам по себе, он влек за собой неисчислимые последствия.

Тутмос не только сомневался, но и страдал. Под легкомысленной внешностью в нем скрывался благородный и энергичный характер. И теперь, когда посягали на честь и могущество его господина, Тутмоса мучило бездействие. Ему казалось, будто он — комендант крепости, под которую подкапывается неприятель, а он только беспомощно смотрит на это. Эта мысль так мучила Тутмоса, что под ее влиянием у него явилась смелая идея. Встретив однажды верховного жреца Сэма, он обратился к нему:

— Ты знаешь, какие слухи распространяют про нашего повелителя?

— Фараон молод, о нем могут ходить самые разнообразные слухи, — ответил Сэм, как-то странно глядя на Тутмоса. — Но это меня не касается:

я замещаю его святейшество в службе богам и стараюсь делать это как можно лучше, а остальное не моя забота.

— Я знаю, что ты — верный слуга фараона, — сказал Тутмос, — и не собираюсь вмешиваться в тайны жрецов. Должен, однако, обратить твое внимание на одну мелочь. Я узнал из достоверных источников, что святой Мефрес прячет некоего грека Ликона, на котором тяготеют два преступления: во-первых — он убийца сына фараона, а во-вторых — он слишком похож на его святейшество. Пусть же достойный Мефрес не навлекает позора на досточтимую жреческую касту и поскорее выдаст убийцу суду. Ибо если мы найдем Ликона, то, клянусь, Мефрес лишится не только своего сана, но и головы. В нашем государстве нельзя безнаказанно покровительствовать разбойникам и скрывать людей, похожих на верховного повелителя!

Сэм, в присутствии которого Мефрес отнял Ликона у полиции, смутился, может быть, из опасения, что его подозревают в сообщничестве. Тем не менее он ответил:

— Я постараюсь предупредить святого Мефреса об этих позорящих его подозрениях. Но вы знаете, достойнейший, какая кара ждет людей, ложно обвиняющих кого-нибудь в преступлении?

— Знаю и беру на себя ответственность. Я настолько уверен в том, что говорю, что меня нисколько не беспокоят последствия моих подозрений. Беспокоиться об этом предоставляю досточтимому Мефресу и желаю ему, чтобы мне не пришлось перейти от предостережений к действиям.

Разговор возымел последствия. С тех пор никто ни разу не видел двойника фараона.

Но слухи не утихали. Рамсес XIII ничего не знал о них, так как далее Тутмос, опасаясь со стороны владыки необдуманных действий по отношению к жрецам, не сообщал ему ничего.

Вначале месяца паопи (июль — август) фараон, царица Никотриса и двор вернулись из Фив во дворец под Мемфисом.

К концу путешествия, совершавшегося и на этот раз по Нилу, Рамсес XIII часто впадал в задумчивость и как-то обратился к Тутмосу.

— Странное дело, — сказал он, — народ толпится на обоих берегах так же густо, пожалуй, даже гуще, чем тогда, когда мы плыли в ту сторону, а крики приветствий значительно слабее, лодок за нами плывет гораздо меньше, и венки бросают скупое...

— Святая правда исходит из уст твоих, государь, — ответил Тутмос. — Действительно, люди как будто устали, но это, вероятно, объясняется страшной жарой.

— Да, это ты правильно заметил, — согласился фараон, и лицо его прояснилось.

Но Тутмос сам не верил в то, что говорил. Он чувствовал и — что еще хуже — вся свита фараона чувствовала, что народ уже несколько охладил к повелителю.

Был ли то результат слухов о злополучной болезни Рамсеса или каких-нибудь других таинственных козней, Тутмос не знал. Но он был уверен, что этому охлаждению содействовали жрецы.

«Вот глупая чернь! — думал он, давая волю своему презрению. — Недавно бросались в воду, только бы увидеть лицо фараона, а сейчас ленятся крикнуть лишний раз. Неужели они забыли и про седьмой день отдыха и про обещанную землю!»

Немедленно после возвращения во дворец фараон отдал приказ собрать делегатов, которые должны были дать ему право нарушить неприкосновенность Лабиринта. Одновременно он поручил преданным ему чиновникам и полиции начать агитацию против жрецов и за седьмой день отдыха.

Скоро в Нижнем Египте опять загудело, как в улье. Крестьяне требовали не только праздников, но и платы наличными за общественные работы. Рабочие в трактирах и на улицах ругали жрецов, желавших ограничить священную власть фараона. Количество преступлений возросло, но правонарушители отказывались являться в суд. Писцы присмирели, и никто из них не осмеливался ударить простолудина, зная, что тот ему не спустит. В храмы реже приносили жертвы; богов,

охранявших границы номов, все чаще забрасывали камнями и грязью, а нередко даже опрокидывали.

Страх нашел на жрецов, номархов и их приспешников. Тщетно судьи напоминали на базарах и проезжих дорогах о законе, по которому земледелец, рабочий и даже торговец не должны заниматься сплетнями, отвлекающими их от работы. Толпа со смехом и криком забрасывала глашатаев гнилыми овощами и косточками от фиников.

Знатные устремились во дворец и, припадая к стопам фараона, молили его о спасении.

— У нас, — взывали они, — словно земля разверзается под ногами, как будто жизни приходит конец. Стихии разбушевались, в умах брожение. Если ты не спасешь нас, государь, часы наши сочтены...

— Моя казна пуста, армия немногочисленна, полиция давно не получает жалованья, — отвечал фараон. — Если вы хотите покоя и безопасности, вы должны доставить мне средства. Я сделаю все, что можно, и надеюсь, что мне удастся восстановить порядок.

Действительно, фараон распорядился стянуть войска и разместить их в наиболее важных пунктах страны. Одновременно он послал приказ Нитагору, чтобы тот поручил восточную границу своему помощнику, а сам с пятью лучшими полками направился к Мемфису.

Фараон действовал так не столько для защиты знати от черни, сколько для того, чтобы иметь под рукой большие силы на случай, если бы верховные жрецы подняли против него население Верхнего Египта и полки, принадлежавшие храмам.

Десятого паопи в царском дворце и его окрестностях царило большое оживление: собрались делегаты, чтобы решить вопрос о праве фараона черпать из сокровищницы Лабиринта, а также толпа людей, желавших хотя бы увидеть место, где совершалось необычайное в Египте торжество.

Шествие делегатов началось с утра. Впереди шли крестьяне в белых чепцах и набедренниках; у каждого в руках был толстый лоскут холста, чтобы прикрыть спину в присутствии фараона. За ними шли работники и ремесленники, тоже в чепцах и набедренниках, но покрывала у них были из более тонкой ткани, а узенькие передники были вышиты разноцветными узорами.

За ними шли купцы в длинных рубахах и накидках; некоторые были в париках, другие щеголяли богатыми ручными и ножными запястьями и перстнями.

Далее шли офицеры в чепцах и полосатых кафтанах, черных с желтым, синих с белым, синих с красным... У двоих вместо кафтанов были

на груди латунные полупанцири.

После значительного перерыва показалось тринадцать человек из знати в огромных париках и белых одеждах до земли. За ними шли номархи в одеждах, обшитых пурпурной полосой, и с коронами на голове. Шествие замыкали жрецы с бритыми головами и лицами, через плечо у них была перекинута шкура пантеры.

Делегаты вошли в большой зал фараона, где стояли одна за другой семь скамей: самая низкая — для крестьян, самая высокая — для жреческой касты.

Вскоре появился несомый в носилках фараон Рамсес XIII. Делегаты пали ниц. Воссев на высокий трон, повелитель обоих миров разрешил своим подданным встать и занять места на скамьях. За ним вошли и сели на более низких тронах верховные жрецы Херихор, Мефрес и хранитель Лабиринта со шкатулкой в руке. Блестящая свита военачальников окружала фараона, за спиной его встали двое высших сановников с опахалами из павлиньих перьев.

— Правоверные египтяне! — начал повелитель обоих миров. — Известно ли вам, что мой двор, моя армия и мои чиновники терпят недостатки, которых не может пополнить обедневшая казна. О расходах на мою священную особу я не говорю, ибо я ем и одеваюсь, как солдат; у любого военачальника или великого писца больше прислуги и женщин, чем у меня.

По рядам собравшихся пробежал шепот одобрения.

— До сих пор существовал обычай, — продолжал Рамсес, — что, когда казна нуждалась в средствах, увеличивались налоги на трудящееся население. Я же, зная свой народ и его нужду, не только не желаю налагать на него новое бремя, я хотел бы, наоборот, предоставить ему некоторые льготы...

— Живи вечно, государь наш! — слышались возгласы с нижних скамей.

— К счастью для Египта, — продолжал фараон, — государство наше обладает сокровищами, с помощью которых можно укрепить армию, выплатить жалованье чиновникам, одарить народ и даже расплатиться со всеми долгами нашими как храмам, так и финикиянам. Сокровища эти, собранные достославными моими предками, лежат в подвалах Лабиринта. Но они могут быть тронуты лишь в том случае, если вы, правоверные, все, как один человек, признаете, что Египет находится в нужде и я, царь, имею право распорядиться сокровищами моих предшественников.

— Признаем! Просим тебя, государь, возьми, сколько нужно! —

раздались голоса со всех скамей.

— Достойный Херихор! — обратился фараон к верховному жрецу. — Нет ли у священного жреческого сословия каких-либо возражений по этому поводу?

— Есть небольшие, — ответил жрец, вставая. — По исконному праву сокровища Лабиринта могут быть тронуты лишь тогда, когда государство лишено всяких других средств. Но сейчас дело обстоит не так. Ибо если правительство откажется платить финикиянам долги, непомерно возросшие из-за ростовщических процентов, то это не только наполнит казну фараона, но и облегчит жизнь простого народа, ныне тяжело работающего на финикиян.

По рядам делегатов снова пронесся шепот одобрения:

— Твой совет, святой муж, исполнен мудрости, — спокойно ответил фараон, — но он опасен. Ибо если мой казначей, достойные номархи и знать хоть раз решатся не заплатить долга, то сегодня мы не заплатим финикиянам, а завтра можем забыть о том, что должны фараону и храмам. А кто поручится, что и простой народ, ободренный примером высших, не сочтет себя вправе забыть о своих обязанностях по отношению к нам?

Удар был настолько силен, что достойнейший Херихор даже пригнулся в своем кресле и замолчал.

— А ты, верховный хранитель Лабиринта, хочешь что-нибудь прибавить? — спросил фараон.

— У меня есть с собой шкатулка с белыми и черными камешками, — ответил жрец. — Каждый делегат получит по камешку того и другого цвета и один из них бросит в кувшин. Кто согласен, чтобы ты нарушил неприкосновенность Лабиринта, бросит черный камешек, а кто желает, чтобы достояние богов осталось неприкосновенным, положит белый.

— Не соглашайся на это, государь, — шепнул на ухо фараону казначей. — Пусть лучше каждый делегат скажет открыто, что у него на душе.

— Отнесемся с должным почтением к древнему обычаю, — вмешался Мефрес.

— Что ж, пускай бросают камешки в кувшин, — решил фараон. — Мое сердце чисто и намерения непреклонны.

Мефрес и Херихор переглянулись.

Хранитель Лабиринта в сопровождении двух военачальников стал обходить скамьи и вручать делегатам по два камешка: черный и белый. Бедняки из народа были очень смущены, видя перед собой столь высоких сановников. Некоторые крестьяне падали ниц, не решаясь брать камешки, и

с трудом понимали, что могут бросить в кувшин только один камешек: черный или белый.

— Мне бы хотелось угодить и богам и его святейшеству, — бормотал старый пастух.

В конце концов сановникам удалось объяснить, а беднякам понять, что следует делать, и голосование началось. Каждый делегат подходил к кувшину и опускал камешек так, чтобы другие не видели, какого цвета камешек он бросает.

Тем временем главный казначей, стоя на коленях позади трона, шептал фараону:

— Все погибло! Если бы голосовали открыто, у нас было бы единогласное решение. А теперь пусть отсохнет у меня рука, если в кувшине не окажется десятка-двух белых камешков.

— Успокойся, верный слуга, — ответил, улыбаясь, Рамсес. — У меня под рукой больше полков, чем людей, голосующих против нас.

— К чему? К чему? — простонал казначей. — Ведь если не будет единогласия, нам не откроют Лабиринта...

Рамсес продолжал улыбаться.

Голосование окончилось. Хранитель Лабиринта поднял кувшин и высыпал его содержимое на золотой поднос: на девяносто одного голосующего было восемьдесят три черных камешка и восемь белых.

Военачальники и чиновники оцепенели от ужаса, верховные же жрецы смотрели на присутствующих торжествуя, но вдруг они забеспокоились: с лица Рамсеса не сходила улыбка. Никто не решался объявить вслух, что предложение фараона провалилось. Фараон заговорил первый, своим обычным тоном, как будто ничего не случилось:

— Правоверные египтяне, добрые слуги мои! Вы исполнили мой приказ, и милость моя с вами. Два дня вы будете гостями в моем доме. Получив подарки, вы вернетесь к своим семьям и мирным занятиям. Мир же вам и мое благословение!

Сказав это, фараон вышел со свитой из зала.

Верховные жрецы Мефрес и Херихор опять переглянулись, но уже с тревогой.

— А он несколько не огорчился, — сказал шепотом Херихор.

— Я же говорил, что это — бешеный зверь, — ответил Мефрес. — Он не остановится даже перед насилием. Если мы не предупредим его...

— Боги сохраняют нас и свои прибежища...

Вечером в покоях Рамсеса XIII собрались вернейшие его слуги: главный казначей, верховный писец, Тутмос и Калипп, командующий

греческим корпусом.

— Ах, повелитель, — сокрушался казначей, — почему ты не поступил, как твои вечно живущие предки? Если бы делегаты голосовали открыто, у нас в руках уже было бы право на сокровища Лабиринта!

— Истину говорит достойнейший, — поддержал казначея верховный писец.

Фараон покачал головой.

— Вы ошибаетесь. Даже если бы весь Египет крикнул: «Отдать казне богатства Лабиринта!» — верховные жрецы не отдали бы.

— Зачем же мы созывали делегатов? Это взбудоражило и разожгло надежды у народа, который сейчас напоминает реку во время разлива.

— Я не боюсь разлива, — ответил фараон, — мои полки будут для него плотинами... А польза этого собрания для меня ясна, она показала всю слабость моих противников: восемьдесят три камешка за нас, восемь за них. Это означает, что если они могут рассчитывать на один корпус, то я — на десять. Не заблуждайтесь, — продолжал фараон, — между мной и верховными жрецами уже началась война. Они — крепость, которой мы предложили сдаться. Они отказались — значит, надо брать ее штурмом.

— Живи вечно! — воскликнули Тутмос и Калипп.

— Приказывай, государь! — поддержал верховный писец.

— Слушайте! — сказал Рамсес. — Ты, казначей, раздашь сто талантов полиции, офицерам рабочих отрядов и сельским старостам в номах Сефт, Неха-Хент, Неха-Пеху, Себет-Хет, Аа, Амент, Ка^[185]. Раздашь также трактирщикам и содержателям постоянных дворов ячмень, пшеницу и вино, чтобы простой народ мог получать даром питье и закуску. Сделаешь это немедленно, чтобы до двадцатого паопи запасы продовольствия были на местах.

Казначей низко поклонился.

— Ты, писец, напиши и вели завтра объявить на улицах, что варвары из западной пустыни хотят с большими силами напасть на священную провинцию Фаюм... Ты, Калипп, пошлешь четыре греческих полка на юг. Два — пусть станут под Лабиринтом, два — пусть продвинутся до Ханеса^[186]. Если ополчение жрецов подойдет со стороны Фив — вы отбросите его и не допустите до Фаюма. Когда же народ, подстрекаемый жрецами, станет угрожать Лабиринту, — пусть твои греки займут его.

— А если охрана окажет сопротивление? — спросил Калипп.

— Это будет бунт, — ответил фараон. — А ты, Тутмос, — продолжал он, — пошлешь три полка в Мемфис и расставишь их поблизости от

храмов Птаха, Исиды и Гора. Когда возмущенный народ захочет штурмовать их, пусть командиры полков займут ворота, не допустят чернь до святых мест и защитят верховных жрецов от оскорблений. И в Лабиринте и в мемфисских храмах найдутся жрецы, которые выйдут навстречу полкам с зелеными ветвями. Военачальники спросят у них пароль и обратятся к ним за советом.

— А если кто-нибудь посмеет сопротивляться? — спросил Тутмос.

— Только бунтовщики не исполняют приказа фараона, — ответил Рамсес. — Храмы и Лабиринт должны быть заняты войсками двадцать третьего паопи, — продолжал он, обращаясь к верховному писцу, — поэтому как в Мемфисе, так и в Фаюме народ может начать собираться уже восемнадцатого, сначала небольшими группами, потом все большими. И если около двадцатого начнутся незначительные беспорядки, то не следует их останавливать. Но штурмовать храмы они могут только двадцать второго и двадцать третьего. Когда же войска займут эти пункты, все должно успокоиться.

— А не лучше ли немедленно арестовать Херихора и Мефреса? — спросил Тутмос.

— Зачем? Дело не в них, а в храмах и Лабиринте, но войска еще не готовы занять их. К тому же Хирам, перехвативший письма Херихора к ассирийцам, вернется не раньше двадцатого. Так что только двадцать первого паопи у нас будут в руках улики, доказывающие, что верховные жрецы — изменники, и мы сможем объявить об этом народу.

— Должен ли я сам со своими войсками ехать в Фаюм? — спросил Калипп.

— О нет! Вы с Тутмосом останетесь при мне с отборнейшими полками. Надо ведь иметь резервы на случай, если верховные жрецы привлекут на свою сторону часть народа.

— А ты не боишься измены, государь? — спросил Тутмос.

Фараон небрежно махнул рукой.

— Измена неизбежна, она просачивается, как вода из надтреснутой бочки. Конечно, верховные жрецы отчасти угадывают мои планы, да и я знаю их намерения. А так как я раньше их собрал силы, то они окажутся слабее. За несколько дней не сформируешь полков...

— А чары? — спросил Тутмос.

— Нет чар, которых бы не рассекала секира! — воскликнул, смеясь, Рамсес.

Тутмос хотел тут же рассказать фараону о проделках жрецов с Ликоном. Но и на этот раз его остановило соображение, что если фараон

очень разгневается, то утратит спокойствие, которое сейчас придает ему твердость.

«Вождь перед сражением не должен думать ни о чем, кроме сражения. Заняться делом Ликона фараон успеет, когда жрецы будут уже в тюрьме», — думал Тутмос.

Фараон приказал ему остаться, а трое остальных вельмож, низко поклонившись, ушли.

— Наконец-то! — вздохнул облегченно верховный писец, когда они вышли из покоев фараона. — Наконец-то окончится власть бритых голов!

— Давно пора! — поддакнул казначей. — За последние десять лет самый захудалый пророк пользуется большим влиянием, чем номарх Фив или Мемфиса.

— Я думаю, что Херихор втихомолку готовит себе лодку, чтобы удрать до двадцать третьего паопи, — заметил Калипп.

— А что с ним станется? — ответил писец. — Государь простит его, когда он смирится.

— И даже по заступничеству царицы Никотрисы оставит жрецам их богатства, — добавил казначей, — взяв только нужное для государственной казны.

— Мне кажется, что фараон затевает слишком большие приготовления, — заметил писец. — Я бы ограничился греческими полками и не стал бы трогать народ...

— Молод еще... любит движение... шум... — сказал казначей.

— Сразу видно, что вы не солдаты. Когда дело касается борьбы, надо собрать все силы, потому что всегда могут возникнуть неожиданности, — возразил Калипп.

— Разумеется, если бы за нами не стоял народ, — подтвердил писец. — А так, какие могут быть неожиданности! Боги не придут защищать Лабиринт.

— Ты говоришь так, достойнейший, потому что уверен в нашем вожде, который старается все предусмотреть. Иначе ты бы очень волновался.

— Я не предвижу никаких неожиданностей, — настаивал писец. — Разве что жрецы снова распустият слух, что фараон сошел с ума.

— Жрецы испробуют все средства, но их ненадолго хватит, — закончил, зевая, главный казначей. — Я благодарю богов, что они указали мне место в лагере фараона... А теперь пора спать...

После ухода вельмож Тутмос открыл потайную дверь в одной из стен и впустил Самонту. Фараон встретил верховного жреца храма Сета с

большой радостью, подал ему руку для поцелуя и обнял его.

— Мир тебе, добрый слуга! — сказал фараон. — Какие новости ты принес?

— Я был уже два раза в Лабиринте, — ответил жрец.

— И знаешь дорогу?

— Я знал ее и раньше. Но сейчас я сделал одно открытие: все хранилище может рухнуть, убить людей и уничтожить драгоценности, которым цены нет...

Фараон нахмурился.

— Поэтому, — продолжал Самонту, — прикажи дать мне в помощь десяток верных людей. Я войду с ними ночью в Лабиринт накануне штурма и займу комнаты по соседству с сокровищницей... особенно верхнюю...

— Ты их проведешь с собой?

— Да. Впрочем, я еще раз схожу в Лабиринт один и проверю окончательно, нельзя ли будет предупредить разрушение без посторонней помощи. Люди, даже самые верные, могут оказаться ненадежными.

— Может быть, за тобой уже следят? — спросил фараон.

— Верь мне, государь, — ответил жрец, прикладывая руки к груди, — чтобы меня выследить, нужно чудо. Они слепы, как дети. Они уже чувствуют, что кто-то хочет пробраться в Лабиринт, но удваивают стражу у входов, которые всем известны. А между тем я сам за месяц узнал три потайных входа, про которые они забыли, а может быть, и вовсе не знали. Только какой-нибудь дух мог бы открыть им, что я брожу по Лабиринту, а тем более указать комнату, где я нахожусь. В трех тысячах комнат и коридоров это совершенно немыслимо...

— Достойный Самонту прав, — вмешался в разговор Тутмос. — Пожалуй, мы слишком уж много принимаем предосторожностей против этих гадин.

— Не говори этого, начальник, — сказал жрец. — Силы их рядом с силами государя — это горсть песку по сравнению с пустыней, но Херихор и Мефрес люди умные и, пожалуй, используют против нас такие виды оружия и такие приемы, перед которыми мы просто растеряемся... наши храмы полны тайн, изумляющих даже мудрецов, не говоря уж о простом народе.

— Расскажи мне, что ты о них знаешь, — попросил фараон.

— Я могу с уверенностью сказать, что твои солдаты встретят в храмах немало чудес. То перед ними погаснет свет, то их окружают языки пламени и отвратительные чудовища; там стена преградит им путь, тут разверзнется под ногами пропасть, в одних галереях их зальет вода, в других незримые

руки будут бросать в них камни... А какой гром, какие голоса будут раздаваться вокруг них!

— Во всех храмах есть младшие жрецы, сочувствующие мне, а в Лабиринте будешь ты, — сказал фараон.

— И наши секиры, — вставил Тутмос. — Плох тот солдат, который отступает перед огнем или страшилищами или тратит время на то, чтобы прислушиваться к таинственным голосам.

— Правильно говоришь, начальник! — воскликнул Самонту. — Если только вы будете смело идти вперед, все страхи рассеются, голоса смолкнут, а огонь перестанет жечь. Теперь последнее слово, государь, — обратился жрец к Рамсесу. — Если я погибну...

— Не говори так, — перебил его фараон.

— ...если я погибну, — продолжал с печальной улыбкой Самонту, — к тебе явится молодой жрец Сета с моим перстнем. Пусть солдаты займут Лабиринт, прогонят сторожей и пусть не уходят из здания. Этот юноша за месяц, а может быть, и скорее, найдет дорогу к сокровищам по знакам, которые я ему оставляю. Но, государь, — прибавил он, опускаясь на колени, — об одном молю тебя: когда ты победишь, отомсти за меня, а главное — не прощай Херихору и Мефресу. Ты не знаешь, какие это враги! Если они победят, погибнешь не только ты, но и твоя династия...

— Разве победителю не подобает великодушие? — спросил омраченный фараон.

— Никакого великодушия, никакой пощады! — вскричал Самонту. — Пока они живы, и тебе и мне, государь, угрожает смерть, позор, даже осквернение наших трупов. Можно укротить льва, купить финикиянина, снискать любовь ливийца и эфиопа... Можно тронуть сердце халдейского жреца, потому что он, как орел, парит в вышине и ему не страшны никакие удары. Но египетского пророка, вкусившего роскоши и власти, ничем не умилоставишь. Только смерть, их или твоя, может завершить борьбу.

— Ты прав, Самонту, — ответил вместо фараона Тутмос. — К счастью, не его Святейшество, а мы, его солдаты, будем разрешать спор между жрецами и фараоном.

Двенадцатого паопи из разных египетских храмов распространились тревожные вести.

За последние дни в храме Гора опрокинулся алтарь, в храме Исиды статуи богини лили слезы, а из храма Амона Фиванского и гробницы Осириса в Дендерах сообщали об очень дурных предзнаменованиях. По безошибочным приметам жрецы вывели заключение, что еще до конца месяца Египет постигнет какое-то большое бедствие. Ввиду этого верховные жрецы Херихор и Мефрес распорядились об устройстве шествий вокруг храмов и жертвоприношений в домах.

На следующий день, тринадцатого паопи, в Мемфисе состоялась грандиозная процессия. Бог Птах и богиня Исида вышли из своих святилищ. Оба божества направились к центру города, окруженные немногочисленной толпой верующих, преимущественно женщин, но им пришлось вернуться, так как горожане стали издеваться над ними, а иноверцы дошли до того, что начали бросать камнями в святыне ладьи богов.

Полицейские не останавливали богохульников, а некоторые принимали даже участие в непристойных шутках. С полудня какие-то неизвестные люди стали распространять слухи, что жреческая коллегия не допустит никаких льгот для населения и даже готовит бунт против фараона. Под вечер у храмов стали собираться кучки рабочих; они свистели, ругали жрецов и швыряли камни в ворота, а какой-то святотатец на глазах у всех отбил нос у Гора, охранявшего свой храм.

Вскоре после заката солнца жрецы и их преданнейшие сторонники собрались в храме Птаха. Были там: достойные Херихор, Мефрес, Ментесуфис, три номарха и верховный судья Фив.

— Ужасные времена! — сетовал верховный судья. — Я знаю достоверно, что фараон хочет вызвать нападение на храмы и подстрекает к этому чернь.

— Я слышал, — подхватил номарх области Сэпа, — будто послан приказ Нитагору, чтоб он поспешил прибыть с новыми полками, как будто тех, что есть, недостаточно!

— Сообщение между Верхним и Нижним Египтом со вчерашнего дня прервано, — прибавил номарх области Аа. — По дорогам стоят солдаты, а галеры его святейшества обыскивают каждое судно, плывущее по Нилу...

— Рамсес Тринадцатый — не «святейшество», — сухо вставил Мефрес, — он не получил еще короны из рук богов.

— Все это были бы мелочи, — продолжал сокрушаться верховный судья. — Хуже всего измена. У меня есть основание предполагать, что многие младшие жрецы сочувствуют фараону и обо всем доносят ему.

— Есть даже такие, что обещали помочь войску занять храмы, — прибавил Херихор.

— Солдаты войдут в храмы! — воскликнул с ужасом номарх области Сэпа.

— Такой по крайней мере им отдан приказ на двадцать третье, — ответил Херихор.

— И ты, достойнейший, говоришь об этом спокойно? — удивился номарх Амента.

Херихор пожал плечами. Номархи переглянулись.

— Это уж мне совсем непонятно, — с возмущением возразил номарх Аа, — у жрецов всего несколько сот солдат, фараон отрезал нам путь в Фивы и подстрекает народ, а достойнейший Херихор говорит об этом, как будто приглашает нас на пирушку. Или давайте защищаться, если возможно, или...

— Или сдадимся «его святейшеству»? — спросил иронически Мефрес. — Это вы всегда успеете сделать.

— Но мы хотели бы узнать что-нибудь о средствах защиты, — потребовал номарх Сэпа.

— Боги спасут верующих, — ответил Херихор.

Номарх Аа всплеснул руками.

— Сказать откровенно, и меня удивляет ваше хладнокровие, — вмешался верховный судья. — Почти весь простой народ против нас...

— Простой народ, как ячмень в поле: куда ветер, туда и он, — сказал Херихор.

— А армия?

— Какая армия не падет ниц перед Осирисом?

— Знаю! — воскликнул, все больше раздражаясь, номарх Аа. — Но я не вижу ни Осириса, ни того ветра, который повернет чернь в нашу сторону... А между тем фараон уже сейчас привлекает ее к себе посулами, а завтра еще больше привлечет подарками...

— Страх сильнее посулов и подарков, — ответил Херихор.

— Чего им бояться? Тех трехсот солдат, что у нас есть?

— Они убоятся Осириса.

— Но где же он? — спросил, выходя из себя, номарх Аа.

— Вы все его увидите. И счастлив будет тот, кто ослепнет на этот день...

Слова эти Херихор произнес с таким непоколебимым спокойствием, что среди собравшихся воцарилась тишина.

— Что же нам в конце концов надо делать? — спросил после некоторой паузы верховный судья.

— Фараон хочет, — сказал Херихор, — чтобы народ напал на храмы двадцать третьего. А мы должны добиться, чтобы на нас напали двадцатого.

— Вечно живущие боги! — воскликнул опять номарх Аа, всплескивая руками. — Зачем же нам навлекать на себя беду, да еще на два дня раньше?

— Слушайте Херихора, — заговорил решительным тоном Мефрес, — и всячески старайтесь, чтобы нападение произошло утром двадцатого паопи.

— А если нас в самом деле разобьют? — растерянно спросил судья.

— Если не помогут заклинания Херихора, тогда я призову на помощь богов, — ответил Мефрес, и в глазах у него сверкнул зловещий огонь.

— Разумеется, у верховных жрецов есть тайны, которых нам, простым смертным, не должно знать, — сказал верховный судья. — Что же, сделаем, как вы велите. Вызовем нападение двадцатого. Только помните, наша кровь и кровь детей наших падет на ваши головы...

— Пусть падет!

— Да будет так! — воскликнули одновременно оба жреца.

А Херихор прибавил:

— Десять лет правим мы государством, и за все это время никому из вас не чинилось обиды, каждое свое обещание мы исполняли. Потерпите же еще несколько дней и не теряйте веры: вы увидите могущество богов и обретете награду.

Номархи распрощались с жрецами, не стараясь даже скрыть свое уныние и беспокойство. Остались только Херихор и Мефрес.

После долгого молчания Херихор сказал:

— Да, этот Ликон был хорош, пока разыгрывал сумасшедшего. Вот если б можно было выдать его за самого Рамсеса!

— Раз уж мать не могла отличить, — ответил Мефрес, — значит, он очень похож. А сидеть на троне и сказать несколько слов толпе, я думаю, он сумеет. Впрочем, мы ведь будем при нем...

— Ужасно глупый комедиант! — вздохнул Херихор, потирая лоб.

— Умнее миллионов других. Это ясновидец, и он может оказать большие услуги государству...

— Ты мне все твердишь, достойнейший, про его ясновидение, — сказал Херихор с досадой. — Дай мне, наконец, возможность самому убедиться в этом.

— Если ты и в самом деле хочешь, пойдем со мной! Только заклинаю тебя богами, Херихор, о том, что ты увидишь, не вспоминай даже про себя.

Они спустились в подземелье храма Птаха и очутились в просторном подвале, освещенном светильником. При тусклом свете Херихор увидел человека, который сидел за столом и ел. На нем был кафтан гвардии фараона.

— Ликон, — обратился к нему Мефрес, — высший сановник государства хочет убедиться в способностях, которыми одарили тебя боги...

Грек оттолкнул миску с едой и разразился проклятиями:

— Будь проклят день, когда мои стопы коснулись вашей земли! Лучше б я работал в каменоломнях, лучше б меня колотили дубинками...

— Это еще успеется, — жестко заметил Херихор.

Грек замолчал и вдруг, увидев в руке Мефреса темный хрустальный шарик, стал дрожать. Он побледнел, взгляд его помутился, на лице выступил холодный пот. Глаза его уставились в одну точку, словно прикованные к хрустальному шару.

— Уже спит, — промолвил Мефрес. — Разве это не удивительно?

— Если только не притворяется.

— Ущипни его... Уколи... Прижги чем-нибудь... — сказал Мефрес.

Херихор достал из-под белого одеяния кинжал и занес его над головой Ликона. Грек не шелохнулся, даже веки его не дрогнули.

— Посмотри сюда, — сказал Мефрес, поднося к лицу Ликона кристалл. — Ты видишь того, кто похитил Каму?

Грек вскочил со сжатыми кулаками и с пеной у рта.

— Пустите меня! — крикнул он хриплым голосом. — Пустите меня! Я хочу напиться его крови...

— А где он сейчас? — спросил Мефрес.

— В доме, в конце парка, у реки. С ним красивая женщина, — прошептал Ликон.

— Ее зовут Хеброн — это жена Тутмоса, — подсказал ему Херихор. — Признайся, Мефрес, — добавил он, — для того, чтоб это знать, не надо быть ясновидцем.

Мефрес прикусил свои тонкие губы.

— Если это не убеждает тебя, я покажу тебе кое-что получше, — ответил он.

— Ликон, — обратился Мефрес к греку, — теперь найди предателя, который ищет дорогу к Лабиринту.

Усыпленный грек пристальнее взгляделся в кристалл и после некоторого молчания ответил:

— Я вижу его... он одет в рубище нищего...

— Где он?

— Он спит на постоялом дворе, последнем у Лабиринта. Утром он будет там...

— Каков он собой?

— У него рыжие волосы и борода, — ответил Ликон.

— Ну, что? — спросил Мефрес Херихора.

— У тебя хорошая полиция, — ответил Херихор.

— Но зато сторожа Лабиринта плохо его охраняют! — проговорил с возмущением Мефрес. — Сегодня же ночью я поеду туда с Ликоном предостеречь местных жрецов. Но если мне удастся спасти священное достояние, разреши мне стать его хранителем...

— Если тебе угодно, — ответил Херихор равнодушно. Про себя же подумал:

«Благочестивый Мефрес начинает показывать зубы и когти: сам хочет стать „только“ хранителем Лабиринта, а своего питомца Ликона сделать „только“ фараоном. Право, чтобы удовлетворить алчность моих помощников, боги должны были создать десять Египтов».

Когда оба сановника вышли из подземелья, Херихор пешком вернулся в храм Исиды, где он жил; Мефрес же велел приготовить конные носилки: в одни молодые жрецы уложили усыпленного Ликона с мешком на голове, во вторые верховный жрец сел сам и, окруженный несколькими всадниками, помчался в Фаюм.

В ночь с 14 на 15 паопи верховный жрец Самонту, согласно обещанию, данному фараону, проник по никому, кроме него, не известному подземному коридору в Лабиринт. В руке у него был пучок факелов, из которых один был зажжен, а на спине — небольшая корзинка с инструментами.

Самонту очень легко находил дорогу из зала в зал, из коридора в коридор, одним прикосновением отодвигая каменные плиты в колоннах и стенах, где находились потайные ходы. Иногда он останавливался в нерешительности, но, прочитав таинственные знаки на стенах и сравнив их со знаками на четках, которые были у него на шее, шел дальше.

После получасового путешествия он очутился в сокровищнице и, сдвинув одну из плит пола, проник в зал, расположенный ниже. Зал был

невысок, но просторен, свод его поддерживался множеством приземистых колонн.

Самонту поставил корзинку, зажег два факела и при свете их стал читать надписи на стенах.

«Несмотря на мой невзрачный вид, — гласила одна надпись, — я — истинный сын богов. Гнев мой ужасен».

«Под открытым небом я превращаюсь в огненный столб и творю молнии; замкнутый, я — гром и разрушение. Нет здания, которое устояло бы против моей мощи. Укротить меня может только святая вода, лишаящая меня силы. Но гнев мой рождается не только от огня, но и от малейшей искры».

«Предо мной все склоняется и падает. Я как Тифон, опрокидывающий самые высокие деревья и поднимающий камни».

«Каждый храм имеет свою тайну, которой не знают другие...» — подумал Самонту.

Он открыл одну колонну и достал из нее большой горшок. На горшке была крышка, прилепленная воском, и отверстие, через которое внутрь колонны проходил длинный тонкий шнур, неизвестно где кончавшийся. Самонту отрезал кусок шнура, приблизил его к факелу и увидел, что шнур, шипя, очень быстро сгорает.

Затем он осторожно открыл ножом крышку и нашел внутри горшка что-то вроде песка и камешков серого цвета. Он вынул несколько камешков и, отойдя в сторону, ткнул в них факел. В одно мгновение вспыхнуло сильное пламя, и камешки исчезли, оставив после себя густой дым и неприятный запах.

Самонту вынул еще немного серого песка, высыпал его на пол, положил туда же кусок шнура, найденного у горшка, и все это прикрыл тяжелым камнем. Потом приблизил факел, шнур затлелся, и через минуту камень, окруженный снопом пламени, взлетел вверх.

— Он уже в моих руках, этот сын богов, — произнес, усмехаясь, Самонту. — Теперь сокровищница не обрушится.

Он стал ходить от колонны к колонне, отодвигать плиты и вынимать спрятанные там горшки. При каждом горшке был шнур; Самонту перерезал их, а горшки отставлял в сторону.

— Ну, — продолжал жрец, — государь мог бы подарить мне половину этих сокровищ или уж, во всяком случае, сделать моего сына номархом! И, наверно, сделает. Это великодушный царь... А мне самому полагается по крайней мере храм Амона в Фивах.

Обезопасив нижний зал, Самонту вернулся в сокровищницу, а оттуда

проник в верхний зал. Там тоже были надписи на стенах и многочисленные колонны, а в них горшки, снабженные шнурами и наполненные камешками, которые при соприкосновении с огнем взрывались.

Самонту перерезал шнуры, вынул горшки из колонн, а щепотку серого песку завязал в тряпицу.

Потом, усталый, присел. У него сгорело уже шесть факелов. Ночь, по-видимому, подходила к концу.

«Никогда бы я не предполагал, — рассуждал про себя Самонту, — что у здешних жрецов есть такое удивительное вещество. Ведь посредством его можно было бы разрушить ассирийские крепости! Впрочем, мы тоже не все открываем своим ученикам...»

Утомленный, он предался мечтам. Теперь он был уверен, что займет высший пост в государстве, еще более высокий, чем тот, что занимает Херихор.

Что он тогда сделает? Очень много! Завещает своим потомкам мудрость и богатство. Постарается узнать тайны всех храмов, чтобы беспредельно укрепить свою власть и обеспечить Египту превосходство над Ассирией.

Молодой фараон не верит в богов. Это поможет Самонту установить поклонение единому богу, например Осирису, и объединить финикиян, евреев, греков, ливийцев и Египет в одно государство.

Одновременно он приступит к работам над каналом, который должен соединить Красное море со Средиземным. Когда вдоль канала будут построены крепости и размещены многочисленные войска, — вся торговля с неизвестными народами Востока и Запада будет в руках Египта. Нужно также завести собственный флот и обучить египтян морскому делу... А главное, надо раздавить Ассирию, которая с каждым годом становится опаснее. Надо умерить роскошь и алчность жрецов. Пусть будут мудрецами, пусть будут богаты, но пусть служат государству, а не используют, как сейчас, власть в своих корыстных целях.

«Уже в месяце атир, — говорил он себе, — я буду всемогущ. Молодой царь слишком любит женщин и армию, чтоб интересоваться управлением. А если у него не будет сыновей, то мой сын... мой сын...»

Он очнулся. Сгорел еще один факел. Пора было покинуть подземелье. Он встал, взял свою корзинку и вышел из зала над сокровищницей.

«Мне не нужны помощники, — подумал он, улыбаясь — я сам все сделал... Я сам... презренный жрец Сета...»

Он прошел уже несколько десятков комнат и коридоров, как вдруг остановился. Ему показалось, что на полу зала, в который он вошел, видна

тонкая полоска света.

Его охватил страх. Он погасил факел. Но и светлая полоска на полу тоже исчезла.

Самонту напряг слух, но слышал только, как стучит кровь в его висках.

— Мне почудилось! — сказал он.

Дрожащими руками вынул он из корзинки маленькую посудину, где медленно тлела губка, и снова зажег факел.

«Я очень хочу спать», — подумал он.

Потом посмотрел вокруг и подошел к стене, в которой была потайная дверь. Он нажал гвоздь — дверь не открылась. Нажал во второй раз... в третий — тщетно...

— Что это значит? — шептал он, недоумевая. Он уже не вспоминал о полоске света, — ему казалось, что с ним произошло что-то неслыханное. Столько потайных дверей открывал он в своей жизни, столько открыл их в самом Лабиринте, что сейчас не мог понять этого неожиданного препятствия. Его снова охватил страх. Он бегал от стены к стене, ища другой выход. Наконец, одна из потайных дверей подалась. Самонту вздохнул с глубоким облегчением. Он очутился в огромном зале, как обычно, со множеством колонн. Его факел освещал лишь уголок пространства, большая часть которого утопала в густом мраке.

Темнота, лес колонн и главное — незнакомый зал вселили в него бодрость. В душе Самонту вспыхнула искра наивной надежды: ему казалось, что раз он не знает этого места, то и никто его не знает, никто сюда не придет.

Он немного успокоился, присел, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, но снова вскочил и стал озираться кругом, как будто желая проверить, действительно ли ему грозит опасность и откуда... Из какого темного угла она появится?

Самонту, как никто в Египте, привык к подземельям, темноте, подобным путешествиям, ему пришлось испытать в жизни немало страшного. Но то, что он испытывал сейчас, было чем-то совершенно новым и таким ужасным, что он боялся дать этому название.

Наконец он с большим усилием собрал мысли.

— Если я в самом деле видел свет, если действительно кто-то запер двери — значит, меня выдали, — прошептал он. — Что же будет?

«Смерть!» — подсказал ему голос в глубине души.

— Смерть?

Пот выступил у него на лице, сдавило грудь. Жреца обуял безумный

страх. Он стал бегать по залу, стуча кулаками в стены, ища выхода. Он забыл уже, через какую дверь вошел, потерял направление и даже возможность ориентироваться при помощи четок.

В то же время он почувствовал, что в нем как бы два человека: один — почти обезумевший, другой — спокойный и рассудительный. Рассудительный говорил, что все, быть может, померещилось ему, что никто его не открыл, никто не ищет и что он выйдет отсюда, как только немного придет в себя. Но тот, первый, обезумевший, с каждой минутой брал верх над своим противником — голосом рассудка.

«О, если б можно было спрятаться в одну из этих колонн! Пусть тогда меня ищут!» (Хотя его наверняка никто бы не искал и не нашел, а он бы выспался и снова овладел собой.)

«Ну, что мне здесь угрожает? — убеждал он самого себя, пожимая плечами. — Надо только успокоиться. Пусть гонятся за мной по всему Лабиринту. Ведь для того, чтобы перерезать все пути, нужно несколько тысяч человек, а чтоб определить, где, в каком зале я нахожусь, — нужно чудо!

Допустим, что меня поймают. Ну, так что же? Приложу к губам этот пузырек и в один миг буду так далеко, что меня уже никто не настигнет, даже боги...»

Несмотря, однако, на эти рассуждения, Самонту снова охватил такой страх, что он опять погасил факел и, щелкая зубами, приник к колонне.

«Зачем? Зачем я вошел сюда? — твердил он себе. — Разве мне нечего было есть? Негде было склонить голову? Меня ищут. Ведь в Лабиринте множество чутких, как собаки, сторожей, и только ребенок или дурак мог надеяться обмануть их. Богатство! Власть! Где такие сокровища, за которые стоило бы отдать один день жизни? И вот я — человек, полный сил, подвергаю свою...»

Вдруг он услышал, как что-то тяжело стукнуло. Он вскочил и увидел в глубине зала свет.

Да. Действительно свет — не обман зрения... В отдаленной стене, где-то в конце зала, была открыта дверь, через которую осторожно входило несколько вооруженных людей с факелами.

При виде их жрец почувствовал холод в ногах, в сердце, в голове. Он уже не сомневался в том, что его преследуют, что он окружен...

Кто мог его выдать? Конечно, только один человек — молодой жрец Сета, которого он подробно посвятил в свои планы. Самому изменнику пришлось бы блуждать в Лабиринте месяц, но если он рассказал все сторожам, Самонту мог быть найден в один день.

В этот миг жрец испытал чувство, знакомое только людям, стоящим перед лицом смерти. Он перестал бояться, так как его мнимые страхи рассеялись перед действительными фактами. Он не только овладел собой, но даже почувствовал себя бесконечно выше всего живого... Через секунду ему не будет грозить уже никакая... никакая опасность!

Мысли пробегали в голове с быстротой и яркостью молнии. Он вспомнил всю свою жизнь: труды, опасности, надежды, вождения... Все это казалось ему таким ничтожным... Что пользы, если бы в данную минуту он был даже фараоном или владел всеми царскими сокровищами? Все это суета, прах. И что еще хуже — самообман. Одно только есть великое и истинное — смерть...

Тем временем люди с факелами, тщательно оглядывая все уголки, дошли уже до половины огромного зала. Жрец видел блестящие острия их копий и понял, что они колеблются, что подвигаются вперед со страхом и нерешительностью. В нескольких шагах за ними шла другая группа людей, освещенная одним факелом.

Самонту даже не чувствовал к ним ненависти. Он испытывал только любопытство: кто же мог его выдать? Но и это его не очень волновало, — он настойчиво искал ответа на вопрос: почему человек должен умереть и для чего он рождается? Ибо смерть превращает целую жизнь, даже если она была самой долгой и богатой из всех существовавших когда-либо жизней, в один мучительный миг.

Почему так? Зачем так?

Его мысли оборвал голос одного из вооруженных людей:

— Здесь никого нет и быть не может!

Передняя группа остановилась. Самонту почувствовал любовь к этим людям, которые не хотят идти дальше. Сердце у него забилося сильнее.

Медленно приближалась вторая группа. Два человека спорили.

— Как ваше преосвященство может даже предполагать, что сюда кто-то вошел? — говорил голос, дрожавший от возмущения. — Ведь все входы охраняются, особенно сейчас, а если кто-нибудь даже прокрался, то разве для того, чтобы умереть с голоду...

— Однако посмотри на Ликона, — отвечал второй голос. — Он спит, но как будто все время чувствует близость врага.

«Ликон? — подумал Самонту. — Ах, это тот грек, похожий на фараона... Что я вижу? Мефрес привел его сюда...»

В этот момент усыпленный грек бросился вперед и очутился перед колонной, за которой притаился Самонту. Вооруженные люди побежали за ним, их факелы осветили черную фигуру жреца.

— Кто здесь? — крикнул хриплым голосом начальник стражи.

Самонту вышел. Его появление было так неожиданно, что все отпрянули. Он мог бы пройти между этими остолбеневшими людьми, и никто не задержал бы его. Но жрец не думал уже о побеге.

— Ну что, ошибся мой ясновидец? — воскликнул Мефрес, протягивая руку. — Вот изменник!

Самонту подошел к нему, улыбаясь, и сказал:

— Я узнал тебя по этому возгласу, Мефрес. Когда ты не обманщик, ты — просто дурак.

Присутствующие остолбенели. Самонту продолжал со спокойной иронией:

— Впрочем, в данную минуту ты и обманщик и дурак. Обманщик, потому что пытаешься убедить сторожей Лабиринта, что этот прохвост обладает даром ясновидения, а дурак, потому что думаешь, что тебе поверят. Лучше скажи сразу, что и в храме Птаха есть точный план Лабиринта...

— Это ложь! — вскричал Мефрес.

— Спроси этих людей, кому они верят: тебе или мне? Я здесь потому, что нашел планы в храме Сета, а ты пришел по милости бессмертного Птаха, — закончил Самонту со смехом.

— Вяжите этого предателя и лжеца! — вскричал Мефрес.

Самонту сделал несколько шагов назад, быстро вынул из складок одежды пузырек и, поднеся его к губам, проговорил:

— Ты, Мефрес, до самой смерти останешься дураком... Ума у тебя хватает лишь тогда, когда дело касается денег.

Он поднес пузырек ко рту и упал на пол.

Вооруженные люди кинулись к нему, подняли, но он был уже мертв.

— Пусть останется здесь, как и другие... — сказал хранитель сокровищницы.

Тщательно заперев потайные двери, все покинули зал. Вскоре они вышли из подземелья.

Очутившись во дворе, достойный Мефрес велел своим жрецам приготовить конные носилки и тотчас же вместе со спящим Ликоном уехал в Мемфис.

Сторожа Лабиринта, ошеломленные необычайными происшествиями, то переглядывались между собой, то смотрели вслед свите Мефреса, исчезнувшей в желтом облаке пыли.

— Не могу поверить, — сказал верховный жрец-хранитель, — чтобы в наши дни нашелся человек, который мог пробраться в подземелье...

— Вы забываете, ваше преосвященство, что сегодня нашлось трое таких, — заметил один из младших жрецов, поглядев на него искоса.

— А ведь ты прав! — ответил верховный жрец. — Неужели боги помutilи мой разум? — прибавил он, потирая лоб и сжимая висевший на груди амулет.

— И двое из них бежали, — подсказал младший жрец, — комедиант Ликон и святой Мефрес.

— Почему же ты не сказал мне об этом там, в подземелье? — рассердился начальник.

— Я не знал, что так получится.

— Пропала моя голова!.. — вскричал верховный жрец. — Не начальником мне следовало здесь служить, а привратником. Предупреждали нас, что кто-то пытается проникнуть в Лабиринт, а я не принял никаких мер. Да и сейчас упустил двух самых опасных людей, людей, которые могут привести сюда кого им вздумается!.. Горе мне!..

— Не отчаивайся, — успокоил его другой жрец, — закон наш ясен. Отправь в Мемфис четверых или шестерых людей и снабди их приговорами. Остальное уже их дело.

— У меня помutilся разум, — повторял верховный жрец.

— Что случилось, то случилось, — прервал его с легкой иронией молодой жрец. — Одно ясно: изменники, которые не только попали в подземелье, но даже расхаживали по нему, как у себя дома, — должны умереть.

— Так назначьте шестерых из нашей охраны!

— Конечно! Надо с этим покончить! — подтвердили жрецы-хранители.

— Кто знает, не действовал ли Мефрес по соглашению с достойнейшим Херихором? — шепнул кто-то.

— Довольно! Если мы найдем Херихора в Лабиринте, мы и с ним поступим по закону, — ответил верховный жрец. — Но подозревать кого-нибудь, не имея улики, мы не можем. Пусть писцы приготовят приговоры Мефресу и Ликону, пусть наши люди поспешат за ними следом, а стража пусть удвоит караулы. Надо осмотреть также все входы в здание и узнать, каким образом проник Самонту. Хотя я уверен, что он не скоро найдет подражателей.

Спустя несколько часов шесть человек отправились в Мемфис.

Уже 18 паопи в Египте воцарился хаос. Сообщение между Нижним и Верхним Египтом было прервано, торговля прекратилась, по Нилу плавали только сторожевые суда, сухопутные дороги были заняты войсками, направлявшимися к городам, в которых находились знаменитые храмы. На полях работали только крестьяне жрецов, в имениях же знати, номархов и особенно фараона лен был не убран, клевер не скошен, виноград не собран. Крестьяне ничего не делали, гуляли, пели песни, ели, пили и грозили то жрецам, то финикиянам.

В городах лавки были заперты, и незанятые ремесленники и работники целыми днями толковали о государственных реформах. Это печальное явление, уже не новое в Египте, на этот раз проявлялось в столь угрожающих размерах, что сборщики податей и даже судьи стали прятаться, тем более что полиция смотрела на все происходившее сквозь пальцы.

Между прочим, обращало на себя внимание обилие еды и вина. В трактирах и харчевнях, особенно финикийских, в самом Мемфисе, а также в провинции, мог есть и пить кто хотел и сколько хотел за очень низкую плату или совсем даром.

Говорили, что фараон устраивает для своего народа пиршество, которое будет продолжаться целый месяц. Так как сообщение было затруднено, а местами даже прервано, то один город не знал, что творится в другом. И только фараону, а еще лучше жрецам было известно общее положение в стране.

Положение это характеризовалось прежде всего расколом между Верхним, или Фиванским, и Нижним, или Мемфисским, Египтом. В Фивах преобладала партия жрецов, в Мемфисе — партия фараона. В Фивах говорили, что Рамсес XIII сошел с ума и хочет продать Египет финикиянам; в Мемфисе утверждали, что жрецы хотят отравить фараона и наводнить страну ассирийцами.

Простой народ как на севере, так и на юге симпатизировал Рамсесу. Но народ этот представлял собою пассивную и неустойчивую силу. Когда говорил агитатор правительства, крестьяне готовы были броситься на храмы и бить жрецов, а когда проходила процессия — падали ниц и дрожали, слушая предсказания о каких-то бедствиях, угрожающих Египту еще в этом месяце.

Перепуганная знать и номархи почти все съехались в Мемфис, умоляя фараона защитить их против бунтующих крестьян. Но так как Рамсес XIII рекомендовал им терпение и не усмирял бунтующих, то магнаты вступили в переговоры со жреческой партией.

Правда, Херихор молчал или тоже рекомендовал терпение, но другие жрецы доказывали вельможам, что Рамсес XIII — сумасшедший, и намекали на необходимость отстранить его от власти.

В самом Мемфисе бок о бок существовало два лагеря: безбожники пьянствовали, шумели и забрасывали грязью стены храмов и даже статуи богов, а верующие, преимущественно старики и женщины, молились на улицах, предвещая во всеуслышание всякие несчастья и моля богов о спасении. Безбожники что ни день совершали какой-нибудь незаконный поступок, среди благочестивых же ежедневно исцелялся какой-либо больной или калека. Но, странное дело, и те и другие, несмотря на разгоревшиеся страсти, мирно уживались друг с другом и не прибегали ни к каким насильственным действиям. Это происходило оттого, что те и другие действовали под руководством и по плану, исходившему из высших сфер.

Фараон, не собрав еще всех воинских частей и не располагая всеми уликами против жрецов, воздерживался от сигнала к решительному нападению на храмы; жрецы же, казалось, выжидали чего-то. Было видно, однако, что сейчас они уже не чувствуют себя такими слабыми, как в первые дни после голосования делегатов. Да и сам Рамсес XIII задумывался, когда ему со всех сторон сообщали, что крестьяне в жреческих поместьях почти совсем не участвуют в смуте и работают.

«Что это значит? — спрашивал себя фараон. — Думают ли они, что я не посмею тронуть храмы, или у них есть какие-то неизвестные мне средства защиты?»

Девятнадцатого паопи полиция довела до сведения фараона, что прошлой ночью народ начал разрушать стены, окружавшие храм Гора.

— Это вы им приказали? — спросил фараон начальника.

— Нет, это они сами...

— Сдерживайте их... Не очень строго, но сдерживайте, — сказал фараон. — Через несколько дней они могут делать все, что им заблагорассудится. А пока пусть не прибегают к насилию.

Рамсес XIII, как полководец и победитель у Содовых озер, знал, что раз толпа двинется на штурм, ее уже ничто не удержит, — она должна разбить противника или сама быть разбитой. Хорошо, если храмы не окажут сопротивления, а если они захотят защищаться?..

В таком случае народ разбежится, придется вместо него послать войска, которых было, правда, много, но, по расчетам фараона, недостаточно. Кроме того, Хирам еще не вернулся из Бубаста с письмами, уличавшими Мефреса и Херихора в измене. А главное, сочувствовавшие фараону жрецы обещали оказать ему помощь лишь 23 паопи. Как же предупредить их в стольких храмах, удаленных друг от друга на большие расстояния? Простая осторожность повелевала избегать с ними сношений, которые могли бы их выдать. Поэтому Рамсес XIII не желал преждевременного нападения народа на святилища.

Между тем, вопреки желанию фараона, смута росла. У храма Исиды было убито несколько богомольцев, пророчивших Египту бедствия или чудесным способом исцеленных. У храма Птаха чернь бросилась на процессию, избива жрецов и изломала священную ладью, в которой разъезжала статуя бога. Почти одновременно явились гонцы из городов Сехема и Она, сообщавшие, что мятежники пытались вторгнуться в храмы, а в Херау они даже ворвались и осквернили святилище.

Вечером, чуть ли не украдкой, явилась к фараону депутация жрецов. Почтенные пророки с плачем упали к ногам повелителя, умоляя защитить богов и храмы.

Это неожиданное обстоятельство преисполнило сердце Рамсеса большой радостью и еще большей гордостью. Он велел делегатам встать и милостиво ответил, что его полки готовы оберегать храмы, если только будут туда пропущены.

— Я не сомневаюсь, — заявил он, — что сами разрушители отступят, увидав, что прибежища богов заняты войсками.

Делегаты колебались.

— Тебе известно, — сказал старейший из них, — что войскам нельзя входить даже за ограду храма. Нам придется спросить мнения верховных жрецов.

— Пожалуйста, спросите, — сказал фараон. — Я не умею творить чудеса и из моего дворца не могу защитить отдаленные святыни.

Делегаты с огорчением ушли от фараона, который после их ухода собрал тайный совет. Рамсес был уверен, что жрецы подчинятся его воле, ему и в голову не приходило, что делегация — не что иное, как комедия, придуманная Херихором, чтобы ввести его в заблуждение.

Когда в комнате фараона собрались гражданские и военные сановники, Рамсес, преисполненный гордости, взял слово.

— Я хотел, — сказал он, — занять мемфисские храмы двадцать третьего. Считаю, что лучше сделать это завтра.

— Наши войска еще не собрались, — сказал Тутмос.

— И у нас нет еще в руках писем Херихора к Ассирии, — прибавил верховный пиисец.

— Это не важно, — ответил фараон, — пусть народ завтра узнает, что Херихор и Мефрес изменники, а номархам и жрецам мы предъявим доказательства через несколько дней, когда Хирам вернется из Бубаста.

— Новый твой приказ в значительной степени меняет первоначальный план, — сказал Тутмос. — Лабиринта мы завтра не займем. А если в Мемфисе храмы решатся оказать сопротивление, то у нас нет даже таранов, чтобы пробивать ворота...

— Тутмос, — ответил фараон, — мои приказы не нуждаются в разъяснениях. Но я хочу вас убедить, что правильно оцениваю ход событий... Если народ, — продолжал он, — уже сегодня нападет на храмы, то завтра он захочет ворваться в них. Надо его поддержать, иначе он будет отбит, и через три дня у него, пожалуй, пройдет охота к решительным действиям. Если жрецы уже сегодня посылают к нам делегацию, очевидно, они слабы. Между тем через несколько дней число их сторонников в народе может возрасти. Энтузиазм и страх — как вино в кувшине: чем больше его разливают, тем его становится меньше, и только тот может напиться, кто вовремя подставит свой кубок. Поскольку народ сегодня готов к нападению, а враг запуган, воспользуемся этим, ибо, как я говорю, счастье может нас покинуть, а то и обратиться против нас.

— И продовольствие подходит к концу, — заметил казначей. — Через три дня все должны приступить к работе, потому что больше кормить их даром мы не сможем.

— Вот видишь, — обратился фараон к Тутмосу. — Я сам отдал приказ начальнику полиции, чтобы он сдерживал народ. Но если сдержать его невозможно, то надо воспользоваться воодушевлением. Опытный мореплаватель не воюет с течением или ветром, а предпочитает нестись по их воле.

В этот момент вошел гонец с донесением, что народ нападает на ииоземцев: греков, сирийцев и особенно финикиян. Разгромлено много лавок и несколько человек убито.

— Вот вам доказательство, — вскричал возмущенный фараон, — что толпу не следует отвлекать от раз намеченной цели! Завтра пусть войска будут поблизости от храмов. И пусть немедленно займут их, если народ начнет врываться туда или отступать под натиском жрецов... Правда, виноград следует снимать в месяце паопи, но найдется ли садовник, который оставит гроздьа на лозах, если они поспеют месяцем раньше?

Повторяю — я хотел задержать движение толпы до окончания нашей подготовки, но раз это ее охладит — воспользуемся попутным ветром и распустим паруса! Завтра Херихор и Мефрес должны быть арестованы и приведены во дворец, а с Лабиринтом покончим в несколько дней.

Члены совета признали, что решение фараона правильно, и разошлись, поражаясь его решительности и мудрости. Даже военачальники заявили, что лучше воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чем копить силы к тому времени, когда благоприятный случай минет.

Была уже ночь. Прибежал второй гонец из Мемфиса с донесением, что полиции удалось отстоять иноземцев. Но народ разъярен, и неизвестно, до чего дойдет завтра.

Теперь гонцы являлись один за другим. Одни приносили вести, что многочисленные толпы крестьян, вооруженных топорами и дубинками, направляются со всех сторон к Мемфису. Другие сообщали, что в окрестностях Пеме, Сехема и Она население убегает в поля, крича, что завтра будет конец света. Третий гонец привез от Хирама извещение о скором прибытии его в Мемфис. Четвертый доносил, что полки жрецов тайком пробираются к Мемфису, а из Верхнего Египта двигаются мощные толпы народа и солдаты, враждебно настроенные против финикийян и даже против его святейшества.

«Пока те подойдут, — подумал фараон, — верховные жрецы будут уже у меня в руках и подоспеют полки Нитагора. Святые опоздали на несколько дней...»

Кроме того, сообщали, что солдаты поймали переодетых жрецов, пытавшихся проникнуть во дворец фараона, наверно, с недобрыми намерениями.

— Пусть приведут их ко мне, — ответил, смеясь, фараон, — хочу видеть тех, кто злоумышлял против меня!

Около полуночи досточтимая царица Никотриса попросила аудиенции у его святейшества. Царица-мать была бледна и вся дрожала. Она велела офицерам выйти из комнаты фараона и, оставшись с ним наедине, сказала со слезами:

— Сын мой, у меня очень дурные предзнаменования.

— Я предпочел бы услышать точные сведения о силе и планах моих врагов.

— Сегодня вечером статуя божественной Исиды в моей молельне повернулась лицом к стене, а вода в священной цистерне покраснела, как кровь...

— Это доказывает, — ответил фараон, — что у нас во дворце есть

предатели. Но они не так уж; опасны, если умеют только загрязнять воду и поворачивать статуи.

— Вся наша прислуга, весь народ убежден, что если твои войска вступят в храм, то на Египет обрушится великое бедствие.

— Еще большее бедствие, — ответил фараон, — это наглость жрецов. Допущенные моим вечно живущим отцом во дворец, они думают теперь, что стали его хозяевами... Но, боги мои, при чем же я тогда останусь? Неужели я должен отказаться от своих царских прав?!

— Но, по крайней мере, — сказала царица, — будь великодушен... Да, права свои ты должен защищать. Но не позволяй твоим солдатам совершать насилия над священными прибежищами богов или оскорблять жрецов. Помни, что милосердные боги ниспосылают Египту радость, а жрецы, несмотря на свои ошибки, — у кого их нет? — оказывают неоценимые услуги нашей стране... Подумай только, если ты их разгонишь и ввергнешь в нищету, ты уничтожишь мудрость, возвысившую наше государство над всеми другими.

Фараон взял мать за обе руки, поцеловал ее и ответил, смеясь:

— Женщины всегда преувеличивают. Ты, матушка, говоришь со мной так, как если бы я был предводителем диких гиксосов, а не фараоном. Разве я враг жрецам? Разве я ненавижу их мудрость? Хотя бы даже такую бесплодную, как наблюдение за звездами, которые и без нас движутся по небу, а пользы от этого ни на дебен. Меня раздражает не их ум или благочестие, а нищета Египта, который истощается от голода и боится малейшей угрозы Ассирии. Жрецы же, несмотря на свою мудрость, не только не хотят помочь мне в моих планах, но оказывают сопротивление самым наглым образом. Позволь же мне убедить их, что не они, а я хозяин моего наследства. Я не мог бы мстить смирившимся, но собственной ногой раздавлю гордецов! Они это знают, но еще не верят и, не имея настоящих сил, хотят запугать меня, предвещая какие-то бедствия. Это их последнее оружие и прибежище... Когда же они поймут, что я недоступен страху, они смирятся. И тогда не падет ни один камень с их храмов, ни одного перстня не лишатся их сокровищницы. Знаю я этих людей!.. Сегодня делают важный вид, потому что я далеко от них. Но когда я занесу над ними свой бронзовый кулак, они упадут ниц, и весь этот хаос окончится миром и всеобщим благополучием.

Царица обняла ноги фараона и ушла успокоенная, все же на прощанье заклиная Рамсеса, чтобы он относился почтительно к богам и был великодушен к их слугам.

После ухода матери фараон призвал Тутмоса.

— Итак, значит, завтра, — сказал он ему, — мои войска займут храмы. Объяви, однако, военачальникам, пусть они знают, что я хочу сохранить святые прибежища нетронутыми и чтобы никто не поднял руки на жрецов.

— Даже на Мефреса и Херихора? — спросил Тутмос.

— Даже на них. Они будут достаточно наказаны, когда, отстраненные от всех своих постов, поселятся с мудрецами в храмах, чтобы беспрепятственно молиться и учиться мудрости.

— Будет так, как ты приказываешь, хотя...

Рамсес поднял кверху палец, давая понять, что не хочет слушать никаких возражений. Затем, чтобы переменить тему разговора, проговорил, улыбаясь:

— Помнишь, Тутмос, маневры? Прошло уже два года. Когда я в тот раз возмущался дерзостью и алчностью жрецов, мог ли ты подумать, что я так быстро расквитаюсь с ними? О бедная Сарра! О мой маленький сын! Какой он был красивый!

Слеза скатилась по лицу фараона.

— Право, — сказал он, — если бы я не был сыном богов, милосердных и великодушных, врагам моим пришлось бы завтра пережить тяжелые часы... Сколько они мне причинили унижений! Сколько раз по их вине слезы застилали мне глаза!

Двадцатого паопи Мемфис имел торжественный, праздничный вид. Приостановились все дела, и даже носильщики не носили тяжестей. Все население высыпало на площади и улицы или толпилось вокруг храмов, главным образом у капища Птаха, наиболее укрепленного. Там собрались духовные и светские сановники с Херихором и Мефресом во главе. Неподалеку от храмов войска стояли вольным строем для того, чтобы солдаты могли переговариваться с народом.

Среди простонародья и солдат ходили многочисленные разносчики с корзинами хлеба, с кувшинами и кожаными мехами с вином. Угощали всех даром. Если же кто спрашивал, почему не берут платы, некоторые отвечали, что фараон угощает своих подданных. Другие же говорили:

— Ешьте и пейте, правоверные египтяне! Кто знает, доживем ли мы до завтрашнего утра.

Это были разносчики, нанятые жрецами.

Здесь шныряло много всяких подосланных лиц. Одни убеждали своих слушателей, что жрецы бунтуют против фараона и даже хотят отравить его за то, что он обещал народу седьмой день отдыха. Другие нашептывали, что фараон сошел с ума и вступил в заговор с иноземцами на погибель храмам и Египту. Первые подстрекали народ напасть на храмы, где жрецы и номархи совещаются о том, как больше поприжать работников и крестьян. Вторые высказывали опасение, что если нападут на храмы, то случится великое бедствие...

Неизвестно откуда у стен храма Птаха появилось несколько толстенных бревен и груды камней.

Степенные мемфисские горожане, расхаживавшие в толпе, ни на минуту не сомневались, что народное волнение вызвано искусственно. Мелкие писцы, полицейские, офицеры рабочих полков и переодетые десятники даже не скрывали ни своего официального положения, ни того, что хотят заставить народ завладеть храмами. С другой стороны, парасхиты, нищие храмовые служки и низшие жрецы, хотя и старались не выдать себя, однако каждый видел, что и они подстрекают народ к насилию.

Горожане были удивлены таким поведением жреческой партии, и вчерашний энтузиазм народа начинал остывать. Родовитые египтяне не могли понять, в чем тут дело и кто в действительности вызывает

беспорядки. Хаос увеличивался благодаря юродивым святошам, которые, бегая нагишом по улицам, терзали до крови свое тело и оглашали воздух воплями:

— Горе Египту! Безбожие перешло всякую меру, и близится час суда! Боги покарают гордыню беззакония!

Солдаты держали себя спокойно, ожидая, пока народ начнет врываться в храмы. Во-первых, такой приказ пришел из царского дворца; во-вторых, офицеры опасались засады в храмах и предпочитали, чтобы погибал простой народ, а не солдаты. Солдатам и так предстояло много дела.

Но толпа, несмотря на призывы агитаторов и раздаваемое даром вино, колебалась; крестьяне думали, что начнут ремесленники, ремесленники — что крестьяне, и все чего-то ждали.

Вдруг около часа пополудни из переулков хлынула к храму Птаха пьяная толпа, вооруженная топорами и дубинами. Это были рыбаки, греческие матросы, пастухи, ливийские бродяги, даже каторжники из рудников Турры. Во главе шел человек исполинского роста с факелом. Он остановился у ворот храма и громовым голосом обратился к народу:

— А знаете вы, правоверные, о чем совещаются тут верховные жрецы и номархи? Они хотят заставить его святейшество фараона Рамсеса лишить работников еще одной ячменной лепешки в день, а крестьян обложить новыми податями по драхме на душу. Верьте мне, говорю вам, вы поступаете глупо и подло, когда стоите здесь сложа руки. Пора наконец выловить храмовых крыс и отдать их в руки фараона, господина нашего, против которого сговариваются безбожники. Если нашему повелителю придется смириться перед советом жрецов, кто тогда заступится за честной народ?

— Он правильно говорит! — раздались голоса в толпе.

— Фараон велит дать нам седьмой день отдыха!

— И наделить нас землей!

— Он всегда сочувствовал простому народу! Помните, как два года назад он освободил крестьян, отданных под суд за нападение на усадьбу еврейки?

— Я сам видел, как он тогда избил писца, взымавшего с крестьян незаконные поборы.

— Да живет вечно повелитель наш, Рамсес Тринадцатый, покровитель угнетенных!

— Смотрите! — послышался голос издалека. — Скотина сама возвращается с пастбищ, как будто близится вечер...

— Какое нам дело до скотины! Валяй на жрецов!

— Эй вы! — крикнул исполин у ворот храма. — Лучше откройте нам добром; мы хотим знать, о чем совещаются жрецы с номархами.

— Откройте, а то мы высадим ворота!

— Странное дело, — говорили поодаль, — птицы садятся на деревья, словно готовятся ко сну. А ведь сейчас только полдень...

— В воздухе чуеться что-то недоброе...

— Боги! Уж ночь надвигается, а я еще не нарвала салата к обеду, — спохватилась какая-то девушка.

Но все эти замечания заглушил крик пьяной банды и стук бревен, ударяющих в бронзовые ворота храма.

Если б толпа меньше глазела на громил, она успела бы заметить, что в природе происходит что-то необыкновенное: солнце сияло, на небе не было ни единой тучки, но, несмотря на это, яркий день стал меркнуть, и повеяло холодом.

— Давайте еще бревно! — кричали осаждавшие храм. — Ворота поддаются!

— Ну-ка крепче! Еще раз!

Стоявшая кругом толпа ревела, как буря. Кое-где отрывались от нее небольшие группы и присоединялись к осаждающим, пока, наконец, вся она не придвинулась к храму.

Несмотря на полдень, тьма сгущалась. В садах храма Птаха запели петухи. Но ярость толпы была уже так велика, что мало кто замечал эти перемены.

— Смотрите, — взывал какой-то нищий, — вот приближается день суда. Боги... — Он хотел продолжать, но, получив удар дубинкой по голове, упал на месте.

На стены храма стали карабкаться голые, но вооруженные фигуры. Офицеры отдали команду приготовиться к атаке в уверенности, что скоро придется поддержать штурм толпы.

— Что это значит? — перешептывались солдаты, поглядывая на небо. — Нет ни одной тучки, а кругом — точно гроза?

— Бей! Ломай! — кричали у ворот храма.

Удары бревен в ворота участились.

В эту минуту на террасе, возвышавшейся над воротами, появился Херихор, окруженный свитой жрецов и светских сановников. Верховный жрец был в золотом облачении и в митре Аменхотепа, обвитой царским уреем.

Херихор посмотрел на необозримую толпу народа, окружавшую храм, и, обращаясь к ней, сказал:

— Кто бы вы ни были, истинно верующие или язычники, именем богов призываю вас оставить храм...

Шум толпы внезапно стих, и слышны были только удары бревен о бронзовые створы, но вскоре и они прекратились.

— Откройте ворота! — крикнул снизу великан. — Мы хотим проверить, не замышляете ли вы там измены против нашего государя!

— Сын мой! — ответил Херихор. — Пади ниц и моли богов, чтобы они простили тебе кощунство.

— Это ты моли богов, чтобы они тебя защитили! — крикнул предводитель толпы и, схватив камень, бросил его вверх, метя в жреца.

Из окна пилона брызнула в лицо великана тонкая струйка какой-то жидкости. Он зашатался, замахал руками и упал.

У стоявших поблизости вырвался крик ужаса; задние ряды, не зная, что случилось, ответили на него смехом и проклятиями.

— Ломайте ворота! — кричали сзади, и град камней полетел в сторону Херихора и его свиты.

Херихор поднял обе руки. Когда же толпа снова стихла, верховный жрец громко воскликнул:

— Боги! Под вашу защиту отдаю святыне храмы, против которых выступают изменники и святотатцы.

Внезапно где-то над храмом прозвучал голос, который, казалось, не мог принадлежать человеку:

— Отвращаю лик свой от проклятого народа, и да низойдет на землю тьма!

И свершилось что-то ужасное. С каждым словом солнце утрачивало свою яркость... При последнем же стало темно, как ночью. В небе зажглись звезды, а вместо солнца стоял черный диск в кольце огня.

Неистовый крик вырвался из многих тысяч грудей. Штурмовавшие ворота бросили бревна, крестьяне пали наземь...

— Настал день суда и смерти! — послышался стонущий голос в конце улицы.

— Боги! Пощадите! Святой муж, отврати от нас беду! — завопила толпа.

— Горе солдатам, исполняющим приказание безбожных начальников! — возгласил громкий голос из храма.

В ответ на это весь народ пал ниц, а в двух полках, стоявших перед храмом, возникло замешательство. Ряды расстроились, солдаты бросили оружие и без памяти кинулись к реке. Одни натыкались в темноте на стены домов и разбивали головы, другие падали на мостовую под ноги своих же

товарищей. Спустя несколько минут вместо сомкнутых колонн на площади остались лишь брошенные в беспорядке копья и секиры, а у входов в переулки лежали груды раненых и трупов.

Ни одно проигранное сражение не кончалось еще такой катастрофой.

— Боги! Боги! — стонал и плакал народ. — Пощадите невинных!

— Осирис! — воскликнул с террасы Херихор. — Яви лик свой несчастному народу.

— В последний раз внимлю я мольбе моих жрецов, ибо я милосерд, — ответил неземной голос из храма.

В ту же минуту тьма рассеялась, и солнце обрело прежнюю яркость.

Новый крик, новые Вопли, новые молитвы прозвучали в толпе. Опьяненные радостью люди приветствовали воскресшее солнце. Незнакомые падали друг другу в объятия. И все на коленях ползли к храму приложиться к его благословенным стенам.

Над воротами стоял достойнейший Херихор, устремив взор к небесам; двое жрецов поддерживали его святые руки, которыми он разогнал тьму и спас народ от гибели.

Такие же сцены происходили по всему Нижнему Египту. Во всех городах 20 паопи народ с утра собирался у храмов. Во всех городах около полудня толпа штурмовала священные ворота. Повсюду около часу дня над воротами появлялся верховный жрец храма с причтом, проклинал безбожников и низводил на землю тьму. Когда же толпа разбегалась в смятении или падала ниц, верховные жрецы молились Осирису, чтоб он явил свой лик, и яркость дня снова возвращалась на землю.

Таким образом, благодаря затмению солнца премудрая жреческая партия уже и в Нижнем Египте поколебала авторитет Рамсеса XIII. За несколько минут правительство фараона, само того не зная, очутилось на краю пропасти. Спасти его мог только великий ум и точное знание положения. Но этого-то и не доставало в царском дворце, где в самую трудную минуту начал всевластно господствовать случай.

Двадцатого паопи фараон встал с восходом солнца и, чтобы быть поближе к театру военных действий, перебрался из главного дворца в небольшую усадьбу, расположенную недалеко от Мемфиса. С одной стороны усадьбы находились казармы азиатских войск, с другой — павильон Тутмоса и его супруги, красавицы Хеброн. Рамсеса сопровождали туда верные ему вельможи и первый гвардейский полк, к которому фараон питал безграничное доверие.

Рамсес XIII был в прекрасном расположении духа. Он принял ванну, с аппетитом позавтракал и стал выслушивать гонцов, каждые четверть часа

прибегавших из Мемфиса. Их сообщения были однообразны до скуки: верховные жрецы и несколько номархов с Херихором и Мефресом во главе заперлись в храме Птаха. Армия преисполнена бодрости, народ волнуется. Все благословляют фараона и ожидают приказа к нападению.

Когда в девять часов четвертый гонец повторил то же самое, фараон нахмурился.

— Чего они ждут? — спросил он. — Пускай немедленно начинают штурм.

Гонец ответил, что еще не собрались вожаки толпы, которая должна напасть на храм и выломать бронзовые ворота.

Это объяснение не понравилось фараону. Он покачал головой и отправил в Мемфис офицера с приказанием ускорить штурм.

— Почему они медлят? — сказал он. — Я думал, что мои солдаты разбудят меня известием о взятии храмов... В подобных случаях быстрота действий — непременное условие успеха.

Офицер уехал, но у храма Птаха ничего не изменилось.

Народ ожидал чего-то, а главарей все еще не было на месте.

Можно было подумать, что чья-то чужая воля задерживает исполнение приказов.

В десять часов утра прибыли носилки с царицей Никотрисой. Досточтимая царица-мать почти насильно ворвалась в комнату сына и со слезами упала к его ногам.

— Что случилось, матушка? — спросил Рамсес, с трудом скрывая раздражение. — Ты забыла, что женщинам не место в лагере?

— Сегодня я не уйду отсюда и не оставлю тебя ни на минуту! — воскликнула она. — Правда, ты сын Исиды и пользуешься ее покровительством. Но, несмотря на это, я умру от беспокойства.

— А что мне угрожает? — спросил фараон, пожимая плечами.

— Жрец, наблюдающий звезды, — ответила со слезами царица, — сказал одной из прислужниц, что если сегодня... если этот день пройдет для тебя благополучно, ты будешь жить и царствовать сто лет.

— Вот как? Где же этот человек, так хорошо осведомленный о моей судьбе?

— Бежал в Мемфис.

Фараон задумался и сказал, улыбнувшись:

— Как у Содовых озер мы не боялись стрел и камней ливийцев, так сегодня нам не страшны угрозы жрецов... Будь покойна, матушка... Пустая болтовня, даже жрецов, менее опасна, чем стрелы и камни.

Из Мемфиса прибежал новый гонец с донесением, что все обстоит

благополучно, но... толпа еще не выступила...

На красивом лице фараона появились признаки гнева.

Тутмос успокоил повелителя:

— Народ — не армия. Он не умеет собираться в назначенный час и не слушается команды. Если бы полкам было поручено занять храмы, они были бы уже там...

— Ты забыл, — заметил Рамсес, — что по моему приказу армия должна была не нападать, а защищать храмы от толпы.

— Из-за этого и запаздывают действия, — не без раздражения ответил Тутмос.

— Вот они — царские советники! — вырвалось у царицы. — Фараон поступает мудро, беря под свою защиту богов, а вы поощряете его к насилию!

Кровь ударила Тутмосу в голову. К счастью, адъютант вызвал его из комнаты и сообщил, что у ворот задержан пожилой человек, который желает говорить с его святейшеством.

— У нас сегодня, — ворчал адъютант, — каждый хочет попасть прямо к фараону, как будто фараон хозяин харчевни...

Тутмос подумал, что про Рамсеса XII никто не посмел бы так сказать... Но сделал вид, что не заметил этого.

Пожилым человеком, которого задержала стража, оказался финикийский князь Хирам. На нем был запыленный солдатский плащ; видно было, что он устал и раздражен.

Тутмос велел пропустить его, и когда они остались одни в саду, сказал ему:

— Я думаю, достойнейший, что, пока ты примешь ванну и переоденешься, я испрошу для тебя аудиенцию у его святейшества.

Хирам сдвинул седые брови, глаза его еще сильнее налились кровью.

— После того, что я видел, — ответил он резко, — я могу обойтись без аудиенции.

— У тебя ведь с собой письма верховных жрецов к ассирийцам?

— На что вам эти письма, когда вы помирились со жрецами?

— Что ты говоришь, достойнейший? — удивился Тутмос.

— Я знаю, что говорю! — ответил Хирам. — Вы взяли десятки тысяч талантов у финикийян будто бы для того, чтобы освободить Египет от власти жрецов, а теперь грабите нас и убиваете! Посмотри, что творится от моря до первых порогов: повсюду ваша чернь преследует финикийян, как собак, — и это приказ жрецов...

— Ты с ума сошел, финикийянин! В эту самую минуту наш народ

осаждают храм Птаха в Мемфисе.

Хирам махнул рукой.

— Вам не взять его! — ответил он. — Вы обманываете нас или сами обмануты. Вы предполагали захватить Лабиринт и его сокровищницу двадцать третьего паопи. А тем временем растрчиваете силы у храма Птаха, а дело с Лабиринтом у вас пропало... Что тут творится? Где тут рассудок? — продолжал, волнуясь, финикийнин. — Зачем штурмовать пустые здания? Это может привести только к тому, что будет усилена охрана Лабиринта!

— Возьмем и Лабиринт! — воскликнул Тутмос.

— Ничего вы не возьмете! Ничего! Лабиринт мог взять только один человек, которому помешает ваш сегодняшний провал в Мемфисе.

Тутмос остановился посреди аллеи.

— Так скажи же, в чем дело? — спросил он Хирама.

— В беспорядке, который у вас тут царит. В том, что вы уже не правительство, а кучка офицеров и вельмож, которых жрецы гонят, куда хотят. Вот уже три дня во всем Нижнем Египте царит такое смятение, что чернь громит нас, финикийн, ваших единственных друзей. А почему? Потому что бразды правления выпали из ваших рук и уже подхвачены жрецами.

— Ты говоришь так, потому что не знаешь положения, — ответил Тутмос. — Жрецы восстали и натравливают народ на финикийн, но власть в руках фараона, и все происходит по его приказу.

— И сегодняшний штурм храма Птаха? — спросил Хирам.

— Да, — сказал Тутмос, — я сам присутствовал на тайном совете, на котором фараон отдал приказ завладеть храмами сегодня вместо двадцать третьего.

— Ну, — воскликнул Хирам, — тогда я заявляю тебе, начальник гвардии, что вы пропали! Ибо мне достоверно известно, что сегодняшний штурм был решен на заседании верховных жрецов и номархов, состоявшемся в храме Птаха тринадцатого паопи.

— Зачем же им было договариваться о нападении на самих себя? — спросил с насмешкой Тутмос.

— Должно быть, это им нужно. А что они лучше ведут свои дела, чем вы, — в этом я убедился.

Дальнейший разговор прервал адъютант, позвавший Тутмоса к фараону.

— Ах да! Чуть не забыл. Ваши солдаты задержали жреца Пентуэра, который хочет сообщить фараону что-то важное, — сказал Хирам.

Тутмос схватился за голову и тотчас же послал адъютанта разыскать Пентуэра. Затем пошел к фараону и, вернувшись, предложил финикиянину следовать за ним.

Войдя к фараону, Хирам застал там царицу Никотрису, главного казначея, верховного писца и нескольких военачальников. Рамсес XIII нервно ходил по комнате.

— Вот оно — несчастье фараона и Египта! — воскликнула царица, указывая на финикиянина.

— Высокочтимая государыня, — ответил, не смутившись и кланяясь ей, Хирам, — время покажет, кто был верным, а кто дурным слугой фараона.

Рамсес XIII вдруг остановился перед Хирамом.

— У тебя с собой письма Херихора к Ассирии?

Финикиянин достал из-под одежды пакет и молча отдал его фараону.

— Вот это мне и нужно было! — воскликнул, торжествуя, фараон. — Надо немедленно объявить народу, что верховные жрецы предали государство.

— Сын мой! — взмолилась царица. — Тенью отца, нашими богами, заклинаю тебя — воздержись на несколько дней с этим объявлением. Надо быть очень осторожным с дарами финикиян.

— Государь, — вставил Хирам, — можешь даже сжечь эти письма. Для меня они не имеют никакой ценности.

Фараон подумал и спрятал пакет на груди.

— Ну, что ты слышал в Нижнем Египте? — спросил он Хирама.

— Повсюду громят финикиян, — ответил тот. — Дома наши разрушают, имущество расхищают, и убито уже много людей.

— Я слышал! Это дело жрецов.

— Лучше скажи, мой сын, что это возмездие финикиянам за их безбожие и алчность, — вмешалась царица.

Не глядя на царицу, Хирам продолжал:

— Вот уже три дня, как в Мемфис прибыл начальник полиции Бубаста с двумя помощниками. Они напали на след убийцы и мошенника Ликона...

— Воспитанного в финикийских храмах, — съязвила царица Никотриса.

— Ликона, — продолжал Хирам, — которого верховный жрец Мефрес похитил у полиции и суда... Ликона, который в Фивах, выдавая себя за ваше святейшество, бегал голым по саду, как сумасшедший.

— Что ты говоришь? — вскричал фараон.

— Спросите, государь, у вашей досточтимой царицы-матери. Она его

видела, — ответил Хирам.

Рамсес растерянно посмотрел на мать.

— Да, — сказала царица, — я видела этого негодяя, но не говорила тебе ничего, чтобы не огорчать тебя. Но кто докажет, что Ликон был подослан верховными жрецами; это могли с таким же успехом сделать финикияне...

Хирам иронически улыбнулся.

— Мать! Мать! — с горечью воскликнул Рамсес. — Неужели твоему сердцу жрецы ближе, чем я?

— Ты мой сын и господин, дороже которого у меня нет никого на свете! — с пафосом воскликнула царица. — Но я не могу допустить, чтобы чужой человек, язычник, клеветал на священную касту жрецов, от которой мы оба ведем род! О Рамсес! — вскричала она, падая на колени. — Прогони дурных советников, толкающих тебя на осквернение храмов, на оскорбление преемника твоего деда Аменхотепа! Еще есть время примириться... чтобы спасти Египет...

Вдруг в комнату вошел Пентуэр в разодранной одежде.

— Ну, а ты что скажешь? — спросил с необычайным спокойствием фараон.

— Сегодня, может быть, сейчас, — ответил, волнуясь, жрец, — произойдет солнечное затмение...

Фараон даже отпрянул от неожиданности.

— А какое мне дело до солнечного затмения? Тем более в такую минуту?

— Господин, — ответил Пентуэр, — я тоже так думал, пока не прочитал в древних летописях описание затмения... Это такое грозное, устрашающее явление, что необходимо предупредить о нем весь народ.

— Непременно, — вставил Хирам.

— Почему же ты раньше не оповестил нас? — спросил жреца Тутмос.

— Два дня меня держали в темнице солдаты... Народ мы уже не успеем предостеречь. Но сообщите, по крайней мере, караулам при дворце, чтобы хоть они не поддались переполоху.

Фараон хлопнул в ладоши.

«Какая неудача», — прошептал он, а затем сказал вслух:

— Как же это произойдет и когда?..

— День превратится в ночь... — ответил жрец. — Это продлится столько времени, сколько нужно, чтоб пройти пятьсот шагов. А начнется в полдень. Так сказал мне Менес.

— Менес? — повторил фараон. — Мне знакомо это имя...

— Он писал тебе об этом, государь! Так объявите же войскам!..

Немедленно прозвучали рожки. Гвардия и азиаты построились в полном вооружении, и фараон, окруженный штабом, сообщил солдатам о затмении, прибавив, чтоб они не боялись, ибо тьма скоро исчезнет и он сам будет с ними.

— Живи вечно! — возгласили стройные шеренги.

Одновременно было отправлено несколько всадников в Мемфис.

Военачальники стали во главе колонн, фараон задумчиво шагал по двору, сановники тихонько переговаривались с Хирамом. Царица же, оставшись одна, пала ниц перед статуей Осириса.

Был второй час, когда солнечный свет и в самом деле стал тускнеть.

— Действительно настанет ночь? — спросил фараон Пентуэра.

— Да. Ненадолго.

— А куда же денется солнце?

— Скроется за луной.

«Надо будет вернуть милость жрецам, наблюдающим звезды», — подумал фараон.

Сумрак быстро сгущался. Лошади азиатов проявляли беспокойство, стаи птиц спускались вниз и с громкими криками облепили все деревья сада.

— Эй, песенники! — скомандовал Калипп грекам.

Затрещали барабаны, взвизгнули флейты, и под этот аккомпанемент греческий полк запел веселую песню про дочку жреца, которая так всего боялась, что могла спать только в казармах.

На желтые ливийские холмы пала зловещая тень и с молниеносной быстротой закрыла Мемфис, Нил и дворцовые сады. Тьма окутала землю, а на небе появился черный, как уголь, шар, окруженный огненным венцом.

Неимоверный крик заглушил песни греческого полка. Это азиаты издали военный клич и пустили к небу тучи стрел, чтобы спугнуть злого духа, который хотел пожрать солнце.

— Ты говоришь, что этот черный круг — луна? — спросил фараон у Пентуэра.

— Так утверждает Менес.

— Великий же он мудрец! И темнота сейчас прекратится?

— Непременно.

— А если луна оторвется от неба и упадет на землю?

— Этого не может быть. А вот и солнце! — радостно воскликнул Пентуэр.

По полкам пронесся клич в честь Рамсеса XIII.

Фараон обнял Пентуэра.

— Воистину, — сказал фараон, — мы видели удивительное явление. Но я не хотел бы видеть его еще раз. Я чувствую, что, если бы я не был солдатом, страх овладел бы моим сердцем.

Хирам подошел к Тутмосу и прошептал:

— Пошли сейчас же гонцов в Мемфис. Я боюсь, как бы верховные жрецы не затеяли что-нибудь недоброе.

— Ты думаешь?

Хирам кивнул головой.

— Они не управляли бы так долго страной, — сказал он, — не передоили бы восемнадцать династий, если бы не умели пользоваться такими случаями, как сегодня.

Поблагодарив солдат за проявленную ими выдержку, фараон вернулся к себе. Он все время впадал в задумчивость, говорил спокойно, даже мягко, но на красивом лице его была какая-то неуверенность. В душе Рамсеса происходила мучительная борьба. Он начинал понимать, что жрецы располагали силами, которые он не только не принимал в расчет, но даже отвергал, не хотел о них и слышать.

Жрецы, наблюдавшие за движением звезд, сразу выросли в его глазах. И фараон подумал, что надо непременно познать эту удивительную мудрость, которая так чудовищно путает человеческие планы.

Гонец за гонцом отправлялись из царского дворца в Мемфис, чтоб узнать, что там произошло во время затмения. Но гонцы не возвращались, и над фараоновой свитой простерлись черные крылья неизвестности. Что у храма Птаха произошло что-то недоброе — в этом никто не сомневался, но никто не решался строить догадки о том, что же именно случилось. Казалось, будто и фараон, и его доверенные люди рады каждой минуте, протекшей без известий.

Тем временем царица, подсев к фараону, шептала ему:

— Разреши мне действовать, Рамсес. Женщины оказали нашему государству не одну услугу. Вспомни только царицу Никотрису^[187] из шестой династии или Макару^[188], создавшую флот на Красном море. У нашего пола достаточно и ума и энергии. Так разреши мне действовать... Если храм Птаха не занят и жрецы не подверглись оскорблениям, я помирю тебя с Херихором. Ты возьмешь в жены его дочь, и царствование твое будет преисполнено славы... Помни, твой дед, святой Аменхотеп, был тоже верховным жрецом и наместником фараона. И кто знает — царствовал ли бы ты сейчас, если бы священная каста не пожелала видеть на троне своего

отпрыска. И так ты их благодаришь за власть?

Фараон слушал ее и думал, что все-таки мудрость жрецов огромная сила и борьба с ними трудна.

Лишь в начале четвертого явился первый вестник из Мемфиса — адъютант полка, стоявшего у храма. Он рассказал фараону, что храм не взят из-за гнева богов; народ разбежался, жрецы торжествуют, и даже среди солдат началось смутное движение во время этой ужасной, хотя и столь короткой ночи.

Потом, отведя в сторону Тутмоса, адъютант заявил ему без обиняков, что войско деморализовано, что из-за беспорядочного бегства полки насчитывают столько раненых и убитых, сколько бывает только после сражения.

— Что же с полками? — спросил в ужасе Тутмос.

— Разумеется, — ответил адъютант, — нам удалось собрать и построить солдат, но о том, чтобы двинуть их против храмов, не может быть и речи, особенно теперь, когда жрецы занялись оказанием помощи раненым. При виде бритой головы и шкуры пантеры солдаты готовы пасть ниц, и много времени пройдет, прежде чем кто-нибудь из них осмелится шагнуть за ограду храма.

— А что же жрецы?

— Благословляют солдат, кормят их, поят и делают вид, что солдаты неповинны в нападении на храм, что все это козни финикиян.

— И вы допускаете эту растерянность? — воскликнул Тутмос.

— Его святейшество приказал нам защищать жрецов от толпы, — ответил адъютант. — Если б нам было разрешено занять храмы, мы были бы в них уже в десять утра, и жрецы сидели бы в подвалах.

В это время дежурный офицер сообщил Тутмосу, что еще какой-то жрец, прибывший из Мемфиса, хочет говорить с его святейшеством.

Тутмос окинул взглядом посетителя. Это был еще довольно молодой человек с лицом, как бы изваянным из дерева. Он сказал, что явился к фараону от Самонту.

Рамсес тотчас же принял жреца, который, пав на землю, подал повелителю перстень, при виде которого фараон побледнел.

— Что это значит? — спросил фараон.

— Самонту нет больше в живых, — ответил посланец.

Рамсес с минуту не мог вымолвить ни слова. Наконец, он спросил:

— Как это случилось?

— Кажется, — ответил жрец, — Самонту был найден в одной из зал Лабиринта и сам отравился, чтобы избежать пыток... И, кажется, его

обнаружил Мефрес при помощи какого-то грека, который якобы очень похож на ваше святейшество.

— Опять Мефрес и Ликон! — вскричал возмущенно Тутмос. — Государь, неужели ты никогда не освободишься от этих предателей?

Фараон снова созвал у себя тайный совет, пригласив на него Хирама и жреца, явившегося с перстнем Самонту. Пентуэр не хотел принимать участия в совете, а почтенная царица Никотриса пришла без приглашения.

— Боюсь, — шепнул Хирам Тутмосу, — как бы после жрецов у вас не стали править бабы!

Когда вельможи собрались, фараон дал слово посланцу Самонту.

Молодой жрец не хотел ничего говорить о Лабиринте, зато стал рассказывать о том, что храм Птаха совсем не охраняется и что достаточно нескольких десятков солдат, чтобы захватить всех, кто в нем укрылся.

— Этот человек — предатель! — вскричала царица. — Сам жрец, а учит нас насилию над жрецами.

Но на лице посланца не дрогнул ни один мускул.

— Досточтимая государыня, — возразил он. — Мефрес погубил моего учителя и покровителя Самонту, и я был бы псом, если бы не искал мести. Смерть за смерть!

— Этот юноша мне нравится! — шепнул Хирам.

Действительно, среди собравшихся повеяло как бы свежим воздухом. Военачальники подтянулись, гражданские чиновники смотрели на жреца с любопытством, даже лицо фараона оживилось.

— Не слушай его, сын мой! — молила царица.

— Как ты думаешь, — обратился вдруг фараон к молодому жрецу, — что сделал бы сейчас святой Самонту, если бы был жив?

— Я уверен, — решительно ответил жрец, — что Самонту проник бы в храм Птаха, воскурил бы богам благовония, но покарал бы изменников и убийц.

— А я повторяю, что ты злейший изменник! — не унималась царица.

— Я только исполняю свой долг, — ответил невозмутимо жрец.

— Воистину этот человек — ученик Самонту, — вмешался Хирам. — Он один ясно видит, что нам остается делать.

Военные и штатские вельможи согласились, что Хирам прав, а верховный писец добавил:

— Поскольку мы начали борьбу с жрецами — надо ее довести до конца, тем более сегодня, когда у нас есть письма, уличающие Херихора в переговорах с ассирийцами, что является изменой государству.

— Херихор продолжает политику Рамсеса Двенадцатого, —

вмешалась царица.

— Но я — Рамсес Тринадцатый, — ответил фараон с раздражением. Тутмос встал с места.

— Государь мой, — сказал он, — разреши мне действовать. Опасно затягивать состояние неуверенности, и было бы преступлением и глупостью не воспользоваться случаем. Поскольку этот жрец говорит, что храм не защищен, разреши мне отправиться туда с отрядом, который я сам подберу.

— Я с тобой! — вызвался Калипп. — Я знаю по опыту, что торжествующий враг — это слабый враг. И если мы сейчас же ворвемся в храм Птаха...

— Вам незачем врываться силой. Вы можете войти туда как исполнители приказа фараона, поручившего вам арестовать изменника, — заявил верховный писец. — Для этого не требуется даже силы... Как часто один полицейский бросается на целую шайку воров и хватает их, сколько хочет...

— Сын мой уступает, подчиняясь вашим советам, — сказала царица. — Но он не хочет насилия, запрещает вам...

— Гм! Если так, — заявил молодой жрец Сета, — то есть еще одно обстоятельство, о котором я доложу его святейшеству. — Он несколько раз глубоко перевел дух и сказал, понизив голос: — На улицах Мемфиса жреческая партия объявляет, что...

— Что? Что? Говори смело, — ободрял его фараон.

— Что ты, государь, сошел с ума. Что ты не посвящен в сан верховного жреца и даже еще не коронован на царство... Что можно тебя... низвергнуть с престола...

— Вот этого-то я и боюсь, — прошептала царица.

Фараон вскочил с места.

— Тутмос! — воскликнул он, и в голосе его почувствовалась вернувшаяся энергия. — Бери сколько хочешь солдат, иди в храм Птаха и приведи ко мне Херихора и Мефреса, обвиняемых в измене государству. Если они оправдаются, я верну им свою милость. В противном случае...

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — остановила его царица.

На этот раз возмущенный фараон не ответил ей, присутствовавшие же члены совета закричали:

— Смерть предателям! С каких это пор в Египте фараон должен жертвовать верными слугами, чтобы вымолить себе милость у негодяев?

Рамсес XIII вручил Тутмосу пакет с письмами Херихора к Ассирии и торжественно обратился ко всем:

— До усмирения бунта жрецов я передаю свою власть начальнику гвардии Тутмосу. Теперь слушайтесь его, а ты, досточтимая матушка, обращай к нему со своими замечаниями.

— Мудро и правильно поступаешь, государь! — воскликнул верховный писец. — Фараону не подобает бороться с бунтом, а отсутствие энергичной власти может нас погубить.

Все члены совета склонились перед Тутмосом. Царица с воплем упала к ногам сына.

Тутмос в сопровождении военачальников вышел во двор, велел первому гвардейскому полку построиться и обратился к солдатам:

— Мне нужно несколько десятков человек, готовых погибнуть во славу нашего государя.

Желающих оказалось больше, чем нужно было, и во главе их Эннана.

— Вы готовы на смерть? — спросил Тутмос.

— Умрем, господин, с тобой во имя его святейшества! — воскликнул Эннана.

— Вы не умрете, а победите подлых преступников, — ответил Тутмос. — Солдаты, участвующие в этой вылазке, будут произведены в офицеры, а офицеры будут повышены на два чина. Так заявляю вам я, Тутмос, волею фараона главнокомандующий.

— Живи вечно!

Тутмос велел запрячь двадцать пять двуколок тяжелой кавалерии и посадить в них добровольцев. Сам же он, а также Калипп сели на коней, и вскоре весь отряд, держа направление на Мемфис, скрылся в облаке пыли.

Наблюдая это из окна царского дворца, Хирам склонился перед фараоном и тихо проговорил:

— Теперь только я верю, что ты, государь, не был в заговоре с верховными жрецами.

— Ты с ума сошел! — вспыхнул фараон.

— Прости государь, но сегодняшнее нападение на храмы было подстроено жрецами. Каким образом они вовлекли в свой план ваше святейшество — не понимаю.

Было уже пять часов пополудни.

Как раз в это же время жрец, дежуривший на пилоне храма Птаха в Мемфисе, сообщил заседавшим в зале верховным жрецам и номархам, что дворец фараона подает какие-то сигналы.

— Кажется, государь собирается просить у нас мира, — сказал, усмехаясь, один из номархов.

— Сомневаюсь, — ответил Мефрес.

Херихор взошел на пилон.

Это ему сигнализировали из дворца. Вскоре он вернулся и обратился к собравшимся:

— Наш молодой жрец справился очень хорошо... Сюда едет Тутмос, с несколькими десятками добровольцев, чтобы арестовать нас или убить.

— А ты еще позволяешь себе заступаться за Рамсеса! — крикнул Мефрес.

— Заступаться я должен и буду, потому что дал в этом торжественную клятву царице... Если бы не досточтимая дочь святого Аменхотепа, наше положение не было бы таким, как оно есть.

— Ну, а я не давал клятвы! — отозвался Мефрес и покинул залу.

— Что это он задумал? — спросил один из номархов.

— Старик окончательно впал в детство, — ответил Херихор, пожимая плечами.

Около шести часов вечера гвардейский отряд, не задерживаемый никем, подъехал к храму Птаха, и начальник его постучался в ворота, которые ему тотчас же открыли. Это был Тутмос со своими добровольцами.

Когда главнокомандующий вошел во двор храма, он удивился, видя, что навстречу ему шествует Херихор в митре Аменхотепа, окруженный одними жрецами.

— Что тебе надо, сын мой? — спросил верховный жрец главнокомандующего, несколько смущенного такой обстановкой. Но Тутмос быстро овладел собой и ответил:

— Херихор! Верховный жрец Амона Фиванского! На основании писем, которые ты писал Саргону, ассирийскому наместнику, — эти письма сейчас со мной, — ты обвиняешься в государственной измене и должен дать ответ перед фараоном.

— Если молодой царь, — спокойно ответил Херихор, — хочет уяснить себе цели, которыми руководился в своей политике вечно живущий Рамсес

Двенадцатый, пусть явится в нашу верховную коллегия; он получит там объяснения.

— Предлагаю тебе немедленно следовать за мною, если ты не хочешь, чтобы тебя заставили! — крикнул Тутмос.

— Сын мой, молю богов, чтобы они охранили тебя от совершения насилия и от наказания, какого ты заслуживаешь.

— Ты идешь? — спросил Тутмос.

— Я жду Рамсеса сюда, — ответил Херихор.

— Тогда оставайся и жди, обманщик! — воскликнул Тутмос. И с этими словами извлек меч и бросился на Херихора. В ту же минуту стоявший за ним Эннана поднял секиру и изо всех сил ударил Тутмоса между шеей и правой ключицей так, что кровь брызнула во все стороны. Любимец фараона пал на землю, рассеченный почти надвое.

Несколько солдат со склоненными копьями бросились на Эннана, но после короткой борьбы со своими однополчанами пали. Из добровольцев три четверти были подкуплены жрецами.

— Да живет вечно святейший Херихор — наш повелитель! — воскликнул Эннана, размахивая окровавленной секирой.

— Да живет он вечно! — повторили солдаты и жрецы, и все пали ниц. Достойнейший Херихор воздел руки и благословил их.

Покинув двор храма, Мефрес спустился в подземелье, где содержался Ликон. Верховный жрец сразу же у входа вынул хрустальный шарик, при виде которого грек впал в ярость.

— Чтоб вас земля поглотила! Чтоб ваши трупы не знали покоя! — бормотал Ликон. Наконец он стих и заснул.

— Возьми это оружие, — сказал Мефрес, подавая греку кинжал с узким лезвием, — возьми этот кинжал и иди в дворцовый сад... Стань в чаще смоковниц и поджидай того, кто отнял у тебя и соблазнил Каму...

Ликон в бессильной злобе заскрежетал зубами.

— А когда увидишь его — проснись, — закончил Мефрес.

Он быстро накиннул на грека офицерский плащ с капюшоном, шепнул ему на ухо пароль и вывел его из подземелья через потайную калитку храма на безлюдную улицу.

Затем Мефрес с быстротою юноши взобрался на верхушку пилон и, взяв в руки несколько разноцветных флажков, стал подавать сигналы в направлении дворца фараона. Его, очевидно, заметили и поняли, ибо на пергаментном лице верховного жреца появилась мерзкая улыбка. Мефрес сложил флажки, покинул террасу пилон и медленно стал спускаться вниз. Когда он был уже на втором этаже, его внезапно окружило несколько

человек в коричневых плащах, которыми они прикрывали кафтаны в черную и белую полосу.

— Вот он, достойнейший Мефрес, — сказал один из них; все трое опустились на колени перед верховным жрецом, который машинально поднял руку для благословения, но вдруг опомнился и спросил:

— Кто вы такие?

— Хранители Лабиринта.

— Отчего же вы преградили мне дорогу? — сказал он, и у него задрожали руки и тонкие губы.

— Нам незачем тебе напоминать, святой муж, — сказал один из хранителей, не вставая с колен, — что несколько дней назад ты был в Лабиринте и знаешь путь туда так же хорошо, как мы, хотя ты и не посвящен... Но ты слишком мудр, чтобы не знать наших прав в подобных случаях.

— Что это значит? — вскричал, повышая голос, Мефрес. — Вы разбойники, подосланные Херихо...

Он не закончил. Один схватил его за руку, другой накинуд ему платок на голову, а третий брызнул в лицо прозрачной жидкостью.

Мефрес зашатался и упал. Его обрызгали еще раз, и, когда он испустил дух, сторожа Лабиринта отнесли его в нишу, уложили там, воткнули в мертвую руку какой-то папирус и скрылись в коридорах пилонa.

Трое так же одетых людей гнались за Ликоном почти с той же самой минуты, как, выпущенный Мефресом из храма, он очутился на безлюдной улице. Люди эти скрывались недалеко от калитки, из которой вышел грек, и сперва пропустили его вперед. Но вскоре один из них заметил в его руке что-то подозрительное, и все пошли за ним.

Странное дело: усыпленный Ликон как будто чувствовал погоню; он свернул вдруг на оживленную улицу, потом на площадь, где ходило взад и вперед множество людей, а потом переулками, где жили рыбаки, побежал к Нилу. Тут в каком-то затоне он нашел небольшую лодку, прыгнул в нее и с небывалой быстротой стал переправляться на другой берег. Он был уже в нескольких сотнях шагов от берега, когда следом за ним отчалила лодка с одним лодочником и тремя пассажирами. Не успели они выплыть на середину реки, как показалась еще лодка с двумя лодочниками и тоже тремя пассажирами. Обе лодки упорно гнались за Ликоном.

В лодке с одним гребцом сидели хранители Лабиринта и пристально всматривались в своих соперников, насколько позволяли сумерки, быстро надвигавшиеся после заката солнца.

— Кто такие те трое? — перешептывались между собой хранители

Лабиринта. — Они уже третий день бродят вокруг храма, а сейчас гонятся за Ликоном... Не хотят ли они защитить его от нас?

Маленькая лодка Ликона причалила к другому берегу. Усыпленный грек выпрыгнул из нее и быстро направился к дворцовым садам. Иногда он пошатывался, останавливался и хватался за голову, но затем шел дальше, как бы увлекаемый какой-то неведомой силой. Хранители Лабиринта тоже высадились на другом берегу, но их уже успели предупредить соперники. Началось единственное в своем роде состязание. Ликон бежал по направлению к царскому дворцу с быстротой скорохода, за ним трое неизвестных, а позади трое хранителей Лабиринта.

В нескольких сотнях шагов от сада обе группы преследователей поравнялись. Была уже ночь, но светлая.

— Кто вы такие? — спросил неизвестных один из хранителей Лабиринта.

— Я начальник полиции Бубаста. Я преследую с двумя моими сотниками важного преступника.

— А мы — хранители Лабиринта, мы тоже преследуем этого человека.

Обе группы присматривались одна к другой, держа руки на рукоятках мечей или ножей.

— Что вы хотите с ним сделать? — спросил, наконец, начальник полиции.

— У нас есть приговор ему...

— А труп вы бросите?

— Вместе со всем, что на нем, — ответил старший из хранителей.

Полицейские пошептались между собой.

— Если вы говорите правду, — заявил, наконец, начальник полиции, — то мы не будем вам мешать. Напротив, предоставим его на время вам, если он попадет в наши руки.

— Клянётесь?

— Клянемся.

— Тогда мы можем пойти вместе.

Обе группы соединились, но грек уже скрылся из виду.

— Проклятый! — вскричал начальник полиции. — Он опять скрылся.

— Никуда он не уйдет! — ответил один из хранителей Лабиринта. — И, наверное, той же дорогой вернется назад.

— А что ему нужно в царском саду? — спросил начальник.

— Верховные жрецы посылают его куда-то по своим делам. Но он вернется обратно, — ответил хранитель.

Все решили ждать и действовать сообща.

— Третью ночь мучаемся, — пробормотал один из полицейских, зевая. Они закутались в бурнусы и легли на траву.

Тотчас же после отъезда Тутмоса царица молча встала и направилась к выходу. Когда же Рамсес хотел ее успокоить, она резко перебила его:

— Прощай, фараон... Молю богов, чтобы они позволили мне завтра приветствовать тебя еще как фараона.

— Ты в этом сомневаешься, мать?

— Как не сомневаться, когда человек слушается советов безумцев и предателей.

Они разошлись, негодую друг на друга.

Вскоре к его святишеству вернулось хорошее настроение, и он продолжал весело разговаривать с вельможами. Но уже в шесть часов его стало терзать беспокойство.

— С минуты на минуту должен прибыть гонец от Тутмоса, — сказал он своим приближенным. — Я уверен, что дело так или иначе уже разрешилось.

— Трудно сказать, — ответил главный казначей. — Они могли не найти лодок у переправы... Могли наткнуться на сопротивление в храме...

— А где молодой жрец? — спросил вдруг Хирам.

— Жрец? Посланец умершего Самонту? — повторили растерянно вельможи. — В самом деле — куда он девался?

Послали солдат обыскать сад. Они обегали все дорожки, но жреца нигде не оказалось.

Это привело членов совета в дурное настроение. Все сидели молча, погруженные в тревожные думы.

На закате в комнату вошел один из слуг фараона и шепнул ему, что госпожа Хеброн тяжело заболела и умоляет, чтобы его святишество соблаговолил заглянуть к ней.

Придворные, зная отношения, связывавшие фараона с красавицей Хеброн, переглянулись, но когда Рамсес сказал, что идет в сад, никто его не стал удерживать. В саду благодаря густо расставленной страже было так же безопасно, как и во дворце, и никто не считал удобным хотя бы издали наблюдать за фараоном, зная, что Рамсес этого не любит.

Когда фараон исчез в коридоре, верховный писец обратился к казначею:

— Время тянется, как колесница в пустыне. Может быть, у Хеброн есть известия о Тутмосе?

— Говоря по правде, — ответил казначей, — его вылазка с несколькими десятками солдат против храма Птаха кажется мне сейчас совершенным безумием.

— А разве благоразумнее поступил фараон у Содовых озер, когда всю ночь гнал за Техенной? — вмешался Хирам. — Все решает смелость.

— Где же молодой жрец? — спросил казначей.

— Он пришел, не спросясь, и ушел, никому не сказавшись... Все ведут себя здесь, как заговорщики.

Казначей сокрушенно покачал головой.

Рамсес быстро добежал до павильона Тутмоса. Когда он вошел в дом, Хеброн со слезами бросилась ему на шею.

— Я умираю от страха! — воскликнула она.

— Ты боишься за Тутмоса?

— Какое мне дело до него! — ответила Хеброн с презрительной гримасой. — Ты один интересуешь меня, о тебе я думаю... за тебя боюсь.

— Да будет благословен твой страх; он хоть на минуту рассеял мою скуку! — сказал, смеясь, фараон. — Боги! Какой тяжелый день... Если б ты была на нашем совещании!.. Если б видела физиономии наших советников! И вдобавок ко всему досточтимейшая моя матушка вздумала почтить наше собрание своим присутствием. Я никогда не представлял себе, что высокое звание фараона может мне так надоесть!

— Не говори об этом так громко, — остановила его Хеброн. — Что ты будешь делать, если Тутмосу не удастся овладеть храмом?

— Лишу его командования, спрячу корону в сундук и надену офицерский шлем. Я уверен, что, если я сам выступлю во главе моей армии, бунт сразу будет подавлен.

— Который? — спросила Хеброн.

— Ах да! Я забыл, что у нас два бунта: народ против жрецов, жрецы против меня...

Он сжал Хеброн в объятиях и, усадив ее на диван, стал шептать ей:

— Какая ты сегодня красивая!.. Всякий раз, когда я вижу тебя, ты кажешься мне иной и все прекраснее!

— Оставь меня! Иногда я боюсь, что ты меня укусишь.

— Укусить, нет... но мог бы зацеловать тебя до смерти... Ты даже не знаешь, как ты прекрасна...

— По сравнению с министрами и военачальниками... Ну,пусти...

— Я хотел бы быть гранатовым деревом! Хотел бы иметь столько рук, сколько у него ветвей, чтобы обнять тебя! Столько ладоней, сколько у него листьев, и столько уст, сколько у него цветов, чтобы целовать сразу твои

глаза, волосы, губы, грудь!..

— Для государя, которому грозит потеря трона, ты удивительно легкомыслен.

— На ложе любви я не забочусь о троне, — возразил Рамсес. — Покуда со мной меч, я сохраню и власть.

— Но ведь войска твои разбиты, — говорила Хеброн, вырываясь из его объятий.

— Завтра придут свежие полки, а послезавтра соберутся и те, что разбежались. Говорю тебе, не думай о пустяках... Мгновенье любви дороже целого года власти...

Спустя час после заката фараон покинул жилище Хеброн и не спеша возвращался к себе, погруженный в свои мысли, усталый.

Он думал о том, что жрецы только по глупости мешают его планам. С тех пор, как существует Египет, не было такого властителя, каким был бы он...

Вдруг из чащи смоковниц вышел человек в темном плаще и загородил фараону дорогу.

Рамсес, чтобы лучше его разглядеть, подошел к нему ближе и вдруг крикнул:

— А, это ты, негодяй?! Наконец-то я нашел тебя!

Это был Ликон. Рамсес схватил его за шею. Грек взвизгнул и упал на колени. В ту же минуту фараон почувствовал жгучую боль в левой стороне живота.

— Так ты еще кусаться? — закричал Рамсес и обеими руками сжал шею грека. Услышав хруст позвонков, он с отвращением отбросил его. Ликон упал, корчась в предсмертных судорогах.

Фараон, сделав несколько шагов, схватился за больное место и нащупал рукоять кинжала.

— Я ранен!

Рамсес вытащил из раны узкий клинок и зажал ее.

«Интересно, есть у кого-нибудь из часовых пластырь?» — подумал он и, чувствуя, что теряет сознание, ускорил шаг.

Почти у самого крыльца дома навстречу ему выбежал один из офицеров с криком:

— Тутмос убит! Его убил предатель Эннана!

— Эннана? — повторил фараон. — А как остальные?

— Почти все добровольцы, вызвавшиеся ехать с Тутмосом, были подкуплены жрецами...

— Довольно! Пора положить этому конец! — воскликнул фараон. —

Трубите сбор азиатским полкам...

Затрубил рожок; азиаты стали выбегать из казарм, ведя за собой лошадей.

— Подайте и мне коня, — сказал фараон. Но, почувствовав сильное головокружение, прибавил: — Нет... подайте мне носилки... Я не хочу утомлять себя...

И вдруг пошатнулся и упал на руки офицеров.

— Ах, чуть не забыл... — произнес он слабеющим голосом. — Принесите мне шлем и меч... стальной меч... что был со мной в Ливийском походе... Идем на Мемфис.

Из дворца выбежали вельможи и прислуга с факелами.

Лицо у фараона, которого поддерживали офицеры, стало серым, глаза заволокло туманом. Он протянул руку, словно ища оружия, пошевелил губами и среди общего молчания испустил дух, он — повелитель обоих миров: преходящего и вечного.

Со дня смерти Рамсеса XIII до его погребения правил государством верховный жрец храма Амона Фиванского и наместник почившего фараона — достойнейший Сен-Амон-Херихор.

Кратковременное правление наместника благоприятно отразилось на состоянии страны. Херихор усмирил бунтовщиков и приказал установить для всего работающего населения отдых в каждый седьмой день, как это было в старые времена. Кроме того, он ввел строгий устав для жрецов, оказывал покровительство чужеземцам, в особенности финикиянам, и заключил договор с Ассирией, не уступая ей, однако, Финикии, которая продолжала платить Египту дань.

В течение этого недолгого правления судьи решали дела без проволочек, избегая жестоких наказаний. Никто не имел права бить крестьянина, и он мог жаловаться на всякую обиду в суд, если у него находилось время и было достаточно свидетелей.

Херихор занялся также погашением долгов, отягощавших имущество фараона и государства. Он добился у финикиян частичного отказа от тех сумм, которые им задолжала египетская казна, а для покрытия оставшегося долга потребовал от Лабиринта огромного ассигнования в тридцать тысяч талантов.

Благодаря всем этим мерам уже через три месяца государство благоденствовало, и люди говорили:

— Да будет благословенно правление наместника Сен-Амон-Херихора! Поистине боги предназначили его быть властителем, чтобы он спас Египет от разорения, в которое ввергнул его Рамсес Тринадцатый — шалопай и волокита!..

Итак, прошло всего лишь несколько месяцев, а народ уже успел забыть, что дела Херихора были лишь исполнением благородных намерений молодого фараона.

В месяце тоби (октябрь — ноябрь), когда мумию Рамсеса XIII опустили в царские пещеры, в храме Амона Фиванского состоялось большое совещание знатнейших лиц. Тут были почти все верховные жрецы, номархи и командующие армиями и в их числе покрытый славой престарелый полководец восточной армии — Нитагор.

В том же огромном зале, где за полгода перед тем жрецы обсуждали земные дела Рамсеса XII и выказывали неприязнь к Рамсесу XIII, — в этом

самом месте сейчас собрались вельможи, чтобы под председательством Херихора разрешить важнейшие государственные вопросы.

И вот 25 тоби, ровно в полдень, Херихор в митре Аменхотепа воссел на трон, а остальные в кресла, и состоялся совет.

Он закончился чрезвычайно быстро, словно результат его был предрешен заранее.

— Верховные жрецы, номархи и вожди! — начал Херихор. — Мы собрались здесь по весьма печальному и важному поводу. Со смертью вечно живущего Рамсеса Тринадцатого, недолгое, но бурное царствование которого окончилось столь злополучно... — тут Херихор вздохнул, — ...со смертью Рамсеса Тринадцатого угас не только фараон, но и славная двадцатая династия.

Среди собравшихся пробежал ропот.

— Династия не угасла, — заметил довольно резко номарх мемфисский. — Жива ведь достопочтенная царица Никотриса. Следовательно, трон принадлежит ей.

Помолчав минуту, Херихор ответил:

— Достойнейшая супруга моя, царица Никотриса...

Теперь в собрании раздался уже не ропот, а крик, не смолкавший в течение нескольких минут. Когда он утих, Херихор спокойно и отчетливо продолжал:

— Моя достойнейшая супруга, царица Никотриса, в безутешном горе после смерти сына отреклась от престола.

— Позвольте! — вскричал номарх мемфисский. — Достойнейший наместник именует царицу своей супругой. Это известие совершенно новое, которое нужно прежде всего проверить.

По знаку, данному Херихором, верховный судья Фив извлек из золотой шкатулки и громко зачитал акт о бракосочетании, состоявшемся за два дня до того между достойнейшим жрецом Амона Сен-Амон-Херихором и царицей Никотрисой, вдовой Рамсеса XII, матерью Рамсеса XIII.

После этого разъяснения наступила гробовая тишина.

Херихор продолжал:

— Поскольку моя супруга и единственная наследница престола отреклась от своих прав и поскольку, таким образом, прекратилось царствование двадцатой династии, нам необходимо избрать нового повелителя. Этим повелителем, — продолжал Херихор, — должен быть человек зрелый, энергичный и опытный в делах управления. Поэтому я рекомендую вам, уважаемые вельможи, избрать на этот верховный пост...

— Херихора! — крикнул кто-то.

— ...избрать на этот верховный пост достославного Нитагора, главнокомандующего восточной армией.

Нитагор долго сидел, прищурив глаза и улыбаясь. Наконец, он встал и сказал:

— Никогда, я думаю, не будет недостатка в людях, которые пожелали бы носить титул фараона. Пожалуй, их нашлось бы даже больше, чем нужно. К счастью, сами боги, устранив опасных соперников, указали нам человека, наиболее достойного верховной власти. И кажется мне, что я поступлю благоразумно, если, вместо того, чтобы принять любезно предложенную мне корону, отвечу: «Да живет вечно его святейшество Сен-Амон-Херихор, первый фараон новой династии!»

Присутствующие, за небольшим исключением, повторили этот возглас, и верховный судья принес на золотом подносе две короны: белую — Верхнего и красную — Нижнего Египта. Одну из них взял верховный жрец Осириса, другую — верховный жрец Гора и вручили их Херихору, который, поцеловав золотую змею, возложил их себе на голову.

После этого началась церемония воздаяния почестей присутствующими, которая продолжалась несколько часов. Затем был составлен соответствующий акт, участники собрания приложили к нему свои печати, и с этого момента Сен-Амон-Херихор стал действительно фараоном, повелителем обоих миров, а также жизни и смерти своих подданных.

К вечеру его святейшество вернулся утомленный в свои покои, где застал Пентуэра. Жрец исхудал, и на его изможденном лице видны были усталость и грусть.

Когда Пентуэр пал ниц, повелитель поднял его и сказал, улыбаясь:

— Ты не подписал моего избрания, не воздал мне почестей, и я боюсь, как бы мне не пришлось когда-нибудь подвергнуть тебя осаде в храме Птаха. Что же, ты решил не оставаться при мне? Предпочитаешь Менеса?

— Простите, ваше святейшество, но придворная жизнь до того меня утомила, что единственное желание мое — это учиться мудрости.

— Не можешь забыть Рамсеса? А ведь ты знал его очень недолго. У меня же ты работал несколько лет.

— Не осуждайте меня, ваше святейшество, но... Рамсес Тринадцатый был первым фараоном, которому были близки страдания египетского народа.

Херихор улыбнулся.

— Эх вы, ученые, — сказал он, покачав головой. — Ведь это ты, ты сам обратил внимание Рамсеса на положение черни, и, хотя он так ничего

для нее и не сделал, ты в душе все еще скорбишь о нем. Ты это сделал — не он. Странные вы люди, несмотря на большой ум! — продолжал он. — Вот так же и Менес... Мудрый жрец почитается самым мирным человеком в Египте, а между тем — это он свергнул династию и открыл мне дорогу к власти!

Если бы не его письмо о том, что 20 паопи произойдет затмение солнца, мы с покойным Мефресом, возможно, гнули бы сейчас спины в каменоломнях... Ну, иди теперь, иди и поклонись от меня Менесу. И знай, что я умею быть благодарным, в этом — великая тайна власти. Скажи Менесу, что я готов исполнить любую его просьбу, за исключением одной — отречься от престола. А ты, отдохнув, возвращайся ко мне. Я на этот случай сохраню для тебя достойный пост.

И Херихор коснулся рукой покорно склоненной головы жреца.

ЭПИЛОГ

В месяце мехир (ноябрь — декабрь) Пентуэр прибыл в храм под Мемфисом, где Менес продолжал свой упорный труд, изучая землю и небо.

Старый мудрец, погруженный в свои мысли, опять не сразу узнал Пентуэра. Однако, опомнившись, он обнял его и спросил:

— Ты что же, снова отправляешься мутить крестьян во славу фараона?

— Я пришел, чтобы остаться с тобой и служить тебе, — ответил Пентуэр.

— Ого-го!.. — воскликнул Менес, внимательно посмотрев на него. — Ого-го!.. Значит, с тебя довольно придворной жизни и почестей? Если так, да будет благословен этот день! Когда с верхушки моего пилон ты взглянешь на мир, ты сам увидишь, как он мал и безобразен.

Пентуэр ничего не ответил, и Менес возвратился к своим прерванным занятиям. Спустя несколько часов он вернулся и застал своего ученика на том же месте. Глаза его были устремлены вдаль, в сторону Мемфиса, где виднелся дворец фараонов.

Менес поставил перед ним кринку молока, положил ячменную лепешку и больше его не тревожил.

Прошло несколько дней. Пентуэр мало ел, еще меньше говорил, по ночам метался без сна, а днем сидел неподвижно, глядя в одну точку.

Менеса огорчало такое душевное состояние Пентуэра. И вот однажды он сел рядом с ним на камень и спросил:

— Ты что, совсем потерял разум, или духи тьмы только на время овладели твоим сердцем?

Пентуэр обратил к нему затуманенный взгляд.

— Посмотри-ка вокруг, — продолжал старик. — Ведь сейчас прекраснейшее время года. Ночи стоят долгие и звездные, дни — прохладные, земля покрыта травой и цветами. Вода в реке прозрачна, как хрусталь, пустыня молчит, зато в воздухе звон, писк, жужжание...

Если весна сотворила такое чудо с мертвой землей, то как же окаменела душа твоя, что тебя это не трогает! Очнись, говорю тебе! Ведь ты точно мертвец среди живой природы. Под этим солнцем ты похож на кучу сухой грязи, которая может заглушить своим зловонием аромат нарциссов и фиалок.

— Душа у меня болит.

— Да что это с тобой?

— Чем больше я думаю, тем яснее вижу, что если бы я не покинул Рамсеса Тринадцатого, если бы продолжал служить ему, — этот благороднейший из фараонов не погиб бы. Он был окружен предателями, и ни один друг не указал ему пути к спасению.

— И тебе кажется, что ты мог бы спасти его? О, самомнение недоучившегося мудреца! Разум всего мира не в силах спасти сокола, залетевшего в стаю воронья, а ты, словно какой-то захудалый бог, воображаешь, что мог изменить судьбу человека!

— Значит, Рамсес должен был погибнуть?

— Несомненно. Хотя бы уже потому, что он был фараоном-воителем, а в нынешнем Египте войны не в чести. Египтяне предпочитают золотые запястья мечу, даже стальному, певца или танцора — бесстрашному солдату, богатство и благоразумие — войне.

Если бы маслина созрела в месяце мехир или в месяце тот распустилась фиалка, они погибли бы, как гибнет все, что появляется на свет слишком рано или слишком поздно. А ты хочешь, чтобы в век Аменхотепов и Херихоров на троне удержался фараон, рожденный для времен гиксосов. Всему существу определены своя пора цветения и свой час смерти. Рамсес Тринадцатый родился в неблагоприятную для себя пору — и должен был уступить место другому.

— И ничто не могло спасти его?

— Я не знаю такой силы. Мало того, что он не отвечал требованиям своего времени и своего положения, он вступил на престол, когда государство находилось в упадке. Рамсес был молодым побегом на гниющем дереве.

— И ты так спокойно говоришь об упадке государства? — воскликнул Пентуэр.

— Я наблюдаю этот упадок уже десятки лет, а до меня его видели мои предшественники в этом храме. Можно было уже привыкнуть!

— Это дар ясновидения?

— Вовсе нет, — сказал Менес, — но у нас есть испытанные приметы. По движению флажка мы угадываем направление ветра; уровень воды в нильском колодце указывает на подъем или спад воды в реке; о слабости же государства сообщает нам с незапамятных времен вот этот сфинкс.

И он протянул руку в направлении пирамид.

— Я никогда не слыхал об этом, — прошептал Пентуэр.

— Прочти старые летописи нашего храма, и ты убедишься, что всякий раз, когда Египет переживал пору своего расцвета, его сфинкс стоял несокрушимо, возвышаясь над пустыней. Когда же государство клонилось

к упадку, сфинкс покрывался трещинами, осыпался, и пески пустыни доходили до его подножия. В последние же двести лет сфинкс постепенно разрушается. И чем больше заносят его пески, чем глубже бороздят трещины его тело, тем больше оскудевает страна.

— И она погибнет?

— Ни в коем случае! — возразил Менес. — Как за ночью следует день, так после упадка снова наступает расцвет. Вечный круговорот жизни!.. С некоторых деревьев листва опадает в месяце мехир, только для того, чтобы возродиться в месяце пахон.

Египет — это тысячелетнее дерево, а династии — только его ветви. На наших глазах появился сейчас росток двадцать первой ветви, — о чем же печалиться? Не о том ли, что, теряя ветви, дерево продолжает жить?

Пентуэр задумался, но взор его как будто оживился.

Прошло еще несколько дней, и Менес сказал Пентуэру:

— У нас кончаются припасы. Надо сходить в сторону Нила запастись чем-нибудь на время.

На следующий день, рано утром, жрецы взвалили на плечи большие корзины и отправились в прибрежные деревни. Здесь они останавливались у крестьянских жилищ и пели божественные гимны, а затем Менес стучал в дверь и говорил:

— Милосердные люди, правоверные египтяне, подайте милостыню служителям богини Мудрости!

Им выносили (чаще всего женщины) горсть пшеницы или ячменя, лепешку или маленькую сушеную рыбку. Иногда же на них набрасывались злые собаки или дети иноверцев швыряли в них камнями и грязью.

Странное зрелище представляли эти смиренные нищие, из которых один в течение нескольких лет влиял на судьбы государства, а другой, проникнув в глубочайшие тайны природы, оказал воздействие на ход истории.

В более богатых селениях их принимали лучше, а однажды в доме, где праздновалась свадьба, жрецов накормили, напоили пивом и разрешили им переночевать в сарае.

Ни бритые лица и головы, ни облезлая шкура пантеры не внушали местному населению уважения к ним. Обитатели Нижнего Египта, живя среди иноверцев, вообще не отличались благочестием, а к жрецам богини Мудрости, которым даже государство отказывало в поддержке, относились совсем пренебрежительно.

Лежа в хлеву на подстилке из свежесрезанного тростника. Менес и Пентуэр прислушивались к свадебной музыке, пьяным возгласам, а иногда

и перебранке веселящихся гостей.

— Как это ужасно! — вырвалось у Пентуэра. — Всего несколько месяцев назад умер государь — благодетель этих крестьян, — и вот они уже забыли о нем. Воистину недолговечна людская благодарность!

— А тебе хотелось бы, чтобы люди посыпали головы пеплом до конца своих дней? — возразил Менес. — Уж не думаешь ли ты, что, когда крокодил хватается женщину или ребенка, волны Нила прекращают свой бег? Нет, они катятся, не замечая ни трупов, ни даже подъема и спада воды. То же происходит и с жизнью народа. Сменяются ли династии, страдает ли государство от войн и восстаний, или, наоборот, страна наслаждается мирной и счастливой жизнью, — независимо от этого люди продолжают есть, пить, спать, вступать в браки, трудиться. Так дерево растет, несмотря на дождь и зной. Пусть же пляшут и прыгают те, у кого здоровые ноги, пусть поет и плачет тот, чья грудь переполнена чувством.

— Но сознайся, странно смотреть на их веселье, когда вспомнишь, что ты говорил об упадке государства, — прервал его Пентуэр.

— Нисколько. Ведь эти люди и есть государство, а жизнь их — жизнь государства. Всегда и везде одни люди радуются, другие предаются печали. Нет такого мгновения, когда бы не лились слезы и не звучал смех. Этим и определяется ход истории. И когда среди людей преобладает радость, мы говорим, что государство процветает, а когда чаще льются слезы, мы называем это упадком. Не надо придирается к словам, надо вникать в жизнь народа. В этой хижине царит радость, — значит, здесь цветет народная жизнь, и ты уже не вправе вздыхать об упадке. Твоя задача — стремиться к тому, чтобы счастливых хижин было все больше и больше.

Когда мудрецы, собрав подаяния, вернулись в храм, Менес повел Пентуэра на верхушку пилона. Здесь он показал ему огромный мраморный шар, на котором золотыми кружочками было обозначено расположение сотен звезд, и поручил наблюдать до полуночи за движением луны.

Пентуэр охотно согласился. В эту ночь он впервые в жизни убедился воочию, что в течение нескольких часов небесный свод как бы передвинулся на запад, в то время как луна, пробираясь меж звезд, двигалась на восток. До сих пор о таких простых явлениях Пентуэр знал лишь понаслышке. И вот теперь, когда он в первый раз увидел движение неба и медленный бег луны, его охватил такой восторг, что он упал ниц и зарыдал.

Душе Пентуэра открылся новый мир, и он мог оценить его красоту тем более, что владел уже мудростью.

Несколько дней спустя богатый арендатор обратился к жрецам с

предложением наметить и прорыть канал. Он обязался кормить их во время работы и в вознаграждение за труд обещал дать козу с козленком.

Так как обитатели храма нуждались в молоке. Менес согласился, и они вдвоем с Пентуэром отправились на работу. Выровняв грунт, жрецы наметили направление и стали рыть.

Тяжелый физический труд живительно подействовал на Пентуэра, и когда он оставался наедине с Менесом, то даже охотно разговаривал с ним. Общение же с другими людьми приводило его в мрачное настроение. Их смех и песни, казалось, усиливали его страдания.

Менес не уходил на ночь в деревню, а вместе с Пентуэром ночевал в поле. Они любовались цветущими лугами и ловили отзвуки человеческой радости, не принимая в ней участия.

Однажды вечером полевые работы были прерваны раньше обычного — в деревню по просьбе крестьян пришел странствующий жрец и с ним небольшой мальчик. Собирая подаяния, они переходили от одного дома к другому. Мальчик наигрывал на флейте грустную мелодию, а когда она замолкала, жрец мощным голосом пел песню полурелигиозного, полусветского характера.

Менес и Пентуэр, лежа на пригорке, смотрели в пламенеющее небо, на золотистом фоне которого вырисовывались черные треугольники пирамид и коричневые стволы пальм с темно-зелеными кронами. А жрец брел с песней от порога к порогу, все дольше отдыхая после каждой строфы.

— «Как спокоен этот справедливый государь! Наконец-то исполнилось чудесное предсказание. Со времен Ра все старое исчезает и на смену ему приходит то, что молодо. Каждое утро солнце восходит и каждый вечер скрывается на западе. Мужчина оплодотворяет, женщина зачинает, свежим ветром дышит каждая грудь. Но все рожденные, все без исключения, идут к месту, которое им уготовано».

[\[189\]](#)

— Но зачем это?.. — раздался вдруг голос Пентуэра. — Если б, по крайней мере, было правдой то, что жизнь сотворена во славу богов и добродетели! Но это ложь!.. Коварный злодей, мать, берущая в супруги убийцу своего сына, возлюбленная, в минуту ласк обдумывающая предательство, — вот кто преуспевает и властвует. Мудрецы же влачат свою жизнь в бездействии, а благородный, полный сил человек гибнет, не оставляя даже памяти о себе.

— «Наполни весельем этот день, о государь, — пел жрец, — ибо не много их дано тебе. Окружи себя ароматами и воскури фимиам, венками лотоса укрась стан сестры, что, владея твоим сердцем, сидит рядом с тобой. Пусть играют и поют в вашу честь! Отриньте заботы и предайтесь

веселью, ибо блеснет внезапно тот день, когда уйдете вы в страну молчания».

— Ароматные масла для носа... венки из лотоса для стана, а потом молчание!.. — вырвалось у Пентуэра. — Поистине шут, разыгрывающий из себя рыцаря, разумнее, нежели этот мир, где мы все кого-то изображаем без всякой для себя пользы. Так неужели это земное прозябание можно представить себе непрерывным праздником? Где там!.. У кого не сводит от голода желудок, у того сердце отравлено тревогой и вожделением. А когда наступает минута покоя, она несет с собой мысль о царстве вечного молчания и терзает человеческую душу.

— «Так празднуй же день веселья, о Неферхотеп^[190], муж; с чистыми руками! Мне ведома судьба твоих предков. Их крепости разрушились, города исчезли, а их самих точно и не бывало. Из страны, куда они ушли, никто не возвратился и не рассказал, как им там живется, утешив нас. И так будет до тех пор, пока вы сами не уйдете туда, куда ушли они».

— Случалось ли тебе видеть спокойное море? — спросил Менес. — Не правда ли, какое оно скучное — словно сон без сновидений. И лишь когда вихрь взбороздит его гладь, когда один вал ринется в пучину, а другой вздыбится над ней, когда на поверхности заиграют молнии, а из глубины зазвучат то грозные, то трепетные голоса, — море становится прекрасным. То же мы наблюдаем на реке. Она кажется мертвой, пока течет в одном направлении, — очарование придают ей извивы и повороты. Так и в горах. Сплошная возвышенность скучна. Но причудливые зубцы вершин, глубокие ущелья — прекрасны.

— «Возлей миро на главу твою. Облеки тело твое в тончайшие одежды и умастись дарами богов, — пел жрец. — Надень на себя пышные уборы и не дай унынию овладеть тобой. Пока ты на земле, живи для наслаждения и не омрачай сердца, доколе не наступил для тебя день печали».

— Такова и жизнь человека, — продолжал Менес. — Наслаждения — это волны и гребни гор, а страдания — пучины и ущелья, и только тогда прекрасна жизнь, когда в ней сочетается то и другое, когда она подобна зубчатой цепи восточных гор, которыми мы любимся.

— «Ведь тот, чье сердце уже не бьется, — пел жрец, — не услышит жалобных песен, его не опечалит чужое горе. Поэтому с ясным челом празднуй дни веселья и умножай их число».

— Слышишь? — сказал Пентуэр, указывая в сторону деревни. — Тот, чье сердце перестало биться, не только не печалится чужим горем, но и не радуется собственной жизни, как бы прекрасна она ни была. К чему же эта красота жизни, за которую приходится расплачиваться мукой и кровавыми

слезами?

Спускалась ночь; Менес завернулся в свой плащ и сказал:

— Каждый раз, когда тебя будут осаждать такие мысли, ступай в один из наших храмов и всмотрись в его стены, где, сплетаясь, теснятся изображения людей, животных, растений, рек, светил, — совсем как в этом мире, где мы живем.

В глазах невежды эти картины лишены значения, и, вероятно, не один из них задавал вопрос: «К чему они? Зачем так кропотливо трудились над ними резец и кисть?» Но мудрец приближается к ним с благоговением: он изучает по ним историю прошлых веков и постигает тайны мудрости.

1895

notes

Ливийская пустыня — пустыня, расположенная к западу от долины Нила; *Аравийская пустыня* — находится к востоку от Египта, между долиной Нила и Красным морем.

Дамietta — небольшой город в восточной части дельты Нила. По имени этого города назван восточный рукав Нила.

Меридово озеро — искусственное водохранилище в Фаюмском оазисе, строительство которого завершили фараоны XII династии в середине XIX в. до н.э.

Клафф (правильно клафт) — головной платок, а не шапка (как обычно называют Прус), который носили фараоны как символ своего сана. Клафт представлял собой прямоугольный кусок материи, закрывавший лоб и голову и ниспадавший на грудь обоими концами, которые иногда украшались цветными полосками.

Уреи — изображение кобры, символ власти фараона; обычно помещалось на царской короне или диадеме. Змея должна была отпугивать враждебные царю силы.

Сен-Амон-Херихор (правильно Са-Амон-Херихор) — верховный жрец храма бога Амона в столице Египта эпохи Нового Царства — Фивах.

Рамсес XII — Менмаатра-Сетепенптаx-Рамсес — последний фараон XX династии, правление которого завершилось ок. 1071 г. до н.э.

Хонсу — бог луны, почитавшийся в Фивах; изображался в виде человека с серпом луны на голове. Считался сыном бога Амона и его супруги, богини войны Мут, вместе с которыми составлял фиванскую триаду богов.

Бехтен — одна из областей Северной Сирии.

Эрпатор (искаж. егип. эрпат) — князь, наследственный князь, наследник престола. Титул этот носили не только сыновья фараона, но и представители высшей знати.

Хем-Семмерер-Амон-Рамсес — устарелое написание тронного имени Рамсеса XII.

Номархи (от греч. номархос) — правители номов, то есть областей, на которые делился Египет. Всего насчитывалось сорок два нома — двадцать два в Верхнем (Южном) Египте и двадцать в Нижнем (Северном) Египте.

Хетты — народ, живший в конце III тыс. — начале I тыс. до н.э. в восточных и центральных областях Малой Азии и в Северной Сирии.

Апис — священный бык в храме бога Птаха, главного бога Мемфиса. Птах считался покровителем искусств и ремесел.

Рамсес Великий — то есть Рамсес II.

Хеопс (древнеегип. Хуфу) — второй фараон IV династии, правивший в XXVII в. до н.э. Его гробница в Гизе, построенная в форме гигантской пирамиды, достигает ста сорока шести метров высоты.

...корпуса *Менфи* — Очевидно, Мемфисский корпус, носивший имя главного бога Мемфиса — Птаха.

Себеннитский залив — на севере центральной части Дельты; в него впадал Себеннитский рукав Нила.

Гошен — область в юго-восточной части устья Нила.

Горькие озера — на Суэцком перешейке. Через них проходит Суэцкий канал.

Пи-Баилос (правильно — Пер-Басет) — обычно этот город отождествляли с современным Бельбейсом, находящимся в юго-восточной части Дельты, к северо-востоку от Каира. Однако в последнее время выдвинуто предположение, что его следует искать на западе Дельты, у границ с Ливией.

Озеро Тимса — в восточной части области Гошен, на границе между Египтом и Синайским полуостровом. Здесь находилась оборонительная линия крепостных сооружений, защищавших Египет от набегов азиатских племен.

Пилоны — высокие привратные постройки из камня с наклонными снаружи стенами, воздвигавшиеся около храмов.

Скарабей (греч.) — навозный жук, считавшийся священным в Древнем Египте как олицетворение бога восходящего солнца Хепера.

Менес (Мина) — первый фараон I династии, объединивший, по преданию. Верхний и Нижний Египет и основавший единое египетское государство.

Дебен — мера веса (91 грамм).

Баллиста — боевое орудие, предназначавшееся для метания камней или бревен. Употреблялось греками в значительно более позднее время (IV в. до н.э.).

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Осирис — древнеегипетский бог плодородия и растительности; одновременно считался богом загробного мира и судьей мертвых; поэтому в религиозных текстах говорится о «полях Осириса», на которых умершие праведники пахут, сеют и собирают жатву.

Владыка Обеих стран — титул египетского фараона как царя Верхнего и Нижнего Египта.

Ливийцы — племя, жившее в западной части дельты Нила и в прилегающих областях Ливийской пустыни.

Ниневия — последняя столица Ассирии, игравшая видную роль как торговый и политический центр.

Талант — денежная единица. Вавилонский легкий талант равнялся 30,3 кг, тяжелый — 60,6 кг.

Яхве — имя бога древних евреев, соответствующее более поздней форме — *Иегова*.

Хабу — возможно, древнеегип. Имухент — название 18-го нома Нижнего Египта в восточной части Дельты, к северо-востоку от Каира. Однако, быть может, здесь речь идет и о 8-м номе Нижнего Египта, находившемся восточнее 18-го.

Мут — супруга бога Амона-Ра, древнеегипетская богиня войны.

Гиксосы — азиатское семитическое племя или группа племен, которые в XVIII в. до н.э. покорили Египет и господствовали там в течение столетия. Они были окончательно изгнаны около 1560 г. до н.э. Египтяне относились к гиксосам крайне враждебно, называя их «нечистыми».

Ка — по верованиям древних египтян, жизненная сила человека или духовное подобие человеческого тела, «двойник», который продолжал жить и после смерти человека.

Хамсин — сухой, горячий юго-восточный ветер, дующий в Северной Африке с конца апреля и до начала июня.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Драхма — древнегреческая серебряная монета.

Тир — один из крупнейших торговых городов Финикии, расположенный на берегу Средиземного моря. Наивысшего расцвета достиг в X в. до н.э.

Парасхиты (греч.) — древнеегипетские бальзамировщики.

Пунт — страна, расположенная в Восточной Африке на берегу Красного моря (район современного Сомали). Египтяне вели оживленную торговлю с Пунтом и вывозили оттуда благовония, черное дерево, слоновую кость, шкуры экзотических животных.

Гор — древнейший бог солнца. Впоследствии он считался сыном бога загробного царства Осириса и богини плодородия Исида. Гор изображался в виде сокола или человека с головой сокола. Он почитался также как покровитель фараона.

Исида — древнеегипетская богиня плодородия, считавшаяся также охранительницей материнства и покровительницей волшебства. В мифах ей отводилась роль супруги Осириса и матери Гора. Она изображалась обычно в виде женщины с младенцем на руках.

Финикийские боги: *Баал*, или Ваал, — бог неба, верховный бог; *Таммуз* — бог умирающей и воскресающей природы; *Баалит* — верховная богиня, супруга бога Баала; Ашторет (греч. Астарта) — богиня природы и любви.

Сидон — один из древнейших городов Финикии, расположенный на берегу Средиземного моря. Крупнейший торговый центр древнего мира в X—IX вв. до н.э.

Хетем — пограничная крепость и поселение около нее в восточной части Дельты, на границе с Синайским полуостровом. Важный стратегический пункт. *Мигдол* — возможно, имеется в виду город в Палестине, современная Кайсария (Цезария древних римлян).

Такенс (позднее Та-Сети) — 1-й ном Верхнего Египта, находившийся на крайнем юге страны, у первого порога. *Седа* — возможно, 11-й ном Верхнего Египта, расположенный на восточном берегу Нила, или 22-й ном Верхнего Египта, находившийся между Мемфисом и Фаюмским оазисом. *Неха-Мент* — возможно, 18-й ном Нижнего Египта (Иму-Хент) в восточной части Дельты; главным городом этого нома был Бубаст (Пер-Баст); однако, быть может, речь идет о 20-м номе Верхнего Египта (Нар-Хентет), расположенном к юго-востоку от Фаюма. *Неха-Пеху* — 19-й ном Нижнего Египта (Иму-Пеху), расположенный на северо-востоке Дельты; главный город нома — Буто. *Себт-Хет* — очевидно, 11-й ном Нижнего Египта (Ка-Хесеб), расположенный в восточной части Дельты.

Морг — мера земли, принятая в Польше (56 аров).

Кошерное — то есть ритуально чистое и дозволенное правоверным евреям к употреблению в пищу.

Сотис (греч. Сириус). — Первый утренний восход этой звезды совпадал с началом разлива Нила. Этот день считался в Древнем Египте началом Нового года.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Хнум — первоначально бог некоторых номов Верхнего Египта. Обычно изображался в виде человека с головой барана. Согласно древнеегипетской мифологии, он вылепил на гончарном кругу землю и людей.

Фаюмский ном находился в оазисе того же названия к западу от долины Нила.

Семемпсес — так древние греки называли фараона Семерхета, предпоследнего царя I династии, правившего ок. XXIX в. до н.э.

Кахун — город в восточной части Фаюмского оазиса. В эпоху XII династии (начало II тыс. до н.э.) здесь сооружались пирамиды фараонов.

Ботос — греческое наименование первого фараона II династии Беджау (Хотепсехемуи), царствовавшего ок. XXIX в. до н.э.

Неферхес (правильнее: Неферхерес) — переделанное греками имя одного из фараонов II династии.

Сехем (греч. Летополь) — главный город 2-го нома Нижнего Египта, находившийся севернее Мемфиса. *Он* (греч. Гелиополь) — главный город 13-го нома Нижнего Египта, находившийся севернее современного Каира. *Херау* (возможно, Хер-Аха) — местность на восточном берегу Нила, к югу от Каира. *Турра* — каменоломни, находившиеся на восточном берегу Нила, южнее Каира; здесь добывался желтоватый песчаник, из которого построены пирамиды. *Тетауи* (правильнее: Иттауи) — город, основанный первым фараоном XII династии Аменемхетом I (2000—1980 гг. до н.э.) на западном берегу Нила, южнее современного Лишта, вблизи канала, ведущего в Фаюмский оазис; здесь находилась царская резиденция.

Снофру — в настоящее время установлено, что он был первым фараоном IV династии и пришел к власти в конце XXVIII в. до н.э. Пирамида, о которой идет речь в романе, первая известная нам постройка из камня в Египте — знаменитая ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера, сооруженная его визирем Ипхотепом, великим зодчим и мудрецом, впоследствии обожествленным.

Рафия — приморский город в южной части Палестины.

Харран — город в северном Двуречье, расположенный на скрещении важных торговых путей.

Иштар — вавилонская богиня, олицетворявшая плодородие, материнство и супружескую любовь. Она считалась также владычицей неба и звезд.

Бретора и Хагита — духи северной и восточной части света.

Тифон — греческое название Сета, древнеегипетского бога пустыни, зла и смерти, который, по древнему преданию, убил своего брата Осириса.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Планета Юпитер.

Планета Сатурн.

Халдеи — семитическое племя, основавшее в конце VII в. до н.э., после падения Ассирии, Нововавилонское царство. Во времена Пруса так называли вообще все древние государства Южного Двуречья — Шумер, Аккад и Вавилон. Ныне это название вышло из употребления.

Подлинные заклинания магов.

Мефрес — неправильное написание древнеегипетского имени «Нифри».

XIV династия — полулегендарная династия фараонов, правивших в городе Северного Египта Ксоисе в XVIII в. до н.э.

...народа *парсуа*. — Так называются персы в ассирийских надписях.

Акко — город в южной Финикии, недалеко от северной границы Израильского царства. Эдом — небольшое государство к югу от Мертвого моря, находившееся в зависимости то от Иудеи, то от Египта. Элат — город, находившийся у Акабского залива, отделяющего Синайский полуостров от Аравии.

Акко — город в южной Финикии, недалеко от северной границы Израильского царства. Эдом — небольшое государство к югу от Мертвого моря, находившееся в зависимости то от Иудеи, то от Египта. Элат — город, находившийся у Акабского залива, отделяющего Синайский полуостров от Аравии.

Ассар — Речь идет, видимо, о Тиглатпалассаре I (1115—1071 гг. до н.э.), ассирийском царе-завоевателе, совершившем ряд походов в страну Наири (Армения) против хеттов, живших в Малой Азии, и покорившем ряд сирийских государств вплоть до Финикии.

Оттой — греческая форма древнеегипетского имени «Тети».

Аа — устарелое название 2-го нома Нижнего Египта Дуау, центром которого был Сехем.

Хатор — древнеегипетская богиня неба, любви и веселья. Она почиталась в образе коровы или женщины с рогами коровы.

Атриб — греческое название главного города 10-го нижнеегипетского нома, находившегося в центре южной части Дельты.

Кене — ошибочное написание древнеегипетского слова «Кемет» — черная. Так египтяне называли свою страну по цвету ее плодородной почвы в отличие от красных, бесплодных песков окружающих их пустынь.

Хак (Хека-Анедж) — название 13-го нома Нижнего Египта, находившегося в юго-восточной части Дельты.

Атум — первоначально главный бог 13-го нижнеегипетского нома, почитавшийся в его главном городе Гелиополе; впоследствии отождествлен с вечерним солнцем. Атум изображался в образе царя с короной Верхнего и Нижнего Египта.

Ка (Кем-ур) — 10-й нижнеегипетский ном, расположенный в южной части Дельты.

Собек — бог воды, обычно изображавшийся в виде крокодила или человека с головой крокодила. Центром его культа был Фаюм.

Зарпат — город в Финикии, современный Сарафанд. *Ашибу* (правильнее: Ахзиб) — город в Финикии вблизи Тира (современный Эсзиб).

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

...изображалась несколькими иероглифическими или демотическими знаками... — Древние египтяне первоначально передавали понятия при помощи рисунков (пиктографическое письмо), затем отдельные знаки получили фонетическое значение и стали передавать слова, слоги и согласные звуки — иероглифы. Иероглифы служили преимущественно для монументального письма на стенах храмов, стелах и т.п. По мере распространения папируса как материала для письма иероглифы приняли более беглые, курсивные очертания, иногда почти полностью утратив связь с рисунками, от которых они произошли. Это курсивное письмо древние греки называли иератическим (жреческим). Оно вошло в употребление в конце III тыс. до н.э. С VIII в. до н.э. иератическое письмо приобретает еще более беглый характер, напоминая до некоторой степени современную стенографию. Греки прозвали его «демотическим», то есть народным.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Планета Венера.

Планета Меркурий.

Мина — $1/60$ таланта, вавилонская мина — 505 граммов, тяжелая, или двойная, мина — 1010 граммов.

Алебастровые горы — горная цепь на восточном берегу Нила в районе 6-го нома Верхнего Египта около Коптоса. Здесь добывался алебастр.

Заячий округ — 15-й ном Верхнего Египта, главным городом которого был Гермополь. Заяц служил эмблемой этого нома.

Арам — имеется в виду область в Северном Двуречье, расположенная в среднем течении Евфрата.

Филистимляне — несемитический народ, заселивший в конце XII в. до н.э. побережье Палестины между Кармелом и границами Египта. Некоторые ученые предполагают, что они были выходцами с острова Крит.

Сетроэ — находился, вероятно, в 14-м номе Нижнего Египта, вблизи озера Мензале, на северо-востоке Дельты.

Рамсес-са-Птах (правильнее: Рамсес-Сиптах) — предпоследний царь XIX династии, правивший в конце XIII в. до н.э. Таким образом, быть дедом героя романа он никак не мог. Ошибка Пруса вызвана неосведомленностью египтологов того времени, которые относили Рамсеса-Сиптаха к XX династии.

Моавитяне — семитический народ, обитавший в горной стране Моав, к востоку от Мертвого моря.

Шасу — древнеегипетское название бедуинов-кочевников.

Танис — город в северо-восточной части Дельты, центр 14-го нома Нижнего Египта. Здесь находилась резиденция Рамсеса II — «Пер-Рамсес».

Лабиринт — громадное здание, построенное в Фаюмском оазисе фараоном XII династии Аменемхетом III (1849—1801 гг. до н.э.). Видимо, это был его заупокойный храм, который греки считали одним из величайших памятников египетской архитектуры.

Тбубуи (правильнее: Табуба) — героиня одной из сказок о сыне фараона Рамсеса II — царевиче Сатни-Хемуасе, который был верховным жрецом Птаха в Мемфисе и в преданиях описывается как великий маг и волшебник. От позднего времени до нас дошел целый цикл сказок о нем.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Хененсу (современный Сильсиль) — город, находившийся в Верхнем Египте на границе между 1-м и 2-м номами, севернее первого порога. *Пи-Мат* (Пер-Маджаи) — город на западном берегу Нила в 19-м номе Верхнего Египта, к югу от Фаюмского оазиса. *Каза*, *Каза-Сака* (современный Эль-Кес) — город на западном берегу Нила в 17-м номе Верхнего Египта.

Уит-Мехе (Ухит-Михит) — один из оазисов на севере Ливийской пустыни.

Тереметис (Теренут) — греческое название египетского города Мефкет, находившегося на западном берегу Канопского рукава Нила в западной части Дельты.

Менуф (греч. Онуфис) — город в 4-м номе Нижнего Египта на юго-западе Дельты.

Суну — древнеегипетское название города, расположенного на месте нынешнего Асуана, около первого Нильского порога.

Сенти-Нофер — город в 7-м номе Нижнего Египта, расположенный в западной части Дельты у Больбитинского рукава Нила.

Мелкат — возможно, речь идет о Метелисе, как древние греки называли 7-й ном Нижнего Египта. *Навкратис* — греческая колония, основанная в начале VI в. до н.э. фараоном Яхмосом II (Амасисом) в западной части Дельты. *Саи* (греч. Саис) — главный город 5-го нома Нижнего Египта в западной части Дельты; в VII в. до н.э. — столица Египта.

Главк — портовый город на берегу Средиземного моря.

Полярная звезда.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Слова надписи на гробнице фараона Хоремхеба (1740 г. до рождества Христова) (*прим.авт.*)

«*Книга мертвых*» — древнеегипетский религиозно-магический сборник, содержащий заклинания, гимны и молитвы, описание заупокойного ритуала и судеб умершего в загробном мире. По верованию египтян, знание этих магических формул и заклинаний обеспечивало покойному преодоление всех опасностей в его странствиях после смерти, оправдание на суде Осириса и блаженство в царстве мертвых.

Интересно, что теория «теней», на которую действительно опиралась необычайная забота египтян об умерших, сейчас нашла распространение в Европе; ее подробно излагает Адольф д'Асье в книге «Очерк одного позитивиста о загробной жизни человека и спиритизме» (*прим. авт.*)

Хеопс (егип. Хуфу), *Хефрен* (егип. Хафра), *Микерин* (егип. Менкаура)
— фараоны IV династии, правившие в XXVII в. до н.э.

Около десяти миллионов фунтов.

Тутмос Первый — египетский фараон XVIII династии (1538—1525 гг. до н.э.).

...Бог Амон-Ра... — Начиная с эпохи Среднего Царства был установлен общегосударственный культ местного бога Фив — Амона, которого отождествляли с богом солнца Ра под именем Амона-Ра.

...носил заплетенную косичку... — В Древнем Египте у детей сбривали волосы на голове, оставляя сбоку прядь, которую часто заплетали в косичку.

Ииз надписей на гробнице.

Тами-ен-Гор (правильнее: Дами-ен-Гор) — город в 7-м номе Нижнего Египта, в западной части Дельты.

Пилок — остров Филэ у первого порога на Ниле. Недалеко отсюда проходила южная граница Египта.

...Хемсем-Мерер-Амон-Рамсес-сес-нетер-хег-ан. — Прус пытается воссоздать полное имя фараона с титулами (перевод: его величество — возлюбленный Амоном, сын бога, владыка жизни).

...белую и красную корону. — Египетские фараоны со времени объединения Египта в единое государство носили двойную корону: белая считалась короной Верхнего, а красная — Нижнего Египта.

Ани — составитель дошедшего до нас сборника поучений этического характера. Возможно, он жил во времена XX династии.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Косеме — Очевидно, имеется в виду главный город 20-го нома Нижнего Египта (современный Сафф-эль-Хеннэ).

Пи-Хебит — точнее Пер-Хеби (современный Бехбейт-эль-Хагар) — город в 12-м номе Нижнего Египта на севере центральной части Дельты.

Дары Рамсеса XII храмам были несравнимо больше.

Нут — богиня неба, считалась супругой бога земли Геба.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Абидос — город, расположенный в 8-м верхнеегипетском номе. Здесь находились одна из наиболее почитаемых в Египте «гробниц Осириса» и большой некрополь. В религиозной поэзии название города Абидос употреблялось как синоним слов «запад», «загробный мир», «обитель мертвых» и т.д.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Анубис — греческое название древнеегипетского бога загробного мира Инпу, покровителя умерших и обряда бальзамирования; обычно изображался в виде человека с головой шакала.

Колхиты (правильнее — хоахиты) — греческое название древнеегипетских жрецов, отправлявших заупокойный культ.

Дух Шу — по представлениям египтян, бог воздуха, поддерживающий небо.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Хане, Эмсет, Дуамуфт, Кебхеснеуф (точнее: Хапи, Имесет, Дуамутеф и Кебехсенуф) — сыновья бога Гора, покровителя погребальных обрядов и охранителя вынимаемых при бальзамировании внутренностей покойного.

Тот — бог мудрости и письма; изображался в виде человека с головой ибиса или в образе павиана.

Тум — одно из имен бога Атума.

Нефтис (правильнее: Нефтида) — первоначально богиня мертвых, она считалась сестрой Осириса и женой другого своего брата — злого бога Сета, убийцы Осириса.

Селькит (Серкет) — богиня-скорпион, по некоторым мифам она считалась женой бога Гора.

Сибу (правильнее: Геб) — бог земли.

Масpero.

Аменти — дословно «Запад», страна, где обитают умершие.

«Книга мертвых».

Раздел 75-й «Книги мертвых»; это один из самых замечательных памятников, которые дошли до нас из древности (*прим. авт.*)

«Книга мертвых», раздел 148-й

Ра-Гормахис (древнеегип. Ра-Горахути). *Ра* — бог солнца, почитавшийся первоначально в Гелиополе (Оне), а затем во всей стране. Гор, считавшийся вначале божеством неба в Бехдете (Дельта), впоследствии также стал богом солнца; ему поклонялись как Гору «Обоих горизонтов» (ахути). Слияние культов этих солнечных богов произошло в эпоху Нового Царства (XVI в. до н.э.). Аменхотеп IV (Эхнатон), пытавшийся подорвать влияние жречества и для этого реформировать древнюю религию и ввести культ единого бога Атона, правил ок. 1424—1400 гг. до н.э. Таким образом, дата, указанная в романе, ошибочна.

Птица Бенну — древнеегипетский мифологический образ священной птицы, олицетворяющей восходящее солнце; прототип феникса.

Из «Книги мертвых»

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Фараон Аменемхет — Имеется в виду фараон XII династии Аменамхет III (1849—1801 гг. до н.э.). Прус пользуется ныне полностью опровергнутой, устаревшей, так называемой «длинной» хронологией.

...каналом *Иосифа*. — Имеется в виду канал Бар эль-Юсуф.

Сиут (греч. Микополь) — главный город 13-го верхнеегипетского нома.

Тин (Теннис) — главный город 8-го верхнеегипетского нома, расположенного недалеко от Абидоса, несколько севернее его, родина фараонов двух первых династий (3200—3000 гг. до н.э.).

Имеется в виду *Сети I* — второй фараон XIX династии (1337—1317 гг. до н.э.), отец Рамсеса II.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Древнеегипетские правила житейской мудрости.

...дух божий носился над водами. — Знания Египта в области палеонтологии и геологии, а также антропологии и археологии сильно преувеличены автором. Фраза «Земля была пуста и безлюдна, и дух божий носился над водами» заимствована из Библии.

Косейр (арабск.) — порт на берегу Красного моря, к которому вели две большие караванные дороги из Кенне и Копта. Беренике — торговый город у Красного моря, основанный в 275 г. до н.э.; автор допускает анахронизм, так как в XII в. до н.э. этого города еще не существовало.

Луксор (от арабск. аль-Уксур — лагерь) — современное название города на восточном берегу Нила, расположенного на месте древних Фив. Здесь находятся огромные храмы, воздвигнутые в честь Амона фараонами XVIII династии.

Подлинная надпись на памятнике.

Хатасу (Хатшепсут) — царица XVIII династии (1525—1503 гг. до н.э.); построенный ею заупокойный храм в Дейр-эль-Бахари считается одним из наиболее совершенных памятников египетской архитектуры.

Ретеменоф (правильно: Петеаменопе) — знатный сановник и жрец, живший во времена XXVI династии (663—625 гг. до н.э.), то есть на несколько веков позже событий, описанных в романе.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Сни (современный Эсне) — коптское название города, находящегося на западном берегу Нила, около 60 км южнее Луксора.

Эдфу (арабск.) — главный город 2-го нома Верхнего Египта. Здесь находился большой храм бога Гора.

Нуби, или Ком-Омбо — город в 1-м номе Верхнего Египта, главным богом которого был Собек, почитавшийся в облике крокодила.

Абу (правильнее: Иеб) — древнеегипетское название острова Элефантины, находящегося на Ниле у южной границы Египта, недалеко от первого порога и одноименного города, расположенного там. Сюда из южных стран доставляли слоновую кость, которая и дала имя острову (Абу означает по-египетски «слон»).

Три географические мили.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Абс — очевидно, древнеегипетское Абеду (Абидос) — некрополь главного города 8-го нома Верхнего Египта Тиса, находившегося к северу от Фив; по представлениям древних египтян, здесь находилась гробница Осириса; некрополь считали священным, и его название перешло на весь ном. Горти (возможно, Гебти) — 5-й ном Верхнего Египта. Эмсух — возможно, 6-й ном Верхнего Египта.

Сефт. — Может быть, имеется в виду 18-й ном Верхнего Египта. *Себет-Хет* — вероятно, 5-й ном Нижнего Египта, главным городом которого был Саис (Саи). *Амент* (Имент) — 3-й ном Нижнего Египта, находившийся в западной части Дельты.

Ханес (греч. Иераконполь) — главный город 20-го нома Верхнего Египта на западном берегу Нила, южнее Фаюмского оазиса.

Никотриса (правильнее: Нитокрис). — Легенда о ней сохранена греческим историком Геродотом. Среди цариц VI династии такой царицы не было.

Макара (правильнее: Маат-ка-Ра) — тронное имя царицы XVIII династии Хатшепсут.

Заимствовано из подлинных источников (*прим.авт.*)

Неферхотеп — жрец эпохи Нового Царства, которому приписывается авторство известного памятника египетской литературы — так называемой «Песни арфиста».